

Принципы психологии, том 1 (из 2)

Уильям Джеймс

AMERICAN SCIENCE SERIES—ADVANCED COURSE

THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY

BY
WILLIAM JAMES
PROFESSOR OF PSYCHOLOGY IN HARVARD UNIVERSITY

IN TWO VOLUMES

VOL. I



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY

The Project Gutenberg eBook of The Principles of Psychology, Volume 1 (of 2).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Принципы психологии, том 1 (из 2)

Автор: Уильям Джеймс

Дата выхода: 2 августа 2018 [eBook #57628]

Последнее обновление: 4 апреля 2025 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Клэр Грэм и Марком Д'Хуге в Free Literature (Изображения щедро предоставлены Hathi Trust.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY, VOLUME 1 (OF 2)

ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИИ

УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

ПРОФЕССОР ПСИХОЛОГИИ ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ДВУХ ТОМАХ

VOL. I

НЬЮ-ЙОРК

ГЕНРИ ХОЛТ И КОМПАНИЯ

1918

МОЕМУ ДОРОГОМУ ДРУГУ ФРАНСУА ПИЛЛОНУ.

В ЗНАК ПРИВЯЗАННОСТИ И В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ТОГО, ЧЕМ Я ОБЯЗАН "ФИЛОСОФСКОЙ КРИТИКЕ".

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Трактат, о котором пойдет речь ниже, в основном вырос в связи с преподаванием психологии в классе автора, хотя верно, что некоторые главы более "метафизичны", а другие

более подробны, чем это подходит для студентов, впервые изучающих этот предмет. Следствием этого является то, что, несмотря на исключение таких важных тем, как удовольствие и боль, моральные и эстетические чувства и суждения, работа выросла до объема, о котором никто не может сожалеть больше, чем сам автор. Тот, кто в наш переполненный людьми век надеется, что четырнадцатисот непрерывных страниц из его пера найдут много читателей, должен быть очень сметлив. Но *кто приносит много, тот приносит мало*; и, разумно пропуская страницы в соответствии со своими потребностями, я уверен, что моя книга пригодится многим читателям, даже тем, кто только начинает изучать этот предмет. Поскольку новички больше всего нуждаются в руководстве, я предлагаю им при первом чтении полностью опустить главы 6, 7, 8, 10 (со страницы 330 по страницу 371), 12, 13, 15, 17, 20, 21 и 28. Чтобы лучше пробудить интерес неопита, возможно, разумным будет перейти непосредственно от главы 4 к главам 23, 24, 25 и 26, а затем снова вернуться к первому тому. Глава 20, посвященная восприятию пространства, представляет собой ужасную вещь, которую, если бы она не была написана со всеми подробностями, вообще нельзя было бы справедливо трактовать. Сокращенное изложение этой главы под названием "Пространственное качество", опубликованное в "Журнале спекулятивной философии", том xiii, стр. 64, может показаться некоторым полезной заменой всей главы.

На протяжении всей книги я придерживался точки зрения естественных наук. Каждая естественная наука некритически принимает определенные данные и отказывается оспаривать элементы, между которыми устанавливаются ее собственные "законы" и из которых она делает свои собственные выводы. Психология, наука о конечных индивидуальных умах, предполагает в качестве своих данных (1) *мысли и чувства* и (2) *физический мир* во времени и пространстве, с которым они сосуществуют и который (3) *им известен*. Конечно, сами эти данные можно обсуждать, но их обсуждение (как и других элементов) называется метафизикой и выходит за рамки этой книги. Эта книга, предполагая, что мысли и чувства существуют и являются носителями знания, утверждает, что психология, когда она установила эмпирическую корреляцию различных видов мыслей и чувств с определенными состояниями мозга, не может идти дальше - не может идти дальше, то есть как естественная наука. Если она пойдет дальше, то станет метафизической. Все попытки *объяснить* наши феноменально данные мысли как продукты более глубоких сущностей (будь то "душа", "трансцендентальное эго", "идеи" или "элементарные единицы сознания") метафизичны. Эта книга, следовательно, отвергает как ассоциационистские, так и спиритуалистические теории; и в этой строго позитивистской точке зрения заключается единственная ее особенность, за которую я чувствую искушение претендовать на оригинальность. Конечно, эта точка зрения не является окончательной. Люди должны продолжать думать; и данные, принятые психологией, как и данные, принятые физикой и другими естественными науками, должны быть когда-нибудь пересмотрены. Усилия по их четкому и тщательному пересмотру - это метафизика; но метафизика может хорошо выполнять свою задачу только тогда, когда отчетливо осознает ее огромные масштабы. Метафизика фрагментарная, безответственная, полусонная и не сознающая, что она метафизика, портит две хорошие вещи, когда она вклинивается в естественную науку. И мне кажется, что теории как духовного агента, так и связанных с ним "идей", как они представлены в учебниках по психологии, как раз и являются такой метафизикой. Даже если их результаты верны, было бы так же хорошо держать их в *том виде, в каком они представлены*, вне психологии, как и результаты идеализма вне физики.

Поэтому я рассматривал наши мимолетные мысли как целые числа, и считал простые законы их сосуществования с состояниями мозга высшими законами для нашей науки. Читатель будет тщетно искать в этой книге какую-либо замкнутую систему. В основном это масса

описательных деталей, переходящих в вопросы, с которыми может успешно справиться только метафизика, осознающая всю тяжесть своей задачи. Возможно, это произойдет через столетия, а пока лучшим признаком здоровья, который может продемонстрировать наука, является этот незавершенный фронт.

Работа над книгой шла так медленно, что несколько глав были опубликованы последовательно в "Mind", "Journal of Speculative Philosophy", "Popular Science Monthly" и "Scribner's Magazine". Благодарность выражена в соответствующих местах.

Библиография, к сожалению, довольно бессистемна. Я привычно привел свои авторитетные данные по специальным экспериментальным фактам; но помимо этого я стремился в основном цитировать книги, которые, вероятно, действительно будут использованы обычным американским студентом колледжа в его сопутствующем чтении. Библиография в книге В. Фолькмана "Lehrbuch der Psychologie" (1875) настолько полна, вплоть до ее даты, что нет необходимости в ее некачественном дублировании. А для более поздних ссылок можно с пользой использовать "Конспекты" Салли, "Психологию" Дьюи и "Справочник по психологии" Болдуина.

Наконец, когда человек обязан столь многим, кажется абсурдным выделять конкретных кредиторов; тем не менее я не могу устоять перед искушением в конце моего первого литературного начинания выразить благодарность за вдохновение, которое я получил от трудов Дж. С. Милля, Лотце, Ренувье, Ходжсона и Вундта, а также от интеллектуального общения (если назвать только пять имен) с Чонси Райтом и Чарльзом Пейрсом в прежние времена, а в последнее время со Стэнли Холлом, Джеймсом Патнэмом и Джосайей Ройсом.

Гарвардский университет, август 1890 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА I.

Сфера применения психологии, 1

Психические проявления зависят от состояния головного мозга, 1. Стремление к цели и выбор - признаки присутствия разума, 6.

ГЛАВА II.

Функции мозга, 12

Рефлекторные, полурефлекторные и волевые действия, 12. Нервные центры лягушки, 14. Общее представление о полушариях, 20. Их образование - схема Мейнерта, 24. Френологическая концепция в сравнении с физиологической, 27. Локализация функций в полушариях, 30. Моторная зона, 31. Моторная афазия, 37. Зрительный центр, 41. Психическая слепота, 48. Центр слуха, 52. Сенсорная афазия, 54. Центры обоняния и вкуса, 57. Центр осязания, 58. Сознание человека ограничено полушариями, 65. Восстановление функции, 67. Окончательная коррекция схемы Мейнерта, 72. Выводы, 78.

ГЛАВА III.

О некоторых общих условиях мозговой деятельности, 81

Суммирование стимулов, 82. Время реакции, 85. Церебральное кровоснабжение, 97. Церебральная термометрия, 99. Фосфор и мышление, 101.

ГЛАВА IV.

Привычки, 104

Вследствие пластичности нервной материи, 105. Вызывает легкость действий, 112. Снижает внимание, 115. Конкатенированные представления, 116. Этические последствия и педагогические максимы, 120.

ГЛАВА V.

Теория автоматов, 128

Описание теории, 128. Доводы в ее пользу, 133. Доводы против нее, 138.

ГЛАВА VI.

Теория "разум-пыль", 145

Эволюционная психология требует наличия разума-пыли, 146. Некоторые предполагаемые доказательства его существования, 150. Опровержение этих доказательств, 154. Самосочинение ментальных фактов недопустимо, 158. Могут ли состояния ума быть бессознательными? 162. Опровержение предполагаемых доказательств бессознательного мышления, 164. Трудность утверждения связи между разумом и мозгом, 176. "Душа" - логически наименее возразительная гипотеза, 180. Заключение, 182.

ГЛАВА VII.

Методы и ловушки психологии, 183

Психология - естественная наука, 183. Интроспекция, 185. Эксперимент, 192. Источники ошибок, 194. Заблуждение психолога, 196.

ГЛАВА VIII.

Отношения сознания к другим вещам, 199

Временные отношения: промежутки сознания - Локк *против* Декарта, 200.

Бессознательность" истериков не является подлинной, 202. Разум может распадаться на диссоциированные части, 206. Пространственные отношения: местопребывание души, 214. Когнитивные отношения, 216. Точка зрения психолога, 218. Два вида знания, знакомство и знание о, 221.

ГЛАВА IX.

Поток мысли, 224

Сознание стремится к личностной форме, 225. Оно находится в постоянном изменении, 229. Оно чувственно непрерывно, 237. Субстанциальная и транзитивная части сознания, 243. Ощущения отношения, 245. Ощущение тенденции, 249. Граница" объекта, 258. Ощущение рациональной последовательности, 261. Мысль возможна в любом виде ментального материала, 265. Мысль и язык, 267. Сознание когнитивно, 271. Слово Объект, 275. Каждое познание обусловлено одним целостным импульсом мысли, 276. Диаграммы потока мысли, 279. Мысль всегда избирательна, 284.

ГЛАВА X.

Сознание себя, 291

Эмпирическое Я или Я, 291. Его составляющие, 292. Материальное Я, 292. Социальное Я, 293. Духовное Я, 296. Трудность восприятия Мысли как чисто духовной деятельности, 299. Эмоции Я, 305. Соперничество и конфликт различных "я", 309. Их иерархия, 313. Какое Я мы любим в "Самолюбии", 317. Чистое Эго, 329. Верифицируемое основание чувства личной идентичности, 332. Проходящая мысль - единственный мыслитель, которого требует психология, 338. Теории самосознания: 1) теория души, 342. 2) Ассоциационистская теория, 350. 3) Трансценденталистская теория, 360. Мутации Я, 373. Безумные галлюцинации, 375. Чередующиеся "я", 379. Медиумы или одержимость, 393. Резюме, 400.

ГЛАВА XI.

Внимание, 402

Его игнорирование английскими психологами, 402. Описание его, 404. На сколько вещей мы можем обращать внимание одновременно? 405. Эксперименты Вундта по смещению даты впечатлений, на которые одновременно обращено внимание, 410. Личное уравнение, 413. Разновидности внимания, 416. Пассивное внимание, 418. Добровольное внимание, 420. Влияние внимания на ощущения, 425;- на различение, 426;- на воспоминания, 427;- на время реакции, 427. Нейронные процессы при внимании: 1) Аккомодация органа чувств, 434. 2) Предварительное восприятие, 438. Волевое внимание - это результат или сила? 447. Усилие внимания можно представить как результат, 450. Заключение, 453. Приобретенная невнимательность, 455.

ГЛАВА XII.

Концепция, 459

Чувство одинаковости, 459. Определение концепции, 461. Концепции неизменны, 464. Абстрактные идеи, 468. Универсалии, 473. Концепция "того же самого" не есть "то же самое состояние" ума, 480.

ГЛАВА XIII.

Дискриминация и сравнение, 483

Локк о дискриминации, 483. Мартино о дискриминации, 484. Одновременные ощущения первоначально сливаются в один объект, 488. Принцип опосредованного сравнения, 489. Не все различия являются различиями состава, 490. Условия различения, 494. Ощущение различия, 495. Трансценденталистская теория восприятия различий, необоснованная, 498. Процесс анализа, 502. Процесс абстрагирования, 505. Улучшение дискриминации практикой, 508. Две причины ее возникновения, 510. Практические интересы ограничивают нашу дискриминацию, 515. Время реакции после дискриминации, 523. Восприятие сходства, 528. Величина различий, 530. Измерение дискриминационной чувствительности: закон Вебера, 533. Интерпретация Фехнером этого закона как психофизического, 537. Критика этого закона, 545.

ГЛАВА XIV.

Ассоциация, 550

Проблема связи наших мыслей, 550. Она зависит от механических условий, 553. Ассоциация объектов, о которых думают, а не "идей", 554. Быстрота ассоциации, 557. Закон смежности, 561. Элементарный закон ассоциации, 566. Беспристрастная реинтеграция, 569. Обычная или смешанная ассоциация, 571. Закон интереса, 572. Ассоциация по сходству, 578. Элементарное выражение различия между тремя видами ассоциации, 581. Ассоциация в добровольной мысли, 583. Сходство - не элементарный закон, 590. История учения об ассоциации, 594.

ГЛАВА XV.

Восприятие времени, 605

Чувственное настоящее, 606. Его длительность - примитивное восприятие времени, 608. Точность нашей оценки коротких промежутков времени, 611. У нас нет ощущения пустого времени, 619. Вариации нашей оценки времени, 624. Чувство прошлого времени - это чувство настоящего, 627. Его мозговой процесс, 632.

ГЛАВА XVI.

Память, 643

Первичная память, 643. Анализ феномена памяти, 648. Сохранение и воспроизведение вызываются путями ассоциаций в мозгу, 653. Условия доброты памяти, 659. Врожденная способность к запоминанию неизменна, 663. Всякое улучшение памяти состоит в улучшении мышления, 667. Другие условия хорошей памяти, 669. Узнавание, или чувство знакомости, 673. Точные измерения памяти, 676. Забывание, 679. Патологические случаи, 681. Критика профессора Лэдда, 687.

ИНДЕКС.

ПСИХОЛОГИЯ.

ГЛАВА I.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ.

Психология - это наука о психической жизни, как о ее явлениях, так и о ее условиях. Феномены - это те вещи, которые мы называем чувствами, желаниями, познаниями, рассуждениями, решениями и т. п.; при поверхностном рассмотрении их разнообразие и сложность таковы, что производят на наблюдателя хаотическое впечатление. Наиболее естественным и, следовательно, наиболее ранним способом унификации материала было, во-первых, классифицировать его настолько хорошо, насколько это возможно, и, во-вторых, объединить разнообразные психические режимы, найденные таким образом, с простой сущностью, личной Душой, от которой они принимаются как многочисленные факультативные проявления. Так, например, Душа проявляет способность к памяти, рассуждению, воле, воображению или аппетиту. Такова ортодоксальная "спиритуалистическая" теория схоластики и здравого смысла. Другой и менее очевидный способ объединения хаоса - искать общие элементы в разнообразных психических фактах, а не общий агент, стоящий за ними, и конструктивно объяснять их различными формами расположения этих элементов, как объясняют дома с помощью камней и кирпичей. Таким образом, "ассоциационистские" школы Гербарта в Германии, Хьюма, Миллса и Бейна в Британии построили *психологию без души*, взяв отдельные "идеи", слабые или яркие, и показав, как с помощью их сцеплений, отталкиваний и форм последовательности могут быть порождены такие вещи, как воспоминания, восприятия, эмоции, воления, страсти, теории и все другие предметы обстановки в сознании человека. Само Я, или эго, индивида, таким образом, рассматривается уже не как предшествующий источник представлений, а скорее как их последний и самый сложный плод.

Если мы будем стремиться к упрощению явлений любым из этих способов, то вскоре обнаружим неадекватность нашего метода. Любое конкретное познание, например, или воспоминание, объясняется в теории души путем отнесения к духовным способностям познания или памяти. Сами эти способности рассматриваются как абсолютные свойства души; то есть, если взять случай с памятью, не приводится никаких причин, почему мы должны помнить факт таким, каким он был, кроме того, что помнить его составляет суть нашей способности к воспоминаниям. Мы можем, как спиритуалисты, пытаться объяснить

неудачи и промахи нашей памяти вторичными причинами. Но ее *успехи* не могут быть объяснены никакими факторами, кроме существования определенных объективных вещей, которые нужно помнить, с одной стороны, и нашей способности к запоминанию - с другой. Когда, например, я вспоминаю день своего выпускного, вытаскивая все его происшествия и эмоции из безымянной ночи смерти, никакие механические причины не могут объяснить этот процесс, никакой анализ не может свести его к более низким терминам или заставить его природу казаться иной, чем конечная *данность*, которая, независимо от того, восстаем мы или нет против ее таинственности, должна быть просто принята как данность, если мы хотим психологизировать вообще. Как бы ни представлял ассоцианист нынешние идеи как толпящиеся и упорядочивающие себя, все равно, настаивает спиритуалист, в конце концов он должен признать, что *нечто*, будь то мозг, будь то "идеи", будь то "ассоциации", *знает* прошлое время *как* прошлое и заполняет его тем или иным событием. И когда спиритуалист называет память "несводимой способностью", он говорит не более того, что уже дает это признание ассоцианиста.

И все же это признание далеко не всегда является удовлетворительным упрощением конкретных фактов. Ибо почему этот абсолютный, данный Богом факультет должен сохранять события вчерашнего дня гораздо лучше, чем прошлогодние, и, что самое лучшее, те, которые произошли час назад? Почему, опять же, в пожилом возрасте его способность воспринимать события детства должна быть наиболее прочной, почему болезни и истощение должны ослаблять его? Почему повторение опыта должно усиливать воспоминания о нем? Почему наркотики, лихорадка, асфиксия и волнение должны воскрешать давно забытое? Если мы ограничимся утверждением, что способность к запоминанию так своеобразно устроена природой, что демонстрирует именно эти странности, мы, кажется, не станем лучше от того, что обратились к ней, поскольку наше объяснение становится таким же сложным, как и объяснение грубых фактов, с которых мы начали. Более того, есть что-то гротескное и иррациональное в предположении, что душа наделена элементарными способностями столь изобретательно запутанного рода. Почему наша память *должна* легче цепляться за близкое, чем за далекое? Почему она должна быстрее запоминать имена собственные, чем абстрактные? Такие особенности кажутся совершенно фантастическими; и, насколько мы можем судить *a priori*, они могли бы быть прямо противоположными тому, чем они являются. Очевидно, что *эта способность не существует абсолютно, а работает в определенных условиях, и поиск этих условий* становится самой интересной задачей психолога.

Как бы твердо он ни держался за душу и ее способность к запоминанию, он должен признать, что она никогда не работает без *подсказки* и что что-то всегда должно предшествовать и *напоминать* нам о том, что мы хотим вспомнить. "*Идея*", - говорит ассоцианист, - идея, связанная с вспоминаемой вещью; это объясняет также, почему вещи, с которыми мы неоднократно встречались, вспоминаются легче, потому что их ассоциативные связи в различных случаях предоставляют так много различных путей для воспоминаний". Но это не объясняет эффекты лихорадки, истощения, гипноза, старости и т. п. И в целом рассказ чистого ассоцианиста о нашей психической жизни вызывает почти такое же недоумение, как и рассказ чистого спиритуалиста. Это множество идей, существующих абсолютно, но цепляющихся друг за друга и ткущих бесконечный ковер из самих себя, как домино в непрерывной смене или кусочки стекла в калейдоскопе, - откуда они получают свои фантастические законы цепляния и почему они цепляются именно в тех формах, в которых они это делают?

Для этого ассоцианист должен представить порядок опыта во внешнем мире. Танец идей - это копия, несколько искаженная и измененная, порядка явлений. Но малейшее размышление показывает, что явления не имеют абсолютно никакой силы влиять на наши идеи, пока они не произведут впечатление на наши органы чувств и наш мозг. Само по себе существование какого-либо факта в прошлом не является основанием для того, чтобы мы его запомнили. Если мы не видели его или каким-то образом не *пережили* его, мы никогда не узнаем о том, что он был. Таким образом, целесообразность тела является одним из условий того, что способность к запоминанию является таковой. И совсем небольшое размышление над фактами показывает, что одна часть тела, а именно мозг, является той частью, которая непосредственно связана с опытом. Если прервать нервную связь между мозгом и другими частями тела, то опыт этих других частей не будет существовать для разума. Глаз слеп, ухо глухо, рука бесчувственна и неподвижна. И наоборот, если мозг поврежден, сознание отменяется или изменяется, даже если все остальные органы тела готовы играть свою обычную роль. Удар по голове, внезапный отток крови, давление апоплексического кровоизлияния могут иметь первый эффект; в то время как несколько унций алкоголя, зерен опиума или гашиша, запах хлороформа или газа закиси азота обязательно приведут ко второму. Бред лихорадки, измененное "я" безумия, - все это связано с инородными веществами, циркулирующими в мозгу, или с патологическими изменениями в веществе этого органа. Тот факт, что мозг является единственным непосредственным телесным условием психических операций, действительно настолько общепризнан в настоящее время, что мне не нужно больше тратить время на его иллюстрацию, а просто постулировать его и идти дальше. Вся остальная часть книги будет в большей или меньшей степени доказательством правильности этого постулата.

Телесные переживания, следовательно, и особенно переживания мозга, должны занять место среди тех условий психической жизни, которые психология должна принимать во внимание. *И спиритуалист, и ассоцианист должны быть "церебралистами"*, по крайней мере, в той мере, в какой они признают, что некоторые особенности в работе их любимых принципов объяснимы только тем, что законы мозга являются кодетерминантой результата. Итак, наш первый вывод заключается в том, что определенная часть физиологии мозга должна быть предположена или включена в психологию.^[1]

В другом случае психолог вынужден быть в некотором роде физиологом нервов. Психические явления не только обусловлены телесными процессами *a parte ante*, но и ведут к ним *a parte post*. То, что они приводят к *актам*, - это, конечно, самая известная истина, но я имею в виду не только акты в смысле добровольных и сознательных мышечных действий. Психические состояния вызывают также изменения в калибре кровеносных сосудов, или изменения в сердечных сокращениях, или еще более тонкие процессы в железах и внутренностях. Если принять во внимание все это, а также действия, которые следуют в какой-то *отдаленный период*, потому что психическое состояние уже было, то можно с уверенностью утверждать, что *ни одно психическое изменение не сопровождается телесными изменениями или не следует за ними*. Идеи и чувства, которые, например, эти печатные символы вызывают в сознании читателя, не только приводят к движениям его глаз и зарождающимся движениям артикуляции в нем самом, но однажды заставят его говорить, или принимать сторону в дискуссии, или давать советы, или выбирать книгу для чтения, не так, как если бы они никогда не впечатляли его сетчатку. Поэтому наша психология должна учитывать не только условия, предшествующие ментальным состояниям, но и их последствия.

Но действия, первоначально вызванные сознательным интеллектом, могут стать настолько автоматическими в силу привычки, что будут выполняться, по-видимому, бессознательно. Стояние, ходьба, застегивание и расстегивание пуговиц, игра на фортепиано, разговор, даже произнесение молитвы могут совершаться, когда ум поглощен другими вещами. Действия животного *инстинкта* кажутся полуавтоматическими, а *рефлекторные акты* самосохранения, безусловно, таковыми и являются. Тем не менее они напоминают разумные действия, поскольку приводят к тем же *целям*, к которым сознание животных в других случаях стремится сознательно. Должно ли изучение таких машиноподобных, но целенаправленных действий быть включено в психологию?

Граница психического, конечно, расплывчата. Лучше не быть педантичным, а позволить науке быть такой же расплывчатой, как и ее предмет, и включить в нее такие явления, как эти, если таким образом мы сможем пролить свет на главное дело, которым занимаемся. Я верю, что вскоре мы увидим, что это возможно, и что мы выиграем гораздо больше от широкого, чем от узкого представления о нашем предмете. На определенном этапе развития каждой науки степень расплывчатости - это то, что лучше всего сочетается с плодотворностью. В целом, немногие формулы последнего времени оказали более реальную услугу грубого рода в психологии, чем спенсеровская формула о том, что сущность психической и телесной жизни едина, а именно "приспособление внутренних отношений к внешним". Такая формула - воплощенная расплывчатость; но поскольку она учитывает тот факт, что разум обитает в среде, которая действует на него и на которую он, в свою очередь, реагирует; поскольку, короче говоря, она рассматривает разум в контексте всех его конкретных отношений, она гораздо плодотворнее, чем старомодная "рациональная психология", которая рассматривала душу как обособленное существо, достаточное само по себе, и предполагала рассматривать только ее природу и свойства. Поэтому я не стесняюсь делать любые вылазки в зоологию или в чистую физиологию нервов, которые могут показаться поучительными для наших целей, но в остальном оставляю эти науки физиологам.

Можем ли мы более четко сформулировать, каким образом психическая жизнь, по-видимому, проходит между впечатлениями, производимыми на тело извне, и реакциями тела на внешний мир? Давайте рассмотрим несколько фактов.

Если на стол высыпать несколько железных опилок и поднести к ним магнит, они пролетят по воздуху определенное расстояние и прилипнут к его поверхности. Дикарь, наблюдавший это явление, объясняет его притяжением или любовью между магнитом и опилками. Но если накрыть полюса магнита картой, опилки будут вечно прижиматься к его поверхности, и им никогда не придет в голову обойти его по бокам и таким образом вступить более непосредственный контакт с объектом своей любви. Пустите пузырьки через трубку на дно ведра с водой, и они поднимутся на поверхность и смешаются с воздухом. Их действие снова можно поэтически интерпретировать как стремление вновь соединиться с материнской атмосферой, находящейся над поверхностью. Но если перевернуть кувшин, наполненный водой, над ведром, они поднимутся и останутся лежать под его дном, закрытые от внешнего воздуха, хотя небольшое отклонение от их курса в самом начале или повторное опускание к ободку кувшина, когда они обнаружили, что их восхождение затруднено, легко освободили бы их.

Если теперь мы перейдем от таких действий к действиям живых существ, то заметим разительную разницу. Ромео стремится к Джульетте, как опилки к магниту; и если нет препятствий, он движется к ней по такой же прямой линии, как и они. Но Ромео и Джульетта, если между ними возведена стена, не остаются идиотами, прижавшись лицами к ее противоположным сторонам, как магнит и опилки с картой. Ромео вскоре находит обходной путь, преодолевая стену или иным способом, чтобы напрямую прикоснуться к губам Джульетты. С опилками путь фиксирован; дойдет ли он до конца, зависит от случайностей. У влюбленного фиксирован только конец, а путь может быть изменен до бесконечности.

Предположим, что живая лягушка находится в том положении, в котором мы поместили наши пузырьки воздуха, а именно на дне банки с водой. Вскоре из-за нехватки воздуха ему захочется вернуться в материнскую атмосферу, и он выберет кратчайший путь к своей цели, поплыв прямо вверх. Но если перевернуть над ним кувшин, наполненный водой, он не будет, подобно пузырькам, вечно прижиматься носом к его неподатливой крыше, а будет беспокойно исследовать окрестности, пока, снова опустившись вниз, не обнаружит путь вокруг его края к цели своих желаний. И снова неизменная цель, меняющиеся средства!

Подобные контрасты между живыми и неживыми объектами приводят к тому, что люди начинают отрицать существование конечных целей в физическом мире. Любовь и желания сегодня уже не вменяются в обязанность частицам железа или воздуха. Никто не предполагает теперь, что конец любой деятельности, которую они могут проявлять, - это идеальная цель, председательствующая над деятельностью с самого ее начала и побуждающая или влекущая ее к существованию посредством своего рода *vis a fronte*. Конец, напротив, рассматривается как простой пассивный результат, подталкиваемый к бытию *tergo*, не имеющий, так сказать, голоса в своем собственном производстве. Измените существующие условия, и из неорганических материалов вы получите каждый раз другой видимый конец. Но в случае с разумными агентами изменение условий приводит к изменению проявляемой активности, но не к достижению цели; ведь здесь идея еще нереализованной цели взаимодействует с условиями, определяя, какой должна быть деятельность.

Таким образом, преследование будущих целей и выбор средств для их достижения являются признаком и критерием присутствия ментальности в явлении. Мы все используем этот критерий, чтобы отличить разумное действие от механического. Мы не вменяем палкам и камням никакой ментальности, потому что они, кажется, никогда не двигаются *ради* чего-либо, но всегда, когда их толкают, и то безразлично и без признаков выбора. Поэтому мы без колебаний называем их бессмысленными.

Точно так же мы принимаем решение по самой глубокой из всех философских проблем: Является ли Космос выражением разума, рационального в своей внутренней природе, или же грубым внешним фактом, чистым и простым? Если, созерцая его, мы не можем избавиться от впечатления, что это царство конечных целей, что оно существует ради чего-то, то мы ставим интеллект в его основу и имеем религию. Если же, напротив, наблюдая за его неустранимой текучестью, мы можем думать о настоящем лишь как о простом механическом порождении прошлого, происходящем без всякой связи с будущим, мы - атеисты и материалисты.

В долгих дискуссиях, которые ведут психологи по поводу объема интеллекта, проявляемого низшими млекопитающими, или объема сознания, задействованного в функциях нервных

центров рептилий, всегда применяется один и тот же критерий: Является ли характер действий таким, что мы должны считать, что они совершаются ради их результата? Результат, о котором идет речь, как мы увидим в дальнейшем, как правило, полезен, - животное в целом более безопасно в данных обстоятельствах для его получения. Пока что действие носит телеологический характер; но такая внешняя телеология, как эта, могла бы быть слепым результатом *vis a tergo*. Рост и движение растений, процессы развития, пищеварения, выделения и т. д. у животных дают бесчисленное множество примеров полезных для человека действий, которые, тем не менее, могут быть, и большинство из нас предполагают, что они производятся автоматическим механизмом. Физиолог не станет уверенно утверждать, что спинной мозг лягушки обладает сознанием, пока не покажет, что полезный результат, который приносит нервный механизм при определенном раздражении, *остается неизменным при изменении механизма*. Если, например, раздражать кислотой правое колено безголовой лягушки, то правая лапка сотрет ее. Однако если эту лапку ампутировать, животное часто поднимает на это место *левую* лапку и стирает с нее раздражающий материал.

Пфлюгер и Льюс исходят из этих фактов следующим образом: Если бы первая реакция была результатом простого механизма, говорят они; если бы раздраженный участок кожи разряжал правую ногу, как курок разряжает собственный ствол ружья; тогда ампутация правой ноги действительно помешала бы вытиранию, но не заставила бы двигаться *левую* ногу. Это просто приведет к тому, что правая культя будет двигаться в пустом воздухе (что, собственно, и наблюдается иногда). Правый курок не пытается разрядить левый ствол, если правый разряжен; электрическая машина тоже никогда не успокаивается, потому что она может только испускать искры, а не подшивать наволочки, как швейная машинка.

Если, напротив, правая нога изначально двигалась для того, чтобы вытереть кислоту, то нет ничего более естественного, чем то, что, когда самые простые средства достижения этой цели оказываются бесплодными, следует попробовать другие средства. Каждая неудача должна держать животное в состоянии разочарования, которое приведет к всевозможным новым испытаниям и приспособлениям; и спокойствие не наступит, пока одно из них, счастливым ударом, не достигнет желанной цели.

Аналогичным образом Гольц приписывает интеллект зрительным долям и мозжечку лягушки. Выше мы уже упоминали о том, как звуковая лягушка, заключенная в воде, обнаруживает выход в атмосферу. Гольц обнаружил, что лягушки, лишённые полушарий головного мозга, часто проявляют подобную изобретательность. Такая лягушка, поднявшись со дна и обнаружив, что ее дальнейшему продвижению вверх препятствует перевернутый над ней стеклянный колокол, не будет упорно упираться носом в это препятствие, пока не умрет от удушья, но часто будет снова опускаться и выходить из-под его ободка, как будто не определенное механическое движение вверх, а скорее сознательное желание достичь воздуха с помощью крючка или крючка было главной пружиной его деятельности. Из этого Гольц сделал вывод, что полушария не являются единственным уплотнением интеллекта у лягушек. Тот же вывод он сделал, заметив, что безмозглая лягушка переворачивается со спины на живот, когда ей пришивают одну из лапок, хотя необходимые движения при этом сильно отличаются от тех, которые при обычных обстоятельствах вызываются тем же раздражающим положением. Они, следовательно, определяются не только предшествующим раздражителем, но и конечной целью, хотя раздражитель, конечно, является тем, что делает цель желанной".

Другой блестящий немецкий автор, Либманн,^[2] , приводит очень похожие аргументы против того, чтобы механизм мозга объяснял психические действия. Машина как таковая, говорит

он, будет приносить правильные результаты, если она исправна, и неправильные, если она не в порядке. Но оба вида результата с одинаковой фатальной необходимостью вытекают из своих условий. Мы не можем предположить, что часовой механизм, чья структура фатально определяет его определенную скорость, замечает, что эта скорость слишком медленная или слишком быстрая, и тщетно пытается ее исправить. Его совесть, если она у него есть, должна быть так же хороша, как совесть самого лучшего хронометра, ибо оба они одинаково хорошо подчиняются одним и тем же вечным механическим законам - законам сзади. Но если *мозг* не в порядке и человек говорит: "Дважды четыре - два", вместо "Дважды четыре - восемь", или еще: "Я должен пойти на пристань купить уголь", вместо "Я должен пойти на пристань купить уголь", мгновенно возникает сознание ошибки. Неправильное действие, хотя оно и подчиняется тому же механическому закону, что и правильное, тем не менее осуждается - осуждается как противоречащее внутреннему закону - закону, идущему извне, цели или идеалу, ради которого *мозг должен* действовать, независимо от того, делает он это или нет.

Нам нет необходимости обсуждать, насколько справедливо эти авторы, делая свои выводы, учли все предпосылки, которые я задействовал в рассматриваемых ими случаях. Мы приводим их аргументы только для того, чтобы показать, как они апеллируют к принципу, согласно которому *никакие действия, кроме тех, которые совершаются ради цели и демонстрируют выбор средств, не могут быть названы несомненными проявлениями Разума.*

Затем я приму этот принцип в качестве критерия, с помощью которого буду ограничивать предмет данной работы в той мере, в какой в него входит действие. Поэтому многие нервные представления останутся неупомянутыми, как чисто физиологические. Также не будет заново описана анатомия нервной системы и органов чувств. Читатель найдет в книге Х. Н. Мартина "Человеческое тело", в книге Г. Т. Лэдда "Физиологическая психология" и во всех других стандартных "Анатомиях и физиологиях" массу информации, которую мы должны рассматривать как предварительную и принимать за в настоящей работе.^[3] О функциях полушарий головного мозга, однако, поскольку они непосредственно обеспечивают сознание, будет хорошо дать небольшой отчет.

[1] Cp. Geo. T. Ladd: Elements of Physiological Psychology (1887), pt. iii, chap. iii, §§ 9, 12.

[2] Zur Analysis der Wirklichkeit, p. 489.

[3] Нет ничего проще, чем ознакомиться с мозгом млекопитающих. Возьмите голову овцы, небольшую пилу, стамеску, скальпель и пинцет (все это лучше всего приобрести у производителя хирургических инструментов) и разберите его части либо с помощью книги по препарированию человека, например "Руководства по анатомии" Холдена, либо с помощью специальных указаний *ad hoc*, приведенных в таких книгах, как "Практическая физиология" Фостера и Лэнгли (Macmillan) или "Сравнительная анатомия и рассечение млекопитающих" Моррелла (Longmans).

ГЛАВА II.

ФУНКЦИИ МОЗГА.

Если я начинаю рубить ногу дерева, его ветви остаются без движения, а листья мирно шелестят на ветру. Если же я, напротив, совершаю насилие над ногой своего товарища, все остальное его тело мгновенно отвечает на агрессию движениями тревоги или защиты. Причина этого различия в том, что у человека есть нервная система, а у дерева ее нет, а функция нервной системы заключается в том, чтобы привести каждую часть тела в гармоничное взаимодействие друг с другом. Аfferентные нервы, возбужденные каким-либо физическим раздражителем, будь то грубый топор или тонкие световые волны, передают возбуждение в нервные центры. Возбуждение, возникшее в этих центрах, не останавливается на достигнутом, а передается, если есть силы, по эfferентным нервам в мышцы и железы, вызывая движения конечностей и внутренностей или акты секреции, которые зависят от конкретного животного и от применяемого раздражителя. Эти ответные действия обычно носят общий характер. Они защищают от вредного раздражителя и поддерживают полезный; если же раздражитель, сам по себе безразличный, является признаком какого-то отдаленного обстоятельства, имеющего практическое значение, действия животного направлены на это обстоятельство, чтобы избежать его опасностей или обеспечить его преимущества, в зависимости от обстоятельств. Приведем обычный пример: если я слышу, как кондуктор зовет "Все на борт!", когда я вхожу в депо, мое сердце сначала замирает, затем учащенно бьется, а ноги отвечают на воздушные волны, падающие на мою барабанную перепонку, ускоряя свои движения. Если я спотыкаюсь на бегу, ощущение падения вызывает движение рук в направлении падения, что позволяет защитить тело от слишком резкого удара. Если в глаз попадает соринка, веки с силой закрываются, и обильный поток слез стремится ее вымыть.

Однако эти три реакции на сенсорный стимул отличаются друг от друга по многим параметрам. Закрытие глаза и лакримация являются совершенно произвольными, как и нарушение работы сердца. Такие произвольные реакции мы знаем как "рефлекторные". Движение рук при падении также можно назвать рефлекторным, поскольку оно происходит слишком быстро, чтобы быть сознательным. Является ли оно инстинктивным или возникает в результате пешеходного воспитания в детстве, можно сомневаться; во всяком случае, оно менее автоматически, чем предыдущие действия, поскольку человек может путем сознательных усилий научиться выполнять его более умело или даже полностью подавить его. Подобные действия, в которых инстинкт и воля участвуют на равных, называются "полурефлекторными". С другой стороны, в действии бежать навстречу поезду нет никакого инстинктивного элемента. Он является исключительно результатом воспитания, ему предшествует сознание цели, которую нужно достичь, и отчетливое поручение воли. Это "добровольный акт". Таким образом, рефлекторные и волевые действия животного постепенно переходят друг в друга, соединяясь в акты, которые часто могут происходить автоматически, но могут и изменяться под влиянием сознательного интеллекта.

Сторонний наблюдатель, не способный воспринять сопутствующее сознание, может оказаться в полной растерянности и не сможет отличить автоматические действия от тех, которые сопровождает воля. Но если критерием существования разума является выбор надлежащих средств для достижения предполагаемой цели, то все действия кажутся вдохновленными интеллектом, поскольку *целесообразность* характеризует их одинаково. Этот факт привел к появлению двух совершенно противоположных теорий о связи нервных функций с сознанием. Одни авторы, обнаружив, что высшие волевые функции, по-видимому,

нуждаются в руководстве чувства, делают вывод, что над низшими рефлексам также господствует какое-то такое чувство, хотя это может быть чувство, которого *мы* не осознаем. Другие, обнаружив, что рефлекторные и полуавтоматические действия могут, несмотря на их целесообразность, происходить при полной бессознательности, впадают в противоположную крайность и утверждают, что целесообразность даже добровольных действий ничем не обязана тому факту, что им сопутствует сознание. Они, по мнению этих авторов, являются результатами физиологического механизма в чистом виде и просто. В одной из следующих глав мы снова вернемся к этому спору. А сейчас давайте более подробно рассмотрим мозг и те способы, которыми его состояния, как можно предположить, обуславливают состояния сознания.

НЕРВНЫЕ ЦЕНТРЫ ЛЯГУШКИ.

Как детальная анатомия, так и детальная физиология мозга - это достижения нынешнего поколения, или, скорее, мы можем сказать (начиная с Мейнерта), последних двадцати лет. Многие моменты все еще остаются неясными и вызывают споры, но общий способ представления об этом органе был достигнут со всех сторон, который в своих основных чертах кажется незыблемым, и который даже дает наиболее правдоподобную схему того, как мозговые и умственные операции идут рука об руку.

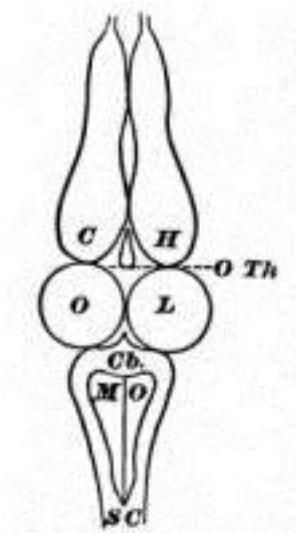


Рис. 1.- C H - полушария головного мозга; O Th - зрительные нервы; O L - зрительные доли; Cb - мозжечок; MO - продолговатый мозг; SC - спинной мозг.

Лучшим способом проникнуть в тему будет взять низшее существо, например лягушку, и изучить методом вивисекции функции ее различных нервных центров. Нервные центры лягушки изображены на прилагаемой схеме, которая не нуждается в дополнительных пояснениях. Сначала я расскажу, что происходит, когда у разных лягушек удаляется различное количество передних частей, причем так, как удаляет их обычный студент, то есть без особых предосторожностей в отношении чистоты операции. Таким образом, мы достигнем очень простого представления о функциях различных центров, с максимально возможным контрастом между полушариями мозга и нижними долями. Такая четкая концепция будет иметь дидактические преимущества, поскольку часто бывает очень поучительно начать со слишком простой формулы и впоследствии исправить ее. Наша первая формула, как мы увидим позже, должна быть несколько смягчена результатами более тщательных экспериментов как на лягушках и птицах, так и последними наблюдениями на собаках, обезьянах и человеке. Но с самого начала мы будем ясно представлять себе

некоторые фундаментальные понятия и различия, которые иначе мы не смогли бы так хорошо усвоить, и ни одно из них не будет отменено более поздним, более полным взглядом.

Если свести нервную систему лягушки только к спинному мозгу, сделав разрез за основанием черепа, между спинным мозгом и продолговатым мозгом, тем самым отрезав мозг от всякой связи с остальным телом, лягушка все равно продолжит жить, но с очень своеобразно измененной активностью. Она перестает дышать и глотать, ложится на живот и не встает, как обычная лягушка, на передние лапы, хотя задние лапы, как обычно, прижаты к телу и немедленно возвращаются в это положение, если их вытянуть. Если ее бросить на спину, она спокойно лежит, не переворачиваясь, как обычная лягушка. Локомоция и голос, кажется, полностью отменены. Если подвесить ее за нос и раздражать различные участки кожи кислотой, она совершает ряд замечательных "оборонительных" движений, рассчитанных на то, чтобы стереть раздражитель. Так, если коснуться груди, обе передние лапы будут энергично тереть ее; если коснуться внешней стороны локтя, задняя лапа той же стороны поднимется прямо к этому месту и вытрет его. Задняя часть лапы будет тереть колено, если оно подверглось нападению, а если лапу отрезать, то культя будет совершать неэффективные движения, а затем, у многих лягушек, наступит пауза, как бы для размышления, сменившаяся быстрым проходом противоположной некалеченной лапы к закисшему месту.

Самым поразительным характером всех этих движений, после их телеологической целесообразности, является их точность. У чувствительных лягушек и при соответствующем раздражении они изменяются настолько незначительно, что почти напоминают по своей машинной регулярности движения прыгуна, лапки которого должны дергаться всякий раз, когда вы дергаете за веревку. Спинной мозг лягушки, таким образом, содержит расположение клеток и волокон, приспособленных для преобразования раздражений кожи в защитные движения. Мы можем назвать его *центром оборонительных движений* у этого животного. Мы можем пойти дальше и, перерезав спинной мозг в разных местах, обнаружить, что отдельные его сегменты представляют собой независимые механизмы, обеспечивающие соответствующую деятельность головы, рук и ног соответственно. Сегмент, управляющий руками, особенно активен у самцов лягушек в период размножения; и только эти члены с относящимися к ним грудью и спиной, если все остальное отрезать, будут активно хватать палец, помещенный между ними, и оставаться висящим на нем в течение значительного времени.

Спинной мозг у других животных обладает аналогичными способностями. Даже у человека он совершает защитные движения. Параплегик подтягивает ноги, когда их щекочит; а Робин, пощекотав грудь преступника через час после обезглавливания, увидел, как рука и кисть движутся к этому месту. О низших функциях пуповины млекопитающих, так хорошо изученных Гольцем и другими, здесь не место говорить.

Если у второго животного сделать разрез сразу за зрительными долями так, чтобы мозжечок и продолговатый мозг остались прикрепленными к пуповине, то к наблюдавшимся ранее движениям добавятся глотание, дыхание, ползание, довольно слабые прыжки и плавание.^[4] Есть и другие рефлексy. Животное, брошенное на спину, сразу же переворачивается на живот. Помещенный в неглубокую миску, которая плавает на воде и вращается, он реагирует на вращение сначала поворотом головы, а затем вальсирует всем телом, в направлении, противоположном вращению миски. Если его подставка наклонена так, что голова направлена вниз, он направляет ее вверх; если она направлена вверх - вниз, если влево - вправо и т. д. Но его реакции не идут дальше этих движений головы. Он не будет, как

лягушки, чьи таламы сохранились, взбираться на доску, если ее наклонить, а соскользнет с нее на землю.

Если у другой лягушки сделать разрез между талами и зрительными долями, то локомоция как на суше, так и в воде становится совершенно нормальной, и, в дополнение к рефлексам, уже проявляющимся в нижних центрах, она регулярно квакает, когда ее щиплют за руки. Он компенсирует вращения и т.д. движениями головы, переворачивается на спину, но все равно падает с наклонной доски. Поскольку его зрительные нервы разрушены в результате обычной операции, невозможно сказать, будет ли он избегать препятствий, поставленных на его пути.

Когда, наконец, у лягушки отсекают только полушария головного мозга, делая разрез между ними и талами, который сохраняет последние, непрактичный наблюдатель сначала не заподозрит ничего ненормального в этом животном. Он не только способен, при должном побуждении, совершать все описанные действия, но и ориентируется с помощью зрения, так что если между ним и светом возникает препятствие и его заставляют двигаться вперед, он либо перепрыгивает через него, либо сворачивает в одну сторону. Он проявляет половую страсть в соответствующее время года и, в отличие от совершенно безмозглой лягушки, которая обхватывает все, что попадает ей под руку, откладывает этот рефлексорный акт до тех пор, пока не будет предоставлена самка его собственного вида. Пока, как уже говорилось, человек, незнакомый с лягушками, может не подозревать об их увечье; но даже такой человек вскоре заметит почти полное отсутствие спонтанных движений - то есть движений, не вызванных никаким *текущим* побуждением чувства. Продолжительные плавательные движения, совершаемые существом в воде, кажутся фатальным результатом контакта этой жидкости с его кожей. Они прекращаются, когда, например, палка касается его рук. Это чувствительный раздражитель, к которому ноги автоматически притягиваются рефлексорно, и на котором животное остается сидеть. Он не испытывает голода и терпит, когда муха проползает по его носу, не зацепившись за него. Страх тоже, кажется, покинул его. Одним словом, это чрезвычайно сложная машина, чьи действия, насколько это возможно, направлены на самосохранение; но все же *это машина*, в том смысле, что в ней, кажется, нет ни одного неисчислимого элемента. Применяя к нему нужный сенсорный стимул, мы почти так же уверены, что получим фиксированную реакцию, как органист слышит определенный тон, когда вытягивает определенный стоп.

Но теперь, если к нижним центрам добавить полушария головного мозга, или, другими словами, сделать предмет наших наблюдений неповрежденное животное, все изменится. В дополнение к прежним реакциям на настоящие стимулы чувства, наша лягушка теперь совершает длинные и сложные акты локомоции *спонтанно*, или как будто движимая тем, что в нашем мы должны назвать идеей. Его реакции на внешние раздражители тоже меняют свою форму. Вместо того чтобы делать простые защитные движения задними лапками, как безголовая лягушка при прикосновении, или совершать один-два прыжка, а затем сидеть неподвижно, как безполушарная, он предпринимает настойчивые и разнообразные попытки к бегству, как будто не простое прикосновение руки физиолога, а внушенное им представление об опасности стало теперь его шпорой. Руководствуясь чувством голода, он также отправляется на поиски насекомых, рыбы или более мелких лягушек, меняя свои действия в зависимости от вида жертвы. Физиолог не может, манипулируя им, вызвать кваканье, ползание по доске, плавание или остановку по своему желанию. Его поведение стало неисчислимым. Мы больше не можем точно предсказать его. Доминирующей реакцией является стремление к бегству, но он *может* делать и все остальное, даже раздуваться и становиться совершенно пассивным в наших руках.

Таковы явления, которые обычно наблюдаются, и таковы впечатления, которые человек естественно получает. Из этого непреодолимо следуют некоторые общие выводы. Прежде всего, это следующее:

В действиях всех центров задействованы одни и те же мышцы. Когда безголовая лягушка задней лапой вытирает кислоту, она задействует все мышцы ног, которые использует лягушка с полным продолговатым мозгом и мозжечком, когда переворачивается со спины на живот. Однако их сокращения в двух случаях *сочетаются* по-разному, так что результаты сильно различаются. Следовательно, мы должны заключить, что в пуповине существуют особые схемы расположения клеток и волокон для вытирания, в продолговатом мозге - для переворачивания и т. д. Точно так же они существуют в таламусе для перепрыгивания через видимые препятствия и для балансирования движущегося тела; в зрительных долях для ползания назад, или чего-либо еще. Но в полушариях, поскольку наличие этих органов *не приносит* с собой никакой новой элементарной формы движения, а лишь *по-другому определяет случаи*, когда движения должны происходить, делая обычные стимулы менее фатальными и машинообразными; мы не должны предполагать, что такой механизм, непосредственно координирующий мышечные сокращения, существует. Мы можем скорее предположить, что, когда мандат на движение вытирания посылается полушариям, ток идет прямо к устройству вытирания в спинном мозге, возбуждая это устройство в целом. Точно так же, если неповрежденная лягушка хочет перепрыгнуть через камень, который она видит, все, что ей нужно сделать, это возбудить из полушарий центр прыжков в таламусе или где бы он ни находился, и тот обеспечит детали выполнения. Это похоже на то, как генерал приказывает полковнику сделать определенное движение, но не говорит ему, как это сделать.^[5]

Одна и та же мышца, таким образом, неоднократно представлена на разных высотах; и на каждой из них она вступает в различные комбинации с другими мышцами, чтобы сотрудничать в какой-то особой форме согласованного движения. На каждой высоте движение осуществляется под воздействием определенного вида сенсорного стимула. Так, в пуповине движения вызываются только кожей; в верхней части зрительных долей к ним добавляются глаза; в таламусе, по-видимому, играют роль полукружные каналы; в то время как стимулы, вызывающие работу полушарий, представляются не столько элементарными видами ощущений, сколько группами ощущений, образующих определенные *объекты* или *вещи*. Обычные лягушки без полушарий не преследуют добычу и не избегают *врагов*. Те реакции на сложные обстоятельства, которые мы называем инстинктивными, а не рефлекторными, у этого животного уже зависят от высших долей мозга, и еще в большей степени это относится к животным, стоящим выше по зоологической шкале.

Результаты будут такими же, если вместо лягушки мы возьмем голубя и вырежем его полушария так, как их обычно вырезают для демонстрации в лекционном зале. Нет ни одного естественного для него движения, которое эта безмозглая птица не могла бы выполнить, если ее специально побудить к этому; только внутренних побуждений, кажется, не хватает, и когда он предоставлен сам себе, то большую часть времени проводит, скрючившись на земле с головой, опущенной между плеч, как будто спит.

ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЛУШАРИЯХ.

Все эти факты приводят нас, когда мы думаем о них, к такой объяснительной концепции, как эта: *Низшие центры действуют только на основе текущих чувственных стимулов; полушария действуют на основе восприятий и соображений, причем ощущения, которые они могут получать, служат лишь их подсказками. Но что такое восприятие, как не ощущения, сгруппированные вместе? И что такое соображения, как не ожидания, в воображении, ощущений, которые будут испытываться так или иначе, в зависимости от того, что действия пойдут тем или иным путем? Если я, увидев гремучую змею, отступлю от размышлений о том, насколько опасным животным она является, то умственным материалом, составляющим мое благоразумное размышление, будут более или менее яркие образы движения ее головы, внезапной боли в ноге, состояния ужаса, опухания конечности, озноба, бреда, потери сознания и т. д. и т. п., а также крушения моих надежд. Но все эти образы сконструированы из моего прошлого опыта. Они воспроизводят то, что я чувствовал или видел. Короче говоря, это отдаленные ощущения; и разницу между животным без полушарий и целым животным можно кратко выразить, сказав, что одно подчиняется отсутствующим, а другое - только присутствующим объектам.*

Полушария, как представляется, являются местом памяти. Следы прошлого опыта должны каким-то образом храниться в них и, будучи вызванными нынешними стимулами, сначала проявляться как представления далеких благ и зол, а затем разряжаться в соответствующие двигательные каналы для защиты от зла и обеспечения благ. Если уподобить нервные токи электрическим, то можно сравнить нервную систему, *С*, расположенную под полушариями, с прямой цепью от органа чувств к мышцам по линии *С ... С ... М* рис. 2. Полушарие, *Н*, добавляет длинную цепь или петлевую линию, по которой может проходить ток, когда по какой-либо причине прямая линия не используется.

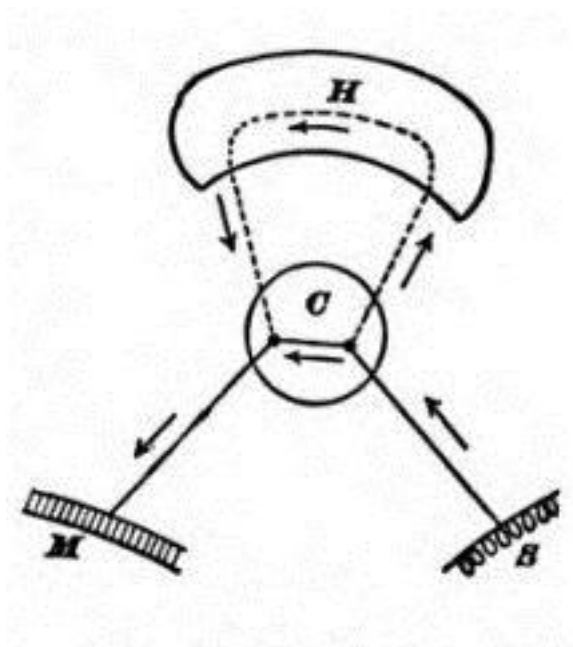


Рис. 2.

Так, уставший путник в жаркий день бросается на влажную землю под кленовым деревом. Ощущения восхитительного отдыха и прохлады, проникающие через прямую линию, естественным образом разрядились бы в мышцы полного растяжения: он предался бы опасному отдыху. Но петлевая линия открыта, часть тока по ней и пробуждает ревматические или катаральные воспоминания, которые преобладают над побуждениями чувства и

заставляют человека встать и продолжить свой путь туда, где он может насладиться отдыхом более безопасно. В дальнейшем мы рассмотрим, каким образом линия полушарий может служить резервуаром для подобных воспоминаний. А пока я попрошу читателя обратить внимание на некоторые следствия того, что она является таким резервуаром.

Во-первых, ни одно животное без него не может обдумать, сделать паузу, отложить, хорошо взвесить один мотив против другого или сравнить. Благоразумие, одним словом, для такого существа - невозможная добродетель. Соответственно, мы видим, что природа удаляет те функции, при выполнении которых благоразумие является добродетелью, из нижних центров и передает их головному мозгу. Везде, где существу приходится иметь дело со сложными особенностями окружающей среды, благоразумие является добродетелью. Так поступают высшие животные; и чем сложнее особенности, тем выше мы называем животных. *Таким* образом, чем меньше действий животное может совершить без помощи соответствующих органов. У лягушки многие действия полностью возлагаются на нижние центры, у птицы - еще меньше, у грызуна - еще меньше, у собаки - совсем мало, а у обезьян и человека - почти совсем нет.

Преимущества этого очевидны. Возьмем в качестве примера ощущение пищи и предположим, что оно является рефлекторным действием низших центров. Животное будет обречено фатально и неодолимо бросаться на нее, когда бы она ни была ему предложена, независимо от обстоятельств; оно не сможет послушаться этого побуждения так же, как вода может отказаться кипеть, когда под кастрюлей разжигают огонь. Его жизнь снова и снова будет расплачиваться за его обжорство. Возмездие, другие враги, ловушки, яды, опасность пресыщения - все это должно стать регулярной частью его существования. Отсутствие у него всякой мысли, чтобы соизмерить опасность с привлекательностью приманки, и всякого желания остаться голодным еще немного, является прямым показателем его низости на умственной шкале. И те рыбы, которые, подобно нашим воробьям и скальпинам, не успевают отбросить крючок в воду, как снова автоматически хватаются за него, вскоре искупили бы деградацию своего интеллекта вымиранием своего вида, если бы их преувеличенная плодовитость не искупала их неосмотрительность. Аппетит и побуждаемые им действия, следовательно, стали у всех высших позвоночных функциями головного мозга. Они исчезают, когда нож физиолога оставляет на месте подчиненные центры. Безмозглый голубь будет голодать, если его оставить на кукурузной куче.

Возьмем, к примеру, половую функцию. У птиц она возложена исключительно на полушария. Когда они отрезаны, голубь не обращает внимания на крики и воркование своего товарища. А Гольц обнаружил, что сука во время течки не вызывает никаких эмоций у кобелей, которые перенесли большую потерю мозговой ткани. Те, кто читал "Происхождение человека" Дарвина, знают, какое огромное значение в улучшении породы у птиц этот автор приписывает простому факту полового отбора. Половой акт не совершается до тех пор, пока не будут выполнены все условия обстоятельств и чувств, пока время, место и партнер не станут подходящими. Но у лягушек и жаб эта страсть передается нижним центрам. Поэтому они демонстрируют машинообразное послушание текущим побуждениям чувства и почти полное исключение возможности выбора. Копуляция происходит *per fas aut nefas*, иногда между самцами, часто с мертвыми самками, в лужах, выставленных на шоссе, причем самец может быть разрублен надвое, не выпустив своей хватки. Каждую весну только по этим причинам происходит огромное жертвоприношение батраков.

Никому не нужно объяснять, насколько зависит социальное возвышение человека от распространенности целомудрия. Едва ли какой-либо фактор в большей степени измеряет разницу между цивилизацией и варварством. В физиологическом смысле целомудрие

означает не что иное, как то, что настоящие побуждения чувств преобладают над внушениями эстетической и моральной пригодности, которые обстоятельства пробуждают в головном мозге; и что только от их тормозящего или разрешающего влияния напрямую зависит действие.

В психической жизни, обусловленной самим мозгом, существует то же общее различие между соображениями непосредственными и соображениями отдаленными. Во все века считалось, что человек, чьи решения направлены на достижение самых отдаленных целей, обладает самым высоким интеллектом. Бродяга, живущий от часа к часу; богема, чьи дела идут от дня к дню; холостяк, строящий только для одной жизни; отец, действующий для другого поколения; патриот, думающий о целом обществе и многих поколениях; и, наконец, философ и святой, чьи заботы - о человечестве и вечности, - все они находятся в непрерывной иерархии, где каждый последующий уровень является результатом усиления проявления особой формы действия, по которой мозговые центры отличаются от всех нижележащих.

В "петлевой линии", вдоль которой, как предполагается, лежат воспоминания и идеи дальнего мира, действие, в той мере, в какой оно является физическим процессом, должно интерпретироваться по типу действия в низших центрах. Если рассматривать его здесь как рефлекторный процесс, то он должен быть рефлекторным и там. Ток в обоих местах уходит в мышцы только после того, как он сначала вошел в них; но в то время как путь, по которому он уходит, определяется в нижних центрах отражениями, немногочисленными и фиксированными среди клеточных перестроек, в полушариях отражения многочисленны и непостоянны. Это, как мы увидим, является лишь разницей в степени, а не в роде, и не меняет типа рефлекса. Концепция всех действий как соответствующих этому типу является фундаментальной концепцией современной нервной физиологии. Вот и вся наша общая предварительная концепция нервных центров! Давайте определим ее более четко, прежде чем мы увидим, насколько хорошо физиологические наблюдения подтвердят ее в деталях.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУШАРИЙ.

Нервные токи проходят через органы чувств и, вызывая рефлекторные акты в нижних центрах, вызывают в полушариях идеи, которые либо разрешают данные рефлексы, либо сдерживают их, либо заменяют их другими. Все идеи в конечном счете являются реминисценциями, поэтому необходимо ответить на вопрос: *как в полушариях могут быть организованы процессы, соответствующие реминисценциям в сознании?*^[6]

Нет ничего проще, чем представить себе *возможный* способ, с помощью которого это можно сделать, при условии, что будут приняты четыре допущения. Эти предположения (которые, в конце концов, неизбежны в любом случае) таковы:

- 1) Тот же самый мозговой процесс, который, будучи вызван извне органом чувств, дает восприятие объекта, даст *представление* о том же самом объекте, будучи вызван изнутри другими мозговыми процессами.
- 2) Если процессы 1, 2, 3, 4 однажды были вызваны вместе или в непосредственной последовательности, любое последующее возбуждение любого из них (извне или изнутри) будет иметь тенденцию вызывать остальные в первоначальном порядке. (Это так называемый закон ассоциации).

- 3) Каждое сенсорное возбуждение, переданное в нижний центр, имеет тенденцию распространяться вверх и вызывать идею.
- 4) Каждая идея в конечном счете стремится либо произвести движение, либо сдержать то, которое в противном случае было бы произведено.

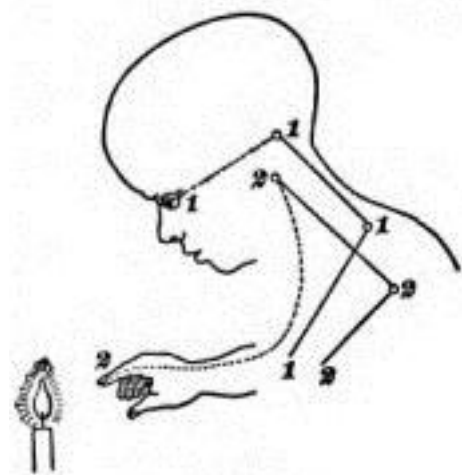


Рис. 3.

Предположим, что перед нами ребенок, который впервые видит пламя свечи и, в силу рефлекторной тенденции, характерной для детей определенного возраста, протягивает руку, чтобы схватить его, в результате чего его пальцы обжигаются. Пока что мы имеем два рефлекторных тока: первый - от глаза к движению вытягивания, по линии 1-1-1-1 на рис. 3; второй - от пальца к движению отведения руки назад, по линии 2-2-2-2. Если бы это была вся нервная система ребенка и если бы рефлексы были раз и навсегда органическими, мы не имели бы никаких изменений в его поведении, как бы часто ни повторялся этот опыт. Изображение пламени на сетчатке глаза всегда заставляло бы руку вытягиваться вперед, а обжигание пальца - возвращаться назад. Но мы знаем, что "обожженный ребенок боится огня", и что один опыт обычно защищает пальцы навсегда. Главное - увидеть, как полушария могут привести к такому результату.

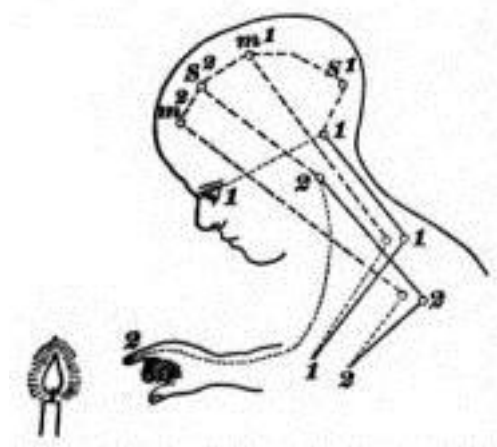


Рис. 4: Пунктирные линии обозначают афферентные пути, прерывистые - пути между центрами, целые - эфферентные пути.

Мы должны усложнить нашу схему (см. рис. 4). Пусть ток 1-1 от глаза, достигнув нижнего центра зрения, направляется как вверх, так и вниз и вызывает в полушариях процесс восприятия s^1 ; пусть ощущение разгибания руки также посылает вверх ток, который оставляет за собой след, m^1 ; пусть обожженный палец оставляет аналогичный след, $s^{(2)}$; и пусть движение отдергивания оставляет m^2 . Эти четыре процесса теперь, в силу предположения 2), будут связаны между собой путем $s^{(1)}-m^{(1)}-s^{(2)}-m^2$, идущим от первого к последнему, так что если что-либо затронет s^1 , то идеи удлинения, обожженного пальца и вытягивания будут проходить в сознании быстрой чередой. Легко представить себе, как это отразится на поведении ребенка, когда ему в следующий раз покажут пламя свечи. Конечно, вид его вызывает хватательный рефлекс; но одновременно с ним возникает мысль о нем, о последующей боли и об окончательном отдергивании руки; и если эти мозговые процессы преобладают по силе над непосредственными ощущениями в нижележащих центрах, то последняя мысль станет сигналом, по которому будет выполнено окончательное действие. Хватание будет остановлено в середине карьеры, рука отведена назад, а пальцы ребенка спасены.

При всем этом мы исходим из того, что полушария не связывают *врожденно* какое-либо конкретное чувственное впечатление с каким-либо особым двигательным разрядом. Они лишь регистрируют и сохраняют следы таких сопряжений, которые уже организованы в рефлекторных центрах, расположенных ниже. Но это неизбежно приводит к тому, что, когда цепь впечатлений уже зарегистрирована и первое звено вновь подвергается воздействию извне, последнее звено часто пробуждается в *идее* задолго до того, как оно может существовать в *действительности*. И если это последнее звено ранее было связано с движением, то теперь это движение может возникнуть из простого идеального предположения, не дожидаясь, пока возникнет реальное впечатление. Таким образом, животное с полушариями действует в *предвидении* будущих вещей; или, если воспользоваться нашей предыдущей формулой, оно действует из соображений отдаленного добра и зла. Если мы дадим название *партнеров* первоначальным соединениям впечатлений с движениями рефлекторным способом, то мы можем сказать, что функция полушарий состоит в том, чтобы просто осуществлять *обмен между партнерами*. Движение m^n , которое изначально является партнером ощущения s^n , через полушария становится партнером ощущения s^1 , s^2 или s^3 . Это похоже на большой коммутатор на центральной телефонной станции. Здесь нет ни одного нового элементарного процесса, ни одного впечатления, ни одного движения, свойственного полушариям, но есть множество комбинаций, невозможных только для низших механизмов, и бесконечное последующее увеличение возможностей поведения существа.

Все это, как простая схема, [7] настолько ясно и настолько согласуется с общим видом фактов, что почти навязывает нам свою веру; но это все, что угодно, но не ясно в деталях. Физиология мозга последних лет с огромными усилиями пыталась разработать пути, по которым происходят эти соединения ощущений с движениями, как в полушариях, так и в центрах, расположенных ниже.

Поэтому мы должны проверить нашу схему на фактах, обнаруженных в этом направлении. Я думаю, что, приняв их все во внимание, мы придем к выводу, что схема, вероятно, делает нижние центры слишком машиноподобными, а полушария - недостаточно машиноподобными, и, следовательно, должна быть немного смягчена. Об этом я могу сказать заранее. Между тем, прежде чем погрузиться в детали, которые нас ожидают, мы

несколько проясним наши представления, если противопоставим современный взгляд на этот вопрос *френологической* концепции, которая совсем недавно предшествовала ему.

ФРЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

В определенном смысле Галл был первым, кто попытался подробно объяснить, как мозг может обеспечивать наши умственные операции. Его путь был слишком прост. Он принял факультет психологии как свой ультиматум в отношении психики и не проводил дальнейшего психологического анализа. Везде, где он находил индивида с какой-либо ярко выраженной чертой характера, он осматривал его голову; и если он обнаруживал, что последняя выделяется в определенной области, он без лишних слов говорил, что эта область является "органом" данной черты или способности. Черты были очень разнообразны: одни были простыми ощущениями, такими как "вес" или "цвет"; другие - инстинктивными склонностями, такими как "алиментарность" или "дружелюбие"; третьи - сложными результатами, такими как "совестливость", "индивидуальность". Френология быстро впала в уныние среди ученых, потому что наблюдения показали, что большие способности и большие "шишки" могут не сосуществовать; потому что схема Галла была настолько обширной, что вряд ли допускала точное определение - кто из нас может сказать даже о своих собственных братьях, хорошо ли развито у них восприятие *веса* и *времени* или нет?-потому что последователи Галла и Шпурцгейма не смогли исправить эти ошибки в сколько-нибудь заметной степени; и, наконец, потому что весь анализ способностей был туманным и ошибочным с психологической точки зрения. Популярность профессора этой науки, тем не менее, продолжают вызывать восхищение у публики; и нет сомнений, что френология, как бы мало она ни удовлетворяла наше научное любопытство относительно функций различных частей мозга, все же может быть, в руках умных практиков, полезной помощью в искусстве чтения характера. Крючковатый нос и твердая челюсть обычно являются признаками практической энергии; мягкие, нежные руки - признаками утонченной чувствительности. Даже в этом случае выдающийся глаз может быть признаком власти над языком, а бычья шея - признаком чувственности. Но мозг, стоящий за глазом и шеей, не в большей степени должен быть *органом* означенной способности, чем челюсть - органом воли или рука - органом утонченности. Однако эти взаимосвязи между разумом и телом настолько часты, что "характеры", которые дают френологи, часто поражают своей осведомленностью и проницательностью.

Френология вряд ли делает больше, чем просто переформулирует проблему. Отвечая на вопрос "Почему я люблю детей?", мы говорим: "Потому что у вас большой орган филопрогеничности", но при этом переименовываем феномен, который нужно объяснить. Что *такое* моя филопрогредентность? Из каких психических элементов она состоит? И как часть мозга *может* быть ее органом? Наука о разуме должна свести такие сложные проявления, как "филопрогенитивность", к их *элементам*. Наука о мозге должна указать на функции *его* элементов. Наука о взаимоотношениях разума и мозга должна показать, как элементарные составляющие первого соответствуют элементарным функциям второго. Но френология, за исключением случайных совпадений, вообще не принимает во внимание элементы. Ее "факультеты", как правило, представляют собой полностью экипированных людей в определенной психической установке. Возьмем, к примеру, "факультет" языка. Он включает в себя в реальности множество различных способностей. Сначала мы должны иметь образы конкретных вещей и представления об абстрактных качествах и отношениях; затем мы должны обладать памятью на слова, а затем способностью так ассоциировать каждую идею или образ с определенным словом, чтобы, когда мы слышим это слово, идея сразу же входила в наш разум. И наоборот, как только в нашем сознании возникает идея, мы

должны связать с ней мысленный образ слова, и с помощью этого образа мы должны иннервировать наш артикуляционный аппарат, чтобы воспроизвести слово в виде физического звука. Чтобы читать или писать на языке, необходимо привнести другие элементы. Но очевидно, что один только навык разговорного языка настолько сложен, что задействует почти все элементарные способности, которыми обладает разум: память, воображение, ассоциации, суждения и волю. Часть мозга, способная быть адекватным местом для такого факультета, должна быть целым мозгом в миниатюре, - точно так же, как сам факультет на самом деле представляет собой конкретизацию всего человека, своего рода гомункулус.

И все же именно такими гомункулами по большей части являются френологические органы. Как говорит Ланге:

"Мы имеем парламент маленьких человечков, каждый из которых, как это бывает и в настоящем парламенте, обладает лишь одной идеей, которую он непрестанно стремится сделать господствующей" - доброжелательность, твердость, надежда и прочее. "Вместо одной души френология дает нам сорок, каждая из которых настолько загадочна, насколько может быть загадочной вся совокупность психической жизни. Вместо того чтобы разделить ее на действенные элементы, она делит ее на личностные существа особого характера.... "Герр пастор, а внутри обязательно должна быть лошадь, - взывали крестьяне к Иксу после того, как их духовный пастырь часами объяснял им устройство локомотива. С лошадью внутри действительно все становится понятным, даже если это довольно странная разновидность лошади - сама лошадь не требует объяснений! Френология начинает с того, что пытается выйти за пределы точки зрения призрачной душевной сущности, но заканчивает тем, что заселяет весь череп призраками того же порядка".[8]

Современная наука представляет себе этот вопрос совершенно иначе. *Мозг и разум состоят из простых элементов, сенсорных и моторных.* "Все нервные центры, - говорит доктор Хьюлингс Джексон,[9] , - от самых низких до самых высоких (субстраты сознания), состоят не из чего иного, как из нервных механизмов, представляющих впечатления и движения..... Я не вижу, из каких других материалов может быть сделан мозг". Мейнерт представляет дело аналогичным образом, когда называет кору полушарий поверхностью проекции для каждой мышцы и каждой чувствительной точки тела. Мышцы и чувствительные точки *представлены* каждая своей кортикальной точкой, а мозг есть не что иное, как сумма всех этих кортикальных точек, которым, с психической стороны, соответствует столько же *идей. Идеи ощущений, идеи движения* - это, с другой стороны, *те элементарные факторы, из которых ассоцианисты в психологии строят разум.* Между этими двумя анализами существует полный параллелизм, одна и та же схема из маленьких точек, кругов или треугольников, соединенных линиями, одинаково хорошо символизирует мозговые и ментальные процессы: точки обозначают клетки или идеи, линии - волокна или ассоциации. Позже нам придется критиковать этот анализ в той мере, в какой он относится к разуму; но несомненно, что это очень удобная и полезная гипотеза, формулирующая факты чрезвычайно естественным образом.

Если, таким образом, мы признаем, что моторные и сенсорные идеи, различным образом ассоциированные, являются материалами ума, то все, что нам нужно сделать, чтобы получить полную схему отношений ума и мозга, это установить, какая сенсорная идея соответствует какой сенсорной поверхности проекции, а какая моторная идея - какой мышечной поверхности проекции. Тогда ассоциации будут соответствовать фиброзным

связям между различными поверхностями. Эта отчетливая *мозговая локализация* различных элементарных видов идей рассматривалась как "постулат" многими физиологами (например, Мунком); и самым острым спором в нервной физиологии, который наблюдало нынешнее поколение, был *вопрос о локализации*.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ В ПОЛУШАРИЯХ.

До 1870 г. преобладало мнение, которое было обосновано экспериментами Флуренса на мозге голубей, а именно, что различные функции полушарий не были локально разделены, а осуществлялись каждая с помощью всего органа. Однако Хитциг в 1870 году показал, что в мозге собаки высокоспециализированные движения могут быть вызваны электрическим раздражением определенных участков коры; а Феррье и Мунк полдюжиной лет спустя, похоже, доказали, либо раздражением, либо иссечением, либо тем и другим, что существуют одинаково определенные участки, связанные с чувствами зрения, осязания, слуха и обоняния. Особые сенсорные локализации Мунка, однако, не совпадали с локализациями Феррье; а Гольц, основываясь на своих экспериментах по экстирпации, пришел к выводу, отрицательно относящемуся к строгой локализации любого рода. Спор еще не закончен. Я не буду претендовать на то, чтобы рассказать о нем больше с исторической точки зрения, но дам краткий отчет о том, в каком состоянии находятся дела в настоящее время.

Одно, что *совершенно* точно установлено, это то, что "центральные" свертки, по обе стороны от расщелины Роландо, и (по крайней мере, у обезьяны) каллозо-маргинальная свертка (которая непрерывна с ними на мезиальной поверхности, где одно полушарие приложено к другому), образуют область, через которую проходят все двигательные стимулы, выходящие из коры, на пути к тем исполнительным центрам в области понса, продолговатого и спинного мозга, из которых мышечные сокращения разряжаются в последнюю очередь. Существование этой так называемой "моторной зоны" подтверждается последовательно приведенными ниже доказательствами:

(1) *Раздражение коры головного мозга.* Электрические токи небольшой силы, приложенные к поверхности указанных извилин у собак, обезьян и других животных, вызывают вполне определенные движения морды, передних и задних конечностей, хвоста или туловища, в зависимости от того, какая точка поверхности раздражается. Эти движения почти всегда затрагивают сторону, противоположную раздражению мозга: Если возбуждается левое полушарие, то движется правая нога, сторона лица и т.д. Все возражения, которые сначала выдвигались против достоверности этих экспериментов, были преодолены. Движения, конечно, не вызваны раздражением основания мозга нисходящим распространением тока, так как: а) механические раздражения вызывают их, хотя и не так легко, как электрические; б) перемещение электродов в точку, расположенную близко к поверхности, изменяет движения таким образом, который совершенно необъясним при изменении физического проведения тока; в) если корковый "центр" определенного движения перерезать острым ножом, но оставить *на месте*, то, хотя электрическая проводимость физически не изменилась в результате операции, физиологическая проводимость исчезла, и токи той же силы больше не производят тех движений, которые они производили; г) интервал времени между приложением электрического стимула к коре и возникающим движением такой, каким он был бы, если бы кора действовала физиологически, а не просто физически при передаче раздражения. Хорошо известно, что, когда нервный ток проходит через спинной мозг, чтобы возбудить мышцу рефлекторным действием, время его прохождения больше, чем если бы он проходил непосредственно по двигательному нерву: клеткам спинного мозга требуется определенное время для разрядки. Точно так же, когда стимул подается

непосредственно на кору головного мозга, мышца сокращается на две-три сотых секунды позже, чем когда место на коре отрезается и электроды прикладываются к белым волокнам внизу.[10]

(2) *Кортикальные абляции.* Когда у собаки иссекают участок коры, который, как выяснилось, вызывает движение передней лапы (см. участок 5 на рис. 5), эта лапа становится особенно уязвимой. Сначала она кажется парализованной. Вскоре, однако, она начинает использоваться вместе с другими ногами, но плохо. Животное не переносит на нее свой вес, позволяет ей опираться на спинную поверхность, стоит, переступая другой ногой, не убирает ее, если она свисает через край стола, не может больше "дать лапу" по команде, если могло это сделать до операции, не использует ее для царапания земли или удержания кости, как раньше, позволяет ей выскользывать при беге по гладкой поверхности или когда трясет себя, и т.д. и т.п. Чувствительность всех видов кажется сниженной, так же как и подвижность, но об этом я расскажу позже. Кроме того, собака склонна при волевым движениям отклоняться в сторону от очага поражения мозга, вместо того чтобы идти прямо вперед. Все эти симптомы постепенно уменьшаются, так что даже при очень тяжелом поражении мозга собака может быть внешне неотличима от здоровой через восемь-десять недель. Тем не менее, при легкой хлороформизации нарушения воспроизводятся даже тогда. В движениях наблюдается атаксическая несогласованность - собака высоко поднимает передние лапы и опускает их с большей силой, чем обычно, но это не обычное отсутствие координации. Не наблюдается и паралича. Сила любых движений велика как никогда - собаки с обширным разрушением двигательной зоны могут прыгать так же высоко и кусать так же сильно, как и раньше, но они, кажется, *менее легко двигаются*, чтобы сделать *что-либо* с пораженными частями. Доктор Лёб, который изучал двигательные нарушения у собак тщательнее, чем кто-либо другой, считает, что они *в массе своей* являются следствием повышенной инерции всех процессов иннервации в сторону, противоположную поражению. Все такие движения требуют неоправданных усилий для их выполнения, а когда прилагаются только обычные усилия, они отстают в эффективности.[11]

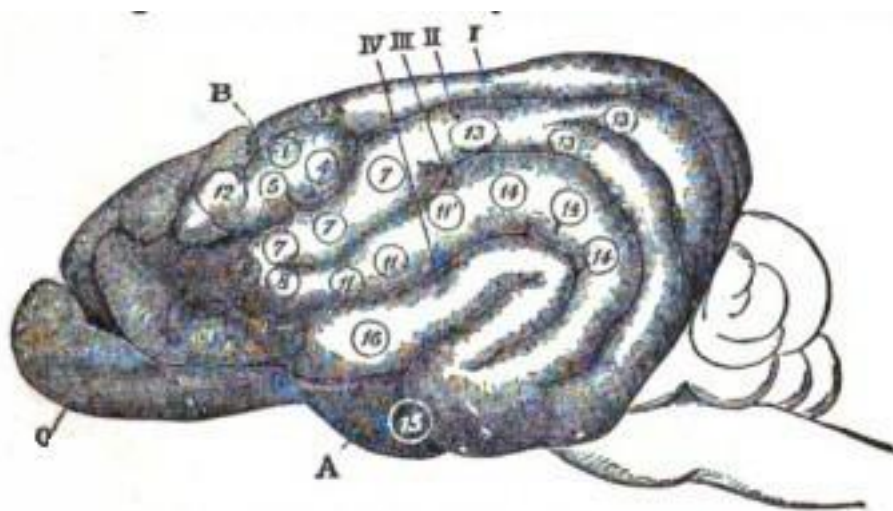


Рис. 5.- Левое полушарие мозга собаки, по Ферьеру. А, расщелина Сильвиуса. Б - крестцовая борозда. О - обонятельная луковица. I, II, III, IV обозначают первую, вторую, третью и четвертую наружные извилины соответственно. (1), (4) и (5) - *сигмовидная* извилина.

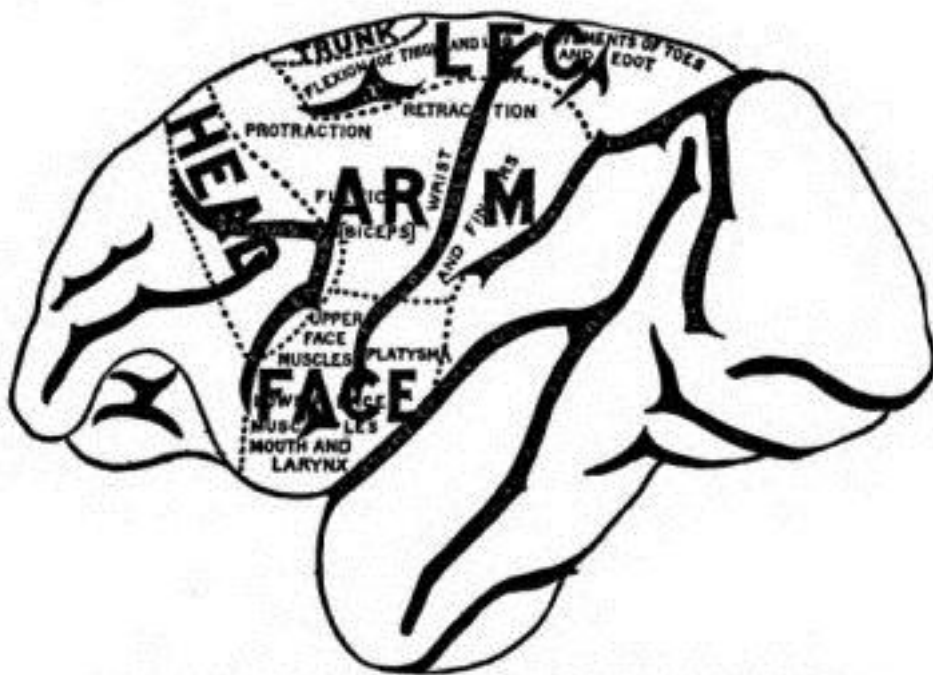


Рис. 6.- Левое полушарие мозга обезьяны. Внешняя поверхность.

Даже при удалении всей двигательной зоны у собаки не наступает стойкого паралича какой-либо части, а лишь возникает любопытная относительная инертность при сравнении двух сторон тела, которая становится едва заметной по прошествии нескольких недель.

Профессор Гольц описал собаку, у которой было разрушено все левое полушарие, а правая половина тела сохраняла лишь небольшую двигательную инертность. В частности, он мог использовать правую лапу для удержания кости во время ее разгрызания или для того, чтобы дотянуться до куска мяса. Если бы его научили давать лапу перед операциями, было бы любопытно посмотреть, вернется ли и эта способность. Его тактильная чувствительность была постоянно снижена на правой стороне.[12] У обезьян после абляции коры головного мозга в двигательной области наступает настоящий паралич. Этот паралич затрагивает части тела, которые меняются в зависимости от удаленных частей мозга. Противоположная рука или нога обезьяны висит без движения или, в крайнем случае, принимает небольшое участие в сопутствующих движениях. Когда вся область удалена, возникает настоящая и постоянная гемиплегия, при которой рука страдает больше, чем нога; и за этим спустя несколько месяцев следует контрактура мышц, как у человека после хронической гемиплегии.[13] По данным Шефера и Хорсли, мышцы туловища также становятся парализованными после разрушения краевой свертки с обеих сторон (см. рис. 7). Эти различия между собаками и обезьянами показывают, насколько опасно делать общие выводы из экспериментов, проведенных на каком-либо одном виде животных. Я прилагаю рисунки, приведенные последними авторами, на которых изображены двигательные области мозга обезьяны.[14]

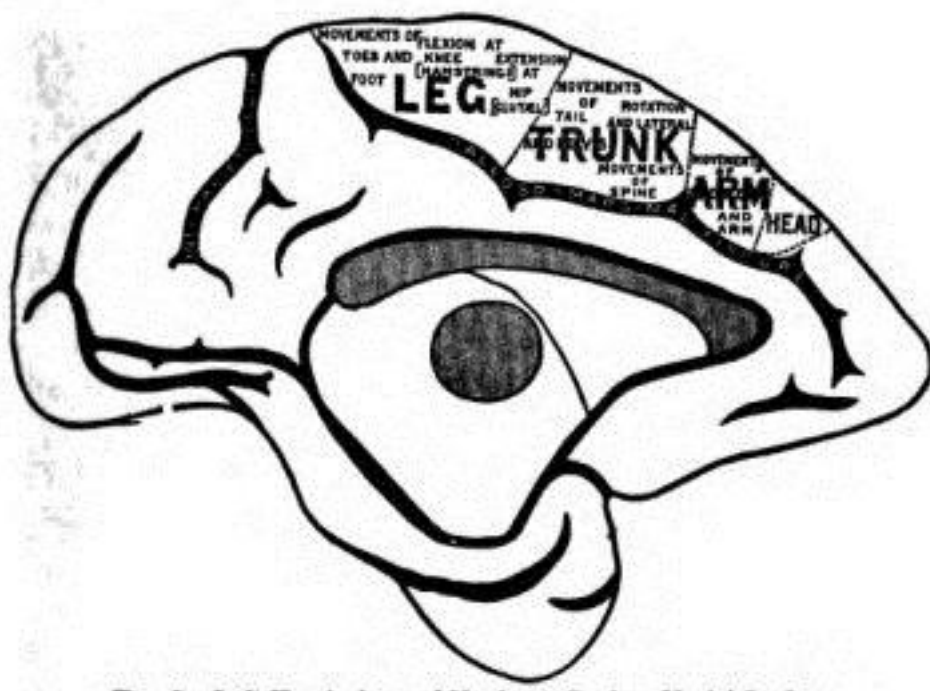


Рис. 7.- Левое полушарие мозга обезьяны. Мезиальная поверхность.

У человека мы неизбежно сводимся к посмертному наблюдению за абберациями коры, возникшими в результате несчастного случая или болезни (опухоль, кровоизлияние, размягчение и т. д.). В течение жизни результатом таких состояний является либо локализованный спазм, либо паралич определенных мышц противоположной стороны. Участки коры головного мозга, которые неизменно приводят к таким результатам, гомологичны тем, которые мы только что изучали у собаки, кошки, обезьяны и т. д. На рис. 8 и 9 показан результат 169 случаев, тщательно изученных Экснером. Заштрихованные участки - это области, где повреждения *не* привели к нарушению двигательной активности. Те участки, которые остались белыми, наоборот, никогда не повреждались без двигательных нарушений того или иного рода. Если повреждение коркового вещества у человека глубокое, паралич становится постоянным и сменяется мышечной ригидностью в парализованных частях, как это может быть у обезьяны.

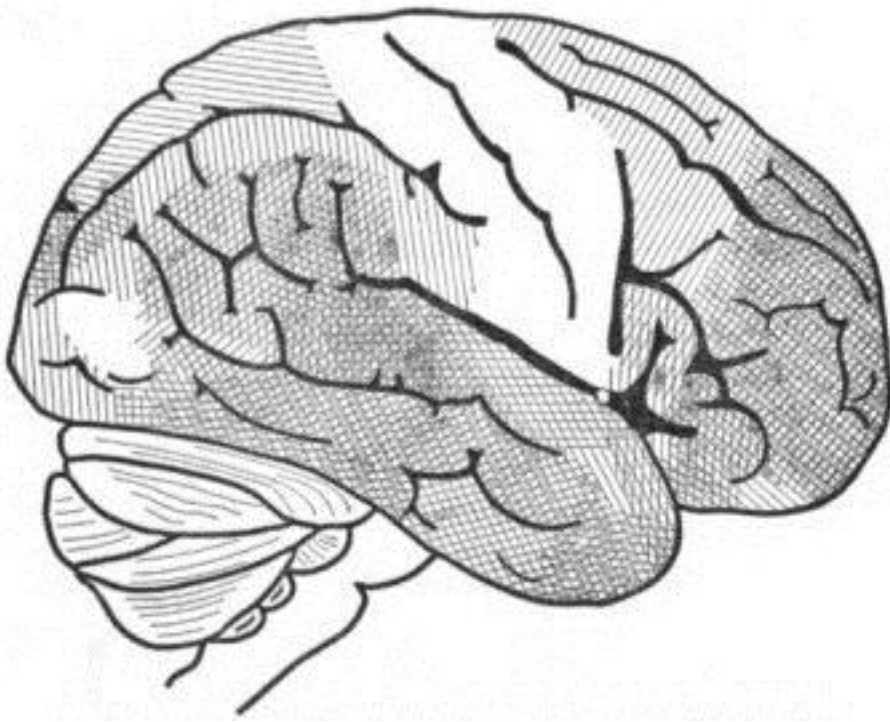


Рис. 8.- Правое полушарие головного мозга человека. Латеральная поверхность.

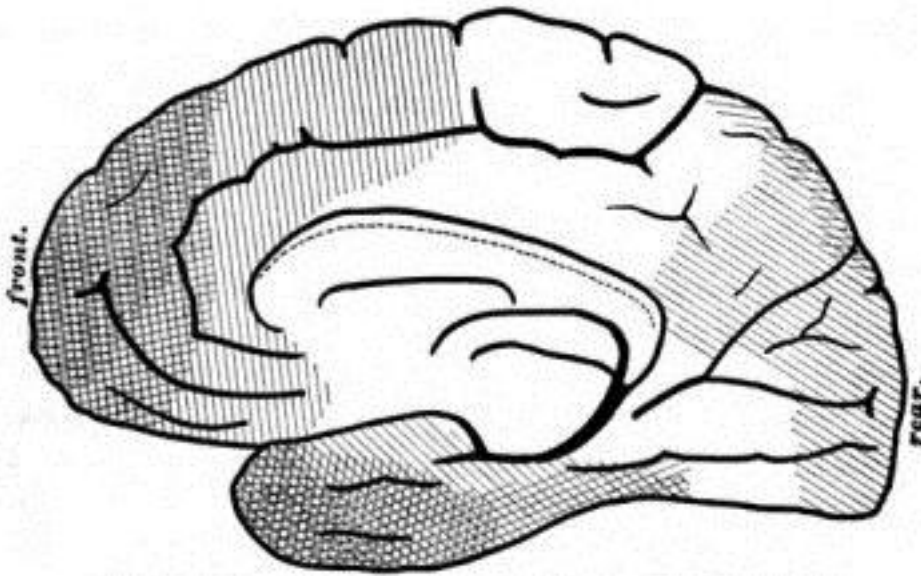


Рис. 9.- Правое полушарие головного мозга человека. Мезиальная поверхность.

(3) *Нисходящие дегенерации* показывают тесную связь роландических областей коры с двигательными путями шнура. Когда, как у человека, так и у низших животных, эти области разрушаются, обнаруживается своеобразное дегенеративное изменение, известное как вторичный склероз, которое распространяется вниз по белому волокнистому веществу мозга совершенно определенным образом, затрагивая определенные четкие нити, которые проходят через внутреннюю капсулу, *crua* и *pons*, в передние пирамиды продолговатого мозга, а оттуда (частично переходя на другую сторону) вниз в передние (прямые) и боковые (перекрещенные) столбы спинного мозга.

(4) *Анатомическое доказательство* непрерывности роландических областей с этими двигательными колоннами шнура также четко представлено. Пирамиденбан" Флексига представляет собой непрерывную нить (отчетливо прослеживаемую у человеческих эмбрионов, пока ее волокна не приобрели белую "медуллярную оболочку"), проходящую вверх от пирамид продолговатого мозга и пересекающую внутреннюю капсулу и лучистый венец до рассматриваемых свертков (рис. 10). Ни одно из нижних отделов серого вещества мозга, по-видимому, не имеет никакой связи с этой важной волокнистой нитью. Она проходит непосредственно от коры головного мозга к двигательным механизмам в шнуре, зависящим для своего правильного питания (как показывают факты дегенерации) от влияния клеток коры, так же как двигательные нервы зависят для своего питания от клеток спинного мозга. Электрическая стимуляция этой двигательной нити в любой доступной части ее курса была показана на собаках для производства движений, аналогичных тем, которые вызывает возбуждение поверхности коры головного мозга.

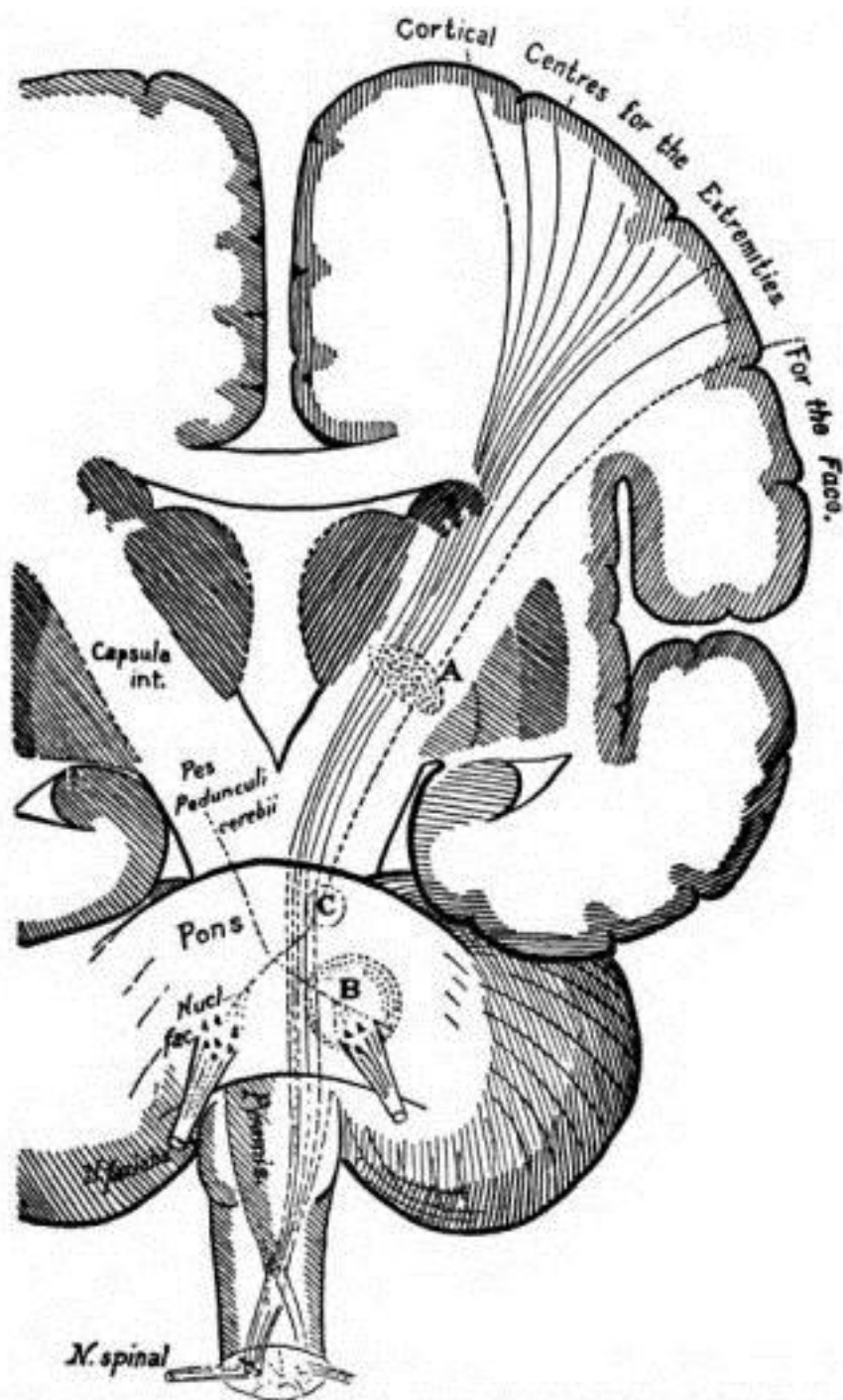


Рис. 10. Схематический поперечный разрез мозга с изображением двигательной нити - по Эдингеру.

Одним из наиболее поучительных доказательств локализации моторики в коре головного мозга является заболевание, которое сейчас называется афемией, или *моторной афазией*. При моторной афазии не происходит ни потери голоса, ни паралича языка или губ. Голос пациента силен, как никогда, и все иннервации гипоглоссального и лицевого нервов, за исключением тех, которые необходимы для речи, могут продолжаться совершенно нормально. Он может смеяться, плакать и даже петь; но он либо вообще не может произнести ни одного слова, либо его единственную речь составляют несколько бессмысленных фраз, либо он говорит бессвязно и путано, неправильно произнося, неправильно расставляя и употребляя слова в разной степени. Иногда его речь представляет собой просто бульон из нечленораздельных слогов. В случаях чистой моторной афазии пациент осознает свои ошибки и остро страдает от них. Всякий раз, когда пациент умирает в подобном состоянии и удастся провести исследование его мозга, оказывается, что самая нижняя лобная извилина (см. рис. 11) является местом повреждения. Впервые этот факт заметил Брока в 1861 году, и с тех пор эта извилина носит название "свертка Брока". У правой повреждение обнаруживается в левом полушарии, а у левой - в правом. Большинство людей, по сути, являются левополушарными, то есть все их тонкие и специализированные движения переданы в ведение левого полушария. Обычная праворукость для таких движений - лишь следствие этого факта, следствие, которое проявляется внешне из-за обширной декуссии волокон, благодаря которой большинство из них из левого полушария переходит только в правую половину тела. Но левополушарность может существовать в равной степени и не проявляться внешне. Это может произойти там, где органы с обеих сторон тела могут управляться левым полушарием; и именно такой случай, по-видимому, предлагают голосовые органы, в той очень тонкой и особой моторной службе, которую мы называем речью. Любое полушарие может иннервировать их на двусторонней основе, так же как и мышцы туловища, ребер и диафрагмы. Однако в отношении особых движений речи, как видно (из фактов афазии), левое полушарие у большинства людей привычно берет на себя исключительную ответственность. Если это полушарие выведено из строя, речь не может быть реализована; даже если противоположное полушарие все еще присутствует для выполнения менее специализированных действий, таких как различные движения, необходимые при приеме пищи.

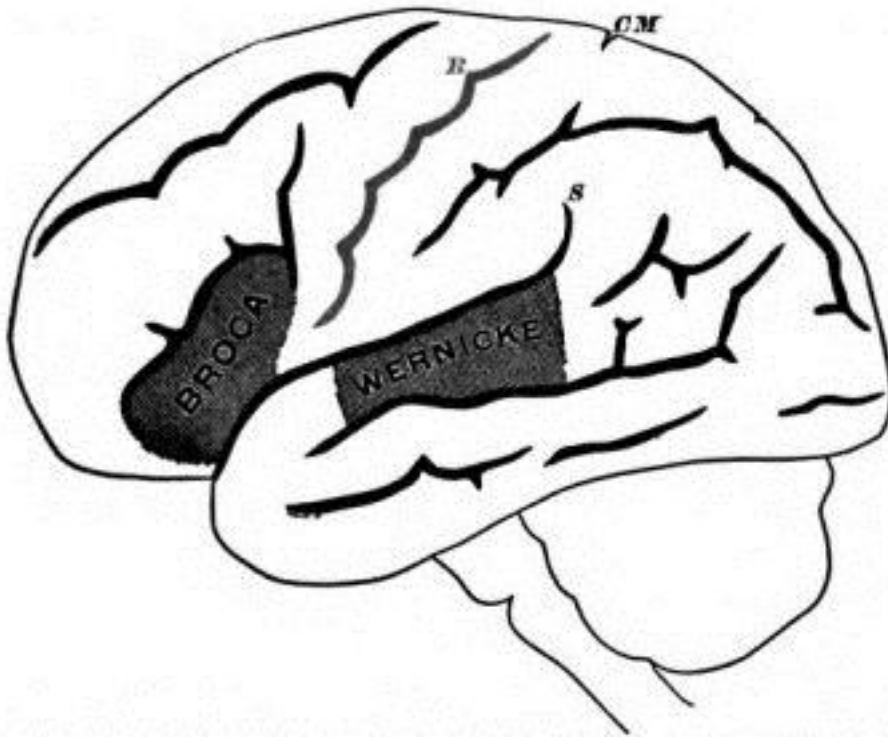


Рис. 11.- Схематический профиль левого полушария с заштрихованными частями, разрушение которых вызывает моторную ("Брока") и сенсорную ("Вернике") афазию.

Можно заметить, что область Брока гомологична тем частям, которые, как было установлено, производят движения губ, языка и гортани при возбуждении электрическим током у обезьян (см. рис. 6). Таким образом, есть все основания полагать, что двигательные импульсы к этим органам покидают мозг через нижнюю лобную область.

Жертвы моторной афазии обычно страдают и другими расстройствами. Одно из них, которое нас интересует в этой связи, называется *аграфией*: они утрачивают способность *писать*. Они могут читать и понимать написанное, но либо вообще не могут пользоваться пером, либо допускают вопиющие ошибки при письме. Место поражения здесь определено менее точно из-за недостаточного количества хороших случаев, на основании которых можно сделать вывод.^[15] Однако несомненно, что оно (у правшей) находится на левой стороне, и мало сомнений в том, что оно состоит из элементов кисти и руки, специализированных для этой функции. Симптом может существовать, когда рука почти или совсем не приспособлена для других целей. Если симптом не проходит, пациент обычно тренирует свое правое полушарие, то есть учится писать левой рукой. В других случаях, о которых мы расскажем несколько позже, пациент может писать как спонтанно, так и под диктовку, но не может *прочитать* даже то, что написал сам! Все эти явления теперь довольно ясно объясняются отдельными мозговыми центрами для различных чувств и движений и трактами для их объединения. Но их подробное обсуждение относится скорее к медицине, чем к общей психологии, и я могу использовать их здесь только для иллюстрации принципов моторной локализации.^[16] О зрении и слухе я расскажу немного больше.

Различные линии доказательств, которые я привел, убедительно подтверждают положение о том, что *все двигательные импульсы, которые покидают кору головного мозга, у здоровых животных выходят из извилин около расщелины Роландо*.

Однако когда дело доходит до определения того, что именно участвует в выходе двигательного импульса из коры головного мозга, все становится еще более туманным. Начинается ли импульс независимо от данных извилин, или он начинается в другом месте и просто проходит через них? И какой конкретной фазе психической активности соответствует деятельность этих центров? Мнения и авторитеты здесь расходятся, но прежде чем вникать в эти более глубокие аспекты проблемы, лучше бросить взгляд на факты, которые были установлены относительно отношений коры головного мозга к зрению, слуху и обонянию.

Зрение.

Ферьер был первым в этой области. Он обнаружил, что при возбуждении *угловой* извилины (лежащей между "внутриременной" и "наружной затылочной" щелями и огибающей вершину щели Сильвиуса, рис. 6) у обезьян происходят движения глаз и головы, как будто для зрения; и что при ее уничтожении наступает полная и постоянная слепота противоположного глаза, как он предполагал. Мунк почти сразу же объявил, что полная и постоянная слепота наступает после разрушения *затылочной доли* у обезьян, а также у собак, и заявил, что угловая извилина не имеет никакого отношения к зрению, а является лишь центром тактильной чувствительности глазного яблока. Абсолютный тон Ханка в отношении своих наблюдений и его теоретическая самонадеянность привели к его гибели как авторитета. Но он сделал две вещи, имеющие непреходящую ценность. Он первым провел различие между сенсорной и *психической* слепотой и описал феномен *восстановления* зрительной функции после ее первого нарушения в результате операции, а также первым обратил внимание на *гемиопический* характер зрительных нарушений, возникающих при повреждении только одного полушария. Сенсорная слепота - это абсолютная нечувствительность к свету; психическая слепота - неспособность распознать *смысл* оптических впечатлений, как, например, когда мы видим страницу китайского шрифта, но она ни о чем нам не говорит. Гемиопическое нарушение зрения - это такое нарушение, при котором ни одна из сетчаток не поражена полностью, но при котором, например, левая часть *каждой* сетчатки слепа, так что животное не видит ничего, расположенного в пространстве справа от него. Более поздние наблюдения подтвердили этот гемиопический характер всех нарушений зрения при повреждении одного полушария у высших животных; и вопрос о том, является ли кажущаяся слепота животного сенсорной или только психической, со времен первых публикаций Мунка стал самым насущным во всех наблюдениях, касающихся функции зрения.

Гольц почти одновременно с Феррье и Мунком сообщил об экспериментах, которые заставили его отрицать, что зрительная функция по существу связана с какой-либо одной локализованной частью полушарий. Вскоре из многих мест стали поступать и другие разноречивые результаты, так что, не вдаваясь больше в историю вопроса, я могу сообщить о существующем положении дел следующим образом:[\[17\]](#)

У рыб, лягушек и ящериц зрение сохраняется, когда полушария полностью удалены. Это признает для лягушек и рыб даже Мунк, который отрицает это для птиц.

Все *птицы* Мунка казались абсолютно слепыми (слепыми сенсорно) после удаления полушарий в результате его операции. Следование за свечой и моргание при угрозе удара, которые обычно считаются доказательством сохранения грубых оптических ощущений нижними центрами у предполагаемых голубей без полушарий, Мунк приписывает остаткам зрительной сферы коры головного мозга, оставшимся после несовершенства операции. Но Шрадер, оперировавший после Мунка и со всеми очевидными гарантиями полноты операции, обнаружил, что все его голуби видели по истечении двух-трех недель, а торможение, вызванное раной, прошло. Они неизменно избегали даже малейших

препятствий, очень регулярно летали к определенным насестам и т. д., отличаясь в этих отношениях *toto cœlo* от некоторых просто *ослепленных* голубей, которых держали с для сравнения. Однако они не подбирали еду, разбросанную на земле. Шрадер обнаружил, что они будут делать это, если оставить хотя бы небольшую часть лобной области полушарий, и приписывает их несамостоятельное питание при лишении затылочного мозга не зрительному, а двигательному дефекту, своего рода алиментарной афазии.[18]

При наличии таких разногласий, как между Мунком и его оппонентами, необходимо внимательно следить за тем, насколько существенна разница между *потерей* и *сохранением* функции после операции на мозге. *Потеря* функции не обязательно показывает, что она зависит от вырезанной части; но ее *сохранение* показывает, что она *не* зависит: и это верно, даже если потеря наблюдается девяносто девять раз, а сохранение - только один раз из ста подобных вырезаний. То, что птицы и млекопитающие *могут* ослепнуть в результате удаления коры головного мозга, не вызывает сомнений; вопрос лишь в том, *должны ли* они это делать? Только тогда кору можно с уверенностью назвать "местом зрения". Слепота всегда может быть вызвана одним из тех отдаленных эффектов раны на отдаленные части, торможением, расширением воспаления, - интерференцией, одним словом, - на которых справедливо настаивали Браун-Секар и Гольц и важность которых становится все более очевидной с каждым днем. Такие эффекты преходящи; в то время как *симптомы лишения* (*Ausfallserscheinungen*, как называет их Гольц), которые возникают в результате фактической потери вырезанной области, должны быть постоянными в силу природы случая. Слепота у голубей, *пока она проходит*, не может быть отнесена к утрате места зрения, а только к какому-то влиянию, которое временно угнетает деятельность этого места. То же самое справедливо *mutatis mutandis* для всех других последствий операций, и, переходя к млекопитающим, мы еще больше убедимся в важности этого замечания.

У кроликов потеря всей коры головного мозга кажется совместимой с сохранением зрения, достаточного для того, чтобы направлять движения бедных животных и позволять им избегать препятствий. Наблюдения и обсуждения Кристиани, кажется, окончательно это установить, хотя Мунк обнаружил, что все его животные были сделаны полностью слепыми.[19]

У собак Мунк также обнаружил абсолютную каменную слепоту после удаления затылочных долей. Он пошел дальше и наметил определенные участки коры головного мозга, которые, по его мнению, коррелируют с определенными сегментами обеих сетчаток, так что разрушение данных участков коры приводит к слепоте центра сетчатки, верха, низа, правой или левой стороны, того же или противоположного глаза. Кажется, мало сомнений в том, что эта определенная корреляция является мифологической. Другие наблюдатели, Хитциг, Гольц, Лучиани, Лёб, Экснер и т.д., обнаруживают, что какая бы часть коры ни была удалена с одной стороны, обычно возникает *гемиопическое* нарушение *обоих* глаз, незначительное и преходящее, если поражены передние доли, тяжелое, если повреждена затылочная доля, и продолжительное в зависимости от степени поражения последней. По мнению Лёба, дефект представляет собой тусклое зрение ("гемиамблиопия"), при котором (как бы ни было тяжело) центры остаются наиболее хорошо видящими участками сетчатки, как и у нормальных собак. Латеральная или височная часть каждой сетчатки, похоже, находится в исключительной связи с корой головного мозга своей стороны. Центральная и носовая часть каждой из них, напротив, связана с корой противоположных полушарий. Лёб, придерживающийся более широких взглядов, чем кто-либо другой, представляет себе гемиамблиопию так же, как он представляет себе двигательные нарушения, а именно как выражение повышенной инерции всего оптического аппарата, в результате чего животное с большим усилием реагирует на

впечатления, исходящие из половины пространства, противоположной стороне поражения. Если у собаки, скажем, правая гемиамблиопия, и перед ней одновременно висят два куска мяса, она неизменно сначала обращается к тому, который лежит слева. Но если поражение незначительное, то, слегка *встряхнув* кусок мяса справа (это делает его более сильным стимулом), собака сначала схватит его. Если ему предлагают только один кусок мяса, он берет его, с какой бы стороны он ни находился.

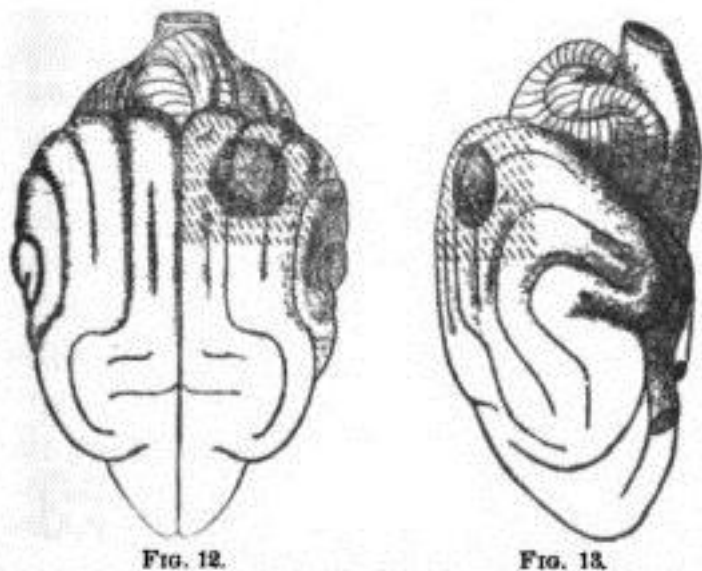


Рис. 12 и 13. Зрительный центр собаки по Мунку: вся полосатая область А, А является исключительным местом зрения, а темный центральный круг А' соотносится с центром сетчатки противоположного глаза.

При обширном разрушении обеих затылочных долей может наступить полная слепота. Мунк точно обозначает свою "Sehsphäre" и говорит, что слепота *должна* наступить, когда вся заштрихованная часть, обозначенная А, А, на рис. 12 и 13, вовлечена в поражение. Несоответствующие сообщения о других наблюдениях он объясняет неполной абляцией. Лучани, Гольц и Ланнеграсс, однако, утверждают, что они неоднократно проводили полную двустороннюю экстирпацию сехсферы Мунка и обнаружили, что грубое беспорядочное видение предметов возвращается через несколько недель.^[20] Вопрос о том, слепая собака или нет, решить сложнее, чем может показаться на первый взгляд; ведь просто ослепшие собаки в привычных для них местах почти не проявляют своей потери и избегают любых препятствий; в то время как собаки, у которых исчезли затылочные доли, могут часто наткнуться на предметы и, несмотря на это, видеть. Лучшим доказательством того, что они могут видеть, является опыт собак Гольца: они тщательно избегали, как казалось, полосок солнечного света или бумаги на полу, как если бы они были твердыми препятствиями. Ни одна действительно слепая собака так не поступит. Лучани испытывал своих собак, когда они были голодны (это состояние обостряет их внимание), раскладывая перед ними кусочки мяса и пробки. Если они шли прямо на них, то *видели*; если же они выбирали мясо и оставляли пробку, то *видели избирательно*. Ссора получилась очень острой; действительно, тема локализации функций в мозге, похоже, оказывает особое влияние на характер тех, кто занимается ее экспериментальным изучением. С одной стороны, количество сохраненного зрения, о котором сообщают Гольц и Лучани, вряд ли заслуживает внимания; с другой стороны, Мунк в своей предпоследней работе признает, что из 85 собак ему "удалось" только 4 раза провести операцию по достижению полной слепоты путем полного уничтожения "Sehsphäre".^[21] Мы можем с уверенностью заключить, что диаграмма Лучани, рис. 14, отражает нечто похожее на правду. Затылочные доли гораздо важнее для зрения, чем любая

другая часть коры головного мозга, так что их полное разрушение делает животное почти слепым. Что касается грубой чувствительности к свету, которая *может* остаться, то ничего точного не известно ни о ее природе, ни о ее месте.

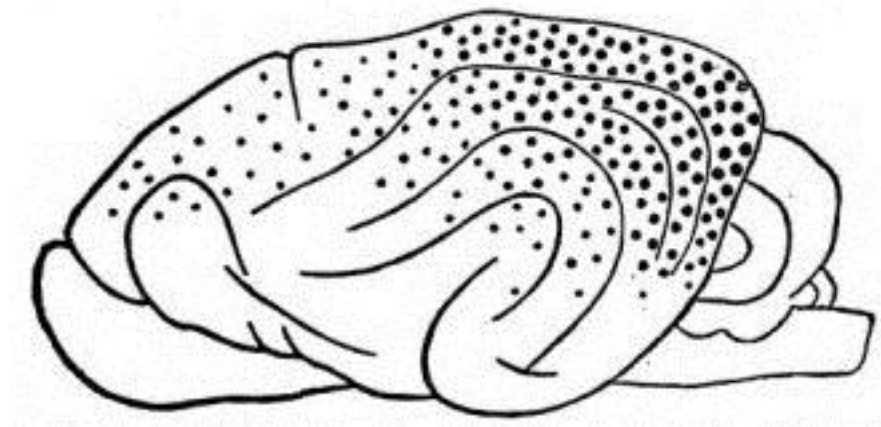


Рис. 14.- Распределение зрительной функции в коре головного мозга, согласно Лучани.

В отношении обезьян мнения врачей также расходятся. Однако истина, по-видимому, заключается в том, что *затылочные доли* у этого животного также являются частью, наиболее тесно связанной со зрительной функцией. По-видимому, функция продолжается, когда остаются очень маленькие их части, так как Феррье не обнаружил "заметных нарушений" после почти полного их разрушения с обеих сторон. С другой стороны, он обнаружил полную и необратимую слепоту, когда они и *угловые извилины* были разрушены с обеих сторон. Мунк, а также Браун и Шефер не обнаружили никаких нарушений зрения при разрушении только *угловых извилин*, хотя Феррье обнаружил наступление слепоты. Эта слепота, вероятно, была вызвана торможением, осуществляемым в *дистанции*, или перерезанием белых оптических волокон, проходящих под угловыми извилинами на пути к затылочным долям. Браун и Шефер получили полную и постоянную слепоту у одной обезьяны в результате полного разрушения обеих затылочных долей. Лучани и Сеппили, проведя эту операцию на двух обезьянах, обнаружили, что животные были только умственно, а не сенсорно слепы. Через несколько недель они увидели свою еду, но не смогли отличить на глаз инжир от кусочков пробки. Однако Лучани и Сеппили, по-видимому, не уничтожили все доли. При повреждении только одной доли зрение у обезьян становится гемиопическим: в этом сходятся все наблюдатели. В целом, таким образом, первоначальное положение Мунка о том, что зрение находится в затылочных долях, подтверждается более поздними данными.^[22]

У человека мы получаем более точные результаты, поскольку не вынуждены интерпретировать зрение по внешнему поведению. Однако, с другой стороны, мы не можем проводить вивисекцию, а должны ждать, когда обнаружатся патологические поражения. Патологоанатомы, обсуждавшие эти вопросы (литература утомительна *ad libitum*), приходят к выводу, что затылочные доли - необходимая часть для зрения у человека. Гемиопические нарушения в обоих глазах возникают при поражении одного из них, а полная слепота, как сенсорная, так и психическая, - при разрушении обоих.

Гемиопия также может быть результатом поражения других частей, особенно соседних угловых и супрамаргинальных извилин, и может сопровождать обширные повреждения в двигательной области коры головного мозга. В этих случаях кажется вероятным, что это связано с *actio in distans*, вероятно, с прерыванием волокон, идущих из затылочной доли. Есть несколько случаев, когда травма затылочной доли не сопровождалась дефектом

показать, что они не выполняют свою функцию. *F. O.* - внутрислошарные оптические волокна. *P. O. C.* - область нижних зрительных центров (*corpora geniculata* и *quadrigenina*). *T. O. D.* - правый зрительный тракт; *C* - хиазма; *F. L. D.* - волокна, идущие к латеральной или височной половине *T* правой сетчатки; *F. C. S.* - волокна, идущие к центральной или носовой половине левой сетчатки. *O. D.* - это правое, а *O. S.* - левое глазное яблоко. Таким образом, правая половина каждого из них слепа: другими словами, правое носовое поле, *R. N. F.*, и левое височное поле, *L. T. F.*, стали невидимыми для субъекта с поражением в *Cu*.

Наиболее интересным следствием нарушения работы коры головного мозга является *умственная слепота*. Она заключается не столько в нечувствительности к оптическим впечатлениям, сколько в *неспособности их понять*. Психологически это можно интерпретировать как *потерю ассоциаций* между оптическими ощущениями и тем, что они означают; и любое прерывание путей между оптическими центрами и центрами других идей должно привести к этому. Так, печатные буквы алфавита, или слова, обозначают определенные звуки и определенные артикуляционные движения. Если связь между артикуляционными или слуховыми центрами, с одной стороны, и зрительными центрами - с другой, будет нарушена, мы *априори* должны ожидать, что вид слов не сможет пробудить идею их звучания или движения для их произнесения. Короче говоря, мы должны иметь *алексию*, или неспособность читать: и это именно то, что мы имеем во многих случаях обширной травмы лобно-височных областей, как осложнение *афазической* болезни. Nothnagel предполагает, что в то время как *sinus* является местом оптических *ощущений*, другие части затылочной доли могут быть полем оптических *воспоминаний и идей*, из потери которых должна вытекать умственная слепота. Фактически, все медицинские авторы говорят об умственной слепоте так, как будто она должна заключаться в потере зрительных образов из памяти. Мне, однако, кажется, что это психологическое заблуждение. Человек, чья способность к зрительному воображению ослабла (в этом нет ничего необычного, если речь идет о более легких формах), ничуть не слеп, поскольку он прекрасно распознает все, что видит. С другой стороны, он *может* быть умственно слепым, при этом его оптическое воображение хорошо сохранилось; как в интересном случае, опубликованном Вильбрандом в 1887 году.[26] В еще более интересном случае умственной слепоты, недавно опубликованном Лиссауэром,[27], хотя пациент совершал самые смехотворные ошибки, называя, например, щетку для одежды парой очков, зонтик - растением с цветами, яблоко - портретом дамы и т. д. и т. п., он, по словам журналиста, имел свои умственные образы достаточно хорошо сохраненными. На самом деле именно кратковременная потеря наших неоптических образов делает нас умственно слепыми, так же как и потеря наших неслуховых образов делает нас умственно глухими. Я умственно глух, если, *услышав* колокол, не могу вспомнить, как он *выглядит*; и умственно слеп, если, *увидев* его, не могу вспомнить ни его *звук, ни его название*. На самом деле я должен быть не просто умственно слепым, а каменно-слепым, если бы все мои зрительные образы были утрачены. Ибо хотя я слеп на правую половину поля зрения, если повреждена левая затылочная область, и на левую половину, если повреждена правая область, такая гемианопсия не лишает меня зрительных образов: опыт показывает, что непораженного полушария всегда достаточно для их создания. Чтобы полностью их отменить, я должен быть лишен обеих затылочных долей, и это лишило бы меня не только внутренних образов зрения, но и зрения вообще.[28] Последние патологические анналы, кажется, предлагают несколько таких случаев.[29] Между тем существует ряд случаев умственной слепоты, особенно в отношении письменного языка, в сочетании с гемианопсией, как правило, правого поля зрения. Все они объясняются разрушением в результате болезни *соединительных путей* между затылочными долями и

другими частями мозга, особенно тех, которые идут к центрам речи в лобной и височной областях левого полушария. Они должны быть отнесены к нарушениям *проводимости* или *ассоциации*; и нигде я не могу найти фактов, которые заставили бы нас поверить, что оптические образы должны[30] быть потеряны при умственной слепоте, или что мозговые центры для таких образов локально отличаются от центров для прямых ощущений от глаз.[31]

Если объект не удастся распознать с помощью зрения, часто случается, что пациент узнает и называет его, как только дотронется до него рукой. Это интересным образом показывает, насколько многочисленны ассоциативные пути, которые все заканчиваются выходом из мозга через канал речи. Путь руки открыт, хотя путь глаза закрыт. Когда умственная слепота наиболее полна, ни зрение, ни осязание, ни звук не помогают пациенту ориентироваться, и в результате возникает своего рода слабоумие, которое называют *асимболией* или *апраксией*. Самые обычные предметы становятся непонятными. Пациент надевает бриджи на одно плечо, а шляпу - на другое, кусает мыло и ставит ботинки на стол, берет в руку еду и снова бросает ее, не зная, что с ней делать, и т. д. Такое расстройство может возникнуть только в результате обширной травмы мозга.[32]

Метод дегенерации подтверждает другие данные о локализации зрительных путей. У молодых животных при разрушении глазного яблока возникает вторичная дегенерация затылочных областей, а при разрушении затылочных областей - наоборот, дегенерация зрительных нервов. В этих случаях также обнаруживается атрофия *corpora geniculata*, талами и подкорковых волокон, ведущих к затылочным долям. Явления не однородны, но неоспоримы;[33] так, что, принимая все линии доказательств вместе, особая связь зрения с затылочными долями прекрасно прослеживается. Следует добавить, что затылочные доли часто обнаруживались уменьшенными в случаях неизлечимой слепоты у человека.

Слух.

Слух вряд ли можно локализовать так же четко, как зрение. У собаки на диаграмме Лючани можно увидеть области, которые прямо или косвенно влияют на него в худшую сторону при повреждении. Как и в случае со зрением, односторонние поражения вызывают симптомы с обеих сторон. Смесь черных и серых точек на диаграмме призвана отобразить эту смесь "перекрещенных" и "неперекрещенных" связей, хотя, конечно, никакой топографической точности не предполагается. Из всех областей височная доля является наиболее важной частью; однако постоянная абсолютная глухота не приводит к собаке Лучани, даже при двустороннем разрушении обеих височных долей полностью.[34]

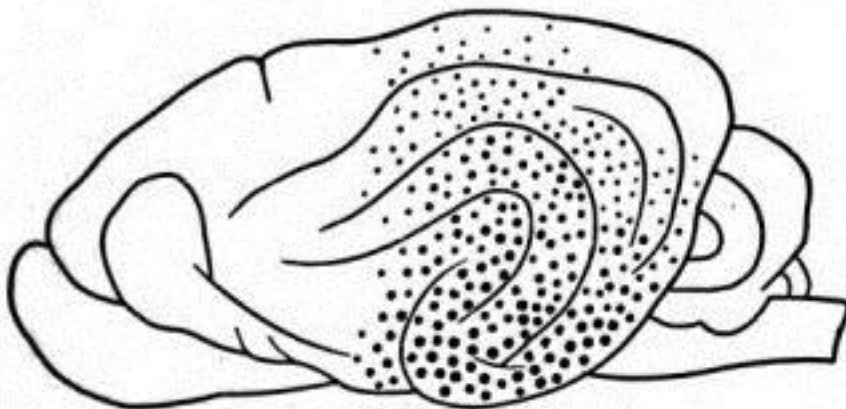


Рис. 16.- Слуховая область Лучани.

У обезьян Ферьер и Йео однажды обнаружили постоянную глухоту после разрушения верхней височной свертки (той, что находится чуть ниже расщелины Сильвиуса на рис. 6) с обеих сторон. Браун и Шефер, напротив, обнаружили, что у нескольких обезьян эта операция не оказала заметного влияния на слух. У одного животного, правда, были разрушены обе височные доли. Через неделю или две после угнетения умственных способностей этот зверь оправился и стал одной из самых ярких обезьян, доминирующей над всеми своими товарищами, и все, кто видел его, признавали, что все его чувства, включая слух, были "совершенно острыми".^[35] Как обычно, между исследователями возникли ужасные разногласия: Ферьер отрицал, что абляция Брауна и Шефера была полной,^[36] Шефер утверждал, что обезьяна Ферьера действительно была глухой.^[37] В таком неудовлетворительном состоянии испытуемый должен быть оставлен, хотя, кажется, нет причин сомневаться в том, что наблюдение Брауна и Шефера является более важным из двух.

У человека височная доля, несомненно, является центром слуховой функции, а верхняя извилина, прилегающая к сильвиевой щели, - ее наиболее важной частью. Об этом свидетельствуют явления афазии. Несколько страниц назад мы изучали моторную афазия; теперь мы должны рассмотреть *сенсорную афазия*. Наше знание об этом заболевании прошло три этапа: мы можем говорить о периоде Брока, периоде Вернике и периоде Шарко. В чем заключалось открытие Брока, мы уже видели. Вернике был первым, кто отличил случаи, когда пациент *не может даже понять* речь, от тех, когда он может понимать, но не говорить, и приписал первое состояние поражению височной доли.^[38] Состояние, о котором идет речь, - это *глухота к словам*, а болезнь - *слуховая афазия*. Последнее статистическое исследование по этому вопросу принадлежит доктору Аллену Старру.^[39] В семи случаях *чистой* словесной глухоты, которые он собрал, когда пациент мог читать, говорить и писать, но не понимал, что ему говорят, поражение ограничивалось первой и второй височными извилинами в их задних двух третях. Поражение (у праворуких, то есть левомозглых, людей) всегда находится слева, как и при моторной афазии. Грубый слух не исчез бы, даже если бы левый центр был полностью уничтожен; правый центр по-прежнему обеспечивал бы его. Но *лингвистическое использование* слуха, по-видимому, связано с целостностью левого центра более или менее исключительно. Здесь должно быть так, что услышанные слова вступают в ассоциацию с предметами, которые они обозначают, с одной стороны, и с движениями, необходимыми для их произнесения, с другой. В подавляющем большинстве из пятидесяти случаев, наблюдавшихся доктором Старром, была нарушена способность либо называть предметы, либо связно говорить. Это показывает, что у большинства из нас (как говорил Вернике) речь должна развиваться на основе слуховых сигналов, то есть наши мысли не иннервируют наши двигательные центры напрямую, а только после того, как сначала вызывают мысленное звучание слов. Это непосредственный стимул к артикуляции; и если возможность этого отменяется разрушением обычного канала в левой височной доле, артикуляция должна страдать. В тех немногих случаях, когда отмена канала не оказывает плохого влияния на речь, мы должны предположить идиосинкразию. Пациент должен иннервировать свои речевые органы либо из соответствующей части другого полушария, либо непосредственно из центров идей, , а именно, зрения, осязания и т.д., не опираясь на слуховую область. Именно минимальный анализ фактов в свете таких индивидуальных различий, как эти, и является вкладом Шарко в прояснение темы.

Каждая называемая вещь, действие или отношение имеет множество свойств, качеств или аспектов. В нашем сознании свойства каждой вещи вместе с ее названием образуют ассоциированную группу. Если разные части мозга имеют отношение к нескольким свойствам, а другая часть - к восприятию, а третья - к произнесению имени, то неизбежно

должна возникнуть (благодаря закону ассоциации, который мы будем изучать позже) такая динамическая связь между всеми этими частями мозга, что активность любой из них, скорее всего, пробудит активность всех остальных. Когда мы говорим, как мы думаем, *конечным* процессом является произнесение речи. Если часть мозга, отвечающая за *это*, повреждена, речь невозможна или беспорядочна, даже если все остальные части мозга целы: и это как раз то состояние вещей, которое, как мы обнаружили [на странице 37](#), возникает при ограниченном поражении левой нижней лобной связки. Но за этим последним актом возможны различные порядки последовательности в ассоциациях идей говорящего человека. Более обычным представляется порядок от тактильных, зрительных или других свойств предметов, о которых думают, к звучанию их названий, а затем к произнесению последних. Но если у какого-то индивида мысль о *внешнем виде* предмета или о его напечатанном названии будет процессом, который привычно предшествует артикуляции, то потеря *слухового* центра *pro tanto* не повлияет на речь этого человека. Он будет психически глухим, то есть его *понимание* речи будет страдать, но он не будет афазиком. Таким образом можно объяснить семь случаев *чистой* словесной глухоты, которые приведены в таблице доктора Старра.

Если этот порядок ассоциаций укоренился и стал привычным для данного человека, повреждение *зрительных* центров сделает его не только слепым к словам, но и афазичным. Вследствие поражения затылочной области его речь станет путаной. Наунин, нанеся на диаграмму полушария 71 безупречно зарегистрированный случай афазии, который ему удалось собрать, обнаружил, что поражения концентрируются в трех местах: во-первых, в центре Брока, во-вторых, в центре Вернике, в-третьих, в супрамаргинальных и угловых извилинах, под которыми проходят волокна, соединяющие зрительные центры с остальными отделами мозга[40] (см. рис. 17). С этим результатом согласуется анализ чисто сенсорных случаев, проведенный доктором Старром.

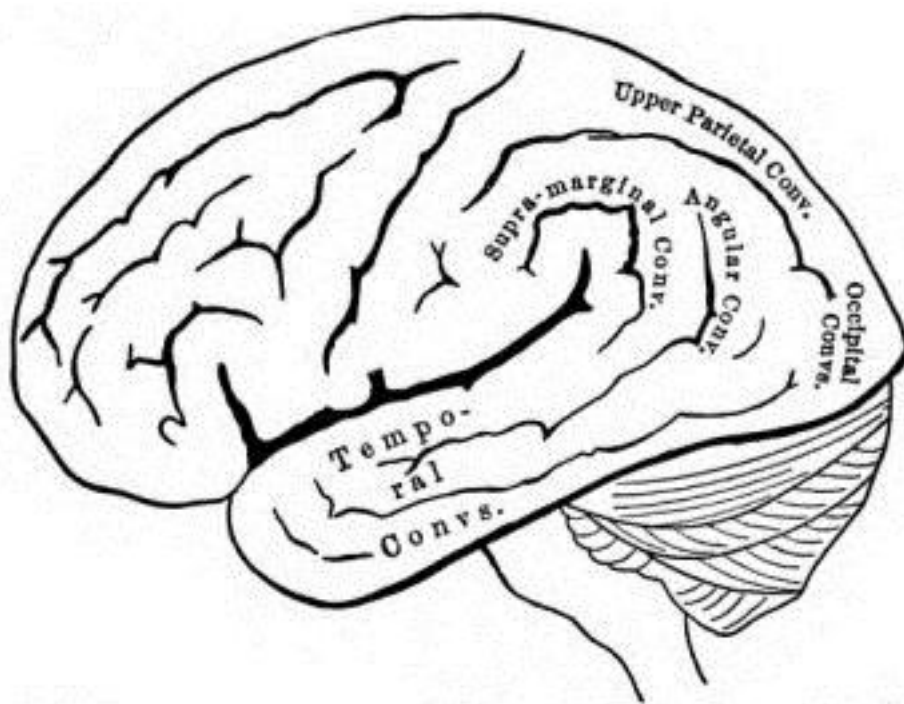


Рис. 17.

В одной из следующих глав мы еще раз вернемся к этим различиям в эффективности сенсорных сфер у разных людей. Между тем мало что показывает более ярко, чем история наших знаний об афазии, как смекалка и терпение многих работников, объединенных в

группы, со временем обязательно анализируют самую темную путаницу в упорядоченную картину.[41] В мозге нет "центра речи", так же как и в сознании - речевого факультета. Весь мозг, в большей или меньшей степени, находится в работе у человека, который использует язык. Приведенная ниже диаграмма, составленная Боссом, показывает четыре наиболее важные части, и в свете нашего текста не нуждается в дальнейших объяснениях (см. рис. 18).

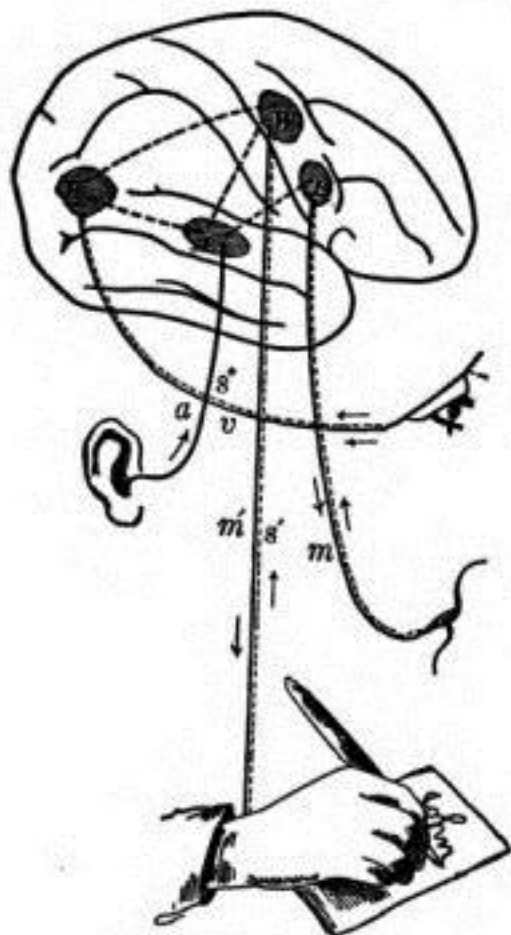


Рис. 18.

Запах.

Все указывает на то, что органы обоняния находятся в срединной нисходящей части височных долей. Даже Феррье и Мунк сходятся во мнении о гиппокампальной извилине, хотя Феррье ограничивает обоняние, как и Мунк, долькой или нецентральной отростком свертка, оставляя остальную часть для осязания. Анатомия и патология также указывают на гиппокампальную извилину; но поскольку с точки зрения человеческой психологии этот вопрос менее интересен, чем зрение и слух, я не буду больше ничего говорить, а просто добавлю схему обонятельного центра собаки, приведенную Лучани и Сеппили.[42] Из

Вкус

мы знаем мало определенного. То немного, что есть, снова указывает на нижние височные области. Проконсультируйтесь с Феррье, как показано ниже.

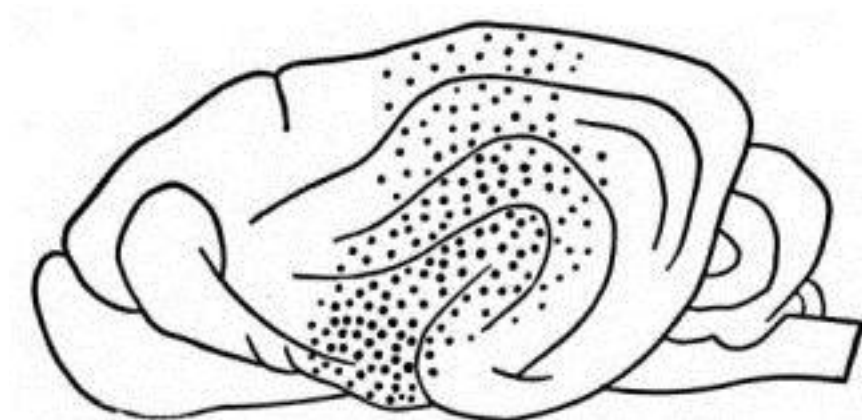


Рис. 19. Обонятельная область Лучани у собаки.

Осязание.

Интересные проблемы возникают в связи с местонахождением тактильной и мышечной чувствительности. Хитциг, чьи эксперименты с *мозгом собак* пятнадцать лет назад открыли всю тему, которую мы обсуждаем, приписывает нарушения подвижности, наблюдаемые после абляции моторной области, потере того, что он называл мышечным сознанием. Животные не замечают эксцентричных положений конечностей, стоят, скрестив ноги, положив пораженную лапу на спину или свесив ее через край стола и т. д.; и не сопротивляются сгибанию и разгибанию лапы, как это происходит с непораженной лапой. Гольц, Мунк, Шифф, Герцен и другие быстро установили одинаковый дефект кожной чувствительности к боли, прикосновению и холоду. Лапа не отдергивается при ущемлении, остается стоять в холодной воде и т. д. Феррье тем временем отрицает, что существует истинная анестезия, вызванная абляцией в двигательной зоне, и объясняет ее появление эффектом вялых двигательных реакций пораженной стороны. [43]Мунк[44] и Шифф[45], напротив, считают "моторную зону" по сути сенсорной, и по-разному объясняют двигательные нарушения как вторичные результаты анестезии, которая всегда там присутствует. Мунк называет моторную зону *Fühlsphäre* конечностей животного и т.д. и объединяет ее с *Sehsphäre*, *Hörsphäre* и т.д., а вся кора, по его мнению, является лишь проекцией-поверхностью для ощущений, не имея исключительно или по сути моторной части. Такая точка зрения была бы важна, если бы она была верна, поскольку она влияет на психологию воли. В чем же заключается истина? Что касается факта кожной анестезии при абляции моторной зоны, то все остальные наблюдатели против Феррье, так что он, вероятно, не прав, отрицая его. С другой стороны, Мунк и Шифф ошибаются, ставя двигательные симптомы *в зависимость* от анестезии, так как в некоторых редких случаях они наблюдались не только без нечувствительности, но и с фактической гиперестезией частей. [46] Таким образом, моторные и сенсорные симптомы кажутся независимыми переменными.

На обезьянах последние эксперименты принадлежат Хорсли и Шеферу, [47], чьи результаты Феррье принимает. Они обнаружили, что иссечение свертка гиппокампа вызывает преходящую нечувствительность противоположной стороны тела, и что постоянная нечувствительность возникает при разрушении его продолжения выше мозолистого тела,

так называемой *gyrus fornicatus* (часть чуть ниже "мозольно-маргинальной щели" на рис. 7). Нечувствительность достигает максимума, когда разрушается весь тракт, включающий обе конволюты. Феррье утверждает, что чувствительность обезьян "совершенно не страдает" при абляции моторной зоны,[48] , а Хорсли и Шефер считают, что она отнюдь не обязательно упразднена.[49] Лучани обнаружил ее уменьшение в трех своих экспериментах на обезьянах.[50]

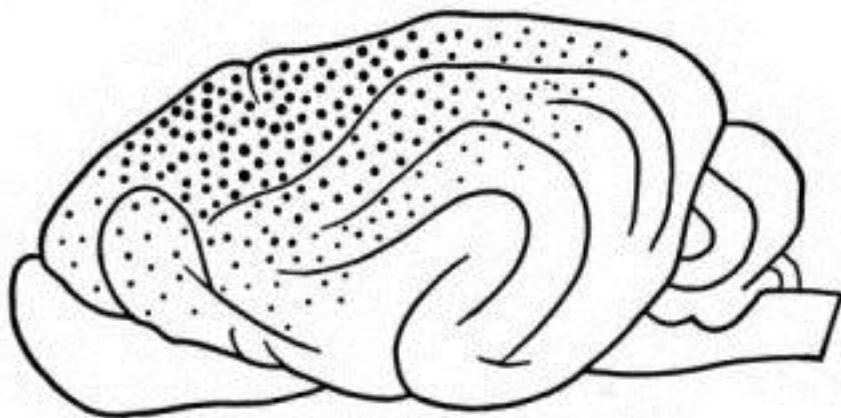
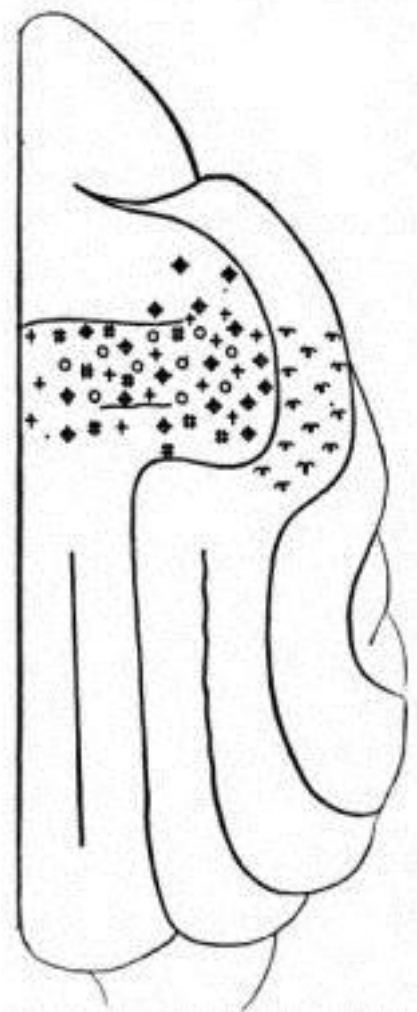


Рис. 20.- Тактильная область Лучани у собаки.

У человека мы имеем тот факт, что односторонний паралич от заболевания противоположной двигательной зоны может сопровождаться или не сопровождаться анестезией частей. Лучани, который считает, что моторная зона также является сенсорной, пытается свести к минимуму ценность этих доказательств, указывая на недостаточность обследования пациентов. Сам он считает, что у собак тактильная сфера простирается назад и вперед от непосредственно возбудимой области, в лобные и теменные доли (см. рис. 20). Нотнагель считает, что патологические данные указывают в том же направлении;[51] и д-р Миллс, тщательно изучив доказательства, добавляют *gyri fornicatus* и *hippocampi* к кутанеомышечной области у человека.[52] Если сравнить диаграммы Лучани вместе (рис. 14, 16, 19, 20), то можно увидеть, что вся теменная область черепа собаки является общей для четырех чувств - зрения, слуха, обоняния и осязания, включая мышечное чувство. Соответствующая область в человеческом мозге (верхние теменные и супрамаргинальные извилины - см. рис. 17), по-видимому, является в какой-то степени аналогичным местом слияния. Оптические афазии, двигательные и тактильные нарушения - все это результат ее повреждения, особенно если оно происходит с левой стороны.[53] Чем ниже мы опускаемся по шкале животных, тем менее дифференцированными кажутся функции нескольких отделов мозга.[54] Возможно, что рассматриваемая область все еще представляет собой нечто подобное этому первобытному состоянию, и что окружающие части, приспособляясь все больше и больше к специализированным и узким функциям, оставили ее в качестве своего рода *каррефора*, через который они посылают токи и переговариваются. То, что она должна быть связана с мышечно-кожным чувством, не является, однако, причиной, по которой собственно двигательная зона не должна быть так же связана. И случаи паралича двигательной зоны без сопутствующей анестезии могут быть объяснимы без отрицания всех сенсорных функций этой области. Ведь, как сообщил мне мой коллега доктор Джеймс Патнэм, чувствительность всегда труднее убить, чем подвижность, даже если мы точно знаем, что поражение затрагивает тракты, которые являются как сенсорными, так и моторными. Люди, чья рука парализована в своих движениях из-за сдавливания нервов руки во время сна, все еще чувствуют пальцами; и они могут все еще чувствовать ногами, когда их ноги парализованы из-за ушиба спинного мозга. Подобным образом двигательная кора

может быть чувствительной и двигательной, и все же благодаря этой большей тонкости (или какой бы то ни было особенности) в сенсорных токах чувствительность может пережить такое повреждение, при котором подвижность будет разрушена". Нотнагель считает, что есть основания полагать, что *мышечное* чувство связано исключительно с теменной долей, а не с двигательной зоной. "Заболевание этой доли дает чистую атаксию без паралича, а моторной зоны - чистый паралич без потери мышечного чувства".[55] Однако ему не удастся убедить более компетентных критиков, чем данный автор,[56] поэтому я заключаю вместе с ними, что пока у нас нет решающих оснований для раздельного расположения мышечного и кожного чувства. Многое еще предстоит узнать об отношениях между мышечно-кожной чувствительностью и корой головного мозга, но одно несомненно: ни затылочная, ни передняя лобная, ни височная доли, по-видимому, не имеют к ней существенного отношения у человека. Она связана с деятельностью *двигательной зоны и ее задних и средних извилин*. Читатель должен запомнить этот вывод, когда мы перейдем к главе о воле.

Я должен добавить несколько слов о связи афазии с тактильными ощущениями. На [с. 40](#) я говорил о тех случаях, когда пациент может писать, но не может прочесть свой почерк. Он не может читать глазами, но может читать по ощущениям в пальцах, если прослеживает буквы в воздухе. Такому пациенту удобно держать в руке ручку во время чтения, чтобы сделать обычное ощущение письма более полным.[57] В этом случае мы должны предположить, что путь между оптическим и графическим центрами остается открытым, в то время как путь между оптическим и слуховым и артикуляционным центрами закрыт. Только таким образом мы можем понять, как внешний вид письма может не подсказывать звучание слов в сознании пациента, в то время как оно все еще подсказывает правильные движения графического подражания. Эти движения, в свою очередь, конечно же, должны ощущаться, а ощущение их должно быть связано с центрами слуха и произношения слов. В подобных случаях, когда не удаются особые комбинации, а другие протекают как обычно, всегда следует предполагать, что повреждение носит характер повышенного сопротивления прохождению определенных токов ассоциации. Если бы какой-либо из *элементов* психической функции был разрушен, то неспособность обязательно была бы гораздо более грозной. Пациент, который может и читать, и писать пальцами, скорее всего, использует идентичный "графический" центр, одновременно сенсорный и моторный, для обеих операций.



Двигательные центры собаки, правое полушарие, по Панету. Точки двигательной области соотносятся с мышцами следующим образом: *петли* - с круговой мышцей; *простые кресты* - со сгибателем, *кресты, вписанные в круги*, - с разгибателем, *digitorum communis* передней лапы; *простые круги* - с абдуктором *pollicis longus*; *двойные кресты* - с разгибателем задней конечности.

Теперь я дал, насколько позволяет объем этой книги, полный отчет о современном состоянии вопроса о локализации. В своих основных чертах он прочен, хотя многое еще предстоит выяснить. Например, передние лобные доли, насколько известно, не имеют определенных функций. Гольц обнаружил, что собаки, лишенные их, находятся в постоянном движении и возбуждаются от любого незначительного раздражителя. Они вспыльчивы и дружелюбны в чрезвычайной степени, а их бока оголяются от постоянного рефлекторного почесывания; но у них не наблюдается никаких *местных* нарушений ни движения, ни чувствительности. У обезьян не наблюдается даже такого отсутствия тормозной способности, и ни стимуляция, ни иссечение префронтальных долей не вызывают никаких симптомов. Одна из обезьян Хорсли и Шефера была такой же послушной и выполняла некоторые трюки так же хорошо, как и до операции.^[58] Вероятно, мы уже достигли предела того, что можно узнать о функциях мозга из вивисекции низших животных, и в дальнейшем нам придется искать свет исключительно в человеческой патологии. Существование отдельных центров речи и письма в левом полушарии у человека; тот факт, что паралич, вызванный повреждением коры головного мозга, гораздо более полный и продолжительный у человека и обезьян, чем у собак; и еще один факт, что, кажется, труднее добиться полной

сенсорной слепоты при абляции коры головного мозга у низших животных, чем у человека, - все это показывает, что функции становятся более специально локализованными по мере эволюции. У птиц локализация, кажется, почти не существует, а у грызунов она гораздо менее заметна, чем у плотоядных. Однако даже для человека способ Мунка разделить кору на абсолютные области, в которых представлено только одно движение или ощущение, безусловно, неверен. Истина, скорее, заключается в том, что, хотя и существует соответствие определенных областей мозга определенным областям тела, все же несколько частей внутри каждой телесной области представлены во всей соответствующей области мозга, как перец и соль, посыпанные из одной и той же солонки. Это, однако, не мешает каждой "части" быть *сосредоточенной* в одном месте внутри области мозга. Различные области мозга сливаются друг с другом таким же смешанным образом. Как говорит мистер Хорсли: "Существуют пограничные центры, и область представления лица сливается с областью представления верхней конечности". Если бы в этой точке было очаговое поражение, то движения этих двух частей начинались бы вместе".[59] На прилагаемом рисунке Панета показано, как обстоит дело у собаки.[60]

Сейчас я говорю о локализации по всей поверхности мозга. Можно предположить, что существуют также локализации в глубине коры. Более поверхностные клетки меньше, глубокий слой их большой; и было высказано предположение, что поверхностные клетки сенсорные, более глубокие - двигательные;[61] или что поверхностные в двигательной области соотносятся с конечностями перемещаемых органов (пальцы и т.д.), более глубокие - с более центральными сегментами (запястье, локоть и т.д.).[62] Вряд ли стоит говорить, что все подобные теории пока остаются лишь предположениями.

Таким образом, мы видим, что постулат Мейнерта и Джексона, с которого мы начали на [стр. 30](#), в целом наиболее удовлетворительно подтверждается последующими объективными исследованиями. *Высшие центры, вероятно, содержат не что иное, как механизмы для представления впечатлений и движений, а также другие механизмы для соединения деятельности этих механизмов воедино.*[63] Токи, идущие от органов чувств, сначала возбуждают одни механизмы, которые, в свою очередь, возбуждают другие, пока, наконец, не возникает двигательный разряд вниз. Когда это однажды ясно понимается, остается мало оснований для продолжения старого спора о моторной зоне, о том, является ли она на самом деле моторной или чувствительной. Вся кора головного мозга, в той мере, в какой через нее проходят токи, является и тем, и другим. Все токи, вероятно, связаны с чувствами и рано или поздно приводят к движениям. Таким образом, в одном аспекте каждый центр является афферентным, в другом - эфферентным, даже двигательные клетки спинного мозга имеют эти два аспекта, неразрывно связанные между собой. Marique,[64] и Exner и Paneth[65] показали, что, вырезая вокруг "моторного" центра и таким образом отделяя его от влияния остальной части коры, производятся те же нарушения, что и при его вырезании, так что в действительности это только устье воронки, через которую льется поток иннервации, начинающийся в других местах;[66] сознание сопровождает поток и в основном относится к увиденному, если поток сильнее всего затылочного, к услышанному, если он сильнее всего временного, к осязательному и т.д., если поток наиболее интенсивно захватывает "моторную зону". Мне кажется, что такая широкая и расплывчатая формулировка - это максимум того, на что мы можем смело решиться при нынешнем состоянии науки; и в последующих главах я рассчитываю привести подтверждающие мою точку зрения доводы.

СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОГРАНИЧЕНО ПОЛУШАРИЯМИ.

Но является ли сознание, сопровождающее деятельность коры головного мозга, единственным сознанием, которым обладает человек? Или же сознанием обладают и его низшие центры?

Это трудный вопрос для решения, и насколько трудный, можно узнать, только обнаружив, что само сознание коры головного мозга в отношении определенных объектов может быть, казалось бы, уничтожено у любого хорошего гипнотического субъекта одним взмахом руки его оператора, и при этом косвенными доказательствами доказано, что оно все это время существует в отщепленном состоянии, совершенно так же 'ejective'[67] для остального сознания субъекта, как и это сознание для сознания посторонних людей.[68] Сами нижние центры, возможно, все это время имеют собственное отщепленное сознание, аналогично эжектирующее сознание коры головного мозга; но есть оно у них или нет, никогда не может быть известно только из интроспективных данных. Между тем тот факт, что разрушение затылочной кости у человека может вызвать слепоту, которая, по-видимому, является абсолютной (не остается ощущения ни света, ни темноты на половине поля зрения), заставляет нас предположить, что если наши нижние оптические центры, corpora quadrigemina и thalami, и обладают каким-либо сознанием, то это, во всяком случае, сознание, которое не смешивается с тем, что сопровождает деятельность коры головного мозга, и которое не имеет ничего общего с нашим личным Я. У низших животных это, возможно, не так. Следы зрения, обнаруженные (supra, p. 46) у собак и обезьян, чьи затылочные доли были полностью разрушены, возможно, объясняются тем, что нижние центры этих животных видели, и то, что они видели, было не эжективным, а объективным для оставшейся коры, то есть составляло часть одного и того же внутреннего мира с теми вещами, которые эта кора воспринимала. Возможно, однако, что эти явления объясняются тем, что у этих животных корковые "центры" зрения выходят за пределы затылочной зоны, и что разрушение последней не может удалить их так же полностью, как у человека. Это, как мы знаем, мнение самих экспериментаторов. Тем не менее, для практических целей, ограничивая значение слова "сознание" личным "я" человека, мы можем довольно уверенно ответить на вопрос, поставленный в предисловии к этому параграфу, сказав, что *кора головного мозга является единственным органом сознания у человека*.[69] Если и существует какое-то сознание, относящееся к нижним центрам, то это сознание, о котором "я" ничего не знает.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ.

Остается еще одна проблема, не столь метафизическая. Наиболее общим и поразительным фактом, связанным с повреждением коры головного мозга, является *восстановление функций*. Функции, утраченные вначале, восстанавливаются через несколько дней или недель. *Как мы должны понимать это восстановление?*

В этой области существует две теории:

- 1) Реституция обусловлена викарным действием либо остальной части коры, либо нижележащих центров, которые приобретают функции, которые до этого не выполняли;
- 2) восстановление происходит за счет того, что оставшиеся центры (корковые или "нижние") возобновляют функции, которыми они всегда обладали, но которые рано временно затормозила. Это точка зрения, наиболее выдающимися защитниками которой являются Гольц и Браун-Секард.

Торможение - это *vera causa*, в этом не может быть никаких сомнений. Пневмогастральный нерв тормозит работу сердца, спланхничный - движения кишечника, а верхний гортанный - дыхание. Раздражения нервов, которые могут тормозить сокращение артериол, бесчисленны, а рефлекторные действия часто подавляются одновременным возбуждением других сенсорных нервов. Обо всех этих фактах читатель должен узнать из трактатов по физиологии. Нас же интересует торможение, оказываемое различными частями нервных центров при их раздражении на деятельность отдаленных частей. Вялость лягушки от "шока" в течение минуты или около того после перерезания продолговатого мозга - это торможение в месте повреждения, которое быстро проходит.

То, что известно как "хирургический шок" (потеря сознания, бледность, расширение кровеносных сосудов, общее обморочное состояние и коллапс) у человека, является торможением, которое длится более долгое время. Гольц, Фрейсберг и другие, перерезая спинной мозг у собак, доказали, что в результате ранения функции тормозились еще дольше, но в конце концов восстанавливались, если животное оставалось живым. Таким образом, было установлено, что поясничная область спинного мозга содержит независимые вазомоторные центры, центры эрекции, для контроля сфинктеров и т.д., которые могут быть возбуждены тактильными стимулами и так же легко подавлены другими, одновременно применяемыми.[70] Поэтому можно с большой долей вероятности предположить, что быстрое восстановление подвижности, зрения и т. д. после их первого исчезновения в результате повреждения коры головного мозга связано с прекращением действия запретов, наложенных раздраженной поверхностью раны. Вопрос лишь в том, *все ли* восстановления функций должны быть объяснены таким простым способом, или часть из них не может быть обусловлена образованием совершенно новых путей в оставшихся центрах, посредством которых они становятся "обученными" для выполнения обязанностей, которыми они первоначально не обладали. В пользу неопределенного расширения теории торможения можно привести следующие факты: У собак, у которых нарушения, вызванные поражением коры головного мозга, исчезли, они могут в результате какого-либо внутреннего или внешнего происшествия вновь проявиться во всей своей интенсивности на 24 часа или около того, а затем снова исчезнуть.[71] К собаке, наполовину ослепшей в результате операции, а затем закрытой в темноте, зрение возвращается так же быстро, как и к другим подобным собакам, чье зрение систематически тренируется каждый день.[72] Собака, которая научилась попрошайничать до операции, возобновляет эту практику совершенно *спонтанно* через неделю после двусторонней абляции двигательной зоны.[73] Иногда у голубя (или даже, как говорят, у собаки) сразу после операции мы видим менее выраженные нарушения, чем через полчаса.[74] Это было бы невозможно, если бы они были вызваны отторжением органов, которые обычно их проводят. Более того, весь ход последних физиологических и патологических спекуляций направлен на то, чтобы возвести торможение в ранг вечно присутствующего и необходимого условия упорядоченной деятельности. Мы увидим, насколько велико его значение, в главе о воле. Г-н Шарль Мерсье считает, что ни одно мышечное сокращение, однажды начавшись, никогда не прекратится без него, за исключением истощения системы;[75] и Браун-Секард в течение многих лет накапливали примеры, показывающие, как далеко простирается его влияние.[76] При таких обстоятельствах кажется, что ошибка скорее может заключаться в слишком сильном сокращении сферы действия, чем в слишком сильном ее растяжении при объяснении явлений, возникающих после поражения коры головного мозга.[77]

С другой стороны, если мы *не* признаем *никакого* перевоспитания центров, мы не только идем наперекор *априорной* вероятности, но и вынуждены в силу фактов предполагать почти невероятное количество функций, изначально заложенных в центрах ниже *талами* или даже

в центрах ниже *corpora quadrigemina*. Я рассмотрю *априорное* возражение, предварительно взглянув на факты, которые я имею в виду. Они встают перед нами в тот момент, когда мы спрашиваем себя, *какие именно части выполняют функции, отмененные операцией, после того как прошло достаточно времени для восстановления?*

Первые наблюдатели считали, что это должны быть *соответствующие части противоположного или неповрежденного полушария*. Но еще в 1875 году Карвиль и Дюре проверили это, вырезав у собаки центр передней лапы с одной стороны, а затем, подождав, пока произойдет реституция, вырезали его и с противоположной стороны. Гольц и другие сделали то же самое.[78] Если бы противоположная сторона действительно была местом восстановленной функции, первоначальный паралич должен был бы появиться снова и быть постоянным. Но он не появился вовсе; возник только паралич до сих пор не затронутой стороны. Следующее предположение заключается в том, что *части, окружающие вырезанную область*, учатся викарно выполнять ее обязанности. Но и здесь эксперимент, похоже, расстраивает гипотезу, по крайней мере, в отношении двигательной зоны; ведь мы можем подождать, пока в пораженной конечности восстановится подвижность, а затем как раздражать кору головного мозга, окружающую рану, не возбуждая конечность к движению, так и удалять ее, не возвращая исчезнувший паралич.[79] Соответственно, кажется, что *мозговые центры, расположенные ниже коры головного мозга*, должны быть местом восстановленной активности. Но Гольц разрушил у собаки все левое полушарие, вместе со *стриатумом* и *таламусом* на этой стороне, и сохранил ей жизнь до тех пор, пока не осталось удивительно мало двигательных и тактильных нарушений.[80] Эти центры не могут быть причиной реституции. Он даже, как оказалось,[81] удалил оба полушария у собаки и сохранил ей жизнь на 51 день, она могла ходить и стоять. *Corpora striata* и *thalami* у этой собаки также практически исчезли. Ввиду таких результатов мы, похоже, вынуждены, как и М. Франсуа-Франк,[82], вернуться к *ганглиям, которые находятся ниже*, или даже к *спинному мозгу* как "викарному" органу, который мы ищем. Если перерыв в функционировании между операцией и восстановлением был вызван *исключительно* торможением, то мы должны предположить, что эти низшие центры на самом деле являются чрезвычайно совершенными органами. Они всегда должны были делать то, что мы видим сейчас после восстановления функции, даже когда полушария были целы. Конечно, такое предположение возможно, но оно не кажется очень правдоподобным. А *априорные* соображения, на которых, как я уже говорил, мне следует настаивать, делают ее еще менее правдоподобной.

Ведь, во-первых, мозг - это, по сути, место токов, которые бегут по организованным путям. Потеря функции может означать только одно из двух: либо то, что ток больше не может входить, либо то, что если он входит, то больше не может выходить по старому пути. Любая из этих неспособностей может возникнуть в результате локальной абляции; и "реституция" в этом случае может означать только то, что, несмотря на временный блок, бегущий ток наконец-то получил возможность снова вытекать по своему старому пути - например, звук "дай лапу" разряжается через несколько недель в те же самые мышцы клыка, в которые он разряжался до операции. Что касается самой коры головного мозга, то, поскольку одной из целей ее существования является создание новых путей,[83] перед нами встает единственный вопрос: Не слишком ли многого следует ожидать от ее пластических способностей при формировании *этих особых "викарных" путей*? Конечно, было бы слишком много ожидать, что полушарие должно получать токи от зрительных волокон, *место прибытия* которых в нем разрушено, или что оно должно разряжаться в волокна пирамидальной нити, если *место их выхода* разрушено. Такие повреждения должны быть непоправимы в *этом полушарии*. Но даже тогда, через другое полушарие, *мозолистое*

тело и двусторонние связи в спинном мозге, можно представить себе путь, по которому старые мышцы в конечном итоге могут быть иннервированы теми же входящими токами, которые иннервировали их до блока. И для всех незначительных перерывов, не связанных с местом прибытия "кортико-лепестковых" или местом выхода "кортико-фугальных" волокон, должны существовать своего рода окольные пути через само пораженное полушарие, поскольку каждая его точка, по крайней мере, дистанционно, находится в потенциальной связи с любой другой точкой. Обычные пути - это лишь пути наименьшего сопротивления. Если они блокируются или обрываются, то пути, ранее более устойчивые, становятся путями наименьшего сопротивления в изменившихся условиях. Никогда не следует забывать, что входящий ток должен *где-то* заканчиваться; и если только однажды ему случайно удастся снова попасть в старое место выхода, то трепет удовлетворения, который получит сознание, связанное со всем остаточным мозгом, усилит и закрепит пути того момента и сделает их более вероятными для повторного попадания. Возникающее в результате чувство, что старый привычный акт наконец-то успешно возвращается, само по себе становится новым стимулом, который скрепляет все существующие токи. Опыт показывает, что такие ощущения успешного достижения имеют тенденцию закреплять в нашей памяти все процессы, которые к ним привели; и нам будет что сказать по этому поводу, когда мы перейдем к главе о воле.

Мой вывод таков: часть восстановления функций (особенно при не слишком сильном поражении коры), вероятно, обусловлена действительно викарной функцией со стороны сохранившихся центров, а часть - передачей запретов. Другими словами, и викарная теория, и теория торможения верны в своей мере. Но что касается определения этой меры, а также того, какие центры являются викарными и в какой степени они могут обучаться новым трюкам, то в настоящее время это невозможно.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКТИРОВКА СХЕМЫ МЕЙНЕРТА.

И вот теперь, после изучения всех этих фактов, что мы должны думать о ребенке и пламени свечи, а также о той схеме, которая условно навязалась нам после изучения действий лягушки? (Ср. с. 25-6, выше.) Следует помнить, что тогда мы рассматривали нижние центры *в целом* как машины для реагирования исключительно на текущие ощущения, а полушария - как столь же исключительные органы действия на основе внутренних соображений или идей; и что, следуя Мейнерту, мы предполагали, что полушария не имеют врожденных тенденций к детерминированной деятельности, а являются лишь дополнительными органами для разделения различных рефлексов, выполняемых нижними центрами, и комбинирования их моторных и сенсорных элементов новыми способами. Следует также помнить, что я предсказывал, что нам придется смягчить резкость этого различия после того, как мы завершим наше исследование дальнейших фактов. Теперь настало время для этой коррекции.

Более широкие и полные наблюдения показывают нам, что нижние центры более спонтанны, а полушария более автоматичны, чем позволяет схема Мейнерта. Наблюдения Шрадера в лаборатории Гольца за безполушарными лягушками[84] и голубями[85] дают представление, совершенно отличное от классически сложившейся картины этих существ. Наблюдения Штайнера[86] над лягушками уже прошли значительный путь в том же направлении, показав, например, что локомоция является хорошо развитой функцией продолговатого мозга. Но Шрадер, соблюдая большую осторожность при проведении операции и долго сохраняя лягушек живыми, обнаружил, что по крайней мере у некоторых из них спинной мозг производит движения локомоции, когда лягушку ловко разбудили тычком, и что плавание и кваканье иногда могут осуществляться, когда над продолговатым мозгом ничего не

остается.[87] Лягушки Шрадера без полушарий спонтанно двигались, ели мух, закапывались в землю и, в общем, делали многое из того, что до его наблюдений считалось невозможным, если не оставалось полушарий. Штайнер[88] и Вульпиан отметили еще большую живость у рыб, лишенных полушарий. Вульпиан рассказывает о своих безмозглых карпах[89], что через три дня после операции один из них бросился на еду и на узел, завязанный на конце веревки, зажав последний между челюстями так крепко, что его голова была вынута из воды. Позже "они видят кусочки яичного белка; как только они погружаются в воду перед ними, они следуют за ними и хватают их, иногда после того, как они окажутся на дне, иногда до того, как они его достигнут. При захвате и проглатывании этого корма они выполняют те же движения, что и неповрежденные карпы, находящиеся в том же аквариуме. Разница лишь в том, что они, по-видимому, видят их на меньшем расстоянии, ищут их с меньшей стремительностью и меньшей настойчивостью во всех точках дна аквариума, но борются (так сказать) иногда со звуковыми карпами, чтобы схватить морс. Конечно, они не путают эти кусочки икринок с другими белыми телами, например, с мелкими камешками, которые лежат на дне воды. Тот же карп, который через три дня после операции схватил узел на куске бечевки, теперь уже не огрызается, а если кто-то подносит его к ней, она уплывает от него, отступая назад, прежде чем он соприкоснется ее ртом".[90] Уже на стр. 9-10, как читатель, возможно, помнит, мы приводили примеры адаптации поведения к новым условиям со стороны спинного мозга и таламуса лягушки, которые заставили Пфлюгера и Льюса, с одной стороны, и Гольца, с другой, обнаружить в этих органах интеллект, сходный с тем, который заложен в полушариях.

Когда речь заходит о птицах, лишенных полушарий, доказательства того, что за некоторыми их действиями стоит сознательная цель, оказываются не менее убедительными. У голубей Шрадер обнаружил, что состояние сонливости длится всего три-четыре дня, после чего птицы начинают неукротимо ходить по комнате. Они вылезали из коробок, в которые их сажали, перепрыгивали через препятствия или взлетали на них, а их зрение было настолько совершенным, что ни при ходьбе, ни при полете они никогда не задевали ни одного предмета в комнате. У них также были определенные цели, они летали прямо к более удобным местам для сидения, когда им становилось не по себе от движений, вызванных тем, на чем они стояли; и из нескольких возможных мест для сидения они всегда выбирали наиболее удобное. "Если мы предоставим голубке выбор между горизонтальной перекладиной (*Рек*) и одинаково удаленным столом, на который она может перелететь, она всегда отдаст предпочтение столу. Действительно, она выбирает стол, даже если он находится на несколько метров дальше, чем турник или стул". Посаженная на спинку стула, она летит сначала на сиденье, а затем на пол, и вообще "отказывается от высокого положения, хотя оно дает ей достаточно твердую опору, и, чтобы достичь земли, использует окружающие предметы в качестве промежуточных целей полета, демонстрируя совершенно правильное суждение об их расстоянии". Хотя она может лететь прямо к земле, она предпочитает совершать путешествие последовательными этапами..... Оказавшись на земле, она почти никогда не поднимается в воздух самопроизвольно".[91]

Молодые кролики, лишенные своих полушарий, будут стоять, бегать, прибегать на шум, избегать препятствий на своем пути и издавать страдальческие крики, когда их обижают. Крысы делают то же самое, более того, бросаются в оборонительную позицию. Собаки никогда не выживают после такой операции, если она проводится сразу. Но последняя собака Гольца, упомянутая на с. 70, которая, как утверждается, оставалась живой в течение 51 дня после того, как оба полушария были удалены с помощью серии абляций, а *corpora striata* и *thalami* размягчились, показывает, как много могут сделать центры среднего мозга и пуловина даже у собачьего вида. Вместе взятые, количество реакций, показанных в нижних

центрах этими наблюдениями, дает довольно веские основания для применения схемы Мейнерта к этим низшим животным. Эта схема требует наличия полушарий, которые должны быть просто дополнениями или органами повторения, и в свете этих наблюдений они, очевидно, в значительной степени являются таковыми. Но схема Мейнерта также требует, чтобы все реакции нижних центров были *родными*, а мы не уверены, что некоторые из тех, которые мы рассматривали, не были приобретены после травмы; кроме того, она требует, чтобы они были машиноподобными, тогда как выражение некоторых из них заставляет нас сомневаться, что они не управляются интеллектом низкой степени.

Таким образом, даже у низших животных есть основания смягчить то противостояние между полушариями и низшими центрами, которого требует схема. Полушария, правда, могут лишь дополнять нижние центры, но последние по своей природе напоминают первые и обладают, по крайней мере, небольшой долей "спонтанности" и выбора.

Но когда мы переходим к обезьянам и человеку, схема почти полностью разрушается, поскольку мы обнаруживаем, что полушария не просто добровольно повторяют действия, которые нижние центры выполняют как машины. Существует множество функций, которые нижние центры вообще не могут выполнять самостоятельно. При повреждении двигательной коры у человека или обезьяны наступает настоящий паралич, который у человека неизлечим, а у обезьяны почти или совсем неизлечим. Доктор Сеген знал человека с полуслепотой, вызванной повреждением коры головного мозга, которая сохранялась без изменений в течение двадцати трех лет. Травматическое торможение" не может быть объяснением этого. Слепота должна была быть "Ausfallerscheinung", вызванной потерей основного органа зрения. Таким образом, кажется, что у этих высших существ нижние центры должны быть менее адекватными, чем у тех, кто находится дальше по зоологической шкале; и что даже для некоторых элементарных комбинаций движений и впечатлений сотрудничество полушарий необходимо с самого начала. Даже у птиц и собак способность *правильно питаться* утрачивается, когда отрезаются лобные доли.[92]

Простая истина заключается в том, что ни у человека, ни у животного полушария не являются девственными органами, как их назвала наша схема. Чтобы не быть неорганизованными при рождении, они должны иметь врожденные тенденции к реакциям определенного рода.[93] Это тенденции, которые мы знаем как *эмоции* и *инстинкты*, и которые мы должны изучить с некоторыми подробностями в последующих главах этой книги. И инстинкты, и эмоции - это реакции на особые виды объектов *восприятия*; они зависят от полушарий; и в первую очередь они рефлекторны, то есть возникают при первой встрече с возбуждающим объектом, не сопровождаются никаким предвидением или обдумыванием и являются непреодолимыми. Но они в определенной степени изменяются под влиянием опыта, и в последующих случаях встречи с возбуждающим объектом инстинкты особенно не имеют того слепого импульсивного характера, который они имели вначале. Все это будет подробно описано в главе XXIV. Пока же можно сказать, что множественность эмоциональных и инстинктивных реакций у человека, а также его обширная ассоциативная способность позволяют производить обширные повторные включения первоначальных сенсорных и моторных партнеров. *Последствия* одной инстинктивной реакции часто оказываются стимулами противоположной реакции и, будучи *подсказанными* впоследствии первоначальным объектом, могут полностью подавить первую реакцию, как в случае с ребенком и пламенем. Для такого воспитания полушариям не нужно быть сначала *tabulae rasae*, как это было бы в схеме Мейнерта; и так далеко не всегда их воспитывают исключительно нижние центры, они воспитывают себя сами.[94]

Мы уже отмечали отсутствие реакций страха и голода у обычной безмозглой лягушки. Шрадер дает поразительный отчет о лишенном инстинктов состоянии своих безмозглых голубей, которые были активны в плане локомоции и голоса. "Животное без полушарий движется в мире тел, которые... все имеют для него одинаковую ценность..... Он, по меткому выражению Гольца, безличен..... Каждый объект является для него лишь массой, занимающей пространство, он сворачивает со своего пути ради обычного голубя не иначе, чем ради камня. Он может попытаться перелезть и через то, и через другое. Все авторы сходятся во мнении, что никогда не находили разницы, кто вставал на пути их голубя - неживое тело, кошка, собака или хищная птица. Это существо не знает ни друзей, ни врагов, в самой густой компании оно живет как отшельник. Тоскливое воркование самца вызывает у него не больше впечатлений, чем стук гороха или призывный свисток, который во времена до травмы заставлял птиц спешить на кормление. Так же мало, как и предыдущие наблюдатели, я видел, как безполушарные стрижи отвечают на ухаживания самца. Самец без полушарий будет ворковать весь день и проявлять явные признаки полового возбуждения, но его активность бесцельна, ему совершенно безразлично, есть ли рядом птица-самец или нет. Если она оказывается рядом с ним, он оставляет ее незамеченной..... Как самец не обращает внимания на самку, так и она не обращает внимания на своих птенцов. Выводок может беспрестанно следовать за матерью, призывая ее к еде, но с таким же успехом они могут просить ее у камня..... Голубь без полушария без сферы в высшей степени приручаем и боится человека так же мало, как кошка или хищная птица".[95]

Если собрать воедино все факты и размышления, через которые мы прошли, то мне кажется, что *мы больше не можем строго придерживаться схемы Мейнерта*. Если где-нибудь она и применима, то к низшим животным; но в них, особенно в низших центрах, похоже, присутствует определенная степень спонтанности и выбора. В целом, я думаю, что мы должны заменить ее какой-то общей концепцией, такой как следующая, которая позволяет учитывать зоологические различия, как мы их знаем, и является достаточно расплывчатой и эластичной, чтобы принять любое количество будущих открытий деталей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Все центры у всех животных, хотя они и являются в одном аспекте механизмами, вероятно, являются или, по крайней мере, когда-то были органами сознания в другом, хотя сознание, несомненно, гораздо более развито в полушариях, чем где-либо еще. Сознание должно везде *предпочитать* одни ощущения, которые оно получает, другим; и если оно может вспомнить их в отсутствие, пусть даже смутно, они должны быть *целью* его желания. Если, кроме того, оно может определить в памяти какие-либо двигательные разряды, которые могли привести к таким целям, и связать их с ними, то эти двигательные разряды сами могут в свою очередь стать желаемыми как *средства*. Это и есть развитие *воли*; и его реализация, конечно, должна быть пропорциональна возможному усложнению сознания. Даже спинной мозг, возможно, обладает некоторой небольшой силой воли в этом смысле и усилием, направленным на изменение поведения в результате нового опыта чувствительности.[96]

Все нервные центры имеют, таким образом, в первую очередь одну существенную функцию - функцию "разумного" действия. Они чувствуют, предпочитают что-то одному другому и имеют "цели". Однако, как и все другие органы, они *эволюционируют* от предка к потомку, и их развитие идет в двух направлениях: низшие центры переходят вниз, к более беспрекословному автоматизму, а высшие - вверх, к большей интеллектуальности.[97] Таким образом, может случиться, что те функции, которые могут безопасно стать однородными и фатальными, становятся наименее сопровождаемыми разумом, а их орган, спинной мозг, становится все более и более бездушной машиной; в то время как, напротив, те функции,

которые выгодно, чтобы животное адаптировалось к тонким окружающим изменениям, все больше и больше переходят к полушариям, чья анатомическая структура и сопутствующее сознание становятся все более и более сложными по мере зоологической эволюции. Таким образом, может получиться, что у человека и обезьян базальные ганглии должны делать меньше вещей сами по себе, чем они могут делать у собак, меньше у собак, чем у кроликов, меньше у кроликов, чем у ястребов, [98] меньше у ястребов, чем у голубей, меньше у голубей, чем у лягушек, меньше у лягушек, чем у рыб, и что полушария, соответственно, должны делать больше. Этот переход функций к все более увеличивающимся полушариям сам по себе был бы одним из эволюционных изменений, которые должны быть объяснены, как и развитие самих полушарий, либо удачной вариацией, либо унаследованными эффектами использования. Рефлексы, с этой точки зрения, от которых зависит образование наших человеческих полушарий, не будут обусловлены только базальными ганглиями. Они были бы тенденциями в самих полушариях, поддающимися изменению под влиянием воспитания, в отличие от рефлексов продолговатого мозга, лобной кости, зрительных долей и спинного мозга. Такие церебральные рефлексы, если они существуют, образуют основу, не уступающую той, которую предлагает схема Мейнерта, для приобретения воспоминаний и ассоциаций, которые впоследствии могут привести к всевозможным "сменам партнеров" в психическом мире. Схему с младенцем и свечой (см. [стр. 25](#)) при необходимости можно переделать, представив ее как полностью корковую операцию. Первоначальная тенденция к прикосновению будет корковым инстинктом; ожог оставит образ в другой части коры, который, будучи вызванным по ассоциации, будет подавлять тенденцию к прикосновению в следующий раз, когда свеча будет воспринята, и возбуждать тенденцию к отстранению - так что ретикулярная картинка в следующий раз будет соединена с первоначальным двигательным партнером боли. Таким образом, мы получаем всю психологическую истину, которой обладает схема Мейнерта, не путаясь в сомнительной анатомии и физиологии.

Мне кажется, что наиболее безопасно предаваться некой теневой картине эволюции центров, связи сознания с ними, а также полушарий с другими долями. Если у него нет других преимуществ, то он, во всяком случае, заставляет нас осознать, насколько огромны пробелы в наших знаниях, когда мы пытаемся охватить факты какой-либо одной формулой общего вида.

[4] Следует сказать, что этот конкретный срез обычно оказывается фатальным. В тексте речь идет о тех редких случаях, когда удастся выжить.

[5] Для простоты я ограничиваюсь лягушкой. У высших животных, особенно у обезьяны и человека, похоже, что из полушарий могут иннервироваться не только определенные комбинации мышц, но и ограниченные группы или даже отдельные мышцы.

[6] Я надеюсь, что читатель не будет возмущен тем, что я так смешиваю физическое и психическое, говорю о рефлекторных актах, полушариях и воспоминаниях на одном дыхании, как будто это однородные величины и факторы одной причинно-следственной цепи. Я сделал это намеренно, поскольку, хотя я признаю, что с радикально физической точки зрения легко представить цепь событий среди клеток и волокон как полную саму по себе, и что при таком представлении не нужно упоминать "идеи", я все же подозреваю, что эта точка зрения является нереальной абстракцией. Рефлексы в центрах могут происходить даже там, где ими руководят сопутствующие чувства или идеи. В другой главе я попытаюсь

показать причины, по которым не следует отказываться от этой позиции здравого смысла; пока же язык настолько легче поддается смешанному способу описания, что я буду продолжать использовать последний. Более радикально настроенный читатель всегда может прочитать "идеологический процесс" как "идея".

[7] В дальнейшем я буду называть это для краткости "схемой Мейнерта"; ведь пример с ребенком и пламенем, как и все общее представление о том, что полушария являются дополнительной поверхностью для проецирования и объединения ощущений и движений, изначально связанных в центрах внизу, принадлежит Т. Мейнерту, австрийцу. Мейнерта, австрийского анатома. Популярное изложение его взглядов см. в его брошюре "Zur Mechanik des Gehirnbauces", Вена, 1874. Его последняя разработка воплощена в его "Психиатрии", клиническом трактате о болезнях переднего мозга, переведенном Б. Саксом, Нью-Йорк, 1885.

[8] Geschichte des Materialismus, 2d ed., ii, p. 345.

[9] West Riding Asylum Reports, 1876, p. 267.

[10] Подробное обсуждение различных возражений см. в книге Феррье "Функции мозга", 2-е изд., стр. 227-234, и в книге Франсуа-Франка "Leçons sur les Fonctions Motrices du Cerveau" (1887), Leçon 31. Наиболее точные эксперименты по раздражению точек коры головного мозга были проведены Панэтом в "Архиве Пфлюгера", т. 37, с. 528. - В последнее время хирурги бесстрашно вскрывают череп и проводят операции на человеческом мозге, иногда с самыми счастливыми результатами. В некоторых из этих операций кора головного мозга возбуждалась электрическим током с целью более точной локализации места, и движения, впервые замеченные у собак и обезьян, затем были проверены у людей.

[11] J. Loeb: Beiträge zur Physiologie des Grosshirns; Pflüger's Archiv, xxxix, 293. Я упрощаю высказывание автора.

[12] Гольц: Pflüger's Archiv, xlii, 419.

[13] Гемиплегия" означает односторонний паралич.

[14] Philosophical Transactions, vol. 179, pp. 6, 10 (1888). В более поздней работе (ibid. p. 205) господ Бивор и Хорсли еще более детально рассматривают локализацию, показывая точки, из которых можно заставить сокращаться отдельные мышцы или отдельные циффы.

[15] Nothnagel und Naunyn; Die Localization in den Gehirnkrankheiten (Wiesbaden, 1887), p. 34.

[16] Доступное изложение истории наших знаний о моторной афазии содержится в книге В. А. Хаммонда "Трактат о болезнях нервной системы", глава vii.

[17] Историю до 1885 года можно найти в A. Christiani: Zur Physiologie des Gehirnes (Berlin, 1885).

[18] Pflüger's Archiv, vol. 44, p. 176. Мунк (Munk, Berlin Academy Sitzungsberichte, 1889, xxxi) возвращается к обвинению, отрицающему полноту экстирпации Шрадера: "Микроскопические части *Sehspähre* должны оставаться".

[19] A. Christiani; Zur Physiol. d. Gehirnes (Berlin, 1885), chaps. ii, iii, iv, H. Munk: Berlin Akad. Stzgsb. 1884, xxiv.

[20] Luciani und Seppili: Die Functions-Localization auf der Grosshirnrinde (Deutsch von Fraenkel), Leipzig, 1886, Dogs M, N, and S. Goltz in Pflüger's Archiv, vol. 34, pp. 490-6; vol. 42, p. 454. Cp.

также Munk: Berlin Akad. Stzgsb. 1886, vii, viii, pp. 113-121, и Loeb: Pflüger's Archiv, vol. 39, p. 337.

[21] Berlin Akad. Sitzungsberichte, 1886, vii, viii, p. 124.

[22] H. Munk: Functionen der Grosshirnrinde (Berlin, 1881), pp. 36-40. Ferrier: Functions, etc., 2d ed., chap. ix, pt. i. Brown and Schaefer, Philos. Transactions, vol. 179, p. 321. Luciani u. Seppili, op. cit. pp. 131-138. Ланнегрейс обнаружил следы зрения при разрушении обеих затылочных долей, а у одной обезьяны даже при полном разрушении угловых извилин и затылочных долей. Его статья опубликована в Archives de Médecine Expérimentale за январь и март 1889 года. Мне она известна только по аннотации в Neurologisches Centralblatt, 1889, pp. 108-420. Репортер сомневается в доказательстве наличия зрения у обезьяны. По-видимому, оно заключалось в обходе препятствий и эмоциональном беспокойстве в присутствии людей.

[23] Локализация церебральных заболеваний (1878), с. 117-8.

[24] О случаях см. Flechsig: Die Leitungsbahnen in Gehirn u. Rückenmark (Leipzig, 1876), pp. 112, 272; Exner's Untersuchungen, etc., p. 83; Ferrier's Localization, etc., p. 11; François-Franck's Cerveau Moteur, p. 63, note.

[25] E. C. Seguin: Hemianopsia of Cerebral Origin, in Journal of Nervous and Mental Disease, vol. xiii, p. 30. Nothnagel und Naunyn: Ueber die Localization der Gehirnkrankheiten (Wiesbaden, 1887), p. 16.

[26] Die Seelenblindheit, etc., p. 51 ff. В случае этой женщины психическая слепота была умеренной по степени.

[27] Archiv f. Psychiatrie, vol. 21, p. 222.

[28] Нотнагель (Nothnagel, loc. cit. p. 22) говорит: "*Dies trifft aber nicht zu.*" Однако он не приводит ни одного случая в поддержку своего мнения о том, что двустороннее поражение коры может сделать человека слепым и при этом не разрушить его зрительные образы; так что я не знаю, является ли это констатацией факта или *априорным* предположением.

[29] В случае, опубликованном К. С. Фройндом: Archiv f. Psychiatrie, vol. xx, затылочные доли были повреждены, но их кора не была разрушена, причем с обеих сторон. Зрение сохранилось. Ср. [стр. 291-5](#).

[30] Я говорю "нужно", поскольку, конечно, не отрицаю *возможности* сосуществования этих двух симптомов. Многие поражения мозга могут блокировать оптические ассоциации и в то же время ухудшать оптическое воображение, не останавливая полностью зрение. Таким случаем, по-видимому, был замечательный случай Шарко, который я приведу довольно подробно в главе "Воображение".

[31] Фройнд (в цитированной выше статье "Ueber optische Aphasie und Seelenblindheit") и Брунс ("Ein Fall von Alexie," etc., в Neurologisches Centralblatt за 1888 год, pp. 581, 509) объясняют свои случаи нарушенной проводимостью. Вильбранд, чья кропотливая монография об умственной слепоте была упомянута минуту назад, не дает никаких, кроме *априорных*, оснований для своей веры в то, что оптический "Erinnerungsfeld" должен быть локально отличен от Wahrnehmungsfeld (ср. [стр. 84, 93](#)). *Априорные* причины на самом деле имеют обратную сторону. Маутнер ("Gehirn u. Auge" (1881), p. 487 ff.) пытается показать, что "умственная слепота" собак и обезьян Мунка после калечащих операций на затылке была не таковой, а реальной тусклостью зрения. Лучший случай умственной слепоты, о котором пока

сообщается, - это случай Лиссауэра, о котором говорилось выше. Читателю также будет полезно прочесть Bernard: De l'Aphasie (1885) chap. v; Ballet: Le Langage Intérieur (1886), глава viii; и Джас. Boss's little book on Aphasia (1887), p. 74.

[32] Случай см. в Wernicke's Lehrb. d. Gehirnkrankheiten, vol. ii, p. 554 (1881).

[33] Самое последнее описание - статья фон Монакова "О зрительных центрах и банях" в "Archiv für Psychiatrie", vol. xx, p. 714.

[34] Die Functions-Localization, etc., Dog X; см. также p. 161.

[35] Philos. Trans., vol. 179, p. 312.

[36] Brain, vol. xi, p. 10.

[37] *Ibid.* p. 147.

[38] Der aphasische Symptomencomplex (1874). См. на рис. 11 сверток, обозначенный Вернике.

[39] 'The Pathology of Sensory Aphasia', 'Brain', July, 1889.

[40] Nothnagel und Naunyn; *op. cit.* plates.

[41] Работы Балье и Бернара, приведенные на с. 51, являются наиболее доступными документами школы Шарко. Хороша также книга Бастиана "Мозг как орган разума" (последние три главы).

[42] Подробнее см. "Функции" Феррье, гл. ix, п. iii, и Chas. K. Mills: Transactions of Congress of American Physicians and Surgeons, 1888, vol. i, p. 278.

[43] Функции мозга, гл. x, § 14.

[44] Ueber die Functionen d. Grosshirnrinde (1881), p. 50.

[45] Lezioni di Fisiologia sperimentale sul sistema nervoso encefalico (l. 73), p. 527 ff. Также "Brain", vol. ix, p. 298.

[46] Бехтерев (Pflüger's Archiv, vol. 35, p. 137) не обнаружил анестезии у кошки с двигательными симптомами после абляции сигмовидной извилины. Лучани получил гиперэстезию, сосуществующую с корковым двигательным дефектом у собаки, путем одновременной гемисекции спинного мозга (Luciani u. Seppili, *op. cit.* p. 234). Гольц часто обнаруживал гиперэстезию всего тела, сопровождающую двигательный дефект после абляции обеих лобных долей, и однажды он обнаружил ее после абляции моторной зоны (Pflüger's Archiv, vol. 34, p. 471).

[47] Philos. Transactions, vol. 179, p. 20 ff.

[48] Функции, p. 375.

[49] Pp. 15-17.

[50] Luciani u. Seppili, *op. cit.* pp. 275-288.

[51] *Op. cit.* p. 18.

[52] Trans. of Congress, etc., p. 272.

[53] См. книгу Экснепа "Unters. üb. Localization, plate xxv.

[54] См. "Функции" Феррье и т. д., гл. iv и гл. x, §§ 6-9.

[55] *Op. cit.* p. 17.

[56] Например, Starr, *loc. cit.* p. 272; Leyden, Beiträge zur Lehre v. d. Localization im Gehirn (1888), p. 72.

[57] Bernard, *op. cit.* p. 84.

[58] Philos. Trans., vol. 179, p. 3.

[59] Trans. of Congress of Am. Phys. and Surg. 1888, vol. i, p. 343. Работа Бивора и Хорсли об электрической стимуляции мозга обезьяны - самая прекрасная работа, выполненная для точности. См. Phil. Trans., vol. 179, p. 205, особенно пластины.

[60] Pflüger's Archiv, vol. 37, p. 523 (1885).

[61] Луис в своей в целом абсурдной книге "Мозг"; также Хорсли.

[62] К. Мерсье: The Nervous System and the Mind, p. 124.

[63] Лобные доли пока остаются загадкой. Вундт пытается объяснить их как орган "апперцепции" (Grundzüge d. Physiologischen Psychologie, 3d ed., vol. i, p. 233 ff.), но я признаюсь, что не в состоянии ясно понять вундтовскую философию в той мере, в какой это слово входит в нее, поэтому должен довольствоваться этой голой ссылкой. - До недавнего времени было принято говорить об "идейном центре" как о чем-то отличном от совокупности других центров. К счастью, этот обычай уже сходит на нет.

[64] Rech. Exp. sur le Fonctionnement des Centres Psycho-moteurs (Brussels, 1885).

[65] Pflüger's Archiv, vol. 44, p. 544.

[66] Я должен добавить, однако, что Франсуа-Франк (Fonctions Motrices, p. 370) получил на двух собаках и кошке другой результат от такого рода "обхватывания".

[67] Об этом слове см. в "Лекциях и эссе" Т. К. Клиффорда (1879), т. ii, с. 72.

[68] См. ниже, [глава VIII](#).

[69] Ср. "Функции" Феррье, с. 120, 147, 414. См. также Vulpian: Leçons sur la Physiol. du Syst. Nerveux, p. 548; Luciani u. Seppili, *op. cit.* pp. 404-5; H. Maudsley: Physiology of Mind (1876), pp. 138 ff., 197 ff., and 241 ff. В книге Г. Х. Льюса "Физические основы разума", проблема IV: "Рефлекторная теория", дается очень полная история вопроса.

[70] Гольц: Pflüger's Archiv, vol. 8, p. 460; Freusberg: *ibid.* vol. 10, p. 174.

[71] Goltz: Verrichtungen des Grosshirns, p. 78.

[72] Loeb: Pflüger's Archiv, vol. 89, p. 276.

[73] *Ibid.* p. 289.

[74] Schrader: *ibid.* vol. 44, p. 218.

[75] The Nervous System and the Mind (1888), гл. iii, vi; также в Brain, vol. xi, p. 361.

[76] Броун-Секард изложил свои взгляды в "Archives de Physiologie" за октябрь 1889 г., 5me. Série, vol. i, p 751.

[77] Гольц впервые применил теорию торможения к мозгу в своей работе "Verrichtungen des Grosshirns", p. 39 ff. Об общей философии торможения читатель может прочесть в книге Брантона "Фармакология и терапия", с. 154 и далее, а также в "Природе", т. 27, с. 419 и далее.

[78] Например, Herzen, Herman u. Schwalbe's Jahres-bericht for 1886, Physiol. Abth. p. 38. (Опыты над новорожденными щенками).

[79] François-Franck: *op. cit.* p. 382. Результаты несколько противоречивы.

[80] Pflüger's Archiv, vol. 42, p. 419.

[81] Neurologisches Centralblatt, 1889, p. 372.

[82] *Op. cit.* p. 387. Обсуждение всего вопроса см. на с. 378-388. Сравните также Wundt's Physiol. Psych., 3d ed., i, 225 ff., и Luciani u. Seppili, pp. 243, 293.

[83] Главы о привычках, ассоциациях, памяти и восприятию изменяют нашу предварительную догадку о том, что это одно из существенных применений, на непоколебимое убеждение.

[84] Pflüger's Archiv, vol. 41, p. 75 (1887).

[85] *Ibid.* vol. 44, p. 175 (1889).

[86] Untersuchungen über die Physiologie des Froschhirns. 1885.

[87] *Loc. cit.* pp. 80, 82-3. Шрадер также обнаружил, что рефлекс на укусы развивается, когда продолговатый мозг разрезается сразу за мозжечком.

[88] Berlin Akad. Sitzungsberichte за 1886 год.

[89] Comptes Rendus, vol. 102, p. 90.

[90] Comptes Rendus de l'Acad. d. Sciences, vol. 102, p. 1530.

[91] *Loc. cit.* p. 210.

[92] Гольц: Pflüger's Archiv, vol. 42, p. 447; Schrader: *ibid.* vol. 44, p. 219 ff. Возможно, однако, что этот симптом может быть следствием травматического торможения.

[93] Несколько лет назад одним из самых сильных аргументов в пользу теории о том, что полушария являются чисто супернумеральными, было часто цитируемое наблюдение Зольтмана о том, что у новорожденных щенков двигательная зона коры не возбуждается электричеством и становится таковой только в течение двух недель, предположительно после того, как опыт низших центров приучил ее к двигательным обязанностям. Однако более поздние наблюдения Панета, похоже, показывают, что Зольтманн мог быть введен в заблуждение из-за чрезмерной наркотизации своих жертв (Pflüger's Archiv, vol. 37, p. 202). В "Neurologisches Centralblatt" за 1889 г., p. 513, Бехтерев возвращается к этой теме со стороны Зольтмана, не обращая, однако, внимания на работу Панета.

[94] Мюнстерберг (Die Willenshandlung, 1888, p. 134) оспаривает схему Мейнерта в целом, говоря, что в то время как мы имеем в нашем личном опыте множество примеров действий, которые сначала были добровольными, а затем стали автоматическими и рефлекторными, у нас нет ни одной сознательной записи ни одного первоначально рефлекторного действия,

ставшего добровольным. - Что касается сознательной записи, мы не могли бы иметь ее, даже если бы схема Мейнерта была полностью верной, поскольку образование полушарий, которое постулирует эта схема, должно по природе вещей предшествовать воспоминанию. Но мне кажется, что отказ Мюнстерберга от этой схемы может быть правильным в отношении рефлексов из *нижних центров*. Повсюду в этом отделе психогенеза нам дают почувствовать, насколько мы невежественны.

[95] Pflüger's Archiv, vol. 44, p. 230-1.

[96] Естественно, как уже давно заметил Шифф (Lehrb. d. Muskel-u. Nervenphysiologie, 1859, p. 213 ff.), "Rückenmarksseele", если он сейчас существует, не может иметь никакого высшего чувства-сознания, поскольку его входящие токи исходят исключительно от кожи. Но она может, в своем смутном виде, и чувствовать, и предпочитать, и желать. См. мнение, благоприятное для данного текста: G. H. Lewes, The Physiology of Common Life (1860), chap. ix. Гольц (Nervencentren des Frosches 1869, pp. 102-130) считает, что пуповина лягушки не обладает адаптационной способностью. Возможно, в таких экспериментах, как его, это так и есть, потому что короткий срок жизни обезглавленной лягушки не дает ей времени научиться новым трюкам, о которых ее просят. Но Розенталь (Biologisches Centralblatt, vol. iv, p. 247) и Мендельсон (Berlin Akad. Sitzungsberichte, 1885, p. 107) в своих исследованиях простых рефлексов пуповины лягушки показывают, что существует определенная адаптация к новым условиям, поскольку, когда обычные пути проведения прерываются перерезанием, появляются новые пути. По мнению Розенталя, они становятся более проницательными (т.е. требуют меньшего раздражителя) пропорционально тому, как часто их преодолевают.

[97] Происходит ли эта эволюция через наследование приобретенных привычек или через сохранение удачных вариаций - это вопрос, который нам не нужно здесь обсуждать. Мы рассмотрим ее в последней главе книги. Для нашей цели способ эволюции не имеет значения, если признать, что она происходит.

[98] См. "Наблюдения Шрадера", *loc. cit.*

ГЛАВА III.

О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЗГА.

Элементарные свойства нервной ткани, от которых зависят функции мозга, далеки от удовлетворительного понимания. Схема, которая в первую очередь приходит на ум, потому что она так очевидна, безусловно, ложна: Я имею в виду представление о том, что каждая клетка обозначает идею или часть идеи, и что идеи связаны или "скреплены в пучки" (если воспользоваться фразой Локка) волокнами. Если мы начертим на доске символическую схему законов ассоциации между идеями, то неизбежно нарисуем круги или замкнутые фигуры какого-то вида и соединим их линиями. Когда мы слышим, что нервные центры содержат клетки, которые посылают волокна, мы говорим, что природа реализовала нашу схему за нас, и что механический субстрат мысли очевиден. В *какой-то мере*, правда, наша схема должна быть реализована в мозге, но, конечно, не таким видимым и осязаемым образом, как нам кажется на первый взгляд.[99] Огромное количество клеточных тел в полушариях лишено волокон. Там, где волокна отходят, они вскоре разделяются на не прослеживаемые разветвления; и нигде мы не видим простой грубой анатомической связи, подобной линии на доске, между двумя клетками. Слишком много анатомии было найдено

для теоретических целей, даже анатомами; а научно-популярные представления о клетках и волокнах почти полностью далеки от истины. Поэтому давайте отложим тему *интимной* работы мозга до физиологии будущего, за исключением нескольких моментов, о которых необходимо сказать несколько слов. И сначала о

О СУММИРОВАНИИ СТИМУЛОВ

в одном и том же нервном пути. Это свойство чрезвычайно важно для понимания многих явлений нервной, а следовательно, и психической жизни; и прежде чем двигаться дальше, нам следует получить ясное представление о том, что оно означает.

Закон заключается в том, что *стимул, который сам по себе был бы неадекватен для возбуждения нервного центра к эффективной разрядке, может, действуя вместе с одним или несколькими другими стимулами (столь же неэффективными сами по себе), привести к разрядке*. Естественно рассматривать это как совокупность напряжений, которые в конце концов преодолевают сопротивление. Первые из них вызывают "скрытое возбуждение" или "повышенную раздражительность" - это словосочетание несущественно с точки зрения практических последствий; последнее - это соломинка, которая ломает спину верблюду. Если нейронный процесс сопровождается сознанием, то окончательный взрыв во всех случаях, по-видимому, будет включать в себя яркое состояние чувств более или менее существенного рода. Но нет никаких оснований предполагать, что напряжение, пока еще субмаксимальное или внешне неэффективное, не может также иметь долю в определении общего сознания, присутствующего в индивидууме в данный момент. В последующих главах мы увидим множество оснований полагать, что они действительно имеют такую долю, и что без их вклада та грань отношений, которая в каждый момент является жизненно важным компонентом объекта сознания, вообще не дошла бы до сознания.

Этот вопрос слишком относится к физиологии, чтобы на этих страницах можно было подробно привести все доказательства. Я приведу в примечании несколько ссылок для тех читателей, которым будет интересно проследить за этим,[\[100\]](#) и просто скажу, что прямое электрическое раздражение корковых центров в достаточной степени доказывает эту точку зрения. Ведь еще самые ранние экспериментаторы обнаружили, что в то время как для возникновения любого движения при использовании одного индукционного толчка требуется очень сильный ток, быстрая последовательность индукционных толчков ("фарадизация") вызывает движения при сравнительно слабом токе. Одна цитата из прекрасного исследования продемонстрирует этот закон в других аспектах:

"Если мы продолжаем стимулировать кору головного мозга через короткие промежутки времени с силой тока, которая вызывает минимальное мышечное сокращение [мышцы-разгибателя собаки], количество сокращений постепенно увеличивается, пока не достигнет максимума. Таким образом, каждая предыдущая стимуляция оставляет после себя эффект, который повышает эффективность последующей. В этом суммировании стимулов.... можно отметить следующие моменты: 1) Одиночные стимулы, совершенно неэффективные сами по себе, могут стать эффективными при достаточно быстром повторении. Если сила тока намного меньше той, которая вызывает первое начало сокращения, то может потребоваться очень большое количество последовательных толчков, прежде чем появится движение - 20, 50, один раз потребовалось 106 толчков. 2) Суммирование происходит легко, пропорционально краткости интервала между стимулами. Ток, слишком слабый, чтобы дать эффективную сумму, когда толчки идут с интервалом в 3 секунды, будет способен сделать это, когда интервал сократится до

1 секунды. 3) Не только электрическое раздражение оставляет изменения, которые разбухают при следующем раздражении, но и любой вид раздражителя, который может вызвать сокращение, делает это. Если каким-либо образом было произведено рефлекторное сокращение экспериментальной мышцы или если она сокращается спонтанно самим животным (как это нередко происходит "по симпатии" во время глубокого вдоха), то обнаруживается, что электрический раздражитель, до тех пор недействующий, действует энергично, если его немедленно применить".[101]

Кроме того:

"На определенной стадии морфийного наркоза неэффективный слабый удар станет мощно эффективным, если непосредственно перед его применением к двигательному центру подвергнуть кожу определенных участков тела нежной тактильной стимуляции..... Если, убедившись в минимальной силе тока и неоднократно убедившись в его неэффективности, провести рукой один раз слегка по коже той лапы, кортикальный центр которой является объектом стимуляции, то ток сразу же окажется сильно действующим. Усиление раздражительности длится несколько секунд, после чего исчезает. Иногда эффект от одного легкого поглаживания лапы достаточен только для того, чтобы ранее неэффективный ток произвел очень слабое сокращение. Повторение тактильной стимуляции, как правило, усиливает сокращение".[102]

Мы постоянно используем суммирование стимулов в своих практических обращениях. Если лошадь упирается, то окончательно завести ее можно, применив сразу несколько привычных стимулов. Если водитель использует вожжи и голос, если один прохожий дергает его за голову, другой бьет плетью по задним четвертям, а кондуктор звонит в колокольчик, а разошедшиеся пассажиры толкают вагон, и все это в один и тот же момент, упрямец обычно сдается, и он отправляется в путь, радуясь. Если мы пытаемся вспомнить утерянное имя или факт, мы придумываем как можно больше "подсказок", чтобы совместными усилиями вспомнить то, что никто из них не может вспомнить в одиночку. Вид мертвой добычи часто не побуждает зверя к преследованию, но если к виду формы добавляется вид движения, преследование начинается". "Брюкке заметил, что его безмозглая курица, которая не пыталась клевать зерно у себя на глазах, начинала клевать, если зерно с силой бросали на землю, чтобы оно издавало дребезжащий звук".[103] "Доктор Аллен Томсон вывел несколько цыплят на ковре, где держал их несколько дней. Они не проявляли никакого желания скрести, но когда доктор Томсон насыпал на ковер немного гравия... цыплята сразу же начали скрести".[104] Незнакомый человек и темнота - оба эти фактора вызывают страх и недоверие у собак (да и у людей, если уж на то пошло). По отдельности ни одно из этих обстоятельств не может пробудить внешних проявлений, но вместе, то есть при встрече с неизвестным человеком в темноте, собака будет возбуждена до яростного неповиновения.[105] Уличные лоточники хорошо знают эффективность суммирования, поскольку они выстраиваются в ряд на тротуаре, и прохожий часто покупает у последнего из них, благодаря эффекту повторного пристаивания, то, что он отказался купить у первого в ряду. Афазия демонстрирует множество примеров суммирования. Пациент, который не может назвать предмет, просто показанный ему, назовет его, если прикоснется к нему, а также увидит его, и т. д.

Примеры суммирования можно было бы приводить бесконечно, но вряд ли стоит отвлекаться от последующих глав. Те, что посвящены инстинкту, потоку мысли, вниманию,

дискриминации, ассоциации, памяти, эстетике и воле, будут содержать множество примеров применения этого принципа в чисто психологической области.

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ.

Одним из направлений экспериментальных исследований, наиболее усердно проводимых в последние годы, является выяснение *времени, занимаемого нервными событиями*. Гельмгольц начал с открытия быстроты тока в седалищном нерве лягушки. Но методы, которые он использовал, вскоре были применены к сенсорным нервам и центрам, и результаты вызвали большое научное восхищение, когда были описаны как измерения "скорости мысли". Фраза "быстрая, как мысль" с незапамятных времен обозначала все, что было удивительного и неуловимого в определении скорости; и то, как Наука наложила свою обреченную руку на эту тайну, напомнило людям тот день, когда Франклин впервые "*eripuit cælo fulmen*", предвещая царствование более новой и холодной расы богов. Мы рассмотрим различные операции по порядку, каждую в той главе, к которой она более естественно относится. Однако сразу скажу, что фраза "скорость мысли" вводит в заблуждение, поскольку ни в одном из случаев не ясно, какой именно мыслительный акт происходит за время, которое измеряется. "Скорость нервного действия" подвергается той же критике, поскольку в большинстве случаев мы не знаем, какие именно нервные процессы происходят. То, о чем идет речь, на самом деле представляет собой общую продолжительность определенных *реакций на раздражители*. Определенные условия реакции подготавливаются заранее; они заключаются в принятии тех моторных и сенсорных напряжений, которые мы называем состоянием ожидания. Что происходит в течение фактического времени, занятого реакцией (другими словами, что добавляется к уже существующим напряжениям, чтобы произвести фактическую разрядку), в настоящее время не выяснено ни с нейронной, ни с ментальной точки зрения.

Метод во всех этих исследованиях по сути один и тот же. Испытуемому сообщается некий сигнал, который в тот же миг регистрируется на аппарате, регистрирующем время. Затем испытуемый совершает какое-то мышечное движение, которое является "реакцией" и которое также автоматически регистрируется. Время, прошедшее между двумя записями, и есть общее время наблюдения. Приборы для регистрации времени бывают разных типов. Один тип - это вращающийся барабан, покрытый дымящейся бумагой, на которой одно электрическое перо проводит линию, которую сигнал прерывает и "реакция" рисует снова; в то время как другое электрическое перо (соединенное с маятником или металлическим стержнем, вибрирующим с известной скоростью) проводит рядом с прежней линией "линию времени", каждая волнистость или связь которой соответствует определенной доле секунды, и по которой можно измерить прерывание линии реакции. Сравните рис. 21, где линия прерывается сигналом на первой стрелке и продолжается реакцией на второй. Хорошими примерами приборов такого типа являются кимограф Людвиг и хронограф Маррея.

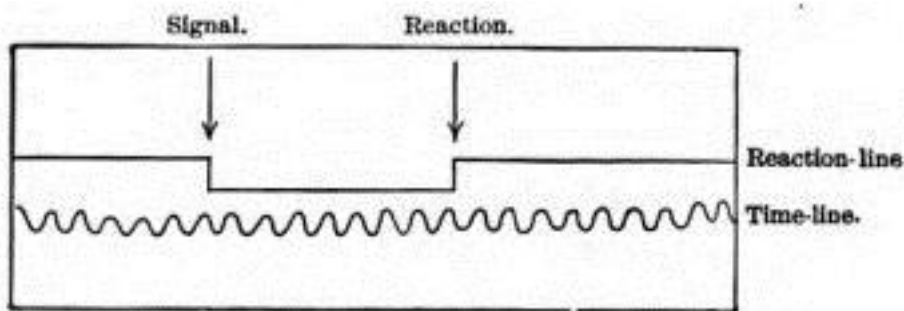


Рис. 21.

Другой тип приборов представлен секундомером, наиболее совершенной формой которого является хроноскоп Гиппа. Стрелка на циферблате измеряет интервалы до $1/1000$ секунды. Сигнал (через соответствующее электрическое соединение) запускает ее; реакция останавливает ее; и, считывая ее начальное и конечное положения, мы сразу и без лишних проблем получаем искомое время. Еще более простым прибором, хотя и не очень удовлетворительным в работе, является "психодометр" Экснера и Оберштайнера, который я представляю в модификации, разработанной моим коллегой профессором Х. П. Боудичем, и который работает очень хорошо.

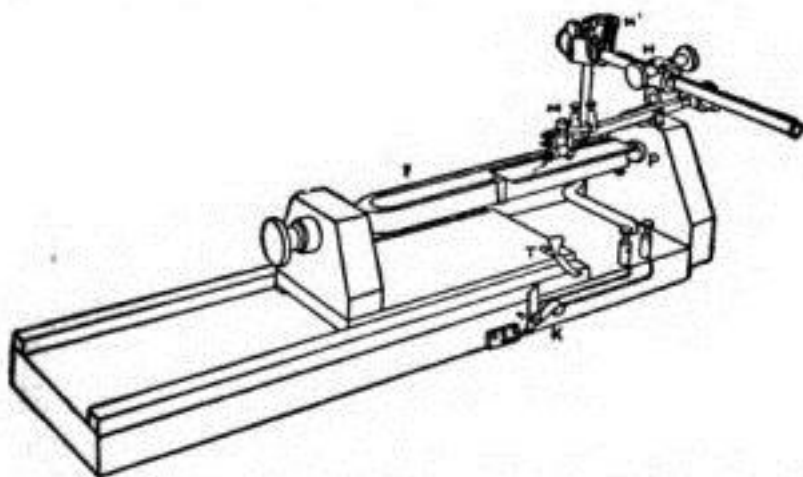


Рис. 22. Реактивный таймер Боудича. *F* - настроечная вилка, несущая маленькую пластинку, на которой лежит бумага, на которой электрическое перо *M* делает трассировку, и скользящая в пазах на опорной доске. *P* - вилка, которая раздвигает зубцы вилки, когда она выдвигается вперед до крайнего предела, и освобождает их, когда она отводится назад до определенной точки. При этом вилка вибрирует, и, продолжая движение назад, перо рисует на копченной бумаге волнистую линию. В точке *T* находится язычок, закрепленный на каретке вилки, а в точке *K* - электрический ключ, который открывает язычок и с которым соединено электрическое перо. В момент открытия перо меняет свое место, и волнистая линия рисуется на бумаге на другом уровне. Открытие можно сделать сигналом для реагирующего различными способами, а его реакцию можно заставить снова закрыть ручку, когда линия вернется на свой первый уровень. Время реакции = количеству волнистых линий, прорисованных на втором уровне.

Способ, которым сигнал и реакция связаны с хронографическим аппаратом, неограниченно варьируется в различных экспериментах. Каждая новая проблема требует нового электрического или механического расположения аппарата.[\[106\]](#)

Наименее сложное измерение времени - это измерение, известное как *простое время реакции*, в котором есть только один возможный сигнал и одно возможное движение, и оба они известны заранее. Движение - это, как правило, закрытие рукой электрического ключа. Нога, челюсть, губы, даже веко, в свою очередь, были сделаны органами реакции, и аппарат был изменен соответствующим образом.^[107] Время, которое обычно проходит между стимулом и движением, составляет от одной до трех десятых секунды, варьируясь в зависимости от обстоятельств, о которых будет сказано далее.

Объект эксперимента, когда реакции короткие и регулярные, находится в состоянии крайнего напряжения и чувствует, когда приходит сигнал, как будто *он* начал реакцию, в силу своего рода фатальности, и как будто никакой психический процесс восприятия или воления не имел шанса вмешаться. Вся эта последовательность настолько стремительна, что восприятие кажется ретроспективным, а временной порядок событий скорее зачитывается в памяти, чем осознается в данный момент. Таков, по крайней мере, мой личный опыт в этом вопросе, и с ним согласны и другие. Вопрос в том, что происходит внутри нас, в мозгу или в сознании, и чтобы ответить на него, мы должны проанализировать, какие процессы включает в себя реакция. Очевидно, что на каждом из следующих этапов теряется некоторое время:

1. Стимул возбуждает периферический орган чувств настолько, что ток проходит в сенсорный нерв;
2. Прохождение по сенсорному нерву;
3. В центрах происходит преобразование (или отражение) сенсорного тока в двигательный;
4. Спинной мозг и двигательный нерв пересекаются;
5. Двигательный ток возбуждает мышцу до точки сокращения.

Время, конечно, теряется и вне мышцы, в суставах, коже и т. д., а также между частями аппарата; когда стимул, служащий сигналом, прикладывается к коже туловища или конечностей, время теряется на сенсорную проводимость через спинной мозг.

Стадия, обозначенная как 3, - единственная, которая нас интересует. Другие стадии отвечают чисто физиологическим процессам, но стадия 3 - психофизическая, то есть это высший центральный процесс, который, вероятно, сопровождается каким-то видом сознания. Какого рода?

Вундту не составило труда решить, что это сознание довольно сложного типа. Он различает две стадии сознательного восприятия впечатления, называя одну из них *восприятием*, а другую - *апперцепцией*, и уподобляя одну из них простому попаданию объекта на периферию поля зрения, а другую - его перемещению в фокус или точку зрения. *Невнимательное осознание* объекта и *внимание* к нему, как мне кажется, являются эквивалентами восприятия и апперцепции, как Вундт использует эти слова. К этим двум формам осознания впечатления Вундт добавляет сознательное воление реагировать, дает этой троице название "психофизических" процессов и предполагает, что они действительно следуют друг за другом в той последовательности, в которой они были названы.^[108] Так, по крайней мере, я его понимаю. Самый простой способ определить время, затрачиваемое на эту психофизическую стадию № 3, заключался бы в том, чтобы отдельно определить продолжительность нескольких чисто физических процессов, 1, 2, 4 и 5, и вычесть их из

общего времени реакции. Такие попытки уже предпринимались.[109] Но данные для расчетов слишком неточны для использования, и, как признает сам Вундт,[110] точная продолжительность стадии 3 в настоящее время должна быть оставлена вместе с продолжительностью других процессов в общем времени реакции.

Я считаю, что на третьей стадии не происходит такой последовательности сознательных ощущений, какую описывает Вундт. Это процесс центрального возбуждения и разрядки, с которым, несомненно, сосуществует какое-то чувство, но *какое именно*, мы сказать не можем, потому что оно так бегло и так мгновенно затмевается более существенным и прочным воспоминанием о впечатлении, как оно поступило, и о выполненном движении реакции. Ощущение впечатления, внимание к нему, мысль о реакции, желание реагировать - все это, несомненно, было бы звеньями процесса *в других условиях*, [111] и привело бы к той же реакции - через неопределенно долгое время. Но эти другие условия - не те, что в обсуждаемых нами экспериментах; и это мифологическая психология (примеров которой мы увидим много позже) - заключать, что, поскольку два психических процесса приводят к одному и тому же результату, они должны быть похожи по своей внутренней субъективной конституции. Чувство третьей стадии - это, конечно, не артикулированное восприятие. Оно не может быть ничем иным, как простым ощущением рефлекторного разряда. *Реакция, время которой измеряется*, - это, короче говоря, *рефлекторное действие в чистом виде, а не психический акт*. Предшествующее психическое состояние, правда, является предпосылкой для этого рефлекторного действия. Подготовка внимания и воли, ожидание сигнала и готовность руки к движению, как только он поступит, нервное напряжение, в котором находится субъект в ожидании, - все это условия формирования в нем на время нового пути или дуги рефлекторного разряда. Путь от органа чувств, который получает стимул, в двигательный центр, который разряжает реакцию, уже покалывает предчувствие иннервации, поднимается до такого уровня повышенной раздражимости ожидающим вниманием, что сигнал мгновенно становится достаточным, чтобы вызвать переполнение. [112] Ни один другой канал нервной системы в данный момент не находится в таком состоянии. Следствием этого является то, что человек иногда реагирует на *неправильный* сигнал, особенно если это впечатление того же *рода*, что и сигнал, которого мы ожидаем. [113] Но если мы случайно устали или сигнал неожиданно слабый, и мы реагируем не мгновенно, а только после явного восприятия сигнала и явного волевого усилия, время становится непропорционально большим (секунда или больше, по данным Экснера [114]), и мы чувствуем, что процесс в природе совершенно иной.

На самом деле эксперименты с временем реакции - это случай, к которому можно сразу же применить то, что мы только что узнали о суммировании стимулов. "Ожидаемое внимание" - это лишь субъективное название того, что объективно является частичной стимуляцией определенного пути, пути от "центра" сигнала к центру разряда. В *главе XI* мы увидим, что любое внимание предполагает возбуждение изнутри тракта, связанного с ощущением объектов, которым уделяется внимание. В данном случае речь идет об эксцито-моторной дуге, которую необходимо преодолеть. Сигнал - это всего лишь искра извне, которая приводит в движение уже заложенный поезд. В этих условиях действие в точности напоминает рефлекторное. Единственное различие заключается в том, что в то время как в обычных, так называемых рефлекторных актах, рефлекторная дуга является постоянным результатом органического роста, здесь она является преходящим результатом предыдущих мозговых состояний. [115]

Я рад сообщить, что со времени написания предыдущих параграфов (и примечаний к ним) Вундт сам перешел на отстаиваемую мной точку зрения. Теперь он признает, что в самых

коротких реакциях "нет ни апперцепции, ни воли, но что они являются просто *рефлексами мозга, обусловленными практикой*".[116] Средством его обращения стали некоторые эксперименты, проведенные в его лаборатории герром Л. Ланге,[117], который был вынужден провести различие между двумя способами установки внимания при реакции на сигнал и обнаружил, что они дают очень разные результаты по времени. При "экстремальном сенсорном", как называет его Ланге, способе реагирования человек максимально сосредоточивает свое внимание на ожидаемом сигнале и "намеренно избегает"[118] мыслей о предстоящем движении; при "экстремальном мышечном" способе он "вообще не думает"[119] о сигнале, но стоит как можно более готовый к движению. Мышечные реакции намного короче сенсорных, в среднем разница составляет около десятой доли секунды. Вундт, соответственно, называет их "укороченными реакциями" и, вместе с Ланге, признает их простыми рефлексами; в то время как сенсорные реакции он называет "полными" и придерживается своей первоначальной концепции в том, что касается их. Однако факты, как мне кажется, не оправдывают даже такой верности исходной вундтианской позиции. Когда мы начинаем реагировать "экстремальным сенсорным" способом, Ланге говорит, что мы получаем настолько длинные времена, что они должны быть отброшены как нетипичные. "Только после того, как реактор путем многократной и добросовестной практики добился чрезвычайно точной координации своего волевого импульса с чувственным впечатлением, мы получаем время, которое можно рассматривать как типичное время сенсорной реакции".[120] Теперь мне кажется, что эти чрезмерные и "нетипичные" времена, вероятно, и есть настоящие "полные времена", единственные, в которых происходят отчетливые процессы реального восприятия и воления (см. выше, с. 88-9). Типичное сенсорное время, достигаемое практикой, - это, вероятно, еще один вид рефлекса, менее совершенный, чем рефлексы, вырабатываемые при напряжении внимания к движению.[121] Сенсорное время гораздо более изменчиво, чем мышечное. Несколько мышечных реакций мало отличаются друг от друга. Только в них встречается явление реакции на ложный сигнал или реакции до сигнала. Времена, промежуточные между этими двумя типами, наступают в том случае, если внимание не направлено исключительно на одну из крайностей. Очевидно, что различие между двумя типами реакции, проведенное герром Ланге, является очень важным, и что "экстремальный мышечный метод", дающий как самое короткое время, так и самое постоянное, должен быть направлен на все сравнительные исследования. Мышечное время самого герра Ланге составило в среднем 0".123; его сенсорное время - 0".230.

Эти эксперименты с временем реакции ни в коем случае не являются измерениями быстроты мышления. Только когда мы их усложняем, появляется шанс на что-то похожее на интеллектуальную операцию. Усложнять их можно по-разному. Реакция может быть отложена до тех пор, пока сигнал не пробудит в сознании отчетливую мысль (время дискриминации Вундта, время ассоциации), а затем выполнена. Или может быть множество возможных сигналов, каждый из которых имеет свою реакцию, и реагирующий может быть не уверен, какой из них он собирается получить. Тогда реакция вряд ли может возникнуть без предварительного распознавания и выбора. Однако в соответствующих главах мы увидим, что различие и выбор, связанные с такой реакцией, значительно отличаются от тех интеллектуальных операций, которые мы обычно осознаем под этими названиями. Между тем простая реакция-время остается отправной точкой всех этих наведенных осложнений. Оно является фундаментальной физиологической константой во всех измерениях времени. Как таковые, ее собственные вариации представляют интерес и должны быть кратко рассмотрены.[122]

Время реакции зависит от человека и его *возраста*. У человека оно может быть особенно длинным в отношении сигналов одного чувства (Bussola, p. 147), но не других. У старых и некультурных людей она длинная (почти секунда, у старого нищего, которого наблюдал Экснер, Pflüger's Archiv, vii, 612-4). У детей она длинная (полсекунды, Герцен в Bussola, p. 152).

Практика сокращает его до величины, которая для каждого человека является минимумом, за которым невозможно дальнейшее сокращение. Время вышеупомянутого старого нищего после длительной практики было сокращено до 0,1866 секунды (*loc. cit.* p. 626).

Усталость удлинняет его.

Концентрация внимания укорачивает его. Подробности будут приведены в главе "Внимание".

Природа сигнала заставляет его меняться.^[123] Вундт пишет:

"Я обнаружил, что время реакции на воздействие электрического стимула на кожу меньше, чем на истинные осязательные ощущения, как показывают следующие средние показатели:

	Среднее.	Средняя вариация
Звук	0,167 сек.	0,0221 сек.
Свет	0,222 сек.	0,0219 сек.
Электрическая кожная чувствительность	0,201 сек.	0,0115 сек.
Сенсорные ощущения	0,213 сек.	0,0134 сек.

"Здесь я привожу средние значения, полученные некоторыми другими наблюдателями:

	Хирш.	Ханкелем.	Экснером.
Звук	0.149	0.1505	0.1360
Свет	0.200	0.2246	0.1506
Кожные ощущения	0.182	0.1546	0.1337" ^[124]

Термические реакции были недавно измерены А. Гольдшейдером и Винтшгау (1887), которые обнаружили, что они медленнее, чем реакции от прикосновения. Особенно медленными являются реакции на тепло, более медленные, чем на холод, причем различия (по мнению Гольдшейдера) зависят от нервных окончаний в коже.

Вкусовые реакции измерял Винтшгау. Они различались в зависимости от используемых веществ, достигая максимума в полсекунды, когда происходило опознание. Простое восприятие присутствия вещества на языке варьировалось от 0".159 до 0".219 (Pflüger's Archiv, xiv, 529).

Обонятельные реакции были изучены Винтшгау, Букколой и Бонисом. Они медленные, в среднем около половины секунды (см. Beaunis, Recherches exp. sur l'Activité Cérébrale, 1884, p. 49 ff.).

Следует заметить, что *звук* реагирует быстрее, чем *зрение* или *осязание*. *Вкус* и *запах* реагируют медленнее. Одному человеку, который реагировал на прикосновение к кончику

языка за 0".125, потребовалось 0".993, чтобы отреагировать на вкус хинина, нанесенного на то же место. У другого, на основании языка, реакция на прикосновение была 0".141, а на сахар - 0".552 (Vintschgau, цит. по Bucciola, p. 103). Буккола обнаружил, что реакция на запахи варьируется от 0".334 до 0".681 в зависимости от используемого парфюма и человека.

Интенсивность сигнала имеет значение. Чем интенсивнее стимул, тем короче время. Герцен (Grundlinien einer allgem. Psychophysiologie, p. 101) сравнил реакцию от *мозоли* на пальце ноги с реакцией от кожи руки того же испытуемого. Два места стимулировались одновременно, и испытуемый пытался реагировать одновременно и рукой, и ногой, но нога всегда срабатывала быстрее всего. Когда вместо мозоли прикасались к коже стопы, первой всегда реагировала рука. Вундт пытается показать, что, когда сигнал едва уловим, время, вероятно, одинаково для всех органов чувств, а именно около 0,332" (Physiol. Psych., 2d ed., ii, 224).

В случае осязательного сигнала место, к которому он прикладывается, имеет значение для времени реакции. Г. С. Холл и В. Крис обнаружили (Archiv f. Anat. u. Physiol., 1879), что при воздействии на кончик пальца реакция была короче, чем при воздействии на середину верхней части руки, несмотря на большую длину нервного ствола, который должен быть пройден в последнем случае. Это открытие делает недействительными измерения скорости передачи тока в нервах человека, поскольку все они основаны на методе сравнения времени реакции в местах, расположенных вблизи корня и вблизи конечности конечности. Те же наблюдатели обнаружили, что сигналы, воспринимаемые периферией сетчатки, дают больше времени, чем те же сигналы, воспринимаемые прямым зрением.

Время года имеет значение: в холодные зимние дни время сокращается на несколько сотых секунды (Vintschgau *apud* Exner, Hermann's Hdbh., p. 270).

Интосиканты изменяют время. *Кофе* и *чай*, по-видимому, сокращают его. Небольшие дозы *вина* и *алкоголя* сначала укорачивают, а затем удлиняют его; но стадия укорочения, как правило, исчезает, если сразу же дать большую дозу. По крайней мере, так утверждают два немецких наблюдателя. Д-р Дж. У. Уоррен, чьи наблюдения были более тщательными, чем все предыдущие, не смог обнаружить никаких серьезных эффектов от обычных доз (Journal of Physiology, viii, 311). *Морфий* удлиняет время. *Амил-нитрит* удлиняет его, но после ингаляции оно может уменьшиться до уровня ниже нормального. *Эфир* и *хлороформ* удлиняют его (об авторитетах и т. д. см. Bucciola, p. 189).

Некоторые *больные состояния* естественным образом удлиняют это время.

Гипнотический транс не имеет постоянного эффекта, иногда укорачивая, иногда удлиняя его (Hall, Mind, viii, 170; James, Proc. Am. Soc. for Psych. Research, 246).

Время, необходимое для *торможения* движения (например, для прекращения сокращения челюстных мышц), кажется, примерно такое же, как и для его производства (Gad, Archiv f. (Anat. u.) Physiol., 1887, 468; Orchansky, *ibid.* 1889, 1885).

По времени реакции было проделано огромное количество работы, из которой я привел лишь малую часть. Эта работа особенно привлекает терпеливые и точные умы, и они не преминули воспользоваться этой возможностью.

КРОВОСНАБЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

Следующий момент, который должен занять наше внимание, - это *изменения кровообращения, сопровождающие мозговую деятельность*.

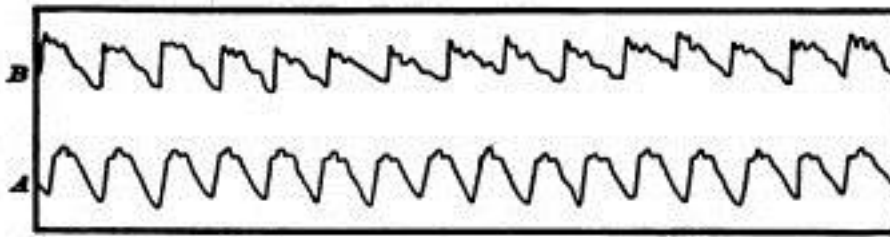


Рис. 23.- Сфимографическое исследование пульса. А - во время интеллектуального отдыха; Б - во время интеллектуальной деятельности. (Моссо.)

Все части коры головного мозга при электрическом возбуждении вызывают изменения как дыхания, так и кровообращения. Давление крови повышается, как правило, во всем теле, независимо от того, где применяется раздражение коры, хотя двигательная зона является наиболее чувствительной для этой цели. В других местах ток должен быть достаточно сильным, чтобы возник эпилептический приступ.^[125] Замедление и ускорение работы сердца также наблюдаются, и они не зависят от вазоконстрикторного феномена. Моссо, используя свой изобретательный плетизмограф в качестве индикатора, обнаружил, что приток крови к рукам уменьшается во время интеллектуальной деятельности, и, кроме того, обнаружил, что артериальное напряжение (как показывает сфигмограф) увеличивается в этих членах (см. рис. 23). Столь незначительное волнение, как то, которое вызвал вход профессора Людвиг в лабораторию, мгновенно сопровождалось сокращением рук.^[126] Мозг сам по себе является чрезмерно сосудистым органом, фактически губкой, наполненной кровью; и еще одно изобретение Моссо показало, что когда меньше крови поступает к рукам, больше - к голове. Испытуемый лежал на деликатно сбалансированном столе, который мог опрокинуться вниз либо головой, либо ногами, если вес любого из концов увеличивался. Как только у испытуемого начиналась эмоциональная или интеллектуальная активность, равновесие падало на головной конец, вследствие перераспределения крови в организме. Но лучшим доказательством немедленного притока крови к мозгу во время умственной деятельности служат наблюдения Моссо за тремя людьми, чей мозг был обнажен в результате поражения черепа. С помощью аппаратуры, описанной в его книге^[127], этот физиолог смог позволить мозговым импульсам записывать себя непосредственно с помощью трассировки. Внутрочерепное кровяное давление немедленно повышалось всякий раз, когда с испытуемым разговаривали или когда он начинал активно думать, как при решении задач по ментальной арифметике. В своей работе Моссо приводит большое количество репродукций снимков, которые показывают мгновенность изменения кровоснабжения, когда умственная деятельность активизируется по любой причине, интеллектуальной или эмоциональной. Он рассказывает о своей пациентке, что однажды, отслеживая ее мозговой импульс, он заметил внезапный подъем без видимых внешних или внутренних причин. Однако впоследствии она призналась ему, что в этот момент увидела *череп* на одном из предметов мебели в комнате, и это вызвало у нее легкое волнение.

Колебания кровоснабжения мозга не зависели от дыхательных изменений,^[128] и следовали за ускорением умственной деятельности почти сразу. Мы должны предположить очень тонкую настройку, при которой кровообращение следует за потребностями мозговой деятельности. Вполне вероятно, что кровь может приливать к каждой области коры головного мозга в зависимости от того, насколько она активна, но об этом мы ничего не знаем. Вряд ли стоит говорить, что активность нервной материи - это первичное явление, а приток крови - его вторичное следствие. Многие популярные авторы говорят, будто все обстоит наоборот, и будто психическая активность обусловлена притоком крови. Но, как хорошо сказал профессор Х. Н. Мартин, "это убеждение не имеет под собой никаких

физиологических оснований; оно даже прямо противоречит всему, что мы знаем о жизни клеток".[129] Хронический патологический застой может, правда, иметь вторичные последствия, но первичные заторы, которые мы рассматривали, *следуют* за деятельностью клеток мозга с помощью адаптивного рефлекторного вазомоторного механизма, несомненно, столь же сложного, как и тот, который согласовывает кровоснабжение с клеточным действием в любой мышце или железе.

Об изменениях в мозговом кровообращении во время сна я расскажу в главе, посвященной этому вопросу.

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ.

Активность мозга, по-видимому, сопровождается локальным выделением тепла. Самая ранняя тщательная работа в этом направлении была проведена доктором Дж. С. Ломбардом в 1867 году. Последние результаты доктора Ломбарда включают записи более 60 000 наблюдений.[130] Он отметил изменения в тонких термометрах и электрических кипах, приложенных к коже головы человека, и обнаружил, что любое интеллектуальное усилие, такое как вычисления, сочинение, чтение стихов молча или вслух, и особенно эмоциональное возбуждение, такое как приступ гнева, вызывают общее повышение температуры, которое редко превышает один градус по Фаренгейту. В большинстве случаев повышение было более выраженным в средней части головы, чем в других местах. Как ни странно, оно было больше при чтении стихов молча, чем при чтении их вслух. Доктор Ломбард объясняет это тем, что "при внутреннем чтении дополнительная порция энергии, которая при чтении вслух превращалась в нервную и мышечную силу, теперь проявляется в виде тепла".[131] Я бы предположил, если уж мы должны иметь теорию, что избыток тепла при чтении про себя объясняется тормозными процессами, которые отсутствуют при чтении вслух. В главе, посвященной воле, мы увидим, *что* центральный процесс состоит в том, чтобы *говорить*, когда мы думаем; молчаливое мышление подразумевает дополнительный контроль. В 1870 году неутомимый Шифф взялся за эту тему, экспериментируя на живых собаках и цыплятах, погружая термоэлектрические иглы в вещество их мозга, чтобы исключить возможные ошибки из-за сосудистых изменений в коже, когда термометры помещались на скальп. После того как привыкание было установлено, он тестировал животных с помощью различных ощущений, тактильных, зрительных, обонятельных и слуховых. Очень часто он обнаруживал немедленное отклонение гальванометра, что свидетельствовало о резком изменении внутримозговой температуры. Например, когда он подносил пустой рулон бумаги к носу своей собаки, лежавшей неподвижно, наблюдалось небольшое отклонение, но когда в бумаге находился кусок мяса, отклонение было гораздо больше. На основании этих и других экспериментов Шифф пришел к выводу, что сенсорная активность нагревает мозговую ткань, но он не пытался локализовать приращение тепла, а лишь установил, что оно происходит в обоих полушариях, независимо от применяемых ощущений.[132] Доктор Р. У. Амидон в 1880 году сделал еще один шаг вперед, локализовав тепло, производимое добровольными мышечными сокращениями. Приложив одновременно к коже головы несколько тонких поверхностных термометров, он обнаружил, что при энергичном сокращении различных мышц тела в течение десяти и более минут температура в различных областях кожи головы повышается, что эти области хорошо фокусируются, и что повышение температуры часто значительно превышает градус Фаренгейта. В результате своих исследований он привел диаграмму, на которой пронумерованные области представляют собой центры наивысшей температуры для различных специальных движений, которые были исследованы. В значительной степени они соответствуют центрам

тех же движений, выделенных Феррье и другими на других основаниях; только они охватывают большую часть черепа.[133]

Фосфор и мышление.

Химическое действие, конечно, должно сопровождать деятельность мозга. Но о его точной природе известно мало. Холестерин и креатин - продукты экскреции, и оба они содержатся в мозге. Этот вопрос относится скорее к химии, чем к психологии, и я упоминаю его здесь только для того, чтобы сказать пару слов о широко распространенном заблуждении относительно активности мозга и фосфора. "*Ohne Phosphor, kein Gedanke*", - это был известный боевой клич "материалистов" во время волнения по этому поводу, охватившего Германию в 60-е годы. Мозг, как и любой другой орган тела, содержит фосфор и множество других химических веществ. Почему именно фосфор должен быть выбран в качестве его сущности, никто не знает. С равным успехом можно было бы сказать "*Ohne Wasser kein Gedanke*" или "*Ohne Kochsalz kein Gedanke*"; ведь мысль остановится так же быстро, если мозг высохнет или потеряет NaCl, как если бы он потерял фосфор. В Америке фосфорная иллюзия закрутилась вокруг поговорки, процитированной (справедливо или нет) профессором Л. Агассисом, о том, что рыбаки умнее фермеров, потому что едят много рыбы, которая содержит так много фосфора. Все эти факты можно подвергнуть сомнению.

Единственным прямым способом установить важность фосфора для мышления было бы выяснить, выделяется ли его больше мозгом во время умственной деятельности, чем во время отдыха. К сожалению, мы не можем сделать это напрямую, а можем только определить количество PO_5 в моче, которая представляет другие органы, а также мозг, и эта процедура, как говорит доктор Эдес, похожа на измерение подъема воды в устье Миссисипи, чтобы сказать, где была гроза в Миннесоте.[134] Тем не менее она была принята различными наблюдателями, одни из которых обнаружили, что фосфаты в моче уменьшаются, а другие - увеличиваются в результате интеллектуальной работы. В целом, невозможно проследить какую-либо постоянную связь. При маниакальном возбуждении выделяется меньше фосфора, чем обычно. Во время сна выделяется больше. Существуют различия между щелочными и земляными фосфатами, в которые я не буду вдаваться, поскольку моя единственная цель - показать, что популярный взгляд на этот вопрос не имеет под собой точного основания.[135] Тот факт, что фосфорные препараты могут принести пользу при нервном истощении, ничего не доказывает в отношении роли, которую фосфор играет в умственной деятельности. Подобно железу, мышьяку и другим средствам, это стимулятор или тоник, о внутреннем действии которого в организме мы абсолютно ничего не знаем, и который к тому же приносит пользу в крайне малом числе случаев, в которых его назначают.

Философы-фосфористы часто сравнивали мысль с секрецией. "Мозг выделяет мысль, как почки выделяют мочу или печень выделяет желчь", - такие фразы иногда можно услышать. На неубедительную аналогию вряд ли стоит указывать. Материалы, которые мозг *выбрасывает в кровь* (холестерин, креатин, ксантин или что бы это ни было), являются аналогами мочи и желчи, будучи на самом деле настоящими материальными экскрементами. Что касается этих вопросов, то мозг - это железа без протоков. Но мы не знаем ничего, связанного с деятельностью печени и почек, что можно было бы в самой отдаленной степени сравнить с потоком мыслей, сопровождающим материальные выделения мозга.

Остается еще одна особенность общей физиологии мозга, и действительно для психологических целей самая важная из всех. Я имею в виду способность мозга приобретать *привычки*. Но об этом я расскажу в отдельной главе.

[99] В последующих местах я сам буду в значительной степени предаваться подобной схематизации. Читатель раз и навсегда поймет, что она носит символический характер и используется лишь для того, чтобы показать, какое глубокое соответствие существует между психическими и механическими процессами, причем не обязательно именно того рода, который изображен на рисунке.

[100] Валентин: Archiv f. d. gesamt. Physiol., 1873, p. 458. Стирлинг: Leipzig Acad. Berichte, 1875, p. 372 (Журнал физиол., 1875). J. Ward: Archiv f. (Anat. u.) Physiol., 1880, p. 72. H. Sewall: Johns Hopkins Studies, 1880, p. 30. Kronecker u. Nicolaidis: Archiv f. (Anat. u.) Physiol., 1880, p. 437. Exner: Archiv f. die ges. Physiol., Bd. 28, p. 487 (1882). Eckhard: in Hermann's Hdbch. d. Physiol., Bd. I, Thl. ii, p. 31. François-Franck: Leçons sur les Fonctions motrices du Cerveau, p. 51 ff., 339.- О процессе суммирования в *нервах и мышцах* см. у Германа: *ibid.* Thl. i, p. 109, и vol. i, p. 40. Также Вундт: Physiol. Psych., i, 243 ff.; Richet: Travaux du Laboratoire de Marey, 1877, p. 97; L'Homme et l'Intelligence, pp. 24 ff., 468; Revue Philosophique, t. xxi, p. 564. Kronecker u. Hall: Archiv f. (Anat. u.) Physiol., 1879; Schönlein: *ibid.* 1882, p. 357. Sertoli (Hofmann and Schwalbe's Jahres-bericht), 1882, p. 25. Де Ваттевиль: Neurologisches Centralblatt, 1883, No. 7. Grünhagen: Arch. f. d. ges. Physiol., Bd. 34, p. 301 (1884).

[101] Bubnoff und Heidenhain: Ueber Erregungs- und Hemmungsvorgänge innerhalb der motorischen Hirncentren. Archiv f. d. ges. Physiol., Bd. 26, p. 156 (1881).

[102] Archiv f. d. ges. Physiol., Bd. 26, p. 176 (1881). Экснер считает (*ibid.* Bd. 28, p. 497 (1882)), что суммирование здесь происходит в спинном мозге. Для общей философии суммирования не имеет значения, где происходит это конкретное суммирование.

[103] G H. Lewes: Physical Basis of Mind, p. 479, где приводится множество подобных примеров, 487-9.

[104] Romanes: Mental Evolution in Animals, p. 168.

[105] См. аналогичный пример в Mach: Beiträge zur Analyse der Empfindungen, p. 36, где в качестве животного выступает воробей. Мои маленькие дети боятся своего мопса, если он входит в их комнату после того, как они ложатся спать и гасят свет". Сравните также это высказывание: "Первый вопрос к крестьянину редко оказывается чем-то большим, чем просто хлопанье в ладоши, чтобы разбудить вялую настройку его ушей. Неизменный ответ шотландского крестьянина: "What's your wull?" - а английского - пустой взгляд. Чтобы добиться ответа, может потребоваться второй и даже третий вопрос". (R. Fowler; Some Observations on the Mental State of the Blind, and Deaf, and Dumb (Salisbury, 1843), p. 14).

[106] Читатель найдет много интересного о хронографических аппаратах в книге J. Marey: La Méthode Graphique, pt. ii, chap. ii. Можно провести довольно точные измерения без всякого другого инструмента, кроме часов, сделав большое количество реакций, каждая из которых служит сигналом для следующей, и разделив общее время, которое они занимают, на их количество. Доктор О. В. Холмс впервые предложил этот метод, который был гениально разработан и применен профессором Джастроу. См. "Science" за 10 сентября 1886 года.

[107] См. несколько модификаций в Cattell, Mind, xi, 220 и далее.

[108] Physiol. Psych., ii, 221-2. Ср. также первое издание, 728-9. Должен признаться, что все высказывания Вундта об "апперцепции" кажутся мне противоречивыми и неясными. Я не вижу никакого смысла в этом слове, как он его использует, в психологии. Внимание,

восприятие, концепция, воление - вот его многочисленные эквиваленты. Зачем нам нужно одно слово для обозначения всех этих вещей по очереди, Вундт так и не смог прояснить. Тем не менее, обратитесь к статье его ученика Штауде "Ueber den Begriff der Apperception," и т.д. в периодическом издании Вундта "Philosophische Studien", i, 149, которая может считаться официальной. Подробную критику "апперцепции" Вундта см. в Marty: Vierteljahrschrift f. wiss. Philos., x, 346.

[109] По Экснеру, например, Pflüger's Archiv, vii, 628 ff.

[110] P. 222. Ср. также Richet, Rev. Philos., vi, 395-6.

[111] Например, если накануне было принято решение действовать по сигналу, когда он придет, а он пришел, когда мы были заняты другими делами, и напомнил нам о принятом решении.

[112] "Не стоит упоминать, что успех в этих экспериментах в значительной степени зависит от концентрации нашего внимания. Если быть невнимательным, то получаются очень противоречивые цифры..... Такая концентрация внимания в высшей степени утомительна. После некоторых экспериментов, в которых я стремился получить как можно более однородные результаты, я покрылся испариной и чрезмерно устал, хотя все это время спокойно сидел в кресле". (Exner, *loc. cit.* vii, 618.)

[113] Вундт, Физиол. Psych., ii, 226

[114] Pflüger's Archiv, vii, 616.

[115] Короче говоря, то, что М. Дельбёф называет "*organe adventice*". Время реакции, кроме того, вполне совместимо с тем, что сама реакция имеет рефлекторный порядок. Некоторые рефлексы (например, чихание) очень медленные. Единственное измерение времени рефлекторного акта у человека, с которым я знаком, - это измерение Экснером подмигивания (в Pflüger's Archiv f. d. gesamt. Physiol., Bd. viii, p. 526, 1874). Он обнаружил, что когда стимулом была вспышка света, моргание длилось 0,2168 секунды. Сильный электрический удар по роговице сократил это время до 0,0578 секунды. Обычное "время реакции" находится посередине между этими значениями. Экснер "сокращает" время, устраняя физиологический процесс проводимости. Его "уменьшенное минимальное время подмигивания" составляет 0,0471 (там же, 531), в то время как его уменьшенное время реакции - 0,0828 (там же, vii, 637). Эти цифры не имеют никакой научной ценности, кроме той, что показывают, согласно собственному убеждению Экснера (vii, 531), что время реакции и время рефлекса измеряют процессы по существу одного и того же порядка. Более того, его описание процесса является прекрасным описанием рефлекторного акта. "Каждый, - говорит он, - кто впервые проводит эксперименты с временем реакции, с удивлением обнаруживает, как мало он владеет своими собственными движениями, как только речь заходит о том, чтобы выполнить их с максимальной скоростью. Мало того, что их энергия лежит как бы вне поля выбора, но даже время, в течение которого происходит движение, зависит от нас лишь частично. Мы дергаем руку и можем потом с поразительной точностью сказать, сделали ли мы это быстрее или медленнее, чем в другой раз, хотя у нас нет сил дернуть ее точно в желаемый момент." - Вундт сам признает, что, когда мы ожидаем сильного сигнала с напряженной подготовкой, нет никакого сознания двойственности "апперцепции" и двигательного ответа; эти два действия непрерывны (Physiol. Psych., ii, 226). - Мнение мистера Кэттелла совпадает с тем, которое я отстаиваю. "Я думаю, - говорит он, - что если процессы восприятия и желания вообще присутствуют, то они очень рудиментарны..... Субъект волевым усилием [до поступления сигнала] приводит линии связи между центром

стимула и центром координации движений... в состояние неустойчивого равновесия. Поэтому, когда нервный импульс достигает "прежнего центра", он вызывает изменения в мозге в двух направлениях; импульс движется к коре головного мозга и вызывает там восприятие, соответствующее стимулу, в то же время импульс следует по линии малого сопротивления к центру координации движений, и соответствующий нервный импульс, уже подготовленный и ожидающий сигнала, посылается из этого центра к мышцам руки. Когда реакция часто повторяется, весь мозговой процесс становится автоматическим, импульс сам по себе проходит хорошо проторенный путь к двигательному центру и высвобождает двигательный импульс". (Mind, xi, 232-3.)- Наконец, профессор Липпс в своем подробном изложении (Grundtatsachen, 179-188) сделал фарш из мнения, что стадия 3 включает либо сознательное восприятие, либо сознательную волю.

[116] *Physiol. Psych.*, 3d edition (1887), vol. ii, p. 266.

[117] *Philosophische Studien*, vol. iv, p. 479 (1888).

[118] *Loc. cit.* p. 488.

[119] *Loc. cit.* p. 487.

[120] *Loc. cit.* p. 489.

[121] У Ланге есть интересная гипотеза относительно мозгового процесса, связанного с последним, за которой я могу только обратиться к его эссе.

[122] Читатель, желающий узнать больше об этом вопросе, найдет наиболее точную компиляцию всего, что было сделано, вместе с большим количеством оригинальных материалов, в книге Г. Буккола "Legge del Tempo" и т. д. См. также главу xvi книги Вундта "Физиол. Psychology; Эксперимент в Hermann's Hdbch., Bd. 2, Thl. ii, pp. 252-280; также Ribot's Contemp. Germ. Psych. chap. viii.

[123] Характер движения также, по-видимому, заставляет его варьировать. Мистер Б. И. Гилман и я реагировали на один и тот же сигнал, просто поднимая руку, и снова перенося руку к спине. Всегда регистрировался момент, когда рука разрывала электрический контакт и *начинала* двигаться. Но начиналось оно на одну-две сотых секунды позже, когда нужно было совершить более интенсивное движение. Орчанский же, экспериментируя с сокращениями жевательной мышцы, обнаружил (*Archiv f. (Anat. u.) Physiol.*, 1889, p. 187), что чем больше амплитуда предполагаемого сокращения, тем короче становилось время реакции. Он объясняет это тем, что более сильное сокращение сильнее *привлекает внимание*, и это сокращает время.

[124] *Физиол. Psych.*, ii, 223.

[125] François-Franck, *Fonctions Motrices*, Leçon xxii.

[126] *La Paura* (1884), p. 117.

[127] *Ueber den Kreislauf des Blutes im menschlichen Gehirn* (1881), chap. ii. Во Введении дается история наших предыдущих знаний о предмете.

[128] В этом заключении М. Глей (*Archives de Physiologie*, 1881, p. 742) согласен с профессором Моссо. Глей обнаружил, что во время напряженной умственной работы пульс учащается на 1-3 удара, сонная артерия расширяется, а лучевая артерия сокращается.

[129] Выступление перед Мед. и Хирург. Обществом Мэриленда, 1879 год.

[130] См. его книгу "Экспериментальные исследования региональной температуры головы" (Лондон, 1879).

[131] *Loc. cit.* p. 195.

[132] Наиболее удобный отчет об экспериментах Шиффа дан профессором Гирценом в *Revue Philosophique*, vol. iii, p. 36.

[133] *A New Study of Cerebral Cortical Localization* (N. Y., Putnam, 1880), pp. 48-53.

[134] *Archives of Medicine*, vol. x, No. 1 (1883).

[135] Не умножая ссылок, я просто процитирую Менделя (*Archiv f. Psychiatrie*, vol. iii, 1871), Майре (*Archives de Neurologie*, vol. ix, 1885) и Бониса (*Rech. Expérimentales sur l'Activité Cérébrale*, 1887). Рише приводит частичную библиографию в *Revue Scientifique*, vol. 38, p. 788 (1886).

ГЛАВА IV.[136]

ЖИЛИЩЕ.

Когда мы смотрим на живые существа с внешней точки зрения, одно из первых, что бросается в глаза, это то, что они представляют собой совокупность привычек. У диких животных привычный круг повседневного поведения кажется необходимостью, заложенной при рождении; у одомашненных животных, и особенно у человека, он в значительной степени является результатом воспитания. Привычки, к которым существует врожденная склонность, называются инстинктами; некоторые из тех, что обусловлены воспитанием, большинство людей назвали бы актами разума. Таким образом, оказывается, что привычка охватывает очень большую часть жизни и что тот, кто занимается изучением объективных проявлений разума, обязан с самого начала четко определить, каковы ее границы.

Как только человек пытается определить, что такое привычка, его приводят к фундаментальным свойствам материи. Законы природы - это не что иное, как неизменные привычки, которым следуют различные элементарные виды материи в своих действиях и реакциях друг на друга. В органическом мире, однако, привычки более изменчивы. Даже инстинкты варьируются от одной особи к другой, а у одной и той же особи, как мы увидим позже, изменяются в соответствии с требованиями случая. Привычки элементарной частицы материи не могут измениться (по принципам атомистической философии), потому что частица сама по себе неизменна; но привычки сложной массы материи могут измениться, потому что они в последней инстанции обусловлены структурой соединения, и либо внешние силы, либо внутреннее напряжение могут с часу на час превратить эту структуру в нечто иное, чем она была. То есть они могут это сделать, если тело будет достаточно пластичным, чтобы сохранять свою целостность и не нарушаться, когда его структура поддается.

Изменение структуры, о котором здесь идет речь, не обязательно должно касаться внешней формы; оно может быть невидимым и молекулярным, как, например, когда брусок железа становится магнитным или кристаллическим под действием определенных внешних причин, или индийская резина становится рыхлой, или гипс "застывает". Все эти изменения происходят довольно медленно; материал, о котором идет речь, оказывает определенное

сопротивление изменяющей причине, на преодоление которого требуется время, но постепенная уступчивость часто спасает материал от полного разрушения. Когда структура поддается, та же инерция становится условием ее сравнительного постоянства в новой форме, а также новых привычек, которые проявляет тело. *Пластичность*, таким образом, в широком смысле слова означает обладание структурой, достаточно слабой, чтобы поддаться влиянию, но достаточно сильной, чтобы не поддаться сразу. Каждая относительно стабильная фаза равновесия в такой структуре отмечена тем, что мы можем назвать новым набором привычек. Органическая материя, особенно нервная ткань, кажется, наделена необычайной пластичностью такого рода; так что мы можем без колебаний выдвинуть в качестве первого положения следующее: *явления привычки у живых существ обусловлены пластичностью*^[137] органических материалов, из которых состоят их тела.

Но философия привычки, таким образом, является, в первую очередь, главой физики, а не физиологии или психологии. То, что в основе своей это физический принцип, признают все современные авторы, пишущие на эту тему. Они обращают внимание на аналоги приобретенных привычек, демонстрируемых мертвой материей. Так, М. Леон Дюмон, чье эссе о привычке, возможно, является самым философским из всех опубликованных до сих пор, пишет

"Каждый знает, как одежда после определенного времени ношения прилегает к телу лучше, чем когда она была новой; в ткани произошли изменения, и эти изменения являются новой привычкой к сцеплению. Замок работает лучше после того, как им пользовались некоторое время; вначале требовалось больше силы, чтобы преодолеть некоторые неровности в механизме. Преодоление их сопротивления - это явление привыкания. Складывание бумаги обходится дешевле, если она уже была сложена. Эта экономия объясняется сущностной природой привычки, которая приводит к тому, что для воспроизведения эффекта требуется меньшее количество внешней причины. Звук скрипки улучшается от использования в руках умелого исполнителя, потому что волокна дерева наконец-то приобретают привычку вибрировать в соответствии с гармоническими отношениями. Именно это придает такую неоценимую ценность инструментам, принадлежавшим великим мастерам. Вода, протекая, прокладывает для себя русло, которое становится все шире и глубже; и, прекратив течение, она вновь возвращается на путь, пройденный ею ранее. Точно так же впечатления от внешних объектов прокладывают себе в нервной системе все более и более подходящие пути, и эти жизненные явления повторяются при аналогичных возбуждениях извне, когда они были прерваны на определенное время".^[138]

Не только в нервной системе. Шрам в любом месте - это место незначительного сопротивления, более подверженное истиранию, воспалению, боли и холоду, чем соседние части. Вывихнутая лодыжка, вывихнутая рука подвержены опасности быть вывихнутыми или вывихнутыми снова; суставы, которые однажды подверглись атаке ревматизма или подагры, слизистые оболочки, которые были местом катара, с каждым новым рецидивом все более склонны к рецидиву, пока часто болезненное состояние хронически не заменяет собой здоровое. А если мы поднимаемся к нервной системе, то обнаружим, как много так называемых функциональных заболеваний, которые, кажется, не прекращаются только потому, что однажды начались; и как насильственное прерывание медициной нескольких приступов часто бывает достаточно, чтобы физиологические силы снова овладели полем и вернули органы к здоровым функциям. Эпилепсия, невралгия, судорожные приступы различных видов, бессонница - вот множество примеров. А если взять более очевидные

привычки, то успех, с которым "отучающее" лечение часто применяется к жертвам нездорового потворства страстям или просто жалобного или раздражительного нрава, показывает нам, насколько сами болезненные проявления были вызваны простой инерцией нервных органов, когда они однажды были запущены в ложную карьеру.

Можем ли мы теперь составить представление о том, какими могут быть внутренние физические изменения в органах, чьи привычки, таким образом, вступили на новый путь? Другими словами, можем ли мы сказать, какие именно механические факты охватывает выражение "изменение привычки", когда оно применяется к нервной системе? Конечно, мы не можем сказать ничего определенного и точного. Но наш обычный научный обычай интерпретировать скрытые молекулярные события по аналогии с видимыми массивными позволяет нам легко составить абстрактную и общую схему процессов, на которые *могут* быть похожи рассматриваемые физические изменения. И когда возможность *некой* механической интерпретации будет установлена, механическая наука, в ее нынешнем настроении, без колебаний поставит свою марку собственности на этом вопросе, будучи уверенной, что это только вопрос времени, когда будет найдено точное механическое объяснение этого случая.

Если привычки обусловлены пластичностью материалов к внешним воздействиям, то мы сразу же можем увидеть, к каким внешним воздействиям, если таковые имеются, пластична материя мозга. Не к механическому давлению, не к тепловым изменениям, не к каким-либо силам, которым подвергаются все остальные органы нашего тела; ведь природа заботливо упрятала наш головной и спинной мозг в костяные коробки, где никакие воздействия такого рода не могут до них добраться. Она поместила их в жидкость, чтобы только самые сильные удары могли вызвать их сотрясение, и укутала их совершенно исключительным образом. Единственные впечатления, которые можно на них произвести, - это кровь, с одной стороны, и сенсорные нервные корешки, с другой; и именно к бесконечно ослабленным токам, которые поступают по этим последним каналам, кора полушарий оказывается столь восприимчивой. Токи, попав внутрь, должны найти выход. Выходя, они оставляют свои следы на путях, по которым идут. Короче говоря, единственное, что они *могут* сделать, - это углубить старые пути или проложить новые; и вся пластичность мозга выражается двумя словами, когда мы называем его органом, в котором токи, вливающиеся из органов чувств, с чрезвычайной легкостью прокладывают пути, которые нелегко исчезают. Ибо, конечно, простая привычка, как и любое другое нервное событие - например, привычка сморкаться, или засовывать руки в карманы, или грызть ногти - механически есть не что иное, как рефлекторный разряд; и ее анатомическим субстратом должен быть путь в системе. Самые сложные привычки, как мы вскоре увидим более подробно, с той же точки зрения являются не чем иным, как *объединенными* разрядами в нервных центрах, обусловленными наличием там систем рефлекторных путей, организованных таким образом, чтобы последовательно пробуждать друг друга - впечатление, производимое одним мышечным сокращением, служит стимулом для провоцирования следующего, пока последнее впечатление не затормозит процесс и не замкнет цепь. Единственной сложной механической проблемой является объяснение образования *de novo* простого рефлекса или пути в уже существующей нервной системе. Здесь, как и во многих других случаях, речь идет только о "*первом па*" (*premier pas qui coûte*). Ведь вся нервная система - *это* не что иное, как система путей между сенсорным *конечным пунктом a quo* и мышечным, железистым или другим *конечным пунктом ad quem*. Можно ожидать, что путь, однажды пройденный нервным током, будет следовать закону большинства известных нам путей, вычерпываться и становиться более

проницаемым, чем прежде;^[139] и это должно повторяться с каждым новым прохождением тока. Какие бы препятствия ни мешали ему быть тропинкой, они должны мало-помалу, все больше и больше, сметаться с пути, пока, наконец, не превратятся в естественный дренажный канал. Именно это происходит, когда по пути проходят твердые или жидкие тела; кажется, нет причин, почему этого не должно происходить, когда то, что проходит, является простой волной перестройки в материи, которая не перемещается, а просто изменяется химически, или поворачивается на месте, или вибрирует поперек линии. Наиболее правдоподобные взгляды на нервный ток выдают его за прохождение некой подобной волны перестройки. Если бы только часть материи пути "перестраивалась", а соседние части оставались бы инертными, легко понять, как их инертность может противостоять трению, для преодоления которого потребовалось бы много волн перестройки. Если мы назовем сам путь "органом", а волну перестройки - "функцией", то это, очевидно, случай для повторения знаменитой французской формулы "*La fonction fait l'organe*".

Поэтому нет ничего проще, чем представить себе, как, пройдя путь однажды, ток должен пройти его с большей легкостью во второй раз. Но что заставило его пройти этот путь в первый раз?^[140] Отвечая на этот вопрос, мы можем лишь опираться на наше общее представление о нервной системе как о массе материи, части которой, постоянно находясь в состоянии различного напряжения, столь же постоянно стремятся к выравниванию своих состояний. Выравнивание между любыми двумя точками происходит по любому пути, который в данный момент может быть наиболее предпочтительным. Но, поскольку данная точка системы может принадлежать, фактически или потенциально, ко многим различным путям, и, поскольку игра питания подвержена случайным изменениям, *блоки* могут время от времени возникать, и заставлять токи стрелять через незапланированные линии. Такая незапланированная линия будет вновь созданным путем, который при многократном прохождении станет началом новой рефлекторной дуги. Все это до последней степени туманно и сводится лишь к тому, что новый путь может быть образован в результате *случайностей*, которые в нервном материале могут иметь место. Но, как ни туманно это звучит, это действительно последнее слово нашей мудрости в этом вопросе.^[141]

Следует заметить, что рост структурных изменений в живой материи может быть более быстрым, чем в любой безжизненной массе, потому что непрерывное питательное обновление, которое происходит в живой материи, имеет тенденцию часто подтверждать и закреплять наложенные изменения, а не противодействовать им, обновляя первоначальную конституцию ткани, на которую наложен отпечаток. Так, после тренировки мышц или мозга новым способом мы замечаем, что больше не можем этого делать в данный момент; но после дня или двух отдыха, когда мы возобновляем дисциплину, рост нашего мастерства нередко удивляет нас. Я часто замечал это при разучивании мелодии, а один немецкий автор сказал, что зимой мы учимся плавать, а летом - кататься на коньках.

Доктор Карпентер пишет:^[142]

"Универсальный опыт показывает, что любой вид тренировки для развития особых способностей гораздо эффективнее и оставляет более неизгладимый след, когда воздействует на *растущий* организм, чем когда воздействует на взрослого человека. Эффект такого обучения проявляется в тенденции органа "прирастать" к режиму, в котором он привычно упражняется; об этом свидетельствуют увеличение размера и силы определенных наборов мышц, а также необычайная гибкость суставов, которую приобретают те, кто с ранних лет упражнялся в гимнастических упражнениях..... Нет ни одной части организма человека, в которой *восстановительная активность* была бы столь велика на протяжении всей

жизни, как в ганглиозном веществе мозга. На это указывает огромный приток крови, который он получает..... Кроме того, немаловажным фактом является то, что нервное вещество отличается особой *репаративной* способностью. Ведь если повреждения других тканей (например, мышечной), отличающихся *особенностью* строения и наделенности, восстанавливаются веществом более низкого или менее специализированного типа, то повреждения нервной ткани восстанавливаются путем полного воспроизведения нормальной ткани; об этом свидетельствует чувствительность вновь образующейся кожи, закрывающей открытую рану, или восстановление чувствительности куска "пересаженной" кожи, которая на некоторое время стала нечувствительной из-за полного разрыва непрерывности ее нервов. Самым замечательным примером такого воспроизводства, однако, являются результаты экспериментов М. Броун-Секара^[143] по постепенному восстановлению функциональной активности спинного мозга после его полного разделения; это происходит таким образом, что указывает скорее на *воспроизведение* всей или нижней части мозга и нервов, исходящих из него, чем на простое *воссоединение* разделенных поверхностей. Это воспроизводство является лишь особым проявлением реконструктивных изменений, которые *всегда* происходят в нервной системе; не менее очевидно для разума, что "отходы", вызванные ее функциональной активностью, должны постоянно ремонтироваться производством новой ткани, чем для глаза чувства, что такое возмещение обеспечивает фактическую *потерю* вещества в результате болезни или травмы.

"Теперь, в этой постоянной и активной реконструкции нервной системы, мы признаем наиболее заметное соответствие общему плану проявляется в питании организма в целом. Ибо, во-первых, очевидно, что существует тенденция к производству *определенного типа* структуры, который тип часто не просто то, что вид, но некоторые специальные модификации его, которые характеризуют один или оба прародителя. Но этот тип особенно подвержен модификации в ранний период жизни, когда функциональная активность нервной системы (и особенно мозга) необычайно велика, а восстановительный процесс пропорционально активен. И эта модифицируемость выражается в формировании механизма, с помощью которого устанавливаются те *вторично автоматические* способы движения, которые у человека занимают место тех, которые являются *врожденными* у большинства животных под ним; и *приобретаются* те способы восприятия чувств, которые в других местах являются явно *инстинктивными*. Ибо не может быть никаких разумных сомнений в том, что в обоих случаях в ходе этого самовоспитания *развивается* нервный механизм, соответствующий тому, который низшие животные наследуют от своих родителей. Таким образом, *план* того процесса *перестройки*, который необходим для поддержания целостности организма в целом и который с особой активностью протекает в этой его части, непрерывно модифицируется; и таким образом вся та его часть, которая служит *внешней* жизни чувства и движения, разделяемой человеком с животным царством в целом, становится в зрелом возрасте выражением привычек, которые человек приобрел в период роста и развития. Некоторые из этих привычек являются общими для расы в целом, а другие свойственны отдельным людям; те из них, которые относятся к первому типу (например, ходьба прямо), приобретаются повсеместно, за исключением тех случаев, когда этому препятствует физическая неспособность; в то время как для последних требуется специальное обучение, которое обычно тем эффективнее, чем раньше оно начато, как это замечательно видно в случае таких подвигов ловкости, которые требуют совместного обучения воспринимающих и

двигательных сил. И когда этот механизм развивается в период роста, становясь частью конституции взрослого человека, он сохраняется в дальнейшем в ходе обычных питательных операций, чтобы быть готовым к использованию в случае необходимости, даже после длительного бездействия.

"То, что так очевидно для нервного аппарата животного мира, вряд ли может быть иначе, чем истинным для того, что служит автоматической деятельности разума. Ибо, как уже было показано, изучение психологии не дало более определенного результата, чем то, что существуют единообразия психических действий, которые настолько полностью соответствуют телесным действиям, что указывают на их тесную связь с "механизмом мысли и чувства", действующим в тех же условиях, что и механизм чувства и движения. Психические принципы *ассоциации*, действительно, и физиологические принципы *питания*, просто выразить - первый в терминах ума, второй в терминах мозга - общепризнанный факт, что любая последовательность психических действий, которые были часто повторяются имеет тенденцию увековечить себя; так что мы находим себя автоматически побудили *думать, чувствовать, или делать* то, что мы были раньше привыкли думать, чувствовать, или делать, в подобных обстоятельствах, без каких-либо сознательно сформированной *цели*, или предвидение результатов. Ибо нет никаких оснований считать головной мозг исключением из общего принципа, согласно которому, хотя каждая часть организма стремится *сформироваться* в соответствии с тем режимом, в котором она привычно функционирует, эта тенденция будет особенно сильна в нервном аппарате, в силу той *непрерывной регенерации*, которая является условием его функциональной активности. Вряд ли можно сомневаться в том, что каждое состояние идеологического сознания, которое либо *очень сильно*, либо *привычно повторяется*, оставляет органический след в головном мозге, в силу которого это же состояние может быть воспроизведено в любое будущее время, в ответ на внушение, способное его возбудить..... Сила ранних ассоциаций" - факт настолько общепризнанный, что его выражение стало пословицей; и это точно соответствует физиологическому принципу, согласно которому в период роста и развития формирующая деятельность мозга будет наиболее поддаваться направляющим воздействиям. Именно таким образом то, что рано "выучивается наизусть", становится запечатленным (как бы) в головном мозге; так что его "следы" никогда не теряются, даже если сознательная память о нем уже полностью угасла. Ведь когда органическая модификация однажды *закрепляется* в растущем мозге, она становится частью нормальной ткани и регулярно *поддерживается* питательным замещением, так что может сохраниться до конца жизни, как шрам от раны".

Фраза доктора Карпентера о том, что *наша нервная система развивается в соответствии с теми режимами, в которых она тренировалась*, в двух словах выражает философию привычки. Теперь мы можем проследить некоторые практические применения этого принципа в жизни человека.

Первый результат этого - *привычка упрощает движения, необходимые для достижения заданного результата, делает их более точными и снижает утомляемость*.

"Начинающий пианист не только двигает пальцем вверх-вниз, чтобы нажать на клавишу, он двигает всей рукой, предплечьем и даже всем телом, особенно двигая его наименее твердую часть - голову, как будто он и этим органом нажимает на клавишу. Часто происходит также сокращение мышц живота. В основном, однако,

импульс определяется движением руки и одного пальца. Это происходит, во-первых, потому, что движение пальца - это движение, о котором *думают*, и, во-вторых, потому, что его движение и движение клавиши - это движения, которые мы пытаемся *воспринять*, вместе с результатами последних на слух. Чем чаще повторяется процесс, тем легче происходит движение, благодаря увеличению проницаемости задействованных нервов.

"Но чем легче происходит движение, тем меньше стимул, необходимый для его возникновения; и чем меньше стимул, тем больше его эффект ограничивается только пальцами".

"Таким образом, импульс, который первоначально распространял свое действие на все тело или, по крайней мере, на многие его подвижные части, постепенно определяется одним определенным органом, в котором он воздействует на сокращение нескольких ограниченных мышц. При этом мысли и восприятия, которые запускают импульс, приобретают все более тесные причинно-следственные связи с определенной группой двигательных нервов.

"Чтобы вернуться к аналогии, хотя бы отчасти подходящей, представьте, что нервная система представляет собой дренажную систему, в целом склоняющуюся к определенным мышцам, но с несколько засоренным выходом к ним. Тогда потоки воды в целом будут больше всего стремиться заполнить стоки, идущие к этим мышцам, и вымыть стоки. Однако в случае внезапного "промывания" вся система каналов заполнится сама собой, и вода перельется через все каналы, прежде чем вытечет наружу. Но умеренное количество воды, вторгшееся в систему, будет вытекать только через соответствующий выход.

"Точно так же и с пианистом. Как только его импульс, который постепенно научился ограничиваться одними мышцами, становится экстремальным, он переливается в более крупные мышечные области. Обычно он играет пальцами, а его тело находится в состоянии покоя. Но не успевает он прийти в возбуждение, как все его тело становится "одушевленным", и он двигает головой и туловищем, в частности, как будто они тоже являются органами, с помощью которых он намерен отбивать по клавишам".[144]

Человек рождается с тенденцией делать больше вещей, чем ему позволяют готовые механизмы в его нервных центрах. Большинство действий других животных автоматичны. Но у него их количество настолько огромно, что большинство из них должно быть плодом мучительного обучения. Если бы практика не доводила до совершенства, а привычка не сэкономила бы затраты нервной и мышечной энергии, он оказался бы в плачевном положении. Как говорит доктор Модсли:[145]

"Если бы действие не становилось легче после того, как его совершали несколько раз, если бы для его выполнения каждый раз требовалось тщательное руководство сознанием, то очевидно, что вся активность всей жизни могла бы ограничиться одним или двумя делами, что в развитии не могло бы произойти никакого прогресса. Человек мог бы целый день заниматься одеванием и раздеванием себя; положение его тела поглощало бы все его внимание и энергию; мытье рук или застегивание пуговицы каждый раз было бы для него так же трудно, как для ребенка при первом испытании; и, кроме того, он был бы полностью истощен своими усилиями. Подумайте, сколько усилий нужно приложить, чтобы научить ребенка стоять, сколько усилий он должен приложить, и с какой легкостью он, наконец, стоит, не осознавая никаких усилий. Ибо если вторичные автоматические действия

совершаются со сравнительно небольшим утомлением - в этом отношении они приближаются к органическим движениям или первоначальным рефлекторным движениям, - то сознательное усилие воли вскоре приводит к истощению. Спинной мозг без ... памяти был бы просто идиотским спинным мозгом..... Невозможно, чтобы человек осознал, насколько он обязан его автоматическому агентству, пока болезнь не нарушит его функции".

Следующий результат заключается в том, что *привычка уменьшает сознательное внимание, с которым совершаются наши действия.*

Абстрактно это можно выразить так: Если для выполнения какого-либо действия требуется цепь последовательных нервных событий, *A, B, C, D, E, F, G* и т. д, последовательных нервных событий, то при первых выполнениях действия сознательная воля должна выбирать каждое из этих событий из ряда неправильных альтернатив, которые имеют тенденцию представляться; но привычка вскоре приводит к тому, что каждое событие вызывает своего подходящего преемника без какой-либо альтернативы, предлагающей себя, и без какого-либо обращения к сознательной воле, пока, наконец, вся цепь, *A, B, C, D, E, F, G*, гремит сама собой, как только происходит *A*, так же, как если бы *A* и остальные части цепи были слиты в непрерывный поток. Когда мы учимся ходить, ездить верхом, плавать, кататься на коньках, фехтовать, писать, играть или петь, мы на каждом шагу прерываем себя ненужными движениями и фальшивыми нотами. Напротив, когда мы становимся профессионалами, результаты не только достигаются при минимуме мышечных усилий, необходимых для их достижения, но и следуют от одного мгновенного "сигнала". Меткий стрелок видит птицу и, не успев опомниться, прицеливается и стреляет. Блеск в глазах противника, мгновенный нажим на рапиру, и фехтовальщик обнаруживает, что мгновенно сделал правильное парирование и ответный удар. Один взгляд на музыкальные иероглифы - и пальцы пианиста пронесли по катаракте нот. И не только то, что мы произвольно делаем в нужное время, но и то, что неправильно, если это привычное дело. Кто из нас хоть раз не заводил часы, снимая жилет днем, или не вынимал ключ из замка, когда подходил к двери друга? Известны случаи, когда очень рассеянные люди, отправляясь в спальню, чтобы одеться к ужину, снимали одну одежду за другой и в конце концов ложились в постель только потому, что именно так обычно происходили первые несколько движений, когда они совершались в более поздний час. Писатель хорошо помнит, как, вернувшись в Париж после десятилетнего отсутствия и оказавшись на улице, где зимой он учился в школе, он погрузился в коричневый кабинет, из которого его вывела лестница, ведущая в квартиру в доме за много улиц, в котором он жил в то время и к которому тогда привычно вели его шаги из школы. У каждого из нас есть определенная рутинная манера выполнять определенные ежедневные действия, связанные с туалетом, открыванием и закрыванием привычных шкафов и т. п. Наши низшие центры знают порядок этих движений и демонстрируют свое знание своим "удивлением", если объекты меняются таким образом, что движение приходится выполнять по-другому. Но наши высшие мыслецентры почти ничего не знают об этом. Мало кто из мужчин может сразу сказать, какой носок, ботинок или штанину он наденет первым. Сначала они должны мысленно прорепетировать действие; и даже этого часто бывает недостаточно - действие должно быть *совершено*. Так и с вопросами: "Какой клапан моей двойной двери открывается первым? В какую сторону качается моя дверь? и т. д. Я не могу сказать ответ, но моя *рука* никогда не ошибается. Никто не может *описать* порядок, в котором он чистит волосы или зубы; тем не менее, вероятно, что этот порядок является довольно фиксированным у каждого из нас.

Эти результаты можно выразить следующим образом:

В действиях, ставших привычными, то, что побуждает каждое новое мышечное сокращение происходить в установленном порядке, - это не мысль или восприятие, а *ощущение, вызванное только что закончившимся мышечным сокращением*. Строго добровольное действие должно направляться мыслью, восприятием и волевым усилием на всем его протяжении. В привычном действии достаточно простого ощущения, и верхние области мозга и сознания оказываются сравнительно свободными. Схема поможет прояснить этот вопрос:



Рис. 24.

Пусть *A, B, C, D, E, F, G* представляют собой привычную цепь мышечных сокращений, а *a, b, c, d, e, f* означают соответствующие ощущения, которые эти сокращения вызывают в нас при последовательном выполнении. Обычно эти ощущения касаются мышц, кожи или суставов движущихся частей, но они могут быть и эффектами воздействия движения на глаз или ухо. Через них и только через них мы узнаем, произошло или не произошло сокращение. Когда заучивается серия *A, B, C, D, E, F, G*, каждое из этих ощущений становится объектом отдельного восприятия разума. С его помощью мы проверяем каждое движение, чтобы убедиться в его правильности, прежде чем перейти к следующему. Мы колеблемся, сравниваем, выбираем, отменяем, отвергаем и т. д., используя интеллектуальные средства; и порядок, в котором выполняется следующее движение, - это явный приказ от идеологических центров после того, как это обдумывание было пройдено.

В привычном действии, напротив, единственным импульсом, который должны посылать центры идеи или восприятия, является начальный импульс, команда *начать*. На схеме он обозначен буквой *V*; это может быть мысль о первом движении или о последнем результате, или просто восприятие некоторых привычных условий цепочки, например, присутствия клавиатуры рядом с рукой. В данном случае, не успела сознательная мысль или воля вызвать движение *A*, как *A*, через ощущение *a* своего появления, рефлекторно пробуждает *B*; *B* затем возбуждает *C* через *B*, и так далее, пока цепочка не закончится, когда интеллект, как правило, осознает конечный результат. Этот процесс, по сути, напоминает прохождение волны "перистальтического" движения по кишечнику. Интеллектуальное восприятие в конце обозначено на диаграмме эффектом *G*, представленным в *G'*, в идейных центрах над линией ощущений. Сенсационные впечатления, *a, b, c, d, e, f*, как предполагается, располагаются ниже идеологических линий. О том, что наши идейные центры, если и задействованы *a, b, c, d, e, f*, то в минимальной степени, свидетельствует тот факт, что внимание может быть полностью поглощено в другом месте. Мы можем произносить молитвы или повторять алфавит, при этом наше внимание может быть далеко от нас.

"Исполнитель музыки будет играть пьесу, ставшую знакомой благодаря повторению, ведя оживленную беседу или будучи постоянно поглощенным какой-то глубоко интересной мыслью; привычная последовательность движений будет непосредственно подсказана *видом* нот или запомненной последовательностью

звуков (если пьеса играется по памяти), чему в обоих случаях способствуют направляющие ощущения, исходящие от самих мышц. Но, кроме того, более высокая степень той же "тренировки" (действующей на организм, специально приспособленный для ее использования) позволяет опытному пианисту сыграть сложное музыкальное произведение на глаз; движения рук и пальцев следуют так непосредственно за видом нот, что кажется невозможным поверить, что любой, кроме самого короткого и прямого пути, может быть каналом нервной связи, по которому они вызываются. Следующий любопытный пример того же класса *приобретенных способностей*, которые отличаются от инстинктов только тем, что побуждаются к действию волей, приводится Робертом Гуденом:

"С целью выработать быстроту зрительного и тактильного восприятия и точность ответных движений, которые необходимы для успеха в любом виде престижизитации, Гуден рано занялся искусством жонглирования мячами в воздухе; и, после месячной практики, основательно овладев искусством держать *четыре* мяча одновременно, он положил перед собой книгу и, пока мячи были в воздухе, приучил себя читать без колебаний. "Это, - говорит он, - вероятно, покажется моим читателям весьма необычным; но я удивлю их еще больше, когда скажу, что только что забавлялся тем, что повторял этот любопытный эксперимент". Хотя с того времени, когда я писал, прошло тридцать лет, и хотя за это время я почти ни разу не прикасался к шарикам, я все еще могу с легкостью читать, держа *три* шарика вверх" (Autobiography, p. 26.).[146]

Мы называли *a, b, c, d, e, f*, предшественников последовательных мышечных влечений, именем ощущений. Некоторые авторы, похоже, отрицают, что они таковыми являются. Если не даже это, то они могут быть только центростремительными нервными токами, недостаточными, чтобы вызвать ощущения, но достаточными, чтобы вызвать двигательную реакцию.[147] Можно сразу же признать, что они не являются отдельными *волевыми актами*. Воля, если таковая присутствует, ограничивается *разрешением* на то, чтобы они оказывали свое двигательное воздействие. Доктор Карпентер пишет:

"Возможно, еще найдутся метафизики, утверждающие, что действия, которые первоначально были вызваны волей с четким намерением и которые все еще полностью находятся под ее контролем, никогда не могут перестать быть волевыми; и что либо требуется бесконечно малое количество воли для их поддержания, когда они уже однажды начались, либо что воля находится в своего рода маятниковом колебании между двумя действиями - поддержанием поезда *мысли* и поддержанием поезда *движения*. Но если для их поддержания требуется лишь бесконечно малое количество воли, не равносильно ли это утверждению, что они продолжают благодаря собственной силе? И разве опыт *совершенной непрерывности* нашего хода мыслей во время выполнения движений, ставших привычными, не опровергает гипотезу о колебаниях? Кроме того, если бы такая осцилляция существовала, должны быть *интервалы*, в которые каждое действие происходит *само по себе*; таким образом, фактически признается его автоматический характер. Физиологическое объяснение, что механизм локомоции, как и других привычных движений, *развивается в соответствии* с тем способом, в котором он осуществляется в начале, и что затем он работает автоматически под общим контролем и руководством воли, едва ли может быть сведено на нет любым предположением о гипотетической необходимости, которое опирается только на незнание одной стороны нашей составной природы."[148]

Но если это не отдельные волевые акты, то непосредственные предшественники каждого движения цепи, во всяком случае, сопровождаются каким-то сознанием. Это *ощущения*, к которым мы *обычно невнимательны*, но которые немедленно привлекают наше внимание, если идут *не так, как надо*. Рассказ Шнайдера об этих ощущениях заслуживает того, чтобы его процитировать. В процессе ходьбы, говорит он, даже когда наше внимание полностью отключено,

"мы постоянно ощущаем определенные мышечные чувства; кроме того, мы чувствуем определенные импульсы, чтобы сохранить равновесие и опустить одну ногу за другой. Сомнительно, что мы могли бы сохранять равновесие, если бы не было ощущения положения тела, и сомнительно, что мы должны продвигать ногу вперед, если у нас нет ощущения ее движения как выполненного, и нет даже минимального ощущения импульса, чтобы опустить ее. Вязание кажется совершенно механическим, и вязальщица продолжает вязать, даже когда читает или оживленно разговаривает. Но если мы спросим ее, как это возможно, она вряд ли ответит, что вязание идет само собой. Она скорее скажет, что у нее есть ощущение этого, что она чувствует в своих руках, что она вяжет и как она должна вязать, и что поэтому движения вязания вызываются и регулируются связанными с ними ощущениями, даже когда внимание отвлечено.

"Так и каждый, кто занимается, по-видимому, автоматически, давно знакомым ремеслом. Кузнец, поворачивающий щипцы, когда он кует железо, плотник, оруduющий рубанком, кружевница с коклюшками, ткач за ткацким станком - все они на один и тот же вопрос ответят, что у них есть ощущение правильного управления орудием в их руках.

"В этих случаях чувства, которые являются условиями соответствующих действий, очень слабы. Но тем не менее они необходимы. Представьте себе, что ваши руки не чувствуют; тогда ваши движения могли бы быть вызваны только идеями, и если бы ваши идеи были отвлечены, то движения должны были бы остановиться, что является следствием, которое редко случается".[\[149\]](#)

И снова:

"Идея заставляет вас взять, например, скрипку в левую руку. Но не обязательно, чтобы ваша мысль оставалась фиксированной на сокращении мышц левой руки и пальцев, чтобы скрипка продолжала удерживаться и не падала. Сами ощущения, которые удерживание инструмента пробуждает в руке, поскольку они связаны с двигательным импульсом хватания, достаточны, чтобы вызвать этот импульс, который затем длится до тех пор, пока длится само ощущение, или пока импульс не будет подавлен идеей какого-то антагонистического движения".

То же самое можно сказать и о манере, в которой правая рука держит лук:

"В начале этих одновременных комбинаций иногда случается, что одно движение или импульс прекращается, если сознание особенно обращено к другому, потому что вначале все направляющие ощущения должны быть сильно *прочувствованы*. Возможно, смычок выскользнет из пальцев, потому что некоторые мышцы расслабились. Но это выскальзывание является причиной новых ощущений, возникающих в руке, так что внимание через мгновение возвращается к захвату смычка.

"Это хорошо видно на примере следующего эксперимента: Когда человек начинает играть на скрипке, чтобы он не поднимал правый локоть при игре, ему под правую подмышку кладут книгу, которую он должен держать, прижав верхнюю руку к телу. Мышечные ощущения и чувство контакта, связанные с книгой, провоцируют импульс к тому, чтобы крепко прижать ее. Но часто случается так, что новичок, чье внимание поглощено созданием нот, роняет книгу. В дальнейшем, однако, этого никогда не происходит; достаточно слабых ощущений от прикосновения, чтобы пробудить импульс держать ее на месте, и внимание может быть полностью поглощено нотами и аппликатурой левой руки. *Таким образом, одновременное сочетание движений в первую очередь обусловлено тем, что в нас, наряду с интеллектуальными процессами, еще могут протекать процессы невнимательного чувства*".[\[150\]](#)

Таким образом, мы совершенно естественно переходим к *этическим последствиям закона привычки*. Они многочисленны и важны. Доктор Карпентер, из чьей "Физиологии ума" мы приводили цитату, настолько убедительно доказал принцип, согласно которому наши органы развиваются в соответствии с тем, как их тренировали, и остановился на его последствиях, что его книга почти заслуживает звания назидательного труда только по этому признаку. Нам не нужно извиняться за то, что мы сами можем проследить некоторые из этих последствий:

"Привычка - вторая натура! Привычка - в десять раз больше природы", - воскликнул герцог Веллингтон; и то, насколько это верно, никто не может оценить так хорошо, как тот, кто сам является солдатом-ветераном. Ежедневные тренировки и годы дисциплины заканчиваются тем, что человек полностью перестраивается в отношении большинства возможностей своего поведения.

"Есть история, которая достаточно правдоподобна, хотя, возможно, и не соответствует действительности, о практичном шутнике, который, увидев демобилизованного ветерана, несущего домой свой обед, вдруг крикнул: "Внимание!", после чего тот мгновенно опустил руки и потерял баранину и картошку в сточной канаве. Тренировка была тщательной, и ее последствия закрепились в нервной структуре мужчины".[\[151\]](#)

Во время многих сражений безлошадные кавалерийские лошади собирались вместе и выполняли свои обычные упражнения при звуках горна. Большинство дрессированных домашних животных, собак и волов, а также лошадей для омнибусов и автомобилей, кажутся машинами, почти чистыми и простыми, беспрекословно, безоговорочно выполняющими из минуты в минуту обязанности, которым их научили, и не подающими никаких признаков того, что возможность альтернативы когда-либо приходила им в голову. Люди, состарившиеся в тюрьме, просят вернуть их на свободу после того, как их однажды освободили. Говорят, что в 1881 году во время железнодорожной катастрофы в передвижном зверинце в Соединенных Штатах тигр, чья клетка была открыта, выбрался наружу, но вскоре снова отполз назад, как будто слишком обескураженный своими новыми обязанностями, так что его без труда удалось спасти.

Таким образом, привычка - это огромный маховик общества, его самый ценный консервант. Только она удерживает всех нас в рамках предписаний и спасает детей удачи от завистливых восстаний бедняков. Только благодаря ей самые трудные и отвратительные сферы жизни не покидаются теми, кто был воспитан в них. Она держит рыбака и палубного матроса в море всю зиму; она держит шахтера в его темноте и приковывает деревенского жителя к его бревенчатому домику и одинокой ферме на протяжении всех снежных месяцев; она

защищает нас от вторжения уроженцев пустыни и замерзшей зоны. Она обрекает всех нас на то, чтобы вести жизненную борьбу в соответствии с воспитанием или ранним выбором, и делать лучшее из того, что не устраивает, потому что нет другого, к чему мы приспособлены, и слишком поздно начинать все сначала. Это не дает смешиваться разным социальным слоям. Уже в двадцать пять лет вы видите, как профессиональная манерность оседает на молодом коммерсанте, на молодом враче, на молодом министре, на молодом юрисконсульте. Вы видите маленькие линии расщепления, проходящие через весь характер, уловки мышления, предрассудки, пути "цеха", словом, то, от чего человек может в будущем избавиться не больше, чем рукав его пальто может внезапно распасться на новые складки. В целом же лучше, чтобы он от них не убегал. Для мира хорошо, что у большинства из нас к тридцати годам характер застывает, как гипс, и уже никогда не размягчается.

Если период между двадцатью и тридцатью годами является критическим в формировании интеллектуальных и профессиональных привычек, то период до двадцати лет еще более важен для закрепления *личных* привычек, как их правильно называть, таких как вокализация и произношение, жесты, движения и обращение. Едва ли язык, выученный после двадцати, будет звучать без иностранного акцента; едва ли юноша, перенесенный в общество своих старейшин, сможет избавиться от гнусавости и других пороков речи, выработанных в нем ассоциациями его зрелых лет. Вряд ли когда-нибудь, сколько бы денег ни было в кармане, он научится даже *одеваться*, как подобает урожденному джентльмену. Купцы предлагают ему свои товары так же охотно, как и самому захудалому "приятелю", но он просто *не может* купить нужные вещи. Невидимый закон, такой же сильный, как тяготение, удерживает его на своей орбите, и в этом году он одет так же, как и в прошлом; а как его более воспитанные знакомые умудряются доставать вещи, которые они носят, останется для него загадкой до самой смерти.

Итак, самое важное во всем образовании - *сделать нашу нервную систему союзником, а не врагом*. Она должна финансировать и капитализировать наши приобретения и спокойно жить на проценты от них. *Для этого мы должны как можно раньше сделать автоматическими и привычными как можно больше полезных действий*, а от впадения в привычки, которые могут оказаться для нас невыгодными, мы должны защищаться, как от чумы. Чем больше деталей нашей повседневной жизни мы сможем отдать на попечение автоматизма, тем больше наши высшие силы разума будут освобождены для их собственной работы. Нет более несчастного человека, чем тот, в ком нет ничего привычного, кроме нерешительности, и для которого зажигание каждой сигары, выпивание каждой чашки, время подъема и отхода ко сну каждый день и начало каждой работы являются предметом явного волевого обдумывания. Полторы половины времени такого человека уходит на решение или сожаление о делах, которые должны быть настолько укоренены в нем, что практически не существуют для его сознания вообще. Если у кого-то из моих читателей еще не укоренились подобные ежедневные обязанности, пусть он прямо сейчас начнет исправлять ситуацию.

В главе профессора Бейна "Нравственные привычки" есть несколько замечательных практических замечаний. Из его трактовки вытекают две великие максимы. Первая заключается в том, что, приобретая новую привычку или отказываясь от старой, мы должны позаботиться о том, чтобы проявить *как можно более сильную и решительную инициативу*. Соберите все возможные обстоятельства, которые укрепят правильные мотивы; усердно ставьте себя в условия, способствующие новому пути; заключайте обязательства, несовместимые со старыми; дайте публичное обещание, если позволяет случай; словом, облеките свою решимость во все известные вам средства. Это придаст вашему новому

началу такой импульс, что соблазн сорваться возникнет не так скоро, как мог бы; а каждый день, в течение которого срыв откладывается, увеличивает шансы на то, что он вообще не произойдет.

Вторая максима заключается в следующем: *Никогда не допускайте исключений, пока новая привычка не укоренится в вашей жизни.* Каждая оплошность подобна тому, как распускается клубок ниток, который человек тщательно сматывает; один промах отменяет больше, чем множество витков, которые намотаются снова. *Непрерывность* тренировок - отличное средство заставить нервную систему действовать безошибочно. Как говорит профессор Бэйн:

"Особенность нравственных привычек, отличающая их от интеллектуальных приобретений, заключается в наличии двух враждебных сил, одна из которых должна постепенно возвышаться над другой. В такой ситуации необходимо, прежде всего, никогда не проигрывать сражение. Каждый выигрыш противной стороны сводит на нет эффект от многих завоеваний правой. Поэтому важной мерой предосторожности является такое регулирование двух противоборствующих сил, чтобы одна из них могла иметь ряд непрерывных успехов, пока повторение не укрепит ее до такой степени, что она сможет справиться с оппозицией при любых обстоятельствах. Это теоретически лучший путь к умственному прогрессу".

Необходимость добиться успеха с *самого начала* крайне важна. Неудача на первых порах способна ослабить энергию всех будущих попыток, в то время как опыт успеха в прошлом нервнрует человека к будущей бодрости. Гете говорит человеку, который советовался с ним по поводу какого-то предприятия, но не верил в свои силы: "Ах! Вам нужно только дуть на руки!". И это замечание иллюстрирует влияние на дух Гёте его собственной привычно успешной карьеры. Профессор Бауманн, у которого я позаимствовал этот анекдот, [\[152\]](#) говорит, что крах варварских народов, когда среди них появляются европейцы, объясняется тем, что они отчаялись когда-либо преуспеть, как новоприбывшие, в решении больших жизненных задач. Старые устои ломаются, а новые не формируются.

Здесь встает вопрос о "постепенном прекращении" отказа от таких привычек, как пьянство и опиум, и это вопрос, по которому эксперты расходятся во мнениях в определенных пределах и в отношении того, что может быть лучше для каждого конкретного случая. В основном, однако, все эксперты сходятся во мнении, что резкое приобретение новой привычки - лучший способ, *если есть реальная возможность его осуществить*. Мы должны быть осторожны, чтобы не поставить перед волей настолько жесткую задачу, чтобы гарантировать ее поражение в самом начале; но, *если человек может выдержать*, резкий период страданий, а затем свободное время - лучшее, к чему можно стремиться, будь то отказ от такой привычки, как опиум, или просто изменение времени подъема или работы. Удивительно, как быстро желание умирает от истощения, если его *никогда не* подпитывать.

"Прежде чем начать "переделывать себя заново", нужно научиться, не дрогнув, не глядя ни вправо, ни влево, твердо идти по прямому и узкому пути. Тот, кто каждый день принимает новое решение, подобен тому, кто, подойдя к краю канавы, которую ему предстоит перепрыгнуть, навсегда останавливается и возвращается для нового забега. Без *непрерывного* продвижения вперед невозможно *накопление* этических сил, а сделать это возможным, упражнять нас и приучать к этому - вот суверенное благословение регулярной *работы*". [\[153\]](#)

К предыдущей паре можно добавить третью максиму: *Пользуйтесь первой же возможностью действовать в соответствии с каждым принятым вами решением и*

каждым эмоциональным побуждением, которое вы можете испытать в направлении привычек, которые вы стремитесь приобрести. Решимость и стремление передают мозгу новый "набор" не в момент их формирования, а в момент их *двигательного воздействия*. Как замечает автор последней цитаты:

"Одно только фактическое наличие практической возможности дает точку опоры, на которую может опираться рычаг, с помощью которого нравственная воля может умножить свою силу и подняться ввысь. Тот, у кого нет твердой почвы, на которую можно было бы опереться, никогда не выйдет за рамки пустого жестикулирования".

Каким бы полным ни был запас *афоризмов*, какими бы хорошими ни *были чувства* человека, если он не воспользовался каждой конкретной возможностью *действовать*, его характер может остаться совершенно не измененным в лучшую сторону. Одними лишь благими намерениями, как говорится, вымощен ад. И это очевидное следствие тех принципов, которые мы изложили. Характер", как говорит Дж. С. Милль, "это полностью сформированная воля"; а воля, в том смысле, в котором он ее имеет в виду, - это совокупность тенденций действовать твердо, быстро и определенно во всех основных жизненных ситуациях. Склонность к действию укореняется в нас лишь в той мере, в какой частота действий становится непрерывной, а мозг "дорастает" до их использования. Каждый раз, когда решимость или прекрасное чувство испаряются, не принеся практических плодов, - это хуже, чем упущенный шанс; это работает так, что препятствует будущим решениям и эмоциям идти по нормальному пути разрядки. Нет более презренного типа человеческого характера, чем бесчувственный сентименталист и мечтатель, который проводит свою жизнь в бурлящем море чувств и эмоций, но никогда не совершает мужественных конкретных поступков. Руссо, вдохновляющий своим красноречием всех матерей Франции следовать природе и самим выкармливать своих детей, в то время как сам он отправляет своих детей в больницу для подкидышей, - классический пример того, что я имею в виду. Но каждый из нас в своей мере, когда, радея за абстрактно сформулированное Благо, он практически игнорирует какой-то реальный случай, среди убогих "других частных" которого таится это самое Благо, ступает прямо на тропу Руссо. Все блага маскируются пошлостью их сопутствующих элементов в этом мире, где все занято работой; но горе тому, кто может распознать их только тогда, когда он мыслит их в чистом и абстрактном виде! Привычка к чрезмерному чтению романов и посещению театров порождает настоящих монстров в этой области. Рыдания русской дамы над вымышленными персонажами пьесы, в то время как ее кучер замерзает на своем сиденье снаружи, - это то, что повсеместно происходит в менее ярких масштабах. Даже привычка чрезмерно предаваться музыке, для тех, кто не является ни исполнителем, ни музыкально одаренным, чтобы воспринимать ее чисто интеллектуально, вероятно, оказывает расслабляющее воздействие на характер. Человек наполняется эмоциями, которые привычно проходят без побуждения к какому-либо поступку, и таким образом поддерживается инертно-сентиментальное состояние. Средство от этого - никогда не позволять себе испытывать эмоции на концерте, не выражая их потом *каким-либо* активным способом.^[154] Пусть это выражение будет самым незначительным в мире: пусть вы ласково поговорите с тетей или уступите место в вагоне, если нет ничего более героического, - но пусть оно не будет неудачным.

Эти последние случаи дают нам понять, что не только *конкретные линии* разрядки, но и *общие формы* разрядки, которые, похоже, выработаны в мозгу по привычке. Как если мы позволяем эмоциям испаряться, они испаряются; так есть основания предполагать, что если мы часто вздрагиваем от усилий, то не успеем оглянуться, как способность к усилиям

исчезнет; и что если мы терпим блуждание нашего внимания, то в скором времени оно будет блуждать постоянно. Внимание и усилие - это, как мы увидим позже, всего лишь два названия одного и того же психического факта. Каким мозговым процессам они соответствуют, мы не знаем. Самым веским основанием полагать, что они вообще зависят от мозговых процессов и не являются чистыми актами духа, является как раз тот факт, что они, по-видимому, в какой-то степени подчиняются закону привычки, который является материальным законом. В качестве последней практической максимы, относящейся к этим привычкам воли, мы можем предложить следующее: *Поддерживайте в себе способность к усилию, ежедневно выполняя небольшое безвозмездное упражнение*. То есть будьте систематически аскетичны или героичны в маленьких ненужных пунктах, делайте каждый день или два что-то без всякой причины, кроме той, что вы предпочли бы этого не делать, чтобы, когда приблизится час суровой необходимости, вы не оказались беззащитными и неподготовленными, чтобы выдержать испытание. Аскетизм такого рода подобен страховке, которую человек платит за свой дом и имущество. Налог не приносит ему никакой пользы в данный момент и, возможно, никогда не принесет дохода. Но если пожар все же случится, то его уплата станет спасением от гибели. Так и с человеком, который ежедневно воспитывает в себе привычку к сосредоточенному вниманию, энергичным волевым усилиям и самоотречению в ненужных вещах. Он будет стоять, как башня, когда все вокруг него будет рушиться, а его более мягкие собратья будут перемалываться, как мякина во время взрыва.

Таким образом, физиологическое изучение психических состояний является самым мощным союзником этики, направленной на укрепление здоровья. Ад, который предстоит пережить в будущем, о котором рассказывает теология, ничуть не хуже того ада, который мы создаем для себя в этом мире, привычно формируя свой характер неправильным образом. Если бы молодые люди только осознавали, как скоро они станут просто ходячими пучками привычек, они бы больше внимания уделяли своему поведению, пока находятся в пластическом состоянии. Мы сами вершим свои судьбы, добрые или злые, и их уже не исправить. Каждый малейший удар добродетели или порока оставляет свой маленький шрам. Пьяный Рип Ван Винкль из пьесы Джефферсона оправдывается за каждый новый проступок, говоря: "На этот раз я не буду считать!". Что ж! Он может не считать, и добрые небеса могут не считать; но тем не менее счет ведется. Внизу, среди его нервных клеток и волокон, молекулы подсчитывают его, регистрируют и накапливают, чтобы использовать против него, когда придет следующий соблазн. Ничто из того, что мы когда-либо делали, в строгом научном смысле слова не стирается. Конечно, в этом есть как хорошая, так и плохая сторона. Как мы становимся постоянными пьяницами благодаря множеству отдельных напитков, так мы становимся святыми в моральной сфере, авторитетами и экспертами в практической и научной областях благодаря множеству отдельных поступков и часов работы. Пусть ни один юноша не беспокоится о результатах своего образования, каким бы ни было его направление. Если он будет добросовестно заниматься каждый час рабочего дня, то может смело оставить конечный результат на потом. Он может с полной уверенностью рассчитывать, что, проснувшись в одно прекрасное утро, окажется одним из самых компетентных представителей своего поколения в той области, которую он выбрал для себя. В тишине, между всеми деталями его бизнеса, *сила суждения* во всех этих вопросах будет накапливаться в нем как достояние, которое никогда не исчезнет. Молодые люди должны знать эту истину заранее. Незнание этой истины, вероятно, породило больше уныния и слабости у молодых людей, начинающих трудную карьеру, чем все остальные причины, вместе взятые.

[136] Эта глава уже публиковалась в ежемесячнике "Популярная наука" за февраль 1887 года.

[137] В вышеуказанном смысле, который относится как к внутренней структуре, так и к внешней форме.

[138] *Revue Philosophique*, i, 324.

[139] Некоторые пути, конечно, засоряются телами, движущимися по ним под слишком большим давлением, и становятся непроницаемыми. Этими особыми случаями мы пренебрегаем.

[140] Мы не можем сказать *о воле*, поскольку, хотя многие, возможно, большинство человеческих привычек когда-то были добровольными действиями, ни одно действие, как мы увидим в следующей главе, не может быть *в первую очередь* таковым. Если привычное действие когда-то было добровольным, то добровольное действие должно было до этого, хотя бы однажды, быть импульсивным или рефлекторным. Именно этот первый случай мы и рассматриваем в тексте.

[141] Те, кто хочет получить более определенную формулировку, могут обратиться к "Космической философии" Дж. Фиска, т. ii, с. 142-146, "Принципам биологии" Спенсера, разделы 302 и 303, а также к части "Физического синтеза" его "Принципов психологии". Там мистер Спенсер пытается не только показать, как новые действия могут возникать в нервных системах и формировать в них новые рефлекторные дуги, но даже как нервная ткань может фактически рождаться путем прохождения новых волн изометрической трансформации через изначально индифферентную массу. Я не могу не думать, что данные мистера Спенсера, под великолепной демонстрацией точности, скрывают неясность и невероятность, и даже самопротиворечие.

[142] 'Mental Physiology' (1874) pp. 339-345.

[143] [См. позже Масиуса в "Archives de Biologie" Ван Бенеденса и Ван Бамбеке, т. i (Льеж, 1880).-W. J.]

[144] G. H. Schneider: 'Der menschliche Wille' (1882), pp. 417-419 (свободный перевод). О сливном симиле см. также "Психологию" Спенсера, часть v, гл. viii.

[145] Физиология разума", с. 155.

[146] Carpenter's 'Mental Physiology' (1874), pp. 217, 218.

[147] Фон Гартман посвящает одну из глав своей "Философии бессознательного" (английский перевод, т. I, с. 72) доказательству того, что они должны быть одновременно *идеями* и *бессознательным*.

[148] 'Mental Physiology', p. 20.

[149] 'Der menschliche Wille', pp. 447, 448.

[150] 'Der menschliche Wille', p. 439. Последнее предложение переведено довольно вольно, но смысл остался неизменным.

[151] Huxley's 'Elementary Lessons in Physiology', lesson xii.

[152] См. замечательный отрывок об успехе в самом начале в его "Handbuch der Moral" (1878), pp. 38-43.

[153] J. Bahnsen: "Beiträge zu Charakterologie" (1867), vol i, p. 209.

[154] См. замечания по этому вопросу в статье мисс В. Скаддер "Музыкальные приверженцы и мораль" в "Андовер Ревью" за январь. 1887.

ГЛАВА V.

ТЕОРИЯ АВТОМАТОВ.

Описывая функции полушарий, мы использовали язык, заимствованный как из телесной, так и из психической жизни, говоря то, что животное совершает неопределенные и непредсказуемые реакции, то, что им движут соображения будущего добра и зла; рассматривая полушария иногда как место памяти и идей в психическом смысле, а иногда говоря о них как о простом сложном дополнении к его рефлекторному механизму. Подобное колебание точки зрения - фатальный инцидент всех обычных разговоров об этих вопросах; но теперь я должен свести счеты с теми читателями, которым я уже обронил пару слов мимоходом (см. [сноску 6](#)) и которые, вероятно, с тех пор были недовольны моим поведением.

Предположим, что мы ограничим наш взгляд фактами одной и той же плоскости, и пусть это будет телесная плоскость: разве все внешние явления интеллекта все еще не могут быть исчерпывающе описаны? Те ментальные образы, те "соображения", о которых мы говорили, - предположительно, они не возникают без нейронных процессов, возникающих одновременно с ними, и предположительно каждое соображение соответствует процессу *sui generis*, не похожему на все остальные. Другими словами, каким бы многочисленным и тонко дифференцированным ни был поток идей, поток мозговых событий, идущий рядом с ним, должен в обоих отношениях точно соответствовать ему, и мы должны постулировать нейронный механизм, который предлагает живой аналог для каждого оттенка, каким бы тонким он ни был, в истории сознания его владельца. Какой бы степени усложнения ни достигало последнее, усложнение механизма должно быть столь же экстремальным, иначе нам придется признать, что могут существовать ментальные события, которым не соответствуют события мозга. Но на такое признание физиолог идет неохотно. Это нарушило бы все его убеждения. "Нет психоза без невроза", - вот одна из форм, которую принимает в его сознании принцип непрерывности.

Но этот принцип заставляет физиолога сделать еще один шаг. Если нейронные действия столь же сложны, как и разум, и если в симпатической системе и нижних отделах спинного мозга мы видим, что, насколько нам известно, бессознательные нейронные действия совершают поступки, которые по всем внешним признакам можно назвать разумными; что мешает нам предположить, что даже там, где мы знаем о наличии сознания, еще более сложные нейронные действия, которые мы считаем его неотъемлемым спутником, сами по себе являются реальным агентом любых разумных поступков, которые могут появиться? "Если действия определенной степени сложности вызываются простым механизмом, то почему действия еще большей степени сложности не могут быть результатом более совершенного механизма?" Концепция рефлекторного действия, несомненно, является одним из лучших завоеваний физиологической теории; почему бы не быть с ней радикальными? Почему бы не сказать, что как спинной мозг - это машина с небольшим

количеством рефлексов, так и полушария - это машина с большим их количеством, и в этом вся разница? Принцип непрерывности заставил бы нас принять эту точку зрения.

Но какова, с этой точки зрения, может быть функция самого сознания? *Механической* функции у него не было бы. Органы чувств пробуждали бы клетки мозга; те пробуждали бы друг друга в рациональной и упорядоченной последовательности, пока не наступило бы время действовать; и тогда последняя вибрация мозга разрядилась бы вниз, в двигательные пути. Но это была бы совершенно автономная цепь явлений, и какой бы разум ни сопутствовал ей, он был бы здесь лишь "эпифеноменом", инертным зрителем, своего рода "пенной, аурой или мелодией", как говорит мистер Ходжсон, чье противодействие или содействие было бы одинаково бессильно перед самими явлениями. Некоторое время назад мы, как *физиологи*, не должны были говорить о "соображениях", которыми руководствуется животное. Мы должны были сказать "пути, оставленные в коре полушарий прежними токами", и ничего больше.

Эта концепция настолько проста и привлекательна с точки зрения физиологии, что удивительно видеть, как поздно она попала в философию и как мало людей, даже когда она была им объяснена, полностью и легко осознают ее значение. Большая часть полемики против него ведется людьми, которые до сих пор не смогли охватить его своим воображением. Поскольку дело обстоит именно так, представляется целесообразным посвятить еще несколько слов тому, чтобы сделать ее правдоподобной, прежде чем критиковать ее самостоятельно.

Декарту принадлежит заслуга в том, что он первым осмелился представить себе полностью самодостаточный нервный механизм, который должен быть способен выполнять сложные и, по-видимому, разумные действия. Однако, по необычайно произвольному ограничению, Декарт остановился на человеке и, утверждая, что у зверей нервный механизм - это все, утверждал, что высшие действия человека - результат деятельности его разумной души. Мнение о том, что у зверей вообще нет сознания, было, конечно, слишком парадоксальным, чтобы долго оставаться чем-то большим, чем просто любопытным элементом в истории философии. И вместе с отказом от него само представление о том, что нервная система *сама по себе* может выполнять работу интеллекта, которое было неотъемлемой, хотя и отделимой частью всей теории, казалось, также ускользало из поля зрения людей, пока в нашем веке разработка доктрины рефлекторного действия не сделала возможным и естественным ее повторное возникновение. Но только в 1870 году, я полагаю, мистер Ходжсон сделал решающий шаг, заявив, что чувства, как бы интенсивно они ни присутствовали, не могут иметь никакой причинной силы, и сравнив их с красками, нанесенными на поверхность мозаики, камнями которой являются события в нервной системе.^[155] Очевидно, что камни удерживаются на месте друг другом, а не несколькими цветами, которые они поддерживают.

Примерно в то же время мистер Сполдинг, а чуть позже мистеры Хаксли и Клиффорд дали широкую огласку идентичной доктрине, хотя в их случае она была подкреплена менее утонченными метафизическими соображениями.^[156]

Чтобы внести полную ясность в этот вопрос, можно привести несколько высказываний Хаксли и Клиффорда. Профессор Хаксли заявляет:

"Сознание животных, по-видимому, связано с механизмом их тела просто как побочный продукт его работы и не имеет никакой силы изменить эту работу, как паровозный свисток, сопровождающий работу локомотива, не влияет на его механизм. Их воление, если оно вообще есть, является эмоцией, *свидетельствующей* о физических изменениях, а не *причиной* этих изменений....."

Душа связана с телом, как колокол часов с механизмами, а сознание отвечает на звук, который издает колокол, когда по нему ударяют..... До сих пор я строго ограничивался автоматизмом животных..... Совершенно верно, что, насколько я могу судить, аргументация, применимая к животным, в равной степени относится и к людям; и, следовательно, все состояния сознания у нас, как и у них, немедленно вызваны молекулярными изменениями мозгового вещества. Мне кажется, что у людей, как и у животных, нет доказательств того, что любое состояние сознания является причиной изменения в движении материи организма. Если эти положения хорошо обоснованы, то из них следует, что наши психические состояния - это просто символы в сознании изменений, которые происходят в организме автоматически; и что, если взять крайний пример, чувство, которое мы называем волевым, не является причиной волевого акта, а лишь символом того состояния мозга, которое является непосредственной причиной этого акта. Мы - сознательные автоматы".

Профессор Клиффорд пишет:

"Все имеющиеся у нас свидетельства говорят о том, что физический мир существует сам по себе, в соответствии с практически универсальными правилами..... Поезд физических фактов между стимулом, посланным в глаз или в любой из наших органов чувств, и нагрузкой, которая следует за ним, и поезд физических фактов, который продолжается в мозгу, даже когда нет стимула и нет нагрузки, - это совершенно законченные физические трамваи, и каждый шаг полностью объясняется механическими условиями..... Эти две вещи находятся на совершенно разных платформах - физические факты идут сами по себе, а психические - сами по себе. Между ними существует параллелизм, но нет никакого вмешательства одного в другое. Опять же, если кто-то говорит, что воля влияет на материю, это утверждение не является неправдой, но это нонсенс. Такое утверждение относится к грубому материализму дикаря. Единственная вещь, которая влияет на материю, - это положение окружающей материи или движение окружающей материи..... Утверждение, что воля другого человека, чувство в его сознании, которое я не могу воспринять, является частью ряда физических фактов, которые я могу воспринять, - это ни правда, ни неправда, но нонсенс; это сочетание слов, соответствующие идеи которых не будут сочетаться..... Иногда один ряд известен лучше, а иногда другой; так что, рассказывая историю, мы говорим иногда о психических, а иногда о материальных фактах. Чувство озноба заставило человека бежать; строго говоря, нервное расстройство, которое сосуществовало с этим чувством озноба, заставило его бежать, если мы хотим говорить о материальных фактах; или чувство озноба произвело ту форму подсознания, которая сосуществует с движением ног, если мы хотим говорить о психических фактах..... Поэтому, когда мы спрашиваем: "Какова физическая связь между входящим сообщением от охлажденной кожи и исходящим сообщением, которое двигает ногу?" и получаем ответ: "Воля человека", мы имеем такое же право забавляться, как если бы мы спросили нашего друга с картиной, какой пигмент использовался при покраске пушки на переднем плане, и получили ответ: "Кованое железо". Отличным упражнением в умственных операциях, требуемых этой доктриной, будет представить себе поезд, переднюю часть которого составляют двигатель и три вагона, соединенные железными сцепками, а заднюю - три других вагона, соединенных железными сцепками; связь между этими двумя частями образуется из дружеских чувств, существующих между кочегаром и охранником".

Чтобы полностью осознать последствия столь уверенно провозглашенной догмы, нужно неукоснительно применять ее на самых сложных примерах. Движения наших языков и ручек, вспышки наших глаз в разговоре - это, конечно, события материального порядка, и как таковые их причинные предшественники должны быть исключительно материальными. Если бы мы досконально знали нервную систему Шекспира и столь же досконально все условия его окружения, мы смогли бы показать, почему в определенный период его жизни его рука начертала на определенных листах бумаги те крамольные черные пометки, которые мы для краткости называем рукописью "Гамлета". Мы должны понять причину каждой подчистки и правки в ней, и мы должны понять все это, ни в малейшей степени не признавая существования мыслей в голове Шекспира. Слова и предложения будут восприниматься не как знаки чего-то запредельного, а как маленькие внешние факты, чистые и простые. Точно так же мы могли бы исчерпывающе написать биографию этих двухсот фунтов, больше или меньше, тепловатой альбуминоидной материи под названием Мартин Лютер, ни разу не намекнув, что он чувствовал.

Но, с другой стороны, ничто из этого не помешает нам дать столь же полный отчет о духовной истории Лютера или Шекспира, отчет, в котором каждый отблеск мысли и эмоции должен найти свое место. История разума шла бы параллельно с историей тела каждого человека, и каждая точка в одной соответствовала бы точке в другой, но не реагировала бы на нее. Так мелодия льется со струн арфы, но не сдерживает и не ускоряет ее колебаний; так тень бежит рядом с пешеходом, но никак не влияет на его шаги.

Необходимо сделать еще одно умозаключение, еще более парадоксальное, хотя, насколько мне известно, доктор Ходжсон - единственный автор, который сделал его в явном виде. Этот вывод заключается в том, что ощущения, не вызывая нервных реакций, не могут вызывать и друг друга. Для обычного здравого смысла ощущаемая боль как таковая является не только причиной внешних слез и криков, но и причиной таких внутренних событий, как печаль, сожаление, желание или изобретательская мысль. Так сознание хороших новостей является непосредственным производителем чувства радости, осознание предпосылок - веры в выводы. Но согласно теории автоматов, каждое из упомянутых чувств является лишь коррелятом какого-то нервного движения, *причина* которого лежит целиком в предыдущем нервном движении. Первое нервное движение вызвало второе; какое бы чувство ни было связано со вторым, оно, следовательно, следует за чувством, которое было связано с первым. Если, например, хорошая новость была сознанием, соотношенным с первым движением, то радость оказывалась коррелятом в сознании второго. Но все это время только элементы нервного ряда находились в каузальной непрерывности; элементы сознательного ряда, как бы ни была внутренне рациональна их последовательность, были просто сопоставлены.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРИИ.

Теория "сознательного автомата", как обычно называют эту концепцию, является, таким образом, радикальным и простым представлением о том, как могут происходить определенные факты. Но между концепцией и верой должно лежать доказательство. И когда мы спрашиваем: "Что доказывает, что все это не просто концепция возможного?", то не так-то просто получить достаточный ответ. Если мы начнем со спинного мозга лягушки и будем рассуждать по принципу преемственности, говоря, что раз он действует так разумно, *хотя и бессознательно*, то и высшие центры, *хотя и сознательные*, могут обладать интеллектом, который они демонстрируют, столь же механически основанным; нас тут же встретит точный контраргумент из преемственности, аргумент, фактически настоятельно выдвинутый такими авторами, как Пфлюгер и Льюс, который начинается с действий полушарий и гласит: "Как

они обязаны своим интеллектом сознанию, которое, как мы знаем, там есть, так и интеллект действий спинного мозга должен быть действительно обусловлен невидимым присутствием сознания более низкой степени." Все аргументы от непрерывности работают в двух направлениях: с их помощью можно либо подняться на уровень выше, либо опуститься на уровень ниже. И понятно, что подобные аргументы могут пожирать друг друга до бесконечности.

Остается своего рода философская вера, порожденная, как и большинство верований, эстетской потребностью. Психические и физические события, по общему признанию, представляют собой сильнейший контраст во всей области бытия. Пропась, которая зияет между ними, преодолевается разумом менее легко, чем любой известный нам промежуток. Почему бы тогда не назвать ее абсолютной пропастью и не сказать, что эти два мира не только различны, но и независимы? Это дает нам удобство всех простых и абсолютных формул и делает каждую цепочку однородной для нашего рассмотрения. Говоря о нервной дрожи и телесных действиях, мы можем быть спокойны за то, что в них не вмешивается не относящийся к делу ментальный мир. С другой стороны, когда мы говорим о чувствах, мы можем с одинаковой последовательностью использовать термины, всегда относящиеся к одному значению, и никогда не раздражаться тем, что Аристотель называет "соскальзыванием в другой вид". Желание людей, получивших образование в лабораториях, не смешивать свои физические рассуждения с такими несоизмеримыми факторами, как чувства, несомненно, очень сильно. Я слышал, как один умнейший биолог сказал: "Ученым людям давно пора протестовать против признания в научном исследовании такой вещи, как сознание". Одним словом, чувства составляют "ненаучную" половину бытия, и любой, кому нравится называть себя "ученым", будет слишком счастлив купить беспрепятственную однородность терминов в исследованиях своего пристрастия небольшой ценой признания дуализма, который, в то же самое время, когда он позволяет разуму независимый статус бытия, изгоняет его в лимб причинной инертности, откуда никогда не следует опасаться вторжения или прерывания с его стороны.

Помимо этого великого постулата о том, что все должно быть просто, существует, надо признать, еще одна весьма абстрактная причина для отрицания каузальной действенности наших чувств. Мы не можем сформировать никакого позитивного представления о способе действия воли или другой мысли, воздействующей на молекулы головного мозга.

"Давайте попробуем представить себе идею, скажем, о еде, производящую движение, скажем, о переносе пищи в рот..... Каков способ ее действия? Способствует ли она распаду молекул серого вещества, или замедляет этот процесс, или изменяет направление, в котором распределяются удары? Представим себе, что молекулы серого вещества скомбинированы таким образом, что при воздействии падающей силы они распадаются на более простые комбинации. Теперь предположим, что на эти молекулы воздействует сила в виде удара из другого центра. По гипотезе, она разложит их, и они распадутся на более простые комбинации. Как идея пищи может предотвратить это разложение? Очевидно, что она может сделать это только путем увеличения силы, которая связывает молекулы вместе. Хорошо! Попробуйте представить себе, что бифштекс связывает две молекулы вместе. Это невозможно. Столь же невозможно представить себе аналогичную идею, ослабляющую силу притяжения между двумя молекулами".[\[157\]](#)

Это высказывание очень умного писателя прекрасно выражает ту трудность, на которую я ссылаюсь. В сочетании с сильным ощущением "пропасти" между двумя мирами и живой

верой в рефлекторные механизмы ощущение этой трудности не может не заставить человека выставить сознание за дверь как лишнее в его объяснениях. Можно вежливо раскланяться с ней, позволить ей остаться в качестве "эпифеномена" (бесценное слово!), но настаивать на том, что вся власть должна принадлежать материи.

"Досконально осознав бездонную пропасть, отделяющую разум от материи, и настолько вписав это понятие в свою природу, что нет ни малейшего шанса забыть его или не насытить им все свои размышления, студент-психолог должен оценить связь между этими двумя порядками явлений..... Они связаны настолько тесно, что некоторые из величайших мыслителей считают их различными аспектами одного и того же процесса..... Когда в высших отделах мозга происходит перестройка молекул, одновременно происходит изменение сознания..... Изменение сознания никогда не происходит без изменения мозга; изменение мозга никогда ... не происходит без изменения сознания. Но *почему* эти два явления происходят вместе, и что является связующим звеном между ними, мы не знаем, и большинство авторитетов считают, что мы никогда не узнаем и не сможем узнать. Твердо и упорно усвоив эти два понятия - об абсолютной раздельности разума и материи и о неизменном сочетании психических изменений с телесными, - студент приступит к изучению психологии, преодолев половину своих трудностей".[158]

Я бы предпочел сказать, что половина его трудностей игнорируется. Ибо эта "одновременность" посреди "абсолютной отдельности" - совершенно иррациональное понятие. На мой взгляд, совершенно немыслимо, чтобы сознание *не имело никакого отношения* к делу, которым оно так преданно занимается. И вопрос "Что оно должно делать?" - это вопрос, который психология не имеет права "преодолевать", потому что это ее прямой долг - рассмотреть его. Дело в том, что весь вопрос взаимодействия и влияния между вещами - это вопрос метафизический, и он вообще не может обсуждаться теми, кто не желает вникать в него досконально. Действительно, достаточно трудно представить себе "идею бифштекса, связывающего две молекулы вместе"; но со времен Юма столь же трудно представить себе *что-либо*, связывающее их вместе. Все понятие "связывание" - это загадка, первый шаг к решению которой - очистить путь от схоластического мусора. Популярная наука говорит о "силах", "притяжениях" или "сродствах", связывающих молекулы; но чистая наука, хотя она и использует такие слова для сокращения разговора, не имеет никакого смысла в этих понятиях и довольствуется тем, что может выразить в простых "законах" голые пространственные отношения молекул как функции друг друга и времени. Однако для более пытливого ума такого упрощенного выражения голых фактов недостаточно; для них должна быть "причина", и что-то должно "определять" законы. И если всерьез задуматься о том, что именно *имеется в виду*, когда спрашиваешь о "причине", то можно пойти так далеко, так далеко от популярной науки и ее схоластики, что даже такой факт, как существование или несуществование во вселенной "идеи бифштекса", может быть не совсем безразличен к другим фактам в той же вселенной, и в частности может иметь какое-то отношение к определению расстояния, на котором две молекулы в этой вселенной должны находиться друг от друга. Если это так, то здравый смысл, хотя интимная природа причинности и связи вещей во вселенной лежит за пределами ее жалкого ограниченного горизонта, имеет в своих руках корень и суть истины, когда упрямо придерживается того, что чувства и идеи являются причинами. Какими бы неадекватными ни были наши представления о каузальной эффективности, мы не так сильно отклоняемся от истины, когда говорим, что наши идеи и чувства обладают ею, как автоматисты, когда говорят, что они не обладают ею. Как в ночи все кошки серые, так и в темноте метафизической критики все причины неясны. Но нельзя, как это делают автоматисты, набрасывать морок только на

психическую половину предмета и говорить, что *эта* причинность непостижима, и в то же время догматизировать *материальную* причинность, как будто Юм, Кант и Лотце никогда не родились. Нельзя, таким образом, дуть на горячее и холодное. Нужно быть беспристрастно *наивным* или беспристрастно критичным. Если второе, то реконструкция должна быть основательной или "метафизической" и, вероятно, сохранит точку зрения здравого смысла, что идеи - это силы, в некоторой переведенной форме. Но психология - это простая естественная наука, некритически принимающая определенные термины в качестве своих данных и останавливающаяся на метафизической реконструкции. Как и физика, она должна быть *наивной*; и если она обнаружит, что в ее весьма своеобразной области исследования идеи *кажутся* причинами, ей лучше продолжать говорить о них как о таковых. Она абсолютно ничего не выигрывает от разрыва со здравым смыслом в этом вопросе и теряет, мягко говоря, всю естественность речи. Если чувства являются причинами, то, конечно, их следствия должны быть поддержкой и сдерживанием внутренних мозговых движений, о которых самих по себе мы совершенно не знаем. Вполне вероятно, что еще долгие годы нам придется делать выводы о том, что происходит в мозге, исходя либо из наших ощущений, либо из наблюдаемых нами двигательных эффектов. Орган будет для нас чем-то вроде чана, в котором чувства и движения каким-то образом продолжают тушиться вместе, и в котором происходит бесчисленное множество вещей, о которых мы знаем лишь статистический результат. Почему при таких обстоятельствах мы должны отказаться от языка нашего детства, я не могу себе представить, тем более что он вполне совместим с языком физиологии. Чувства не могут произвести ничего абсолютно нового, они могут только усиливать и подавлять рефлекторные токи, которые уже существуют, и первоначальная организация их физиологическими силами всегда должна быть основой психологической схемы.

Мой вывод заключается в том, что навязывать нам теорию автоматов, как это делается сейчас, на чисто *априорных* и *квазиметафизических* основаниях, - это *неоправданная дерзость при нынешнем состоянии психологии*.

ПРИЧИНЫ ПРОТИВ ТЕОРИИ.

Но есть и гораздо более позитивные причины, чем эта, почему мы должны продолжать говорить в психологии так, как если бы сознание обладало каузальной эффективностью. *Особенности распределения сознания*, насколько мы их знаем, *указывают на его действенность*. Давайте проследим некоторые из них.

Общепризнанно, хотя это и трудно доказать, что сознание становится тем сложнее и интенсивнее, чем выше мы поднимаемся в животном мире. Сознание человека должно превосходить сознание устрицы. С этой точки зрения оно кажется органом, добавленным к другим органам, которые поддерживают животное в борьбе за существование; и, конечно, предполагается, что оно помогает ему в какой-то мере в этой борьбе, так же как и они. Но она не может помогать ему, не будучи в какой-то мере действенной и не влияя на ход его телесной истории. Если бы теперь можно было показать, каким образом сознание *может* помочь ему, и если, кроме того, дефекты других его органов (где сознание наиболее развито) таковы, что они нуждаются именно в такой помощи, которую сознание могло бы принести, если бы оно было эффективным; почему, тогда правдоподобным выводом было бы то, что оно появилось именно благодаря своей эффективности - другими словами, его эффективность была бы индуктивно доказана.

Теперь изучение феноменов сознания, которое мы будем проводить на протяжении всей этой книги, покажет нам, что сознание во все времена является прежде всего *выбирающим*

агентством.[159] Возьмем ли мы его в низшей сфере чувств или в высшей сфере интеллекта, мы обнаружим, что оно всегда делает одно дело, выбирая один из нескольких материалов, представленных его вниманию, подчеркивая и акцентируя его и подавляя, насколько это возможно, все остальное. Подчеркнутый элемент всегда находится в тесной связи с каким-то *интересом*, который сознание считает первостепенным в данный момент.

Но каковы же дефекты нервной системы у тех животных, чье сознание кажется наиболее высокоразвитым? Главным из них должна быть *нестабильность*. Полушария головного мозга являются характерными "высокими" нервными центрами, и мы видели, насколько неопределенными и непредсказуемыми были их действия по сравнению с базальными ганглиями и пуповиной. Но именно эта неопределенность и является их преимуществом. Они позволяют их обладателю приспосабливать свое поведение к мельчайшим изменениям в окружающих обстоятельствах, любое из которых может быть для него знаком, указывающим на далекие мотивы, более сильные, чем любые настоятельные просьбы чувства. Кажется, что из этого положения вещей следует сделать определенные механические выводы. Орган, раскачиваемый легкими впечатлениями, - это орган, естественное состояние которого - неустойчивое равновесие. Мы можем представить себе, что различные линии разряда в головном мозге почти одинаковы по проницаемости - какой разряд произведет данное небольшое впечатление, можно назвать *случайным*, в том смысле, в каком мы говорим, что это дело случая, упадет ли капля дождя на горный хребет по восточному или западному склону. Именно в этом смысле мы можем назвать делом случая, будет ли ребенок мальчиком или девочкой. Яйцеклетка - настолько неустойчивый орган, что некоторые причины, слишком незначительные для нашего понимания, могут в определенный момент склонить ее в ту или иную сторону. Естественный закон органа, сформированного таким образом, не может быть ничем иным, как законом каприза. Я не вижу, как можно разумно ожидать от него какого-либо определенного следования полезным линиям реакции, таким, какими являются немногочисленные и фатально обусловленные выступления низших центров в их узкой сфере. В общем, дилемма в отношении нервной системы выглядит следующим образом. Мы можем построить такую систему, которая будет реагировать безошибочно и безусловно, но тогда она будет способна реагировать на очень немногие изменения в окружающей среде - ко всем остальным она будет не приспособлена. С другой стороны, мы можем сконструировать нервную систему, потенциально приспособленную к реагированию на бесконечное разнообразие мельчайших особенностей ситуации; но тогда ее ошибочность будет столь же велика, как и ее проработанность. Мы никогда не можем быть уверены, что ее равновесие будет нарушено в нужном направлении. Короче говоря, высокий мозг может делать множество вещей, и каждая из них может быть сделана с очень легкой подсказкой. Но его организация, работающая на волоске, превращает его в счастливый случай, который можно пропустить. В любой момент он с одинаковой вероятностью может совершить как безумный, так и разумный поступок. Низкий мозг делает мало вещей и, выполняя их в совершенстве, теряет всякое другое применение. Действия высокого мозга похожи на кости, которые вечно бросают на стол. Если они не заряжены, каков шанс, что наибольшее число выпадет чаще, чем наименьшее?

Все это сказано о мозге как о чистой и простой физической машине. *Может ли сознание повысить свою эффективность, нагрузив кости?* В этом и заключается проблема.

Нагрузить кости - значит оказать более или менее постоянное давление в пользу *тех* своих представлений, которые отвечают наиболее постоянным интересам владельца мозга; это значит постоянно подавлять тенденции к уклонению в сторону.

Что ж, именно такое давление и такое торможение сознание, *похоже*, оказывает постоянно. И интересы, в чью пользу оно, как кажется, их осуществляет, - это *его* интересы и только его, интересы, которые оно *создает* и которые, если бы не оно, не имели бы никакого статуса в сфере бытия. Мы говорим, правда, когда занимаемся дарвинизмом, как будто у простого *тела*, которому принадлежит мозг, есть интересы; мы говорим о полезности его различных органов и о том, как они помогают или мешают выживанию тела; и мы рассматриваем выживание как, если бы оно было абсолютной целью, существующей как таковой в физическом мире, своего рода фактическим *долженствованием*, руководящим животным и оценивающим его реакции, совершенно независимо от присутствия какого-либо комментирующего интеллекта снаружи. Мы забываем, что в отсутствие какого-то дополнительного комментирующего интеллекта (будь то интеллект самого животного, или только наш, или мистера Дарвина), о реакциях вообще нельзя говорить как о "полезных" или "вредных". Если рассматривать их чисто физически, то все, что можно сказать о них, - это то, что *если* они происходят определенным образом, то выживание, по сути, оказывается их случайным следствием. Сами органы и весь остальной физический мир, однако, все время будут совершенно безразличны к этому следствию и с такой же радостью, при изменившихся обстоятельствах, будут способствовать уничтожению животного. Одним словом, выживание может входить в чисто физиологическую дискуссию только как *гипотеза, выдвинутая сторонним наблюдателем*, о будущем. Но как только вы привносите в эту дискуссию сознание, выживание перестает быть просто гипотезой. Больше нет такого: "Чтобы выжить, нужно, чтобы мозг и другие органы работали так-то и так-то". Теперь это стало императивным указом: "Выживание *должно* произойти, и поэтому органы *должны* работать именно так!". Впервые на мировой арене появляются *реальные* цели. Концепция сознания как чисто когнитивной формы бытия, которая является любимым способом его рассмотрения во многих идеалистических школах, как современных, так и древних, является полностью антипсихологической, как будет показано в оставшейся части этой книги. Каждое реально существующее сознание представляется себе, во всяком случае, *борцом за цели*, многие из которых, если бы оно не присутствовало, не были бы целями вообще. Его познавательные способности в основном подчинены этим целям, различая, какие факты им способствуют, а какие нет.

Пусть сознание будет только тем, чем оно само себе кажется, и оно поможет неустойчивому мозгу достичь своих целей. Движения мозга *сами по себе* дают средства для механического достижения этих целей, но только из множества других целей, если их можно так назвать, которые не являются собственными целями животного, а часто совершенно противоположны им. Мозг - это инструмент возможностей, но не определенности. Но сознание, имея перед собой собственные цели и хорошо зная, какие возможности ведут к ним, а какие - в сторону, будет, если оно наделено каузальной эффективностью, усиливать благоприятные возможности и подавлять неблагоприятные или безразличные. Нервные токи, проходящие по клеткам и волокнам, в этом случае должны быть предположительно усилены фактом пробуждения одного сознания и ослаблены фактом пробуждения другого. Как может происходить такая реакция сознания на токи, остается пока неразрешенным: для моей цели достаточно показать, что она не может бесполезно существовать и что дело обстоит не так просто, как считают мозговые автоматизмы.

Все факты естественной истории сознания подкрепляют эту точку зрения. Сознание, например, интенсивно только тогда, когда нервные процессы нерешительны. В быстрых, автоматических, привычных действиях оно опускается до минимума. Ничто не может быть более подходящим, чем это, если сознание имеет телеологическую функцию, которую мы предполагаем; ничто не может быть более бессмысленным, если нет. Привычные действия

определенны и, не подвергаясь опасности сбиться с пути, не нуждаются в посторонней помощи. В нерешительных действиях существует множество альтернативных возможностей окончательной нервной разрядки. Чувство, пробуждаемое зарождающимся возбуждением каждого из альтернативных нервных путей, кажется, по своему привлекательному или отталкивающему качеству определяет, прервется ли возбуждение или станет полным. Там, где нерешительность велика, как перед опасным прыжком, сознание мучительно напряжено. Ощущение, с этой точки зрения, можно уподобить поперечному срезу цепи нервных разрядов, констатирующему уже заложенные звенья и нащупывающему среди представленных ему свежих концов тот, который кажется наиболее подходящим для данного случая.

Феномен "викарной функции", который мы изучали в [главе II](#), кажется, представляет собой еще одно косвенное доказательство. Машина, находящаяся в рабочем состоянии, действует фатально одним способом. Наше сознание называет это правильным путем. Выньте клапан, выведите колесо из зацепления или погните шарнир, и она превратится в другую машину, действующую столь же фатально другим способом, который мы называем неправильным. Но сама машина не знает ни плохого, ни хорошего: у материи нет идеалов, к которым можно стремиться. Локомотив пронесет свой поезд через открытый разводной мост так же бодро, как и в любой другой пункт назначения.

Мозг с вырезанной частью - это практически новая машина, и в первые дни после операции он функционирует совершенно ненормально. Однако с каждым днем его работа становится все более нормальной, пока, наконец, не потребуются опытный глаз, чтобы заподозрить неладное. Некоторое восстановление, несомненно, связано с исчезновением "запретов". Но если сознание, которое сопровождает остальную часть мозга, не только осознает каждую функциональную ошибку, но и оказывает эффективное давление, чтобы сдержать ее, если она совершена, и протянуть руку помощи, если это слабость или грех бездействия, - ничто не кажется более естественным, чем то, что остальные части, получившие такую помощь, должны в силу принципа привычки вернуться к старым телеологическим способам упражнений, к которым они были неспособны вначале. Напротив, ничто не кажется на первый взгляд более неестественным, чем то, что они должны викарно брать на себя обязанности утраченной части без того, чтобы эти *обязанности как таковые* оказывали какую-либо убеждающую или принуждающую силу. В конце главы XXVI я еще вернусь к этому вопросу.

Есть еще один ряд фактов, которые кажутся объяснимыми в предположении, что сознание обладает каузальной эффективностью. *Хорошо известно, что удовольствие обычно ассоциируется с благотворным, а боль - с пагубным опытом.* Все фундаментальные жизненные процессы иллюстрируют этот закон. Голод, удушье, лишение еды, питья и сна, работа в изнеможении, ожоги, раны, воспаления, действие ядов так же неприятны, как приятны наполнение голодного желудка, отдых и сон после усталости, физические упражнения после отдыха, здоровая кожа и не сломанные кости в любое время. Мистер Спенсер и другие исследователи предположили, что эти совпадения объясняются не какой-то заранее установленной гармонией, а простым действием естественного отбора, который в долгосрочной перспективе непременно уничтожит любую породу существ, которым в корне неприятные ощущения кажутся приятными. Животное, которое должно получать удовольствие от ощущения удушья, если бы это удовольствие было достаточно

эффективным, чтобы заставить его погрузить голову в воду, прожило бы четыре или пять минут. Но если удовольствия и боли не имеют эффективности, то непонятно (без какой-либо *априорной* рациональной гармонии, о которой говорят "научные" поборники теории автоматов), почему самые вредные действия, такие как горение, не могут вызывать восторга, а самые необходимые, такие как дыхание, - агонии. Исключения из этого закона, правда, многочисленны, но они относятся к опыту, который либо не является жизненно важным, либо не универсален. Например, пьянство, которое хотя и вредно, но для многих людей восхитительно, - это очень исключительный опыт. Но, как замечает прекрасный физиолог Пик, если бы во всех реках и источниках вместо воды был спирт, то либо все люди сейчас родились бы с ненавистью к нему, либо наши нервы были бы подобраны так, чтобы пить его безнаказанно. Единственная значительная попытка объяснить *распределение* наших чувств была предпринята мистером Грантом Алленом в его небольшой работе "*Физиологическая эстетика*"; и его рассуждения основаны исключительно на той причинной эффективности удовольствий и боли, которую так упорно отрицают сторонники "двойного аспекта".

Таким образом, с любой точки зрения, косвенные доказательства против этой теории сильны. *Априорный* анализ действий мозга и сознания показывает нам, что если бы последнее было эффективным, то оно своим избирательным акцентом компенсировало бы неопределенность первого; в то время как *апостериорное* изучение *распределения* сознания показывает, что оно именно такое, какое мы могли бы ожидать в органе, добавленном ради управления нервной системой, которая стала слишком сложной, чтобы регулировать себя. Вывод о том, что это полезно, после всего этого вполне оправдан. Но, если он полезен, он должен быть таковым благодаря своей каузальной эффективности, и теория автоматов должна уступить теории здравого смысла. Я, во всяком случае (в ожидании метафизических реконструкций, которые еще не были успешно проведены), буду без колебаний использовать язык здравого смысла на протяжении всей этой книги.

[155] Теория практики, т. i, с. 416 и далее.

[156] Настоящий автор вспоминает, как в 1869 году, еще будучи студентом-медиком, он начал писать эссе, в котором показывал, как почти каждый, кто рассуждал о мозговых процессах, незаконно интерполировал в свой рассказ о них звенья, взятые из совершенно разнородной вселенной Чувства. Спенсер, Ходжсон (в его "Времени и пространстве"), Модсли, Локхард Кларк, Бэйн, доктор С. Карпентер и другие авторы были названы виновными в этой путанице. Вскоре он прекратил писать, так как понял, что точка зрения, которую он отстаивал против этих авторов, была чистой концепцией, не имеющей никаких доказательств своей реальности. Позже ему показалось, что все существующие *доказательства* действительно говорят в пользу их взглядов.

[157] Чез. Мерсье: *The Nervous System and the Mind* (1888), p. 9.

[158] *Op. cit.* p. 11.

[159] См., в частности, конец [главы IX](#).

ГЛАВА VI.

ТЕОРИЯ "УМ-ВЕЩЕСТВО".

Читателю, который в предыдущей главе оказался заваленным слишком большим количеством метафизики, в этой, исключительно метафизической, главе придется еще хуже. Метафизика означает не что иное, как необычайно упорное стремление мыслить ясно. Фундаментальные понятия психологии практически очень ясны для нас, но теоретически они очень запутаны, и человек легко делает самые туманные предположения в этой науке, не осознавая, пока ему не бросят вызов, какие внутренние трудности они влекут за собой. Когда эти предположения однажды утвердились (как это происходит в самих наших описаниях феноменальных фактов), почти невозможно избавиться от них впоследствии или заставить кого-либо увидеть, что они не являются существенными чертами предмета. Единственный способ предотвратить эту катастрофу - тщательно исследовать их заранее и заставить их дать внятный отчет о себе, прежде чем пропустить их. Одним из самых неясных предположений, о которых я говорю, является *предположение о том, что наши ментальные состояния являются составными по своей структуре, состоящими из более мелких состояний, соединенных между собой*. Эта гипотеза имеет внешние преимущества, которые делают ее почти неотразимо привлекательной для интеллекта, и все же внутренне она совершенно непонятна. Впрочем, о ее невразумительности, похоже, не знает половина авторов по психологии. Поскольку наша собственная цель - *понять*, если это возможно, я не приношу извинений за то, что выделил это конкретное понятие для очень четкой обработки, прежде чем приступить к описательной части нашей работы. *Теория "разума-пыли" - это теория о том, что наши ментальные состояния являются соединениями*, выраженная в самой радикальной форме.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ ТРЕБУЕТ РАЗУМА-ПЫЛИ.

В общей теории эволюции на первом месте стоит неорганика, затем низшие формы животной и растительной жизни, затем формы жизни, обладающие разумом, и, наконец, такие, как мы, обладающие им в высокой степени. Пока мы придерживаемся рассмотрения чисто внешних фактов, даже самых сложных фактов биологии, наша задача как эволюционистов сравнительно проста. Мы все время имеем дело с материей, ее объединениями и разделениями; и хотя наше рассмотрение должно быть гипотетическим, это не мешает ему быть *непрерывным*. Как эволюционисты, мы обязаны придерживаться той точки зрения, что все новые формы бытия, которые появляются, на самом деле являются не более чем результатами перераспределения первоначальных и неизменных материалов. Те же самые атомы, которые, хаотично разбросанные, создали туманность, теперь, зажатые и временно пойманные в особых положениях, образуют наш мозг; и "эволюция" мозга, если ее понять, была бы просто рассказом о том, как атомы оказались так пойманы и зажаты. В этой истории нет никаких новых *сущностей*, никаких факторов, не присутствовавших в начале, которые были бы введены на более поздней стадии.

Но с рассветом сознания, похоже, появляется совершенно новая природа, нечто такое, чего *не* было в простых внешних атомах первоначального хаоса.

Противники эволюции быстро набросились на этот неоспоримый разрыв в данных о мире, и многие из них, исходя из неудачи эволюционных объяснений в этой точке, сделали вывод об их общей несостоятельности по всей линии. Каждый признает полную несоизмеримость

ощущения как такового с материальным движением как таковым. "Движение стало чувством!" - ни одна фраза, которую могут вымолвить наши уста, не лишена такого понятного смысла. Соответственно, даже самые туманные энтузиасты эволюции, намеренно сопоставляя материальные и психические факты, как никто другой подчеркивали "пропасть" между внутренним и внешним миром.

"Можно ли представить колебания молекулы, - говорит мистер Спенсер, - бок о бок с нервным потрясением [он имеет в виду психическое потрясение], и признать их единым целым? Никакие усилия не позволяют нам ассимилировать их. То, что единица чувства не имеет ничего общего с единицей движения, становится более чем очевидным, когда мы приводим эти две единицы в сопоставление".[160]

И снова:

"Предположим, стало совершенно ясно, что шок в сознании и молекулярное движение - это субъективная и объективная стороны одной и той же вещи; мы по-прежнему совершенно неспособны объединить эти две вещи, чтобы представить себе ту реальность, противоположными сторонами которой они являются".[161]

Другими словами, неспособны воспринять в них какой-либо общий характер. Так и Тиндалл, в том удачном абзаце, который цитировался так часто, что каждый знает его наизусть:

"Переход от физики мозга к соответствующим фактам сознания немыслим. Допустим, что определенная мысль и определенное молекулярное действие в мозге происходят одновременно; мы не обладаем ни интеллектуальным органом, ни, по-видимому, каким-либо его рудиментом, который позволил бы нам путем рассуждений перейти от одного к другому".[162]

Или в другом отрывке:

"Мы можем проследить развитие нервной системы и соотнести с ней параллельные явления ощущений и мышления. Мы с несомненной уверенностью видим, что они идут рука об руку. Но мы пытаемся парить в вакууме в тот момент, когда стремимся постичь связь между ними..... Между этими двумя классами фактов невозможно слияние - в интеллекте человека нет двигательной энергии, которая могла бы перенести его без логического разрыва от одного к другому".[163]

Однако не менее легко, когда эволюционный афлатус на них, те же самые авторы перепрыгивают через брешь, о вопиющем факте которой они первыми заявляют, и говорят, будто разум вырос из тела непрерывным путем. Мистер Спенсер, оглядываясь на свой обзор умственной эволюции, рассказывает, как "прослеживая рост, мы обнаруживали, что переходим без *перерыва* от явлений телесной жизни к явлениям умственной жизни".[164] А мистер Тиндалл в том же Белфастском обращении, из которого мы только что привели цитату, приводит другой свой знаменитый отрывок:

"Отбросив всякую маскировку, я должен признаться вам в том, что я простираю зрение назад, за границу экспериментальных доказательств, и вижу в той материи, которую мы, в нашем невежестве и несмотря на наше исповедуемое благоговение перед ее Создателем, до сих пор покрывали позором, обещание и потенцию каждой формы и качества жизни".[165]

-В том числе и психической жизни, как само собой разумеющееся.

Настолько сильным постулатом является непрерывность! В этой книге мы постараемся показать, что постулаты психики в целом заслуживают уважения. Требование непрерывности на большом пространстве науки доказало, что оно обладает настоящей пророческой силой. Поэтому мы должны искренне попробовать все возможные способы представить себе рассвет сознания, чтобы он *не* оказался равнозначным появлению во вселенной новой, несуществующей до этого момента природы.

Просто назвать сознание "зарождающимся" не получится.^[166] Правда, это слово означает "еще не рожденное" и, таким образом, как бы образует некий мост между бытием и небытием. Но это уже словесные придирки. Дело в том, что прерывистость наступает, если новая природа вообще наступает. *Количество* последней совершенно несущественно. Девушка из "Мичмана Изи" не могла оправдать незаконнорожденность своего ребенка, сказав, что "он был маленький". И сознание, каким бы маленьким оно ни было, является незаконнорожденным в любой философии, которая начинает без него и при этом утверждает, что объясняет все факты путем непрерывной эволюции.

Для того чтобы эволюция шла гладко, сознание в той или иной форме должно было присутствовать у истоков вещей. Соответственно, наиболее дальновидные философы-эволюционисты начинают считать его таковым. Каждый атом туманности, полагают они, должен был иметь первоначальный атом сознания, связанный с ним; и, подобно тому как материальные атомы, объединившись, образовали тела и мозг, так и ментальные атомы, в результате аналогичного процесса объединения, слились в те большие сознания, которые мы знаем в себе и предполагаем, что они существуют в наших собратах-животных. Подобная доктрина *атомистического гилозоизма* является неотъемлемой частью всесторонней философии эволюции. Согласно ей, должно существовать бесконечное число степеней сознания, следующих за степенями усложнения и агрегации первобытного разума-пыли. Доказать отдельное существование этих степеней сознания с помощью косвенных доказательств, поскольку прямой интуиции о них не существует, становится, таким образом, первой обязанностью психологического эволюционизма.

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ РАЗУМА-ПЫЛИ.

Часть этой обязанности уже выполнена рядом философов, которые, хотя и не интересуются эволюцией, тем не менее на независимых основаниях убедили себя в существовании огромного количества подсознательной психической жизни. Критику этого общего мнения и его оснований придется отложить на некоторое время. Сейчас мы ограничимся рассмотрением аргументов, которые предполагаются для доказательства объединения кусочков сознания в отчетливо ощущаемые чувства. Они ясны и требуют однозначного ответа.

Насколько мне известно, первым их использовал немецкий физиолог А. Фик в 1862 году. Он провел эксперименты по различению ощущений тепла и прикосновения, когда через отверстие в карточке возбуждался лишь очень небольшой участок кожи, а окружающие части были защищены карточкой. Он обнаружил, что при таких обстоятельствах пациент часто ошибается,^[167] и пришел к выводу, что это происходит потому, что количество ощущений от элементарных затронутых нервных кончиков было слишком мало, чтобы четко суммироваться в одно из качеств ощущений, о которых идет речь. Он попытался показать, как при различном способе суммирования в одном случае может возникнуть тепло, а в другом - осязание.

"Ощущение температуры, - говорит он, - возникает, когда интенсивность единиц ощущения равномерно градируется, так что между двумя элементами *a* и *b* не

может пространственно вмещаться ни одна другая единица, интенсивность которой не находилась бы также между *a* и *b*. Ощущение прикосновения, возможно, возникает, когда это условие не выполняется. Оба вида ощущений, однако, состоят из одних и тех же единиц".

Но очевидно, что гораздо понятнее интерпретировать такую градацию интенсивности как факт мозга, а не как факт разума. Если в мозгу сначала возбуждается трактат одним из способов, предложенных профессором Фиком, а затем другим, то вполне может случиться, как бы мы ни утверждали обратное, что психическим сопровождением в одном случае будет тепло, а в другом - боль. Боль и тепло, однако, не будут состоять из психических единиц, а будут прямым результатом одного общего мозгового процесса. Пока эта последняя интерпретация остается открытой, нельзя считать, что Фик доказал психическую суммацию.

Позже Спенсер и Тейн, независимо друг от друга, заняли ту же линию мысли. Рассуждения мистера Спенсера стоит процитировать *целиком*. Он пишет

"Хотя отдельные ощущения и эмоции, реальные или идеальные, из которых складывается сознание, кажутся по отдельности простыми, однородными, не поддающимися анализу или имеющими непостижимую природу, они все же не таковы. Есть по крайней мере один вид ощущений, который в обычном опыте кажется элементарным, но явно не является таковым. И после разбора его на ближайшие компоненты мы не можем не подозревать, что другие, казалось бы, элементарные чувства также являются составными и могут иметь ближайшие компоненты, подобные тем, которые мы можем выделить в этом единственном случае.

"Музыкальный звук - вот название, которое мы даем этому, казалось бы, простому чувству, которое, очевидно, может быть разложено на более простые чувства. Известные эксперименты доказывают, что когда одинаковые удары или постукивания производятся один за другим со скоростью, не превышающей шестнадцати ударов в секунду, эффект каждого из них воспринимается как отдельный шум; но когда скорость, с которой удары следуют друг за другом, превышает эту величину, шумы больше не идентифицируются в отдельных состояниях сознания, и вместо них возникает непрерывное состояние сознания, называемое тоном. При дальнейшем увеличении быстроты ударов тон претерпевает изменение качества, называемое повышением высоты тона; и он продолжает повышаться по мере увеличения быстроты ударов, пока не достигнет той остроты, за которой он уже не воспринимается как тон. Таким образом, из единиц ощущения одного и того же вида возникает множество ощущений, отличающихся друг от друга по качеству, в зависимости от того, насколько единицы интегрированы.

"Это еще не все. Исследования профессора Гельмгольца показали, что когда наряду с одной серией этих быстро повторяющихся шумов возникает другая серия, в которой шумы более быстрые, но не такие громкие, то это приводит к изменению качества, называемого *тембром*. Как показывают различные музыкальные инструменты, тона, одинаковые по высоте и силе, различаются по резкости или сладости, звонкости или жидкости; и доказано, что все их специфические особенности возникают в результате сочетания одной, двух, трех или более дополнительных серий повторяющихся шумов с основной серией повторяющихся шумов. Таким образом, если непохожесть ощущений, известная как различие высоты тона, обусловлена различиями в интеграции повторяющихся шумов одной серии, то непохожесть ощущений, известная как различие *тембра*, обусловлена

одновременной интеграцией с этой серией других серий, имеющих другие степени интеграции. И таким образом огромное количество качественно контрастных видов сознания, которые кажутся по отдельности элементарными, оказываются состоящими из одного простого вида сознания, комбинируемого и рекомбинируемого с самим собой множеством способов.

"Можем ли мы остановиться на этом? Если различные ощущения, называемые звуками, построены из общей единицы, то не следует ли из этого рационально заключить, что точно так же и различные ощущения, называемые вкусами, и различные ощущения, называемые запахами, и различные ощущения, называемые цветами? Разве не следует считать вероятным, что существует единица, общая для всех этих сильно контрастирующих классов ощущений? Если несходство между ощущениями каждого класса может быть обусловлено несходством между способами агрегации единицы сознания, общей для них всех, то и гораздо большее несходство между ощущениями каждого класса и ощущениями других классов. Может существовать единый первоэлемент сознания, и бесчисленные виды сознания могут быть произведены соединением этого элемента с самим собой и повторным соединением его соединений друг с другом во все более и более высоких степенях: так возникает все большая множественность, разнообразие и сложность.

"Есть ли у нас хоть какой-то ключ к этому первоначальному элементу? Я думаю, что да. То простое психическое впечатление, которое оказывается единицей состава ощущения музыкального тона, связано с некоторыми другими простыми психическими впечатлениями иного происхождения. Субъективный эффект, производимый треском или шумом, который не имеет заметной продолжительности, есть не что иное, как нервный шок. Хотя мы выделяем такой нервный шок как относящийся к тому, что мы называем звуками, он все же не сильно отличается от нервных шоков других видов. Электрический разряд, посланный по телу, вызывает чувство, сходное с тем, которое вызывает внезапное громкое сообщение. Сильное неожиданное впечатление, произведенное на глаза, как при вспышке молнии, аналогично приводит к началу или шоку; и хотя названное чувство, как и электрический разряд, кажется, имеет своим местом тело в целом, и поэтому может рассматриваться как коррелят скорее эфферентного, чем афферентного нарушения, но, вспоминая психические изменения, происходящие от мгновенного перемещения объекта через поле зрения, я думаю, можно понять, что чувство, сопровождающее эфферентное нарушение, само сводится почти к той же форме. Возникающее при этом состояние сознания, по сути, сравнимо по качеству с начальным состоянием сознания, вызванным ударом (отличая его от боли или других ощущений, возникающих через мгновение после него); это состояние сознания, вызванное ударом, можно принять за примитивную и типичную форму нервного шока. Тот факт, что внезапные кратковременные нарушения, вызванные различными стимулами через различные наборы нервов, вызывают ощущения, едва различимые по качеству, не покажется странным, если вспомнить, что различимость ощущений подразумевает ощутимую продолжительность; и что, когда продолжительность значительно сокращается, ничего больше не известно, кроме того, что какое-то психическое изменение произошло и прекратилось. Ощущение красноты, острый или тяжелый тон, сладкий вкус - в каждом случае подразумевает значительную непрерывность состояния. Если состояние не длится достаточно долго, чтобы его можно было созерцать, оно не может быть отнесено к тому или иному виду; оно становится кратковременной

модификацией, очень похожей на кратковременные модификации, вызванные иным образом.

"Тогда возможно - можно даже сказать, вероятно? - что нечто такого же порядка, как то, что мы называем нервным потрясением, является конечной единицей сознания; и что все несходства между нашими чувствами проистекают из различий в способах интеграции этой конечной единицы. Я говорю "того же порядка", потому что существуют заметные различия между нервными шоками, которые вызываются по-разному; и примитивный нервный шок, вероятно, несколько отличается от каждого из них. Я говорю "того же порядка" еще и потому, что, хотя мы можем приписать им общее сходство в природе, мы должны предположить большую непохожесть в степени. Нервные потрясения, признанные таковыми, являются сильными - они должны быть сильными, прежде чем их можно будет воспринять среди череды множества ярких ощущений, внезапно прерванных ими. Но быстро повторяющиеся нервные потрясения, из которых состоят различные формы ощущений, мы должны считать сравнительно умеренными или даже очень слабыми по интенсивности. Если бы наши различные ощущения и эмоции состояли из быстро повторяющихся толчков, таких же сильных, как те, что обычно называют шоками, они были бы невыносимы; действительно, жизнь сразу же прекратилась бы. Мы должны думать о них скорее как о последовательных слабых импульсах субъективных изменений, каждый из которых имеет то же качество, что и сильный импульс субъективных изменений, называемый нервным шоком".[168]

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЭТИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

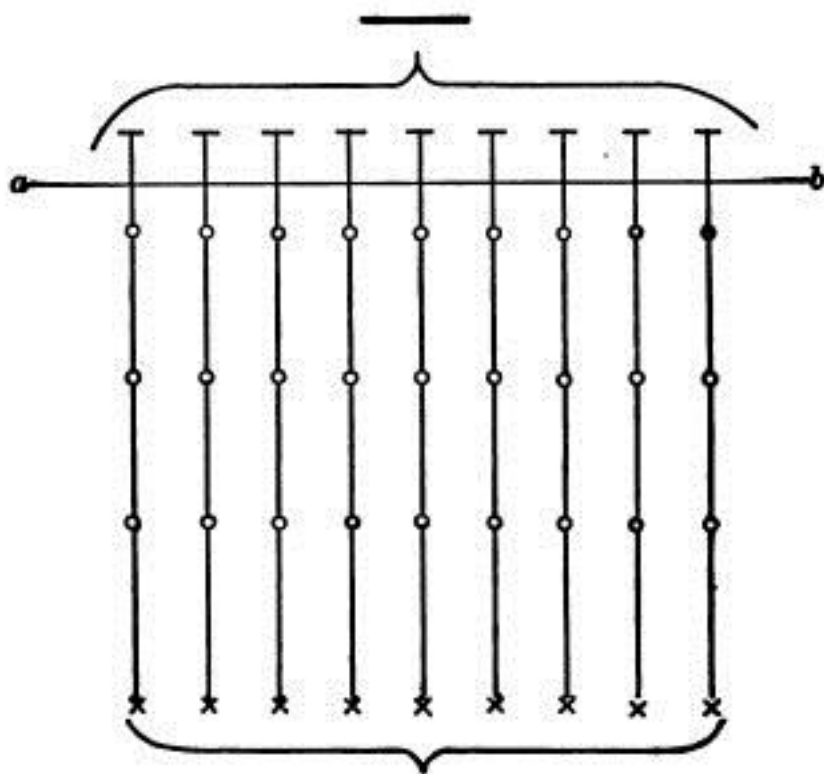


Рис. 25.

Каким бы убедительным ни казался этот аргумент мистера Спенсера при первом прочтении, необычно, насколько слабым он является на самом деле.[169] Правда, когда мы изучаем

связь между музыкальной нотой и ее внешней причиной, мы обнаруживаем, что нота проста и непрерывна, а причина множественна и дискретна. Значит, где-то *происходит* трансформация, редукция или слияние. Вопрос в том, где? В нервном мире или в мире разума? На самом деле у нас нет экспериментальных доказательств, чтобы решить этот вопрос; и если мы должны решить его, то аналогия и *априорная* вероятность могут только направлять нас. Мистер Спенсер предполагает, что слияние должно происходить в психическом мире, а физические процессы проходят через воздух и ухо, слуховой нерв и продолговатый мозг, нижний мозг и полушария, при этом их количество не уменьшается. Рисунок 25 прояснит этот момент.

Пусть линия *a-b* обозначает порог сознания: тогда все, что нарисовано ниже этой линии, будет символизировать физический процесс, а все, что выше, - факт разума. Пусть крестики обозначают физические удары, кружочки - события в последовательно более высоких порядках нервных клеток, а горизонтальные метки - факты ощущения. Аргумент Спенсера подразумевает, что каждый порядок клеток передает столько же импульсов, сколько получает от вышестоящих клеток; таким образом, если удары приходят со скоростью 20 000 в секунду, клетки коры головного мозга разряжаются с той же скоростью, и одна единица ощущения соответствует каждому из 20 000 разрядов. Тогда, и только тогда, происходит "интеграция", когда 20 000 единиц ощущений "соединяются сами с собой" в "непрерывное состояние сознания", представленное короткой линией в верхней части рисунка.

Такая интерпретация противоречит не только логической, но и физической аналогии. Сначала рассмотрим физическую аналогию,

Маятник может быть отклонен одним ударом и отброшен назад. Будет ли он отклоняться тем чаще, чем больше мы умножаем удары? Нет; ведь если они будут сыпаться на маятник слишком быстро, он вообще не будет качаться, а останется отклоненным в разумно неподвижном состоянии. Другими словами, численное увеличение причины не обязательно должно в равной степени приводить к численному увеличению следствия. Подуйте в трубку: вы получите определенную музыкальную ноту; и увеличение силы дуновения на определенное время увеличивает громкость ноты. Будет ли это происходить бесконечно? Нет; ведь когда достигается определенная сила, нота, вместо того чтобы стать громче, внезапно исчезает и заменяется более высокой октавой. Включите газ и зажгите его: вы получите крошечное пламя. Включите больше газа, и ширина пламени увеличится. Будет ли это соотношение увеличиваться бесконечно? Нет, опять же; ведь в определенный момент пламя превращается в рваный серпантин и начинает шипеть. Посылайте медленно по нерву гастрокнемической мышцы лягушки последовательность гальванических разрядов: вы получите последовательность подергиваний. Увеличение числа ударов не усиливает подергивания; напротив, оно прекращает их, и мы имеем мышцу в кажущемся стационарном состоянии сокращения, называемом тетанусом. Этот последний факт является истинным аналогом того, что должно происходить между нервной клеткой и сенсорным волокном. Несомненно, что клетки более инертны, чем волокна, и что быстрые колебания в последних могут вызывать только относительно простые процессы или состояния в первых. Высшие клетки могут иметь даже более медленную скорость взрыва, чем низшие, и поэтому двадцать тысяч предполагаемых ударов внешнего воздуха могут быть "интегрированы" в коре головного мозга в очень небольшое количество клеточных разрядов за секунду. Другая диаграмма послужит контрастом между этим предположением и предположением Спенсера.

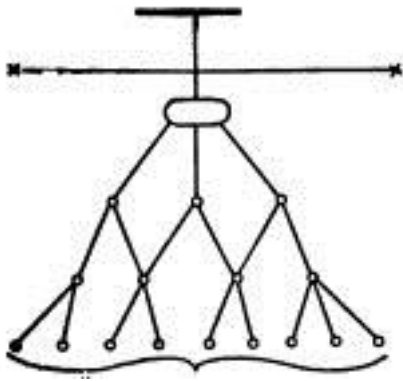


Рис. 26.

На рис. 26 вся "интеграция" происходит ниже порога сознания. Частота клеточных событий все более и более снижается по мере приближения к клеткам, к которым чувства привязаны самым непосредственным образом, пока, наконец, мы не приходим к состоянию вещей, символизируемому большим эллипсом, который можно принять за некий довольно массивный и медленный процесс напряжения и разрядки в корковых центрах, которому *в целом просто и полностью* соответствует ощущение музыкального тона, символизируемое линией в верхней части диаграммы. Это похоже на то, как если бы длинная шеренга людей одна за другой отправилась в путь, чтобы достичь отдаленного пункта. Поначалу дорога была хорошей, и они держались на прежнем расстоянии друг от друга. Вскоре ее пересекают болота, каждое из которых хуже предыдущего, так что идущие впереди отстают настолько, что идущие сзади догоняют их еще до окончания пути, и все вместе прибывают к цели.^[170]

При таком предположении не существует никаких неосознаваемых единиц сознания, предшествующих полному сознанию и составляющих его. Последнее само по себе является непосредственным психическим фактом и имеет непосредственное отношение к нейронному состоянию, которое является его безусловным сопровождением. Если бы каждый нейронный шок порождал свой собственный психический шок, а затем эти психические шоки объединялись, было бы невозможно понять, почему отсечение одной части центральной нервной системы от другой должно нарушить целостность сознания. Разрез не имеет никакого отношения к психическому миру. Атомы сознания должны отлетать от нервной материи по обе стороны от него, сходиться над ним и сливаться, как и в том случае, если бы его не было. Мы знаем, однако, что это не так; что разрыв проводящих путей между левым слуховым или оптическим центром человека и остальной частью его коры приведет к разрыву связи между словами, которые он слышит или видит написанными, и остальными его идеями.

Более того, если чувства могут смешиваться в *tertium quid*, почему бы нам не взять чувство зелени и чувство красноты и не сделать из них чувство желтизны? Почему оптика пренебрегла открытым путем к истине и потратила столетия на споры о теориях цветовой композиции, которые за две минуты интроспекции были бы решены навсегда^[171] Мы не можем смешивать чувства как таковые, хотя мы можем смешивать объекты, которые мы чувствуем, и из их смеси получать новые чувства. Мы даже не можем (как мы увидим позже) иметь в уме два чувства одновременно. Максимум, что мы можем сделать, - это сравнить между собой *объекты, ранее представленные* нам в разных ощущениях; но тогда мы обнаружим, что каждый объект упорно сохраняет свою отдельную идентичность перед сознанием, каким бы ни был вердикт сравнения.^[172]

САМОСОПОСТАВЛЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФАКТОВ НЕДОПУСТИМО.

Но есть еще более фатальное возражение против теории ментальных единиц, "соединяющихся сами с собой" или "интегрирующихся". Она логически невразумительна; она упускает существенную особенность всех "комбинаций", которые мы действительно знаем.

Все "комбинации", которые мы знаем, - это эффекты, производимые единицами, о которых говорят, что они "комбинируются", на какую-то сущность, отличную от них самих. Без этой особенности носителя или средства понятие комбинации не имеет смысла.

"Множество сократительных единиц, действуя совместно и будучи соединенными, например, одним сухожилием, будут тянуть одновременно и вызовут динамический эффект, который, несомненно, является результатом их объединенных индивидуальных энергий..... В целом, сухожилия являются для мышечных волокон, а кости - для сухожилий, объединяющими реципиентами механической энергии. Для суммирования энергий необходима среда композиции. Чтобы осознать полную зависимость механических результирующих от объединяющего субстрата, можно на мгновение представить себе, что все индивидуально сокращающиеся мышечные элементы оторваны от своих креплений. Они могут продолжать сокращаться с той же энергией, что и раньше, но никакого совместного результата не будет. Среда динамической комбинации будет отсутствовать. Множество энергий, направленных по отдельности на общего получателя, потеряли бы себя в совершенно изолированных и разобщенных усилиях".[173]

Другими словами, никакое возможное количество сущностей (называйте их как хотите, будь то силы, материальные частицы или психические элементы) не может собрать себя воедино. Каждая из них остается в сумме тем, чем она всегда была; а сама сумма существует только для стороннего наблюдателя, который случайно не замечает единиц и воспринимает сумму как таковую; или же она существует в форме какого-то другого *воздействия* на сущность, внешнюю по отношению к самой сумме. Пусть не возражают, что H_2 и O сами по себе объединяются в "воду" и затем проявляют новые свойства. Это не так. Вода - это просто старые атомы в новом положении, $H-O-H$; "новые свойства" - это просто их совместное *воздействие*, когда они находятся в этом положении, на внешние среды, такие как наши органы чувств и различные реагенты, на которых вода может проявлять свои свойства и быть известной.

"Агрегации являются организованными целыми только тогда, когда они ведут себя как таковые в присутствии других вещей. Статуя - это совокупность частиц мрамора, но как таковая она не имеет единства. Для зрителя она едина, сама по себе она - агрегат, так же как для сознания муравья, ползающего по ней, она снова может показаться простым агрегатом. Никакое суммирование частей не может составить единство из массы дискретных составляющих, если только это единство существует для какого-то другого субъекта, а не для самой массы".[174]

Точно так же в параллелограмме сил сами "силы" не объединяются в диагональный результирующий эффект. Необходимо *тело*, на которое они могут воздействовать, чтобы проявить свой результирующий эффект. Так и музыкальные звуки *сами по себе* не объединяются в аккорды или дискорды. Конкорд и диссонанс - это названия их совместного воздействия на внешнюю среду, ухо.

Там, где элементарными единицами должны быть чувства, дело ничуть не меняется. Возьмите сотню таких чувств, перетасуйте их и упакуйте как можно ближе друг к другу (что бы это ни значило); каждое из них останется тем же чувством, каким было всегда, замкнутым в своей собственной шкуре, без окон, не знающим, что представляют собой и означают другие чувства. Там было бы сто первое чувство, если бы при создании группы или серии таких чувств возникло сознание, *принадлежащее к группе как таковой*. И это 101-е чувство было бы совершенно новым фактом; 100 первоначальных чувств могли бы, по любопытному физическому закону, быть сигналом для его *создания*, когда они собрались вместе; но они не имели бы никакой существенной идентичности с ним, ни он с ними, и никогда нельзя было бы вывести одно из других или (в любом вразумительном смысле) сказать, что они *развили* его.

Возьмите предложение из дюжины слов, возьмите двенадцать человек и скажите каждому по одному слову. Затем поставьте людей в ряд или сбейте их в кучу, и пусть каждый думает о своем слове столько, сколько захочет; нигде не возникнет осознания всего предложения.^[175] Мы говорим о "духе времени", о "настроениях народа" и разными способами гипостазируем "общественное мнение". Но мы знаем, что это символическая речь, и нам и в голову не приходит, что дух, мнение, настроение и т. д. представляют собой сознание, отличное от сознания нескольких индивидов, которых обозначают слова "век", "народ" или "общественность". Частные умы не агломерируются в высший составной разум. Это всегда было непобедимым аргументом спиритуалистов против ассоцианистов в психологии, - аргументом, который мы рассмотрим подробнее в [главе X](#). Ассоцианисты говорят, что разум состоит множества отдельных "идей", *связанных* в единство. Есть, говорят они, идея *a*, а также идея *b*. Поэтому, говорят они, есть идея $a + b$, или *a* и *b* вместе. Это все равно, что сказать, что математический квадрат *a* плюс квадрат *b* равен квадрату $a + b$, - явная неправда. Идея $a + b$ не тождественна идее $(a + b)$. Она - одна, они - две; в ней то, что знает *a*, знает и *b*; в них то, что знает *a*, прямо позиционируется как не знающее *b*, и т. д. Короче говоря, две отдельные идеи ни по какой логике не могут быть представлены как одно и то же, как "связанная" идея.

Так утверждают спиритуалисты; и поскольку на самом деле у нас есть "составная" идея, и мы знаем *a* и *b* вместе, они принимают другую гипотезу, чтобы объяснить этот факт. Отдельные идеи существуют, говорят они, но *вливают* на третью сущность, душу. Это и есть "объединенная" идея, если можно так выразиться; а объединенная идея - это совершенно новый психический факт, по отношению к которому отдельные идеи стоят не в качестве составляющих, а в качестве поводов для производства.

На этот аргумент спиритуалистов против ассоцианистов последние никогда не отвечали. Он хорошо противостоит любому разговору о самосложении чувств, любому "смешению", или "усложнению", или "ментальной химии", или "психическому синтезу", которые предполагают, что результирующее сознание вытекает из составляющих *как таковых*, в отсутствие дополнительного принципа сознания, на который они могут влиять. Теория "ум-вещь", короче говоря, не поддается объяснению. Атомы чувств не могут составлять высшие чувства, так же как атомы материи не могут составлять физические вещи! Для здравомыслящего атомистического эволюциониста "вещей" нет. Нет ничего, кроме вечных атомов. Когда они сгруппированы определенным образом, мы называем их так или иначе; но то, что мы называем, не имеет существования вне нашего разума. Так и с состояниями ума, которые считаются составными, потому что они знают много разных вещей вместе. Поскольку, несомненно, такие состояния существуют, они должны существовать как отдельные новые факты, эффекты, возможно, как говорят спиритуалисты, на Душе (мы не

будем здесь решать этот вопрос), но, во всяком случае, независимые и целостные, а не состоящие из психических атомов.[176]

МОГУТ ЛИ СОСТОЯНИЯ УМА БЫТЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМИ?

Страсть к единству и гладкости в некоторых умах настолько ненасытна, что, несмотря на логическую ясность этих рассуждений и выводов, многие не поддаются их влиянию. Они устанавливают некую разобщенность в вещах, которая в определенных кругах будет казаться непереносимой. Они сметаю все шансы "перейти без перерыва" либо от материального к ментальному, либо от низшего к высшему ментальному; и они возвращаю нас к плюрализму сознаний - каждое возникает прерывисто посреди двух несоединимых миров, материального и ментального, - что еще хуже, чем старое представление об отдельном создании каждой конкретной души. Но вряд ли злопыхатели попытаются опровергнуть наши рассуждения прямым нападением. Более вероятно, что, отвернувшись от них, они посвятят себя просачиванию и добыванию информации по кругу, пока она не превратится в болото логического разжижения, в котором, как можно полагать, вскоре утонут и исчезнут все определенные выводы любого рода.

Наши рассуждения предполагали, что "интеграция" тысячи психических единиц должна быть либо просто единицами заново, просто переkreщенными, либо чем-то реальным, но отличным от этих единиц и дополнительным к ним; что если некий существующий факт является фактом тысячи чувств, он не может в то же время быть фактом одного чувства; ибо суть чувства - быть ощущаемым, и как психическое существо *ощущает*, так оно и должно *быть*. Если одно чувство не похоже ни на одно из тысячи, то в каком смысле можно говорить, что оно является тысячей? Эти предположения и будут стремиться разрушить монисты. Гегельянцы среди них сразу же займут высокую позицию и скажут, что слава и красота психической жизни в том, что в ней все противоречия находят свое примирение; и что именно потому, что факты, которые мы рассматриваем, *являются* фактами самости, они одновременно и едины, и многочисленны. С таким интеллектуальным темпераментом, признаюсь, я не могу спорить. Как и при ударе дубинкой по неподатливой нити, человек лишь перегибает палку, а то, на что он нацелился, не получает никакого вреда. Поэтому я оставляю эту школу на произвол судьбы.

Другие монисты придерживаются менее деликатных взглядов и пытаются разрушить различие между ментальными состояниями путем *проведения различия*. Это звучит парадоксально, но это всего лишь гениально. Различие заключается в различии между *бессознательным и сознательным бытием психического состояния*. Это суверенное средство для того, чтобы верить в психологию как угодно, и превратить то, что могло бы стать наукой, в площадку для причуд. У нее есть многочисленные поборники, и тщательно продуманные доводы в свою пользу. Поэтому мы должны уделить ей должное внимание. При обсуждении вопроса:

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ?

будет лучше всего привести список так называемых доказательств как можно короче, и после каждого привести возражение, как это делается в схоластических книгах.[177]

Первое доказательство. Минимальное видимое и минимальное слышимое - это объекты, состоящие из частей. Как может целое воздействовать на чувство, если не воздействует каждая часть? И все же каждая часть воздействует, не будучи отдельно ощущаемой. Общее сознание Лейбница называет "*aperception*", а предполагаемое неосязаемое сознание - "*petites perceptions*".

"Чтобы судить о последних, - говорит он, - я привык пользоваться примером рева моря, который доносится до человека, когда он находится вблизи берега. Чтобы слышать этот шум так, как он слышен, нужно слышать части, составляющие его совокупность, то есть шум каждой волны, ... хотя этот шум не был бы замечен, если бы волна была одна. На человека должно немного влиять движение одной волны, он должен в какой-то мере воспринимать каждый шум, каким бы маленьким он ни был. Иначе нельзя было бы услышать шум 100 000 волн, ибо из 100 000 нулей никогда нельзя составить количество".[178]

Ответ. Это прекрасный пример так называемого "заблуждения разделения", или предсказания того, что верно только для коллекции, для каждого ее члена в отдельности. Из этого не больше следует, что если тысяча вещей вместе вызывают ощущения, то одна вещь должна вызывать их, чем из того, что если гиря в один фунт движет весы, то гиря в одну унцию тоже должна их двигать, но в меньшей степени. Гиря в одну унцию вообще не двигает весы; ее движение *начинается* с фунта. В крайнем случае можно сказать, что каждая унция влияет на него *каким-то* образом, что способствует появлению этого движения. Так и каждый инфрасенситивный стимул, воздействующий на нерв, несомненно, влияет на него и способствует рождению ощущений, когда приходят другие стимулы. Но это воздействие является воздействием на нерв, и нет ни малейших оснований считать его "восприятием", не осознающим себя. "Определенное количество причины может быть необходимым условием для производства *любого* из следствий",[179], когда последнее является психическим состоянием.

Второе доказательство. Во всех приобретенных ловкостях и привычках, вторично автоматических действиях, как их называют, мы делаем то, что *первоначально* требовало цепи сознательных восприятий и воли. Поскольку эти действия сохраняют свой разумный характер, интеллект должен по-прежнему руководить их выполнением. Но поскольку наше сознание все время занято чем-то другим, такой интеллект должен состоять из бессознательных восприятий, умозаключений и волевых усилий.

Ответ. Существует более чем одно альтернативное объяснение в соответствии с большим количеством фактов. Одно из них состоит в том, что восприятия и воления в привычных действиях могут совершаться сознательно, только так быстро и невнимательно, что о них не остается *воспоминаний*. Другой - что сознание этих действий существует, но *отделено* от остального сознания полушарий. В главе X мы найдем множество доказательств реальности этого отделенного состояния частей сознания. Поскольку у человека полушария, несомненно, сотрудничают в этих вторичных автоматических действиях, нельзя сказать, что они происходят без сознания или что их сознание - это сознание низших центров, о которых мы ничего не знаем. Но либо отсутствие памяти, либо раздвоение сознания коры головного мозга, безусловно, объясняют все факты.[180]

Третье доказательство. Размышляя об А, мы в тот же момент думаем о С. Теперь В - естественная логическая связь между А и С, но у нас нет сознания, что мы думали о В. Должно быть, он был в нашем сознании 'бессознательно' и в таком состоянии повлиял на последовательность наших идей.

Ответ. Здесь у нас снова есть выбор между более правдоподобными объяснениями. Либо В был там сознательно, но в следующее мгновение забыт, либо один только его *мозговой тракт* был достаточен для выполнения всей работы по соединению А с С, без того, чтобы идея В была вызвана вообще, сознательно или "бессознательно".

Четвертое доказательство. Проблемы, не решенные, когда мы ложимся спать, оказываются решенными утром, когда мы просыпаемся. Сомнамбулы совершают рациональные поступки. Мы просыпаемся точно в час, заранее определенный на ночь, и т. д. Этими действиями должно руководить бессознательное мышление, воля, регистрация времени и т. д.

Ответ. Сознание забыто, как в гипнотическом трансе.

Пятое доказательство. Некоторые пациенты во время приступа эпилептиформной бессознательности часто совершают сложные процессы, например, едят обед в ресторане и платят за него, или совершают жестокое убийство. В трансе, искусственном или патологическом, выполняются длинные и сложные представления, включающие использование рассудочных способностей, о которых пациент совершенно не подозревает, приходя в себя.

Ответ. Быстрое и полное беспамятство, безусловно, является здесь объяснением. Аналогом сна является гипноз. Скажите субъекту гипнотического транса, во время его транса, что он *будет* помнить, и он может прекрасно помнить все, когда проснется, хотя без ваших слов никаких воспоминаний не осталось бы. Чрезвычайно быстрое забвение обычных снов - хорошо известный факт.

Шестое доказательство. В музыкальном аккорде колебания нескольких нот находятся в относительно простых соотношениях. Разум должен бессознательно подсчитывать колебания и радоваться простоте, которую он находит.

Ответ. Мозговой процесс, производимый простыми соотношениями, может быть столь же непосредственно приятным, как и сознательный процесс их сравнения. Никакого подсчета, ни сознательного, ни "бессознательного", не требуется.

Седьмое доказательство. Каждый час мы высказываем теоретические суждения и эмоциональные реакции, а также проявляем практические тенденции, для которых мы не можем дать четкого логического обоснования, но которые являются хорошими выводами из определенных предпосылок. Мы знаем больше, чем можем сказать. Наши выводы опережают нашу способность анализировать их основания. Ребенок, не зная аксиомы о том, что две вещи, равные одному и тому же, равны друг другу, тем не менее безошибочно применяет ее в своих конкретных суждениях. Хам будет использовать *сентенцию de omni et nullo*, неспособный понять ее в абстрактных терминах.

"Мы редко задумываемся о том, как покрашен наш дом, какого он оттенка, каков узор нашей мебели, открывается ли дверь направо или налево, наружу или внутрь. Но как быстро мы замечаем изменения в любой из этих вещей! Вспомните, какую дверь вы чаще всего открывали, и скажите, если сможете, открывается ли она направо или налево, наружу или внутрь. И все же, открывая дверь, вы никогда не кладете руку не с той стороны, чтобы найти защелку, и не пытаетесь толкнуть ее, когда она открывается с натяжкой..... Что именно в шаге вашего друга позволяет вам распознать, когда он идет? Приходила ли вам когда-нибудь в голову мысль: "Если я наткнулся на твердый кусок материи, то получу травму или мне помешают продвигаться вперед?" И избегаете ли вы столкновений с препятствиями потому, что вы когда-либо отчетливо представляли себе или сознательно обретали и обдумывали эту мысль?"[181]

Большая часть наших знаний всегда потенциальна. Мы действуем в соответствии со всей совокупностью полученных знаний, но лишь немногие из них всплывают в сознании в тот момент. Однако многие из них мы можем вспомнить по своему желанию. Все это сотрудничество нереализованных принципов и фактов, потенциального знания, с нашим актуальным мышлением совершенно необъяснимо, если не предположить вечного существования огромной массы *идей в бессознательном состоянии*, все они оказывают постоянное давление и влияние на наше сознательное мышление, а многие из них находятся в такой преемственности с ним, что время от времени сами становятся сознательными.

Ответ. Невозможно предположить наличие такой массы идей. Но в мозгу есть всевозможные короткие пути; и процессы, не возбужденные достаточно сильно, чтобы дать какую-либо "идею", достаточно отчетливую, чтобы быть предпосылкой, могут, тем не менее, помочь определить именно тот результирующий процесс, психическим сопровождением которого эта идея была бы предпосылкой, если бы эта идея вообще существовала. Определенный обертон может быть особенностью голоса моего друга, и может сговориться с другими его тонами, чтобы пробудить в моем мозгу процесс, который подскажет моему сознанию его имя. И все же я могу не знать об этом обертоне *как таковом* и не иметь возможности, даже когда он говорит, сказать, есть он или нет. Он приводит меня к мысли об имени; но он не производит во мне такого мозгового процесса, которому соответствовала бы *мысль об обертоне*. Аналогично и с нашим обучением. Каждый предмет, который мы изучаем, оставляет после себя модификацию мозга, которая делает невозможным для него реагировать на вещи так же, как раньше; и результатом этого различия может быть тенденция действовать, хотя и без идеи, так же, как *если бы* мы сознательно думали об этом предмете. Осознание последнего по желанию столь же легко объясняется как результат модификации мозга. Это, по выражению Вундта, "предрасположенность" к возникновению сознательной идеи исходного предмета, предрасположенность, которую другие стимулы и мозговые процессы могут превратить в реальный результат. Но такая предрасположенность не является "бессознательной идеей"; это лишь особое расположение молекул в определенных участках мозга.

Восьмое доказательство. Инстинкты, как стремление к достижению целей с помощью соответствующих средств, являются проявлениями интеллекта; но поскольку цели не предвидятся, интеллект должен быть бессознательным.

Ответ. В главе XXIV будет показано, что все явления инстинкта объяснимы как действия нервной системы, механически разряжающиеся под воздействием раздражителей органов чувств.

Девятое доказательство. В чувственном восприятии мы имеем в изобилии результаты, которые можно объяснить только как выводы, сделанные в процессе бессознательного умозаключения из данных, данных чувству. Маленькое изображение человека на сетчатке глаза относится не к пигмею, а к далекому человеку нормального роста. Определенное серое пятно выдается за белый объект, увиденный в тусклом свете. Часто умозаключение сбивает нас с пути: например, бледно-серый на фоне бледно-зеленого выглядит красным, потому что мы принимаем неверную посылку для аргументации. Мы думаем, что на все наложена зеленая пленка; и, зная, что под такой пленкой красный предмет будет выглядеть серым, мы ошибочно делаем вывод из серого вида, что красный предмет должен быть там. Наше исследование восприятия пространства в главе XVIII даст множество дополнительных примеров как правдивых, так и иллюзорных восприятий, которые, как было объяснено, являются результатом бессознательных логических операций.

Ответ. Эта глава также во многих случаях опровергнет это объяснение. Цвет и светоконтраст - это, безусловно, чисто сенсационные вещи, в которых умозаключение не играет никакой роли. Это было удовлетворительно доказано Герингом,^[182] и будет рассмотрено в главе XVII. Наши быстрые суждения о размере, форме, расстоянии и т. п. лучше всего объясняются как процессы простой мозговой ассоциации. Определенные чувственные впечатления непосредственно стимулируют мозговые тракты, чья деятельность, готовые сознательные восприятия являются непосредственными психическими аналогами. Они делают это с помощью механизма, либо врожденного, либо приобретенного по привычке. Следует отметить, что Вундт и Гельмгольц, которые в своих ранних работах больше, чем кто-либо другой, способствовали распространению идеи о том, что бессознательное умозаключение является жизненно важным фактором в восприятии ощущений, впоследствии изменили свои взгляды и признали, что результаты, *подобные* результатам рассуждения, могут быть получены без какого-либо фактического процесса рассуждения, происходящего бессознательно.^[183] Возможно, чрезмерное и буйное применение Гартманом их принципа привело их к такому изменению. Естественно было бы отнести к нему так же, как моряк в рассказе относился к лошади, которая вставила ногу в стремя: "Если вы собираетесь сесть, я должен слезть".

Гартманн справедливо ограничивает компас вселенной принципом бессознательного мышления. Для него нет ни одной вещи, которая бы не служила примером. Но его логика настолько слаба, а неспособность рассмотреть самые очевидные альтернативы настолько полна, что в целом было бы пустой тратой времени рассматривать его аргументы в деталях. То же самое можно сказать и о Шопенгауэре, у которого мифология достигает своего апогея. Зрительное восприятие, например, объекта в пространстве происходит, по его мнению, в результате выполнения интеллектом следующих операций, причем все они бессознательны. Во-первых, он воспринимает перевернутое изображение на сетчатке и переворачивает его правой стороной вверх, строя *плоское пространство* как предварительную операцию; затем он вычисляет из угла схождения глазных яблок, что два изображения на сетчатке должны быть проекцией одного *объекта*; В-третьих, он создает третье измерение и видит этот объект *твердым*; в-четвертых, он назначает его *расстояние*; и, в-пятых, в каждой из этих операций он получает объективный характер того, что он "конструирует", бессознательно выводя его как единственно возможную *причину* некоторых ощущений, которые он бессознательно чувствует.^[184] Комментарии по этому поводу, кажется, вряд ли нужны. Это, как я уже сказал, чистая мифология.

Итак, ни один из этих фактов, к которым так уверенно апеллируют в доказательство существования идей в бессознательном состоянии, не доказывает ничего подобного. Они доказывают либо наличие осознанных идей, которые в следующее мгновение были забыты, либо то, что определенные результаты, *похожие на* результаты рассуждений, могут быть получены в результате быстрых мозговых процессов, к которым, казалось бы, не приложимы никакие идеи. Но есть еще один аргумент, менее очевидно недостаточный, чем те, которые мы рассмотрели, и требующий ответа нового рода.

Десятое доказательство. В нашей психической жизни есть целый класс переживаний, которые можно описать как открытие того, что субъективное состояние, в котором мы находились, на самом деле отличается от того, что мы предполагали. Мы вдруг обнаруживаем, что нам наскучило занятие, которое, как нам казалось, доставляло нам удовольствие; или мы влюблены в человека, который, как нам казалось, нам только нравился. Или же мы сознательно анализируем свои мотивы и обнаруживаем, что в их

основе лежат ревность и коварство, о которых мы даже не подозревали. Наши чувства к людям - это идеальные колодцы побуждений, неосознаваемых самими собой, которые интроспекция выводит на чистую воду. Точно так же и наши ощущения: мы постоянно обнаруживаем новые элементы в ощущениях, которые мы привыкли получать все наши дни, причем элементы, которые были там с самого начала, поскольку в противном случае мы не смогли бы отличить содержащие их ощущения от других, почти аналогичных. Элементы должны существовать, поскольку мы используем их для различения; но они должны существовать в бессознательном состоянии, поскольку мы так совершенно не умеем их выделять. [185] Книги аналитической школы психологии изобилуют примерами такого рода. Кто знает, какие бесчисленные ассоциации возникают в каждой его мысли? Кто может отделить все безымянные чувства, которые в каждый момент поступают от различных внутренних органов, мышц, сердца, желез, легких и т. д., и составить в их совокупности его ощущение телесной жизни? Кто знает, какую роль играют ощущения иннервации и предположения о возможном мускульном напряжении во всех его суждениях о расстоянии, форме и размере? Подумайте также о разнице между ощущениями, которые мы просто *имеем*, и теми, на которые мы *обращаем внимание*. Внимание дает результаты, которые кажутся свежими творениями; и все же чувства и элементы чувств, которые оно выявляет, должно быть, уже были там - в бессознательном состоянии. Все мы *практически* знаем разницу между так называемыми сонантными и так называемыми сурдовыми согласными, между D, B, Z, G, V и T, P, S, K, F, соответственно. Но сравнительно немногие знают эту разницу *теоретически*, пока их внимание не будет обращено на то, что она собой представляет, и тогда они ее легко заметят. Сонанты - это не что иное, как сурды плюс некий элемент, одинаковый для всех, добавочный. Этот элемент - гортанный звук, с которым они произносятся, сурды же не имеют такого сопровождения. Когда мы слышим сонантную букву, в нашем сознании должны присутствовать оба ее элемента; но мы не осознаем, что это такое, и принимаем букву за простое качество звука, пока усилие внимания не научит нас этим двум компонентам. Существует множество ощущений, которые большинство людей проходят через всю жизнь, никогда не обращая на них внимания, и, следовательно, испытывают их только в бессознательном состоянии. Ощущения открытия и закрытия гортани, напряжения барабанной перепонки, приспособления к ближнему зрению, перехватывания прохода из ноздрей в горло - вот примеры того, что я имею в виду. Каждый человек испытывает эти ощущения много раз в час; но мало кто из читателей, вероятно, осознает, какие именно ощущения подразумеваются под названиями, которые я только что использовал. Все эти факты и еще огромное количество других, как кажется, убедительно доказывают, что, помимо полностью сознательного способа существования идеи в уме, существует также бессознательный способ; что это, несомненно, одна и та же идентичная идея, которая существует двумя этими способами; и что поэтому любые аргументы против теории "ум-вещь", основанные на представлении, что *esse* в нашей умственной жизни - это *sentiri*, и что идея должна сознательно ощущаться как то, чем она является, падают на землю.

Возражение. Эти рассуждения представляют собой одну ткань путаницы. Два состояния ума, относящиеся к одной и той же внешней реальности, или два состояния ума, более позднее из которых относится к более раннему, описываются как одно и то же состояние ума, или "идея", опубликованная как бы в двух изданиях; и затем все качества второго издания, которые, как выясняется, откровенно отсутствуют в первом, объясняются как действительно имевшие место, только в "бессознательном" виде. Трудно было бы поверить, что разумные люди могут быть виновны в столь явном заблуждении, если бы история психологии не давала тому доказательств. Психологический запас некоторых авторов заключается в убеждении, что две мысли об одной вещи - это фактически одна и та же мысль, и что эта мысль может в

последующих размышлениях все больше и больше *осознавать*, чем она *была* на самом деле с самого начала. Но стоит только провести различие между простым *наличием мысли* в момент ее появления и последующим знанием *о ней* всевозможных вещей; провести различие между самим состоянием ума, взятым как субъективный факт, с одной стороны, и объективной вещью, которую он знает, с другой, и вырваться из лабиринта не составит труда.

Возьмем сначала последнее различие: сразу же все аргументы, основанные на ощущениях и новых чертах в них, которые выявляет внимание, падают на землю. Ощущения В и V, когда мы обращаем внимание на эти звуки и анализируем гортанный вклад, который отличает их от Р и F соответственно, *отличаются от ощущений* В и V, взятых простым способом. Правда, они обозначают *одни и те же буквы*, а значит, и *одни и те же внешние реалии*; но это разные психические аффекты, и, конечно, они зависят от совершенно разных процессов мозговой деятельности. Невероятно, чтобы два столь разных психических состояния, как пассивное восприятие звука как целого и анализ этого целого на отдельные составляющие с помощью волевого внимания, были обусловлены совершенно одинаковыми процессами. И субъективное различие не состоит в том, что первое названное состояние *является* вторым в "бессознательной" форме. Это абсолютное психическое различие, даже большее, чем различие между состояниями, к которым приведут два разных сурда. То же самое можно сказать и о других ощущениях, выбранных в качестве примера. Человек, впервые узнавший, как ощущается закрытие гортани, переживает в этом открытии совершенно новую психическую модификацию, подобной которой у него никогда раньше не было. До этого у него было другое чувство, постоянно возобновляемое, органической отправной точкой которого был тот же проглоттис; но это не было более поздним чувством в "бессознательном" состоянии; это было чувство *sui generis*, хотя оно познавалось той же телесной частью, проглоттисом. Далее мы увидим, что одна и та же реальность может быть познана бесконечным числом психических состояний, которые могут различаться между собой *toto caelo*, не переставая от этого относиться к данной реальности. Каждое из них является осознанным фактом: ни одно из них не имеет никакого способа существования, кроме определенного способа быть ощущаемым в момент присутствия. Непонятно и фантастично утверждать, что, поскольку они указывают на одну и ту же внешнюю реальность, они должны быть многими вариантами одной и той же "идеи", то в сознательной, то в "бессознательной" фазе. Есть только одна "фаза", в которой может находиться идея, и это полностью сознательное состояние. Если она не находится в этом состоянии, значит, ее вообще нет. Вместо нее есть что-то другое. Это что-то другое может быть просто физическим мозговым процессом, а может быть другой сознательной идеей. Любая из этих вещей может выполнять ту же *функцию*, что и первая идея, ссылаться на тот же объект и находиться примерно в тех же отношениях с итогом нашей мысли. Но это не причина, чтобы отбросить логический принцип тождества в психологии и сказать, что, как бы ни обстояли дела во внешнем мире, разум в любом случае является местом, в котором вещь может быть всевозможными другими вещами, не переставая при этом быть самой собой.

Теперь возьмем другие предполагаемые случаи и другое различие, а именно между *наличием* психического состояния и знанием о нем. Истину здесь разгадать еще проще. Когда я решаю, что, сам того не зная, в течение нескольких недель был влюблен, я просто даю имя состоянию, которое раньше *не называл*, но которое было полностью осознанным; которое не имело никакого остаточного способа существования, кроме способа, которым оно было осознано; и которое, хотя и было чувством к тому же человеку, к которому я теперь испытываю гораздо более сильное чувство, и хотя оно постоянно вело к последнему, и достаточно похоже, чтобы называться тем же именем, все же ни в коем случае не идентично

последнему, и меньше всего "бессознательным" образом. Опять же, ощущения от наших внутренностей и других смутно ощущаемых органов, ощущения иннервации (если таковая существует) и мышечного напряжения, которые, как предполагается, бессознательно определяют то, что мы воспринимаем, в наших пространственных суждениях, являются именно тем, что мы чувствуем, совершенно определенными сознательными состояниями, а не смутными редакциями других сознательных состояний. Они могут быть слабыми и немощными; они могут быть очень смутными познавателями тех же реальностей, которые другие сознательные состояния познают и точно называют; они могут быть бессознательными в отношении многого в реальности, которую сознают другие состояния. Но это не делает их *самих по себе* ни на йоту тусклыми, расплывчатыми или бессознательными. Они вечно такие, какими себя ощущают, когда существуют, и ни фактически, ни потенциально не могут быть отождествлены ни с чем иным, кроме как со своими слабыми сущностями. Слабое ощущение может быть оглянуто назад, классифицировано и понято в его отношении к тому, что было до или после него в потоке мысли. Но оно, с одной стороны, и последующее состояние сознания, которое знает о нем все эти вещи, с другой, - это, конечно, не два состояния, одно сознательное, а другое "бессознательное", одного и того же идентичного психического факта. Такова судьба мысли, что в целом наши ранние идеи вытесняются более поздними, дающими более полное представление о тех же реалиях. Но тем не менее и ранние, и поздние идеи сохраняют свою собственную сущностную идентичность как несколько последовательных состояний сознания. Убеждение в обратном сделало бы невозможной любую определенную науку о психологии. Единственное тождество, которое можно обнаружить среди наших последовательных идей, - это сходство их когнитивной или репрезентативной функции, поскольку они имеют дело с одними и теми же объектами. Идентичности *бытия* нет; и я полагаю, что на протяжении всего остального тома читатель будет пользоваться преимуществами более простого способа формулирования фактов, который мы здесь начали.[\[186\]](#)

Итак, мы, похоже, не только убедились в невразумительности представления о том, что психический факт может быть двумя вещами одновременно и что то, что кажется одним чувством, например, синева или ненависти, на самом деле и "бессознательно" может быть десятью тысячами элементарных чувств, которые совсем не похожи на синеву или ненависть, но и обнаружили, что все наблюдаемые факты можно выразить другими способами. Теория "ум-вещь", однако, хотя и зарубцевалась, но, можно быть уверенным, не погибла. Если мы приписываем сознание одноклеточным животным, то и отдельные клетки могут им обладать, и аналогия должна заставить нас приписать его нескольким клеткам мозга, каждая из которых взята в отдельности. И каким же удобством для психолога было бы сложение различных доз этого отдельного клеточного сознания, если бы он мог рассматривать мысль как некий материал, который можно отмерять в больших или малых количествах, увеличивать и вычитать из него, прессовать по своему усмотрению! Он испытывает настоятельную потребность в том, чтобы ему позволили синтетически конструировать последовательные ментальные состояния, которые он описывает. Теория "ум-вещи" настолько легко допускает такое построение, что кажется несомненным, что "непобедимый ум человека" в будущем посвятит много упорства и изобретательности, чтобы снова поставить ее на ноги и привести в какой-то правдоподобный рабочий порядок. Поэтому в завершение главы я рассмотрю оставшиеся трудности, с которыми сталкивается этот вопрос в его нынешнем виде.

ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ СВЯЗИ МЕЖДУ РАЗУМОМ И МОЗГОМ.

Следует помнить, что, критикуя теорию интеграции последовательных сознательных единиц в ощущение музыкального тона, мы решили, что, какой бы ни была интеграция, это интеграция воздушных импульсов в более простой и простой вид физического эффекта, по мере того как распространение материальных изменений поднималось все выше и выше в нервной системе. Наконец, говорили мы (стр. 23), в слуховых центрах коры полушарий возникает некий простой и массивный процесс, которому *в целом* прямо соответствует ощущение музыкального тона. Уже обсуждая локализацию функций в мозге, я говорил (с. 158-9), что сознание сопровождает поток иннервации через этот орган и варьирует по качеству в зависимости от характера токов, будучи в основном видимым, если затылочные доли сильно вовлечены, слышимым, если действие фокусируется в височных долях, и т. д. и т. п.; и я добавил, что такая расплывчатая формула - это максимум, на который можно смело решиться в условиях реального состояния физиологии. Факты психической глухоты и слепоты, слуховой и оптической афазии показывают нам, что весь мозг должен действовать вместе, чтобы возникли определенные мысли. Сознание, которое само по себе является целостной вещью, не состоящей из частей, "соответствует" всей деятельности мозга, какой бы она ни была в данный момент. Это способ выражения отношения сознания и мозга, от которого я не буду отходить до конца книги, потому что он выражает голый феноменальный факт без всяких гипотез и не подвергается таким логическим возражениям, какие мы нашли для теории сочетания идей.

Тем не менее, эта формула, которая не вызывает никаких возражений, если воспринимать ее расплывчато, позитивистски или научно, как простой эмпирический закон соответствия между нашими мыслями и нашим мозгом, полностью рассыпается, если мы предполагаем, что она представляет собой нечто более интимное или конечное. Конечная из конечных проблем, конечно, в изучении отношений мысли и мозга - понять, почему и как такие разрозненные вещи вообще связаны. Но прежде чем эта проблема будет решена (если она вообще будет решена), необходимо решить менее конечную проблему. Прежде чем объяснить связь между мыслью и мозгом, ее нужно хотя бы в элементарной форме *сформулировать*, а с такой формулировкой возникают большие трудности. Чтобы изложить ее в элементарной форме, необходимо свести ее к самым низким терминам и знать, какой ментальный факт и какой церебральный факт находятся, так сказать, в непосредственном сопоставлении. Мы должны найти минимальный ментальный факт, чье бытие непосредственно зависит от мозгового факта; и мы должны аналогичным образом найти минимальное мозговое событие, которое вообще будет иметь ментальный аналог. Между найденными таким образом психическими и физическими минимумами будет существовать непосредственная связь, выражением которой, если бы мы ее имели, был бы элементарный психофизический закон.

Наша формула избегает невразумительности психических атомов, *принимая всю мысль* (даже о сложном объекте) *за минимум, с которым она имеет дело на психической стороне*. Но, принимая весь мозговой процесс за минимальный факт с материальной стороны, она сталкивается с другими трудностями, почти столь же серьезными.

Прежде всего, она игнорирует аналогии, на которых будут настаивать некоторые критики, а именно аналогии между составом всего мозгового процесса и составом *объекта* мысли. Общий мозговой процесс состоит из частей, из одновременных процессов в центрах зрения, слуха, чувства и других. Объект, о котором думают, также состоит из частей, некоторые из

которых видны, другие слышны, третьи воспринимаются с помощью осязания и мышечных манипуляций. "Как же тогда, - скажут эти критики, - мысль сама не должна состоять из частей, каждая из которых является аналогом части объекта и части мозгового процесса?" Такой взгляд на дело настолько естественен, что он привел к возникновению самой процветающей из всех психологических систем - локковской школы ассоциативных идей, для которой теория "ум-вещи" является лишь последним и самым тонким отростком.

Вторая трудность еще глубже. *Весь "мозговой процесс" - это вовсе не физический факт.* Это видимость для наблюдающего ума множества физических фактов. Весь мозг - это не что иное, как название способа, которым миллион молекул, расположенных в определенных позициях, может влиять на наши ощущения. Согласно принципам корпускулярной или механической философии, единственной реальностью являются отдельные молекулы или, в крайнем случае, клетки. Их объединение в "мозг" - фикция народной речи. Такая фикция не может служить объективно реальным аналогом какого бы то ни было психического состояния. Только подлинно физический факт может служить таким аналогом. Но молекулярный факт является единственным подлинным физическим фактом, и тогда мы, если мы вообще хотим иметь элементарный психофизический закон, оказываемся вынуждены вернуться к чему-то вроде теории разума, поскольку молекулярный факт, будучи элементом "мозга", естественно соответствует не совокупности мыслей, а элементам в мыслях.

Что же нам делать? Многие найдут облегчение в этом моменте в праздновании тайны Непознаваемого и "благоговения", которое мы должны испытывать, имея такой принцип, чтобы взять на себя окончательный контроль над нашими недоумениями. Другие возрадовались бы тому, что конечный и сепаратистский взгляд на вещи, с которого мы начинали, наконец-то развил свои противоречия и вот-вот приведет нас диалектически вверх, к некоему "высшему синтезу", в котором противоречия перестанут беспокоить, а логика успокоится. Может быть, это конституциональная немощь, но я не могу утешиться подобными приспособлениями для создания роскоши интеллектуального поражения. Это всего лишь духовный хлороформ. Лучше жить на краю пропасти, лучше вечно грызть напильник!

ТЕОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ МОНАДЫ.

Самое рациональное, что можно сделать, - это заподозрить, что может существовать третья возможность, альтернативное предположение, которое мы не рассматривали. Теперь *существует* альтернативное предположение - более того, оно часто выдвигалось в истории философии и не вызывает логических возражений, чем любая из рассмотренных нами точек зрения. Ее можно назвать *теорией полизоизма или множественного монадизма*; она представляет дело так:

Каждая клетка мозга имеет свое собственное индивидуальное сознание, о котором ни одна другая клетка ничего не знает; все индивидуальные сознания "эжектируют" друг друга. Однако среди клеток есть одна центральная, или понтификальная, к которой прикреплено *наше* сознание. Но события всех остальных клеток физически влияют на эту арх-клетку; и, производя на нее совместное воздействие, эти другие клетки, можно сказать, "объединяются". Арх-клетка, по сути, является одной из тех "внешних сред", без которых, как мы видели, не может произойти слияние или интеграция ряда вещей. Таким образом, физические модификации арх-клетки образуют последовательность результатов, в производстве которых участвует каждая другая клетка, так что, можно сказать, каждая другая

клетка представлена в ней. И точно так же сознательные корреляты этих физических модификаций образуют последовательность мыслей или чувств, каждая из которых по своей сути является целостной и нерасчлененной психической вещью, но каждая из которых может (при осуществлении своей *когнитивной* функции) *осознавать* многие и сложные вещи пропорционально количеству других клеток, которые помогли модифицировать центральную клетку.

Подобная концепция не влечет за собой ни одного из внутренних противоречий, которые, как мы выяснили, преследуют две другие теории. С одной стороны, не нужно объяснять непонятную самокомбинацию психических единиц; с другой стороны, не нужно рассматривать в качестве физического аналога наблюдаемого потока сознания "общую активность мозга", которая не существует как подлинно физический факт. Но в противовес этим преимуществам возникают физиологические трудности и неправдоподобности. В мозге нет клетки или группы клеток, обладающих таким анатомическим или функциональным превосходством, чтобы казаться краеугольным камнем или центром тяжести всей системы. И даже если бы такая клетка существовала, теория множественного монадизма не имела бы права, по строгости мысли, останавливаться на ней и рассматривать ее как единицу. Клетка не является единицей в материальном плане в большей степени, чем весь мозг. Она представляет собой соединение молекул, так же как мозг представляет собой соединение клеток и волокон. А молекулы, согласно распространенным физическим теориям, в свою очередь, являются соединениями атомов. Поэтому данная теория, если ее радикально провести в жизнь, должна установить в качестве своей элементарной и неустранимой психофизической пары не клетку и ее сознание, а изначальный и вечный атом и его сознание. Мы возвращаемся к лейбницеvскому монадизму, оставляем позади физиологию и погружаемся в области, недоступные для опыта и проверки; и наша доктрина, хотя и не является самопротиворечивой, становится настолько далекой и нереальной, что почти так же плоха, как если бы она была таковой. Только спекулятивные умы будут проявлять к ней интерес; и метафизика, а не психология, будет ответственна за ее карьеру. То, что эта карьера может быть успешной, следует признать как возможность - теория, которую Лейбниц, Гербарт и Лотце взяли под свою защиту, должна иметь какую-то судьбу.

ТЕОРИЯ ДУШИ.

Но разве это мое последнее слово? Ни в коем случае. Многие читатели на протяжении последних нескольких страниц наверняка говорили про себя: "Почему бы этому бедняге не сказать *"Душа"* и не покончить с этим?". Другие читатели, имеющие антиспиритуалистическую подготовку и склонности, продвинутые мыслители или популярные эволюционисты, возможно, будут немного удивлены тем, что это столь презируемое ими слово теперь свалилось на них в конце столь физиологического ряда мыслей. Но факт остается фактом: все аргументы в пользу "пontiфикальнoй клетки" или "арх-монады" - это также аргументы в пользу того известного духовного агента, в которого всегда верили схоластическая психология и здравый смысл. И единственная причина, по которой я так бьюсь в кустах и не привел ее раньше как возможное решение наших трудностей, заключалась в том, что таким образом я, возможно, заставил бы некоторые из этих материалистических умов сильнее почувствовать логическую респектабельность спиритуалистической позиции. Дело в том, что нельзя позволить себе презирать ни один из этих великих традиционных объектов веры. Осознаем мы это или нет, но нас всегда тянет в их сторону огромное количество причин, как положительных, так и отрицательных. Если во вселенной существуют такие сущности, как души, то на них, возможно, влияют разнообразные процессы, происходящие в нервных центрах. На состояние всего мозга в

определенный момент они могут реагировать внутренними изменениями. Эти изменения состояния могут быть импульсами сознания, познаваемыми объектами - немногими или многими, простыми или сложными. Душа, таким образом, является средой, на которой (если воспользоваться нашей более ранней фразеологией) *объединяются* разнообразные мозговые процессы. Нет необходимости рассматривать ее как "внутренний аспект" какой-либо арх-молекулы или клетки мозга, мы избегаем этой физиологической неправдоподобности; и поскольку импульсы ее сознания с самого начала являются едиными и целостными, мы избегаем абсурда предположения о чувствах, которые существуют отдельно, а затем "сливаются" сами по себе. Согласно этой теории, раздельность находится в мире мозга, а единство - в мире души; и единственная проблема, которая остается преследовать нас, - это метафизическая проблема понимания того, как один вид мира или существующей вещи может вообще влиять на другой. Однако эта проблема, поскольку она существует внутри обоих миров и не связана ни с физической невероятностью, ни с логическим противоречием, сравнительно невелика.

Поэтому я признаюсь, что предположение о существовании души, на которую каким-то таинственным образом влияют состояния мозга и которая отвечает на них собственными сознательными воздействиями, кажется мне линией наименьшего логического сопротивления, пока мы еще не достигли этого.

Если она и не *объясняет* ничего строго, то, во всяком случае, вызывает меньше положительных возражений, чем разумная или материально-монадическая вера. *Голый феномен, однако, непосредственно известная вещь, которая с ментальной стороны находится в оппозиции ко всему мозговому процессу, - это состояние сознания, а не сама душа.* Многие из самых стойких верующих в душу признают, что мы знаем ее только как вывод из переживания ее состояний. В *главе X*, соответственно, мы должны снова вернуться к ее рассмотрению и *спросить себя, не является ли, в конце концов, установление пустого неопосредованного соответствия, термин за термином, последовательности состояний сознания с последовательностью общих мозговых процессов, простейшей психофизической формулой и последним словом психологии, которая довольствуется проверяемыми законами и стремится только к ясности и избегает небезопасных гипотез.* Такое простое признание эмпирического параллелизма покажется самым мудрым курсом. Придерживаясь его, наша психология останется позитивистской и неметафизической; и хотя это, конечно, лишь предварительное место остановки, и когда-нибудь все должно быть более тщательно продумано, мы будем придерживаться его в этой книге, и так же, как мы отвергли пыль разума, мы не будем принимать во внимание душу. Читатель-спиритуалист может, тем не менее, верить в душу, если захочет; в то время как позитивист, желающий придать оттенок таинственности выражению своего позитивизма, может продолжать говорить, что природа в своих непостижимых замыслах смешала в нас глину и пламя, мозг и разум, что эти две вещи неразрывно связаны между собой и определяют бытие друг друга, но как и почему, никто из смертных никогда не сможет узнать.

[160] Psychol. § 62.

[161] Там же. § 272.

[162] Fragments of Science, 5th ed., p. 420.

[163] Белфастская речь, "Природа", 20 августа 1874 г., с. 318. Не могу не отметить, что различие между движениями и чувствами, на котором так акцентируют внимание эти авторы, несколько менее абсолютно, чем кажется на первый взгляд. Существуют категории, общие для двух миров. Не только временная последовательность (как признает Гельмгольц, *Physiol. Optik*, p. 445), но и такие атрибуты, как интенсивность, объем, простота или сложность, плавное или затрудненное изменение, покой или возбуждение, привычно приписываются как физическим, так и психическим фактам. Там, где возникают подобные аналогии, вещи действительно имеют что-то общее.

[164] Психология, § 131

[165] 'Природа', как указано выше, 317-8.

[166] "Зарождение" - великое слово мистера Спенсера. Показывая, как в определенный момент сознание должно появиться на развивающейся сцене, этот автор изрядно превзошел себя в расплывчатости.

"В своих высших формах инстинкт, вероятно, сопровождается рудиментарным сознанием. Не может быть координации многих стимулов без какого-то ганглия, через который все они приводятся в соответствие. В процессе приведения их в соответствие этот ганглий должен быть подвержен влиянию каждого из них - он должен претерпевать множество изменений. И быстрая последовательность изменений в ганглии, подразумевающая постоянный опыт различий и сходств, является *сырьем* для сознания. *Отсюда* следует, что, как только развивается инстинкт, зарождается некий вид сознания". (Психология, § 195.)

Слова "сырье" и "импликация", которые я выделил курсивом, - это слова, которые делают *эволюцию*. Предполагается, что они обладают всей строгостью, которой требует "синтетическая философия". В следующем отрывке, когда "впечатления" последовательно проходят через общий "центр коммуникации" (подобно тому, как люди проходят в театр через турникет), предполагается, что в результате возникает сознание, не существовавшее до этого момента:

"Отдельные впечатления получают органы чувств - разные части тела. Если они не идут дальше тех мест, где они получены, то они бесполезны. Или если только некоторые из них приводятся в связь друг с другом, они бесполезны. Для эффективного регулирования необходимо, чтобы все они были приведены в соответствие друг с другом. Но это предполагает наличие некоего общего для всех них центра связи, через который они по отдельности проходят; а поскольку они не могут проходить через него одновременно, они должны проходить через него последовательно. Таким образом, по мере того как внешние явления, на которые они реагируют, становятся все более многочисленными и сложными по своему характеру, разнообразие и быстрота изменений, которым подвергается этот общий центр связи, должны возрастать - в результате должен возникнуть непрерывный ряд этих изменений - *должно возникнуть сознание*.

"Следовательно, прогресс соответствия между организмом и его средой требует постепенного сведения сенсорных изменений к последовательности; и таким образом *развивается отчетливое сознание* - сознание, которое становится выше по мере того, как последовательность становится более быстрой и соответствие более полным". (*Ibid.* § 179.)

Правда, в "Fortnightly Review" (vol. xiv, p. 716) мистер Спенсер отрицает, что этим отрывком он хочет сказать нам что-либо о происхождении сознания вообще. Однако он напоминает слишком много других мест в его "Психологии" (например, §§ 43, 110, 244), чтобы не

воспринимать его как серьезную попытку объяснить, как сознание должно в определенный момент "эволюционировать". То, что, когда критик обращает его внимание на нелепость его слов, мистер Спенсер должен сказать, что он никогда не имел в виду ничего конкретного, является просто примером скандальной расплывчатости, с которой проводится такого рода "хромо-философия".

[167] Его собственные слова таковы: "Ошибки совершаются в том смысле, что он признает, что до него дотронулись, в то время как на самом деле на его кожу воздействовало лучистое тепло. В наших собственных, ранее упомянутых экспериментах никогда не было обмана на всей пальмарной стороне руки или на лице. На тыльной стороне кисти в одном случае в серии из 60 стимуляций произошло 4 ошибки, в другом случае - 2 ошибки в 45 стимуляциях. На разгибательной стороне верхней части руки было отмечено 3 обмана из 48 стимуляций, а в случае с другим человеком - 1 из 31. В одном случае над позвоночником было отмечено 3 обмана в серии из 11 возбуждений, в другом - 4 из 19. На поясничном отделе позвоночника среди 29 возбуждений было 6 обманов, и снова 4 из 7. Конечно, еще недостаточно материала для расчета вероятностей, но любой может легко убедиться, что на спине не может быть и речи об умеренно точном различении тепла и легкого давления, пока в игру вступают лишь небольшие участки кожи. Пока не удалось провести соответствующие эксперименты в отношении чувствительности к холоду". (Lehrb. d. Anat. u. Physiol. d. Sinnesorgane (1862), p. 29.)

[168] Принципы психологии, § 60.

[169] Как ни странно, мистер Спенсер, похоже, совершенно не осознает *общей* функции теории элементарных единиц сознания в эволюционной философии. Мы видели, что для того, чтобы эта философия работала, совершенно необходимо постулировать сознание в туманности, - самый простой способ, конечно, заключается в том, чтобы считать каждый атом одушевленным. Мистер Спенсер, однако, утверждает (например, "Первые принципы", § 71), что сознание - это лишь случайный результат "преобразования" определенного количества "физической силы", которой оно "эквивалентно". Предположительно, мозг уже должен существовать, прежде чем произойдет такое "преобразование"; поэтому аргумент, приведенный в тексте, является просто местной деталью, не имеющей общего значения.

[170] Аналогичным образом можно поступить и с соединением цветов. Гельмгольц показал, что если зеленый и красный свет падают на сетчатку одновременно, мы видим желтый цвет. Теория "ум-вещь" интерпретирует это как простое соединение зеленого и красного цветов в желтый. На самом деле, несомненно, происходит третий вид нервного процесса, когда комбинированный свет попадает на сетчатку, - не просто процесс красного плюс процесс зеленого, а нечто совершенно отличное от обоих или одного из них. Конечно, тогда в сознании не возникает никаких ощущений ни красного, ни зеленого; но ощущение желтого, которое там есть, отвечает так же непосредственно на нервный процесс, который в этот момент существует, как ощущения зеленого и красного отвечали бы на соответствующие нервные процессы, если бы последние имели место.

[171] Ср. "Логику" Милля, кн. vi, гл. iv, § 3.

[172] Я обнаружил у своих студентов почти непобедимую склонность думать, что мы можем сразу же воспринять, что чувства сочетаются. "Что!" - говорят они, - "разве вкус лимонада не состоит из вкуса лимона *плюс* вкус сахара?" Это означает, что мы принимаем объединение объектов за объединение чувств. Физический лимонад содержит и лимон, и сахар, но его вкус не содержит их вкусов, ибо если и есть две вещи, которые, безусловно, *не* присутствуют во вкусе лимонада, то это лимонно-кислый, с одной стороны, и сахарно-сладкий, с другой.

Эти вкусы полностью отсутствуют. Совершенно новый вкус, который присутствует, правда, напоминает оба этих вкуса; но в [главе XIII](#) мы увидим, что сходство не всегда может подразумевать частичную идентичность.

[173] Э. Монтгомери, в "Mind", v, 18-19. См. также [pp. 24-5](#).

[174] J. Royce, 'Mind,' vi, p. 376. Лотце изложил истинность этого закона яснее и подробнее, чем любой другой писатель. К сожалению, он слишком пространен, чтобы цитировать его. См. его "Микрокосм", кн. ii, гл. i, § 5; "Метафизика", §§ 242, 260; "Изложение метафизики", ч. ii, гл. i, §§ 3, 4, 5. Сравните также "Интеллектуальные способности" Риды, сочинение v, гл. iii, *ad fin.*; "Метафизика" Боуна, с. 361-76; St. J. Mivart: Nature and Thought, pp. 98-101; E. Gurney: 'Monism,' in 'Mind,' vi, 153; и статья профессора Ройса, только что процитированная, о 'Mind-stuff and Reality'.

В защиту взгляда "ум-вещество" см. W. K. Clifford: "Mind", iii, 57 (перепечатано в его "Lectures and Essays", ii, 71); G. T. Fechner, Psychophysik, Bd. ii, cap. xlv; H. Taine: on Intelligence, bk. iii; E. Haeckel: "Zellseelen u. Seelenzellen" in Gesammelte pop. Vorträge, Bd. i, p. 143; W. S. Duncan: Conscious Matter, *passim*; H. Zöllner: Natur d. Cometen, pp. 320 ff.; Alfred Barratt: 'Physical Ethic' and 'Physical Metempiric', *passim*; J. Soury: 'Hylozoismus', in 'Kosmos,' V. Jahrg., Heft x, p. 241; A. Main: 'Mind,' i, 292, 431, 566; ii, 129, 402; *Id.* Revue Philos., ii, 86, 88, 419; iii, 51, 502; iv, 402; F. W. Frankland: 'Mind', vi, 116; Whittaker: 'Mind', vi, 498 (исторический); Morton Prince: The Nature of Mind and Human Automatism (1885); A. Riehl: Der philosophische Kriticismus, Bd. ii, Theil 2, 2ter Abschnitt, 2tes Cap. (1887). Самым ясным из всех этих высказываний является, насколько это возможно, высказывание Принса.

[175] "Кто-то может сказать, что хотя верно то, что ни слепой, ни глухой сами по себе не могут сравнивать звуки с цветами, однако, поскольку один слышит, а другой видит, они могут делать это оба вместе..... Но не имеет значения, находятся ли они порознь или рядом; даже если они постоянно живут вместе; нет, если бы они были сиамскими близнецами или более чем сиамскими близнецами и неразлучно росли вместе, это не сделало бы предположение более возможным. Только когда звук и цвет представлены в одной и той же реальности, можно думать, что их следует сравнивать". (Brentano: Psychologie, p. 209.)

[176] Читатель должен заметить, что мы рассуждаем в целом о логике теории "ум-вещь", о том, может ли она существовать в конституции высших психических состояний, если рассматривать их как идентичные низшим, суммированным вместе. Мы говорим, что эти два вида фактов не тождественны: высшее состояние не есть множество низших состояний; оно есть само по себе. Однако, когда множество низших состояний собралось вместе или когда вместе возникли определенные мозговые условия, которые, возникни они по отдельности, породили бы множество низших состояний, мы ни на минуту не притворялись, что высшее состояние может не возникнуть. На самом деле оно возникает при таких условиях; и наша [глава IX](#) будет посвящена главным образом доказательству этого факта. Но такое возникновение - это возникновение новой психической сущности, и оно *toto cælo* отличается от такой "интеграции" низших состояний, которую утверждает теория "ум-вещь".

Может показаться странным предположить, что кто-то может принять критику определенной теории о факте за сомнение в самом факте. И все же такая путаница имеет место в высших кругах, что оправдывает наши замечания. Мистер Дж. Уорд в своей статье "Психология" в "Британской энциклопедии", говоря о гипотезе, что "ряд чувств может осознавать себя как ряд", отмечает (с. 39): "Парадокс - слишком мягкое слово для этого, даже противоречие вряд ли подойдет". После этого профессор Бэйн так его оценивает: "Что касается "серии состояний, осознающих себя", то, признаюсь, я не вижу непреодолимых трудностей. Это

может быть фактом или не фактом; это может быть очень неуклюжим выражением для того, к чему оно применяется; но это не парадокс и не противоречие. Ряд просто противоречит индивидууму, или это могут быть два или более индивидуумов, сосуществующих друг с другом; но это слишком общее понятие, чтобы исключить возможность самопознания. Это, конечно, не выводит на первый план свойство самопознания, что, однако, не то же самое, что его отрицание. Алгебраический ряд может познать сам себя, без всякого противоречия: единственное, что против этого, - отсутствие доказательств этого факта". ("Mind", xi, 459). Профессор Бэйн считает, что все беспокойство связано с трудностью понимания того, как ряд ощущений может получить знание о самом себе!!! Как будто это кого-то когда-нибудь волновало. Это, как известно, факт: наше сознание - это серия ощущений, к которым время от времени *добавляется* ретроспективное осознание того, что они пришли и ушли. То, что беспокоит мистера Уорда и меня, - это просто глупость тех, кто продолжает утверждать, что "серия состояний" - это "осознание себя"; что если состояния представлены по отдельности, то их коллективное сознание дано *eo ipso*; и что нам не нужно никаких дальнейших объяснений или "доказательств факта".

[177] Авторы, говоря о "бессознательной церебрации", похоже, иногда имеют в виду именно это, а иногда - бессознательное мышление. Аргументы, которые приводятся далее, взяты из разных источников. Читатель найдет их наиболее систематизированными у Э. фон Гартмана: "Философия бессознательного", том I; и у Э. Кользене: "Бессознательная жизнь человека" (1880). См. также T. Laycock: *Mind and Brain*, vol. i, chap. v (1860); W. B. Carpenter: *Mental Physiology*, chap. xiii; F. P. Cobbe: *Darwinism in Morals and other Essays*, essay xi, *Unconscious Cerebration* (1872); F. Bowen: *Modern Philosophy*, pp. 428-480; R. H. Hutton: *Contemporary Review*, vol. xxiv, p. 201; J. S. Mill: *Exam. of Hamilton*, chap. xv; G. H. Lewes: *Problems of Life and Mind*, 3d series, Prob. ii, chap. x, а также Prob. iii, chap. ii; D. G. Thompson: *A System of Psychology*, chap. xxxiii; J. M. Baldwin, *Handbook of Psychology*, chap. iv.

[178] *Nouveaux Essais, Avant-propos*.

[179] J. S. Mill, *Exam. of Hamilton*, chap. xv.

[180] Cp. Dugald Stewart, *Elements*, chap. ii.

[181] J. E. Maude: "The Unconscious in Education", in "Education", vol. i, p. 401 (1882).

[182] *Zur Lehre vor Lichtsinne* (1878).

[183] Cp. Вундт: *Ueber den Einfluss der Philosophie, etc.-Antrittsrede* (1876), pp. 10-11;- Гельмгольц: *Die Thatsachen in der Wahrnehmung* (1879), p. 27.

[184] Cp. *Satz vom Grunde*, pp. 59-65. Сравните также "Natur der Kometen" Ф. Цёльнера, pp. 342 ff. и 425.

[185] См. высказывания Гельмгольца, которые будут приведены позже в [главе XIII](#).

[186] Этот текст был написан до того, как в мои руки попала книга профессора Липпса "Grundtatsachen des Seelenlebens" (1883). В главе III этой книги понятие бессознательной мысли подвергается самой ясной и тщательной критике, которую оно когда-либо получало. Некоторые отрывки настолько похожи на то, что я сам написал, что я должен процитировать их в примечании. Доказав, что тусклость и ясность, неполнота и завершенность не относятся к душевному состоянию *как таковому* - поскольку каждое душевное состояние должно быть *именно* тем, что оно есть, и ничем иным, - а относятся лишь к тому, как душевные состояния обозначают объекты, которые они более или менее тускло, более или менее ясно

*представляют; Липпс берет случай тех ощущений, которые, как говорят, внимание делает более ясными. "Я воспринимаю объект, - говорит он, - сейчас при ясном дневном свете и снова ночью. Назовем содержание дневного восприятия a , а вечернего - a^1 . Вероятно, между a и a^1 будет значительная разница. Цвета a будут разнообразными и интенсивными и будут резко ограничены друг от друга; цвета a^1 будут менее яркими и менее контрастными, они будут приближаться к общему серому или коричневому цвету и больше сливаться друг с другом. Однако оба восприятия, как таковые, полностью детерминированы и отличны от всех других. Цвета a^1 представляются моему глазу ни более, ни менее определенно темными и размытыми, чем цвета a - яркими и резко ограниченными. Но теперь я знаю, или полагаю, что знаю, что один и тот же реальный объект A соответствует и a , и a^1 . Более того, я убежден, что a представляет A лучше, чем a^1 . Однако вместо того, чтобы дать моему убеждению это единственно правильное выражение и сохранить содержание моего сознания и реальный объект, представление и то, что оно означает, отличными друг от друга, я подменяю реальный объект содержанием сознания и говорю об опыте так, как если бы он состоял из одного и того же объекта (a именно, тайно введенного реального), дважды составляющего содержание моего сознания, один раз ясно и отчетливо, другой раз - неясно и смутно. Я говорю теперь о более отчетливом и менее отчетливом *сознании* A , тогда как я вправе говорить лишь о двух сознаниях, a и a^1 , одинаково отличных *самих по себе*, но которым предполагаемый внешний объект A соответствует с разной степенью отчетливости". (Р. 38-9.)*

ГЛАВА VII.

МЕТОДЫ И ЛОВУШКИ ПСИХОЛОГИИ

Теперь мы закончили физиологические preliminaries нашего предмета и должны в оставшихся главах изучить сами психические состояния, чьи мозговые условия и сопутствующие факторы мы рассматривали до сих пор. За пределами мозга, однако, существует внешний мир, которому "соответствуют" состояния мозга. И прежде чем мы продвинемся дальше, будет неплохо сказать несколько слов об отношении разума к этой более обширной сфере физических фактов.

ПСИХОЛОГИЯ - ЭТО ЕСТЕСТВЕННАЯ НАУКА.

То есть разум, который изучает психолог, - это разум отдельных индивидов, населяющих определенные части реального пространства и реального времени. С любым другим видом разума, абсолютным интеллектом, разумом, не привязанным к конкретному телу, или разумом, не подверженным течению времени, психолог как таковой не имеет ничего общего. В его устах "разум" - это всего лишь классическое название *умов*. К счастью, если его более скромные изыскания приведут к каким-либо обобщениям, которые сможет использовать философ, посвятивший себя абсолютному Разуму как таковому.

Для психолога изучаемые им умы - *это объекты* в мире других объектов. Даже когда он интроспективно анализирует свой собственный разум и рассказывает о том, что он там находит, он говорит об этом в объективном ключе. Например, он говорит, что при определенных обстоятельствах серый цвет кажется ему зеленым, и называет это явление иллюзией. Это означает, что он сравнивает два объекта - реальный цвет, увиденный в определенных условиях, и ментальное восприятие, которое, по его мнению, представляет его, и объявляет отношения между ними определенного рода. Вынося это критическое суждение, психолог стоит так же вне восприятия, которое он критикует, как и цвет. Оба

являются его объектами. И если это так, когда он размышляет над своими собственными сознательными состояниями, то насколько же это вернее, когда он рассматривает состояния других людей! В немецкой философии со времен Канта большую роль играет слово *Erkenntnistheorie*, критика способности познания. Теперь психолог обязательно становится таким *Erkenntnistheoretiker*. Но знание, о котором он теоретизирует, не является той голой функцией знания, которую критикует Кант, - он не исследует возможность знания *überhaupt*. Он предполагает, что оно возможно, он не сомневается в его наличии в себе в тот момент, когда говорит. Знание, которое он критикует, - это знание конкретных людей о конкретных вещах, которые их окружают. Это знание он может при случае, в свете своего *собственного* несомненного знания, объявить истинным или ложным и проследить причины, по которым оно стало тем или иным.

Очень важно, чтобы эта естественнонаучная точка зрения была понята с самого начала. Иначе от психолога можно потребовать больше, чем от него следует ожидать.

На схеме более наглядно показано, какими должны быть предпосылки психологии:

1. Психолог 2. Изучаемая мысль 3. Объект мысли 4. Реальность психолога

В этих четырех квадратах содержатся неустранимые данные психологии. Психолог № 1 считает реальностью №№ 2, 3 и 4, которые вместе образуют *его* общий объект, и сообщает о них и их взаимоотношениях настолько правдиво, насколько это возможно, не утруждая себя загадкой, как он вообще может сообщить о них. О таких *конечных* загадках он в основном должен беспокоиться не больше, чем геометр, химик или ботаник, которые делают точно такие же предположения, как и он. [187]

О некоторых заблуждениях, которым подвержен психолог в силу своей особой точки зрения - того, что он является репортером как субъективных, так и объективных фактов, - мы должны поговорить в ближайшее время. Но только после того, как мы рассмотрим методы, которые он использует для выяснения того, что представляют собой факты, о которых идет речь.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Интроспективное наблюдение - это то, на что мы должны опираться в первую очередь и всегда. Слово "интроспекция" вряд ли нуждается в определении - оно означает, конечно же, заглядывание в собственный разум и отчет о том, что мы там обнаруживаем. Все согласны с тем, что там мы обнаруживаем состояния сознания. Насколько мне известно, в существовании таких состояний никогда не сомневался ни один критик, каким бы скептиком в других отношениях он ни был. То, что у нас есть какие-то *мысли*, - это *inconcussum* в мире, большинство других фактов которого в какой-то момент пошатнулось под дыханием философского сомнения. Все люди безоговорочно верят, что чувствуют себя мыслящими и что они отличают ментальное состояние как внутреннюю активность или страсть от всех объектов, с которыми оно может иметь дело в познавательном плане. Я считаю это убеждение самым фундаментальным из всех постулатов психологии и отброшу все любопытные расспросы о его достоверности как слишком метафизические для рамок этой книги.

Вопрос номенклатуры. У нас должен быть какой-то общий термин, которым можно было бы обозначить все состояния сознания просто как таковые, вне зависимости от их конкретного качества или когнитивной функции. К сожалению, большинство используемых терминов

имеют серьезные возражения. 'Психическое состояние', 'состояние сознания', 'модификация сознания' - громоздкие термины, не имеющие родственных глаголов. То же самое можно сказать и о "субъективном состоянии". 'Feeling' имеет глагол 'to feel', как активного, так и среднего рода, и такие производные, как 'feelingly', 'felt', 'feltness' и т. д., что делает его чрезвычайно удобным. Но, с другой стороны, оно имеет как специфические, так и родовые значения, иногда обозначая удовольствие и боль, а иногда являясь синонимом "*ощущения*" в противоположность *мысли*; в то время как мы хотели бы, чтобы термин охватывал ощущения и мысли безразлично. Кроме того, "чувство" приобрело в сердцах платонизирующих мыслителей весьма отвратительный смысл; а поскольку одним из больших препятствий для взаимопонимания в философии является использование слов в хвалебных и пренебрежительных тонах, всегда, если это возможно, следует предпочитать беспристрастные термины. Слово "*психоз*" было предложено мистером Хаксли. Его преимущество в том, что оно соотносится с *неврозом* (название, применяемое тем же автором к соответствующему нервному процессу), и, кроме того, является техническим и лишенным пристрастного подтекста. Но у него нет глагола или другой грамматической формы, связанной с ним. Выражения "привязанность души", "модификация эго" неуклюжи, как и "состояние сознания", и неявно утверждают теории, которые не стоит воплощать в терминологии до того, как они будут открыто обсуждены и одобрены. Идея" - хорошее расплывчатое нейтральное слово, которое Локк использовал в самом широком смысле; но, несмотря на его авторитет, оно не прижилось в языке настолько, чтобы охватывать телесные ощущения, и, кроме того, у него нет глагола. Слово "мысль" было бы самым подходящим, если бы его можно было использовать для обозначения ощущений. Оно не имеет такого отвратительного оттенка, как "чувство", и сразу же предполагает вездесущность познания (или обращения к объекту, отличному от самого ментального состояния), которое, как мы вскоре увидим, составляет суть ментальной жизни. Но может ли выражение "думал о зубной боли" когда-либо предложить читателю саму реальную боль? Вряд ли; и, таким образом, мы, похоже, будем вынуждены вернуться к такой *паре* терминов, как "впечатление и идея" Юма, или "представление и репрезентация" Гамильтона, или обычные "чувство и мысль", если хотим охватить всю территорию.

В этом затруднительном положении мы не можем сделать окончательного выбора, но должны, в зависимости от удобства контекста, использовать то один, то другой из упомянутых синонимов. *Я сам отдаю предпочтение либо чувству, либо мысли.* Вероятно, я буду часто использовать оба слова в более широком смысле, чем обычно, и попеременно пугать два класса читателей их необычным звучанием; но если в связи с этим станет ясно, что имеются в виду психические состояния в целом, независимо от их вида, это не повредит, а может даже принести некоторую пользу.^[188]

Неточность интроспективного наблюдения стала предметом дискуссий. Прежде чем мы продолжим, важно получить некоторые фиксированные идеи по этому вопросу.

Самое распространенное спиритуалистическое мнение состоит в том, что Душа или Субъект психической жизни - это метафизическая сущность, недоступная прямому познанию, и что различные психические состояния и операции, о которых мы рефлексируем, являются объектами внутреннего чувства, которое не может познать реального агента в себе, так же как зрение или слух дают нам прямое знание о материи в себе. С этой точки зрения интроспекция, конечно, не способна познать что-либо большее, чем *феномены* Души. Но даже в этом случае остается вопрос: насколько хорошо она может знать сами явления?

Некоторые авторы берут здесь верх и претендуют на своего рода непогрешимость. Так, Уэбервег заявляет:

"Когда мысленный образ, как таковой, является объектом моего восприятия, то нет смысла стремиться отличить его существование в моем сознании (во мне) от его существования вне моего сознания (в себе); ибо воспринимаемый объект в этом случае является таким, который даже не существует, как существуют объекты внешнего восприятия, сам по себе вне моего сознания. Он существует только во мне".[189]

И Brentano:

"Внутренне воспринимаемые явления истинны сами по себе. Какими они кажутся - на это указывает свидетельство, с помощью которого они воспринимаются, - такими они и являются в действительности. Кто же может отрицать, что в этом проявляется огромное превосходство психологии над физическими науками?"

И снова:

"Никто не может сомневаться в том, что психическое состояние, которое он ощущает в себе, *является таким*, каким он его ощущает. Тот, кто должен сомневаться в этом, достиг бы того *законченного* сомнения, которое уничтожает само себя, разрушая всякую фиксированную точку, с которой можно было бы атаковать знание".[190]

Другие впадали в противоположную крайность и утверждали, что мы вообще не можем иметь интроспективного познания нашего собственного разума. Высказывание Огюста Конта по этому поводу цитировалось так часто, что стало почти классическим; поэтому некоторые ссылки на него кажутся здесь необходимыми.

Философы, говорит Комте, [191]

"в наши последние дни вообразили себя способными различать, с необычайной тонкостью, два вида наблюдения одинаковой важности, одно внешнее, другое внутреннее, причем последнее предназначено исключительно для изучения интеллектуальных явлений..... Я ограничиваюсь тем, что указываю на главное соображение, которое ясно доказывает, что это притворное непосредственное созерцание разума само по себе является чистой иллюзией..... На самом деле очевидно, что в силу непобедимой необходимости человеческий разум может непосредственно наблюдать все явления, кроме своих собственных состояний. Ибо кто должен наблюдать их? Можно представить себе, что человек может наблюдать себя в отношении *страстей*, которые его одушевляют, поскольку анатомические органы страсти отличаются от тех, чьей функцией является наблюдение. Хотя мы все делали такие наблюдения над собой, они никогда не могут иметь большой научной ценности, и лучшим способом познания страстей всегда будет наблюдение за ними извне; ведь любое сильное состояние страсти ... обязательно несовместимо с состоянием наблюдения. Но что касается наблюдения таким же образом за *интеллектуальными* явлениями в момент их фактического присутствия, то это явно невозможно. Мыслитель не может разделить себя на две части, из которых одна рассуждает, а другая наблюдает, как он рассуждает. Наблюдаемый орган и наблюдающий орган, будучи в этом случае идентичными, как могли бы иметь место наблюдения? Таким образом, этот притворный психологический метод оказывается

в корне недействительным. С одной стороны, они советуют вам изолировать себя, насколько это возможно, от всех внешних ощущений, особенно от любой интеллектуальной работы, - ведь если вы будете заняты даже простейшими вычислениями, что же станет с *внутренним* наблюдением? С другой стороны, после того как вы с величайшей осторожностью достигнете этого состояния интеллектуальной дремоты, вы должны начать созерцать операции, происходящие в вашем уме, когда там ничего не происходит! Наши потомки, несомненно, увидят, как подобные притязания однажды будут высмеяны на сцене. Результаты столь странной процедуры полностью соответствуют ее принципу. За все две тысячи лет, в течение которых метафизики таким образом культивировали психологию, они не пришли к согласию ни по одному внятому и обоснованному предложению. *Внутреннее наблюдение* дает почти столько же разноречивых результатов, сколько существует людей, которые думают, что практикуют его".

Вряд ли Комт мог знать что-либо об английской и что-либо о немецкой эмпирической психологии. Результаты", которые он имел в виду, когда писал, были, вероятно, схоластическими, такими как принципы внутренней активности, факультеты, эго, *liberum arbitrium indifferentiae* и т. д. Джон Милль, отвечая ему, [192] заявляет:

"Возможно, М. Комту пришло в голову, что факт может быть изучен с помощью памяти не в тот самый момент, когда мы его воспринимаем, а в момент после: и это действительно тот способ, с помощью которого обычно приобретается наше лучшее знание о наших интеллектуальных действиях. Мы размышляем о том, что мы делали, когда действие уже прошло, но когда его впечатление в памяти еще свежо. Если бы не один из этих способов, мы не смогли бы приобрести то знание, которое, как никто не отрицает, у нас есть, о том, что происходит в нашем сознании. Вряд ли М. Комте стал бы утверждать, что мы не знаем о наших собственных интеллектуальных операциях. Мы знаем о наших наблюдениях и рассуждениях либо в момент их совершения, либо по памяти через мгновение после них; в любом случае, это непосредственное знание, а не (как в случае с вещами, совершаемыми нами в состоянии сомнамбулизма) просто по их результатам. Этот простой факт разрушает всю аргументацию М. Конта. Все, что мы непосредственно осознаем, мы можем непосредственно наблюдать".

Где же теперь находится истина? Наша цитата из Милля, очевидно, выражает большую часть *практической* истины по этому вопросу. Даже те авторы, которые настаивают на абсолютной достоверности нашего непосредственного внутреннего восприятия состояния сознания, должны противопоставить ему ошибочность нашего *воспоминания* или *наблюдения* за ним мгновение спустя. Никто не подчеркивал более резко, чем сам Brentano, разницу между непосредственным *ощущением* чувства и его восприятием в последующем рефлексивном акте. Но от какого способа его осознания должен зависеть психолог? Если бы было достаточно *иметь* чувства или мысли в их непосредственности, то младенцы в колыбели были бы психологами, причем непогрешимыми. Но психолог должен не только *иметь* свои психические состояния в их абсолютной достоверности, он должен сообщать о них и писать о них, называть их, классифицировать и сравнивать их, прослеживать их отношения с другими вещами. Пока они живы, они являются их собственностью; только *посмертно* они становятся его добычей. [193] И если в назывании, классификации и знании вещей в целом мы, как известно, ошибаемся, то почему бы не ошибиться и здесь? Комт совершенно прав, подчеркивая тот факт, что ощущение, чтобы быть названным, оцененным или воспринятым, должно быть уже в прошлом. Ни одно субъективное состояние, находясь в

настоящем, не является своим собственным объектом; его объектом всегда является что-то другое. Правда, бывают случаи, когда кажется, что мы называем наше настоящее чувство и таким образом переживаем и наблюдаем один и тот же внутренний факт одним махом, как, например, когда мы говорим "я чувствую усталость", "я сержусь" и т. д. Но это иллюзорно, и немного внимания - и иллюзия рассеивается. Настоящее сознательное состояние, когда я говорю "я чувствую усталость", не является непосредственным состоянием усталости; когда я говорю "я чувствую гнев", это не является непосредственным состоянием гнева. Это состояние *сказать "я чувствую усталость"*, *сказать "я чувствую злость"* - совершенно разные вещи, настолько разные, что усталость и злость, которые, по-видимому, включены в них, являются значительными модификациями усталости и злости, непосредственно ощущаемых в предыдущее мгновение. Акт их названия на мгновение ослабил их силу.[194]

Единственные надежные основания, на которых можно было бы утверждать безошибочную истинность интроспективного суждения, - эмпирические. Если бы у нас были основания думать, что оно еще ни разу не обмануло нас, мы могли бы продолжать доверять ему. Именно этого основания фактически придерживается герр Мор.

"Иллюзии наших чувств, - говорит этот автор, - подорвали нашу веру в реальность внешнего мира; но в сфере внутреннего наблюдения наша уверенность остается неповрежденной, поскольку мы никогда не заблуждались относительно реальности того или иного акта мысли или чувства. Мы никогда не были введены в заблуждение, думая, что не находимся в сомнении или в гнев, когда эти состояния действительно были состояниями нашего сознания".[195]

Но как бы ни было здраво рассуждение, если бы предпосылки были верны, боюсь, что последнее не пройдет. Как бы ни обстояло дело с такими сильными чувствами, как сомнение или гнев, в отношении более слабых чувств, а также в отношении всех чувств *друг к другу*, мы оказываемся в постоянной ошибке и неопределенности, как только нас призывают называть и классифицировать, а не просто чувствовать. Кто может быть уверен в точном *порядке* своих чувств, когда они чрезмерно стремительны? Кто может быть уверен в том, что при чувственном восприятии стула, сколько информации поступает от глаз, а сколько - из предыдущих знаний разума? Кто может с точностью сравнить *количество* разрозненных ощущений, даже если они очень похожи? Например, когда предмет ощущается то спиной, то щекой, какое из ощущений наиболее обширно? Кто может быть уверен, что два данных ощущения являются или не являются абсолютно одинаковыми? Кто может сказать, какое из них короче или длиннее другого, если оба занимают всего лишь мгновение времени? Кто знает о многих поступках, по какому мотиву они были совершены и были ли они вообще совершены? Кто может перечислить все составляющие такого сложного чувства, как *гнев*? И кто может сказать, является ли восприятие *расстояния* сложным или простым состоянием ума? Все споры о разуме прекратятся, если мы сможем окончательно решить с помощью интроспекции, что те чувства, которые кажутся нам элементарными, на самом деле элементарны, а не составные.

В работе "Иллюзии" мистера Салли есть глава, посвященная интроспекции, которую мы могли бы сейчас процитировать. Но поскольку остальная часть этого тома будет не более чем коллекцией иллюстраций трудности обнаружения путем прямой интроспекции именно наших чувств и их отношений, нам не нужно предвосхищать наши собственные будущие детали, я просто изложу наш общий вывод о том, что *интроспекция трудна и ошибочна; и что эта трудность - просто та, что присуща всем наблюдениям любого рода*. Перед нами нечто; мы делаем все возможное, чтобы сказать, что это такое, но, несмотря на всю нашу добрую волю, мы можем сбиться с пути и дать описание, более применимое к какому-

то другому виду вещей. Единственной гарантией является окончательный *консенсус* наших дальнейших знаний о рассматриваемой вещи, более поздние взгляды корректируют более ранние, пока, наконец, не будет достигнута гармония последовательной системы. Такая система, постепенно выработанная, является лучшей гарантией, которую психолог может дать за достоверность любого конкретного психологического наблюдения, о котором он может сообщить. К такой системе мы сами должны стремиться, насколько это возможно.

Английские авторы по психологии и школа Гербарта в Германии в основном довольствовались теми результатами, которые давала непосредственная интроспекция отдельных индивидов, и показали, какой свод доктрин они могут составить. Работы Локка, Юма, Рида, Хартли, Стюарта, Брауна, Миллса всегда будут классикой в этой области; а в "Трактатах" профессора Бейна мы имеем, вероятно, последнее слово о том, что может сделать этот метод, взятый в основном сам по себе, - последний памятник молодости нашей науки, все еще нетехнический и общепонятный, как химия Лавуазье или анатомия до использования микроскопа.

Экспериментальный метод. Но психология переходит в менее простую фазу. В течение нескольких лет в Германии возникло то, что можно назвать микроскопической психологией, осуществляемой экспериментальными методами, конечно, ежеминутно запрашивая интроспективные данные, но устраняя их неопределенность путем проведения масштабных операций и использования статистических средств. Этот метод требует максимального терпения, и вряд ли он мог возникнуть в стране, уроженцам которой было бы *скучно*. Такие немцы, как Вебер, Фехнер, Виерордт и Вундт, очевидно, не могут; и их успех привел в эту область множество молодых экспериментальных психологов, стремящихся изучить *элементы* психической жизни, вычленив их из грубых результатов, в которые они встроены, и, насколько возможно, свести их к количественным шкалам. Простой и открытый метод атаки сделал все, что мог, теперь пробуют метод терпения, голодания и издевательств до смерти; Разум должен подчиниться регулярной *осаде*, в которой минутные преимущества, полученные днем и ночью силами, сдерживающими его, должны в конце концов свестись к его свержению. В этих новых философах с призмой, маятником и хронографом мало от величественного стиля. Они занимаются делом, а не рыцарством. То, что не удалось сделать щедрыми прорицаниям и тому превосходству в добродетели, которое, как считал Цицерон, дает человеку лучшее понимание природы, несомненно, когда-нибудь будет достигнуто их шпионажем и скрежетом, их смертельным упорством и почти дьявольским коварством.

Никакое общее описание методов экспериментальной психологии не будет поучительным для того, кто не знаком с конкретными случаями их применения, поэтому мы не будем тратить слова на эту попытку. *Основными областями экспериментов* до сих пор были: 1) связь сознательных состояний с их физическими условиями, включая всю физиологию мозга и недавнюю тщательно разработанную физиологию органов чувств, вместе с тем, что технически известно как "психофизика", или законы корреляции между ощущениями и внешними стимулами, которыми они вызываются; 2) анализ пространственного восприятия на его сенситивные элементы; 3) измерение *продолжительности* простейших психических процессов; 4) *точность воспроизведения* в памяти чувственных впечатлений и отрезков пространства и времени; 5) способы, которыми простые психические состояния *влияют друг на друга*, вызывают друг друга или препятствуют воспроизведению друг друга; 6) *число фактов*, которые сознание может одновременно различать; наконец, 7) элементарные законы забывания и удержания. Надо сказать, что в некоторых из этих областей результаты пока не принесли теоретических плодов, соизмеримых с огромным трудом, затраченным на

их получение. Но факты есть факты, и если мы получим их в достаточном количестве, они обязательно объединятся. Из года в год будет открываться новая почва, и теоретические результаты будут расти. Тем временем экспериментальный метод полностью изменил лицо науки, поскольку последняя представляет собой отчет о проделанной работе.

Сравнительный метод, наконец, дополняет интроспективный и экспериментальный методы. Этот метод предполагает, что нормальная психология интроспекции должна быть установлена в ее основных чертах. Но когда речь идет о происхождении этих черт или их зависимости друг от друга, крайне важно проследить рассматриваемое явление во всех его возможных вариациях типа и сочетания. Вот и получается, что инстинкты животных перебираются, чтобы пролить свет на наши собственные; рассудочные способности пчел и муравьев, ум дикарей, младенцев, сумасшедших, идиотов, глухих и слепых, преступников и эксцентриков - все это приводится в поддержку той или иной специальной теории о той или иной части нашей собственной умственной жизни. История наук, моральные и политические институты, языки, как типы психического продукта, привлекаются к той же службе. Г-да Дарвин и Гальтон подали пример циркуляров с вопросами, рассылаемых по сотне тем, кто, как предполагается, способен на них ответить. Этот обычай распространился, и будет хорошо для нас в следующем поколении, если такие циркуляры не будут причислены к обычным вредителям жизни. Тем временем информация растет, и появляются результаты. В сравнительном методе есть большие источники ошибок. Интерпретация "психозов" животных, дикарей и младенцев - это неизбежно дикая работа, в которой личное уравнение исследователя во многом зависит от него самого. О дикаре скажут, что у него нет моральных или религиозных чувств, если его действия шокируют наблюдателя. Ребенка примут за ребенка без самосознания, потому что он говорит о себе в третьем лице, и т. д. и т. п. Никакие правила не могут быть установлены заранее. Сравнительные наблюдения, чтобы быть определенными, обычно должны проводиться для проверки какой-либо уже существующей гипотезы; и единственное, что тогда остается, - это использовать столько проницательности, сколько у вас есть, и быть настолько откровенным, насколько вы можете.

ИСТОЧНИКИ ОШИБОК В ПСИХОЛОГИИ.

Первый из них возникает из-за вводящего в заблуждение влияния речи. Язык изначально создавался людьми, которые не были психологами, и большинство людей сегодня пользуются почти исключительно лексикой внешних вещей. Кардинальные страсти нашей жизни, гнев, любовь, страх, ненависть, надежда, и самые обширные разделы нашей интеллектуальной деятельности, помнить, ожидать, думать, знать, мечтать, с самыми широкими родами эстетического чувства, радость, печаль, удовольствие, боль, являются единственными фактами субъективного порядка, которые этот словарь считает нужным отметить специальными словами. Элементарные качества ощущений, яркий, громкий, красный, синий, горячий, холодный, правда, могут быть использованы как в объективном, так и в субъективном смысле. Они обозначают внешние качества и чувства, которые они вызывают. Но объективный смысл - это первоначальный смысл; и до сих пор мы вынуждены описывать большое количество ощущений по названию объекта, от которого они чаще всего получались. Оранжевый цвет, запах фиалок, сырный вкус, громовой звук, огненный ум и т. д. - вот что я имею в виду. Отсутствие специального словаря для обозначения субъективных фактов препятствует изучению всех, кроме самых грубых из них. Писатели-эмпирики очень любят подчеркивать один большой набор заблуждений, которые язык навязывает уму. Всякий раз, когда мы создаем слово, говорят они, для обозначения определенной группы явлений, мы склонны предполагать некую субстанцию, существующую за пределами

явлений, именем которой будет это слово. Но *отсутствие* слова столь же часто приводит к прямо противоположной ошибке. Мы склонны полагать, что никакой сущности там быть не может, и таким образом упускаем из виду явления, существование которых было бы для всех нас очевидным, если бы мы только выросли и услышали их привычное признание в речи.^[196] Трудно сосредоточить внимание на безымянном, и поэтому в описательных частях большинства психологий возникает определенная пустота.

Но еще худший недостаток, чем пустота, проистекает из зависимости психологии от обычной речи. Называя свою мысль по ее собственным объектам, мы почти все предполагаем, что как объекты, так и мысль должна быть. Мысль о нескольких различных вещах может состоять только из нескольких различных кусочков мысли, или "идей"; мысль об абстрактном или универсальном объекте может быть только абстрактной или универсальной идеей. Поскольку каждый объект может появляться и исчезать, забываться, а затем снова вспоминаться, считается, что мысль о нем обладает точно такой же независимостью, самотождественностью и подвижностью. Мысль о повторяющейся идентичности объекта рассматривается как идентичность его повторяющейся мысли; а представления о множественности, сосуществовании, последовательности, по отдельности, считаются возникающими только благодаря множественности, сосуществованию, последовательности представлений. В жертву приносится непрерывность ментального потока, а вместо него проповедуется атомизм, кирпичный план построения, для существования которого не может быть приведено никаких веских интроспективных оснований и из которого впоследствии вырастают всевозможные парадоксы и противоречия, горе-исследователи ума.

Эти слова призваны опровергнуть всю английскую психологию, идущую от Локка и Юма, и всю немецкую психологию, идущую от Гербарта, в той мере, в какой обе они рассматривают "идеи" как отдельные субъективные сущности, которые приходят и уходят. Примеры скоро сделают этот вопрос более ясным. Пока же наша психологическая проницательность виктимизируется другими ловушками.

Ошибка психолога. Большой ловушкой для психолога является смешение его собственной точки зрения с точкой зрения психического факта, о котором он делает свой отчет. В дальнейшем я буду называть это "заблуждением психолога" *par excellence*. В некоторых бедах здесь также виноват язык. Психолог, как мы уже отмечали выше (с. 183), стоит вне того психического состояния, о котором он говорит. И оно само, и его объект являются для него объектами. Теперь, когда речь идет о *когнитивном* состоянии (восприятии, мысли, понятии и т. д.), у него обычно нет другого способа назвать его, кроме как мысль, восприятие и т. д. *этого объекта*. При этом сам он, зная тот же самый объект *своим* способом, легко может предположить, что мысль, которая о нем думает, знает его так же, как и он, хотя это часто очень далеко не так.^[197] Таким путем в нашу науку были введены самые вымышленные загадки. Так называемый вопрос о презентативном или репрезентативном восприятии, о том, присутствует ли объект в мысли, которая его мыслит, посредством поддельного образа самого себя или непосредственно и без всякого промежуточного образа вообще; вопрос о номинализме и концептуализме, о том, в какой форме присутствуют вещи, когда перед умом находится только общее представление о них; это сравнительно легкие вопросы, когда однажды заблуждение психолога исключается из их рассмотрения, - как мы вскоре увидим (в главе XII).

Другой разновидностью заблуждения психолога является предположение, что изучаемое психическое состояние должно осознавать себя так же, как осознает его психолог. Психическое состояние осознает себя только изнутри; оно схватывает то, что мы называем

его собственным содержанием, и ничего больше. Психолог, напротив, осознает его извне и знает его отношения со всевозможными другими вещами. То, что видит мысль, - это только ее собственный объект; то, что видит психолог, - это объект мысли, плюс сама мысль, плюс, возможно, весь остальной мир. Поэтому, обсуждая душевное состояние с точки зрения психолога, мы должны быть очень осторожны, чтобы не ввергнуть в его понимание то, что предназначено только для нас. Мы должны избегать подмены того, чем, по нашему мнению, *является* сознание, тем, чем оно *является*, и считать его внешние, так сказать физические, отношения с другими фактами мира, в числе объектов, о которых мы говорим, что оно знает. Каким бы грубым ни казалось такое смешение точек зрения при абстрактном изложении, оно, тем не менее, является ловушкой, в которую не попадает ни один психолог, и которая составляет почти весь товарный запас некоторых школ. Мы не можем быть слишком бдительными против его тонкого развращающего влияния.

Резюме. Подводя итог этой главе, можно сказать, что психология исходит из того, что мысли последовательно возникают и что они знают объекты в мире, который знает и психолог. *Эти мысли являются субъективными данными, которые он рассматривает, а их отношения к объектам, к мозгу и к остальному миру составляют предмет психологической науки.* Ее методы - интроспекция, эксперимент и сравнение. Но интроспекция не является надежным проводником истин о наших психических состояниях; в частности, бедность психологического словаря заставляет нас исключать из рассмотрения некоторые состояния и рассматривать другие так, как если бы они знали себя и свои объекты так, как знает их психолог, что является катастрофическим заблуждением в этой науке.

[187] Об отношении между психологией и общей философией см. G. C. Robertson, "Mind", vol. viii, p. 1, и J. Ward, *ibid.* p. 153; J. Dewey *ibid.* vol. ix, p. 1.

[188] Сравните некоторые замечания в "Логике" Милля, т. i, гл. iii, §§ 2, 3.

[189] Logic, § 40.

[190] Psychologie, bk. ii, chap. iii, §§ 1, 2.

[191] Cours de Philosophie Positive, i, 34-8.

[192] Огюст Конт и позитивизм, 3-е издание (1882), с. 64.

[193] Вундт говорит: "Первое правило использования внутреннего наблюдения состоит в том, чтобы брать, насколько это возможно, опыт случайный, неожиданный и не принесенный намеренно..... *Во-первых*, лучше, насколько это возможно, полагаться *на память*, а не на непосредственное восприятие..... *Во-вторых*, внутреннее наблюдение лучше приспособлено для улавливания ясно сознаваемых состояний, особенно добровольных умственных актов: такие внутренние процессы, как неясно сознаваемые и произвольные, почти полностью ускользают от него, потому что усилие наблюдения мешает им, и потому что они редко сохраняются в памяти." (Logik, ii, 432.)

[194] В подобных случаях, когда состояние переживает акт называния, существует до него и возвращается, когда оно уже прошло, мы, вероятно, практически не рискуем ошибиться, когда говорим, будто состояние знает само себя. Состояние ощущения и состояние называния ощущения непрерывны, и непогрешимость таких быстрых интроспективных

суждений, вероятно, велика. Но даже здесь уверенность в нашем знании не должна утверждаться на том *априорном* основании, что *percipi* и *esse* в психологии одно и то же. Состояний на самом деле два; состояние называния и названное состояние различны; "*percipi is esse*" - это не тот принцип, который применим.

[195] J. Mohr: Grundlage der Empirischen Psychologie (Leipzig, 1882), p. 47.

[196] В английском языке у нас нет даже родового различия между "тем, что думает" и "тем, что думает", которое в немецком языке выражается оппозицией между *Gedachtes* и *Gedanke*, а в латинском - между *cogitatum* и *cogitatio*.

[197] Сравните "Метафизику" Б. П. Боуна (1882), с. 408.

ГЛАВА VIII.

ОТНОШЕНИЯ РАЗУМА К ДРУГИМ ВЕЩАМ.

Поскольку для психологии разум - это объект в мире других объектов, необходимо рассмотреть его отношение к этим другим объектам. Прежде всего, к его

ВРЕМЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ.

Разум, как мы его знаем, - это временное существование. Имел ли мой разум существование до рождения моего тела, и будет ли он иметь его после смерти последнего - это вопросы, которые должны решаться моей общей философией или теологией, а не тем, что мы называем "научными фактами" - я опускаю факты так называемого спиритизма, поскольку они все еще являются предметом спора. Психология, как естественная наука, ограничивается настоящей жизнью, в которой каждый разум связан с телом, через которое проявляется. В настоящем мире, таким образом, разумы предшествуют, сменяют и сосуществуют друг с другом в общем вместилище времени, и об их *коллективных* отношениях с последним ничего больше сказать нельзя. Жизнь *индивидуального* сознания во времени, однако, кажется прерывистой, так что вопрос:

Бывает ли у нас полное бессознательное?

становится предметом обсуждения. Сон, обморок, кома, эпилепсия и другие "бессознательные" состояния склонны врываться и занимать значительные отрезки времени, которые мы, тем не менее, считаем психической историей одного человека. И, признавая факт прерывания, разве не возможно, что оно может существовать там, где мы о нем не подозреваем, и даже, возможно, в непрекращающейся и тонкой форме?

Это может произойти, и при этом сам субъект никогда не узнает об этом. Мы часто принимаем эфир и проводим операции, не подозревая, что наше сознание пострадало. Два конца плавно соединяются друг с другом, и только вид нашей раны убеждает нас в том, что мы, должно быть, пережили время, которого для нашего непосредственного сознания не существовало. Даже во сне такое иногда случается: Мы думаем, что не дремали, и только часы убеждают нас в том, что мы ошибаемся.[198] Таким образом, мы можем проживать реальное внешнее время, время, известное изучающему нас психологу, и при этом не *ощущать* его и не делать вывод о нем по каким-либо внутренним признакам. Вопрос в том, как часто это происходит? Действительно ли сознание прерывисто, постоянно прерывается и возобновляется (с точки зрения психолога), и кажется ли оно непрерывным только самому

себе, создавая иллюзию, подобную иллюзии зоетропа? Или же в большинстве случаев оно так же непрерывно внешне, как и внутренне?

Следует признать, что мы не можем дать строгий ответ на этот вопрос. Картезианцы, считающие, что *сущность* души заключается в мышлении, конечно, могут решить его *a priori* и объяснить появление бездумных промежутков либо провалами в нашей обычной памяти, либо погружением сознания в минимальное состояние, в котором, возможно, все, что оно ощущает, - это голое существование, не оставляющее после себя никаких деталей, которые можно было бы вспомнить. Однако если у человека нет доктрины о душе или ее сущности, он волен принимать видимость за то, чем она кажется, и признать, что разум, как и тело, может погрузиться в сон.

Локк был первым видным сторонником этой последней точки зрения, и страницы, на которых он нападает на картезианскую веру, столь же энергичны, как и все остальные в его "Эссе". "Каждый сонный кивок сотрясает их доктрины, которые учат, что их душа всегда думает". Он не верит, что люди так легко забывают. М. Жюффруа и сэр У. Гамильтон, рассматривая вопрос в том же эмпирическом ключе, приходят к противоположному выводу. Их причины, кратко изложенные, таковы:

При сомнамбулизме, естественном или вызванном, часто наблюдается большое проявление интеллектуальной активности, за которым следует полное забвение всего, что было.^[199]

Внезапно пробудившись от сна, каким бы глубоким он ни был, мы всегда застаем себя в середине сновидения. Обычные сны часто помнятся в течение нескольких минут после пробуждения, а затем безвозвратно теряются.

Часто, когда мы бодрствуем и рассеянны, нас посещают мысли и образы, которые в следующее мгновение мы не можем вспомнить.

Наша невосприимчивость к привычным шумам и т. д. во время бодрствования доказывает, что мы можем не обращать внимания на то, что, тем не менее, чувствуем. Точно так же во сне мы становимся привычными и крепко спим в присутствии ощущений звука, холода, прикосновения и т. д., которые поначалу мешали нам полностью расслабиться. Мы научились пренебрегать ими во время сна, как и во время бодрствования. Простые *ощущения одинаковы* как при глубоком сне, так и при легком; разница должна заключаться в том, что дремлющий разум *решает*, что они не стоят внимания.

Эта дискриминация в равной степени проявляется у медсестер больных и матерей младенцев, которые спят, не обращая внимания на шум, но просыпаются при малейшем шевелении пациента или младенца. Этот последний факт свидетельствует о том, что *орган чувств* чувствителен к звукам.

Многие люди обладают удивительной способностью регистрировать во сне бег времени. Они привычно просыпаются в одну и ту же минуту изо дня в день или просыпаются точно в необычный час, определенный за ночь. Как такое знание часа (зачастую более точное, чем то, которое демонстрирует бодрствующее сознание) возможно без умственной активности в этот промежуток времени?

Таковы, так сказать, классические причины признать, что разум активен даже тогда, когда человек впоследствии игнорирует этот факт.^[200] В последние годы, или, скорее, можно сказать, в последние месяцы, они были подкреплены множеством любопытных наблюдений,

сделанных на истерических и гипнотических субъектах, которые доказывают существование высокоразвитого сознания там, где до сих пор оно вообще не подозревалось. Эти наблюдения бросают такой новый свет на человеческую природу, что я должен изложить их в некоторых подробностях. То, что по крайней мере четыре разных и в определенном смысле соперничающих наблюдателя должны прийти к одному и тому же выводу, оправдывает нас в принятии этого вывода как истинного.

Бессознательное состояние у истериков.

Один из самых постоянных симптомов у людей, страдающих истерическими заболеваниями в их крайних формах, заключается в изменении естественной чувствительности различных частей и органов тела. Обычно изменения происходят в направлении дефекта, или анестезии. Один или оба глаза слепы, или дальтоники, или гемианопсия (слепота на половину поля зрения), или поле сужено. Слух, вкус, обоняние также могут исчезнуть, частично или полностью. Еще более поразительны кожные анестезии. Старые колдуны, искавшие "печати дьявола", хорошо знали о существовании этих неощутимых пятен на коже своих жертв, на которые недавно вновь обратила внимание медицина. Они могут быть разбросаны где угодно, но очень склонны поражать одну сторону тела. Нередко они поражают всю боковую половину, от головы до ног; и тогда нечувствительная кожа, скажем, левой стороны будет отделена от естественно чувствительной кожи правой стороны совершенно четкой линией демаркации по середине передней и задней части. Иногда, что особенно примечательно, вся кожа, руки, ноги, лицо, все, и слизистые оболочки, мышцы и суставы, насколько они могут быть исследованы, становятся *полностью* бесчувственными без серьезных нарушений других жизненных функций.

Эти истерические анестезии можно заставить исчезнуть более или менее полностью с помощью различных странных процессов. Недавно было обнаружено, что магниты, металлические пластины или электроды батареи, приложенные к коже, обладают этой особой силой. И когда одна сторона облегчается таким образом, часто обнаруживается, что анестезия переходит на противоположную сторону, которая до этого была в порядке. Являются ли эти странные эффекты магнитов и металлов следствием их прямого физиологического действия или предварительным воздействием на сознание пациента ("ожидание" или "внушение") - вопрос все еще спорный. Еще более эффективным средством пробуждения чувствительности является гипнотический транс, в который многие из этих пациентов могут быть очень легко введены, и в котором их утраченная чувствительность нередко полностью восстанавливается. Такие возвращения чувствительности следуют за периодами бесчувствия и чередуются с ними. Но господи Пьер Жане[201] и А. Бине[202] показали, что во время анестезии и параллельно с ней *чувствительность к анестетическим частям также присутствует, в виде вторичного сознания, полностью оторванного от первичного или нормального, но способного быть затронутым* и заставить свидетельствовать о своем существовании различными странными способами.

Главным из них является то, что М. Жане называет "методом *отвлечения*". Эти истерики склонны обладать очень узким полем внимания и не способны думать более чем об одном предмете одновременно. При разговоре с любым человеком они забывают обо всем остальном. "Когда Люси разговаривала с кем-то напрямую, - рассказывает М. Жанет, - она переставала слышать других людей. Вы можете стоять у нее за спиной, называть ее по имени, кричать ей в уши оскорбления, не заставляя ее оборачиваться; или становиться перед ней, показывать ей предметы, прикасаться к ней и т. д., не привлекая ее внимания. Когда она наконец узнает вас, она думает, что вы только что снова вошли в комнату, и

приветствует вас соответствующим образом. Эта необычная забывчивость делает ее склонной рассказывать все свои секреты вслух, не сдерживаемая присутствием неподходящих слушателей".

На нескольких подобных испытуемых М. Жане обнаружил, что если он подходил к ним сзади, когда они были погружены в разговор с третьим лицом, и обращался к ним шепотом, приказывая им поднять руку или выполнить другие простые действия, они подчинялись приказу, хотя их *говорящий* интеллект совершенно не осознавал, что получает его. Переходя от одной вещи к другой, он заставлял их отвечать знаками на его вопросы, задаваемые шепотом, и, наконец, заставлял их отвечать письменно, если в их руку клали карандаш. Первичное сознание тем временем продолжало разговор, совершенно не замечая этих действий со стороны руки. Сознание, которое руководило этими последними, в свою очередь, оказалось столь же мало обеспокоенным заботами верхнего сознания. Это *доказательство* существования вторичного сознания *при помощи "автоматического" письма* является наиболее убедительным и поразительным; но множество других фактов доказывают то же самое. Если я быстро пробежусь по ним, читатель, вероятно, убедится в этом.

Например, *внешне анестетичная рука* этих испытуемых *часто приспособливается* к любому предмету, который в нее вкладывают. С карандашом она будет делать пишущие движения; в ножницы она вложит свои пальцы и будет открывать и закрывать их, и т.д. и т.п. Первичное сознание, так сказать, между тем не в состоянии сказать, находится ли *что-нибудь* в руке или нет, если последняя скрыта от глаз. "Я вкладываю очки в анестетическую руку Леонии, эта рука открывает их и поднимает к носу, но на полпути они попадают в поле зрения Леонии, которая видит их и замирает в оцепенении: "Почему, - говорит она, - у меня в левой руке глазное стекло!" М. Бине обнаружил у некоторых испытуемых из Сальпетриера очень любопытную связь между кожей, которая, по-видимому, является анестетиком, и разумом. Предметы, помещенные в руку, не ощущались, а *мыслились* (по-видимому, в визуальных терминах) и ни в коем случае не относились испытуемым к их исходной точке в ощущениях руки. Ключ, нож, положенные в руку, вызывали *мысли* о ключе или ноже, но рука ничего не чувствовала. Точно так же испытуемый *думал* о цифрах 3, 6 и т. д., если рука или палец сгибались оператором три или шесть раз или если он поглаживал их три, шесть и т. д. раз.

У некоторых людей был обнаружен еще более странный феномен, напоминающий любопытную идиосинкразию "цветного слуха", несколько случаев которой в последнее время с большой тщательностью описаны иностранными писателями. Эти люди, а именно, *видели* впечатление, получаемое рукой, но не чувствовали его; причем увиденное никак не было связано с рукой, а скорее напоминало независимое видение, которое обычно интересовало и удивляло пациента. Когда рука была скрыта экраном, ей приказывали смотреть на другой экран и рассказывать о любом визуальном образе, который мог на него проецироваться. Затем появлялись цифры, соответствующие количеству раз, когда бесчувственный член поднимался, к нему прикасались и т. д. Цветные линии и фигуры соответствовали бы аналогичным линиям и фигурам на ладони; сама рука или ее пальцы появлялись бы при манипуляциях, и, наконец, появлялись бы предметы, помещенные в нее; но на самой руке ничего никогда не ощущалось бы. Конечно, симуляция здесь не помешает, но М. Бине не верит, что это (обычно очень поверхностное) объяснение может быть вероятным в рассматриваемых случаях.[\[203\]](#)

Обычный способ, с помощью которого врачи измеряют деликатность наших прикосновений, - это компасные точки. Две точки обычно ощущаются как одна, если они находятся слишком близко друг к другу, чтобы их можно было различить; но то, что "слишком близко" на одном участке кожи, может казаться очень далеким друг от друга на другом. На середине спины или на бедре менее 3 дюймов могут быть слишком близки друг к другу; на кончике пальца десятая часть дюйма достаточно далека друг от друга. Теперь, при проверке таким образом, с обращением к первичному сознанию, которое говорит через рот и, кажется, держит поле в одиночку, кожа определенного человека может быть полностью анестетичной и не чувствовать компасных точек вообще; и все же эта же кожа окажется совершенно нормальной, если обратиться к другому вторичному или подсознанию, которое выражает себя автоматически письмом или движениями руки. М. Бине, М. Пьер Жане и М. Жюль Жане обнаружили это. Испытуемая, когда к ней прикасались, обозначала "одну точку" или "две точки" так же точно, как если бы она была нормальным человеком. Она обозначала бы это только этими движениями; и сами движения ее первичного "я" были бы так же бессознательны, как и факты, которые они обозначали, поскольку то, что погруженное сознание заставляет руку делать автоматически, неизвестно сознанию, которое использует рот.

Г-да Бернгейм и Питрес также доказали с помощью наблюдений, слишком сложных, чтобы приводить их в этом месте, что истерическая слепота вовсе не является настоящей слепотой. Глаз истерика, который полностью слеп, когда другой или видящий глаз закрыт, будет прекрасно видеть, когда оба глаза открыты вместе. Но даже если оба глаза полуслепы от истерического заболевания, метод автоматического письма доказывает, что их восприятие существует, только отрезано от связи с верхним сознанием. М. Бине обнаружил, что рука его пациентов бессознательно записывает слова, которые их глаза тщетно пытались "увидеть", то есть донести до верхнего сознания. Их погруженное сознание, конечно, видело их, иначе рука не смогла бы написать так, как она это сделала. Подобным образом цвета воспринимаются подсознанием, которое истерически слепые глаза не могут довести до нормального сознания. Уколы, ожоги и щипки на коже в состоянии анестезии, которые верхнее "я" не замечает, вспоминаются, как перенесенные, и на них жалуются, как только нижнее "я" получает возможность выразить себя при введении субъекта в гипнотический транс.

Поэтому следует признать, что, по крайней мере, *у некоторых людей общее возможное сознание может быть разделено на части, которые сосуществуют, но взаимно игнорируют друг друга*, и делят между собой объекты познания. Что еще более примечательно, они *дополняют друг друга*. Дайте объект одному из сознаний, и тем самым вы лишите его другого или других. За исключением некоторого общего фонда информации, например владения языком и т. д., то, что знает верхнее "я", неведомо нижнему, и *наоборот*. М. Жане прекрасно доказал это на примере своей Люси. Следующий эксперимент послужит примером для остальных: В состоянии транса он накрыл ее колени картами, на каждой из которых было написано число. Затем он сказал ей, что при пробуждении она *не должна увидеть* ни одной карты, номер которой был бы кратен трем. Это обычное так называемое "постгипнотическое внушение", которое сейчас хорошо известно и для которого Люси была хорошо приспособлена. Соответственно, когда ее разбудили и спросили о бумажках на коленях, она пересчитала и сказала, что видит только те, чей номер не кратен 3. К 12, 18, 9 и т. д. она была слепа. Но *рука*, когда подсознательное "я" было допрошено обычным методом вовлечения верхнего "я" в другой разговор, написала, что на коленях Люси лежали только карты с номерами 12, 18, 9 и т. д., и на просьбу поднять все карты, которые там были, подняла эти, а остальные оставила лежать. Точно так же, когда подсознанию Люси предлагалось

увидеть определенные вещи, нормальная Люси вдруг становилась частично или полностью слепой. "В чем дело? Я не вижу!" - внезапно воскликнула нормальная личность посреди своего разговора, когда М. Жане шепнула вторичной личности, чтобы она воспользовалась своими глазами. Анестезии, параличи, схватки и другие нарушения, от которых страдают истерики, объясняются тем, что их вторичная личность обогатилась, лишив первичную функции, которую та должна была сохранить. Лечебные показания очевидны: возьмитесь за вторичную личность, с помощью гипноза или любым другим способом, и заставьте ее *отдать* глаз, кожу, руку или любую другую пораженную часть. После этого нормальное "я" вновь обретает владение, видит, чувствует или может двигаться. Таким образом мсье Жюль Жане легко излечил известную сальпетерианку Вит.... от всевозможных недугов, которые, пока он не открыл секрет ее глубокого транса, было трудно усмирить. "Cessez cette mauvaise plaisanterie", - сказал он вторичному "я", и оно повиновалось. То, как различные личности делят между собой запас возможных ощущений, забавно иллюстрирует эта молодая женщина. Когда она бодрствует, ее кожа нечувствительна везде, кроме зоны на руке, где она обычно носит золотой браслет. Эта зона имеет ощущения; но в глубочайшем трансе, когда все остальное тело чувствует, эта конкретная зона становится абсолютно анестетичной.

Иногда взаимное незнание "я" приводит к достаточно странным инцидентам. Действия и движения, совершаемые подсознательным "я", отстраняются от сознательного, и субъект совершает всевозможные несочетаемые вещи, о которых он остается в полном неведении. "Я приказываю Люси [методом *отвлечения внимания*] сделать *pied de nez*, и ее руки немедленно переходят к кончику носа. На вопрос, что она делает, она отвечает, что ничего не делает, и долго продолжает говорить, не подозревая, что ее пальцы движутся перед носом. Я заставляю ее ходить по комнате; она продолжает говорить и считает, что сидит".

М. Джанет наблюдала подобные действия у мужчины в алкогольном делирии. Пока доктор допрашивал его, М. Ж. шепотом заставляла его ходить, сидеть, стоять на коленях и даже ложиться лицом на пол, при этом он все время верил, что стоит рядом со своей кроватью. Подобные *странности* кажутся невероятными, пока человек не увидит их. Давным-давно, сам того не понимая, я увидел небольшой пример того, как знания человека могут быть разделены между двумя "я". Молодая женщина, которая писала автоматически, сидела с карандашом в руке, пытаясь по моей просьбе вспомнить имя джентльмена, которого она когда-то видела. Она смогла вспомнить только первый слог. Тем временем ее рука без ее ведома записала два последних слога. У совершенно здорового молодого человека, который может писать с помощью планшета, я недавно обнаружил, что рука полностью анестезирована во время письма; я мог сильно уколоть ее, и субъект не знал об этом. Однако *пишущий на планшете* в резких выражениях обвинял меня в том, что я повредил руку. Между тем уколы *другой* (непишущей) руки, вызывавшие бурный протест голосовых органов молодого человека, отрицались тем "я", которое заставляло планшет двигаться. [204]

Точно такие же результаты мы получаем при так называемом постгипнотическом внушении. Хорошо известно, что некоторые испытуемые, которым во время транса говорят совершить какое-либо действие или испытать галлюцинацию после пробуждения, когда приходит время, подчиняются команде. Как регистрируется команда? Как ее выполнение так точно приурочено? Эти проблемы долгое время оставались загадкой, ведь первичная личность ничего не помнит ни о трансе, ни о внушении, и часто придумывает импровизированный предлог, чтобы поддаться безотчетному импульсу, который овладевает человеком так внезапно и которому он не может сопротивляться. Эдмунд Гурни первым обнаружил с помощью автоматического письма, что вторичное "я" бодрствует, постоянно

фиксируя свое внимание на команде и ожидая сигнала к ее выполнению. Некоторые субъекты транса, которые также были автоматическими писателями, когда их выводили из транса и сажали к планшету, - не зная, что они пишут, а их верхнее внимание было полностью занято чтением вслух, разговорами или решением задач по ментальной арифметике, - записывали полученные приказы вместе с примечаниями относительно времени, которое прошло, и времени, которое еще должно пройти до исполнения.^[205] Поэтому такие действия не являются "автоматизмом" в механическом смысле: ими руководит "я", разделенное, ограниченное и похороненное, но все же полностью осознанное "я". Более того, похороненная самость часто выходит на поверхность и изгоняет другую самость во время совершения актов. Другими словами, субъект снова впадает в транс, когда наступает момент исполнения, и впоследствии не помнит о совершенном им действии. Гурни и Бонис установили этот факт, который с тех пор был подтвержден в широких масштабах; Гурни также показал, что пациент снова становился *внушаемым* в течение короткого времени исполнения. Наблюдения М. Джанет, в свою очередь, хорошо иллюстрируют этот феномен.

"Я говорю Люси, чтобы она держала руки поднятыми после пробуждения. Едва она приходит в нормальное состояние, как ее руки поднимаются над головой, но она не обращает на них никакого внимания. Она идет, едет, разговаривает, держа руки высоко в воздухе. Если ее спрашивают, что делают ее руки, она удивляется такому вопросу и очень искренне отвечает: "Мои руки ничего не делают, они такие же, как ваши"... Я приказываю ей плакать, и, проснувшись, она действительно рыдает, но продолжает среди своих слез говорить о весьма светских вещах. После рыданий не осталось и следа от этого горя, которое, похоже, было совершенно подсознательным".

Первичное "я" часто вынуждено придумывать галлюцинации, чтобы замаскировать и скрыть от собственного взгляда поступки, которые совершает другое "я". Леония 3^[206] пишет настоящие письма, в то время как Леония 1 считает, что она вяжет; или Люси 2 действительно приходит к врачу, в то время как Люси 1 считает, что она дома. Это своего рода бред. Алфавит или ряд цифр, переданные вниманию вторичного персонажа, могут на время потеряться для нормального "я". В то время как рука пишет алфавит, повинаясь команде, "субъект", к своему великому оцепенению, оказывается не в состоянии вспомнить его и т. д. Мало что может быть более любопытным, чем эти отношения взаимного исключения, в которых существуют все градации между несколькими частичными сознаниями.

Насколько это расщепление разума на отдельные сознания может существовать в каждом из нас - это проблема. М. Жане считает, что оно возможно только при наличии аномальной слабости и, следовательно, дефекта объединяющей или координирующей силы. Истеричная женщина отказывается от части своего сознания, потому что она слишком слаба нервно, чтобы удержать его вместе. Отказанная часть тем временем может затвердеть во вторичном или подсознательном "я". У совершенно здорового субъекта, напротив, то, что выпадает из сознания в один момент, возвращается в следующий. Весь фонд опыта и знаний остается единым целым, и никакие его разрозненные части не могут организовать достаточно стабильно, чтобы сформировать подчиненные "я". Стабильность, монотонность и тупость этих последних часто очень поразительна. Постгипнотическое подсознание, кажется, не думает ни о чем, кроме приказа, который оно получило в последний раз; каталептическое подсознание - ни о чем, кроме последней позиции, запечатленной на конечности. М. Жане смог вызвать у двух своих испытуемых определенно ограниченное

покраснение и отек кожи, внушив им в гипнозе галлюцинацию горчичного припарка какой-либо особой формы. "J'ai tout le temps pensé à votre sinapisme", - говорит испытуемый, когда его снова вводят в транс после того, как внушение подействовало. Мужчина Н., которого М. Джанет оперировала с большими перерывами, в промежутках был подвергнут вмешательству другого оператора, а когда М. Джанет снова погрузила его в сон, сказал, что он "слишком далеко, чтобы получать приказы, находится в Алжире". Другой оператор, предложив эту галлюцинацию, забыл убрать ее, прежде чем вывести субъекта из транса, и бедная пассивная трансовая личность на несколько недель застряла в застойном сне. Подсознательные представления Леонии были проиллюстрированы звонившему ей человеку "*pied de nez*", выполненным левой рукой во время разговора, и когда год спустя она снова встретила его, та же рука снова поднялась к носу, причем нормальная Леония не подозревала об этом.

Все эти факты, взятые вместе, несомненно, являются началом исследования, которому суждено пролить новый свет на самые бездны нашей природы. Именно по этой причине я так подробно цитирую их в этой первой главе книги. Они убедительно доказывают одно, а именно: *мы никогда не должны принимать свидетельство человека, каким бы искренним оно ни было, о том, что он ничего не чувствовал, как доказательство того, что никаких чувств не было.* Оно могло быть частью сознания "вторичного человека", о переживаниях которого первичный человек, с которым мы советуемся, естественно, не может дать никакого отчета. У гипнотических субъектов (как мы увидим в следующей главе) так же легко парализовать движение или член простым внушением, так же легко произвести то, что называется систематизированной анестезией, словом команды. Систематизированная анестезия означает нечувствительность не к какому-то одному элементу вещей, а к какой-то одной конкретной вещи или классу вещей. Испытуемого делают слепым или глухим к определенному человеку в комнате и ни к кому другому, и после этого он отрицает, что этот человек присутствует, говорит и т. д. В качестве примера можно привести Люси М. П. Джанет, ослепшую к некоторым пронумерованным карточкам, лежащим у нее на коленях (стр. 207 выше). Когда объект прост, например, красная облатка или черный крест, субъект, хотя и отрицает, что видит его, когда смотрит прямо на него, тем не менее получает "негативное послеображение", когда снова смотрит в сторону, показывая, что *оптическое впечатление* от него было получено. Более того, рефлексия показывает, что такой субъект должен отличать объект от других подобных ему, чтобы быть слепым по отношению к нему. Сделайте его слепым по отношению к одному человеку в комнате, поставьте всех людей в ряд и попросите его сосчитать их. Он сосчитает всех, кроме этого одного. Но как он сможет определить, *кого из них не считать*, не узнав, кто это? Таким же образом сделайте росчерк на бумаге или доске и скажите ему, что его там нет, и он не увидит ничего, кроме чистой бумаги или доски. Затем (он не смотрит) окружите первоначальный штрих другими точно такими же штрихами и спросите его, что он видит. Он укажет один за другим все новые штрихи и каждый раз будет опускать оригинальный, независимо от того, насколько многочисленны новые штрихи и в каком порядке они расположены. Точно так же, если первоначальный штрих, к которому он слеп, *удвоить* с помощью призмы в шестнадцать градусов, помещенной перед одним из его глаз (оба остаются открытыми), он скажет, что теперь видит *один* штрих, и укажет направление, в котором лежит изображение, видимое через призму, игнорируя первоначальный штрих.

Очевидно, что он не слеп ни в малейшей степени к виду штриха. Он слеп только к одному отдельному штриху такого рода в определенном положении на доске или бумаге - то есть к

определенному сложному объекту; и, как ни парадоксально это звучит, он должен с большой точностью отличать его от других, подобных ему, чтобы оставаться слепым к нему, когда другие приближаются. Он различает его, предварительно не видя его вообще.

Опять же, когда с помощью призмы перед одним глазом невидимая ранее линия становится видимой для этого глаза, а другой глаз после этого закрывается или экранируется, его закрытие ничего не меняет; линия все равно остается видимой. Но если призму убрать, то линия исчезнет даже для того глаза, который мгновение назад ее видел, и оба глаза вернутся в свое первоначальное слепое состояние.

Таким образом, в этих случаях мы имеем дело не со слепотой глаза как такового и не с простой неспособностью замечать, а с чем-то гораздо более сложным, а именно с активным подсчетом и позитивным исключением определенных объектов. Это похоже на то, как человек "обрывает" знакомство, "игнорирует" претензии или "отказывается поддаваться влиянию" соображений. Но воспринимающая деятельность, которая приводит к такому результату, отделена от сознания, которое, так сказать, лично для субъекта, и делает из объекта, относительно которого делается внушение, свое собственное частное владение и добычу.[207]

У матери, которая засыпает от любого звука, кроме шевеления своего ребенка, очевидно, систематически бодрствует младенческая часть слуховой чувствительности. Относительно этого, остальная часть ее разума находится в состоянии систематизированной анестезии. Этот отдел, отделенный от спящей части, тем не менее может разбудить ее в случае необходимости. Так что в целом спор между Декартом и Локком о том, спит ли разум вообще, менее близок к разрешению, чем когда-либо. На *априорных* спекулятивных основаниях мнение Локка о том, что мысли и чувства могут временами полностью исчезать, кажется более правдоподобным. Как железы перестают выделять секрет, а мышцы сокращаться, так и мозг должен иногда переставать проводить токи, и с этим минимумом его активности вполне может сосуществовать минимум сознания. С другой стороны, мы видим, насколько обманчива внешность, и вынуждены признать, что часть сознания может разорвать свои связи с другими частями и при этом продолжать существовать. В целом лучше воздержаться от выводов. Наука ближайшего будущего, несомненно, ответит на этот вопрос более мудро, чем мы можем сейчас.

Теперь давайте обратимся к рассмотрению

ОТНОШЕНИЯ СОЗНАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ.

Это проблема, известная в истории философии как *вопрос о месте пребывания души*. Она породила много литературы, но мы сами должны рассмотреть ее очень кратко. Все зависит от того, какой мы представляем себе душу - расширенной или нерасширенной сущностью. Если первое, то она может занимать место. Если второе, то нет; хотя есть мнение, что и в этом случае она может занять *место*. Много споров возникло по поводу возможности того, что нерасширенная вещь все же *присутствует* на протяжении некоторой протяженности. Мы должны различать виды присутствия. В некотором роде наше сознание "присутствует" во всем, с чем оно находится в отношениях. Я *когнитивно* присутствую в Орионе всякий раз, когда воспринимаю это созвездие, но я не присутствую там *динамически*, я не произвожу никаких эффектов. Для моего мозга, однако, я динамически присутствую, поскольку мои мысли и чувства как бы реагируют на его процессы. Если, таким образом, под местом обитания разума подразумевается не что иное, как местность, с которой он находится в

непосредственных динамических отношениях, то мы, несомненно, будем правы, утверждая, что его местонахождение находится где-то в коре головного мозга. Декарт, как известно, считал, что непротяженная душа находится непосредственно в шишковидной железе. Другие, как Лотце в ранние годы и В. Фолькманн, считают, что ее местоположение должно быть в какой-то точке бесструктурной матрицы анатомических элементов мозга, в которой, как они полагают, все нервные токи могут пересекаться и соединяться. Схоластическая доктрина гласит, что душа полностью присутствует как в целом, так и в каждой части тела. Этот способ присутствия объясняется нерасширенной природой души и ее простотой. Две протяженные сущности могли бы соотноситься в пространстве друг с другом, только часть к части, но не так душа, у которой нет частей, соотносится с телом. Сэр В. Гамильтон и профессор Боуэн отстаивают нечто подобное этой точке зрения. И. Х. Фихте, Ульрици и, среди американских философов, мистер Дж. Э. Уолтер, [208] считают душу принципом, заполняющим пространство. Фихте называет ее внутренним телом, Ульрици уподобляет ее жидкости немолекулярного состава. Эти теории напоминают современные "теософские" доктрины и возвращают нас в те времена, когда душа как носитель сознания не отделялась, как сейчас, от жизненного принципа, управляющего формированием тела. Платон отводил голову, грудь и живот бессмертному разуму, мужеству и аппетитам, как места их обитания соответственно. Аристотель утверждает, что единственным местом обитания является сердце. В других местах мы находим кровь, мозг, легкие, печень, почки и т. д., которые в свою очередь назначаются местом обитания всей или части души. [209]

Дело в том, что если принцип мышления протяжен, то мы не знаем ни его формы, ни его места; если же он не протяжен, то абсурдно говорить о том, что у него вообще есть какие-либо пространственные отношения. Пространственные отношения, как мы увидим далее, являются *чувственными* вещами. Единственные объекты, которые могут иметь взаимные отношения положения, - это объекты, которые воспринимаются сосуществующими в одном и том же ощущаемом пространстве. Вещь, не воспринимаемая вообще, каковой должна быть непротяженная душа, не может сосуществовать с какими-либо воспринимаемыми объектами таким образом. От нее к другим объектам не может быть протянуто никаких линий. Она не может быть конечной точкой какого-либо пространственного интервала. Поэтому она не может в каком-либо разумном смысле наслаждаться положением. Его отношения не могут быть пространственными, но должны быть исключительно познавательными или динамическими, как мы видели. Поскольку они динамичны, говорить о том, что душа "присутствует", - лишь фигура речи. Доктрина Гамильтона о том, что душа присутствует во всем теле, во всяком случае, ложна: ведь когнитивно ее присутствие простирается далеко за пределы тела, а динамически она не выходит за пределы мозга. [210]

ОТНОШЕНИЯ РАЗУМА К ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ

это либо отношения к *другим умам*, либо к *материальным вещам*. Материальные вещи - это либо *собственный мозг* разума, с одной стороны, либо *что-либо еще*, с другой. Отношения разума к его собственному мозгу имеют уникальный и совершенно загадочный характер; мы обсуждали их в двух последних главах и ничего не можем добавить к этому рассказу.

Отношения разума к другим объектам, кроме мозга, - это исключительно *когнитивные и эмоциональные* отношения, насколько нам известно. Он *знает* о них, внутренне *приветствует или отвергает* их, но не имеет с ними никаких других дел. Когда он, кажется, *действует* на них, то делает это только через посредничество своего тела, так что не он, а тело действует на них, и мозг должен сначала действовать на тело. То же самое верно, когда другие вещи кажутся действующими на него - они действуют только на тело, а через него - на мозг. [211] Все, что он *может* делать *непосредственно*, - это знать другие

вещи, ошибочно знать или игнорировать их, и обнаружить, что они интересуют его, в той или иной мере.

Отношения познания - самая загадочная вещь в мире. Если мы спросим, как одна вещь *может* знать другую, мы окажемся в самом сердце *Erkenntnisstheorie* и метафизики. Психолог, со своей стороны, не рассматривает этот вопрос так любопытно. Находя перед собой мир, который он не может не верить, что знает, и задаваясь целью изучить свои собственные прошлые мысли или чужие мысли о том, что он считает тем же самым миром; он не может не прийти к выводу, что эти другие мысли знают его по своему образцу так же, как он знает его по своему. Знание становится для него конечным отношением, которое должно быть признано, независимо от того, объяснимо оно или нет, подобно различию или сходству, которые никто не пытается объяснить.

Если бы нашей темой был Абсолютный разум, а не конкретные разумы индивидов, обитающих в мире природы, мы не смогли бы сказать, обладает ли этот разум функцией знания или нет, как обычно понимается знание. Мы могли бы узнать характер его мыслей; но, поскольку у нас не было бы реальностей вне его, с которыми мы могли бы их сравнить, - ведь если бы они у нас были, Разум не был бы Абсолютным, - мы не могли бы критиковать их и считать их правильными или неправильными; и нам пришлось бы называть их просто мыслями, а не *знаниями* Абсолютного Разума. Конечные умы, однако, можно оценивать по-другому, потому что сам психолог может поручиться за независимую реальность объектов, о которых он думает. Он знает, что они существуют как вне, так и внутри рассматриваемых умов; таким образом, он знает, думают ли эти умы и *знают*, или только думают; и хотя его знание, конечно, является знанием ошибочного смертного, нет ничего в условиях, что могло бы сделать его более вероятным ошибиться в этом случае, чем в любом другом.

Итак, с помощью каких тестов психолог решает, является ли изучаемое им состояние ума частью знания или только субъективным фактом, не относящимся ни к чему внешнему?

Он использует тесты, которые мы все практически используем. Если душевное состояние *напоминает* его собственное представление об определенной реальности; или если, не будучи похожим на его представление о ней, оно, кажется, подразумевает эту реальность и отсылает к ней, воздействуя на нее через телесные органы; или даже если оно напоминает и действует на какую-то другую реальность, которая подразумевает, ведет к первой и завершается ею, - в любом из этих случаев или во всех них психолог признает, что душевное состояние познает, прямо или отдаленно, отчетливо или смутно, истинно или ложно, природу реальности и ее положение в мире. Если же исследуемое психическое состояние не напоминает ни одну из известных психологу реальностей и не действует на них, он называет его чистым и простым субъективным состоянием, не обладающим никакой познавательной ценностью. Если же оно напоминает реальность или набор реальностей, как он их знает, но совершенно не действует на них или не изменяет их ход, производя телесные движения, которые психолог видит, то психолог, как и все мы, может сомневаться. Пусть, например, психическое состояние возникает во время сна его субъекта. Пусть последнему приснится смерть некоего человека, и пусть этот человек одновременно умрет. Является ли сон простым совпадением или реальным познанием смерти? Такие загадочные случаи собирают общества "психических исследований" и пытаются интерпретировать их наиболее разумным образом.

Если сон был единственным подобным сном в жизни испытуемого, если контекст смерти во сне во многом отличался от контекста реальной смерти и если сон не привел ни к каким действиям по поводу смерти, то, несомненно, мы все должны назвать его странным

совпадением и ничем более. Но если смерть в сновидении имела длинный контекст, согласующийся с каждой чертой, которая присутствовала в реальной смерти; Если бы субъекту постоянно снились подобные сны, все одинаково прекрасные, и если бы по пробуждении он имел привычку сразу же действовать так, как если бы они были правдой, и таким образом "заводить" своих более медлительных соседей, - мы, вероятно, все должны были бы признать, что он обладает какой-то таинственной способностью к ясновидению, что его сны непостижимым образом знают именно те реалии, которые они представляют, и что слово "совпадение" не может затронуть корень дела. И какие бы сомнения ни оставались у кого-либо, они полностью исчезли бы, если бы выяснилось, что, находясь в своем сне, он способен *вмешиваться* в ход реальности и заставляя события в ней разворачиваться так или иначе, как ему снится. Тогда, по крайней мере, можно будет с уверенностью сказать, что он и психолог имеют дело с *одним и тем же*. Именно с помощью подобных тестов мы убеждаемся, что бодрствующее сознание наших товарищей и наше собственное сознание познают один и тот же внешний мир.

Отношение психолога к познанию будет настолько важным в дальнейшем, что мы не должны оставлять его до тех пор, пока оно не станет совершенно ясным. *Это абсолютный дуализм*. Он предполагает наличие двух элементов - познающего разума и познаваемой вещи - и рассматривает их как несводимые друг к другу. Ни один из них не выходит из себя и не входит в другой, ни один из них ни в коей мере *не является* другим, ни один из них не *делает* другого. Они просто стоят лицом к лицу в общем мире, и одно просто знает, или известно своей противоположности. Это уникальное отношение не может быть выражено в более низких терминах или переведено в более понятное название. Какой-то *сигнал* должен быть подан вещью мозгу, иначе познание не произойдет - мы обнаруживаем, что само по себе *существование* вещи вне мозга не является достаточной причиной для ее познания: чтобы быть познанной, она должна каким-то образом поразить мозг, а также находиться там. Но если мозг поражен, то знание образует новую конструкцию, которая полностью возникает в сознании. Вещь остается той же самой, независимо от того, известна она или нет.^[212] А когда знание однажды появилось, оно может оставаться там, что бы ни случилось с вещью.

Древние, а возможно, и сегодняшние нерелексирующие люди объясняли знание как *проникновение* чего-то извне в разум - последний, по крайней мере, в части его чувственных привязанностей, пассивен и восприимчив. Но даже при простом чувственном внушении должно происходить дублирование объекта путем внутреннего конструирования. Рассмотрим вместе с профессором Боуном, что происходит, когда два человека разговаривают вместе и знают мысли друг друга.

"Ни одна мысль не покидает ум одного и не переходит в ум другого. Когда мы говорим об обмене мыслями, даже самый грубый ум понимает, что это всего лишь фигура речи..... Чтобы воспринять чужую мысль, мы должны сконструировать ее в себе;... эта мысль - наша собственная и принадлежит нам строго изначально. В то же время мы обязаны ею другому; и если бы она не возникла у него, то, вероятно, не возникла бы и у нас. Но что же сделал другой?... Вот что: благодаря совершенно таинственному миропорядку говорящий способен произвести ряд знаков, совершенно не похожих на [мысль], но которые, в силу того же таинственного порядка, действуют как ряд побуждений на слушателя, так что он конструирует в себе соответствующее психическое состояние. Действие говорящего состоит в том, чтобы воспользоваться соответствующими стимулами. Действия слушателя

немедленно являются лишь реакцией души на подстрекательство..... Все общение между конечными умами имеет такой вид..... Вероятно, ни один размышляющий человек не станет отрицать этот вывод, но когда мы скажем, что то, что верно в отношении восприятия чужой мысли, в равной степени верно и в отношении восприятия внешнего мира в целом, многие умы будут склонны сомневаться, а немногие и вовсе будут отрицать это. Тем не менее, нет иного выхода, кроме как утверждать, что для восприятия Вселенной мы должны построить ее в мыслях, и что наше знание о Вселенной - это лишь разворачивание внутренней природы разума..... Описывая разум как восковую скрижаль, а вещи - как отпечатки на ней, мы, кажется, получаем большое понимание, пока нам не приходит в голову спросить, где находится эта протяженная скрижаль, и как вещи отпечатывают себя на ней, и как можно объяснить действие восприятия, даже если бы они это делали..... Непосредственными предшественниками ощущений и восприятия является ряд нервных изменений в мозге. Все, что мы знаем о внешнем мире, проявляется только в этих нервных изменениях и через них. Но они совершенно не похожи на те объекты, которые предполагаются в качестве их причин. Если бы мы могли представить себе разум на свету и в непосредственном контакте с его объектами, воображение, по крайней мере, было бы успокоено; но когда мы представляем себе, что разум вступает в контакт с внешним миром только в темной камере черепа, и то не в контакте с воспринимаемыми объектами, а только с серией нервных изменений, о которых, кроме того, он ничего не знает, становится ясно, что объект находится далеко. Все разговоры о картинах, впечатлениях и т. д. прекращаются за отсутствием всех условий для придания таким фигурам какого-либо значения. Неясно даже, сможем ли мы когда-нибудь снова выбраться из темноты в мир света и реальности. Мы начинаем с полного доверия к физике и чувствам, и нас тут же уводят от объекта в нервный лабиринт, где объект полностью вытесняется набором нервных изменений, которые совершенно не похожи ни на что, кроме самих себя. Наконец, мы приземляемся в темной камере черепа. Объект полностью исчез, а знание еще не появилось. Нервные знаки являются сырьем для всех знаний о внешнем мире в соответствии с самым решительным реализмом. Но для того, чтобы выйти за пределы этих знаков и познать внешний мир, мы должны создать интерпретатора, который будет перечитывать эти знаки в их объективном значении. Но этот интерпретатор, опять же, должен неявно содержать смысл вселенной в себе; и эти знаки на самом деле являются лишь возбуждениями, которые заставляют душу раскрыть то, что находится в ней самой. Поскольку, по общему согласию, душа общается с внешним миром только через эти знаки и никогда не приближается к объекту ближе, чем его могут приблизить такие знаки, из этого следует, что принципы интерпретации должны находиться в самом разуме и что возникающая конструкция является прежде всего лишь выражением собственной природы разума. Всякая реакция такого рода; она выражает природу реагирующего агента, и знание относится к той же категории, и этот факт заставляет нас либо признать заранее установленную гармонию между законами и природой мысли и законами и природой вещей, либо допустить, что объекты восприятия, вселенная, как она представляется, являются чисто феноменальными, будучи лишь способом, которым разум реагирует на почву своих ощущений."[213]

Дуализм объекта и субъекта и их заранее установленная гармония - вот что должен принять психолог как таковой, какую бы скрытую монистическую философию он ни имел в запасе как индивид, имеющий право быть также метафизиком. Я надеюсь, что эта общая мысль теперь ясна, так что мы можем оставить ее и перейти к некоторым различиям в деталях.

В широком и практическом смысле различают *два вида знания*: мы можем назвать их соответственно *знанием о знакомстве* и *знанием о знании*. Большинство языков выражают это различие; так, *γινῶναι, εἰδέναι; noscere, scire; kennen, wissen; connaître, savoir*.^[214] Я знаком со многими людьми и вещами, о которых я знаю очень мало, кроме их присутствия в тех местах, где я их встречал. Я знаю синий цвет, когда вижу его, и вкус груши, когда пробую ее на вкус; я знаю дюйм, когда провожу по нему пальцем; секунду времени, когда чувствую, как она проходит; усилие внимания, когда делаю его; разницу между двумя вещами, когда замечаю ее; но о внутренней природе этих фактов или о том, что делает их такими, какие они есть, я не могу сказать вообще ничего. Я не могу познакомить с ними никого, кто еще не познакомился с ними сам. Я не могу *описать* их, заставить слепого угадать, на что похож синий цвет, дать ребенку определение силлогизма или сказать философу, в каком отношении расстояние является именно тем, что оно есть, и отличается от других форм отношений. Самое большее, что я могу сказать своим друзьям: "Идите в определенные места и действуйте определенным образом, и эти объекты, вероятно, появятся". Все элементарные природы мира, его высшие роды, простые качества материи и разума, вместе с видами отношений, которые существуют между ними, должны быть либо не известны вообще, либо известны этим бессловесным способом знакомства без *знания-об*. В умах, способных говорить, правда, есть *некоторое* знание обо всем. Вещи можно, по крайней мере, классифицировать и определить время их появления. Но в целом, чем меньше мы анализируем вещь и чем меньше ее отношений мы воспринимаем, тем меньше мы о ней знаем и тем больше наше знакомство с ней носит характер знакомства. Таким образом, эти два вида знания, как их практически использует человеческий разум, являются относительными понятиями. То есть одна и та же мысль о вещи может называться знанием о ней в сравнении с более простой мыслью или знакомством с ней в сравнении с мыслью о ней, которая еще более артикулирована и эксплицитна.

Грамматическое предложение выражает это. Его "субъект" обозначает объект знакомства, который, благодаря добавлению предиката, должен получить нечто известное о нем. Мы можем уже многое знать, когда слышим, что объект назван - его имя может иметь богатые коннотации. Но, много или мало мы знаем тогда, мы знаем еще больше, когда предложение закончено. Мы можем по желанию вернуться в состояние простого знакомства с объектом, рассеяв свое внимание и уставившись на него в пустоте, похожей на транс. Мы можем подняться до знания о нем, собравшись с духом и начав замечать, анализировать и думать. То, с чем мы только знакомимся, лишь *присутствует* в нашем сознании; мы *имеем* его или представление о нем. Но когда мы знаем о нем, мы не просто обладаем им; мы как бы обдумываем его отношения, подвергаем его своего рода *обработке* и *воздействуем* на него нашей мыслью. Слова "*чувство*" и "*мысль*" выражают антитезу. Через чувства мы знакомимся с вещами, но только через мысли мы узнаем о них. Чувства - это зародыш и отправная точка познания, мысли - развитое дерево. Минимум грамматического субъекта, объективного присутствия, реальности, о которой известно, простое начало познания, должен быть назван словом, которое говорит меньше всего. Таким словом является междометие, как *lo! there! ecco! voilà!* или артикль или демонстративное местоимение, вводящее предложение, как *the, it, that*. В [главе XII](#) мы немного углубимся в то, что означает это различие между простым ментальным наличием или ощущением объекта и мышлением о нем.

К ментальным состояниям, которые обычно выделяют как чувства, относятся *эмоции* и *ощущения*, которые мы получаем от кожи, мышц, сосудов, глаз, ушей, носа и нёба. Мысли",

как принято говорить, - это *представления* и *суждения*. Когда мы будем рассматривать эти ментальные состояния в частности, нам придется сказать несколько слов о познавательной функции и ценности каждого из них. Возможно, будет не лишним заметить, что наши органы чувств дают нам лишь знакомство с фактами тела, а о психических состояниях других людей мы имеем лишь концептуальное знание. О наших собственных прошлых душевных состояниях мы узнаем особым образом. Они являются "объектами памяти" и кажутся нам наделенными некой теплотой и близостью, из-за чего их восприятие больше похоже на процесс ощущения, чем на мысль.

[198] Г-да Пейтон Спенс (Journal of Spec. Phil., x, 338, xiv, 286) и М. М. Гарвер (Amer. Jour. of Science, 3d series, xx, 189) утверждают, один из них умозрительно, другой - экспериментально, что, поскольку физическим условием сознания являются нейронные вибрации, само сознание должно постоянно прерываться бессознательностью - примерно пятьдесят раз в секунду, по мнению Гарвера.

[199] То, что видимость психической деятельности здесь реальна, можно доказать, предложив "загипнотизированному" сомнамбуле вспомнить, когда он проснется. Впоследствии он часто так и делает.

[200] Подробнее см. Малебранш, Речь о вере, кн. iii, гл. I; Дж. Локк, Очерк о Г. У., кн. iii, гл. I; К. Вольф, Psychol. rationalis, § 59; сэр В. Гамильтон, Лекции по метафизике, лекция xvii; Дж. Баском, Наука разума, § 12; Th. Jouffroy, Mélanges Philos., "du Sommeil"; H. Holland, Chapters on Mental Physiol., p. 80; B. Brodie, Psychol. Researches, p. 147; E. M. Chesley, Journ. of Spec. Phil., vol. xi, p. 72; Th. Ribot, Maladies de la Personnalité, pp. 8-10; H. Lotze, Metaphysics, § 533.

[201] L'Automatisme Psychologique, Paris, 1889, *passim*.

[202] См. его статьи в "Чикагском открытом суде" за июль, август и ноябрь 1889 года. Также в Revue Philosophique за 1889 и 90 годы.

[203] Весь этот феномен показывает, как идея, остающаяся за порогом определенного сознательного "я", может вызывать в нем ассоциативные эффекты. Кожные ощущения, не ощущаемые первичным сознанием пациента, тем не менее, пробуждают в нем своих обычных визуальных ассоциатов.

[204] См. Труды Американского общества психологических исследований. Research, vol. i, p. 548.

[205] Proceedings of the (London) Soc. for Psych. Research, May, 1887, p. 268 ff.

[206] М. Джанет обозначает цифрами различные личности, которые может проявлять субъект.

[207] Как представить себе это состояние ума, не так-то просто. Было бы гораздо проще понять процесс, если бы добавление новых штрихов делало видимым первый. Тогда два разных объекта воспринимались бы как совокупности, - бумага с одним штрихом и бумага с множеством штрихов; и, будучи слепым к первому, человек видел бы все, что было во втором, потому что в первом случае он воспринимал бы его как другую совокупность.

Подобный процесс происходит иногда (не всегда), когда новые штрихи, вместо того чтобы быть простыми повторениями первоначальных, представляют собой линии, которые объединяются с ними в общий объект, скажем, человеческое лицо. Тогда субъект транс может вновь увидеть линию, к которой он ранее был слеп, воспринимая ее как часть лица.

[208] Восприятие пространства и материи, 1879, часть ii, гл. 3.

[209] Очень хорошее краткое изложение истории различных мнений см. в W. Volkmann von Volkmar, Lehrbuch d. Psychologie, § 16, Anm. Полные ссылки на сэра В. Гамильтона даны в J. E. Walter, Perception of Space and Matter, pp. 65-6.

[210] Большинство современных авторов игнорируют вопрос о месте пребывания души. Лотце - единственный, кто, кажется, был сильно озабочен этим вопросом, и его взгляды менялись. См. Medicinische Psychol., § 10. Microcosmus, bk. iii, ch. 2. Metaphysic, bk. iii, ch. 5. Outlines of Psychol., part ii, ch. 3. См. также G. T. Fechner, Psychophysik, chap. xxxvii.

[211] Я намеренно игнорирую "ясновидение" и воздействие на отдаленные вещи "медиумами", как еще не ставшие общепринятыми.

[212] Я не принимаю во внимание *последствия*, которые могут впоследствии возникнуть для вещи в результате того, что она известна. *Само по себе* знание никак не влияет на вещь.

[213] B. P. Bowne: Metaphysics, pp. 407-10. Ср. также Lotze: Logik, §§ 308, 326-7.

[214] Ср. Джон Грот: Exploratio Philosophica, p. 60; H. Helmholtz, Popular Scientific Lectures, London, p. 308-9.

ГЛАВА IX.[215]

ПОТОК МЫСЛИ.

Теперь мы начнем изучение разума изнутри. Большинство книг начинают с ощущений, как простейших психических фактов, и продолжают синтетически, выстраивая каждую более высокую ступень из тех, что находятся ниже. Но это означает отказ от эмпирического метода исследования. Ни у кого никогда не было простых ощущений самих по себе. Сознание, начиная с нашего дня рождения, состоит из множества объектов и отношений, а то, что мы называем простыми ощущениями, является результатом дискриминационного внимания, доведенного зачастую до очень высокой степени. Удивительно, какой хаос творится в психологии, когда в самом начале допускаются, казалось бы, невинные предположения, которые, тем не менее, содержат в себе изъян. Плохие последствия развиваются позже и являются непоправимыми, пронизывая всю структуру работы. Представление о том, что ощущения, будучи простейшими вещами, являются первыми вещами, которыми должна заниматься психология, - одно из таких предположений. Единственное, что психология имеет право постулировать с самого начала, - это сам факт мышления, и именно он должен быть сначала взят и проанализирован. Если затем окажется, что ощущения являются одним из элементов мышления, то в отношении них мы будем ничуть не хуже, чем если бы с самого начала приняли их как данность.

Итак, первым фактом для нас, психологов, является то, что мышление в некотором роде продолжается. Я использую слово "мышление", в соответствии с тем, что было сказано на с. 186, для всех форм сознания без разбора. Если бы мы могли сказать по-английски "it thinks",

как мы говорим "it rains" или "it blows", мы бы констатировали факт наиболее просто и с минимумом допущений. Но так как мы не можем этого сделать, мы должны просто сказать, что *мысль продолжается*.

ПЯТЬ СИМВОЛОВ МЫСЛИ.

Как она продолжается? Мы сразу же замечаем пять важных особенностей этого процесса, о которых в общих чертах и пойдет речь в данной главе:

- 1) Каждая мысль имеет тенденцию быть частью личного сознания.
- 2) Внутри каждого личного сознания мысль постоянно меняется.
- 3) В пределах каждого личного сознания мысль чувственно непрерывна.
- 4) Она всегда имеет дело с объектами, независимыми от нее самой.
- 5) Она интересуется одними частями этих объектов, исключая другие, и приветствует или *отвергает* - выбирает из них, одним словом, все время.

Рассматривая последовательно эти пять пунктов, мы должны будем погрузиться *in medias res* в том, что касается нашего словаря, и использовать психологические термины, которые могут быть адекватно определены только в последующих главах книги. Но каждый человек примерно знает, что означают эти термины; и именно примерно мы их сейчас и воспримем. Эта глава подобна первому наброску художника углем на холсте, в котором нет никаких тонкостей.

1) Мысль стремится к личной форме.

Когда я говорю, что *каждая мысль является частью личного сознания*, "личное сознание" - это один из терминов, о которых идет речь. Его значение мы знаем до тех пор, пока никто не просит нас дать ему определение, но дать точный отчет о нем - самая трудная из философских задач. Эту задачу мы должны решить в следующей главе; здесь же достаточно будет сказать одно предварительное слово.

В этой комнате - скажем, в этом лекционном зале - есть множество мыслей, ваших и моих, некоторые из которых взаимно сочетаются, а некоторые - нет. Они настолько же самостоятельны и независимы друг от друга, насколько и все вместе. Они не являются ни тем, ни другим: ни одна из них не является отдельной, но каждая принадлежит к определенным другим и ни к одной в отдельности. Моя мысль принадлежит другим моим мыслям, а ваша мысль - другим вашим мыслям. Есть ли где-нибудь в комнате просто мысль, которая не является ничьей мыслью, мы не имеем возможности установить, поскольку у нас нет опыта, подобного ей. Единственные состояния сознания, с которыми мы, естественно, имеем дело, встречаются в личных сознаниях, умах, "я", конкретных конкретных "я" и "ты".

Каждый из этих умов держит свои мысли при себе. Между ними нет никакого обмена или уступки. Ни одна мысль даже не попадает в *поле* зрения мысли, находящейся в другом личном сознании, нежели ее собственное. Абсолютная изоляция, неустранимый плюрализм - вот закон. Кажется, будто элементарным психическим фактом является не *мысль*, не *эта мысль* или *та мысль*, а *моя мысль*, каждая мысль *принадлежит мне*. Ни современность, ни близость в пространстве, ни сходство качества и содержания не в состоянии соединить вместе мысли, отделенные этим барьером принадлежности к разным личным умам. Разрывы между такими мыслями - это самые абсолютные разрывы в природе. Каждый признает это истиной, если только будет настаивать на существовании *чего-то*, соответствующего

термину "личный разум", без какого-либо конкретного взгляда на его природу. На этих условиях личное "я", а не мысль, может рассматриваться как непосредственная данность в психологии. Универсальным сознательным фактом является не "чувства и мысли существуют", а "я думаю" и "я чувствую". [216] Ни одна психология, во всяком случае, не может поставить под сомнение *существование* личных "я". Худшее, что может сделать психология, - это так интерпретировать природу этих "я", чтобы лишить их ценности. Один французский писатель, говоря о наших идеях, где-то в приступе антиспиритуалистического возбуждения утверждает, что, введенные в заблуждение некоторыми особенностями, которые они демонстрируют, мы "заканчиваем персонификацией" процессии, которую они совершают, - такая персонификация рассматривается им как большой философский промах с нашей стороны. Это могло бы быть ошибкой только в том случае, если бы понятие личности означало нечто существенно отличное от всего, что можно найти в ментальной процессии. Но если эта процессия сама по себе является "оригиналом" понятия личности, то персонификация ее не может быть ошибочной. Оно уже персонифицировано. Нет никаких признаков личности, которые нужно собрать *по отдельности*, а затем обнаружить, что их не хватает в ходе мыслительного процесса. Все они уже есть; так что, какому бы дальнейшему анализу мы ни подвергали ту форму личностной самости, под которой появляются мысли, остается и должно оставаться верным, что мысли, которые изучает психология, постоянно имеют тенденцию появляться как части личностного "я".

Я говорю "склонны появляться", а не "появляются", в связи с теми фактами подсознательной личности, автоматического письма и т. д., некоторые из которых мы изучили в последней главе. Закопанные чувства и мысли, существование которых доказано в настоящее время у истерических анестетиков, у реципиентов постгипнотических внушений и т. д., сами по себе являются частями *вторичных личностных "я"*. Эти "я" по большей части очень глупы и ограничены, и в обычное время отрезаны от общения с обычным и нормальным "я" индивида; но все же они образуют сознательные единства, обладают непрерывной памятью, говорят, пишут, придумывают для себя отдельные имена или принимают имена, которые им предлагают; короче говоря, они вполне достойны того названия вторичных личностей, которое им сейчас принято давать. По мнению М. Джанета, эти вторичные личности всегда аномальны и возникают в результате расщепления того, что должно быть единым целостным "я", на две части, одна из которых скрывается на заднем плане, а другая появляется на поверхности как единственное "я", которое есть у мужчины или женщины. Для нашей цели неважно, применим ли этот рассказ о происхождении вторичных "я" ко всем возможным случаям их возникновения или нет, поскольку он, безусловно, верен для большого их числа. И хотя *размер* сформированного таким образом вторичного "я" будет зависеть от количества мыслей, отделившихся от основного сознания, *форма* его стремится к индивидуальности, а более поздние мысли, относящиеся к нему, помнят более ранние и принимают их как свои собственные. М. Жане уловил реальный момент инспирации (так сказать) одной из этих вторичных личностей в своей анестетической сомнамбуле Люси. Он обнаружил, что когда внимание этой молодой женщины было поглощено разговором с третьим лицом, ее анестетическая рука писала простые ответы на вопросы, которые ей нашептывал он сам. "Вы слышите?" - спросил он. "Нет", - бессознательно писала рука. "Но чтобы отвечать, нужно слышать". "Да, именно так". "Тогда как вам это удастся?" "Я не знаю". "Должен же быть кто-то, кто меня слышит". "Да." "Кто?" "Кто-то, кроме Люси". "А! Другой человек. Может, дадим ей имя?" "Нет". "Да, так будет удобнее". "Ну, тогда Адриенна". "После крещения подсознательный персонаж, - продолжает М. Жане, - приобретает более четкие очертания и лучше проявляет свои психологические черты. В частности, она показывает нам, что осознает чувства, исключенные из сознания первичного или нормального человека. Именно

она говорит нам, что я щиплю руку или трогаю мизинец, в котором Люси так долго не испытывала тактильных ощущений".[217]

В других случаях принятие имени вторичным "я" происходит более спонтанно. Я видел ряд зарождающихся автоматических писателей и медиумов, еще несовершенно "развитых", которые немедленно и по собственной воле пишут и говорят от имени ушедших духов. Это могут быть публичные персонажи, такие как Моцарт, Фарадей, или реальные лица, ранее известные субъекту, или полностью воображаемые существа. Не предвещая вопроса о реальном "контроле духа" в более развитых видах трансовых изречений, я склоняюсь к мысли, что эти (часто удручающе неинтеллигентные) рудиментарные высказывания - работа низшей части собственного природного разума субъекта, освобожденного от контроля остальных и работающего по шаблону, установленному предрассудками социальной среды. В спиритуалистическом сообществе мы получаем оптимистические послания, в то время как в невежественной католической деревне второстепенный персонаж называет себя именем демона и предлагает богохульства и непристойности, вместо того чтобы рассказать нам, как хорошо в летней стране.[218]

М. Жане считает, что факты каталепсии у истерических пациентов заставляют нас предположить, что под этими тракатами мысли, которые, пусть и рудиментарно, все же являются организованными "я" с памятью, привычками и чувством собственной идентичности, находятся мысли, совершенно неорганизованные и безличные. Пациент, находящийся в каталептическом трансе (который может быть искусственно вызван у некоторых загипнотизированных субъектов), при пробуждении лишается памяти и кажется бесчувственным и бессознательным, пока длится каталептическое состояние. Если, однако, поднять руку такого субъекта, она остается в этом положении, и все тело, таким образом, может быть вылеплено, как воск, под руками оператора, сохраняя в течение значительного времени то положение, которое он ему сообщает. У истериков, чья рука, например, находится под анестезией, может происходить то же самое. Анестезированная рука может пассивно оставаться в положении, которое ее заставляют принимать; или если взять руку и заставить ее держать карандаш и обводить определенную букву, она будет продолжать обводить эту букву на бумаге бесконечно долго. До недавнего времени считалось, что эти действия вообще не сопровождаются сознанием: это физиологические рефлексy. М. Жане с гораздо большим правдоподобием считает, что их сопровождает чувство. Вероятно, это чувство - всего лишь ощущение положения или движения конечности, и оно производит не более чем естественный эффект, когда разряжается в двигательных центрах, которые поддерживают положение или непрерывно возобновляют движение.[219] Такие мысли, как эти, говорит М. Жане, *"не известны никому, поскольку разрозненные ощущения, сведенные к состоянию ментальной пыли, не синтезируются ни в одной личности"*. [220] Он, однако, признает, что эти же самые невыразимо глупые мысли имеют тенденцию к развитию памяти - каталептик вскоре двигает рукой по едва заметному намеку; так что они не составляют важного исключения из закона, согласно которому всякая мысль имеет тенденцию принимать форму личного сознания.

2) Мысль находится в постоянном изменении.

Я не имею в виду, что ни одно состояние ума не имеет продолжительности - даже если это так, это было бы трудно установить. Изменения, которые я имею в виду, - это изменения, происходящие в разумные промежутки времени; и результат, на котором я хочу сделать акцент, заключается в том, что *ни одно состояние, однажды исчезнув, не может повториться и быть идентичным тому, что было раньше*. Начнем с описания мистера Шадворта Ходжсона:

"Я перехожу непосредственно к фактам, не говоря, что я перехожу к восприятию, или ощущению, или мысли, или вообще к какому-либо особому способу. Когда я рассматриваю свое сознание, я обнаруживаю, что то, от чего я не могу избавиться или чего у меня нет в сознании, если у меня вообще есть сознание, - это последовательность различных ощущений. Я могу закрыть глаза, сохранять полную неподвижность и стараться ничего не делать по своей воле; но независимо от того, думаю я или не думаю, воспринимаю ли я внешние вещи или нет, у меня всегда есть последовательность различных чувств. Все остальное, что я могу также испытывать, более специального характера, входит как части в эту последовательность. Не иметь последовательности различных чувств - значит не быть сознательным вообще..... Цепь сознания - это последовательность *различных ощущений*".[221]

Такое описание не может вызвать ни у кого протеста. Мы все признаем различные классы наших сознательных состояний. То мы видим, то слышим; то рассуждаем, то желаем; то вспоминаем, то ожидаем; то любим, то ненавидим; и еще сотней способов мы знаем, что наш разум попеременно занят. Но все это - сложные состояния. Цель науки всегда состоит в том, чтобы свести сложность к простоте; и в психологической науке у нас есть знаменитая "теория *идей*", которая, признавая большое различие между собой тех состояний, которые можно назвать конкретными состояниями ума, стремится показать, что все это - следствие вариаций в *сочетании* определенных простых элементов сознания, которые всегда остаются неизменными. Эти ментальные атомы или молекулы Локк называл "простыми идеями". Некоторые преемники Локка утверждали, что единственными простыми идеями являются ощущения, которые так и называются. Какие именно идеи могут быть простыми, нас, однако, сейчас не касается. Достаточно того, что некоторые философы считали, что они могут видеть под растворяющей-видящей-видимостью разума элементарные факты *любого* рода, которые остаются неизменными в потоке.

И мнение этих философов мало кто ставил под сомнение, поскольку наш обычный опыт, на первый взгляд, полностью его подтверждает. Разве ощущения, которые мы получаем от одного и того же объекта, например, не всегда одинаковы? Разве одна и та же клавиша рояля, ударенная с одинаковой силой, не заставляет нас слышать одинаково? Разве одна и та же трава не вызывает у нас одинаковое ощущение зелени, одно и то же небо - одинаковое ощущение синевы, и разве мы не получаем одинаковые обонятельные ощущения, сколько бы раз мы ни подносили нос к одному и тому же флакону одеколона? Предположение о том, что это не так, кажется метафизической софистикой; но при внимательном рассмотрении вопроса оказывается, что *нет никаких доказательств того, что одно и то же телесное ощущение может быть получено нами дважды*.

То, что мы получаем дважды, - это один и тот же объект. Мы слышим одну и ту же ноту снова и снова; мы видим одно и то же *качество* зеленого цвета, или чувствуем один и тот же объективный запах духов, или испытываем один и тот же *вид* боли. Реальности, конкретные и абстрактные, физические и идеальные, в постоянное существование которых мы верим, постоянно возникают перед нашим мысленным взором и заставляют нас по неосторожности полагать, что наши "представления" о них - это те же самые представления. Когда спустя некоторое время мы перейдем к главе о восприятии, то увидим, насколько живуча наша привычка не рассматривать ощущения как субъективные факты, а просто использовать их как ступеньки для перехода к признанию реальностей, о присутствии которых они свидетельствуют. Трава за окном сейчас кажется мне одинаково зеленой как на солнце, так и в тени, и все же художнику пришлось бы покрасить одну ее часть в темно-коричневый,

другую - в ярко-желтый цвет, чтобы передать ее реальный, сенсационный эффект. Как правило, мы не обращаем внимания на то, как по-разному выглядят, звучат и пахнут одни и те же вещи на разных расстояниях и при разных обстоятельствах. Мы хотим убедиться в одинаковости вещей, и любые ощущения, которые убеждают нас в этом, вероятно, будут рассматриваться в грубой форме как одинаковые друг с другом. Именно это делает случайные свидетельства о субъективной идентичности различных ощущений практически бесполезными в качестве доказательства факта. Вся история сенсации - это комментарий к нашей неспособности определить, являются ли два ощущения, полученные отдельно, совершенно одинаковыми. Что привлекает наше внимание гораздо больше, чем абсолютное качество или количество данного ощущения, так это его *соотношение* с другими ощущениями, которые мы можем испытывать в то же самое время. Когда все вокруг темно, несколько менее темное ощущение заставляет нас видеть объект белым. Гельмгольц подсчитал, что белый мрамор, нарисованный на картине, изображающей архитектурный вид при лунном свете, при дневном освещении в десять-двадцать тысяч раз ярче, чем был бы настоящий лунный мрамор.^[222]

Подобное различие никогда не могло быть познано *на опыте*; оно должно было быть выведено из ряда косвенных соображений. Есть факты, которые заставляют нас поверить, что наша чувствительность постоянно меняется, так что один и тот же объект не может легко вызвать у нас те же ощущения снова. Чувствительность глаза к свету достигает максимума, когда глаз впервые подвергается воздействию света, и притупляется с удивительной быстротой. Долгий ночной сон заставит его видеть предметы в два раза ярче по пробуждении, как и простой отдых при закрытии заставит его видеть их позже в течение дня.^[223] Мы чувствуем вещи по-разному в зависимости от того, хотим мы спать или бодрствовать, голодны или сыты, свежи или устали; по-разному ночью и утром, по-разному летом и зимой, и, прежде всего, по-разному в детстве, юности и старости. И все же мы никогда не сомневаемся, что наши чувства показывают один и тот же мир, с одними и теми же разумными качествами и одними и теми же разумными вещами, занимающими его. Разница в чувствительности лучше всего проявляется в разнице наших эмоций по отношению к вещам в разном возрасте или когда мы находимся в разных органических настроениях. То, что было ярким и волнующим, становится унылым, плоским и невыгодным. Птичья песня - нудной, ветерок - траурным, небо - печальным.

К этим косвенным предположениям о том, что наши ощущения, следуя за мутациями нашей способности чувствовать, всегда претерпевают существенные изменения, следует добавить еще одно предположение, основанное на том, что должно происходить в мозге. Каждое ощущение соответствует какому-то мозговому действию. Чтобы идентичное ощущение повторилось, оно должно было бы возникнуть во второй раз в *неизменном мозге*. Но так как это, строго говоря, физиологическая невозможность, то и немодифицированное ощущение невозможно; ведь каждому изменению мозга, каким бы маленьким оно ни было, должно соответствовать такое же изменение в ощущении, которое мозг обслуживает.

Все это было бы верно, если бы даже ощущения приходили к нам чистыми и единичными, а не объединялись в "вещи". Но даже в этом случае мы должны были бы признать, что, как бы мы ни говорили в обычном разговоре о повторном получении того же ощущения, мы никогда не сможем сделать этого в строгой теоретической точности; и что бы ни было верно в отношении реки жизни, реки элементарного чувства, было бы, конечно, верно сказать, подобно Гераклиту, что мы никогда не спускаемся дважды в один и тот же поток.

Но если предположение о неизменности "простых идей ощущений" так легко показать, что оно необоснованно, то насколько же более необоснованным является предположение о неизменности более крупных масс нашей мысли!

Ведь там очевидно и ощутимо, что наше душевное состояние никогда не бывает в точности одинаковым. Каждая наша мысль о каком-либо факте, строго говоря, уникальна и имеет лишь сходство с другими нашими мыслями о том же факте. Когда идентичный факт повторяется, мы *должны* думать о нем по-новому, видеть его под несколько иным углом зрения, воспринимать его в иных отношениях, чем те, в которых он предстал в последний раз. И мысль, с помощью которой мы его познаем, - это мысль о нем в этих отношениях, мысль, пронизанная сознанием всего того тусклого контекста. Часто мы сами поражаемся странным различиям в наших последовательных взглядах на одну и ту же вещь. Мы удивляемся, как мы могли в прошлом месяце высказать такое же мнение о том или ином вопросе. Мы переросли возможность такого состояния ума, но не знаем, как. Из года в год мы видим вещи в новом свете. То, что было нереальным, становится реальным, а то, что вызывало восторг, становится ничтожным. Друзья, о которых мы раньше заботились на весь мир, уменьшились до тени; женщины, когда-то такие божественные, звезды, леса и воды, теперь такие скучные и обыденные! Молодые девушки, которые создавали ореол бесконечности, теперь едва различимые существа; картины такие пустые; а что касается книг, то что можно было найти такого таинственно-значительного в Гете или такого весомого в Джоне Милле? Вместо всего этого, как никогда ранее, целенаправленную работу, работу, работу; и все более и более глубокое значение общих обязанностей и общих благ.

Но то, что с такой силой поражает нас на вопиющем уровне, существует на всех уровнях, вплоть до незаметного перехода от одного часового взгляда к другому. Опыт переделывает нас каждое мгновение, и наша психическая реакция на каждую данную вещь - это результат нашего опыта, полученного от всего мира до этого момента. Для подтверждения нашей точки зрения необходимо вновь обратиться к аналогиям физиологии мозга.

Предыдущие главы научили нас верить, что, пока мы думаем, наш мозг меняется и что, подобно бореальной авроре, все его внутреннее равновесие смещается с каждым импульсом изменений. Точный характер сдвига в данный момент зависит от многих факторов. Среди них может быть случайное состояние местного питания или кровоснабжения. Но так же, как одним из них, безусловно, является влияние внешних объектов на органы чувств в данный момент, так и другим, безусловно, является особая восприимчивость, в которой орган оказался в этот момент в результате всего, что он пережил в прошлом. Каждое состояние мозга отчасти определяется природой всей этой прошлой череды. Измените последнюю в какой-либо части, и состояние мозга будет несколько иным. Каждое нынешнее состояние мозга - это запись, в которой глаз Всезнания мог бы прочесть всю предшествующую историю его владельца. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы какое-либо общее состояние мозга повторялось идентично. Что-то похожее на него может повторяться; но предположить, что *оно* повторяется, было бы равносильно абсурдному признанию, что все состояния, которые были между двумя его появлениями, были чистыми несуществами, и что орган после их прохождения был точно таким же, как и раньше. И (если рассматривать более короткие периоды) точно так же, как в органах чувств впечатление ощущается совершенно по-разному в зависимости от того, что ему предшествовало; как один цвет, сменяющий другой, изменяется по контрасту, тишина звучит восхитительно после шума, а нота, когда гамма поется вверх, звучит непохоже на себя, когда гамма поется вниз; Как присутствие определенных линий в фигуре изменяет видимую форму других линий, и как в музыке весь эстетический эффект происходит от того,

как один набор звуков изменяет наше ощущение другого; так и в мышлении мы должны признать, что те части мозга, которые только что были максимально возбуждены, сохраняют своего рода болезненность, которая является условием нашего нынешнего сознания, кодетерминантой того, как и что мы теперь будем чувствовать. [224]

Вечно одни участки ослабевают в напряжении, другие усиливаются, а третьи активно разряжаются. Состояния напряжения оказывают такое же положительное влияние, как и любые другие, определяя общее состояние и решая, каким будет психоз. Все, что мы знаем о субмаксимальных нервных раздражениях и о суммировании явно неэффективных стимулов, говорит о том, что *никакие* изменения в мозге *не* являются физиологически неэффективными, и, предположительно, ни одно из них не имеет психологического результата. Но поскольку напряжение мозга переходит из одного состояния относительного равновесия в другое, подобно колебаниям калейдоскопа, то быстрым, то медленным, вероятно ли, что его верный психический спутник тяжелее на ногах, чем он сам, и что он не может соответствовать каждому из облучений органа своим собственным переливом внутри? Но если он может это делать, то его внутреннее сияние должно быть бесконечным, ибо мозговые перераспределения бесконечно разнообразны. Если такая грубая вещь, как телефонная пластинка, может трепетать годами и никогда не повторять своего внутреннего состояния, то насколько больше это должно быть в случае с бесконечно тонким мозгом?

Я уверен, что этот конкретный и тотальный подход к изменениям ума - единственно верный, как бы ни было трудно осуществить его в деталях. Если что-то в нем кажется неясным, то по мере нашего продвижения вперед это будет становиться все яснее. Между тем, если это правда, то, несомненно, верно и то, что никакие две "идеи" никогда не бывают совершенно одинаковыми, а это и есть то положение, которое мы начали доказывать. Это предложение теоретически более важно, чем кажется на первый взгляд. Ведь оно делает уже невозможным покорное следование по следам локковской или гербартианской школы, школы, имевшей почти неограниченное влияние в Германии и среди нас самих. Несомненно, часто бывает *удобно* формулировать психические факты в атомистическом ключе и рассматривать высшие состояния сознания так, как если бы все они были построены из неизменных простых идей. Часто удобно рассматривать кривые, как если бы они состояли из маленьких прямых линий, а электричество и нервную силу - как если бы они были жидкостями. Но как в одном, так и в другом случае мы никогда не должны забывать, что говорим символически и что в природе нет ничего, что могло бы ответить на наши слова. *Постоянно существующая "идея" или "Vorstellung", периодически появляющаяся перед сфитами сознания, - такая же мифологическая сущность, как и пиковый валет.*

Что делает удобным использование мифологических формул, так это вся организация речи, которая, как было замечено некоторое время назад, создавалась не психологами, а людьми, которых, как правило, интересовали только те факты, которые раскрывали их психические состояния. Они говорили о своих состояниях только как *об идеях тех или иных вещей*. Что же удивительного в том, что мысль легче всего зарождается по закону той вещи, чье имя она носит! Если вещь состоит из частей, то мы предполагаем, что мысль о ней должна состоять из мыслей о ее частях. Если какая-то часть вещи появлялась в той же самой вещи или в других вещах в прежние времена, то, следовательно, и сейчас мы должны иметь ту же самую "идею" этой части, которая была там в те времена. Если вещь проста, то и мысль ее проста. Если она многообразна, то для того, чтобы ее помыслить, необходимо множество мыслей. Если она последовательна, то только последовательность мыслей может ее познать. Если оно постоянно, то его мысль постоянна. И так далее *ad libitum*. В конце концов, что может

быть естественнее, чем предположить, что один предмет, называемый одним именем, должен быть познан одной привязанностью ума? Но если язык должен влиять на нас таким образом, то агглютинативные языки, даже греческий и латынь с их склонениями, будут лучшими проводниками. Имена в них не были неизменными, а меняли свою форму в зависимости от контекста, в который они попадали. Наверное, тогда было легче, чем сейчас, представить себе, что один и тот же объект может мыслиться в разное время в неидентичных состояниях сознания.

Это тоже станет яснее по мере того, как мы будем двигаться дальше. Пока же необходимым следствием веры в постоянные самоидентичные психические факты, которые отсутствуют и периодически повторяются, является юмианская доктрина о том, что наша мысль состоит из отдельных независимых частей и не является чувственно непрерывным потоком. То, что эта доктрина полностью искажает естественные проявления, я попытаюсь показать далее.

3) В пределах каждого личного сознания мысль разумно непрерывна.

Я могу определить "непрерывность" только как то, что не имеет разрывов, трещин или разделений. Я уже говорил, что разрыв от одного сознания к другому - это, пожалуй, самый большой разрыв в природе. Единственные разрывы, которые, как можно предположить, происходят в пределах одного разума, - это либо *прерывания, промежутки времени*, в течение которых сознание полностью исчезает, чтобы снова появиться в более поздний момент; либо это разрывы в *качестве* или содержании мысли, настолько резкие, что последующий сегмент не имеет никакой связи с предыдущим. Утверждение, что внутри каждого личного сознания мысль ощущается как непрерывная, означает две вещи:

1. Что даже при наличии временного разрыва последующее сознание чувствует себя так, как если бы оно принадлежало вместе с предшествующим сознанием, как другая часть одного и того же "я";
2. Что изменения качества сознания от одного момента к другому никогда не бывают абсолютно резкими.

Случай временных разрывов, как самый простой, будет рассмотрен первым. И прежде всего несколько слов о временных разрывах, о которых сознание может и не подозревать.

На [странице 200](#) мы видели, что такие временные разрывы существуют, и что они могут быть более многочисленными, чем обычно предполагается. Если сознание не знает о них, оно не может ощущать их как прерывания. В бессознательном состоянии, вызванном закисью азота и другими анестетиками, в состоянии эпилепсии и обморока, разорванные края разумной жизни могут встретиться и слиться в промежутке, подобно тому, как ощущения пространства противоположных краев "слепого пятна" встречаются и сливаются в этом объективном прерывании чувствительности глаза. Такое сознание, каким бы оно ни было для наблюдающего психолога, само по себе является непрерывным. Оно *чувствует себя* непрерывным; день бодрствования в нем ощутимо является единицей, пока длится этот день, в том смысле, в каком сами часы являются единицами, поскольку все их части находятся рядом друг с другом, без вторжения посторонней субстанции между ними. Ожидать, что сознание будет ощущать прерывания своей объективной непрерывности как разрывы, все равно что ожидать, что глаз будет ощущать разрыв тишины, потому что он не слышит, или ухо будет ощущать разрыв темноты, потому что оно не видит. Так обстоит дело с неощущаемыми разрывами.

С ощущаемыми промежутками дело обстоит иначе. Пробуждаясь ото сна, мы обычно знаем, что были без сознания, и часто точно определяем, как долго. Суждение здесь, безусловно, является выводом из разумных признаков, и его легкость обусловлена длительной практикой в данной области.^[225] Однако результатом этого является то, что сознание *само по себе* не является тем, чем оно было в предыдущем случае, а прерывается и прерывается, в простом смысле этих слов. Но в другом смысле непрерывности, в смысле того, что части внутренне связаны и принадлежат друг другу, потому что они являются частями общего целого, сознание остается чувственно непрерывным и единым. Что же теперь представляет собой это общее целое? Естественное название для него - *я, я, или я*.

Когда Павел и Петр просыпаются в одной постели и осознают, что они спали, каждый из них мысленно возвращается назад и устанавливает связь только с *одним* из двух потоков мыслей, которые были прерваны во время сна. Как ток от электрода, зарытого в землю, безошибочно находит путь к своему такому же зарытому товарищу, независимо от того, сколько земли между ними; так и настоящее Петра мгновенно узнает прошлое Петра и никогда по ошибке не соединяется с прошлым Павла. Мысль Павла, в свою очередь, так же мало способна сбиться с пути. Мысли о прошлом Петра присваиваются только настоящим Петром. Он может *знать*, и притом правильно, о том, какими были последние дремотные состояния Павла, когда он погружался в сон, но это совершенно иное знание, чем то, которое он имеет о своих собственных последних состояниях. Он *помнит* свои собственные состояния, в то время как состояния Павла он только *представляет себе*. Воспоминание подобно непосредственному чувству; его объект пронизан теплом и близостью, которых никогда не достигает объект простого представления. Этим качеством теплоты, близости и непосредственности обладает и *настоящая* мысль Петра. Как уверен в том, что это настоящее - это я, это мое, говорит он, так уверен и в том, что все остальное, что приходит с той же теплотой, близостью и непосредственностью, - это я и мое. Какими могут быть сами по себе качества, называемые теплом и близостью, - это вопрос будущего. Но какие бы прошлые чувства ни проявлялись с этими качествами, они должны быть признаны, чтобы получить приветствие настоящего психического состояния, чтобы принадлежать ему и быть принятыми как принадлежащие вместе с ним к общему "я". Эта общность "я" - то, что временной разрыв не может разорвать на две части, и именно поэтому нынешняя мысль, хотя и не знает о временном разрыве, все же может рассматривать себя как непрерывную с некоторыми избранными частями прошлого.

Сознание, таким образом, не представляется себе разбитым на кусочки. Такие слова, как "цепь" или "поезд", не описывают его в том виде, в каком оно предстает в первый момент. В нем нет ничего связанного; оно течет. Река" или "поток" - вот метафоры, которыми его можно описать наиболее естественно. *Говоря о нем в дальнейшем, давайте называть его потоком мысли, сознания или субъективной жизни.*

Но теперь, даже в пределах одного и того же "я" и между мыслями, все из которых одинаково ощущают свою принадлежность друг другу, появляется некое соединение и разделение между частями, которого это утверждение, кажется, не учитывает. Я имею в виду разрывы, которые возникают из-за внезапных *контрастов в качестве* последовательных сегментов потока мыслей. Если бы слова "цепь" и "поезд" не имели в себе естественного соответствия, как бы они вообще использовались? Разве громкий взрыв не разрывает сознание, на которое он внезапно обрушивается, на две части? Разве каждое внезапное потрясение, появление нового объекта, или изменение ощущений не создает реальный перерыв, ощутимо ощущаемый как таковой, который рассекает поток сознания в тот момент, когда он

появляется? Разве такие прерывания не преследуют нас каждый час нашей жизни, и имеем ли мы право в их присутствии по-прежнему называть наше сознание непрерывным потоком?

Это возражение основано отчасти на путанице, а отчасти на поверхностном интроспективном взгляде.

Путаница происходит между самими мыслями, воспринимаемыми как субъективные факты, и вещами, о которых они знают. Естественно, что такая путаница возникает, но ее легко избежать, если быть начеку. Вещи дискретны и прерывисты; они проходят перед нами цепочкой, создавая часто взрывные появления и разрывая друг друга на части. Но их приход, уход и контрасты не более нарушают течение мысли, которая их думает, чем нарушают время и пространство, в котором они находятся. Тишину может нарушить раскат грома, и мы можем на мгновение оказаться настолько ошеломленными и растерянными от этого удара, что не сможем мгновенно объяснить себе, что произошло. Но это замешательство - ментальное состояние, которое переходит от тишины к звуку. Переход между мыслью об одном объекте и мыслью о другом - не более чем разрыв *мысли*, как сустав в бамбуке - разрыв дерева. Он является частью *сознания* в той же мере, в какой сустав является частью *бамбука*.

Поверхностный интроспективный взгляд - это упущение, даже когда вещи противопоставляются друг другу самым жестоким образом, большого количества сродства, которое все еще может оставаться между мыслями, посредством которых они познаются. В осознание самого грома вкрадывается и продолжается осознание предшествующей тишины; ведь то, что мы слышим, когда гремит гром, - это не гром *в чистом виде*, а гром, разрывающий тишину и контрастирующий с ней.^[226] Наше ощущение одного и того же объективного грома, приходящего таким образом, совершенно отличается от того, каким оно было бы, если бы гром был продолжением предыдущего грома. Сам гром, как мы полагаем, отменяет и исключает тишину; но *ощущение* грома - это также ощущение только что наступившей тишины; и было бы трудно найти в реальном конкретном сознании человека чувство, настолько ограниченное настоящим, чтобы не иметь ни малейшего представления о том, что было раньше. И здесь язык снова работает против нашего восприятия истины. Мы называем наши мысли просто, каждая по своей вещи, как будто каждая знает свою вещь и ничего больше. На самом же деле каждая из них знает только то, для чего она названа, и, возможно, тысячу других вещей. Она должна была бы называться в честь всех них, но никогда не называется. Некоторые из них всегда являются вещами, которые были известны минуту назад более ясно; другие - вещами, которые будут известны более ясно минуту спустя.^[227] Наше собственное телесное положение, отношение, состояние - одна из тех вещей, осознание которых, каким бы невнимательным оно ни было, неизменно сопровождает знание всего остального, что мы знаем. Мы думаем; и когда мы думаем, мы ощущаем свое телесное "я" как место, где происходит мышление. Если мышление - это *наше* мышление, оно должно быть пронизано во всех своих частях тем особым теплом и близостью, которые делают его нашим. Являются ли эти тепло и близость чем-то большим, чем ощущение того же старого тела, которое всегда рядом, - это вопрос, который мы рассмотрим в следующей главе. *Каким бы ни было содержание эго*, оно привычно ощущается нами, людьми, *вместе со всем остальным*, и должно составлять *связующее звено* между всеми вещами, которые мы последовательно осознаем.^[228]

На эту постепенность в изменениях нашего психического содержания принципы нервного действия могут пролить еще немного света. Изучая в [главе III](#) суммирование нервной деятельности, мы увидели, что ни одно состояние мозга не может быть предположено как мгновенно угасающее. Если наступает новое состояние, инерция старого состояния все еще будет присутствовать и соответствующим образом изменять результат. Конечно, в нашем

невежестве мы не можем сказать, какими должны быть изменения в каждом конкретном случае. Самые распространенные модификации в чувственном восприятии известны как явления контраста. В эстетике это чувства восторга или неудовольствия, которые вызывают определенные порядки в ряду впечатлений. В мышлении, строго и узко называемом так, они, несомненно, являются тем сознанием "*откуда*" и "*куда*", которое всегда сопровождает его потоки. Если недавно был ярко возбужден мозговой тракт *a*, затем *b*, а теперь - *c*, то общее нынешнее сознание порождено не только возбуждением *c*, но и угасающими вибрациями *a* и *b*. Если мы хотим представить мозговой процесс, мы должны записать его таким образом: ^(a)
b^c - три различных процесса сосуществуют и соотносятся с мыслью, которая не является ни одной из трех мыслей, которые они могли бы произвести, если бы каждая из них происходила в одиночку. Но чем бы ни была эта четвертая мысль, кажется невозможным, чтобы она не была чем-то *похожа на* каждую из трех других мыслей, чьи тракты участвуют в ее производстве, хотя и в быстро развивающейся фазе.

Все это возвращается к тому, что мы говорили в другой связи всего несколько страниц назад (стр. 233). По мере того как меняется общий невроз, меняется и общий психоз. Но поскольку изменения невроза никогда не бывают абсолютно прерывными, то и сменяющие друг друга психозы должны постепенно переливаться друг в друга, хотя *скорость* их изменений в один момент может быть гораздо выше, чем в другой.

Это различие в скорости изменений лежит в основе различия субъективных состояний, о котором мы должны сразу же сказать. При медленном темпе мы осознаем объект нашей мысли в сравнительно спокойном и стабильном состоянии. При быстром темпе мы осознаем переход, отношение, переход *от* него или *между* ним и чем-то другим. При общем взгляде на удивительный поток нашего сознания нас прежде всего поражает этот разный темп его частей. Подобно жизни птицы, он, кажется, состоит из чередования полетов и приземлений. Это выражается в ритме языка, где каждая мысль выражается предложением, а каждое предложение завершается точкой. Места отдыха обычно заняты какими-то сенсорными фантазиями, особенность которых в том, что они могут находиться перед мысленным взором неопределенное время и созерцаться без изменений; места полета заполнены мыслями об отношениях, статических или динамических, которые по большей части возникают между предметами, созерцаемыми в периоды сравнительного покоя.

Назовем места отдыха "*содержательными частями*", а места полета - "*переходными частями*" *потока мысли*. Тогда получается, что главной целью нашего мышления всегда является достижение какой-то другой содержательной части, нежели та, от которой мы только что оторвались. И мы можем сказать, что основное использование переходных частей заключается в том, чтобы вести нас от одного содержательного вывода к другому.

Теперь очень трудно, интроспективно, увидеть переходные части такими, какими они являются на самом деле. Если они являются всего лишь перелетами к заключению, то, остановив их, чтобы посмотреть на них до того, как заключение будет достигнуто, мы тем самым уничтожим их. В то время как если мы подождем, пока заключение *будет* достигнуто, оно настолько превосходит их по силе и устойчивости, что затмевает и поглощает их в своем сиянии. Пусть кто-нибудь попробует разрезать мысль посередине и взглянуть на ее участок, и он увидит, как трудно интроспективное наблюдение за переходными трактатами. Порыв мысли настолько стремителен, что почти всегда приводит нас к развязке раньше, чем мы

успеваем его остановить. А если наша цель достаточно проворна, и мы все-таки задерживаем ее, она тут же перестает быть собой. Как кристалл снежинки, пойманный в теплую руку, уже не кристалл, а капля, так и мы, вместо того чтобы уловить ощущение отношения, движущегося к своей цели, обнаруживаем, что поймали какую-то существенную вещь, обычно последнее слово, которое мы произносили, взятое статично, и его функция, тенденция и конкретное значение в предложении совершенно испарились. Попытка интроспективного анализа в таких случаях похожа на попытку схватить вращающуюся верхушку, чтобы уловить ее движение, или на попытку прибавить газу, чтобы увидеть, как выглядит темнота. И вызов, брошенный сомневающимися психологами любому, кто утверждает, что эти психозы существуют, столь же несправедлив, как и обращение Зенона со сторонниками движения, когда, попросив их указать, в каком месте *находится* стрела, когда она движется, он доказывает ложность их тезиса их неспособностью дать на столь абсурдный вопрос немедленный ответ.

Результаты этого интроспективного затруднения пагубны. Если так трудно удерживать и наблюдать за переходными частями потока мысли, то великой ошибкой, которой подвержены все школы, должна быть неспособность регистрировать их и чрезмерное подчеркивание более существенных частей потока. Не были ли мы сами минуту назад в опасности игнорировать любое чувство, переходное между тишиной и громом, и рассматривать их границу как своего рода разрыв в сознании? Подобное игнорирование исторически работает в двух направлениях. Одну группу мыслителей оно привело к *сенсуализму*. Не найдя грубых ощущений, соответствующих бесчисленным отношениям и формам связи между фактами мира, не найдя *названных* субъективных модификаций, зеркально отражающих эти отношения, они в большинстве своем отрицали, что чувства связи существуют, а многие из них, подобно Юму, зашли так далеко, что отрицали реальность большинства отношений как вне разума, так и в нем. Субстанциональные психозы, ощущения и их копии и производные, сопоставленные, как домино в игре, но на самом деле отдельные, все остальное - словесная иллюзия, - таков итог этого взгляда.^[229] *Интеллектуалисты*, с другой стороны, не в силах отказаться от реальности отношений *extra mentem*, но в равной степени не в силах указать на какие-либо отчетливые субстанциальные чувства, в которых они были бы известны, сделали то же самое признание, что чувства не существуют. Но они сделали противоположный вывод. Эти отношения должны быть известны, говорят они, в чем-то, что не является чувством, не является психической модификацией, непрерывной и консубстанциальной с субъективной тканью, из которой состоят ощущения и другие субстанциальные состояния. Они познаются, эти отношения, чем-то, что лежит в совершенно иной плоскости, *actus purus* Мысли, Интеллекта или Разума, которые пишутся с заглавной буквы и считаются означающими нечто, несказанно превосходящее любой факт чувственности.

Но с нашей точки зрения и интеллектуалисты, и сенсуалисты ошибаются. Если вообще существуют такие вещи, как чувства, *то, безусловно, как отношения между объектами существуют в rerum naturâ, так же, и даже более того, существуют чувства, которым эти отношения известны*. В человеческой речи нет ни одной связи, ни одного предлога, ни одного наречия, ни одной синтаксической формы, ни одной интонации голоса, которые не выражали бы тот или иной оттенок отношений, которые мы в какой-то момент реально ощущаем как существующие между крупными объектами нашей мысли. Если мы говорим объективно, то проявляются именно реальные отношения; если мы говорим субъективно, то это поток сознания, который соответствует каждому из них своей собственной внутренней окраской. И в том и в другом случае отношения бесчисленны, и ни один существующий язык не в состоянии передать все их оттенки.

Мы должны были бы сказать "чувство *и*", "чувство *если*", "чувство *но*" и "чувство *по*" с такой же готовностью, как мы говорим "чувство *синего*" или "чувство *холода*". И все же мы этого не делаем: настолько въелась в нас привычка признавать существование только субстантивных частей, что язык почти отказывается поддаваться какому-либо другому использованию. Эмпирики всегда подчеркивали его влияние, заставляя нас полагать, что там, где мы имеем отдельное имя, должна быть и отдельная вещь, соответствующая ему; и они справедливо отрицали существование толпы абстрактных сущностей, принципов и сил, в пользу которых нельзя привести никаких других доказательств, кроме этих. Но они ничего не сказали о той обратной ошибке, о которой мы сказали пару слов в главе VII (см. [с. 195](#)), - о предположении, что там, где *нет* имени, не может существовать сущности. Все *бессловесные* или *безымянные* психические состояния из-за этой ошибки были холодно подавлены; или, если они вообще признавались, то назывались по имени предметного восприятия, к которому они приводили, как мысли "об" этом объекте или "о" том, твёрдое слово "об" поглощало все их тонкие идиосинкразии в своём монотонном звучании. Таким образом, постоянно происходило все большее и большее подчеркивание и обособление содержательных частей.

Еще раз взгляните на мозг. Мы считаем, что мозг - это орган, внутреннее равновесие которого всегда находится в состоянии изменения, причем изменения затрагивают каждую его часть. Импульсы изменений, несомненно, более сильны в одном месте, чем в другом, их ритм более быстрый в это время, чем в то. Как в калейдоскопе, вращающемся с одинаковой скоростью, хотя фигуры постоянно перестраиваются, есть моменты, в течение которых трансформация кажется незначительной, промежуточной и почти отсутствующей, за которыми следуют другие, когда она проносится с волшебной быстротой, относительно стабильные формы чередуются с формами, которые мы не смогли бы различить, если бы увидели снова; так и в мозге вечная перестройка должна привести к тому, что некоторые формы напряжения остаются относительно долго, в то время как другие просто приходят и уходят. Но если сознание соответствует самому факту перестройки, то почему, если перестройка не прекращается, сознание должно когда-нибудь прекратиться? И если длительная перестройка приносит с собой один вид сознания, то почему бы быстрой перестройке не принести другой вид сознания, столь же своеобразный, как и сама перестройка? Затянувшиеся сознания, если речь идет о простых объектах, мы называем "ощущениями" или "образами", в зависимости от того, насколько они яркие или слабы; если о сложных объектах, мы называем их "восприятиями", когда они яркие, "понятиями" или "мыслями", когда слабые. Для быстрых сознаний у нас есть только те названия "переходных состояний", или "чувств отношения", которые мы использовали.[\[230\]](#) Как непрерывны изменения в мозге, так и все эти сознания перетекают друг в друга, как растворяющиеся взгляды. В правильном смысле они представляют собой одно затянувшееся сознание, один непрерывный поток.

Ощущения тенденции.

Вот и все о переходных состояниях. Но есть и другие безымянные состояния или качества состояний, которые столь же важны и столь же познавательны, как и они, и столь же непризнаны традиционными сенсуалистскими и интеллектуалистскими философиями ума. Первая не находит их вообще, вторая находит их *познавательную функцию*, но отрицает, что что-либо из *чувств* имеет отношение к их возникновению. На примерах можно понять, что представляют собой эти невнятные психозы, вызванные то нарастающими, то убывающими возбуждениями мозга.[\[231\]](#)

Предположим, три человека подряд говорят нам: "Подождите! 'Hark!' 'Look!' Наше сознание перебрасывается в три совершенно разные установки ожидания, хотя ни в одном из трех случаев перед ним нет определенного объекта. Если не принимать во внимание различные реальные телесные установки и не обращать внимания на отголоски трех слов, которые, конечно, разнообразны, то, вероятно, никто не станет отрицать существование остаточной сознательной аффектации, ощущения направления, с которого должно прийти впечатление, хотя никакого положительного впечатления еще нет. Между тем у нас нет названий для психозов, о которых идет речь, кроме названий "харк", "смотри" и "жди".

Предположим, мы пытаемся вспомнить забытое имя. Состояние нашего сознания своеобразно. В нем есть пробел, но не просто пробел. Это пробел, который интенсивно активен. В нем находится некий фантик имени, манящий нас в заданном направлении, заставляющий в какие-то моменты трепетать от ощущения близости, а затем позволяющий погрузиться обратно без вожделенного термина. Если нам предлагают неправильные имена, этот единственный определенный пробел сразу же действует так, чтобы свести их на нет. Они не вписываются в его форму. И пробел одного слова не ощущается как пробел другого, лишенного содержания, как может показаться, когда оба слова описываются как пробелы. Когда я тщетно пытаюсь вспомнить имя Сполдинга, мое сознание далеко не такое, как при тщетной попытке вспомнить имя Боулза. Тут некоторые изобретательные люди скажут: "Как *могут* различаться два сознания, если нет условий, которые могли бы их различать? Все, что есть, пока усилия вспомнить тщетны, - это само усилие. Как оно должно отличаться в этих двух случаях? Вы создаете впечатление, что оно отличается, преждевременно заполняя его различными именами, хотя они, согласно гипотезе, еще не появились. Придерживайтесь двух усилий, как они есть, не называя их в честь еще не существующих фактов, и вы не сможете обозначить ни одного пункта, в котором они различались бы". Обозначить, действительно, можно. Мы можем обозначить различие, лишь заимствуя названия объектов, еще не существующих в сознании. Это означает, что наш психологический словарь совершенно недостаточен для того, чтобы назвать существующие различия, даже такие сильные, как эти. Но безымянность совместима с существованием. Существует бесчисленное множество сознаний пустоты, ни одно из которых, взятое само по себе, не имеет названия, но все они отличаются друг от друга. Обычный путь - считать, что все они - пустота сознания, а значит, одно и то же состояние. Но ощущение отсутствия есть *toto cœlo*, а не отсутствие ощущения. Это интенсивное чувство. Ритм утраченного слова может присутствовать без звукового сопровождения; или мимолетное ощущение чего-то, что является начальной гласной или согласной, может издеваться над нами, не становясь более отчетливым. Каждому, должно быть, знаком манящий эффект пустого ритма какого-нибудь забытого стихотворения, беспокойно пляшущего в голове и стремящегося заполниться словами.

И опять же, в чем странная разница между опытом, испытанным впервые, и тем же самым опытом, признанным знакомым, как уже испытанным ранее, хотя мы не можем назвать его или сказать, где и когда? Мелодия, запах, вкус иногда так глубоко проникают в наше сознание, что мы бываем потрясены их таинственной эмоциональной силой. Но как бы ни был силен и характерен этот психоз - вероятно, он обусловлен субмаксимальным возбуждением широко разветвленных ассоциативных трактов мозга, - единственное название, которое мы имеем для всех его оттенков, - это "чувство знакомости".

Когда мы читаем такие фразы, как "ничего, кроме", "либо одно, либо другое", "*a* есть *b*, но", "хотя это так, тем не менее", "это исключенная середина, нет *tertium quid*" и множество других словесных скелетов логического отношения, правда ли, что в нашем сознании нет

ничего, кроме самих слов, которые проходят через него? В чем же тогда смысл слов, которые, как нам кажется, мы понимаем, читая? Что делает этот смысл отличным в одной фразе от того, что он есть в другой? 'Кто?' 'Когда?' 'Где?' Не является ли разница ощущаемого смысла в этих вопросительных предложениях не более чем разницей в звучании? И не является ли оно (как и само различие звучания) известным и понятным в соотносимом с ним, хотя и столь непроницаемом для прямого исследования, аффекте сознания? Разве не так же обстоит дело с такими отрицаниями, как "нет", "никогда", "еще нет"?

Правда заключается в том, что значительная часть человеческой речи - это не что, а *знаки направления* мысли, направление которой мы, тем не менее, остро различаем, хотя никакой определенный сенсорный образ не играет в ней никакой роли. Сенсорные образы - это стабильные психические факты; мы можем держать их неподвижно и смотреть на них сколько угодно. Эти голые образы логического движения, напротив, являются психическими переходами, всегда находящимися, так сказать, на крыле, и не могут быть замечены иначе, как в полете. Их функция - вести от одного набора образов к другому. Когда они проходят, мы ощущаем и нарастающие, и убывающие образы совершенно особым образом, совершенно отличным от их полного присутствия. Если мы пытаемся удержать ощущение направления, то полное присутствие приходит, а ощущение направления теряется. Пустая словесная схема логического движения дает нам мимолетное ощущение движения, когда мы читаем ее, так же как и рациональное предложение, пробуждающее своими словами определенное воображение.

Что это за первое мгновенное понимание смысла, которое мы испытываем, когда, выражаясь вульгарным языком, "улавливаем" его? Несомненно, это совершенно конкретный аффект нашего ума. И разве читатель никогда не задавал себе вопрос, что это за мысленный факт - *намерение сказать вещь до того*, как он ее сказал? Это совершенно определенное намерение, отличное от всех других намерений, совершенно определенное состояние сознания, следовательно; и все же, насколько оно состоит из определенных чувственных образов, либо слов, либо вещей? Да почти ничего! Задержитесь, и слова и вещи приходят в сознание; предвосхищающее намерение, прорицание больше не существует. Но по мере того, как приходят слова, заменяющие его, оно последовательно принимает их и называет правильными, если они согласны с ним, и отвергает их, называя неправильными, если они не согласны. Таким образом, оно имеет собственную природу самого позитивного рода, и все же что мы можем сказать о нем, не используя слова, принадлежащие более поздним ментальным фактам, которые его заменяют? *Намерение сказать так-то и так-то* - вот единственное название, которое оно может получить. Можно признать, что добрая треть нашей психической жизни состоит из этих быстрых предвосхищающих перспективных представлений о еще не сформулированных схемах мышления. Как получается, что человек, впервые читающий что-то вслух, способен сразу же правильно подчеркнуть все свои слова, если только с самого начала у него нет ощущения хотя бы формы будущего предложения, которое сливается с его сознанием настоящего слова и изменяет его ударение в его уме так, чтобы заставить его сделать правильный акцент, когда он его произносит? Подобное ударение почти полностью зависит от грамматической конструкции. Если мы читаем "no more", мы ожидаем, что в скором времени мы наткнемся на "than"; если мы читаем "however" в начале предложения, мы ожидаем "yet", "still" или "nevertheless". Существительное в определенной позиции требует глагола в определенном времени и числе, в другой позиции оно ожидает относительного местоимения. Прилагательные требуют существительных, глаголы - наречий и т. д. и т. п. И это предчувствие предстоящей грамматической схемы в сочетании с каждым последующим произнесенным словом настолько практически точно,

что читатель, не способный понять четыре идеи книги, которую он читает вслух, может, тем не менее, читать ее с самым деликатно модулированным выражением интеллекта.

Некоторые интерпретируют эти факты, называя ими все случаи, когда одни образы, по законам ассоциации, пробуждают другие так быстро, что нам кажется, что впоследствии мы почувствовали саму *тенденцию* зарождающихся образов к возникновению, прежде чем они появились на самом деле. Для этой школы единственным возможным материалом сознания являются образы совершенно определенной природы. Тенденции существуют, но они являются фактами для внешнего психолога, а не для субъекта наблюдения. Тенденция, таким образом, является *психическим* нулем; ощущаются только ее *результаты*.

Теперь я утверждаю и накапливаю примеры, чтобы показать, что "тенденции" - это не только описания извне, но что они находятся среди *объектов* потока, который, таким образом, осознает их изнутри, и должны быть описаны как в значительной степени состоящие из *ощущений тенденции*, часто настолько смутных, что мы вообще не в состоянии их назвать. Короче говоря, это возвращение смутного на его надлежащее место в нашей психической жизни, к которому я так хочу привлечь внимание. Мистер Гальтон и профессор Хаксли, как мы увидим в главе XVIII, сделали один шаг вперед, разрушив нелепую теорию Юма и Беркли о том, что у нас не может быть никаких образов, кроме совершенно определенных вещей. Другой шаг сделан в ниспровержении столь же нелепого представления о том, что в то время как простые объективные качества открываются нашему знанию в субъективных ощущениях, отношения таковыми не являются. Но эти реформы не являются наполовину масштабными и достаточно радикальными. Необходимо признать, что определенные образы традиционной психологии составляют лишь самую малую часть нашего сознания, как оно живет на самом деле. Традиционная психология рассуждает подобно тому, кто говорит, что река состоит из одних ведер, ложек, четвертей горшков, бочек и прочих формованных форм воды. Даже если бы все эти ведра и горшки действительно стояли в потоке, между ними все равно продолжала бы течь свободная вода. Именно эту свободную воду сознания психологи решительно не замечают. Каждый определенный образ в сознании погружается и окрашивается в свободную воду, которая течет вокруг него. Вместе с ним уходит ощущение его связей, близких и далеких, умирающее эхо того, откуда он пришел к нам, зарождающееся чувство того, куда он должен привести. Значение, ценность образа - в этом ореоле или полутени, которая окружает и сопровождает его, - или, скорее, которая слилась с ним в одно целое и стала костью его кости и плотью его плоти; оставляя его, правда, образом того же самого, чем он был раньше, но делая его образом этой вещи, вновь взятой и вновь понятой.

Что такое эта тeneвая схема "формы" оперы, пьесы или книги, которая остается в нашем сознании и по которой мы выносим суждение, когда реальная вещь уже сделана? Что такое наше представление о научной или философской системе? У великих мыслителей есть огромные предчувствия схем отношений между понятиями, которые едва ли даже в виде словесных образов входят в сознание, настолько стремительным является весь процесс.^[232] У каждого из нас есть это постоянное сознание того, куда направляется наша мысль. Это такое же чувство, как и любое другое, чувство того, какие мысли возникнут в следующий раз, еще до того, как они возникли. Это поле зрения сознания очень сильно варьируется по объему, в основном в зависимости от степени умственной свежести или усталости. Когда мы очень свежи, наше сознание несет в себе огромный горизонт. Настоящий образ простирает свою перспективу далеко вперед, заранее облучая области, в которых лежат еще не родившиеся мысли. В обычных условиях ореол прочувствованных отношений гораздо более ограничен. А в состоянии крайнего угара горизонт сужается почти

до мимолетного слова, - ассоциативный механизм, однако, предусматривает следующее слово, появляющееся в упорядоченной последовательности, пока, наконец, уставший мыслитель не приходит к какому-то выводу. В некоторые моменты он может сомневаться, не пришли ли его мысли к полной остановке; но смутное ощущение "*плюс ультра*" заставляет его постоянно бороться за более определенное выражение того, что это может быть; в то время как медлительность его речи показывает, насколько трудным в таких условиях должен быть труд мышления.

Осознание того, что наша *определенная* мысль остановилась, совершенно отличается от осознания того, что наша мысль окончательно завершена. Выражением последнего состояния ума является падающий наклон, свидетельствующий об окончании предложения, и тишина. Выражением первого состояния является "хмыканье" или другие фразы, такие как "*и так далее*" или "и так далее". Но обратите внимание, что каждая часть предложения, которая остается незавершенной, ощущается по-разному по мере того, как она проходит, из-за предчувствия, что мы не сможем ее закончить. 'И так далее' отбрасывает свою тень назад и является такой же неотъемлемой частью объекта мысли, как и самый отчетливый образ.

Опять же, когда мы используем общее существительное, *такое как человек*, в универсальном смысле, как обозначающее всех возможных людей, мы полностью осознаем это намерение с нашей стороны и тщательно отличаем его от нашего намерения, когда мы имеем в виду определенную группу людей или одинокого человека перед нами. В главе "Концепция" мы увидим, насколько важна эта разница в намерениях. Оно накладывает свой отпечаток на все предложение, как до, так и после того места, где употреблено слово "*человек*".

Нет ничего проще, чем символизировать все эти факты в терминах действия мозга. Подобно тому, как отзвук "*откуда*", ощущение начальной точки нашей мысли, вероятно, обусловлено угасающим возбуждением процессов, лишь на мгновение вызвавших яркое возбуждение; так и ощущение "*куда*", предвкушение конечной точки, должно быть обусловлено нарастающим возбуждением трактов или процессов, которые через мгновение станут мозговыми коррелятами какой-то вещи, которая через мгновение будет ярко представлена мысли. Если представить это кривой, то невроз, лежащий в основе сознания, в любой момент должен быть таким:

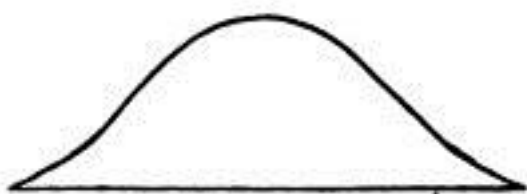


Рис. 27.

Каждая точка горизонтальной линии обозначает какой-то мозговой тракт или процесс. Высота кривой над линией означает интенсивность процесса. Все процессы *присутствуют* в той интенсивности, которую показывает кривая. Но те, что до вершины кривой, *были* более интенсивными мгновение назад; те, что после нее, будут более интенсивными мгновение спустя. Если я произношу *a, b, c, d, e, f, g*, то в момент произнесения *d* ни *a, b, c*, ни *e, f, g* не исчезают из моего сознания полностью, но оба, в

соответствии с их модой, "смешивают свой тусклый свет" с более сильным светом *d*, потому что их невроты в той или иной степени пробудились.

Существует общий класс ошибок, который показывает, как мозговые процессы начинают возбуждаться еще до того, как мысли, связанные с ними, *приходят в должную*, то есть содержательную и яркую форму. Я имею в виду те ошибки в речи или письме, когда, по словам доктора Карпендера, "мы неправильно произносим или неправильно пишем слово, вставляя в него букву или слог какого-то другого слова, очередь которого скоро наступит; или, может быть, все предполагаемое слово заменяется одним, которое должно было быть выражено".[233] В этих случаях должно произойти одно из двух: либо какая-то локальная авария питания *блокирует* процесс, который *должен быть*, так что другие процессы разрядки, которые должны быть еще только зарождаются; или какая-то противоположная локальная авария *продвигает последние процессы* и заставляет их взорваться раньше времени. В главе, посвященной ассоциации идей, мы увидим множество примеров фактического воздействия на сознание невротиков, которые еще не пробудились до максимума.

Это подобно "обертонам" в музыке. Разные инструменты дают "одну и ту же ноту", но каждый в разном голосе, потому что каждый дает больше, чем эта нота, а именно различные верхние гармоники ее, которые отличаются от одного инструмента к другому. Они не слышны уху по отдельности; они сливаются с основной нотой, наполняют ее и изменяют; точно так же нарастающие и убывающие мозговые процессы в каждый момент сливаются с психическим эффектом процессов, которые находятся в своей кульминационной точке, наполняют и изменяют его.

Давайте использовать слова "*психический обертон*", "*суффузия*" или "*бахрома*", чтобы обозначить влияние слабого мозгового процесса на нашу мысль, поскольку он заставляет ее осознавать отношения и объекты, но воспринимаемые смутно.[234]

Если мы затем рассмотрим *когнитивную функцию* различных состояний ума, мы можем быть уверены, что разница между теми, которые являются простым "знакомством", и теми, которые являются "*знанием о*" (см. с. 221), почти полностью сводится к отсутствию или наличию психических бахром или обертонов. Знание о вещи - это знание ее отношений. Знакомство с ней ограничивается голым впечатлением, которое она производит. О большинстве ее отношений мы знаем лишь в зачаточном виде, как о "бахроме" неартикулированных сродств с ней. И, прежде чем перейти к следующей по порядку теме, я должен сказать немного об этом чувстве близости, как об одной из самых интересных особенностей субъективного потока.

Во всех наших добровольных размышлениях есть какая-то тема или предмет, вокруг которого вращаются все члены мысли. В половине случаев эта тема - проблема, пробел, который мы пока не можем заполнить определенной картиной, словом или фразой, но который, как уже было описано некоторое время назад, оказывает на нас интенсивное активное и детерминированное психическое воздействие. Какие бы образы и фразы ни проходили перед нами, мы чувствуем их связь с этим ноющим пробелом. Заполнить его - вот предназначение наших мыслей. Некоторые из них приближают нас к этому завершению. Некоторые отбрасываются как не имеющие отношения к делу. Каждая плывет в осязаемой бахrome отношений, термином которых является вышеупомянутый пробел. Или вместо определенного разрыва мы можем просто носить с собой настроение интереса. Тогда, каким

бы смутным ни было настроение, оно все равно будет действовать одинаково, набрасывая мантию ощущаемой близости на такие представления, входящие в сознание, которые ему подходят, и окрашивая чувством утомительности или разлада все те, к которым оно не имеет отношения.

Отношение, таким образом, к нашей теме или интересу постоянно ощущается на периферии, и особенно отношение гармонии и диссонанса, содействия или препятствия теме. Когда есть чувство содействия, мы "в порядке"; когда есть чувство препятствия, мы недовольны и озадачены, и метаемся в поисках других мыслей. Теперь *любая* мысль, чья окантовка позволяет нам чувствовать себя "в порядке", является приемлемым членом нашего мышления, какой бы разновидностью мысли она ни была. Если мы только чувствуем, что она занимает место в схеме отношений, в которой находится и интересная тема, этого вполне достаточно, чтобы сделать ее уместной и подходящей частью нашего потока мыслей.

Ибо главное в мыслительном процессе - это его вывод. Это и есть *смысл*, или, как мы говорим, тема мысли. Это то, что остается, когда все остальные ее члены исчезают из памяти. Обычно таким выводом является слово или фраза, или конкретный образ, или практическая позиция, или решимость, возникшая для решения проблемы или заполнения уже существовавшего пробела, который нас беспокоил, или случайно натолкнувшись на него в задумчивости. В любом случае он выделяется из других сегментов потока благодаря особому интересу, который к нему прилагается. Этот интерес *задерживает* его, делает его своего рода кризисом, когда он наступает, побуждает к вниманию и заставляет нас относиться к нему предметно.

Части потока, которые предшествуют этим содержательным выводам, являются лишь средствами для достижения последних. И при условии, что мы придем к одному и тому же выводу, средства могут быть сколь угодно изменчивы, поскольку "смысл" потока мысли остается неизменным. Какая разница, каковы средства? *"Какая разница, какой флакон, если есть иврес?"* Относительная неважность средств вытекает из того факта, что, когда вывод сделан, мы всегда забываем о большинстве шагов, предшествовавших его достижению. Высказав предложение, мы редко можем спустя мгновение вспомнить его точные слова, хотя можем достаточно легко выразить его другими словами. Практический итог прочитанной книги остается с нами, хотя мы можем не вспомнить ни одного предложения из нее.

Единственный парадокс, казалось бы, заключается в предположении, что граница ощущаемой близости и несоответствия может быть одинаковой в двух разнородных наборах образов. Возьмем, с одной стороны, последовательность слов, проходящих через сознание и приводящих к определенному выводу, а с другой - почти лишенный слов набор тактильных, визуальных и других причуд, приводящих к тому же выводу. Может ли ореол, бахрома или схема, в которой, по нашему мнению, находятся слова, быть той же самой, в которой, по нашему мнению, находятся образы? Разве расхождение терминов не влечет за собой расхождение ощущаемых отношений между ними?

Если термины воспринимаются как простые ощущения, то это, конечно, так. Например, слова могут рифмоваться друг с другом, а зрительные образы не могут иметь *такого* сходства. Но как мысли, как ощущения, слова в результате длительной ассоциации обрели границы взаимного отталкивания или сродства друг с другом и с заключением, которые идут точно параллельно с такими же границами в зрительных, осязательных и других представлениях. Самым важным элементом этих границ является, повторяю, простое ощущение гармонии или диссонанса, правильного или неправильного направления мысли. Доктор Кэмпбелл, насколько я знаю, сделал лучший анализ этого факта, и его слова, часто

цитируемые, заслуживают того, чтобы быть процитированными снова. Глава называется "В чем причина того, что бессмыслица так часто ускользает от внимания как писателя, так и читателя?". Отвечая на этот вопрос, автор делает (*среди прочего*) следующие замечания:[235]

"Та связь [говорит он] или отношение, которое постепенно возникает между различными словами языка в сознании говорящих на нем, ... является лишь следствием того, что эти слова используются в качестве обозначений связанных или родственных вещей. В геометрии есть аксиома, что вещи, равные одной и той же вещи, равны друг другу. Точно так же можно признать аксиомой в психологии, что идеи, связанные одной и той же мыслью, будут связывать друг друга. Отсюда следует, что если в результате переживания связи двух вещей возникнет, как это непременно произойдет, ассоциация между идеями или понятиями, приложенными к ним, поскольку каждая идея будет ассоциироваться со своим знаком, то возникнет и ассоциация между идеями знаков. Следовательно, звуки, рассматриваемые как знаки, будут восприниматься как имеющие связь, аналогичную той, которая существует между обозначаемыми вещами; я говорю, звуки, рассматриваемые как знаки; ибо этот способ их рассмотрения постоянно сопровождает нас в разговоре, письме, слушании и чтении. Когда мы намеренно абстрагируемся от него и рассматриваем их просто как звуки, мы сразу же ощущаем, что они совершенно не связаны между собой и не имеют никакой иной связи, кроме той, что возникает от сходства тона или акцента. Но рассмотрение их таким образом обычно является следствием предшествующего замысла и требует усилий, которые не прилагаются при обычном использовании речи. В обычном употреблении они рассматриваются исключительно как знаки, или, скорее, их путают с теми вещами, которые они обозначают; следствием этого является то, что, как только что было объяснено, мы незаметно приходим к представлению о связи между ними совершенно иного рода, чем та, которой звуки подвержены по своей природе.

"Теперь эта концепция, привычка или тенденция ума, называйте это как хотите, значительно усиливается благодаря частому использованию языка и его структуре. Язык - это единственный канал, через который мы передаем свои знания и открытия другим, и через который знания и открытия других передаются нам. Благодаря постоянному обращению к этому средству коммуникации неизбежно происходит так, что когда вещи связаны друг с другом, слова, обозначающие эти вещи, чаще всего объединяются в дискурсе. Таким образом, слова и имена сами по себе, в силу привычной близости, приобретают в воображении отношение, дополнительное к тому, которое они получают исключительно в качестве символов связанных вещей. Кроме того, эта тенденция усиливается структурой языка. Все языки, даже самые варварские, какие только существуют, имеют регулярную и аналоговую структуру. Следствием этого является то, что сходные отношения в вещах будут выражаться сходным образом, то есть с помощью сходных склонений, дериваций, композиций, расположения слов или соединения частиц, в соответствии с гением или грамматической формой конкретного языка. Как при привычном использовании языка (даже если бы он был совершенно нерегулярным) знаки неощутимо соединяются в воображении везде, где обозначаемые вещи связаны в природе, так и при регулярном строении языка эта связь между знаками мыслится как аналогичная той, что существует между их архетипами".

Если мы знаем английский и французский языки и начинаем предложение на французском, то все последующие слова будут французскими; мы почти никогда не переходим на

английский. И эта близость французских слов друг к другу не является чем-то механически действующим, как закон мозга, это то, что мы чувствуем в данный момент. Наше понимание услышанного французского предложения никогда не опускается до такого низкого уровня, чтобы мы не осознавали, что эти слова лингвистически принадлежат друг другу. Вряд ли наше внимание может настолько рассеяться, что если вдруг появится английское слово, мы не начнем его менять. Такое смутное ощущение принадлежности слов друг другу - это самый минимум того, что может сопровождать их, если "мысль" вообще существует. Обычно смутное ощущение того, что все слова, которые мы слышим, принадлежат одному языку и одному специальному словарю этого языка, и что грамматическая последовательность знакома, практически равнозначно признанию того, что то, что мы слышим, - это смысл. Но если вводится необычное иностранное слово, если грамматика спотыкается или если вдруг появляется термин из несочетаемого словаря, например "крысоловка" или "счет водопроводчика" в философском дискурсе, предложение как бы детонирует, мы получаем шок от несочетаемого, и дремотное согласие исчезает. Чувство рациональности в таких случаях кажется скорее негативным, чем позитивным, - это просто отсутствие шока или ощущения диссонанса между терминами мысли.

Это признание разумом простого соответствия слов друг другу настолько тонко и непрерывно, что малейшая ошибка в прочтении, например, "casualty" вместо "causality" или "perpetual" вместо "perceptual", будет исправлена слушателем, чье внимание настолько расслаблено, что он вообще не уловит *смысла* предложения.

И наоборот, если слова принадлежат к одному и тому же словарному запасу, а грамматическая структура правильная, то предложения, не имеющие абсолютно никакого смысла, могут быть произнесены из лучших побуждений и пройти бесспорно. Иллюстрацией этому служат речи на молитвенных собраниях, перетасовка одного и того же набора кантовых фраз, а также весь род копеечных строчек-измов и газетных репортерских росчерков. "Птицы наполнили верхушки деревьев своей утренней песней, сделав воздух влажным, прохладным и приятным", - это предложение я помню, как однажды прочитал в отчете о каких-то атлетических упражнениях в парке Джерома. Вероятно, оно было написано бессознательно торопливым репортером и некритично прочитано многими читателями. Целый том из 784 страниц, недавно опубликованный в Бостоне[236], состоит из таких вещей, как этот отрывок, выбранный наугад:

"Поток эфферентных жидкостей всех этих сосудов из их выходов в терминальной петле каждого кульминационного звена на поверхности ядерного организма непрерывен, как и их соответствующие атмосферные плоды, вплоть до высотного предела их экспансивности, откуда, когда в атмосферу поступают подобные, но коалесцирующие сущности с больших высот, - те, которые чувственно выражены как существенные качества внешних форм, - они спускаются и становятся ассимилированными афферентами ядерного организма".[237]

Ежегодно публикуются работы, содержание которых свидетельствует о том, что они написаны настоящими сумасшедшими. Читателю процитированная книга кажется чистым бредом от начала до конца. В таком случае невозможно определить, какое чувство рациональной связи между словами могло возникнуть в голове автора. Границу между объективным смыслом и бессмыслицей провести трудно, а между субъективным смыслом и бессмыслицей - невозможно. Субъективно любое сочетание слов может иметь смысл - даже самые дикие слова во сне, - если только не сомневаться в их принадлежности друг другу.

Возьмем, к примеру, непонятные отрывки из Гегеля: возникает справедливый вопрос, является ли рациональность, заложенная в них, чем-то большим, чем тот факт, что все слова принадлежат к общему словарю и нанизаны на привычно повторяющуюся схему предикации и отношения, - опосредованности, самоотношения и т. д. Однако нет причин сомневаться в том, что субъективное ощущение рациональности этих предложений было сильно в писателе, когда он их писал, или даже в том, что некоторые читатели, напрягаясь, могли воспроизвести его в себе.

Подводя итог, можно сказать, что определенные виды словесных ассоциаций, определенные грамматические ожидания, которые оправдались, составляют значительную часть нашего впечатления о том, что предложение имеет смысл и в нем доминирует единство одной мысли. Бессмыслица в грамматической форме звучит полурационально; смысл с нарушенной грамматической последовательностью звучит нелепо; например, "Elba the Napoleon English faith had banished broken to be Saint because Helena at." Наконец, в каждом слове есть психологический "подтекст" - ощущение, что оно приближает нас к предчувствуемому выводу. Насытите все слова предложения, по мере их прохождения, этими тремя краями или ореолами отношений, пусть вывод покажется вам достойным, и все признают предложение выражением тщательно продуманной, единой и рациональной мысли.[\[238\]](#)

Каждое слово в таком предложении ощущается не только как слово, но и как имеющее *значение*. Значение" слова, взятого таким образом динамически в предложении, может быть совершенно иным, чем его значение, взятое статически или без контекста. Динамическое значение обычно сводится к той голой грани, которую мы описали, - ощущаемой пригодности или непригодности к контексту и выводу. Статический смысл, когда слово конкретно, как "стол", "Бостон", состоит из пробужденных чувственных образов; когда оно абстрактно, как "уголовное законодательство", "заблуждение", смысл состоит из других пробужденных слов, образующих так называемое "определение".

Знаменитая сентенция Гегеля о том, что чистое бытие тождественно чистому ничто, проистекает из того, что он воспринимает слова статично, или без той бахромы, которую они носят в контексте. Взятые изолированно, они сходятся в одной точке, не пробуждая никаких чувственных образов. Но взятые динамически, или как значимые, - как *мыслимые*, - их границы отношений, их сродства и отращения, их функции и значения ощущаются и понимаются как абсолютно противоположные.

Подобные соображения устраняют всякую видимость парадокса в тех случаях крайне недостаточного зрительного восприятия, о существовании которых нам стало известно от мистера Гальтона (см. ниже). Один исключительно умный друг сообщил мне, что не может составить никакого представления о внешнем виде своего стола для завтрака. Когда его спрашивают, как он вообще его помнит, он отвечает, что просто *"знает"*, что за ним сидели четыре человека и он был покрыт белой тканью, на которой стояли блюдо с маслом, кофейник, редис и т. д. Мысль, из которой состоит это "знание", похоже, состоит исключительно из словесных образов. Но если слова "кофе", "бекон", "кексы" и "яйца" заставляют человека разговаривать с поваром, оплачивать счета и принимать меры для завтрашней трапезы точно так же, как зрительные и вкусовые воспоминания, то почему бы им, всех практических целей, не быть таким же хорошим материалом для мышления? Фактически, мы можем подозревать, что для большинства целей они лучше, чем термины с более богатой образной окраской. В мышлении важны схема отношений и вывод, поэтому

тот вид материала для мышления, который находится под рукой, лучше всего подходит для этой цели. Слова, произнесенные или невысказанные, - это самые удобные ментальные элементы, которыми мы располагаем. Они не только очень *быстро* восстанавливаются, но и восстанавливаются как реальные ощущения легче, чем любые другие элементы нашего опыта. Если бы они не обладали подобным преимуществом, вряд ли можно было бы утверждать, что чем старше люди и чем эффективнее они мыслят, тем больше, как правило, они теряют способность к визуализации и зависят от слов. Это было установлено мистером Гальтоном на примере членов Королевского общества. Настоящий писатель наиболее отчетливо наблюдает это в своей собственной персоне.

С другой стороны, глухонемой человек может вплести свои тактильные и зрительные образы в систему мышления, столь же эффективную и рациональную, как и у человека, использующего слова. *Вопрос о том, возможно ли мышление без языка*, был излюбленной темой для обсуждения среди философов. Интересные воспоминания мистера Балларда, глухонемого преподавателя Национального колледжа в Вашингтоне, о своем детстве показывают, что это вполне возможно. Здесь можно процитировать несколько абзацев.

"Вследствие потери слуха в младенчестве я был лишен возможности пользоваться преимуществами, которые дети, полностью владеющие своими чувствами, получают от занятий в обычной начальной школе, от повседневного общения со своими школьными товарищами и товарищами по играм, а также от разговоров родителей и других взрослых людей.

"Я мог передавать свои мысли и чувства родителям и братьям с помощью естественных знаков или пантомимы, и я мог понимать то, что они говорили мне с помощью того же средства; наше общение, однако, ограничивалось повседневной рутинной домашних дел и едва ли выходило за пределы круга моего собственного наблюдения.....

"Мой отец выбрал курс, который, по его мнению, должен был в какой-то мере компенсировать мне потерю слуха. Он брал меня с собой, когда дела требовали от него поездок за границу; и он брал меня чаще, чем моих братьев, объясняя причину своей явной пристрастности тем, что они могли получать информацию через слух, в то время как я полагался исключительно на свой глаз для знакомства с делами внешнего мира.....

"Я живо помню, какой восторг я испытывал, наблюдая за различными сценами, через которые мы проезжали, наблюдая за различными проявлениями природы, как живой, так и неживой; хотя мы не вступали в разговоры, из-за моей немощи. Именно во время этих восхитительных поездок, примерно за два-три года до того, как я познакомился с зачатками письменности, я начал задавать себе вопрос: *Как появился мир?* Когда этот вопрос приходил мне в голову, я долго размышлял над ним. Мое любопытство пробудилось: каково было происхождение человеческой жизни в ее первом появлении на земле, а также растительной жизни и причины существования земли, солнца, луны и звезд.

"Я помню, как однажды, когда мой взгляд упал на очень большой старый пенёк, мимо которого мы случайно проезжали во время одной из наших прогулок, я спросил себя: "Возможно ли, что из этого пня вырос первый человек, который когда-либо появлялся на свет? Но ведь этот пенёк - лишь остаток некогда благородного великолепного дерева, а как появилось это дерево? Оно выросло из земли, как и те маленькие деревца, что растут сейчас". И я выбросил из головы, как абсурдную идею, связь между происхождением человека и разлагающимся старым пнем.....

"Я не помню, что именно впервые натолкнуло меня на вопрос о происхождении вещей. До этого времени я уже имел представление о передаче наследства от родителей к детям, о размножении животных и о выращивании растений из семян. Вопрос, который пришел мне в голову, заключался в следующем: откуда появились первый человек, первое животное и первое растение, на самом отдаленном расстоянии, до которого не было ни человека, ни животного, ни растения; поскольку я знал, что все они имеют начало и конец.

"Невозможно точно определить порядок, в котором возникали эти различные вопросы, то есть о людях, животных, растениях, земле, солнце, луне и т. д. Низшим животным не уделялось столько внимания, сколько человеку и земле; возможно, потому, что я относил человека и животное к одному классу, так как верил, что человек будет уничтожен и не будет воскресения за пределами могилы, - хотя мать рассказывала мне, что в ответ на мой вопрос об умершем дяде, который казался мне человеком во сне, она пыталась дать мне понять, что он проснется в далеком будущем. Я считал, что человек и животное происходят из одного и того же источника и должны быть положены в прах в состоянии уничтожения. Считая грубое животное второстепенным и связанным с человеком на более низком уровне, человек и земля были двумя вещами, на которых мой ум останавливался больше всего.

"Думаю, мне было пять лет, когда я начал понимать, что происходит от родителей к детям и что животные размножаются. Мне было почти одиннадцать лет, когда я поступил в институт, где получил образование; и я отчетливо помню, что по крайней мере за два года до этого времени я начал задавать себе вопрос о происхождении Вселенной. Мой возраст тогда был около восьми, а не более девяти лет.

"О форме Земли я в детстве не имел ни малейшего представления, разве что, взглянув на карту полушарий, предположил, что это два огромных диска материи, лежащих рядом друг с другом. Я также считал, что солнце и луна - это круглые плоские пластины светящейся материи; и к этим светилам я питал нечто вроде благоговения из-за их способности освещать и обогревать землю. Я думал, что, судя по тому, как они поднимаются и опускаются, путешествуя по небу столь регулярным образом, должно существовать некое нечто, имеющее власть управлять их движением. Я считал, что солнце входит в отверстие на западе и выходит из другого на востоке, проходя через огромную трубу в земле и описывая ту же кривую, что и на небе. Звезды казались мне крошечными огоньками, разбросанными по небу.

"Вопрос об источнике, из которого возникла вселенная, был тем вопросом, вокруг которого вращался мой ум в тщетной борьбе за его постижение, или, скорее, за то, чтобы пробиться наверх и получить удовлетворительный ответ. Когда я просидел над этим вопросом значительное время, я понял, что это вопрос гораздо больший, чем мой разум мог постичь; и я хорошо помню, что был так потрясен его загадочностью и так озадачен своей неспособностью постичь его, что отбросил этот вопрос и выбросил из головы, радуясь, что не попал, как бы, в водоворот неразрешимой путаницы. Хотя мне стало легче от этого избавления, я все же не мог противиться желанию узнать истину; и я вернулся к этой теме, но, как и прежде, оставил ее, поразмыслив над ней некоторое время. Находясь в этом состоянии недоумения, я все время надеялся докопаться до истины, полагая, что чем больше я буду думать об этом предмете, тем больше мой разум проникнет в тайну. Так я метался, как челнок, то возвращаясь к предмету, то отступая от него, пока не пришел в школу.

"Помню, что однажды мама рассказала мне о некоем существе наверху, которое указывало пальцем на небо и имело торжественное выражение лица. Я не помню обстоятельств, которые привели к этому рассказу. Когда она упомянула о таинственном существе на небе, я с готовностью ухватился за эту тему и засыпал ее вопросами о форме и внешнем виде этого неизвестного существа, спрашивая, не солнце ли это, не луна, не одна из звезд. Я знал, что она имела в виду, что где-то на небе есть живое существо; но когда я понял, что она не может ответить на мои вопросы, я в отчаянии бросил это занятие, горюя о том, что не могу получить определенного представления о таинственном живом существе на небе.

"Однажды, когда мы пасли сено в поле, раздалась серия сильных громовых раскатов. Я спросил одного из братьев, откуда они доносятся. Он указал на небо и сделал пальцем зигзагообразное движение, означающее молнию. Я представил себе, что где-то в голубом своде есть великий человек, который громко шумит своим голосом; и каждый раз, когда я слышал[239] раскаты грома, я пугался и смотрел на небо, боясь, что он произносит грозные слова".[240]

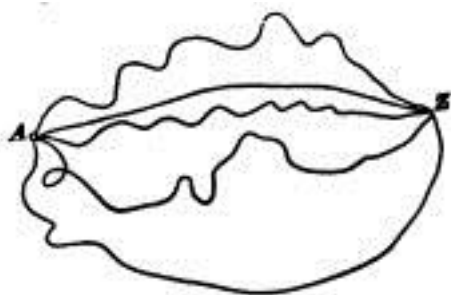


Рис. 28.

Здесь мы можем сделать паузу. К этому моменту читатель уже видит, что практически нет разницы, в каком виде, в каком качестве образов протекает его мышление. Единственные образы, *которые по своей сути важны*, - это места остановок, содержательные выводы, предварительные или окончательные, мысли. Во всем остальном потоке чувства отношения - это все, а термины, связанные с ними, - почти ничто. Эти чувства родства, эти психические обертоны, ореолы, суффузии, или бахрома вокруг терминов, могут быть одинаковыми в очень разных системах образности. Диаграмма может помочь подчеркнуть это безразличие психических средств, когда цель одна и та же. Пусть А - это некоторый опыт, от которого отталкивается ряд мыслителей. Пусть Z - практический вывод, рационально вытекающий из него. Один добирается до вывода по одной линии, другой - по другой; один следует курсу английской, другой - немецкой, словесной образности. У одного преобладают зрительные образы, у другого - тактильные. Одни поезда окрашены эмоциями, другие - нет; одни очень сокращены, синтетичны и стремительны, другие - нерешительны и разбиты на множество шагов. Но когда предпоследние термины всех поездов, как бы они ни различались между собой, в конце концов выстреливают в один и тот же вывод, мы говорим и справедливо говорим, что все мыслители думали в основном об одном и том же. Вероятно, каждый из них был бы поражен сверх всякой меры, если бы его впустили в разум соседа и он обнаружил, насколько отличается тамошний пейзаж от того, что есть в его собственном.

Мысль - это своего рода алгебра, как давно сказал Беркли, "в которой, хотя каждой буквой обозначается определенное количество, но для правильного хода не требуется, чтобы на каждом шагу каждая буква подсказывала вашим мыслям то конкретное количество, которое она должна обозначать". Мистер Льюс так хорошо развил эту алгебра-аналогию, что я должен процитировать его слова:

"Ведущая характеристика алгебры - оперирование отношениями. Это также является ведущей характеристикой Мышления. Алгебра не может существовать без значений, а мысль - без чувств. Операции - это множество пустых форм, пока не будут присвоены значения. Слова - пустые звуки, идеи - пустые формы, если они не символизируют образы и ощущения, которые являются их значениями. Тем не менее, строго верно и очень важно, что аналитики выполняют очень обширные операции с пустыми формами, никогда не останавливаясь, чтобы снабдить символы значениями, пока расчет не будет завершен; и обычные люди, не меньше, чем философы, ведут длинные поезда мыслей, не останавливаясь, чтобы перевести свои идеи (слова) в образы..... Предположим, кто-то издали кричит "лев!". Человек сразу же впадает в тревогу..... Для человека это слово является не только ... выражением всего того, что он видел и слышал о львах, способным вызвать в памяти различные переживания, но и способно занять свое место в связанном ряду мыслей, не вызывая в памяти ни одного из этих переживаний, не воскрешая в памяти образ, пусть даже слабый, льва - просто как знак определенного отношения, входящего в названный комплекс. Подобно алгебраическому символу, с ним можно оперировать, не передавая иного значения, кроме абстрактного отношения: это знак Опасности, связанный со страхом со всеми его двигательными последовательностями. Его логическая позиция достаточна..... Идеи - это *субституты*, которые требуют вторичного процесса, когда то, что символизируется ими, переводится в образы и переживания, которые они заменяют; и этот вторичный процесс часто не выполняется вообще, а обычно выполняется лишь в очень малой степени. Пусть каждый внимательно изучит, что происходило в его голове, когда он строил цепочку рассуждений, и он будет удивлен малочисленностью и слабостью образов, сопровождавших идеи. Предположим, вы сообщите мне, что "кровь бешено бросилась из сердца мужчины, учащая его пульс при виде врага". Сколько из множества скрытых образов, заложенных в этой фразе, были явными в вашем и моем сознании? Вероятно, два - человек и его враг, и эти образы были слабыми. Образы крови, сердца, бурных порывов, пульса, учащения и зрения либо не оживали вовсе, либо были мимолетными тенями. Если бы такие образы возникли, они бы мешали мыслить, тормозили логический процесс суждения неуместными связями. Символы заменили эти *значения* отношениями..... Нет никаких образов двух вещей и трех вещей, когда я говорю "два и три равно пяти"; есть просто знакомые символы, имеющие точные отношения..... Словесный символ "лошадь", обозначающий все наши впечатления о лошадях, служит всем целям Мышления, не вызывая ни одного из образов, сгруппированных в восприятии лошадей, точно так же, как вид формы лошади служит всем целям *распознавания*, не вызывая в памяти звук ее ржания или ее топот, ее качества как тяглового животного и т.д." [\[241\]](#)

Остается только добавить, что, как алгебрист, хотя последовательность его терминов фиксируется их отношениями, а не несколькими значениями, должен придать реальное значение тому, к которому он пришел; так и мыслитель в словах должен позволить своему заключительному слову или фразе быть переведенным в его полное разумно-образное значение, под страхом того, что мысль останется нереализованной и бледной.

Это все, что я хочу сказать об ощутимой непрерывности и единстве нашей мысли в сравнении с кажущейся дискретностью слов, образов и других средств, с помощью которых она, как кажется, осуществляется. Между всеми их существенными элементами существует "переходное" сознание, а слова и образы "окаймлены" и не так дискретны, как кажется

невнимательному взгляду. Перейдем теперь к следующему разделу нашего описания потока Мысли.

4. Человеческая мысль, по-видимому, имеет дело с объектами, независимыми от нее самой; то есть она когнитивна, или обладает функцией познания.

Для абсолютного идеализма бесконечная Мысль и ее объекты едины. Объекты существуют, будучи мыслимыми; вечный Разум существует, будучи мыслимым. Если бы человеческая мысль была одна в мире, то не было бы никаких оснований для каких-либо других предположений относительно нее. Что бы ни было перед ней, это было бы ее видением, было бы там, в ее "там", или тогда, в ее "тогда"; и никогда не возникло бы вопроса, существует ли ее внементальный дубликат или нет. Причина, по которой мы все верим, что объекты наших мыслей имеют дублирующее существование вовне, заключается в том, что существует множество человеческих мыслей, каждая из которых имеет те же самые объекты, как мы не можем не предполагать. Суждение о том, что моя мысль имеет тот же объект, что и его мысль, - это то, что заставляет психолога называть мою мысль когнитивной по отношению к внешней реальности. Суждение о том, что моя собственная прошлая мысль и моя собственная настоящая мысль имеют один и тот же объект, - это то, что заставляет меня извлекать объект из любой из них и проецировать его посредством своего рода триангуляции в независимую позицию, из которой он может *показаться* обоим. Таким образом, *одинаковость* во множественности объективных видимостей является основой нашей веры в реальность вне мысли. [242] В главе XII мы должны будем вновь обратиться к суждению об одинаковости.

Чтобы показать, что вопрос о том, является ли реальность внементальной или нет, вряд ли возникнет в отсутствие повторного опыта одного и того же, возьмем пример совершенно беспрецедентного опыта, такого как новый вкус в горле. Это субъективное качество ощущения или объективное качество ощущения? В этот момент вы даже не задаетесь этим вопросом. Это просто *вкус*. Но если врач услышит, как вы его описываете, и скажет: "Ха! Теперь вы знаете, что такое *изжога*", то это станет качеством, уже существующим *вне ментальности*, которое вы, в свою очередь, постигли и узнали. Первые пространства, времена, вещи, качества, пережитые ребенком, вероятно, появляются, как и первая изжога, таким абсолютным образом, как простые *существа*, ни в мыслях, ни вне их. Но позже, имея другие мысли, кроме этой, и неоднократно вынося суждения об одинаковости их объектов, он утверждает в себе представление о реальностях, как прошлых и отдаленных, так и настоящих, которыми не обладает и не порождает ни одна мысль, но которые могут созерцать и познавать все. Это, как уже говорилось в последней главе, *психологическая* точка зрения, относительно некритическая неидеалистическая точка зрения всей естественной науки, за пределы которой эта книга не может выйти. Разум, осознавший свою собственную познавательную функцию, играет с самим собой в то, что мы называли "психологом". Он не только знает вещи, которые появляются перед ним; он знает, что знает их. Эта стадия рефлексивного состояния является, более или менее явно, нашим привычным взрослым состоянием ума.

Однако его нельзя считать примитивным. Сознание объектов должно быть первым. Кажется, что мы погружаемся в это первобытное состояние, когда сознание снижается до минимума в результате вдыхания анестетиков или во время обморока. Многие люди свидетельствуют, что на определенной стадии анестезирующего процесса объекты все еще познаются, в то время как мысль о себе теряется. Профессор Герцен отмечает: [243]

"Во время обморока происходит абсолютная психическая аннигиляция, отсутствие всякого сознания; затем, когда человек начинает приходить в себя, у него в определенный момент возникает смутное, безграничное, бесконечное ощущение - ощущение существования в целом без малейших признаков различия между "я" и "не-я"."

Доктор Шумейкер из Филадельфии описывает во время самой глубокой сознательной стадии эфирной интоксикации видение

"Две бесконечные параллельные линии в быстром продольном движении... на однородном туманном фоне... вместе с постоянным звуком или жужжанием, не громким, но отчетливым... который, казалось, был связан с параллельными линиями..... Эти явления занимали все поле. Не было ни снов, ни видений, каким-либо образом связанных с человеческими делами, ни идей или впечатлений, сходных с чем-либо из прошлого опыта, ни эмоций, ни, конечно, представления о личности. Не было никакого представления о том, что это за существо, которое касается двух линий, или что вообще существует такое существо; линии и волны - вот и все".[244]

Точно так же друг мистера Герберта Спенсера, процитированный им в "Mind" (vol iii, p. 556), говорит о "ненарушенной пустой тишине повсюду, за исключением того, что глупое присутствие лежало как тяжелое вторжение *где-то* - пятно на спокойствии". Это ощущение объективности и исчезновения субъективности, даже когда объект почти неопределим, является, как мне кажется, в некоторой степени знакомой фазой хлороформирования, хотя в моем случае это слишком глубокая фаза, чтобы остались какие-либо внятные воспоминания. Я знаю только, что, когда она исчезает, я, кажется, просыпаюсь с ощущением своего собственного существования как чего-то дополнительного к тому, что было раньше.[245]

Многие философы, однако, считают, что рефлексивное сознание собственного "я" необходимо для познавательной функции мысли. Они считают, что мысль, для того чтобы познать вещь, должна четко различать эту вещь и свое собственное "я".[246] Это совершенно необоснованное предположение, и нет ни малейшей тени основания считать его истинным. С таким же успехом можно утверждать, что я не могу мечтать, не мечтая, что я мечтаю, клясться, не клянясь, что я клянусь, отрицать, не отрицая, что я отрицаю, как и утверждать, что я не могу знать, не зная, что я знаю. Я могу иметь либо знакомство с объектом, либо знание о нем, О совсем не думая о себе. Для этого достаточно, чтобы я мыслил О и чтобы он существовал. Если в дополнение к мысли об О я также думаю, что я существую и что я знаю О, хорошо и отлично; тогда я знаю еще одну вещь, факт об О, о котором я раньше не знал. Это, однако, не мешает мне уже многое знать об О. О *как таковое* или О *плюс Р* - такие же хорошие объекты познания, как и О *плюс я*. Философы, о которых идет речь, просто подменяют один конкретный объект всеми остальными и называют его объектом *par excellence*. Это случай "заблуждения психолога" (см. с. 197). Они знают, что объект - это одно, а мысль - другое; и тут же навязывают свое собственное знание мысли, о которой они претендуют на истинный отчет. В заключение следует сказать, что *мысль может, но не должна в процессе познания различать свой объект и саму себя*.

Мы уже использовали слово "объект". Теперь необходимо сказать кое-что о правильном использовании термина "объект" в психологии.

В народной речи слово объект обычно воспринимается без связи с актом познания и рассматривается как синоним индивидуального субъекта существования. Так, если спросить, что является объектом разума, когда вы говорите "Колумб открыл Америку в 1492

году", большинство людей ответят "Колумб", или "Америка", или, в крайнем случае, "открытие Америки". Они назовут субстанциональное ядро или ядро сознания и скажут, что мысль "об этом", - как оно и есть на самом деле, - и назовут это "объектом" вашей мысли. На самом деле это, как правило, лишь грамматический объект или, скорее, грамматическое подлежащее вашего предложения. Это, самое большее, ваш "дробный объект"; или вы можете назвать его "темой" вашей мысли, или "предметом вашего дискурса". Но на самом деле *объект* вашей мысли - это все ее содержание или результат, ни больше, ни меньше. Порочно использовать речь, если вы вычленяете из ее содержания существенное ядро и называете его объектом; и столь же порочно использовать речь, если добавляете существенное ядро, не входящее артикулированно в ее содержание, и называете его объектом. Однако любой из этих двух грехов мы совершаем, когда довольствуемся тем, что говорим, что данная мысль просто "о" некоторой теме, или что эта тема является ее "объектом". Например, объектом моей мысли в предыдущем предложении, строго говоря, не является ни Колумб, ни Америка, ни ее открытие. Это не что иное, как все предложение: "Колумб открыл Америку в 1492 году". И если мы хотим говорить о нем предметно, мы должны сделать его предметным, написав его таким образом, с дефисами между всеми его словами. Ничто, кроме этого, не может назвать его тонкую идиосинкразию. И если мы хотим *почувствовать* эту идиосинкразию, мы должны воспроизвести мысль в том виде, в каком она была произнесена, с каждым словом, окаймленным бахромой, и со всем предложением, купающимся в том первоначальном ореоле неясных отношений, который, подобно горизонту, затем распространился вокруг его смысла.

Наш психологический долг - как можно ближе подойти к реальному строению изучаемой мысли. Мы можем ошибаться как от избытка, так и от недостатка. Если ядро или "тема", Колумб, в одном случае меньше, чем объект мысли, то в другом случае оно может быть больше. То есть, когда психолог называет его, оно может означать гораздо больше, чем на самом деле присутствует в мысли, о которой он сообщает. Так, например, предположим, что вы думаете: "Он был дерзким гением!". Обычный психолог без колебаний скажет, что объектом вашей мысли все еще является "Колумб". Действительно, ваша мысль - о Колумбе. Она "заканчивается" на Колумбе, ведет от и к непосредственной идее о Колумбе. Но в данный момент это не полностью и не сразу Колумб, это только "он", или, скорее, "он был гением, который дерзал"; и хотя это может быть несущественным различием для разговорных целей, для интроспективной психологии это настолько большое различие, насколько оно может быть.

Объект каждой мысли, таким образом, не больше и не меньше, чем все то, что мысль думает, именно так, как мысль думает, каким бы сложным ни был вопрос и какой бы символической ни была манера мышления. Нет нужды говорить, что память редко может точно воспроизвести такой объект, когда он уже прошел перед мысленным взором. Она либо делает слишком мало, либо слишком много. Лучший план - повторить словесное предложение, если оно было, в котором был выражен объект. Но для невнятных мыслей нет даже этого ресурса, и интроспекция должна признать, что задача превышает ее возможности. Масса наших мыслей исчезает навсегда, без надежды на восстановление, и психология лишь собирает несколько крошек, упавших с пиршества.

Следующий момент, который необходимо прояснить, заключается в том, что *каким бы сложным ни был объект, мысль о нем - это одно неразделенное состояние сознания*. Как говорит Томас Браун:[\[247\]](#)

"Я уже слишком часто говорил об этом, чтобы снова предостерегать вас от ошибки, к которой, признаюсь, вас может очень естественно привести бедность нашего языка; ошибки, заключающейся в предположении, что самые сложные состояния сознания не являются действительно, по самой своей сути, столь же едиными и неделимыми, как и те, которые мы называем простыми - сложность и кажущееся сосуществование, которые они включают, относительно только для нашего чувства[248], а не для их собственной абсолютной природы. Полагаю, мне нет нужды повторять вам, что само по себе каждое понятие, каким бы сложным оно ни казалось, является и должно быть действительно простым - это одно состояние или аффект одной простой субстанции, разума. Наше представление о целой армии, например, является таким же истинно единым разумом, существующим в этом едином состоянии, как и наше представление о любом из индивидуумов, составляющих армию. Наше представление об абстрактных числах, восьми, четырех, двух, является таким же истинно единым чувством разума, как и наше представление о простом единстве".

Обычная ассоциативная психология предполагает, в отличие от этого, что всякий раз, когда объект мысли содержит много элементов, сама мысль должна состоять из стольких же идей, по одной идее на каждый элемент, и все они слиты воедино внешне, но на самом деле разделены.[249] Противники этой психологии, как мы уже видели, без особого труда доказывают, что такой пучок отдельных идей никогда не образует единой мысли, и утверждают, что к этому пучку должно быть добавлено Эго, чтобы придать ему единство и привести различные идеи в соответствие друг с другом.[250] Мы пока не будем обсуждать эго, но очевидно, что если вещи должны мыслиться в связи, то они должны мыслиться вместе и в одном *чем-то*, будь то эго, психоз, состояние сознания или что угодно. Если вещи не мыслятся вместе, то они вообще не мыслятся в связи. Большинство верующих в эго совершают ту же ошибку, что и ассоцианисты и сенсуалисты, которым они противостоят. И те, и другие согласны с тем, что элементы субъективного потока дискретны и раздельны и составляют то, что Кант называет "многообразием". Но если ассоцианисты считают, что "многообразие" может образовать единое знание, то эгоисты отрицают это и говорят, что знание приходит только тогда, когда многообразие подвергается синтезирующей деятельности эго. Оба выдвигают идентичную исходную гипотезу; но эгоист, обнаружив, что она не выражает фактов, добавляет другую гипотезу, чтобы исправить ее. Сейчас я не хочу "брать на себя обязательства" относительно существования или несуществования эго, но я утверждаю, что нам не нужно ссылаться на него по этой конкретной причине - а именно, потому что многообразие идей должно быть сведено к единству. *Не существует многообразия сосуществующих идей*; представление о такой вещи - химера. *Все, что мыслится в связи, с самого начала мыслится в единстве, в едином импульсе субъективности, в едином психозе, чувстве или состоянии души.*

Причина, по которой этот факт так странно искажается в книгах, заключается в том, что на одной из предыдущих страниц (см. с. 196 и далее) я назвал заблуждением психолога. Когда мы пытаемся интроспективно описать одну из наших мыслей, у нас есть извечная привычка отбрасывать эту мысль как таковую и говорить о чем-то другом. Мы описываем вещи, которые появляются при этой мысли, и описываем другие мысли об этих вещах - как если бы они и первоначальная мысль были одним и тем же. Если, например, мысль звучит так: "На столе лежит колода карт", мы говорим: "А разве это не мысль о колоде карт? Разве это не мысль о картах, которые находятся в пачке? А разве не о столе? И о ножках стола тоже? У стола есть ножки - как вы можете думать о столе, не думая практически о его ножках? Разве наша мысль не состоит из всех этих частей - одной части для пачки и другой для стола? А

внутри пачки - часть для каждой карты, как и внутри стола - часть для каждой ножки? И разве каждая из этих частей не является идеей? И может ли тогда наша мысль быть чем-то иным, как совокупностью или набором идей, каждая из которых отвечает какому-то элементу того, что она знает?"

Ни одно из этих предположений не соответствует действительности. Мысль, взятая в качестве примера, прежде всего, не о "колоде карт". Это мысль о "пачке карт на столе", совершенно ином субъективном феномене, объектом которого является пачка и каждая из карт в ней, но чья сознательная конституция имеет очень мало сходства с мыслью о пачке *как таковой*. То, чем *является* мысль, и то, во что она может быть развита или объяснена, чтобы означать и быть эквивалентной, - это две вещи, а не одна.^[251]

Анализ того, что происходит в голове, когда мы произносим фразу "*Колода карт лежит на столе*", надеюсь, прояснит это и в то же время позволит свести к конкретному примеру многое из того, что было сказано ранее.

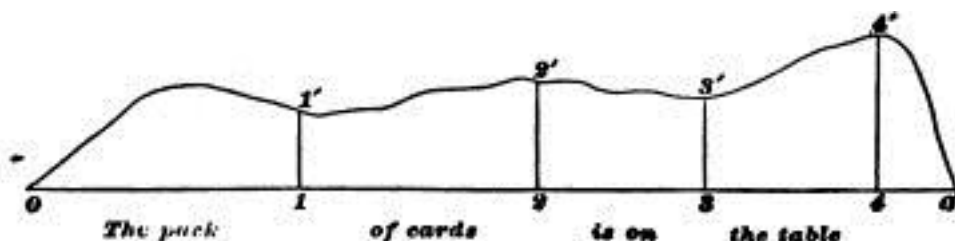


Рис. 29. Поток сознания.

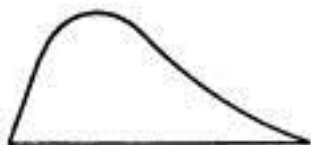
Для того чтобы произнести эту фразу, требуется время. Пусть горизонтальная линия на рис. 29 обозначает время. Тогда каждая ее часть будет обозначать долю, каждая точка - мгновение времени. Конечно, мысль имеет *части времени*. Ее часть 2-3, хотя и непрерывна с 1-2, все же отличается от 1-2. Теперь я говорю об этих временных частях, что мы не можем взять ни одну из них настолько короткой, чтобы она в той или иной мере не стала мыслью о целом объекте "колода карт лежит на столе". Они перетекают друг в друга, как растворяющиеся взгляды, и ни один из них не чувствует объект одинаково, но каждый чувствует весь объект единым и неделимым образом. Вот что я имею в виду, отрицая, что в мысли можно найти части, соответствующие частям объекта. Части времени не являются такими частями.

Теперь пусть вертикальные размеры фигуры означают объекты или содержание мыслей. Тогда линия, проведенная вертикально к любой точке горизонтали, как 1-1', будет символизировать объект в сознании в момент 1; пространство над горизонталью, как 1-1'-2'-2, будет символизировать все, что проходит через сознание в течение времени 1-2, линию которого она охватывает. Вся диаграмма от 0 до 0' представляет собой конечную длину потока мысли.

Можем ли мы теперь определить психическую конституцию каждого вертикального участка этого отрезка? Можем, хотя и очень приблизительно. Сразу же после 0, еще до того, как мы открыли рот, чтобы сказать, вся мысль присутствует в нашем сознании в виде намерения произнести это предложение. Это намерение, хотя у него нет простого названия и хотя оно является переходным состоянием, немедленно вытесненным первым словом, все же

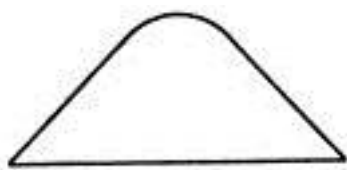
представляет собой совершенно определенную фазу мысли, не похожую ни на что другое (см. с. 253). И снова, непосредственно перед 0', после произнесения последнего слова предложения, все признают, что мы снова думаем обо всем его содержании, внутренне осознавая его завершённое освобождение. Все вертикальные отрезки, проходящие через любые другие части диаграммы, будут соответственно заполнены другими способами прочувствовать смысл предложения. Через 2, например, карты будут частью объекта, наиболее ярко представленной в сознании; через 4 - стол. В конце рисунка поток становится выше, чем в его начале, потому что конечный способ ощущения содержания полнее и богаче, чем начальный. Как говорит Жубер, "мы понимаем, что хотели сказать, только после того, как сказали". А как замечает М. В. Эггер, "перед тем как говорить, человек едва ли знает, что он хотел сказать, но после этого его переполняет восхищение и удивление от того, что он так хорошо сказал и подумал".

Этот последний автор, как мне кажется, был гораздо ближе к фактам, чем любой другой аналитик сознания.^[252] Но даже он не совсем попал в точку, поскольку, как я его понимаю, он считает, что каждое слово, занимающее сознание, *вытесняет* все остальное содержание мысли. Он отличает "идею" (то, что я назвал общим *объектом* или смыслом) от сознания слов, называя первое очень слабым состоянием и противопоставляя его живости слов, даже когда они лишь беззвучно повторяются. "Чувство, - говорит он, - слов производит в нашем сознании в десять или двадцать раз больше шума, чем смысл фразы, который для сознания является очень незначительным делом".^[253] И, разграничив эти две вещи, он далее разделяет их во времени, говоря, что идея может либо предшествовать словам, либо следовать за ними, но считать их одновременными - "чистая иллюзия".^[254] Я же считаю, что во всех случаях, когда слова *понятны*, общая идея может присутствовать и обычно присутствует не только до и после произнесения фразы, но и во время произнесения каждого отдельного слова.^[255] Она является обертоном, ореолом или бахромой слова, произнесенного в данном предложении. Он никогда не отсутствует; ни одно слово в понятном предложении не доходит до сознания как простой шум. Мы ощущаем его смысл по мере того, как оно проходит; и хотя наш объект от момента к моменту отличается по своему словесному ядру или ядрышку, он все же схож на всем отрезке потока. Один и тот же объект известен повсюду: то с точки зрения, если можно так выразиться, этого слова, то с точки зрения того. И в нашем ощущении каждого слова звучит эхо или предвкушение каждого другого. Сознание "Идеи" и сознание слов, таким образом, консубстанциональны. Они сделаны из одного и того же "материала ума" и образуют непрерывный поток. Уничтожьте разум в любой момент, рассеките его мысль, пока она еще не завершена, и рассмотрите объект, присутствующий на срезе, который внезапно получился; вы обнаружите не лысое слово в процессе произнесения, а слово, пронизанное всей идеей. Слово может быть настолько громким, как сказал бы М. Эггер, что мы не можем *сказать*, как ощущается его наполненность, как таковая, или как оно отличается от наполненности следующего слова. Но она отличается; и мы можем быть уверены, что, если бы мы могли заглянуть в мозг, мы бы обнаружили те же самые процессы, активные во всем предложении в разной степени, каждый из которых, в свою очередь, становится максимально возбужденным и затем дает мгновенное словесное "ядро", содержание мысли, в другое время будучи только субвозбужденным, а затем объединяясь с другими субвозбужденными процессами, дает обертон или бахрому.^[256]



Колода карт лежит на столе.

Рис. 30.



Колода карт на столе.

Рис. 31.



Колода карт на столе.

Рис. 32.

Мы можем проиллюстрировать это дальнейшим развитием диаграммы на [с. 279](#). Пусть объективное содержание любого вертикального сечения через поток будет представлено уже не линией, а плоской фигурой, наивысшей напротив той части объекта, которая наиболее заметна в сознании в тот момент, когда делается сечение. В вербальном мышлении этой частью обычно является какое-то слово. Серия отрезков 1-1', сделанных в моменты 1, 2, 3, будет выглядеть следующим образом: горизонтальная ширина обозначает весь объект в каждой из фигур; высота кривой над каждой частью этого объекта отмечает относительную значимость этой части в мысли. В момент, символизируемый первой фигурой, видное место занимает *пакет*; на третьей фигуре это *стол* и т. д.

Мы можем легко сложить все эти плоские сечения вместе, чтобы получить твердое тело, одно из измерений которого будет представлять время, а разрез под прямым углом даст содержание мысли в тот момент, когда разрез сделан. Пусть это будет мысль: "Я тот же самый, что и вчера". Если в четвертый момент времени мы уничтожим мыслителя и проследим, как происходила последняя пульсация его сознания, то обнаружим, что это было осознание всего содержания, причем *то же самое* было наиболее отчетливым, а другие части известной вещи - относительно менее отчетливыми. С каждым продлением схемы во временном направлении вершина кривой отрезка все больше приближалась к концу предложения. Если мы сделаем прочную деревянную рамку, на лицевой стороне которой будет написано предложение, а на одной из сторон - шкала времени, если мы расстелим на ней лист индийской резины, на котором будут написаны прямоугольные координаты, и пропустим под резиной гладкий шарик в направлении от 0 до "вчера", то выпуклость мембраны по этой диагонали в последовательные моменты будет символизировать изменение содержания мысли достаточно ясным образом, чтобы не требовать дальнейших объяснений, после всего сказанного. Или, если выразить это в мозговых терминах, это покажет относительную интенсивность в последовательные моменты нескольких нервных процессов, которым соответствуют различные части мысли-объекта.

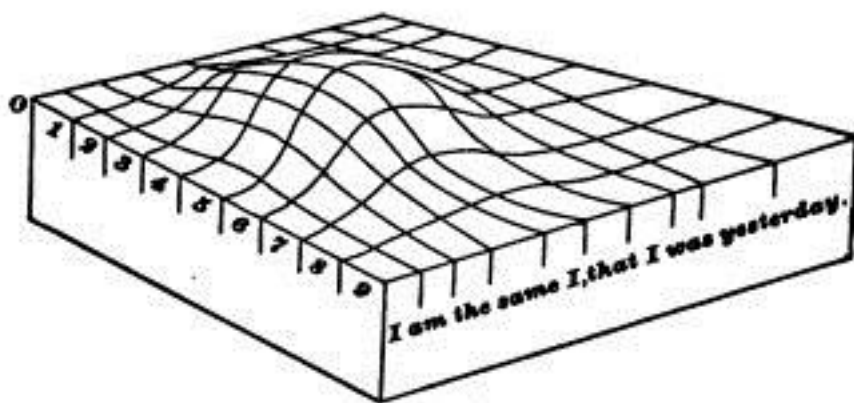


Рис. 33.

Последняя особенность сознания, на которую следует обратить внимание в этом первом грубом описании его потока, заключается в том, что

5) Оно всегда заинтересовано в одной части своего объекта больше, чем в другой, и приветствует и отвергает, или выбирает, все время, пока думает.

Феномены избирательного внимания и обдуманной воли, конечно, являются патентованными примерами этой выбирающей активности. Но мало кто из нас осознает, насколько постоянно она работает в операциях, которые обычно не называются этими именами. Акцентирование и подчеркивание присутствуют в каждом нашем восприятии. Нам кажется совершенно невозможным беспристрастно распределить свое внимание по ряду впечатлений. Монотонная череда звучных ударов разбивается на ритмы, то одного рода, то другого, благодаря различным акцентам, которые мы ставим на разных ударах. Самый простой из этих ритмов - двойной, тик-так, тик-так, тик-так. Точки, разбросанные по поверхности, воспринимаются рядами и группами. Линии распадают на разнообразные фигуры. Повсеместное распространение в нашем сознании различий "это" и "то", "здесь" и "там", "сейчас" и "потом" - результат того, что мы делаем одинаково избирательный акцент на частях места и времени.

Но мы делаем гораздо больше, чем просто подчеркиваем вещи, объединяем одних и отдаляем других. Мы фактически *игнорируем* большую часть того, что находится перед нами. Позвольте мне вкратце показать, как это происходит.

Начнем с самого начала: что такое сами наши органы чувств, как не органы отбора? Из бесконечного хаоса движений, из которых, как учит нас физика, состоит внешний мир, каждый орган чувств выбирает те, которые попадают в определенные пределы скорости. На них он реагирует, а остальные полностью игнорирует, как будто их не существует. Таким образом, акцентирует внимание на определенных движениях, для чего объективно нет никаких оснований; ведь, как говорит Ланге, нет никаких причин считать, что в природе между высокими звуковыми и низкими тепловыми волнами существует резкий разрыв, как в наших ощущениях, или что разница между фиолетовыми и ультрафиолетовыми лучами имеет что-то похожее на объективное значение, субъективно представляемое светом и тьмой. Из того, что само по себе является неразличимым, копошащимся *континуумом*, лишенным различий и акцентов, наши органы чувств, обращая внимание на это движение и игнорируя

его, создают для нас мир, полный контрастов, резких акцентов, резких изменений, живописного света и тени.

Если ощущения, которые мы получаем от данного органа, имеют свои причины, таким образом, выбрал для нас конформация окончания органа, Внимание, с другой стороны, из всех ощущений, полученных, выбирает некоторые из них, как достойные его внимания и подавляет все остальные. Работа Гельмгольца по оптике - это не более чем исследование тех зрительных ощущений, о которых обычные люди никогда не знают: слепые пятна, *волевые мышцы*, послеобразы, облучение, хроматическая кайма, предельные изменения цвета, двойные изображения, астигматизм, движения аккомодации и конвергенции, соперничество сетчатки и многое другое. Мы даже не знаем без специальной подготовки, на какой из наших глаз падает изображение. Большинство людей настолько привычно не знают об этом, что можно годами быть слепым на один глаз и никогда не узнать об этом.

Гельмгольц говорит, что мы замечаем только те ощущения, которые являются для нас знаками *вещей*. Но что такое вещи? Ничто, как мы вскоре увидим, а особые группы чувственных качеств, которые практически или эстетически интересуют нас, которым мы поэтому даем субстанциональные имена и которые мы возвышаем до этого исключительного статуса независимости и достоинства. Но сам по себе, вне моего интереса, конкретный пыльный венок в ветреный день - такая же индивидуальная вещь и в той же или меньшей степени заслуживает индивидуального имени, как и мое собственное тело.

А потом, среди ощущений, которые мы получаем от каждой отдельной вещи, что происходит? Ум снова выбирает. Он выбирает некоторые из ощущений, которые представляют вещь наиболее *правдиво*, а остальные считает своими представлениями, измененными в соответствии с условиями момента. Так, моя столешница названа *квадратной* лишь по одному из бесконечного числа ощущений сетчатки, которые она дает, остальные - ощущения двух острых и двух тупых углов; но я называю последние *перспективные* виды и четыре прямых угла *истинной* формой стола и возвожу атрибут квадратности в его сущность по собственным эстетским причинам. Подобным образом, истинной формой круга считается ощущение, которое он вызывает, когда линия зрения перпендикулярна к его центру - все остальные его ощущения являются признаками этого ощущения. Настоящий звук пушки - это ощущение, которое она производит, когда ухо находится рядом. Настоящий цвет кирпича - это ощущение, которое он вызывает, когда глаз смотрит на него прямо с близкого расстояния, вне солнечного света, но не во мраке; при других обстоятельствах он вызывает другие цветовые ощущения, которые являются лишь признаками этого - мы видим, что он выглядит более розовым или более черным, чем на самом деле. Читатель не знает ни одного объекта, который он не представлял бы себе по преимуществу как находящийся в каком-то типичном положении, какого-то нормального размера, на каком-то характерном расстоянии, какого-то стандартного оттенка и т. д. и т. п. Но все эти существенные характеристики, которые вместе образуют для нас подлинную объективность вещи и противопоставляются тому, что мы называем субъективными ощущениями, которые она может дать нам в данный момент, являются всего лишь ощущениями, подобными последним. Разум выбирает сам, решает, какое именно ощущение будет считаться более реальным и действительным, чем все остальные.

Таким образом, восприятие подразумевает двойной выбор. Из всех присутствующих ощущений мы замечаем в основном те, которые являются значимыми для отсутствующих; и из всех отсутствующих ассоциаций, которые эти предполагают, мы снова выбираем очень немногие, чтобы они были объективной реальностью *par excellence*. У нас не может быть более изящного примера селективной индустрии.

Далее эта отрасль занимается тем, что дано в восприятии. Эмпирическая мысль человека зависит от вещей, которые он пережил, но то, какими они будут, в значительной степени определяется его привычками внимания. Вещь может являться ему тысячу раз, но если он упорно не замечает ее, то нельзя сказать, что она вошла в его опыт. Мы все видим мух, мотыльков и жуков тысячами, но кому, кроме энтомолога, они говорят что-то определенное? С другой стороны, вещь, встречающаяся лишь раз в жизни, может оставить в памяти неизгладимое впечатление. Пусть четыре человека совершают турне по Европе. Один привезет домой только живописные впечатления - костюмы и цвета, парки и виды, произведения архитектуры, картины и статуи. Для другого все это будет несуществующим, а расстояния и цены, численность населения и устройство дренажа, дверные и оконные запоры и прочая полезная статистика займут свое место. Третий даст богатый отчет о театрах, ресторанах и общественных балах, и ничего больше; а четвертый, возможно, будет настолько погружен в свои собственные субъективные размышления, что расскажет лишь о нескольких названиях мест, через которые он проезжал. Каждый выбирал из общей массы представленных объектов те, которые соответствовали его личным интересам, и таким образом создавал свой опыт.

Если теперь, оставив эмпирическую комбинацию объектов, мы спросим, как разум *рационально* соединяет их, мы снова обнаружим, что отбор всемоушен. В одной из следующих глав мы увидим, что все рассуждения зависят от способности разума разделить совокупность явлений, о которых рассуждают, на части и выбрать из них ту, которая в данной ситуации может привести к правильному выводу. В другой ситуации потребуются другой вывод и другой элемент. Гениальный человек - это тот, кто всегда вставляет свой счет в нужную точку и выводит его с нужным элементом - "причиной", если ситуация теоретическая, "средством", если она практическая, - закрепленным на нем. Я ограничиваюсь этим кратким изложением, но его может быть достаточно, чтобы показать, что рассуждения - это лишь другая форма избирательной активности разума.

Если теперь мы перейдем к его эстетическому отделу, то наш закон станет еще более очевидным. Художник, как известно, отбирает свои предметы, отбрасывая все тона, цвета, формы, которые не гармонируют друг с другом и с главной целью его работы. То единство, гармония, "сближение характеров", как называет это М. Тэн, которое придает произведениям искусства превосходство над произведениями природы, полностью обусловлено *отсевом*. Подойдет любой природный объект, если у художника хватит ума наброситься на какую-то одну его особенность, как на характерную, и отбросить все случайные элементы, которые с ней не гармонируют.

Поднимаясь еще выше, мы достигаем плоскости этики, где, как известно, царит выбор. Поступок не имеет никакого этического качества, если он не выбран из нескольких одинаково возможных. Поддерживать аргументы в пользу хорошего курса и держать их постоянно перед глазами, подавлять стремление к более цветистым путям, неуклонно держать ногу на трудном пути - таковы характерные этические энергии. Но не только это, ибо все это лишь средства для достижения интересов, которые человек уже считает высшими. Этическая энергия *par excellence* должна идти дальше и выбирать, какой *интерес* из нескольких, одинаково принудительных, должен стать высшим. Вопрос здесь крайне важен, ибо он решает всю карьеру человека. Когда он рассуждает: "Совершить ли мне это преступление? Выбрать эту профессию? Принять этот пост или жениться на этой судьбе?" - его выбор на самом деле лежит между несколькими одинаково возможными будущими характерами. То, кем он *станет*, определяется поведением в данный момент. Шопенгауэр, который подкрепляет свой детерминизм аргументом, что при данном фиксированном

характере возможна только одна реакция при данных обстоятельствах, забывает, что в эти критические этические моменты то, что сознательно *кажется* под вопросом, - это цвет самого характера. Проблема человека заключается не столько в том, какой поступок он решит совершить, сколько в том, каким существом он решит стать.

Оглядываясь назад, на этот обзор, мы видим, что сознание на каждом этапе представляет собой театр одновременных возможностей. Сознание состоит в сравнении их друг с другом, выборе некоторых и подавлении остальных с помощью усиливающего и тормозящего воздействия внимания. Самые высокие и наиболее разработанные ментальные продукты отфильтровываются из данных, отобранных следующим за ним факультетом, из массы, предложенной факультетом ниже, который, в свою очередь, был отсеян из еще большего количества более простого материала, и так далее. Короче говоря, разум работает с полученными данными так же, как скульптор работает с каменной глыбой. В каком-то смысле статуя стояла здесь вечно. Но рядом с ней стояла тысяча других, и только скульптор должен быть благодарен за то, что выделил эту из остальных. Так и мир каждого из нас, как бы ни различались наши взгляды на него, все они были заложены в первозданном хаосе ощущений, который безразлично дал *материю* для мысли каждого из нас. Мы можем, если захотим, своими рассуждениями вернуть все к той черной и бесшовной непрерывности пространства и движущихся облаков роящихся атомов, которую наука называет единственным реальным миром. Но все это время мир, который *мы* ощущаем и в котором живем, будет тем, который наши предки и мы, медленно накапливая штрихи выбора, извлекли из этого, подобно скульпторам, просто отбросив определенные части данного материала. Другие скульпторы, другие статуи из того же камня! Другие умы, другие миры из того же монотонного и невыразительного хаоса! Мой мир - лишь один из миллиона подобных, одинаково заложенных, одинаково реальных для тех, кто может их абстрагировать. Насколько разными должны быть миры в сознании муравья, каракатицы или краба!

Но в моем и вашем сознании отвергнутые и отобранные части исходного мира в значительной степени совпадают. Человечество в целом в значительной степени согласно с тем, что оно должно замечать и называть, а что нет. И среди замеченных частей мы точно так же выбираем те, которые хотим подчеркнуть и предпочесть или подчинить и не любить. Есть, однако, один совершенно необычный случай, в котором, как известно, ни один человек не выбирает одинаково. Каждый из нас разделяет всю вселенную на две половины; и для каждого из нас почти весь интерес связан с одной из этих половин; но все мы проводим линию раздела между ними в разных местах. Когда я говорю, что все мы называем эти две половинки одними и теми же именами, и что эти имена - "я" и "не-я" соответственно, сразу становится понятно, что я имею в виду. Совершенно уникальный интерес, который каждый человеческий разум испытывает к тем частям творения, которые он может назвать "я" или "мое", может быть моральной загадкой, но это фундаментальный психологический факт. Ни один разум не может проявлять такой же интерес к "я" своего соседа, как и к своему собственному. Соседское "я" сливается со всеми остальными вещами в одну чужеродную массу, на фоне которой его собственное "я" выделяется поразительным рельефом. Даже истоптанный червь, как говорит Лотце, противопоставляет свое страдающее "я" всей остальной вселенной, хотя у него нет четкого представления ни о себе, ни о том, какой может быть вселенная. Он для меня - просто часть мира; для него именно я - эта часть. Каждый из нас дихотомизирует Космос в своем месте.

Переходя к более тонкой работе, чем этот первый общий набросок, давайте в следующей главе попробуем проследить психологию этого факта самосознания, к которому мы таким образом еще раз были подведены.

[215] Большая часть этой главы перепечатана из статьи "О некоторых упущениях интроспективной психологии", которая появилась в "Mind" за январь 1884 года.

[216] B. P. Bowne: *Metaphysics*, p. 362.

[217] *L'Automatisme Psychologique*, p. 318.

[218] Ср. A. Constans: *Relation sur une Épidémie d'hystéro-démonopathie en 1861*. 2me ed. Paris, 1863.-Chiap e Franzolin: *L'Epidemia d'istero-demonopatie in Verzeignis*. Reggio, 1879.- См. также небольшую работу J. Kerner: *Nachricht von dem Vorkommen des Besessenseins*. 1836.

[219] О физиологии этого явления см. главу о воле.

[220] *Loc. cit.* p. 316.

[221] *Философия размышлений*, i, 248, 290.

[222] *Populäre Wissenschaftliche Vorträge, Drittes Heft* (1876). p. 72.

[223] Fick, in L. Hermann's *Handb. d. Physiol.*, Bd. iii, Th. i, p. 225.

[224] Из того, что полное состояние мозга не повторяется, конечно, не следует, что ни одна точка мозга никогда не может дважды находиться в одном и том же состоянии. Это было бы столь же невероятным следствием, как то, что в море волна никогда не должна дважды приходить в одну и ту же точку пространства. Что вряд ли может прийти дважды, так это идентичная комбинация волновых форм с их гребнями и впадинами, вновь занимающими одинаковые места. Ибо такая полная комбинация и есть аналог состояния мозга, которым обусловлено наше актуальное сознание в любой момент времени.

[225] Точная регистрация "как долго" все еще остается немного загадочной.

[226] Ср. Brentano; *Psychologie*, vol. i, pp. 219-20. В целом эта глава Brentano о единстве сознания так же хороша, как и все, с чем я знаком.

[227] Честь тому, кто заслуживает чести! Самое явное признание всего этого я нашел в затерянной и забытой работе преподобного Джаса Уиллса "Случайность". Уиллса о "Случайной ассоциации", опубликованной в *Transactions of the Royal Irish Academy*, vol xxi, part i (1846). Мистер Уиллс пишет:

"В каждый момент сознательного мышления существует определенная сумма восприятий, или размышлений, или того и другого вместе, присутствующих и составляющих одно целое состояние восприятия. Из них какая-то определенная часть может быть гораздо более отчетливой, чем все остальные; а остальные, как следствие, могут быть пропорционально расплывчатыми, вплоть до полного стирания. Но все же в этих пределах самый тусклый оттенок восприятия входит в целое существующее состояние и в какой-то бесконечно малой степени изменяет его. Таким образом, это состояние будет в какой-то мере изменено любым ощущением или эмоцией, или актом отчетливого внимания, который может придать значимость любой его части; так что фактический результат способен варьироваться в широчайших пределах, в зависимости от человека или случая. К любой части всего

описанного здесь объема может быть особое направление внимания, и это особое направление признается строго тем, что *признается* как идея, присутствующая в уме. Эта идея, очевидно, не соизмерима со всем состоянием восприятия, и много недоумений возникло из-за того, что мы не заметили этого факта. Как бы глубоко ни было занято внимание человека какой-либо мыслью, любое значительное изменение окружающих явлений все равно будет воспринято; самая заумная демонстрация в этой комнате не помешает слушателю, как бы он ни был поглощен, заметить внезапное погасание света. Наши ментальные состояния всегда обладают *существенным единством*, таким, что каждое состояние восприятия, как бы разнообразно оно ни было составлено, является единым целым, из которого каждый компонент, следовательно, воспринимается строго (в той мере, в какой он воспринимается) как часть. Такова элементарная основа, с которой начинаются все наши интеллектуальные операции".

[228] Сравните очаровательный отрывок в Taine on Intelligence (N. Y. ed.), i, 83-4.

[229] Например: "Поток мысли - это не непрерывное течение, а ряд отдельных идей, более или менее быстро сменяющих друг друга; быстрота измеряется количеством, проходящим через ум за определенное время". (Bain: E. and W., p. 29.)

[230] Лишь немногие авторы признают, что мы познаем отношения через чувства. Интеллектуалисты прямо отрицают возможность такого явления, например, профессор Т. Х. Грин ("Mind", vol. vii, p. 28): "Ни одно чувство, как таковое или как ощущаемое, не является [из?] отношения..... Даже отношение между чувствами само по себе не является чувством или ощущением". С другой стороны, сенсуалисты либо тайком вводили познание, не давая ему никакого отчета, либо вообще отрицали возможность познания или существования отношений. Несколько почетных исключений, однако, заслуживают того, чтобы быть названными среди сенсуалистов. Дестют де Траси, Ларомигьер, Кардайяк, Браун и, наконец, Спенсер прямо утверждали, что чувства отношения, сопряженные с нашими чувствами или мыслями о терминах "между", которые они получают. Так, Дестют де Траси говорит (*Éléments d'Idéologie*, T. Ier, chap. iv): "Способность суждения сама по себе является своего рода чувствительностью, поскольку она является способностью чувствовать отношения между нашими идеями; а чувствовать отношения - значит чувствовать". Ларомигьер пишет (*Leçons de Philosophie*, II^{me} Partie, 3^{me} Leçon):

"Нет человека, чей интеллект не охватывал бы одновременно множество идей, более или менее отчетливых, более или менее запутанных. Так вот, когда мы имеем сразу много идей, в нас возникает особое чувство: мы ощущаем среди этих идей сходство, различие, отношения. Назовем этот способ ощущения, общий для всех нас, чувством отношения, или отношением-чувством (*sentiment-rapport*). Сразу же видно, что эти чувства отношения, возникающие в результате родства идей, должны быть бесконечно более многочисленными, чем чувства ощущения (*sentiments-sensations*) или чувства, которые мы испытываем от действия наших способностей. Малейшее знакомство с математической теорией комбинаций подтвердит это..... Идеи отношения возникают из чувств отношения. Они являются результатом нашего сравнения и рассуждения о них".

Аналогично, де Кардайяк (Этюды по философии, раздел i, глава vii):

"В силу естественного следствия мы вынуждены предположить, что одновременно с несколькими ощущениями или несколькими идеями в уме мы чувствуем отношения, существующие между этими ощущениями, и отношения, существующие между этими идеями..... Если чувство отношений существует в нас, то... оно обязательно является самым разнообразным и самым плодотворным из всех человеческих чувств: 1°, самое

разнообразное, потому что, поскольку отношения многочисленнее существ, чувства отношения должны быть в той же пропорции многочисленнее ощущений, присутствие которых порождает их образование; 2°, самое плодотворное, потому что относительные идеи, источником которых является чувство отношения... важнее абсолютных идей, если таковые существуют..... Если мы исследуем обычную речь, то обнаружим, что чувство отношения выражается в ней тысячей различных способов. Если легко уловить отношение, мы говорим, что оно *разумно*, чтобы отличить его от того, которое, поскольку его термины слишком далеки, не может быть так же быстро воспринято. Чувственное различие или сходство.... Что такое вкус в искусстве, в интеллектуальных произведениях? Что, как не ощущение тех отношений между частями, которые составляют их достоинство?... Если бы мы не чувствовали отношений, мы никогда не достигли бы истинного знания,... ибо почти все наше знание - это отношения..... У нас никогда не бывает изолированных ощущений; ... поэтому мы никогда не лишены чувства связи.... *Объект* поражает наши органы чувств; мы видим в нем только ощущение.... Относительное так близко к абсолютному, отношение-ощущение так близко к ощущению-ощущению, оба они так тесно слиты в составе объекта, что отношение представляется нам частью самого ощущения. Несомненно, именно таким слиянием между ощущениями и чувствами отношения объясняется молчание метафизиков в отношении последних; и по этой же причине они упорно продолжали требовать от одного только ощущения тех идей отношения, которые оно было бессильно дать".

Доктор Томас Браун пишет (Lectures, xlv, *init.*): "Существует обширный порядок наших чувств, которые включают в себя это понятие отношения, и которые действительно состоят в простом восприятии отношения некоторого рода..... Будь то отношение двух или многих внешних объектов, или двух или многих привязанностей ума, ощущение этого отношения... является тем, что я называю относительным предложением; эта фраза является самой простой, которую можно использовать для выражения, без какой-либо теории, простого факта возникновения определенных чувств отношения, после определенных других чувств, которые им предшествуют; и поэтому, как не предполагающая никакой конкретной теории, и просто выражающая несомненный факт..... То, что чувства отношения являются состояниями ума, существенно отличными от наших простых восприятий, или представлений об объектах, ... что они не являются тем, что Кондильяк называет *преобразованными ощущениями*, я доказал в предыдущей лекции, когда я боролся с чрезмерным упрощением этого гениального, но не очень точного философа. Существует изначальная склонность или восприимчивость ума, благодаря которой, воспринимая вместе различные объекты, мы мгновенно, без вмешательства какого-либо другого умственного процесса, ощущаем их связь в определенных отношениях, так же как существует изначальная склонность или восприимчивость, благодаря которой, когда внешние объекты присутствуют и вызывают определенную аффектацию нашего органа чувств, мы мгновенно испытываем первичные элементарные ощущения восприятия; И я могу добавить, что поскольку наши ощущения или восприятия бывают разных видов, то и отношения бывают разных видов; число отношений, действительно, даже внешних вещей почти бесконечно, в то время как число восприятий обязательно ограничено теми объектами, которые имеют силу производить определенное воздействие на наши органы чувств.... Без этой восприимчивости ума, благодаря которой он ощущает связь, наше сознание было бы так же действительно ограничено одной точкой, как и наше тело, если бы его можно было сковать одним атомом".

Мистер Спенсер выражается еще более определенно. Его философия груба в том смысле, что он, кажется, полагает, будто внешние отношения известны только в переходных состояниях; тогда как на самом деле пространственные отношения, отношения контраста и т. д. ощущаются вместе со своими терминами, как в субстанциальных, так и в переходных

состояниях, как мы в этом убедимся. Тем не менее отрывок г-на Спенсера настолько ясен, что также заслуживает того, чтобы процитировать его полностью ("Принципы психологии", § 65):

"Ближайшие компоненты разума относятся к двум широко контрастирующим видам - ощущениям и отношениям между ощущениями. Среди членов каждой группы существует множество несходств, многие из которых чрезвычайно сильны; но такие несходства малы по сравнению с теми, которые отличают членов одной группы от членов другой. Давайте, прежде всего, рассмотрим, какие черты присущи всем чувствам, и какие черты присущи всем отношениям между чувствами.

"Каждое чувство, как мы его здесь определяем, - это любая часть сознания, которая занимает место, достаточно большое, чтобы придать ему ощутимую индивидуальность; которая имеет свою индивидуальность, отделенную от соседних частей сознания качественными контрастами; и которая, при интроспективном созерцании, кажется однородной. Это и есть сущности. Очевидно, что если при интроспекции состояние сознания разлагается на непохожие части, существующие одновременно или последовательно, то это не одно чувство, а два или более. Очевидно, что если оно неотлично от соседней части сознания, то оно составляет одно целое с этой частью - это не отдельное чувство, а часть одного. И очевидно, что если оно не занимает в сознании ощутимой площади или ощутимой продолжительности, оно не может быть известно как чувство.

"Отношение между чувствами, напротив, характеризуется тем, что не занимает никакой ощутимой части сознания. Уберите термины, которые оно объединяет, и оно исчезнет вместе с ними; у него нет независимого места, нет собственной индивидуальности. Правда, при конечном анализе то, что мы называем отношением, само оказывается разновидностью чувства - кратковременного чувства, сопровождающего переход от одного заметного чувства к соседнему заметному чувству. И правда, несмотря на крайнюю краткость, его качественный характер вполне ощутим; ведь отношения (как мы увидим далее) отличаются друг от друга только несхожестью чувств, сопровождающих мгновенные переходы. Каждое реляционное чувство может, в сущности, рассматриваться как один из тех нервных толчков, которые, как мы подозреваем, являются единицами состава чувств; и, хотя они мгновенны, они известны как большей или меньшей силы и как происходящие с большей или меньшей легкостью. Но контраст между этими реляционными ощущениями и тем, что мы обычно называем чувствами, настолько силен, что мы должны классифицировать их отдельно. Их крайняя краткость, небольшое разнообразие и зависимость от терминов, которые они объединяют, безошибочно отличают их друг от друга.

"Возможно, будет полезно более полно осознать ту истину, что это различие не может быть абсолютным. Помимо признания того, что как элемент сознания отношение есть сиюминутное чувство, мы должны также признать, что как отношение не может иметь существования отдельно от чувств, образующих его термины, так и чувство может существовать только благодаря отношениям к другим чувствам, которые ограничивают его в пространстве или времени или и в том и в другом. Строго говоря, ни чувство, ни отношение не являются независимыми элементами сознания: между ними существует такая зависимость, что ощутимые области сознания, занимаемые чувствами, не могут обладать индивидуальностью в отрыве от связывающих их отношений, как и эти отношения могут обладать индивидуальностью в отрыве от связываемых ими чувств. Существенное различие между ними, таким образом, состоит в том, что в то время как реляционное чувство есть часть сознания, неразделимая на части, чувство, обычно называемое так, есть часть

сознания, допускающая воображаемое разделение на подобные части, которые связаны друг с другом в последовательности или сосуществовании. Собственно ощущение состоит либо из подобных частей, занимающих время, либо из подобных частей, занимающих пространство, либо из тех и других. В любом случае, собственно ощущение - это совокупность связанных между собой подобных частей, в то время как реляционное ощущение неразложимо. И это именно тот контраст между ними, который должен возникнуть, если, как мы предположили, чувства состоят из единиц чувств, или шоков".

[231] М. Польхан (Revue Philosophique, хх, 455-6), говоря о слабых мысленных образах предметов и эмоций, отмечает: "Мы находим и другие, более блуждающие состояния, на которых редко останавливается внимание, разве что у людей, которые по природе или профессии пристрастились к внутреннему наблюдению. Их даже трудно точно назвать, так как они мало известны и не классифицируются; но мы можем привести в качестве примера то своеобразное впечатление, которое мы испытываем, когда, сильно озабоченные определенным предметом, мы тем не менее заняты и почти полностью поглощены делами, совершенно не связанными с ним. Тогда мы не думаем точно об объекте нашей озабоченности; мы не представляем его в ясной манере; и все же наш ум не такой, каким он был бы без этой озабоченности. Его объект, отсутствующий в сознании, тем не менее представлен там своеобразным безошибочным впечатлением, которое часто сохраняется долго и является сильным чувством, хотя и столь неясным для нашего интеллекта." "Психический знак такого рода - это неблагоприятное расположение, оставленное в нашем сознании по отношению к какому-либо человеку болезненными инцидентами, пережитыми когда-то, а теперь, возможно, забытыми. Знак остается, но не понимается; его определенное значение утрачено". (Р. 458.)

[232] Моцарт так описывает свою манеру сочинения: Сначала приходят кусочки и крохи произведения и постепенно соединяются в его сознании; затем душа согревается работой, вещь становится все больше и больше, "и я разворачиваю ее все шире и шире, и наконец она становится почти законченной в моей голове, даже если это длинное произведение, так что я могу увидеть всю ее одним взглядом в моем сознании, как если бы это была прекрасная картина или красивый человек; таким образом, я слышу ее в своем воображении не как последовательность - как это должно прийти позже - но всю сразу, как бы. Это редкий праздник! Все придумывание и создание происходит во мне, как в прекрасном крепком сне. Но лучше всего - *слышать все это сразу*".

[233] Психическая физиология, § 236. Объяснение д-ра Карпентера существенно отличается от приведенного в тексте.

[234] Ср. также S. Stricker: Vorlesungen über allg. u. exp. Pathologie (1879), pp. 462-3, 501, 547; Romanes: Origin of Human Faculty, p. 82. Так трудно прояснить свою сущность, что я могу сообщить о непонимании моих взглядов покойным профессором Тосом Мауайром из Дублина (Лекции по философии, 1885). Этот автор считает, что под "бахромой" я подразумеваю некий психический материал, с помощью которого отдельные ощущения объединяются вместе, и остроумно говорит, что я должен "видеть, что объединение ощущений с помощью их "бахромы" более туманно, чем построение вселенной из устриц с помощью их бород" (стр. 211). Но бахрома, как я использую это слово, не означает ничего подобного; это часть *познаваемого объекта* - субстанциальные качества и вещи, предстающие перед умом в *бахроме отношений*. Некоторые части - переходные части нашего потока мысли - познают отношения, а не вещи; но и переходные, и субстанциальные части образуют один непрерывный поток, в котором нет дискретных "ощущений", как полагает профессор Мауайр, а я полагаю, что они есть.

[235] Джордж Кэмпбелл: Философия риторики, книга ii, глава vii.

[236] Субстанциализм или философия знания, автор "Жан Стори" (1879).

[237] М. Г. Тарде, цитируя (в Delbœuf, Le Sommeil et les Rêves (1885), p. 226) некоторые бессмыслицы из снов, говорит, что они показывают, "как просодические формы могут существовать в уме, из которого исчезли логические правила..... Во сне я мог сохранять способность находить два слова, которые рифмуются, оценивать рифму, заполнять стих, как он только представлялся, другими словами, которые, добавленные, давали нужное количество слогов, и все же я не знал смысла слов..... Таким образом, мы имеем тот необычный факт, что слова вызывали друг друга, не вызывая их смысла..... Даже в бодрствующем состоянии труднее вникнуть в смысл слова, чем перейти от одного слова к другому; или, говоря иначе, *труднее быть мыслителем, чем ритором*, и в целом нет ничего более распространенного, чем поезда непонятных слов".

[238] Нам кажется странным, что маленькие дети с таким восторженным вниманием слушают чтение историй, изложенных словами, половину из которых они не понимают и ни одно из которых не спрашивают о значении. Но их мышление по форме такое же, как и наше, когда оно стремительно. Мы оба совершаем летящие прыжки через большую часть произнесенных предложений и уделяем внимание только существенным отправным точкам, поворотным пунктам и выводам, которые встречаются то тут, то там. Все остальное, "содержательное" и отдельно понятное, каким оно *потенциально* может быть, на самом деле служит лишь таким переходным материалом. Это *интермодальное* сознание, дающее нам ощущение непрерывности, но не имеющее никакого значения, кроме своей простой функции заполнения пробелов. Дети, вероятно, не чувствуют пробелов, когда через множество нечленораздельных слов их стремительно несут к знакомой и понятной конечной точке.

[239] Конечно, не в буквальном смысле. Глухонемые быстро воспринимают удары и толчки, которые можно почувствовать, даже если они настолько незначительны, что не замечаются теми, кто слышит.

[240] Цитируется Сэмюэлем Портером: "Возможно ли мышление без языка?" в "Принстонском обозрении", 57-й год, стр. 108-12 (январь 1881 г.). Ср. также W. W. Ireland: The Blot upon the Brain (1886), Paper x, part ii; G. J. Romanes: Mental Evolution in Man, pp. 81-83, и ссылки на них. Профессор Макс Мюллер дает очень полную историю этого спора на стр. 30-64 своей "Науки о мышлении" (1887). Его собственная точка зрения заключается в том, что мысль и речь неразделимы; но под речью он подразумевает любой мыслимый вид символизма или даже ментальные образы, и он не делает никаких поправок на бессловесные краткие проблески, которые мы имеем о системах отношений и направлений.

[241] Проблемы жизни и разума, 3-я серия, Проблема iv, глава 5. Сравните также: Victor Egger: La Parole Intérieure (Paris, 1881), гл. vi.

[242] Если явление видит только один человек, мы считаем его частной галлюцинацией. Если же их несколько, мы начинаем думать, что это может быть реальное внешнее присутствие".

[243] Revue Philosophique, vol. xxi, p. 671.

[244] Цитируется по "Терапевтической газете", N. Y. Semi-weekly Evening Post за 2 ноября 1886 года.

[245] В полуоглушенных состояниях самосознание может утрачиваться. Один друг пишет мне: "Мы ехали обратно из... в вагоне. Дверь распахнулась, и на дорогу вывалился Х., по прозвищу Лысый. Мы сразу же остановились, и тут он спросил: "Кто-нибудь выпал?" или "Кто выпал?" - точно не помню слов. Когда ему сказали, что выпал Лысый, он ответил: "Это Лысый выпал? Бедный Лысый!"".

[246] Кант стоял у истоков этой точки зрения. Я привожу несколько английских высказываний на эту тему. Дж. Ферьер, Институты метафизики, Предложение i: "Наряду со всем, что знает любой интеллект, он должен, как основание или условие своего знания, иметь некоторое знание о самом себе". Sir Wm. Hamilton, Discussions, p. 47: "Мы знаем, и мы знаем, что мы знаем, - эти предложения, логически различные, на самом деле идентичны; каждое подразумевает другое..... Так верен схоластический брокард: *non sentimus nisi sentiamus nos sentire*". Н. L. Mansel, Metaphysics, p. 58: "Какое бы разнообразие материалов ни существовало в пределах досягаемости моего разума, я могу осознать их, только признав их своими..... Отношение к сознательному "я", таким образом, является постоянной и универсальной чертой, которую должно демонстрировать каждое состояние сознания как таковое". Т. Н. Green, Introduction to Hume, p. 12: "Сознание человеком ... самого себя, в негативном отношении к вещи, которая является его объектом, и это сознание должно быть принято вместе с самим актом восприятия. Не меньше, чем это, может быть вовлечено в любой акт, который вообще должен быть началом познания. Это минимум возможной мысли или интеллекта".

[247] Лекции по философии человеческого разума, лекция 45.

[248] Вместо того чтобы сказать: *только к нашему чувству*, ему следовало бы сказать: *только к объекту*.

[249] "Не может быть никаких трудностей в том, чтобы признать, что ассоциация действительно формирует идеи неопределенного числа индивидов в одну сложную идею; потому что это признанный факт. Разве мы не имеем представления об армии? И разве это не есть именно идея неопределенного числа людей, объединенных в одну идею?" (Анализ человеческого разума Дж. Милля (издание Дж. С. Милля), т. i, с. 264).

[250] Их аргументы см. выше.

[251] Я знаю, что есть читатели, которых ничто не может убедить в том, что мысль о сложном объекте не имеет стольких частей, сколько различимо в самом объекте. Что ж, тогда пусть слово "части" останется в прошлом. Заметим только, что эти части не являются отдельными "идеями" традиционной психологии. Ни одна из них не может жить вне этой конкретной мысли, так же как моя голова не может жить вне моих конкретных плеч. В каком-то смысле у мыльного пузыря есть части; он представляет собой сумму сопоставленных сферических треугольников. Но эти треугольники не являются отдельными реальностями, так же как и "части" мысли не являются отдельными реальностями. Прикоснитесь к пузырю, и треугольников больше не будет. Отбросьте мысль, и ее части исчезнут. Вы не сможете создать новую мысль из "идей", которые уже когда-то служили, как не сможете создать новый пузырь из старых треугольников. Каждый пузырь, каждая мысль - это свежее органическое единство, *sui generis*.

[252] В его работе "Внутреннее слово" (Париж, 1881), особенно главы vi и vii.

[253] Страница 301.

[254] Страница 218. В доказательство этой точки зрения М. Эггер ссылается на тот факт, что мы часто слышим, как кто-то говорит, пока наш ум занят, но не понимаем его до некоторых моментов после этого, когда мы внезапно "осознаем", что он имел в виду. Также мы можем докопаться до смысла предложения на незнакомом языке, когда слова предстают перед нами задолго до того, как мы поймем их смысл. В этих особых случаях слово действительно предшествует идее. Напротив, идея предшествует слову всякий раз, когда мы пытаемся выразить себя с усилием, как в иностранном языке или в необычной области интеллектуальных изобретений. Оба случая, однако, исключительны, и М. Эггер, поразмыслив, вероятно, сам признал бы, что в первом случае происходит некое словесное нагнетание, пусть и мимолетное, идеи, когда она постигается - мы слышим эхо слов, когда улавливаем их смысл. И он, вероятно, признал бы, что во втором классе случаев идея сохраняется и после того, как найдены слова, которые дались с таким трудом. В обычных случаях одновременность, как он признает, явно присутствует.

[255] Хороший способ получить слова и смысл по отдельности - это внутренне проартикулировать слово в слово речь другого человека. Тогда смысл часто приходит в сознание импульсами, после того как закончены фрагменты или предложения.

[256] Ближайший подход (с которым я знаком) к изложенной здесь доктрине содержится в работе О. Либмауна "Zur Analysis der Wirklichkeit", pp. 427-438.

ГЛАВА X.

СОЗНАНИЕ САМОСТИ.

Начнем с Я в его самом широком понимании и проследим его до самой тонкой и деликатной формы, продвигаясь от изучения эмпирического, как его называют немцы, к изучению чистого, Эго.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ Я ИЛИ Я.

Эмпирическое Я каждого из нас - это все то, что он склонен называть именем "я". Но очевидно, что между тем, что человек называет я, и тем, что он просто называет *своим*, трудно провести границу. Мы чувствуем и действуем в отношении некоторых вещей, которые принадлежат нам, точно так же, как мы чувствуем и действуем в отношении самих себя. Наша слава, наши дети, дело наших рук - все это может быть нам так же дорого, как и наше тело, и вызывать те же чувства и те же репрессивные действия, если на них покушаются. А сами наши тела - они просто наши или они - это *мы*? Конечно, люди были готовы отречься от своих тел и считать их просто одежаниями или даже глиняными тюрмами, из которых они когда-нибудь с радостью вырвутся.

Таким образом, мы видим, что имеем дело с изменчивым материалом. Один и тот же объект иногда рассматривается как часть меня, в другое время - как просто мой, а потом - как будто я вообще не имею к нему никакого отношения. Однако *в самом широком смысле "Я" человека - это совокупность всего, что он может назвать своим*: не только его тело и психические способности, но и одежда, и дом, жена и дети, предки и друзья, репутация и дела, земли и лошади, яхта и банковский счет. Все эти вещи вызывают у него одинаковые эмоции. Если они растут и процветают, он чувствует себя триумфатором; если они убывают и угасают, он чувствует себя поверженным, - не обязательно в одинаковой степени для каждой

вещи, но в значительной степени одинаково для всех. Понимая "Я" в этом самом широком смысле, мы можем начать с того, что разделим историю его развития на три части, относящиеся соответственно к...

1. Его составные части;
2. Чувствам и эмоциям, которые они вызывают, - самоощущениям;
3. Действия, к которым они побуждают, - стремление к себе *и самосохранение*.

1. *Составные части "Я"* можно разделить на два класса, которые составляют, соответственно.

(a) Материальное "Я";

(b) Социальное "Я";

(c) Духовное Я; и

(d) чистое "Я".

(a) Тело - это самая внутренняя часть *материального Я* в каждом из нас; и некоторые части тела кажутся нам более близкими, чем остальные. Следующей идет одежда. Старая поговорка о том, что человеческая личность состоит из трех частей - души, тела и одежды, - больше чем шутка. Мы настолько присваиваем себе одежду и отождествляем себя с ней, что мало найдется таких, кто, если бы его попросили выбрать между красивым телом, облаченным в одежду, вечно потрепанную и нечистую, и уродливой и неидеальной формой, всегда безупречно одетой, не колебался бы ни минуты, прежде чем сделать решительный ответ.^[257] Далее, наша ближайшая семья - это часть нас самих. Наши отец и мать, жена и младенцы - кость от кости и плоть от плоти. Когда они умирают, часть нас самих исчезает. Если они делают что-то плохое, это наш позор. Если их оскорбляют, наш гнев вспыхивает с такой же готовностью, как если бы мы стояли на их месте. Далее следует наш дом. Его сцены - часть нашей жизни; его аспекты пробуждают самые нежные чувства привязанности; и мы нелегко простим чужака, который, посетив его, найдет недостатки в его обустройстве или отнесется к нему с презрением. Все эти разные вещи являются объектами инстинктивных предпочтений в сочетании с важнейшими практическими интересами жизни. У каждого из нас есть слепой импульс заботиться о своем теле, украшать его одеждой декоративного вида, лелеять родителей, жену и младенцев, найти для себя дом, в котором можно жить и "благоустроить".

Не менее инстинктивный импульс побуждает нас собирать имущество; и созданные таким образом коллекции становятся, с разной степенью близости, частями нашего эмпирического "я". Наиболее близкие нам части нашего богатства - это те, которые пропитаны нашим трудом. Немного найдется людей, которые не почувствовали бы себя уничтоженными, если бы сооружение, созданное их руками или мозгом в течение всей жизни, - скажем, энтомологическая коллекция или обширная рукописная работа - было внезапно сметено. Скупец чувствует то же самое по отношению к своему золоту, и хотя верно, что часть нашей депрессии при потере имущества вызвана чувством, что теперь мы должны остаться без определенных благ, которые, как мы ожидали, это имущество принесет с собой, все же в каждом случае остается, помимо этого, ощущение уменьшения нашей личности, частичного превращения нас в небытие, что само по себе является

психологическим феноменом. Мы все одновременно уподобляемся бродягам и нищим дьяволам, которых так презираем, и в то же время отдаляемся как никогда далеко от счастливых сынов земли, которые властвуют над сушей, морем и людьми в полном вожделении, которое могут дать богатство и власть, и перед которыми, как бы мы ни напрягались, взывая к антиснобистским принципам, мы не можем избежать чувства, открытого или тайного, уважения и ужаса.

(b) *Социальное "Я" человека* - это признание, которое он получает от своих товарищей. Мы не только стадные животные, любящие быть на виду у своих собратьев, но и обладаем врожденной склонностью к тому, чтобы нас замечали, и замечали благосклонно, наши сородичи. Если бы такое было физически возможно, нельзя было бы придумать более чудовищного наказания, чем то, чтобы человек оказался на свободе в обществе и остался абсолютно незамеченным всеми его членами. Если бы никто не оборачивался, когда мы входим, не отвечал, когда мы говорим, и не обращал внимания на то, что мы делаем, но если бы каждый встречный "резал нас по живому" и вел себя так, словно мы несуществующие вещи, в нас вскоре поднялась бы такая ярость и бессильное отчаяние, от которых самые жестокие телесные пытки принесли бы облегчение; ведь они заставили бы нас почувствовать, что, как бы плохо ни было наше положение, мы не опустили на такую глубину, чтобы быть недостойными внимания вообще.

Правильно говоря, у человека столько социальных "я", сколько людей, которые его узнают и носят его образ в своем сознании. Ранить любой из этих образов - значит ранить его самого.^[258] Но поскольку люди, которые носят эти образы, естественным образом делятся на классы, мы можем практически сказать, что у него столько же различных социальных "я", сколько существует отдельных групп людей, мнение которых его волнует. Как правило, каждой из этих групп он показывает себя с разных сторон. Многие юноши, которые достаточно скромны перед родителями и учителями, ругаются и размахивают руками, как пираты, среди своих "крутых" друзей. Мы не показываем себя перед своими детьми так, как перед товарищами по клубу, перед нашими клиентами так, как перед наемными рабочими, перед нашими хозяевами и работодателями так, как перед нашими близкими друзьями. Из этого вытекает то, что практически является разделением человека на несколько "я"; и это может быть диссонирующим разделением, когда человек боится позволить одному кругу своих знакомых узнать его таким, какой он есть в других местах; или это может быть совершенно гармоничным разделением труда, когда один ласковый к своим детям суров к солдатам или пленным под его командованием.

Самое своеобразное социальное "я", к которому склонен человек, находится в сознании того, в кого он влюблен. Хорошая или плохая судьба этого "я" вызывает сильнейший восторг и уныние - достаточно беспричинные, если судить по любым другим меркам, кроме органических чувств индивида. Для его собственного сознания он таковым не является, пока это конкретное социальное "я" не получает признания, а когда оно признано, его удовлетворение переходит все границы.

Слава человека, хорошая или плохая, его честь или бесчестие - это названия одного из его социальных "я". Особое социальное "я" человека, называемое его честью, обычно является результатом одного из тех расщеплений, о которых мы уже говорили. Это его образ в глазах его собственного "набора", который возвышает или осуждает его в зависимости от того, соответствует он или нет определенным требованиям, которые не могут быть предъявлены к человеку в другой сфере жизни. Так, мирянин может покинуть город, зараженный холерой;

но священник или врач сочтут такой поступок несовместимым с честью. Честь солдата требует, чтобы он сражался или умирал при обстоятельствах, когда другой человек может извиниться или убежать, не запятнав своего общественного "я". Судья, государственный деятель точно так же не могут в силу чести своей профессии вступать в денежные отношения, вполне почетные для людей частной жизни. Нет ничего привычнее, чем слышать, как люди проводят подобную дискриминацию между своими "я": "Как человек я вас жалею, но как чиновник я не должен проявлять к вам милосердия; как политик я считаю его своим союзником, но как моралист я его ненавижу" и т. д. и т. п. То, что можно назвать "клубным мнением", - одна из самых сильных сил в жизни.^[259] Вор не должен красть у других воров; азартный игрок должен платить свои игорные долги, хотя он не платит никаких других долгов в мире. Кодекс чести модного общества на протяжении всей истории был полон как разрешений, так и вето, и единственная причина следовать любому из них заключается в том, что так мы лучше всего служим одному из наших социальных "я". Вы не должны лгать в целом, но можете лгать сколько угодно, если вас спросят о ваших отношениях с дамой; вы должны принять вызов от равного, но если вызов бросит низший, вы можете высмеять его: вот примеры того, что имеется в виду.

(с) Под духовным Я, в той мере, в какой оно относится к эмпирическому Я, я понимаю внутреннее или субъективное существо человека, его психические способности или диспозиции, взятые конкретно; не голый принцип личного Единства, или "чистого" Эго, который еще предстоит обсудить. Эти психические диспозиции - наиболее устойчивая и интимная часть "я", то, чем мы, по всей видимости, являемся. Мы испытываем большее удовлетворение собой, когда думаем о своей способности рассуждать и различать, о своей нравственной чувствительности и совести, о своей негибкой воле, чем когда рассматриваем любое другое наше достояние. Только когда они изменяются, можно говорить о том, что человек стал *чужим* (*alienatus a se*).

Это духовное "я" можно рассматривать по-разному. Мы можем разделить его на факультеты, как только что было сказано, изолировать их один от другого и отождествлять себя с каждым из них по очереди. Это *абстрактный* способ рассмотрения сознания, в котором, как оно на самом деле предстает, всегда одновременно обнаруживается множество таких способностей; или мы можем настаивать на конкретном взгляде, и тогда духовное "я" в нас будет либо всем потоком нашего личного сознания, либо текущим "сегментом" или "участком" этого потока, в зависимости от того, какой взгляд мы примем - более широкий или более узкий - и поток, и участок будут конкретными существованиями во времени, и каждый будет единством в своем собственном роде. Но независимо от того, воспринимаем ли мы это абстрактно или конкретно, рассмотрение духовного "я" вообще является рефлексивным процессом, результатом нашего отказа от внешней точки зрения и того, что мы стали способны мыслить субъективность как таковую, *мыслить себя как мыслителя*.

Это внимание к мысли как таковой и отождествление себя с ней, а не с какими-либо объектами, которые она открывает, - важная и в некоторых отношениях довольно загадочная операция, о которой здесь нужно сказать только то, что она фактически существует; и что у каждого человека уже в раннем возрасте различие между мыслью как таковой, и тем, о чем она "есть" или "о чем", становится привычным для ума. Более глубокие основания для такого различения, возможно, трудно найти; но поверхностные основания многочисленны и находятся под рукой. Почти каждый скажет нам, что мысль - это иной вид существования, чем вещи, потому что многие виды мыслей не имеют отношения к вещам, например, удовольствия, боли и эмоций; другие - о несуществующих вещах - ошибках и вымыслах;

третьи - о существующих вещах, но в символической форме, не похожей на них - абстрактные идеи и понятия; в то время как в мыслях, которые действительно похожи на вещи, о которых они "говорят" (перцепции, ощущения), мы можем чувствовать, наряду с известной вещью, мысль о ней, происходящую как совершенно отдельный акт и операция в уме.

Теперь эта наша субъективная жизнь, столь четко отделенная от познаваемых с ее помощью объектов, может быть, как уже говорилось, воспринята нами в конкретном или абстрактном виде. О конкретном способе я сейчас ничего не скажу, за исключением того, что фактическое "сечение" потока в скором времени сыграет очень важную роль в нашем обсуждении природы принципа *единства* сознания. В первую очередь нашего внимания требует абстрактный путь. Если поток в целом отождествляется с Я гораздо больше, чем любая внешняя вещь, то *определенная часть потока, абстрагированная от остального*, отождествляется в совершенно особой степени и ощущается всеми людьми как своего рода внутренний центр внутри круга, святилище внутри цитадели, которую образует субъективная жизнь в целом. По сравнению с этим элементом потока другие части, даже субъективной жизни, кажутся преходящими внешними вещами, от которых каждый в свою очередь может отречься, пока остается тот, кто от них отрекается. Итак, *что же это за "я" среди всех других "я"?*

Вероятно, до определенного момента все люди описали бы его одинаково. Они называли бы его *активным* элементом во всем сознании; они сказали бы, что какими бы качествами ни обладали чувства человека или какое бы содержание ни включала его мысль, в нем есть духовное нечто, которое, кажется, *выходит* навстречу этим качествам и содержанию, в то время как они, кажется, *входят*, чтобы быть принятыми им. Это то, что приветствует или отвергает. Оно руководит восприятием ощущений и, давая или не давая согласие, влияет на движения, которые они вызывают. Это дом интереса, - не приятного или болезненного, даже не удовольствия или боли как таковых, а того, что внутри нас, к чему обращаются удовольствие и боль, приятное и болезненное. Это источник усилий и внимания, место, откуда исходят волевые порывы. Физиолог, размышляющий над этим вопросом от себя лично, вряд ли сможет не связать его более или менее смутно с процессом, в ходе которого идеи или приходящие ощущения "отражаются" или переходят во внешние действия. Не обязательно, чтобы это *был* именно этот процесс или просто ощущение этого процесса, но чтобы он был каким-то образом тесно *связан* с ним; ведь он играет аналогичную ему роль в психической жизни, являясь своего рода перекрестком, на котором заканчиваются сенсорные идеи и из которого исходят моторные идеи, и образуя своего рода связь между ними. Находясь там более постоянно, чем любой другой отдельный элемент психической жизни, другие элементы заканчиваются тем, что они как бы срастаются вокруг него и принадлежат ему. Он становится противопоставлен им, как постоянное противопоставляется изменчивому и непостоянному.

Можно, я думаю, не опасаясь быть расстроенным какими-либо будущими гальтоновскими циркулярами, считать, что все люди должны выделять из остальной части того, что они называют собой, некий центральный принцип, для которого каждый признал бы вышесказанное справедливым общим описанием, - достаточно точным, во всяком случае, чтобы обозначить то, что имеется в виду, и не смешивать его с другими вещами. Однако в тот момент, когда они ближе познакомились с ним, пытаясь точнее определить его природу, мнения начали расходиться. Одни говорили, что это простая активная субстанция, душа, которую они таким образом осознают; другие - что это не что иное, как фикция, причем

воображаемое обозначается местоимением I; а между этими крайностями мнений можно было бы найти всевозможных посредников.

Позже мы сами должны будем обсудить их все, и к тому дню будет достаточно зла. *А сейчас* давайте попробуем как можно определеннее выяснить для себя, как может *ощущаться* это центральное ядро Я, независимо от того, является ли оно духовной субстанцией или только иллюзорным словом.

Ведь эта центральная часть "Я" *ощущается*. Она может быть всем тем, о чем говорят трансценденталисты, и всем тем, о чем говорят эмпирики, но в любом случае это не *просто ens rationis*, познаваемый только интеллектуально, не *просто* сумма воспоминаний или *просто* звук слова в наших ушах. Это нечто, с чем мы также имеем непосредственное чувственное знакомство и что так же полно присутствует в любой момент сознания, в котором оно присутствует, как и в течение всей жизни, состоящей из таких моментов. Когда только что его называли абстракцией, это не означало, что, подобно какому-то общему понятию, оно не может быть представлено в конкретном опыте. Это означало лишь, что в потоке сознания она никогда не встречается одна. Но когда оно найдено, оно *ощущается*; так же как ощущается тело, ощущение которого тоже является абстракцией, потому что тело никогда не ощущается в одиночестве, но всегда вместе с другими вещами. *Можем ли мы теперь сказать точнее, в чем состоит ощущение этого центрального активного "я", -* не обязательно, пока еще, что это активное "я" *есть*, как существо или принцип, но что мы *чувствуем*, когда осознаем его существование?

Я думаю, что могу это сделать в своем собственном случае; и поскольку то, что я скажу, скорее всего, встретит противодействие, если будет обобщено (так как действительно может быть частично неприменимо к другим людям), мне лучше продолжать от первого лица, оставляя свое описание, чтобы его приняли те, чья интроспекция может оценить его как истинное, и признаваясь в своей неспособности удовлетворить требования других, если таковые существуют.

Прежде всего, я осознаю постоянную игру продвижений и препятствий в моем мышлении, сдержек и освобождений, тенденций, которые идут в ногу с желанием, и тенденций, которые идут в другую сторону. Среди вопросов, о которых я думаю, одни стоят на стороне интересов мысли, а другие играют недружественную роль. Взаимные несоответствия и соглашения, усиления и препятствия, возникающие среди этих объективных вещей, отражаются назад и порождают, как кажется, непрерывные реакции моей спонтанности на них, приветствуя или возражая, присваивая или отрекаясь, стремясь с или против, говоря "да" или "нет". Эта пульсирующая внутренняя жизнь и есть во мне то центральное ядро, которое я только что пытался описать в терминах, которыми могут пользоваться все люди.

Но когда я отказываюсь от таких общих описаний и берусь за конкретные вещи, максимально приближаясь к фактам, мне *трудно обнаружить в этой деятельности какой-либо чисто духовный элемент*. Всякий раз, когда моему интроспективному взгляду *удается достаточно быстро обернуться, чтобы уловить одно из этих проявлений спонтанности в действии, все, что он может отчетливо почувствовать, - это некий телесный процесс, по большей части происходящий в голове*. Опустив на мгновение то, что неясно в этих интроспективных результатах, попробую изложить те особенности, которые для моего собственного сознания кажутся неоспоримыми и отчетливыми.

Прежде всего, акты присутствия, согласия, отрицания, усилия ощущаются как движения чего-то в голове. Во многих случаях эти движения можно описать довольно точно. При внимании к идее или ощущению, относящемуся к определенной сфере чувств, движение -

это настройка органа чувств, ощущаемая по мере того, как она происходит. Например, я не могу мыслить в визуальных терминах, не ощущая в своих глазных яблоках колеблющуюся игру давлений, сближений, расхождений и приспособлений. Направление, в котором, как предполагается, находится объект, определяет характер этих движений, ощущение которых становится для моего сознания идентифицируемым с тем, как я готов к восприятию видимой вещи. Мой мозг представляется мне как бы простреленным линиями направления, которые я осознаю по мере того, как мое внимание переходит от одного органа чувств к другому, переходя к последовательным внешним вещам или следуя за поездами изменяющихся чувств-идей.

Когда я пытаюсь вспомнить или поразмышлять, движения, о которых идет речь, вместо того чтобы быть направленными на периферию, кажутся идущими от периферии внутрь и ощущаются как своего рода уход от внешнего мира. Насколько я могу судить, эти ощущения вызваны фактическим выкатыванием глазных яблок наружу и вверх, как, я полагаю, происходит у меня во сне, и являются полной противоположностью их действиям при фиксации на физической вещи. Рассуждая, я обнаружил, что склонен иметь в уме своего рода смутно локализованную схему с различными дробными объектами мысли, расположенными в определенных ее точках; и колебания моего внимания от одного из них к другому наиболее отчетливо ощущаются как смена направления движений, происходящих внутри головы.^[260]

При согласии и отрицании, а также при совершении мысленного усилия движения кажутся более сложными, и мне труднее их описать. В этих операциях большую роль играет открытие и закрытие гортани, а также, менее отчетливо, движения мягкого нёба и т. д., закрывающие задние носовые ходы от рта. Моя гортань подобна чувствительному клапану, мгновенно перехватывающему дыхание при каждом мысленном колебании или чувстве отвращения к объектам моих мыслей и так же быстро открывающемуся, чтобы пропустить воздух через горло и нос, как только отвращение будет преодолено. Ощущение движения этого воздуха является для меня одним из сильных ингредиентов чувства согласия. Движения мышц бровей и век также очень чутко реагируют на каждое колебание в согласии или несогласии с тем, что предстает перед моим мысленным взором.

При любом *усилии* к сокращениям челюстных мышц и дыхательных мышц добавляются сокращения надбровных дуг и гортани, и таким образом ощущение выходит из головы, как это правильно называется. Оно выходит из головы всякий раз, когда приветствие или отвержение объекта *сильно* ощущается. Тогда из многих частей тела поступает множество ощущений, все они "выражают" мою эмоцию, и собственно головные ощущения поглощаются этой большой массой.

В каком-то смысле можно сказать, что, по крайней мере, у одного человека *"Я из Я"* при *тщательном исследовании оказывается, что оно состоит в основном из совокупности этих особых движений в голове или между головой и горлом*. Я ни на секунду не утверждаю, что это все, из чего оно состоит, поскольку прекрасно понимаю, насколько отчаянно трудна интроспекция в этой области. Но я совершенно уверен, что эти цефалические движения являются теми частями моей внутренней деятельности, которые я *наиболее отчетливо осознаю*. Если неясные части, которые я пока не могу определить, окажутся подобными этим отчетливым частям во мне, а я буду подобен другим людям, то *из этого следует, что все наше ощущение духовной активности, или то, что обычно проходит под этим названием, на самом деле является ощущением телесной активности, точная природа которой большинством людей не осознается*.

Не обязуясь ни в коем случае принимать эту гипотезу, давайте немного поразмышляем над ней, чтобы понять, к каким последствиям она может привести, если окажется верной.

Прежде всего, ядерная часть "Я", посредник между идеями и явными актами, будет представлять собой совокупность действий, физиологически ничем существенно не отличающихся от самих явных актов. Если мы разделим все возможные физиологические акты на *регулировки* и *исполнения*, то ядерное Я будет коллективно рассматриваемыми регулировками; а менее интимное, более подвижное Я, в той мере, в какой оно активно, будет исполнением. Но и регулировки, и исполнения подчинялись бы рефлекторному типу. И то, и другое было бы результатом сенсорных и идеологических процессов, разряжающихся либо друг в друга внутри мозга, либо в мышцы и другие части снаружи. Особенностью регулировок было бы то, что это минимальные рефлексы, немногочисленные, непрерывно повторяющиеся, постоянные среди больших колебаний остального содержания сознания, и совершенно неважные и неинтересные, кроме как благодаря их использованию для поддержания или подавления присутствия различных вещей и действий перед сознанием. Эти характеристики, естественно, не позволят нам интроспективно уделять им много внимания в деталях, но в то же время они заставят нас осознать их как целостную группу процессов, сильно контрастирующую со всем остальным, что содержит сознание, - даже с другими составляющими "Я", материальными, социальными или духовными, в зависимости от обстоятельств. Это реакции, причем *первичные* реакции. Все вызывает их; ведь предметы, которые не оказывают никакого другого воздействия, на мгновение сжимают брови и заставляют закрываться глотку. Как будто все, что посещает ум, должно пройти входной экзамен и показать свое лицо, чтобы быть либо одобренным, либо отосланным назад. Эти первичные реакции подобны открытию или закрытию двери. В разгар психических изменений они являются постоянным ядром поворотов-направлений и поворотов-от, уступок и остановок, которые, естественно, кажутся центральными и внутренними по сравнению с посторонними вещами, в связи с которыми они происходят, и занимают своего рода арбитражную, решающую позицию, совершенно не похожую на ту, которую занимает любая из других составляющих Я. Поэтому неудивительно, что мы ощущаем их как место рождения выводов и отправную точку поступков, или что они становятся тем, что мы недавно называли "святилищем внутри цитадели" нашей личной жизни. [261]

Если бы они действительно были самым внутренним убежищем, *конечным* из всех Я, чье бытие мы когда-либо могли непосредственно пережить, из этого следовало бы, что все переживаемое, строго говоря, *объективно*; что это Объективное распадается на две противоположные части, одна из которых осознается как "Я", другая - как "не-Я"; и что над этими частями нет ничего, кроме факта, что они известны, - факта потока мысли, который существует как необходимое субъективное условие их переживания. Но это *условие* переживания не является одной из *вещей, переживаемых* в данный момент; это знание не *известно* сразу. Оно познается только в последующей рефлексии. Тогда вместо того, чтобы поток мысли был *кон-сознанием*, "мыслящим свое собственное существование вместе со всем остальным, что оно думает" (как говорит Феррье), его лучше назвать потоком *сознания* в чистом виде, мыслящим объекты, из которых он делает то, что называет "Я", и осознающим свое "чистое" Я только абстрактным, гипотетическим или концептуальным образом. Каждая "секция" потока была бы тогда частицей сциентизма или знания такого рода, включая и созерцая свое "я" и свое "не-я" как объекты, которые вместе разворачивают свою драму, но еще не включая и не созерцая свое собственное субъективное существо. Мышление, о котором идет речь, было бы *Мыслителем*, и существование этого мыслителя было бы дано

нам скорее как логический постулат, чем как то непосредственное внутреннее восприятие духовной деятельности, которое мы, естественно, считаем своим. Материя, как нечто, стоящее за физическими явлениями, является постулатом такого рода. Между постулируемой Материей и постулируемым Мыслителем лист явлений будет колебаться: одни из них ("реальности") будут относиться больше к Материи, другие (вымыслы, мнения и ошибки) - к Мыслителю. Но *кто* будет этим Мыслителем, или сколько разных Мыслителей мы должны предполагать во вселенной - все это будет предметом более глубокого метафизического исследования.

Подобные рассуждения перечеркивают здравый смысл; и не только перечеркивают (что в философии не является непреодолимым возражением), но и противоречат фундаментальным предположениям *каждой* философской школы. Спиритуалисты, трансценденталисты и эмпирики одинаково признают в постоянное непосредственное восприятие мыслительной деятельности в конкретном. Как бы они ни расходились во мнениях, они соперничают друг с другом в сердечности своего признания наших *мыслей* как единственного вида сущего, к которому не может прикоснуться скептицизм.^[262] Поэтому я буду рассматривать последние несколько страниц как отступление от темы и с этого момента и до конца тома снова вернусь на путь здравого смысла. Я имею в виду, что буду продолжать предполагать (как предполагал все это время, особенно в последней главе) непосредственное осознание процесса нашего мышления как такового, просто настаивая на том, что это еще более внутреннее и тонкое явление, чем полагает большинство из нас. Однако в конце тома я, возможно, позволю себе вновь вернуться к условно высказанным здесь сомнениям и предаться некоторым метафизическим размышлениям, навеянными ими.

В настоящее время я пришел к следующему выводу: Что (по крайней мере, у некоторых людей) та часть внутреннего "Я", которая ощущается наиболее ярко, состоит по большей части из набора цефалических движений "регулировки", которые, из-за недостатка внимания и размышлений, обычно не воспринимаются и не классифицируются как то, чем они являются; что над ними есть неясное ощущение чего-то большего; Но будет ли это нечто более слабыми физиологическими процессами или вообще ничем объективным, а скорее субъективностью как таковой, мыслью, ставшей "своим собственным объектом", в настоящее время должно оставаться открытым вопросом, как и вопрос о том, является ли она неделимой активной душой-субстанцией, или вопрос о том, является ли она персонификацией местоимения I, или любое другое из предположений о том, какова может быть ее природа.

Дальше этого мы пока не можем продвинуться в анализе составляющих Я. Поэтому перейдем к эмоциям Я, которые они вызывают.

2. САМООЩУЩЕНИЕ.

Это прежде всего *самодовольство* и *недовольство собой*. О том, что называется "самолюбием", я расскажу чуть дальше. В языке достаточно синонимов для обоих первичных чувств. Так, гордость, тщеславие, самолюбие, высокомерие, тщеславие, с одной стороны; а с другой - скромность, смирение, смущение, неуверенность, стыд, унижение, раскаяние, чувство немилости и личного отчаяния. Эти два противоположных класса привязанностей кажутся прямым и элементарным даром нашей природы. Ассоцианисты же считают, что это вторичные явления, возникающие в результате быстрого подсчета ощутимых удовольствий или страданий, к которым может привести наше благополучное или

неблагополучное личное положение; сумма представленных удовольствий образует самоудовлетворение, а сумма представленных страданий - противоположное чувство стыда. Несомненно, когда мы довольны собой, мы с нежностью перечисляем все возможные награды за нашу пустыню, а в приступе самоуничижения мы предчувствуем зло. Но одно лишь ожидание награды - *это* не самоудовлетворение, а одно лишь предчувствие зла - не самоуничижение, ибо существует некий средний тон самоощущения, который каждый из нас носит с собой и который не зависит от объективных причин, которые мы можем иметь для удовлетворения или недовольства. То есть человек с очень низкими способностями может преисполниться непоколебимого самомнения, а тот, чей успех в жизни обеспечен и кого все уважают, может до конца не верить в свои силы.

Можно, однако, сказать, что нормальным *провокатором* самоощущения является реальный успех или неудача, хорошее или плохое положение, которое человек занимает в мире. "Он вставил большой палец и вытащил сливу, и сказал, какой я хороший мальчик". Человека с широко разветвленным эмпирическим "Я", с силами, которые неизменно приносили ему успех, с местом, богатством, друзьями и славой, вряд ли будут посещать болезненные сомнения и неуверенность в себе, которые были у него, когда он был мальчиком. "Не великий ли это Вавилон, который я насадил?"^[263] В то время как тот, кто совершал одну ошибку за другой и в середине жизни все еще лежит среди неудачников у подножия холма, может вырасти больным от недоверия к себе и уклониться от испытаний, с которыми его силы действительно могут справиться.

Сами эмоции самоудовлетворения и унижения уникальны, каждая из них так же достойна быть отнесенной к примитивным эмоциональным видам, как, например, гнев или боль. Каждая из них имеет свое особенное физиогномическое выражение. При самоудовлетворении иннервируются мышцы-разгибатели, взгляд сильный и величественный, походка вальяжная и упругая, ноздри расширены, а на губах играет своеобразная улыбка. Весь этот комплекс симптомов можно с изяществом наблюдать в психушках, где всегда есть пациенты, буквально обезумевшие от самодовольства, чье жирное выражение лица и нелепая развязная походка трагически контрастируют с отсутствием каких-либо ценных личностных качеств. Именно в этих же замках отчаяния мы находим самые яркие примеры противоположной физиономии, у хороших людей, которые считают, что совершили "непростительный грех" и навсегда потеряны, которые сжимаются, корчатся и ускользают от внимания, не в состоянии говорить вслух или смотреть нам в глаза. Подобно страху и гневу, в аналогичных болезненных состояниях эти противоположные чувства Я могут быть вызваны без адекватной возбуждающей причины. И на самом деле мы сами знаем, как барометр нашей самооценки и уверенности в себе поднимается и опускается изо дня в день по причинам, которые кажутся скорее висцеральными и органическими, чем рациональными, и которые, конечно, не отвечают соответствующим колебаниям в уважении, которым нас пользуют наши друзья. О происхождении этих эмоций в расе мы сможем лучше рассказать, когда рассмотрим...

3. 3. СТРЕМЛЕНИЕ К СЕБЕ И САМОСОХРАНЕНИЕ.

Эти слова охватывают большое количество наших фундаментальных инстинктивных импульсов. Мы имеем дело с *телесным стремлением к самосохранению, социальным стремлением к самосохранению и духовным стремлением к самосохранению*.

Все обычные полезные рефлекторные действия и движения, связанные с питанием и защитой, являются актами телесного самосохранения. Страх и гнев побуждают к действиям, которые полезны точно так же. Если же под самосохранением мы понимаем обеспечение

будущего в отличие от поддержания настоящего, то и гнев, и страх, а также охотничий, приобретательский, домостроительный и орудийный инстинкты следует отнести к телесным импульсам самосохранения. На самом деле, однако, эти последние инстинкты, вместе с дружелюбием, родительской любовью, любопытством и подражанием, стремятся не только к развитию телесного Я, но и к развитию материального Я в самом широком смысле этого слова.

Наше *социальное стремление к самореализации*, в свою очередь, осуществляется непосредственно через нашу приветливость и дружелюбие, наше желание нравиться и привлекать внимание и восхищение, наше подражание и зависть, нашу любовь к славе, влиянию и власти, и опосредованно через те материальные импульсы самореализации, которые оказываются полезными в качестве средств для достижения социальных целей. То, что прямые импульсы социального самосохранения, скорее всего, являются чистыми инстинктами, легко понять. Примечательно, что желание быть "признанным" другими людьми имеет так мало общего с ценностью признания, исчисляемой в сенсационных или рациональных терминах. Мы безумно хотим обзавестись большим списком посетителей, иметь возможность при упоминании кого-либо сказать: "О! Я его хорошо знаю", и чтобы нам кланялась на улице половина людей, которых мы встречаем. Конечно, именитые друзья и восхищенное признание - это самое желанное: Теккерей где-то просит своих читателей признаться, не доставит ли каждому из *них* изысканное удовольствие, если его встретят на улице Пэлл-Мэлл с герцогом под руку. Но в отсутствие герцогов и завистливых приветствий некоторым из нас подойдет почти все; и в наши дни существует целая раса существ, чья страсть - держать свои имена в газетах, неважно под каким заголовком: "прибытия и отъезды", "личные параграфы", "интервью", - сплетни, даже скандал, их устроят, если не будет ничего лучшего. Гито, убийца Гарфилда, - пример крайности, до которой может дойти патологическая тяга к печатной известности. Газеты ограничивали его умственный горизонт; и в молитве бедняги на эшафоте одним из самых проникновенных выражений было: "Газетная пресса этой страны имеет большой счет к Тебе, Господи!"

Не только люди, но и места и вещи, которые я знаю, расширяют мое "Я" в своего рода метафорическом социальном смысле. "*Ça te connaît*", - как говорит французский рабочий об инструменте, которым он умеет хорошо пользоваться. Таким образом, получается, что люди, чье *мнение* нас не волнует, тем не менее, являются людьми, которых мы добиваемся; и что многие мужчины, действительно великие, многие женщины, действительно привередливые в большинстве отношений, возьмут на себя труд ослепить какого-нибудь ничтожного хама, чью личность они искренне презирают.

К *духовному стремлению* следует отнести любой импульс к психическому прогрессу, будь то интеллектуальный, моральный или духовный в узком смысле этого слова. Однако следует признать, что многое из того, что обычно выдается за духовное стремление к себе в этом узком смысле, является лишь материальным и социальным стремлением к себе за пределами могилы. В магометанском стремлении к раю и христианском стремлении не быть проклятым в аду материальность искомых благ не скрывается. В более позитивном и утонченном представлении о рае многие из его благ, общение со святыми и нашими умершими, присутствие Бога, являются лишь социальными благами самого возвышенного рода. Только поиск искупленной внутренней природы, безупречной от греха, будь то здесь или в будущем, может считаться духовным самопоиском в чистом и неопределенном виде.

Но этот широкий внешний обзор фактов жизни "Я" будет неполным без некоторого отчета о

СОПЕРНИЧЕСТВА И КОНФЛИКТА РАЗЛИЧНЫХ "Я".

В большинстве случаев физическая природа ограничивает наш выбор лишь одним из множества представленных товаров, так и здесь. Я часто сталкиваюсь с необходимостью придерживаться одного из своих эмпирических "я" и отказываться от остальных. Не то чтобы я не хотел, если бы мог, быть и красивым, и толстым, и хорошо одетым, и отличным спортсменом, и зарабатывать миллион в год, быть остроумцем, *бонвиваном* и дамским угодником, а также философом; филантропом, государственным деятелем, воином и исследователем Африки, а также "поэтом тона" и святым. Но это просто невозможно. Работа миллионера будет противоречить работе святого; *бонвиван* и филантроп будут мешать друг другу; философ и дамский угодник не смогут ужиться в одном и том же глиняном доме. Такие разные характеры, возможно, в самом начале жизни могут быть одинаково *возможны* для человека. Но чтобы воплотить в жизнь хоть один из них, остальные должны быть в большей или меньшей степени подавлены. Поэтому искатель своего самого истинного, самого сильного, самого глубокого "я" должен внимательно изучить этот список и выбрать то, на что он поставит свое спасение. После этого все остальные "я" становятся нереальными, а судьбы этого "я" - реальными. Его неудачи - настоящие неудачи, его триумфы - настоящие триумфы, несущие в себе стыд и радость. Это столь же убедительный пример избирательной деятельности ума, на которой я настаивал несколько страниц назад ([стр. 284](#) и далее). Наша мысль, непрерывно решающая среди множества вещей, какие из них должны быть для нее реальностью, здесь выбирает одну из многих возможных сущностей или характеров и тут же считает не стыдным потерпеть неудачу в любой из тех, что не приняты явно в качестве ее собственных.

Я, который с некоторых пор поставил все на то, чтобы быть психологом, испытываю досаду, если другие знают психологию гораздо лучше меня. Но я доволен тем, что погряз в грубейшем незнании греческого языка. Мои недостатки в нем не вызывают у меня никакого чувства личного унижения. Если бы я "претендовал" на роль лингвиста, все было бы как раз наоборот. Таким образом, мы имеем парадокс: человек до смерти опозорен тем, что он всего лишь второй драчун или второй гребец в мире. То, что он способен победить все население земного шара за вычетом одного, - ничто; он "поставил" себе задачу победить этого одного, и пока он этого не делает, все остальное не имеет значения. Для него самого это как бы и не так, и действительно не так.

А вот тот жалкий паренек, которого может победить каждый, не испытывает по этому поводу никакого огорчения, потому что он уже давно отказался от попытки "нести эту линию", как говорят торговцы, от самого себя. Без попытки не может быть неудачи, без неудачи - унижения. Поэтому наше самоощущение в этом мире полностью зависит от того, кем мы себя считаем и что делаем. Оно определяется соотношением наших реальных и предполагаемых возможностей; доля, знаменателем которой являются наши притязания, а числителем - наши успехи: таким образом, самооценка = Успехи/Притязания. Такая доля может быть увеличена как за счет уменьшения знаменателя, так и за счет увеличения числителя. [\[264\]](#) Отказаться от притязаний - такое же благословенное облегчение, как и получить их удовлетворение; и там, где разочарование непрерывно, а борьба бесконечна, люди всегда будут поступать именно так. История евангельского богословия с его убеждением в грехе, самоотречением и отказом от спасения делами - самый глубокий из возможных примеров, но мы встречаем и другие во всех сферах жизни. В сердце появляется странная легкость, когда однажды добросовестно принимается свое ничтожество в той или иной области. Не все так горько в судьбе влюбленного, которого отсылает последнее

неумолимое "нет". Многие бостонцы, *crede experto* (и жители других городов, боюсь, тоже), были бы сегодня более счастливыми женщинами и мужчинами, если бы раз и навсегда отказались от мысли о сохранении музыкального "я" и без стыда позволили людям услышать, как они называют симфонию занудством. Как приятен день, когда мы отказываемся от стремления быть молодыми или стройными! Слава Богу! Мы говорим, что *эти* иллюзии ушли. Все, что добавляется к "Я", - это бремя, а также гордость. Один человек, потерявший все до копейки во время нашей гражданской войны, ходил и катался в пыли, говоря, что не чувствовал себя таким свободным и счастливым с самого рождения.

И снова наше самоощущение в нашей власти. Как говорит Карлайл: "Сделай свое требование о зарплате нулем, и тогда весь мир будет у тебя под ногами". Хорошо сказал мудрейший нашего времени: "Только с *отречения от себя* можно сказать, что жизнь, собственно говоря, начинается".

Ни угрозы, ни мольбы не могут сдвинуть человека с места, если они не затрагивают какую-то одну из его потенциальных или реальных сущностей. Только так мы, как правило, можем "купить" чужую волю. Первая забота дипломатов, монархов и всех, кто хочет управлять или влиять, - выяснить сильнейший принцип самооценки своей жертвы, чтобы сделать его точкой опоры всех обращений. Но если человек отказался от тех вещей, которые подвластны чужой судьбе, и вообще перестал считать их частью себя, мы почти бессильны над ним. Стоический рецепт довольства заключался в том, чтобы заранее лишиться всего, что не в твоей власти, - тогда удары судьбы могут обрушиться неощутимым дождем. Эпиктет призывает нас, сузив и одновременно укрепив свое "Я", сделать его неуязвимым: "Я должен умереть; хорошо, но должен ли я умереть со стоном? Я буду говорить то, что кажется правильным, и если деспот скажет, что я предаю тебя смерти, я отвечу: "Когда это я говорил тебе, что я бессмертен? Ты будешь делать свое дело, а я свое; твое дело - убивать, а мое - умереть неустрашимым; твое дело - изгнать, мое - уйти невозмутимым". Как мы поступаем во время плавания? Мы выбираем лоцмана, матросов, час. Затем наступает шторм. О чем мне заботиться? Моя роль выполнена. Это дело лоцмана. Но корабль тонет; что же мне делать? То, что только я могу сделать, - это покориться утоплению без страха, без криков и обвинений в адрес Бога, но как тот, кто знает, что рожденное должно умереть". [265]

Эта стоическая манера, хотя и достаточно действенная и героическая в своем месте и времени, но, надо признаться, возможная только как привычный настрой души к узким и несимпатичным персонажам. Оно происходит путем полного исключения. Если я стоик, то блага, которые я не могу присвоить, перестают быть *моими* благами, и соблазн отрицать, что они вообще являются благами, очень близок. Этот способ защиты Я путем исключения и отрицания очень распространен среди людей, которые в других отношениях не являются стоиками. Все узколобые люди *окопались* в своем Я, они *втягивают* его - из области того, чем они не могут надежно обладать. Люди, которые не похожи на них или относятся к ним с безразличием, люди, на которых они не имеют никакого влияния, - это люди, на существование которых, каким бы достойным оно ни было по своей сути, они смотрят с холодным отрицанием, если не с положительной ненавистью. Кто не будет моим, того я вообще исключу из существования; то есть, насколько я могу это сделать, такие люди должны быть такими, как если бы их не было. [266] Таким образом, некая абсолютность и определенность в очертаниях моего Я может утешить меня за малостью его содержания.

Симпатичные люди, напротив, идут по совершенно противоположному пути расширения и включения. Очертания их "я" часто бывают достаточно неопределенными, но это с лихвой искупается распространением его содержания. *Nil humani a me alienum*. Пусть они презирают эту мою маленькую личность и обращаются со мной как с собакой, я не стану

отрицать *их*, пока в моем теле есть душа. Они - такие же реальности, как и я. Все положительное, что есть в них, будет и моим, и т. д. и т. п. Великодушные этих экспансивных натур часто бывает поистине трогательным. Такие люди могут испытывать своего рода нежный восторг при мысли о том, что, какими бы больными, неблагополучными, убогими и всеми покинутыми они ни были, они все же являются неотъемлемой частью всего этого храброго мира, имеют свою долю в силе ломовых лошадей, счастье молодых людей, мудрости мудрых, и не совсем безраздельно участвуют в удачах Вандербильтов и Гогенцоллернов. Таким образом, либо отрицая, либо принимая, Это может стремиться утвердиться в реальности. Тот, кто, как Марк Аврелий, может искренне сказать: "О Вселенная, я желаю всего, чего ты желаешь", обладает "Я", из которого удалены все следы негативности и препятствий - ни один ветер не может дуть иначе, как наполняя его паруса.

По довольно единодушному мнению, различные "я", которыми человек может "завладеть и обладать", и, как следствие, различные порядки его самооценки, располагаются в иерархической шкале, где телесное "я" находится внизу, духовное "я" - наверху, а внетелесные материальные "я" и различные социальные "я" - между ними. Наше естественное стремление к самосохранению привело бы нас к возвеличиванию всех этих "я"; мы сознательно отказываемся только от тех из них, которые, как мы обнаружили, мы не можем сохранить. Таким образом, наше бескорыстие становится "добродетелью необходимости"; и не без оснований циники цитируют басню о лисе и винограде, описывая наш прогресс в этом направлении. Но таково нравственное воспитание расы; и если мы согласны с тем, что в целом те, кого мы можем сохранить, являются лучшими по своей сути, нам не стоит жаловаться на то, что к осознанию их высшей ценности нас ведут таким извилистым путем.

Конечно, это не единственный способ, с помощью которого мы учимся подчинять наши низшие "я" нашим высшим. Несомненно, свою роль играет и прямое этическое суждение, и, наконец, что не менее важно, мы применяем к собственной персоне суждения, изначально вызванные поступками других людей. Один из самых странных законов нашей природы заключается в том, что многие вещи, которые нас вполне устраивают в себе, вызывают у нас отвращение при виде других. Телесная "спесь" другого человека почти ни у кого не вызывает симпатии; почти так же мало у кого вызывает симпатию его скупость, его общественное тщеславие и рвение, его ревность, его деспотизм и его гордость. Предоставленный самому себе, я, вероятно, позволил бы всем этим спонтанным наклонностям бесконтрольно расцветать во мне, и прошло бы немало времени, прежде чем я сформировал бы четкое представление о порядке их соподчинения. Но если мне постоянно приходится выносить суждения о своих партнерах, то вскоре я начинаю видеть, как говорит герр Хорвич, свои собственные похоти в зеркале чужих похотей и *думать* о них совсем не так, как я просто *чувствую*. Конечно, моральные обобщения, которые с детства прививались мне, сильно ускоряют появление этого рефлексивного суждения о себе.

Так и получилось, что, как уже говорилось выше, люди расположили различные "я", к которым они могут стремиться, в иерархической шкале в соответствии с их ценностью. Определенная доля телесного эгоизма необходима в качестве основы для всех остальных "я". Но излишняя чувственность презирается или, в лучшем случае, попустительствует другим качествам личности. Более широкие материальные "я" рассматриваются как более высокие, чем непосредственное тело. Он считается бедным существом, которое не в состоянии отказаться от небольшого количества мяса и питья, тепла и сна ради того, чтобы выжить в этом мире. Социальное "я" в целом, опять же, стоит выше, чем материальное "я" в

целом. Мы должны больше заботиться о своей чести, друзьях, человеческих связях, чем о крепкой коже или богатстве. А духовное "я" настолько высоко ценится, что ради его потери человек должен быть готов отказаться и от друзей, и от доброй славы, и от имущества, и от самой жизни.

В каждом виде "я" - материальном, социальном и духовном - люди проводят различие между непосредственным и актуальным и отдаленным и потенциальным, между более узким и более широким взглядом, в ущерб первому и в пользу второго. Человек должен отказаться от нынешнего телесного наслаждения ради общего здоровья; он должен отказаться от доллара в руке ради ста долларов в будущем; он должен стать врагом своего нынешнего собеседника, если таким образом он приобретет друзей более ценного круга; он должен остаться без образования, благодати и остроумия, чтобы лучше спасти свою душу.

Из всех этих более широких, более потенциальных "я" *потенциальное социальное "я"* наиболее интересно в силу некоторых очевидных парадоксов, к которым оно приводит в поведении, и в силу его связи с нашей нравственной и религиозной жизнью. Когда по соображениям чести и совести я бравирую осуждением своей семьи, клуба и "группы"; когда, будучи протестантом, я становлюсь католиком; католиком - вольнодумцем; "обычным практикующим" - гомеопатом или кем-то еще, я всегда внутренне укрепляюсь в своем курсе и защищаюсь от потери своего реального социального "я" мыслью о других и лучших *возможных* социальных судьях, чем те, чей вердикт сейчас против меня. Идеальное социальное "я", к которому я стремлюсь, апеллируя к их решению, может быть очень отдаленным: оно может быть представлено как едва возможное. Я могу не надеяться на его реализацию при жизни; я могу даже ожидать, что будущие поколения, которые одобрили бы меня, если бы знали меня, ничего не будут знать обо мне, когда я умру и уйду. И все же эмоция, которая манит меня дальше, - это, несомненно, стремление к идеальному социальному "я", к "я", которое, по крайней мере, *достойно* одобрительного признания со стороны самого высокого из *возможных* судебных товарищей, если таковые найдутся.^[267] Это Я - истинное, сокровенное, высшее, постоянное Я, которое я ищу. Этот судья - Бог, Абсолютный Разум, "великий спутник". В наши дни научного просвещения мы слышим множество рассуждений о действенности молитвы; приводится множество причин, по которым не следует молиться, а по другим - почему следует. Но во всем этом очень мало говорится о причине, по которой мы молимся, а именно о том, что мы не можем *не* молиться. Кажется вероятным, что, несмотря на все, что "наука" может сделать для обратного, люди будут продолжать молиться до скончания веков, если только их психическая природа не изменится таким образом, что ничто из того, что мы знаем, не заставит нас ожидать. Импульс к молитве - необходимое следствие того факта, что, хотя внутреннее эмпирическое "Я" человека - это "Я" *социального* типа, оно все же может найти своего единственного адекватного *Социума* в идеальном мире.

Весь прогресс социального "Я" заключается в замене высших судов низшими; этот идеальный суд - высший; и большинство людей, постоянно или время от времени, носят в своей груди ссылку на него. Самый скромный изгнанник на этой земле может почувствовать себя настоящим и действительным благодаря этому высшему признанию. И, с другой стороны, для большинства из нас мир, в котором нет такого внутреннего убежища, когда внешнее социальное "я" терпит крах и отпадает от нас, был бы бездной ужаса. Я говорю "для большинства из нас", потому что, вероятно, люди сильно различаются по степени, в которой их преследует это чувство идеального зрителя. Для одних людей оно является гораздо более существенной частью сознания, чем для других. Те, у кого его больше всего, возможно, являются самыми *религиозными* людьми. Но я уверен, что даже те, кто говорит, что

полностью лишен этого чувства, обманывают себя и на самом деле в той или иной степени обладают им. Только нестадное животное может быть полностью лишено его. Наверное, никто не может жертвовать собой ради "права", не в какой-то степени олицетворяя принцип права, ради которого приносится жертва, и не ожидая от него благодарности. *Полное* социальное бескорыстие, другими словами, вряд ли может существовать; *полное* социальное самоубийство вряд ли приходит человеку в голову. Даже такие тексты, как Иов "Пусть Он убьет меня, но я буду доверять Ему" или Марк Аврелий "Если боги ненавидят меня и моих детей, то на это есть причина", менее всего могут быть приведены в доказательство обратного. Ведь Иов, несомненно, радовался мысли о том, что Иегова признает его поклонение после того, как заклинание будет совершено; а римский император был уверен, что Абсолютный Разум не останется равнодушным к его молчаливому согласию с неприязнью богов. На старый тест благочестия: "Готов ли ты быть проклятым во славу Божью?" - утвердительно отвечали, пожалуй, только те, кто в глубине души был уверен, что Бог "зачтет" им их готовность и будет больше дорожить ими, чем если бы в своем непостижимом замысле Он вообще не проклял их.

Все эти слова о невозможности самоубийства сказаны на основании предположения о *положительных* мотивах. Однако, когда нами владеет чувство *страха*, мы находимся в *негативном* состоянии ума; то есть наше желание сводится к простому изгнанию чего-то, без учета того, что должно занять его место. В таком состоянии ума, несомненно, могут быть подлинные мысли и подлинные поступки, связанные с самоубийством, духовным и социальным, а также телесным. Все, что угодно, *все, что угодно*, в такие моменты, лишь бы сбежать и не быть! Но такие состояния суицидального безумия патологичны по своей природе и противоречат всему тому, что закономерно в жизни Я в человеке.

КАКОЕ "Я" ЛЮБИМО В "САМОЛЮБИИ"?

Теперь мы должны попытаться более деликатно, изнутри, интерпретировать факты самолюбия и стремления к себе.

Человек, в котором в значительной степени развито стремление к себе любого рода, считается эгоистом.^[268] С другой стороны, называют его бескорыстным, если он проявляет внимание к интересам других людей, а не к своим собственным. Какова же интимная *природа* эгоистического чувства в человеке и каков основной *объект* его внимания? Мы видели, как он преследует и поддерживает в качестве своего "я" сначала один набор вещей, а затем другой; мы видели, как один и тот же набор фактов приобретает или теряет интерес в его глазах, оставляет его равнодушным или наполняет его либо триумфом, либо отчаянием в зависимости от того, претендует он на их присвоение, относится к ним как к потенциально или реально принадлежащим себе, или нет. Мы знаем, как мало для нас имеет значения, окажется ли *какой-то* человек, взятый в целом и абстрактно, неудачником или преуспевающим в жизни, - он может быть повешен, если нас это не волнует, - но мы знаем, насколько велика и ужасна альтернатива, когда этот человек - тот, чье имя мы сами носим. Я не должен быть неудачником, - вот самый громкий из голосов, звучащих в груди каждого из нас: пусть кто угодно потерпит неудачу, я, по крайней мере, должен добиться успеха. Первый вывод, который напрашивается из этих фактов, заключается в том, что каждый из нас движим *непосредственным чувством уважения к своему собственному чистому принципу индивидуального существования*, каким бы он ни был, взятый просто как таковой. Кажется, будто все наши конкретные проявления эгоизма могли бы быть выводами стольких силлогизмов, каждый из которых имел бы этот принцип в качестве предмета своей главной посылки, таким образом: Все, что принадлежит мне, ценно; это - я, поэтому это ценно; все, что принадлежит мне, не должно потерпеть неудачу; это - мое, поэтому это не должно

потерпеть неудачу и т. д. Я говорю, что это выглядит так, как будто этот принцип прививает всему, чего он касается, свое собственное интимное качество ценности; как будто до прикосновения все может быть безразличным и ничем не интересным само по себе; как если бы мое отношение к собственному телу даже было интересом не просто к этому телу, но к этому телу только в той мере, в какой оно мое.

Но что же это за абстрактный числовой принцип идентичности, это "Число Один" внутри меня, за которым, согласно пословичной философии, я должен постоянно "следить"? Является ли это внутренним ядром моего духовного "я", той совокупностью неясно ощущаемых "настроек", *плюс*, возможно, еще более неясно воспринимаемой субъективности как таковой, о которой мы недавно говорили? А может быть, это конкретный поток моей мысли во всей его полноте или какой-то его отрезок? А может быть, это неделимая душа-субстанция, в которой, согласно ортодоксальной традиции, заключены мои способности? Или, наконец, это может быть просто местоимение *Я*? Конечно же, ничем из перечисленного не является то "я", к которому я испытываю столь горячую привязанность. Если бы все они вместе были помещены в меня, я все равно был бы холоден и не смог бы проявить ничего, достойного названия эгоизма или преданности "номеру один". Чтобы у меня появилось "я", о котором я могу *заботиться*, природа должна сначала представить мне какой-то *объект*, достаточно интересный, чтобы я инстинктивно захотел присвоить его ради него *самого* и создать из него одно из тех материальных, социальных или духовных "я", которые мы уже рассматривали. Мы обнаружим, что все факты соперничества и замещения, которые так поразили нас, все сдвиги, расширения и сужения сферы того, что следует считать "я" и "мое", являются лишь результатом того, что определенные *вещи* привлекают примитивные и инстинктивные импульсы нашей природы и что мы следим за их судьбами с волнением, которое ничем не обязано рефлексивному источнику. Эти объекты наше сознание рассматривает как изначальные составляющие своего Я. Все остальные объекты, связанные с судьбой этих или каким-либо другим образом, за которыми мы следим с тем же интересом, образуют наше более отдаленное и более вторичное Я. Слова "я" и "самость", в той мере, в какой они вызывают чувства и обозначают эмоциональную ценность, являются объективными обозначениями, означающими все то, что способно вызвать в потоке сознания возбуждение определенного рода. Попробуем обосновать это утверждение в деталях.

Самый ощутимый эгоизм человека - это его телесный эгоизм; а его самое ощутимое "я" - это тело, к которому этот эгоизм относится. Теперь я говорю, что он отождествляет себя с этим телом, потому что любит его, и что он не любит его, потому что считает его отождествленным с собой. Обращение к естественной истории и психологии поможет нам увидеть истину этого. В главе "Инстинкты" мы узнаем, что у каждого существа есть определенный избирательный интерес к определенным частям мира, и что этот интерес часто бывает как врожденным, так и приобретенным. Наш *интерес к вещам* означает внимание и эмоции, которые возбуждает мысль о них, и действия, которые вызывает их присутствие. Так, каждый вид особенно интересуется своей добычей или пищей, своими врагами, своими половыми партнерами и своим потомством. Эти вещи очаровывают своей внутренней силой; о них заботятся ради них самих.

Не иначе обстоит дело и с нашими телами. Они тоже являются объектами нашего объективного поля - просто самыми интересными объектами. То, что с ними происходит, вызывает в нас эмоции и склонность к действию, более энергичные и привычные, чем те, которые вызывают другие части "поля". То, что мои товарищи называют моим телесным эгоизмом или самолюбием, есть не что иное, как сумма всех внешних действий, которые этот

интерес к моему телу спонтанно влечет за собой. Мой "эгоизм" здесь - лишь описательное название для объединения внешних симптомов, которые я проявляю. Когда я руководствуюсь самолюбием, чтобы сохранить свое место, в то время как дамы стоят, или чтобы схватить что-то первым и отрезать своего соседа, то на самом деле я люблю удобное место, саму вещь, которую я хватаю. Я люблю прежде всего их, как мать любит своего младенца или щедрый человек - свой подвиг. Там, где, как и здесь, стремление к себе является результатом простой инстинктивной склонности, это всего лишь название для определенных рефлекторных действий. Что-то смертельно приковывает мое внимание и смертельно провоцирует "эгоистическую" реакцию. Если бы автомат был сконструирован так искусно, чтобы подражать этим действиям, его бы назвали эгоистом так же правильно, как и меня. Правда, я не автомат, а мыслитель. Но мои мысли, как и мои поступки, озабочены только внешними вещами. Они не должны знать и заботиться о каком-либо чистом принципе внутри. На самом деле, чем более совершенно "эгоистичен" я в этом примитивном смысле, тем более слепо поглощена моя мысль объектами и импульсами моих вожделений и тем более лишена какого-либо взгляда вовнутрь. Младенец, чье сознание чистого Эго, себя как мыслителя, обычно не предполагается развитым, является, таким образом, как сказал кто-то из немцев, '*der vollendeteste Egoist*'. Его телесная личность и то, что служит ее потребностям, - это единственное "я", о котором можно сказать, что оно любит. Его так называемое самолюбие - лишь название для его нечувствительности ко всему, кроме этого единственного набора вещей. Возможно, ему нужен чистый принцип субъективности, душа или чистое Эго (ему, конечно, нужен поток мысли), чтобы сделать его чувствительным вообще ко всему, чтобы заставить его различать и любить *überhaupt*, - как это может быть, мы скоро увидим; но это чистое Эго, которое тогда было бы *условием* его любви, не должно быть *объектом* его любви больше, чем объектом его мысли. Если бы его интересы целиком лежали в других телах, кроме его собственного, если бы все его инстинкты были альтруистическими, а все его поступки - самоубийственными, все равно ему был бы необходим принцип *сознания*, как и сейчас. Такой принцип не может быть принципом его телесного *эгоизма* в той же мере, что и принципом любой другой тенденции, которую он может проявить.

Вот вам и телесное самолюбие. Но мое *социальное* самолюбие, мой интерес к образам, которые создают обо мне другие люди, - это также интерес к совокупности объектов, внешних по отношению к моему мышлению. Эти мысли в головах других людей находятся вне моего сознания и "выбрасываются" мной. Они приходят и уходят, растут и убывают, а я то надуваюсь от гордости, то краснею от стыда в зависимости от результата, так же как от успеха или неудачи в погоне за материальной вещью. Так что и здесь, как и в первом случае, чистый принцип оказывается вне игры как *объект* внимания и присутствует лишь как общая форма или условие, при котором внимание и мышление вообще продолжают во мне.

Но, тут же возразим мы, это искаженное изложение фактов. Образы меня в сознании других людей - это, правда, вещи вне меня, изменения которых я воспринимаю так же, как и любые другие внешние изменения. Но гордость и стыд, которые я испытываю, связаны не только с *этими* изменениями. Я чувствую, что изменилось и что-то другое, когда воспринимаю свой образ в вашем сознании как изменившийся к худшему, что-то во мне, чему принадлежит этот образ и что мгновение назад я ощущал внутри себя, большим, сильным и похотливым, а теперь слабым, сжавшимся и разрушившимся. Не является ли эта последняя перемена тем изменением, за которое я испытываю стыд? Не является ли состояние этой вещи внутри меня надлежащим объектом моего эгоистического беспокойства, моей самооценки? И не

является ли оно, в конце концов, моим чистым "Я", моим голым числовым принципом отличия от других людей, а вовсе не эмпирической частью меня?

Нет, это не такой чистый принцип, это просто опять-таки моя полная эмпирическая самость, мое историческое Я, совокупность объективных фактов, к которым "принадлежит" обесцененный образ в вашем сознании. В каком качестве я претендую и требую от вас уважительного приветствия вместо этого выражения презрения? Я требую этого не как голое Я, а как Я, к которому всегда относились с уважением, которое принадлежит к определенной семье и "набору", которое имеет определенные полномочия, владения и общественные функции, чувства, обязанности и цели, заслуги и достоинства. Все это - то, что ваше пренебрежение отрицает и опровергает; это "то, что внутри меня", чье изменившееся обращение я чувствую стыд; это то, что было вождленным, а теперь, вследствие вашего поведения, разрушилось; и это, конечно, эмпирическая объективная вещь. В самом деле, вещь, которая ощущается измененной и изменившейся к худшему во время моего чувства стыда, часто даже более конкретна, чем это, - это просто моя телесная личность, в которой ваше поведение немедленно и без всякого размышления с моей стороны вызывает те мышечные, железистые и сосудистые изменения, которые вместе составляют "выражение" стыда. В этом инстинктивном, рефлекторном виде стыда тело является таким же проводником самоощущения, как и в более грубых случаях, которые мы рассматривали вначале, оно было проводником стремления к себе. Как в простом "свинстве" сочный кусок порождает, по рефлекторному механизму, поведение, которое наблюдатели находят "жадным" и считают вытекающим из определенного рода "самоуважения"; так и здесь ваше презрение порождает, по механизму, столь же рефлекторному и непосредственному, другой вид поведения, который наблюдатели называют "стыдливым" и который они считают обусловленным другим видом самоуважения. Но в обоих случаях может не быть никакого конкретного "я", *рассматриваемого* разумом: и название "самоуважение" может быть лишь описательным названием, навязанным извне самими рефлекторными актами и чувствами, которые немедленно возникают в результате их выполнения.

После телесного и социального "я" идет духовное. Но о каком из моих духовных "я" я действительно забочусь? Моя душа-субстанция? мое "трансцендентальное Эго, или Мыслитель"? мое местоимение Я? моя субъективность как таковая? мое ядро цефалической настройки? или мои более феноменальные и бранные силы, мои любовь и ненависть, готовность и чувствительность и тому подобное? Несомненно, последние. Но они, по отношению к центральному принципу, каким бы он ни был, являются внешними и объективными. Они приходят и уходят, а он остается - "так трясется магнит, и так стоит полюс". Для того чтобы они были любимы, он действительно должен присутствовать, но его присутствие не тождественно самой любви.

Итак, подводя итог, *мы не видим оснований полагать, что "любовь к себе" - это в первую очередь, или во вторую, или вообще любовь к своему простому принципу сознательной идентичности*. Это всегда любовь к чему-то, что по сравнению с этим принципом поверхностно, преходяще, может быть взято или брошено по желанию.

И зоологическая психология снова приходит на помощь нашему пониманию и показывает нам, что так и должно быть. В самом деле, отвечая на вопрос, какие вещи любит человек в своем самолюбии, мы неявно ответили на более далекий вопрос, почему он их любит.

Если бы его сознание не было чем-то большим, чем познание, если бы оно не испытывало пристрастия к определенным объектам, которые, сменяя друг друга, занимают его, оно не могло бы долго поддерживать свое существование; ибо, по непостижимой необходимости,

появление каждого человеческого разума на этой земле обусловлено целостностью тела, к которому он принадлежит, обращением, которое это тело получает от других, и духовными склонностями, которые используют его как свой инструмент и ведут его либо к долголетию, либо к разрушению. *Собственное тело, затем, прежде всего, его друзья, и, наконец, его духовные склонности, должны быть в высшей степени интересными объектами для каждого человеческого разума.* Для начала каждый разум должен обладать определенным минимумом эгоизма в форме инстинктов телесного стремления к себе, чтобы существовать. Этот минимум должен быть основой для всех дальнейших сознательных действий, будь то самоотречение или эгоизм, еще более тонкий. Все умы должны были прийти, если не прямым путем, то путем выживания сильнейших, к интенсивному интересу к телам, с которыми они связаны, совершенно не считая интереса к чистому Эго, которым они также обладают.

И точно так же с образами их личности в умах других людей. Меня бы сейчас не было, если бы я не стал чувствителен к взглядам одобрения или неодобрения на лицах, среди которых проходит моя жизнь. Взгляды презрения, брошенные на других людей, не должны влиять на меня таким особым образом. Если бы моя психическая жизнь зависела исключительно от благосостояния другого человека, прямо или косвенно, то естественный отбор, несомненно, привел бы к тому, что я был бы так же чувствителен к социальным перипетиям этого другого человека, как сейчас к своим собственным. Вместо того чтобы быть эгоистом, я должен быть спонтанно альтруистом. Но в этом случае, лишь частично реализованном в реальных человеческих условиях, хотя "я", которое я эмпирически люблю, изменилось бы, мое чистое Эго или Мыслитель должно было бы оставаться таким, какое оно есть сейчас.

Мои духовные силы, опять же, должны интересоваться меня больше, чем силы других людей, и по той же самой причине. Меня вообще не должно было бы быть здесь, если бы я не культивировал их и не оберегал от разложения. И тот же закон, который заставил меня заботиться о них когда-то, заставляет меня заботиться о них и сейчас.

Таким образом, мое собственное тело и то, что удовлетворяет его потребности, - это примитивный объект, инстинктивно обусловленный, моих эгоистических интересов. Другие объекты могут стать интересными производно, в результате ассоциации с любой из этих вещей, либо как средства, либо как привычные сопутствующие; и так тысячей способов примитивная сфера эгоистических эмоций может расширяться и менять свои границы.

Этот вид интереса и есть *смысл слова "мое"*. Все, что им обладает, является частью меня. Мой ребенок, мой друг умирает, и там, куда он уходит, я чувствую, что часть меня самого теперь есть и будет всегда:

"Ибо эта потеря есть истинное умирание;
Это низвержение лорда;
Это медленный, но верный отдых,
Star by star his world resigning."

Однако факт остается фактом: некоторые особые виды вещей изначально склонны обладать этим интересом и формируют *естественное* я. Но все эти вещи являются *объектами*, так сказать, для субъекта, который мыслит. [269] И этот последний факт сразу же расстраивает сентенцию старомодной сенсуалистической психологии, что альтруистические страсти и

интересы противоречат природе вещей, и что если они где-то и существуют, то только как вторичные продукты, разрешаемые в конечном счете в случае эгоизма, наученные опытом лицемерной маскировки. Если зоологическая и эволюционная точка зрения верна, то нет причин, по которым любой объект не мог бы вызывать страсть и интерес столь же примитивно и инстинктивно, как и любой другой, независимо от того, связан он или нет с интересами "я". Феномен страсти по своему происхождению и сути один и тот же, независимо от цели, на которую она направлена; а что на самом деле является целью - это исключительно вопрос факта. Можно предположить, что забота о теле ближнего может увлечь меня не меньше и не менее примитивно, чем забота о своем собственном. Единственным ограничителем столь буйных альтруистических интересов является естественный отбор, который отсеивает тех, кто наносит большой вред человеку или его племени. Однако многие такие интересы остаются не изжитыми - например, интерес к противоположному полу, который кажется человечеству более сильным, чем того требует его утилитарная необходимость; а рядом с ними остаются интересы, например, к алкогольному опьянению или музыкальным звукам, которые, как мы можем видеть, не имеют никакой пользы. Симпатические и эгоистические инстинкты, таким образом, координируются. Они возникают, насколько мы можем судить, на одном и том же психологическом уровне. Единственное различие между ними заключается в том, что инстинкты, называемые эгоистическими, составляют гораздо большую массу.

Единственный известный мне автор, который обсуждал вопрос о том, может ли "чистое Эго" как таковое быть объектом внимания, - это герр Хорвич в своем чрезвычайно способном и остром *"Психологическом анализе"*. Он тоже утверждает, что всякое самоуважение - это уважение к определенным объективным вещам. Он так хорошо разбирает один вид возражений, что в заключение я должен процитировать часть его собственных слов:

Во-первых, возражение:

"Неоспоримым фактом является то, что собственные дети всегда считаются самыми красивыми и яркими, вино из собственного погреба - самым лучшим, по крайней мере, по цене, собственный дом и лошади - самыми лучшими. С каким нежным восхищением мы смотрим на свой маленький поступок благодеяния! Наши собственные слабости и проступки, как мы готовы оправдать себя за них, если вообще замечаем их, на основании "смягчающих обстоятельств"! Насколько более комичны наши собственные шутки, чем шутки других, которые, в отличие от наших, не выдерживают повторения по десять-двенадцать раз! Насколько красноречивы, поразительны, сильны наши собственные речи! Насколько уместны наши собственные обращения! Словом, насколько все в нас умнее, душевнее, лучше, чем в ком-либо другом. Печальная глава о тщеславии и тщеславии художников и писателей относится именно сюда.

"Распространенность этого очевидного предпочтения, которое мы испытываем ко всему собственному, действительно поразительна. Не похоже ли это на то, что наше дорогое "Я" должно сначала придать свой цвет и аромат чему-либо, чтобы это понравилось нам?... Не является ли самым простым объяснением всех этих явлений, столь последовательных между собой, предположение, что Эго, самость, составляющая начало и центр нашей *мыслительной* жизни, является в то же время первоначальным и центральным объектом нашей жизни чувств и основанием как для особых идей, так и для особых чувств, которые из них вытекают?"

Далее герр Хорвич ссылается на то, что мы уже заметили: различные вещи, которые вызывают у нас отвращение в других, совсем не вызывают отвращения в нас самих.

"Для большинства из нас даже телесное тепло другого человека, например, стул, теплый от чужого сидения, ощущается неприятно, тогда как в тепле стула, на котором мы сидели сами, нет ничего неприятного".

После некоторых дальнейших замечаний он отвечает на эти факты и рассуждения следующим образом;

"Мы можем с уверенностью утверждать, что наши собственные вещи в большинстве случаев радуют нас больше [не потому, что они наши], а просто потому, что мы лучше знаем их, "осознаем" их более близко, чувствуем их более глубоко. Мы учимся ценить то, что принадлежит нам, во всех деталях и оттенках, в то время как чужие блага представляются нам в грубых очертаниях и грубых средних величинах. Вот несколько примеров: Музыкальное произведение, исполняемое самим человеком, слышно и понятно лучше, чем когда его играет другой. Мы точнее улавливаем все детали, глубже проникаем в музыкальную мысль. При этом мы можем прекрасно понимать, что другой человек исполняет лучше, и тем не менее - иногда - получать больше удовольствия от собственной игры, потому что она делает мелодию и гармонию намного ближе к нам. Этот случай можно считать типичным для других случаев самолюбования. При внимательном рассмотрении мы почти всегда обнаружим, что значительная часть наших чувств по отношению к тому, что принадлежит нам, объясняется тем, что мы *живем ближе* к своим вещам и поэтому чувствуем их более полно и глубоко. Когда один мой друг собирался жениться, он часто надоедал мне тем, как многократно и поминутно обсуждал детали своего нового бытового устройства. Я удивлялся, что столь интеллигентный человек должен так глубоко интересоваться вещами столь внешнего характера. Но когда через несколько лет я сам оказался в таком же состоянии, эти вопросы приобрели для меня совершенно иной интерес, и я стал их обсуждать и говорить о них без усталости..... Причина была в том, что в первом случае я ничего не *понимал* в этих вещах и их важности для домашнего комфорта, в то время как во втором они с неодолимой силой нахлынули на меня и живо завладели моим воображением. Так бывает со многими, кто смеется над украшениями и титулами, пока сам не приобретет их. И это также, несомненно, причина, по которой собственный портрет или отражение в зеркале так интересно созерцать... не из-за какого-то абсолютного "*это я*", а так же, как и музыку, которую мы играем сами. То, что встречает наш взгляд, - это то, что мы лучше всего знаем, глубже всего понимаем; потому что мы сами это чувствовали и пережили. Мы знаем, что вспахало эти борозды, углубило эти тени, осветлило эти волосы; и другие лица могут быть красивее, но ни одно не может говорить с нами или заинтересовать нас так, как это".[270]

Более того, этот автор продолжает показывать, что наши собственные вещи для нас *полнее*, чем чужие, потому что они пробуждают воспоминания, практические надежды и ожидания, которые они вызывают. Уже одно это придает им особое значение, помимо ценности, обусловленной их принадлежностью к нам самим. Таким образом, мы можем заключить вместе с ним, что *изначальное центральное самоощущение никогда не сможет объяснить страстную теплоту наших самооценочных эмоций, которые, напротив, должны быть обращены непосредственно к особым вещам, менее абстрактным и пустым по содержанию. Этим вещам можно дать название "самость", а нашему поведению по*

отношению к ним - название "эгоизм", но ни в самости, ни в эгоизме чистый Мыслитель не играет "титульной роли".

Необходимо упомянуть еще только один момент, связанный с нашим самосозерцанием. До сих пор мы говорили о нем как об активном инстинкте или эмоции. Остается сказать о ней как о холодной *интеллектуальной самооценке*. Мы можем взвесить свое собственное Я на весах похвалы и порицания так же легко, как и других людей, - хотя и с трудом, но справедливо. *Справедливый* человек - это тот, кто может взвесить себя беспристрастно. Беспристрастное взвешивание предполагает редкую способность абстрагироваться от той яркости, с которой, как заметил герр Хорвич, вещи, известные нам так близко, как наше собственное имущество и поступки, вызывают к нашему воображению; и столь же редкую способность ярко представлять дела других людей. Но, если учесть эти редкие способности, нет никаких причин, по которым человек не мог бы судить о себе так же объективно и хорошо, как и о ком-либо другом. Как бы он ни относился к себе, излишне восторженно или излишне подавленно, он все равно может по-настоящему *узнать* свою ценность, измерив ее по внешнему стандарту, который он применяет к другим людям, и противостоять несправедливости чувства, от которого он не может полностью избавиться. Этот процесс самоизмерения не имеет ничего общего с инстинктивной самооценкой, с которой мы до сих пор имели дело. Будучи всего лишь одним из применений интеллектуального сравнения, он не должен больше задерживать нас здесь. Обратите внимание, однако, на то, что чистое Эго выступает лишь как средство, с помощью которого происходит оценка, а оцениваемые объекты - это факты эмпирического рода, [271] тело, заслуги, слава, интеллектуальные способности, доброта, или что бы то ни было.

Эмпирическая жизнь Я делится, как указано ниже, на

	МАТЕРИАЛЬНУЮ.	СОЦИАЛЬНУЮ.	ДУХОВНУЮ.
САМОСОЗЕРЦАНИЕ.	Телесные аппетиты и инстинкты	Желание нравиться, быть замеченным, восхищенным и т. д.	Интеллектуальные, моральные и религиозные стремления, сознательность.
	Любовь к украшениям, вычурность, приобретательность, конструктивность.	Общительность, подражание, зависть, любовь, стремление к почестям, честолюбие и т. д.	
	Любовь к дому и т. д.		
САМООЦЕНКА.	Личное тщеславие, скромность и т. д.	Социальная и семейная гордость, тщеславие, снобизм, смирение, стыд и т. д.	Чувство морального или умственного превосходства, чистоты и т. д.
	Гордость богатством, страх перед бедностью		Чувство неполноценности или

ЧИСТОЕ ЭГО.

Суммировав в приведенной выше таблице основные результаты этой главы, я сказал все, что нужно сказать о составляющих феноменального "я" и о природе самооценки. Таким образом, наши колоды очищены для борьбы с тем чистым принципом личной идентичности, который встречался нам на протяжении всего нашего предварительного изложения, но которого мы всегда избегали и рассматривали как трудность, которую нужно отложить на потом. Со времен Юма она справедливо считается самой сложной загадкой, с которой приходится иметь дело психологии; и какой бы точки зрения ни придерживался человек, ему приходится отстаивать свою позицию вопреки серьезным препятствиям. Если вместе со спиритуалистами отстаивать идею субстанциальной души или трансцендентального принципа единства, то нельзя дать никакого положительного ответа на вопрос, что это может быть. А если вместе с юмианцами отрицать такой принцип и говорить, что поток мимолетных мыслей - это все, то это противоречит всему здравому смыслу человечества, неотъемлемой частью которого является вера в отдельный принцип самости. Какое бы решение ни было принято на предстоящих страницах, мы можем заранее решить, что оно не удовлетворит большинство тех, кому оно адресовано. Лучшим способом решения этого вопроса будет сначала...

Чувство личной идентичности.

В предыдущей главе было как можно более радикально заявлено, что мысли, о существовании которых мы знаем, не разлетаются в разные стороны, а кажутся принадлежащими какому-то одному мыслителю, а не другому. Каждая мысль из множества других мыслей, о которых она может думать, способна отличить те, которые принадлежат ее собственному "Я", от тех, которые не принадлежат. Первые обладают теплотой и близостью, которых совершенно лишены вторые, будучи просто задуманными, холодными и чужими, а не выглядящими как кровные родственники, передающие нам привет из прошлого.

Теперь это сознание личной одинаковости можно трактовать либо как субъективное явление, либо как объективное избавление, как чувство или как истину. Мы можем объяснить, как одна часть мысли может прийти к тому, чтобы судить о других частях, принадлежащих к тому же Эго, что и она сама; или мы можем критиковать ее суждение и решать, насколько оно соответствует природе вещей.

Как просто субъективное явление суждение не представляет собой никакой трудности или загадки, свойственной ему самому. Оно принадлежит к большому классу суждений об одинаковости; и нет ничего более примечательного в том, чтобы вынести суждение об одинаковости в первом лице, чем во втором или третьем. Интеллектуальные операции кажутся в сущности одинаковыми, говорю ли я "я тот же" или говорю "ручка та же, что и вчера". Считать так так же легко, как и считать наоборот и говорить "ни я, ни ручка не те же самые".

Такое объединение вещей в объект единого суждения, конечно, необходимо для любого мышления. Вещи соединяются в мысли, в каком бы отношении они ни находились к ней. Мыслящий их *мыслит* их вместе, даже если в результате судит о том, что они не принадлежат друг другу. Этот вид *субъективного синтеза*, существенный для знания как такового (когда бы оно ни имело сложный объект), не следует путать с *объективным синтезом* или объединением вместо различия или разъединения, известного среди вещей.^[272] Субъективный синтез тезисно связан с самим существованием мысли. Даже

действительно разобщенный мир может быть *признан* таковым только благодаря тому, что его части временно объединяются в объекте некоторого импульса сознания.[\[273\]](#)

Чувство личной идентичности не есть, таким образом, эта простая синтетическая форма, необходимая для всякой мысли. Это чувство одинаковости, воспринимаемое мыслью и предсказуемое вещам, *о которых думают*. Эти вещи - настоящее "я" и вчерашнее "я". Мысль не только мыслит их обоих, но и считает, что они идентичны. Психолог, наблюдая за этим и играя роль критика, может доказать, что мысль ошибается, и показать, что реальной идентичности не было, - возможно, не было вчерашнего дня, или, во всяком случае, не было вчерашнего "я"; или, если оно было, предсказанное сходство могло не существовать, или было предсказано на недостаточных основаниях. В любом случае личностная идентичность не существовала бы как *факт*; но она все равно существовала бы как *чувство*; сознание ее мыслью было бы налицо, и психолог все равно должен был бы проанализировать это и показать, где кроется ее иллюзорность. Давайте теперь станем психологом и посмотрим, прав или не прав человек, когда он говорит: *"Я тот же самый, что и вчера"*.

Мы можем сразу же назвать это правильным и разумным, поскольку оно предполагает прошлое время с содержащимися в нем прошлыми мыслями или "я" - эти данные мы предполагали в самом начале работы над книгой. Она также правильна и понятна, если она думает о настоящем "я" - том настоящем "я", которое мы только что изучили в его различных формах. Единственный вопрос для нас заключается в том, что может иметь в виду сознание, когда оно называет настоящее "я" тем же самым, *что и* одно из прошлых "я", которое оно имеет в виду.

Мы уже говорили о теплоте и близости. Это подводит нас к искомому ответу. Ибо, что бы ни думала критикуемая нами мысль о своем настоящем "я", это "я" приходит к ее знакомству, или фактически ощущается, с теплотой и близостью. Конечно, это относится и к *телесной* части; мы постоянно ощущаем всю кубическую массу нашего тела, она дает нам непрерывное чувство личного существования. В равной степени мы ощущаем внутреннее "ядро духовного Я" либо в виде слабых физиологических изменений, либо (принимая универсальное психологическое убеждение) в виде чистой активности нашей мысли как таковой. Наши более отдаленные духовные, материальные и социальные "я", в той мере, в какой они осознаются, также приходят с сиянием и теплом; ибо мысль о них непременно вызывает некоторую степень органических эмоций в виде учащенного сердцебиения, затрудненного дыхания или какого-то другого изменения, пусть даже незначительного, в общем телесном тоне. Характер "теплоты", таким образом, в настоящем "я" сводится к одной из двух вещей: к ощущению самой мысли, как мышления, или к ощущению фактического существования тела в данный момент, или, наконец, к тому и другому. Мы не можем осознать свое настоящее "я", не ощущая одновременно одну или другую из этих двух вещей. Любой другой факт, который влечет за собой эти две вещи в сознании, будет восприниматься с теплотой и близостью, подобными тем, которые связывают нас с настоящим "я".

Любое *далекое* "я", отвечающее этому условию, будет восприниматься с такой теплотой и близостью. Но какие же далекие "я" выполняют это условие, когда они представлены?

Очевидно, те, и только те, которые выполняли его, когда были живы. Их мы будем представлять с животным теплом на них, к ним, возможно, прилипнет аромат, эхо мышления, взятого в акте. И, как естественное следствие, мы ассимилируем их друг с другом и с тем

теплым и близким "я", которое мы сейчас чувствуем внутри себя, когда думаем, и отделим их как коллекцию от всех "я", не имеющих этого знака, подобно тому как из стада скота, отпущенного на зиму в широкой западной прерии, владелец выбирает и сортирует вместе, когда весной приходит время обхода, всех животных, на которых он находит свое особое клеймо.

Различные члены коллекции, выделенные таким образом, ощущают свою принадлежность друг к другу всякий раз, когда о них думают. Животное тепло и т. д. - это их стадный знак, клеймо, от которого они уже никогда не смогут оторваться. Оно проходит через всех их, как нить через чашу, и превращает их в единое целое, к которому мы относимся как к единице, независимо от того, насколько сильно могут отличаться друг от друга их части. Добавьте к этому еще и то, что далекие "я" представляются нашей мысли *непрерывными* в течение многих часов, а самые последние из них - непрерывными с "я" настоящего момента, медленно растворяясь в нем; и мы получим еще более прочные узы единства. Как мы думаем, что видим идентичную телесную вещь, когда, несмотря на изменения структуры, она постоянно существует перед нашими глазами, или когда, как бы ни прерывалось ее присутствие, ее качество возвращается неизменным; так и здесь мы думаем, что переживаем идентичное *Я*, когда оно предстает перед нами аналогичным образом. Непрерывность заставляет нас объединить то, что несходство могло бы в противном случае разделить; сходство заставляет нас объединить то, что прерывность могла бы разделить. И вот, наконец, Петр, проснувшись в одной постели с Павлом и вспомнив, о чем они оба думали перед сном, вновь идентифицирует и присваивает "теплые" идеи себе и никогда не поддается искушению спутать их с теми холодными и бледными, которые он приписывает Павлу. Точно так же он может спутать тело Павла, которое он только видит, со своим собственным телом, которое он не только видит, но и чувствует. Каждый из нас, проснувшись, говорит: "А вот и прежний я", точно так же, как он говорит: "А вот и прежняя кровать, прежняя комната, прежний мир".

Ощущение собственной идентичности, таким образом, точно такое же, как и любое другое наше восприятие одинаковости явлений. Это вывод, основанный либо на сходстве в каком-то фундаментальном отношении, либо на непрерывности сравниваемых явлений.

И его не следует принимать за нечто большее, чем эти основания, или рассматривать как некое метафизическое или абсолютное Единство, в котором все различия преодолеваются. Сравнимые прошлое и настоящее "я" одинаковы ровно настолько, насколько они одинаковы, и не более того. Единое ощущение "тепла", телесного существования (или столь же единое ощущение чистой психической энергии?) пронизывает их всех; и именно это придает им *родовое* единство и делает их одинаковыми в своем *роде*. Но это родовое единство сосуществует с родовыми различиями, столь же реальными, как и единство. И если с одной точки зрения они - одно "я", то с других они так же истинно не одно, а много "я". Аналогично и с атрибутом непрерывности; он придает самости свой собственный вид единства - просто связанность, или неразрывность, совершенно определенную феноменальную вещь, - но не дает ни йоты, ни крупницы большего. И эта нерасчлененность в потоке "я", как и нерасчлененность в выставке "растворяющихся взглядов", ни в коем случае не подразумевает дальнейшего единства и не противоречит любой множественности в других отношениях.

И, соответственно, мы видим, что там, где сходство и преемственность больше не ощущаются, исчезает и чувство личной идентичности. Мы слышим от родителей различные анекдоты о наших младенческих годах, но не присваиваем их себе, как свои собственные

воспоминания. Нарушения приличий не вызывают у нас румянца, яркие высказывания - самодовольства. Тот ребенок - чужое существо, с которым наше нынешнее "я" отождествляется по чувствам не больше, чем с каким-нибудь чужим, ныне живущим ребенком. Почему? Отчасти потому, что огромные временные промежутки разрывают все эти ранние годы - мы не можем подняться к ним путем непрерывных воспоминаний; а отчасти потому, что вместе с рассказами не приходит никакого представления о том, что *чувствовал* ребенок. Мы знаем, что он говорил и делал; но никакие ощущения его маленького тела, его эмоций, его психических стремлений, как они ощущались им самим, не привносят элемент тепла и близости в рассказы, которые мы слышим, и таким образом исчезает главная связь с нашим нынешним "я". То же самое происходит и с некоторыми нашими смутными воспоминаниями. Мы не знаем, принимать ли их или отречься от них как от фантазий, прочитанного или услышанного, но не пережитого. Их животный жар испарился; чувства, сопровождавшие их, настолько отсутствуют в воспоминаниях или настолько отличаются от тех, которыми мы наслаждаемся сейчас, что ни одно суждение об идентичности не может быть вынесено решительно.

Сходство между частями континуума чувств (особенно телесных), переживаемых вместе с вещами, сильно отличающимися во всех других отношениях, составляет, таким образом, реальную и проверяемую "личную идентичность", которую мы ощущаем. В "потоке" субъективного сознания, который мы описали в прошлой главе, нет другой идентичности, кроме этой. Его части различны, но при всех различиях они связаны между собой этими двумя способами; и если один из способов связи исчезает, то исчезает и чувство единства. Если человек, проснувшись в один прекрасный день, не может вспомнить ничего из своего прошлого опыта, так что ему приходится заново изучать свою биографию, или если он вспоминает о ней лишь холодно-абстрактно, как о вещах, которые, как он уверен, когда-то происходили; или если, без этой потери памяти, его телесные и духовные привычки меняются в течение ночи, каждый орган дает другой тон, а акт мышления осознает себя по-другому; он *чувствует*, и он *говорит*, что он изменившийся человек. Он отрекается от своего прежнего "я", дает себе новое имя, отождествляет свою нынешнюю жизнь ни с чем из прежнего времени. Такие случаи нередки в психической патологии; но, поскольку нам еще предстоит рассуждать, лучше не давать конкретного отчета о них до конца этой главы.

Это описание личностной идентичности будет признано подготовленным читателем как обычная доктрина, исповедуемая эмпирической школой. Ассоцианисты в Англии и Франции, гербартианцы в Германии - все они описывают Я как совокупность, каждая часть которой, с точки зрения ее *бытия*, является отдельным фактом. Пока все хорошо, так что многое верно, независимо от того, что еще может быть истинным; и к нетленной славе Юма, Гербарта и их преемников относится то, что они вытащили из облаков так много смысла личной идентичности и сделали Я эмпирической и проверяемой вещью.

Но, оставив этот вопрос здесь и сказав, что эта сумма преходящих вещей есть все, эти авторы пренебрегли некоторыми более тонкими аспектами единства сознания, к которым мы должны обратиться далее.

В этом нам поможет наша недавняя аналогия со стадом крупного рогатого скота. Вспомним, что животные были собраны в одно стадо, потому что их хозяин нашел на каждом из них свое клеймо. Хозяин" символизирует здесь тот "участок" сознания, или импульс мысли, который

мы все это время представляли как средство суждения об идентичности; а "клеймо" символизирует символы теплоты и непрерывности, на основании которых выносятся суждения. Существует *самобренд*, так же как и стадный бренд. Каждый бренд, пока что, является знаком, или причиной нашего знания, что определенные вещи принадлежат друг другу. Но если клеймо - это *ratio cognoscendi* принадлежности, то принадлежность, в случае со стадом, в свою очередь является *ratio existendi* клейма. Ни один зверь не был бы так заклеен, если бы он не принадлежал владельцу стада. Они принадлежат ему не потому, что на них есть клеймо; они принадлежат ему потому, что они его. Так что кажется, будто наше описание принадлежности различных "я" друг другу как принадлежности, которая просто *представлена*, в более позднем импульсе мысли выбило дно из колеи и упустило наиболее характерную из всех черт, обнаруженных в стаде, - черту, которую здравый смысл находит и в феномене личной идентичности и за упущение которой он будет требовать от нас строгого отчета. Ведь здравый смысл настаивает на том, что единство всех "я" - это не просто видимость сходства или преимущества, установленная постфактум. Она уверена, что оно подразумевает реальную принадлежность к реальному Владельцу, к некоей чистой духовной сущности. Отношение к этой сущности - вот что заставляет составляющие "я" держаться вместе, как это происходит в процессе мышления. Отдельные звери не держатся вместе, несмотря на то что носят одно и то же клеймо. Каждый из них бродит с теми случайными товарищами, которых находит. Единство стада лишь потенциально, его центр идеален, как "центр тяжести" в физике, пока не придет пастух или хозяин. Он создает реальный центр слияния, к которому зверей подгоняют и который их удерживает. Звери держатся вместе, прилипая к нему по отдельности. Точно так же, настаивает здравый смысл, в случае с "я" должен быть реальный собственник, иначе их фактическое объединение в "личное сознание" никогда бы не произошло. Для обычного эмпирицистского объяснения личного сознания это грозный упрек, потому что все отдельные мысли и чувства, сменявшие друг друга "до сих пор", представляются обычным ассоцианизмом как неким непостижимым образом "интегрирующиеся" или склеивающиеся вместе по собственному желанию, и таким образом сливающиеся в поток. Все непостижимости, которые, как мы видели в [главе VI](#), присущи идее слияния вещей без *носителя*, применимы и к эмпирическому описанию личной идентичности.

Но в нашем собственном изложении носитель полностью назначен, пастух присутствует, в форме чего-то, не относящегося к собранным вещам, но превосходящего их всех, а именно, реальной, присутствующей на виду, помнящей, "судящей мысли" или идентифицирующего "участка" потока. Это то, что собирает, "владеет" некоторыми из прошлых фактов, которые оно исследует, и отрекается от остальных, - и таким образом создает единство, которое актуализируется и закрепляется, а не просто плавает в голубом воздухе возможности. Реальность таких импульсов мысли с их функцией познания, как мы помним, мы не пытались вывести или объяснить, а просто предположили их как конечный вид факта, который психолог должен признать существующим.

Но это предположение, хотя и дает многое, все же не дает всего того, что требует здравый смысл. Единство, в которое Мысль - как я буду называть с большой буквы Т нынешнее психическое состояние - связывает отдельные прошлые факты друг с другом и с самим собой, не существует до тех пор, пока не появится Мысль. Это подобно тому, как если бы дикий скот был привязан лассом новоявленным поселенцем, а затем впервые стал его владельцем. Но для здравого смысла суть дела в том, что прошлые мысли никогда не были диким скотом, они всегда были собственностью. Мысль не захватывает их, но как только она появляется на свет, то обнаруживает, что они уже принадлежат ей. Как это возможно, если у Мысли нет *существенного* тождества с прежним владельцем, - не просто преимущество

или сходство, как в нашем случае, а *реальное единство*? Здравый смысл фактически заставляет нас признать то, что мы можем на данный момент назвать Арх-Эго, доминирующее над всем потоком мыслей и всеми "я", которые могут быть представлены в нем, как вечно самоподобный и неизменный принцип, подразумеваемый в их объединении. Душа" метафизики и "трансцендентальное Я" кантовской философии, как мы вскоре увидим, являются лишь попытками удовлетворить это настоятельное требование здравого смысла. Но, по крайней мере, на какое-то время мы можем и без подобных гипотез выразить ту видимость никогда не исчезающего владения, на которую претендует здравый смысл.

Ибо как бы это было, если бы Мысль, нынешняя судящая Мысль, вместо того чтобы быть каким-либо образом субстанционально или трансцендентно идентичной бывшему владельцу прошлого "я", просто унаследовала его "титул" и, таким образом, выступала бы теперь в качестве его законного представителя? Тогда, если бы его рождение точно совпало со смертью другого владельца, он *обнаружил* бы, что прошлое "я" уже принадлежит ему, как только он его обнаружил, и прошлое "я", таким образом, никогда не было бы диким, но всегда принадлежало бы ему на правах собственности, которые никогда не теряются. Мы можем представить себе длинную череду пастухов, которые быстро вступают во владение одним и тем же скотом в результате передачи первоначального титула по завещанию. Не может ли "титул" коллективного "я" передаваться от одной Мысли к другой аналогичным образом?

То, что подобная передача действительно происходит, является очевидным фактом сознания. Каждый импульс когнитивного сознания, каждая Мысль угасает и заменяется другой. Другая, среди того, что она знает, знает своего предшественника, и, обнаружив его "теплым", как мы уже описывали, приветствует его, говоря "Ты мой, и ты часть одного и того же Я со мной". Каждая последующая Мысль, зная и включая в себя таким образом предшествующие Мысли, является окончательным вместилищем - а присвоив их, становится окончательным владельцем всего, что они содержат и чем владеют. Таким образом, каждая Мысль рождается собственником и умирает собственником, передавая все, что она осознала как свое Я, своему последующему владельцу. Как говорит Кант, это похоже на то, как если бы упругие шарики обладали не только движением, но и знанием о нем, а первый шарик передавал бы и свое движение, и свое сознание второму, который вбирал бы в *свое* сознание и передавал бы его третьему, пока последний шарик не вместили бы все то, что вместили другие шарики, и не осознал бы это как свое собственное. Именно эта уловка зарождающейся мысли - немедленно подхватывать истекающую мысль и "перенимать" ее - лежит в основе присвоения большинства отдаленных составляющих "я". Кто владеет последним "я", владеет и предшествующим ему "я", ибо то, что владеет обладателем, владеет и обладаемым.

Невозможно обнаружить какие-либо *поддающиеся проверке* черты в личностной идентичности, которых не содержит этот набросок, невозможно представить, как какой-либо трансцендентный не-феноменальный род Арх-Эго, будь он там, мог бы формировать вещи к какому-либо другому результату или быть известным во времени по какому-либо другому плоду, чем просто это производство потока сознания, каждый "участок" которого должен знать, и зная, обнять себя и перенять, всех тех, кто шел раньше, - таким образом, стоя как *представитель* всего прошлого потока; и который должен аналогичным образом перенять объекты, уже принятые любой частью этого духовного потока. Такая позиция представителя и такое усыновление являются совершенно ясными феноменальными отношениями. Мысль, которая, зная другую мысль и объект этой другой мысли, присваивает себе другую мысль и

объект, который присвоила другая мысль, все еще остается совершенно отличным от этой другой мысли феноменом; она может едва ли походить на нее; она может быть далека от нее в пространстве и времени.

Единственный момент, который остается неясным, - это сам *акт присвоения*. Уже при перечислении составляющих "я" и их соперничества мне пришлось употребить слово "присвоение". И быстро соображающий читатель, вероятно, заметил тогда, услышав, как одну составляющую отбрасывают и отрекаются от нее, а другую удерживают и поддерживают, что эта фраза не имеет смысла, если только составляющие не являются объектами в руках чего-то другого. Вещь не может присвоить себя; она сама по себе; и тем более она не может отречься от себя. Должен быть агент, присваивающий и отрекающийся от себя; но этого агента мы уже назвали. Это Мысль, которой известны различные "составляющие". Эта Мысль является средством выбора, а также познания; и среди тех выборов, которые она делает, есть присвоение или отречение от своих "собственных". Но Мысль никогда не является объектом в своих руках, она никогда не присваивает и не отрекается от себя. Она присваивает себе, она является фактическим фокусом накопления, крюком, с которого свисает цепь прошлых "я", крепко посаженная в Настоящее, которое одно только и является настоящим, и таким образом удерживающая цепь от того, чтобы быть чисто идеальной вещью. Вскоре крюк сам упадет в прошлое вместе со всем, что он несет, а затем будет рассматриваться как объект и присвоен новой Мыслью в новом настоящем, которая в свою очередь будет служить живым крюком. Таким образом, настоящий момент сознания, как говорит мистер Ходжсон, является самым темным во всей серии. Оно может ощущать свое непосредственное существование - мы все время допускали такую возможность, как бы ни было трудно установить этот факт с помощью прямой интроспекции, - но о нем ничего нельзя узнать, пока оно не умрет и не исчезнет. Поэтому его ассигнования относятся не столько к *нему самому*, сколько к наиболее интимно ощущаемой *части его нынешнего объекта* - *телу и центральным настройкам*, сопровождающим акт мышления, в голове. *Они являются реальным ядром нашей личной идентичности*, и именно их фактическое существование, осознаваемое как твердый настоящий факт, заставляет нас сказать: "Так же точно, *как я существую*, эти прошлые факты были частью меня". Они являются ядром, к которому ассимилируются, присоединяются и вяжутся *представленные* части Я; и даже если бы Мысль полностью не осознавала себя в акте мышления, эти "теплые" части ее настоящего объекта были бы твердой основой, на которой покоилось бы сознание личной идентичности.^[274] Такое сознание, как психологический факт, может быть полностью описано без предположения о каком-либо другом агенте, кроме последовательности исчезающих мыслей, наделенных функциями присвоения и отвержения, из которых некоторые могут знать и присваивать или отвергать объекты, уже известные, присвоенные или отвергнутые остальными.



Рис. 34.

Чтобы проиллюстрировать это схемой, пусть А, В и С обозначают три последовательные мысли, каждая из которых имеет свой объект внутри себя. Если объектом В будет А, а объектом С - В; тогда А, В и С будут означать три импульса в сознании личной идентичности. Каждый импульс *будет* чем-то отличаться от других; но В будет знать и принимать А, а С будет знать и принимать А и В. Три последовательных состояния одного и того же мозга, на

котором каждый опыт мимоходом оставляет свой след, вполне могут породить мысли, отличающиеся друг от друга именно таким образом.

Проходящая мимо Мысль, таким образом, кажется Мыслителем; и хотя за этим *может* стоять другой, не феноменальный Мыслитель, пока что он, похоже, не нужен нам для выражения фактов. Но мы не можем окончательно составить о нем мнение, пока не выслушаем доводы, которые исторически использовались для доказательства его реальности.

ЧИСТАЯ САМОСТЬ ИЛИ ВНУТРЕННИЙ ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ЛИЧНОСТИ.

Далее мы перейдем к краткому обзору теорий Эго. Их три, и они следующие:

- 1) Спиритуалистическая теория;
- 2) Ассоциативная теория;
- 3) Трансценденталистская теория.

Теория души.

В *главе VI* мы сами пришли к спиритуалистической теории "души" как к средству спасения от неинтеллигентности "интеграции" разума с самим собой и от физиологической неправдоподобности материальной монады с привязанной к ней мыслью в мозгу. Но в конце главы мы сказали, что должны рассмотреть "Душу" критически в более позднем месте, чтобы увидеть, есть ли у нее другие преимущества как теории перед простым феноменальным представлением о потоке мысли, сопровождающем поток мозговой активности, по необъяснимому пока закону.

Теория души - это теория народной философии и схоластики, которая является лишь систематизированной народной философией. Она заявляет, что принцип индивидуальности внутри нас должен быть *субстанциональным*, поскольку психические явления - это деятельность, а деятельность не может быть без конкретного агента. Этим субстанциальным агентом не может быть мозг, он должен быть чем-то *нематериальным*; ведь его деятельность, мысль, одновременно нематериальна и познает нематериальные вещи, а также материальные вещи в целом и умопостигаемые, а также конкретные и ощущаемые способы, - все эти способности несовместимы с природой материи, из которой состоит мозг. Кроме того, мысль проста, в то время как деятельность мозга состоит из элементарных действий каждой из его частей. Кроме того, мысль спонтанна или свободна, в то время как вся материальная деятельность детерминирована *ab extra*; а воля может настроить себя против всех телесных благ и appetитов, что было бы невозможно, если бы она была телесной функцией. По этим объективным причинам принцип психической жизни должен быть как нематериальным и простым, так и субстанциональным, должен быть тем, что называется *Душой*. То же следствие вытекает из субъективных причин. Наше сознание личной идентичности заверяет нас в нашей сущностной простоте: владелец различных составляющих "я", как мы их видели, гипотетическое Arch-Ego, которое мы условно считали возможным, является реальной сущностью, существование которой самосознание дает нам знать напрямую. Ни один материальный агент не мог бы, таким образом, обернуться и постичь *самого себя* - *материальная* деятельность всегда постигает нечто иное, чем агент. А если бы мозг *мог* постичь себя и быть самосознательным, он бы осознавал себя *как* мозг, а не как нечто совершенно иное. Душа, таким образом, существует как простая духовная

субстанция, в которой присутствуют различные психические способности, операции и привязанности.

Если мы спросим, что такое субстанция, то ответ будет один: это самосуществующее существо, или существо, которое не нуждается ни в каком другом предмете, в котором оно могло бы существовать. В основе ее единственного позитивного определения лежит бытие, и это то, значение чего мы все осознаем, хотя нам трудно это объяснить. Более того, Душа - *это индивидуальное* существо, и если мы спросим, что это такое, нам скажут, что нужно всмотреться в свое Я, и мы узнаем об этом путем прямой интуиции лучше, чем через любой абстрактный ответ. Наше непосредственное восприятие собственной внутренней сущности многие считают изначальным прототипом, на основе которого формируется наше представление о простой активной субстанции в целом. *Следствием* простоты и субстанциональности души являются ее нетленность и естественное бессмертие - *ничто*, кроме прямого Божьего *промысла*, не может уничтожить ее, - а также ее *ответственность* в любое время за все, что она когда-либо совершила.

Этот субстанциалистский взгляд на душу был, по сути, взглядом Платона и Аристотеля. Полностью формальное развитие оно получило в Средние века. В него верили Гоббс, Декарт, Локк, Лейбниц, Вольф, Беркли, а теперь его отстаивает вся современная дуалистическая, спиритуалистическая или школа здравого смысла. Кант придерживался ее, хотя и отрицал ее плодотворность в качестве предпосылки для вывода проверяемых здесь и далее следствий. Преемники Канта, абсолютные идеалисты, утверждают, что отказались от нее, - как это может быть, мы скоро узнаем. Давайте сами решим, что о нем думать.

Во всяком случае, она не нужна для выражения фактических субъективных явлений сознания в том виде, в каком они проявляются. Мы сформулировали их все без его помощи, предположив поток мыслей, каждая из которых существенно отличается от остальных, но познает остальные и "присваивает" содержание друг друга. По крайней мере, если мне еще не удалось сделать это правдоподобным для читателя, я безнадежен убедить его чем-либо, что я мог бы добавить сейчас. Единство, идентичность, индивидуальность и нематериальность, проявляющиеся в психической жизни, объясняются, таким образом, исключительно как феноменальные и временные факты, и нет необходимости ссылаться на какой-либо более простой или существенный агент, чем нынешняя Мысль или "участок" потока. Мы видели, что она едина и уникальна в смысле отсутствия *отделяемых* частей (выше, [с. 239](#) и далее) - возможно, это единственный вид простоты, который можно отнести к душе. Настоящая Мысль также имеет бытие, - по крайней мере, все верующие в Душу верят в это, - и если нет другого Существа, в котором она "заключена", она сама должна быть "субстанцией". Если бы *такая* простота и субстанциальность были всем, что относится к Душе, то могло бы показаться, что мы все время говорили о душе, сами того не зная, когда рассматривали нынешнюю Мысль как агента, владельца и т. п. Но Мысль - это тленная, а не бессмертная или нетленная вещь. Ее преемники могут постоянно наследовать ее, уподобляться ей и присваивать ее, но они не *являются* ею, в то время как Душа-Субстанция, как предполагается, является фиксированной неизменной вещью. Под Душой всегда подразумевается нечто, *стоящее за* нынешней Мыслью, другой вид субстанции, существующий на не-феноменальном плане.

Когда мы ввели Душу в конце [главы VI](#), как сущность, на которую различные мозговые процессы должны были воздействовать одновременно, и которая отвечала на их совместное влияние единичными импульсами своей мысли, она должна была избежать

интегрированного разума, с одной стороны, и неправдоподобной церебральной монады, с другой. Но когда (как сейчас, после всего, что мы пережили с того момента) мы берем две формулировки, во-первых, мозга, процессам которого *просто* соответствуют импульсы мысли, и, во-вторых, мозга, процессам которого соответствуют импульсы мысли *в Душе*, и сравниваем их вместе, мы видим, что в действительности вторая формулировка - это лишь более околный, чем первая, способ выразить тот же самый очевидный факт. Этот факт заключается в том, что *когда мозг действует, возникает мысль*. Спиритуалистическая формулировка гласит, что мозговые процессы выбивают мысль, так сказать, из Души, которая стоит там, чтобы принять их воздействие. Более простая формулировка гласит, что мысль просто *приходит*. Но какое позитивное значение имеет Душа, если ее внимательно изучить, кроме как *основание для возможности* мысли? А что такое "стук", как не *определение возможности в актуальность*? И что это такое, в конце концов, как не придание некой конкретной формы своей вере в то, что приход мысли, когда происходят мозговые процессы, имеет *некое* основание в природе вещей? Если мировая душа понимается только как выражение этого утверждения, то это хорошее слово, которое можно использовать. Но если оно призвано сделать больше, удовлетворить это утверждение, - например, рационально связать приходящую мысль с происходящими процессами и разумно посредничать между двумя их разрозненными природами, - то это иллюзорный термин. В действительности, со словом "душа" дело обстоит так же, как и со словом "субстанция" в целом. Сказать, что явления заключены в субстанции, значит, по сути, выразить свой протест против представления, что голое существование явлений - это полная истина. Явление само по себе не было бы явлением, настаиваем мы, если бы не было чего-то *большего*, чем явление. Этому большему мы даем условное название "субстанция". Таким образом, в данном случае мы, безусловно, должны признать, что существует нечто большее, чем просто факт сосуществования мимолетной мысли с мимолетным состоянием мозга. Но мы не отвечаем на вопрос "Что это за большее?", когда говорим, что это "душа", на которую влияет состояние мозга. Такое "больше" ничего не *объясняет*, а когда мы однажды пытаемся дать метафизические объяснения, глупо не зайти так далеко, как только можно. Со своей стороны я признаюсь, что, как только я становлюсь метафизиком и пытаюсь определить большее, я нахожу понятие некой *anima mundi*, мыслящей во всех нас, более многообещающей гипотезой, несмотря на все ее трудности, чем гипотеза о множестве абсолютно индивидуальных душ. Между тем, как *психологам*, нам вовсе не обязательно быть метафизиками. Явлений достаточно, сама проходящая Мысль - единственный *проверяемый* мыслитель, а ее эмпирическая связь с мозговым процессом - конечный известный закон.

К другим аргументам, доказывающим необходимость души, мы также можем не прислушиваться. Аргумент о свободе воли может убедить только тех, кто верит в свободу воли; и даже им придется признать, что спонтанность так же возможна, если не сказать больше, во временном духовном агенте, таком как наша "Мысль", как и в постоянном, таком как предполагаемая Душа. То же самое справедливо и в отношении аргумента о видах познаваемых вещей. Даже если мозг не может познать универсальное, нематериальное или свое "Я", все равно "Мысль", на которую мы опираемся в нашем изложении, не *является* мозгом, как бы тесно с ним ни была связана; и в конце концов, если мозг вообще может познавать, не очень понятно, почему он не может познавать как один вид вещей, так и другой. Большая трудность заключается в том, чтобы понять, как вещь может познать *что-либо*. Эта трудность ничуть не устраняется, если дать познающей вещи имя Душа. Спиритуалисты не выводят ни одного из свойств психической жизни из других известных свойств души. Они просто находят в ментальной жизни готовые персонажи, которые они объединяют в Душу, говоря: "Смотрите, из какого источника они вытекают!" Чисто словесный характер такого "объяснения" очевиден. Душа, на которую ссылаются, далеко не

делает явления более понятными, но сама может стать понятной, только заимствуя их форму, - она должна быть представлена, если вообще представлена, как трансцендентный поток сознания, дублирующий тот, который мы знаем.

В целом "Душа" - это порождение той разновидности философствования, великой максимой которой, по словам доктора Ходжсона, является: "То, в чем вы *совершенно* не разбираетесь, утверждайте как объяснение всего остального".

Локк и Кант, по-прежнему веря в душу, начали работу по подрыву представлений о том, что мы что-то о ней знаем. Большинство современных писателей смягченной спиритуалистической или дуалистической философии - шотландской школы, как ее часто называют у нас, - готовы заявить об этом невежестве и обратиться исключительно к проверяемым явлениям самосознания, как мы их изложили. Доктор Вейланд, например, начинает свои "Элементы интеллектуальной философии" с фразы "О сущности разума мы ничего не знаем" и продолжает: "Все, что мы можем утверждать о нем, - это то, что он есть *нечто*, что воспринимает, отражает, вспоминает, воображает и желает; но что это за нечто, что проявляет эти энергии, мы не знаем. Только осознавая действие этих энергий, мы осознаем существование разума. Только в результате применения своих собственных сил разум осознает их существование. Познание своих сил, однако, не дает нам знания о той сущности, к которой они относятся. В этих отношениях наше знание о разуме точно аналогично нашему знанию о материи". Эта аналогия двух наших незнаний - излюбленное замечание шотландской школы. Остается только объединить их в одно невежество - "Непознаваемое", которому любой любитель излишеств в философии может оказывать гостеприимство, если ему так угодно, но которое любой другой может столь же свободно игнорировать и отвергать.

Теория души, таким образом, является полным излишеством в том, что касается учета фактически проверенных фактов сознательного опыта. Пока что никого нельзя заставить подписаться под ней по определенным научным причинам. На этом можно было бы остановиться, и читатель был бы свободен в своем выборе, если бы не другие требования более практического характера.

Первое из них - *бессмертие*, для которого простота и субстанциональность Души, кажется, являются надежной гарантией. Поток мысли, как мы видим из его сути, может в любой момент остановиться; но простая субстанция нетленна и по собственной инерции будет существовать до тех пор, пока Творец не прервет ее прямым чудом. Несомненно, это оплот спиритуалистической веры, как и популярный камень преткновения для всех философий - вопрос: "Какое отношение они имеют к будущей жизни?"

Душа, однако, при внимательном рассмотрении не гарантирует бессмертия в том смысле, который нас *интересует*. Наслаждение атомарной простотой своей субстанции в *sæcula sæculorum* большинству людей не покажется завершением, которого можно благочестиво желать. Чтобы вызвать у нас надежду, субстанция должна породить поток сознания, непрерывный с нынешним потоком, но само *по себе* сохранение субстанции не дает никаких гарантий. Более того, при общем прогрессе наших моральных идей стало казаться нелепым то, как наши предки обосновывали свои надежды на бессмертие простотой своей субстанции. В наши дни требование бессмертия стало по сути телеологическим. Мы считаем себя бессмертными, потому что считаем себя *пригодными* для бессмертия. Субстанция", по нашему мнению, должна погибнуть, если не достойна выжить; а бессущностный "поток"

должен продлить себя, если он достоин, если природа вещей организована рациональным образом, в который мы верим. Субстанция или не субстанция, душа или "поток", то, что Лотце говорит о бессмертии, - это почти все, что может сказать человеческая мудрость:

"У нас нет другого принципа для решения этого вопроса, кроме общего идеалистического убеждения: каждая сотворенная вещь будет существовать, если ее существование соответствует смыслу мира, и до тех пор, пока она ему соответствует; в то время как каждая вещь уйдет, если ее реальность оправдана только в преходящей фазе мирового течения". То, что этот принцип не допускает дальнейшего применения в человеческих руках, вряд ли нужно говорить. *Мы*, конечно, не знаем ни достоинств, которые могут дать одному существу право претендовать на вечность, ни недостатков, которые отсекают других".[275]

Вторая предполагаемая необходимость души-субстанции - это наша судебная ответственность перед Богом. Локк вызвал бурную реакцию, когда заявил, что единство сознания делает человека одним и тем же *человеком*, независимо от того, поддерживается он одной и той же субстанцией или нет, и что Бог в великий день не заставит человека отвечать за то, о чем он ничего не помнит. Считалось скандальным, что наша забывчивость может лишить Бога шанса на определенное возмездие, которое в противном случае приумножило бы его "славу". Это, конечно, хорошее спекулятивное основание для сохранения души - по крайней мере, для тех, кто требует обильного воздаяния. Просто поток сознания с его провалами в памяти не может быть столь же "ответственным", как душа, которая в судный день становится всем тем, чем она когда-либо была. Однако для современных читателей, которые не так жаждут возмездия, как их деда, этот аргумент вряд ли будет столь же убедительным, как когда-то.

Одно из главных назначений души всегда заключалось в том, чтобы объяснить и в то же время гарантировать замкнутую индивидуальность каждого личного сознания. Предполагалось, что мысли одной души должны объединяться в единое "я" и быть вечно изолированными от мыслей всех остальных душ. Но мы уже начали видеть, что, хотя единство и является правилом для сознания каждого человека, все же, по крайней мере, у некоторых индивидуумов мысли могут отделяться от других и образовывать отдельные "я". Что касается изоляции, то в свете феноменов переноса мыслей, месмерического влияния и контроля духов, которые сегодня утверждаются с большим основанием, чем когда-либо прежде, было бы опрометчиво быть слишком уверенным и в этом вопросе. Окончательно закрытая природа нашего личного сознания, вероятно, является среднестатистическим результатом многих условий, но не элементарной силой или фактом; так что, если кто-то хочет сохранить Душу, чем меньше он будет черпать аргументов из *этой* области, тем лучше. Пока наше "я" в целом делает себя хорошим и практически сохраняет себя как замкнутый индивид, почему, как говорит Лотце, этого не достаточно? И почему *быть индивидуумом* в каком-то недоступном метафизическом смысле гораздо более гордое достижение?[276]

Итак, мой окончательный вывод о субстанциальной Душе состоит в том, что она ничего не объясняет и ничего не гарантирует. Ее последовательные мысли - единственное, что можно понять и проверить, и определенно установить их корреляцию с мозговыми процессами - это максимум того, что психология может сделать эмпирически. С метафизической точки зрения, правда, можно утверждать, что корреляции имеют рациональное основание; и если бы под словом "душа" можно было понимать лишь некое туманное проблематичное основание, это не вызвало бы возражений. Но беда в том, что оно утверждает, что дает

основание в позитивных терминах весьма сомнительного рода. Поэтому я чувствую себя совершенно свободным, чтобы исключить слово "душа" из остальной части этой книги. Если я и буду использовать его, то только в самом туманном и популярном смысле. Читатель, который находит хоть какое-то утешение в идее Души, однако, совершенно свободен продолжать верить в нее; ведь наши рассуждения не установили несуществование Души; они лишь доказали ее ненужность для научных целей.

Следующая теория чистого Я, к которой мы переходим, - это

Теория ассоцианизма.

Локк подготовил почву для этого, выдвинув гипотезу о том, что одна и та же субстанция может иметь два последовательных сознания, или что одно и то же сознание поддерживается более чем одной субстанцией. Он дал своим читателям понять, что *важным* единством "Я" является его проверяемое и ощущаемое единство, а метафизическое или абсолютное единство было бы незначительным, если бы в нем могло присутствовать *сознание* разнообразия.

Юм показал, насколько велико на самом деле сознание разнообразия. В знаменитой главе "Личная идентичность" своего "Трактата о человеческой природе" он пишет следующее:

"Есть некоторые философы, которые полагают, что мы каждый момент тесно сознаем то, что мы называем нашим Я; что мы чувствуем его существование и его непрерывность в существовании, и уверены, вне всяких доказательств демонстрации, как в его совершенной идентичности, так и в его простоте..... К несчастью, все эти позитивные утверждения противоречат тому самому опыту, который приводится в их поддержку, и у нас нет никакого представления о Я, в том виде, в каком оно объясняется здесь..... Должно быть какое-то одно впечатление, которое порождает каждую реальную идею.... Если какое-либо впечатление порождает идею Я, то это впечатление должно оставаться неизменным на протяжении всей нашей жизни, поскольку предполагается, что Я существует именно таким образом. Но не существует впечатлений постоянных и неизменных. Боль и удовольствие, горе и радость, страсти и ощущения сменяют друг друга и никогда не существуют в одно и то же время..... Со своей стороны, когда я наиболее глубоко проникаю в то, что я называю собой, я всегда натываюсь на то или иное восприятие тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, боли или удовольствия. Я никогда не могу поймать себя в любой момент без восприятия и никогда не могу наблюдать ничего, кроме восприятия. Когда мои восприятия исчезают на какое-то время, как, например, во время крепкого сна, я остаюсь неосязаемым и могу сказать, что меня не существует. А если бы все мои восприятия были удалены смертью, и я не мог бы ни думать, ни чувствовать, ни видеть, ни любить, ни ненавидеть после растворения моего тела, я был бы полностью уничтожен, и я не представляю, что еще требуется, чтобы сделать меня совершенным не-существом. Если кто-то после серьезного и непредвзятого размышления решит, что у него иное представление о себе, я должен признаться, что не могу больше с ним рассуждать. Все, что я могу допустить, это то, что он может быть прав так же, как и я, и что в этом отношении мы существенно отличаемся друг от друга. Возможно, он воспринимает нечто простое и постоянное, что он называет собой; хотя я уверен, что во мне нет такого принципа".

"Но, оставив в стороне некоторых метафизиков такого рода, я могу осмелиться утверждать об остальных людях, что они *не что иное, как пучок или собрание различных восприятий*, которые сменяют друг друга с немыслимой быстротой и находятся в вечном потоке и движении. Наши глаза не могут повернуться в своих глазницах, не изменяя наших представлений. Наша мысль еще более изменчива, чем наше зрение; и все другие наши чувства и способности способствуют этим изменениям; и нет ни одной силы души, которая оставалась бы неизменной, возможно, на один момент. Ум - это своего рода театр, где несколько восприятий последовательно делают свое появление; проходят, переходят, скользят и смешиваются в бесконечном разнообразии поз и ситуаций. *В нем нет ни простоты в одно время, ни идентичности в другое*, какой бы естественной склонностью мы ни обладали, чтобы воображать эту простоту и идентичность. Сравнение театра не должно вводить нас в заблуждение. Это только последовательные восприятия, составляющие разум; мы не имеем даже самого отдаленного представления ни о месте, где представлены эти сцены, ни о материале, из которого они состоят".

Но Юм, проделав этот хороший кусок интроспективной работы, продолжает выливать ребенка вместе с ванной и впадать в такую же крайность, как и философы-субстанциалисты. Как они говорят, что "Я" есть не что иное, как единство, единство абстрактное и абсолютное, так и Юм говорит, что оно есть не что иное, как разнообразие, разнообразие абстрактное и абсолютное; тогда как на самом деле оно есть та смесь единства и разнообразия, которую мы сами уже нашли столь легко делимой. Мы нашли среди объектов потока определенные чувства, которые почти не изменились, которые выделялись теплом и яркостью в прошлом так же, как нынешнее чувство сейчас; и мы обнаружили, что нынешнее чувство является центром накопления, к которому, *de proche en proche*, эти другие чувства, по мнению *судящей Мысли*, должны прилепиться. Юм ничего не говорит о *судящей Мысли*; и он отрицает существование этой нити сходства, этого ядра одинаковости, проходящего через все составляющие Я, даже как феноменальной вещи. Для него не существует *tertium quid* между чистым единством и чистой отдельностью. Последовательность идей, "связанных тесными отношениями, дает точному взгляду столь же совершенное представление о разнообразии, как если бы *не было никаких отношений*".

"Все наши отдельные восприятия являются отдельными существованиями, и разум никогда не воспринимает никакой реальной связи между отдельными существованиями. Если бы наши восприятия либо заключались в чем-то простом или индивидуальном, либо *разум воспринимал бы какую-то реальную связь* между ними, то в этом случае не было бы никаких трудностей. Со своей стороны, я должен заявить о привилегии скептика и признаться, что эта трудность слишком тяжела для моего понимания, однако я не претендую на то, чтобы объявить ее непреодолимой. Возможно, другие... откроют какую-нибудь гипотезу, которая примирит эти противоречия".[\[277\]](#)

Юм - такой же метафизик, как и Фома Аквинский. Неудивительно, что он не может обнаружить никакой "гипотезы". Единство частей потока - это такая же "реальная" связь, как их разнообразие - реальное разделение; и связь, и разделение - это способы, которыми прошлые мысли предстают перед нынешней Мыслью; - непохожие друг на друга по дате и определенным качествам - это разделение; одинаковые по другим качествам и непрерывные во времени - это связь. Требуя более "реальной" связи, чем это очевидное и проверяемое

сходство и непрерывность, Юм ищет "мир за зазеркалем" и дает яркий пример того абсолютизма, который является великой болезнью философского мышления.

Цепочка отдельных существований, на которые Юм разбил наш "поток", была принята всеми его преемниками как полный перечень фактов. Была основана ассоциативная философия. Каким-то образом из "идей", каждая из которых была отдельной, не знающей себе равных, но держащейся вместе и вызывающей друг друга по определенным законам, должны были быть объяснены все высшие формы сознания, и среди них - сознание нашей личной идентичности. Задача была не из легких, и основную тяжесть работы в ней составляло то, что мы называли заблуждением психолога (стр. 196 и далее). Две идеи, одна "А", сменившаяся другой "Б", трансформировались в третью идею "*Б после А*". Идея прошлого года, вернувшаяся сейчас, принималась за идею *прошлого года*; две похожие идеи означали *идею сходства*, и тому подобное; осязаемые путаницы, в которых некоторые факты об идеях, возможные только для стороннего их знатока, ставились на место собственных и ограниченных по объему и содержанию идей. Из таких повторений и сходств в ряду разрозненных идей и ощущений каким-то образом должно было возникнуть знание о том, что каждое ощущение повторяется и сходно, и что оно помогает образовать ряд, к единству которого присоединилось имя *Я*. Таким же образом, по существу, Гербарт, [278] в Германии, пытался показать, как конфликт идей может слиться в *манеру представления себя*, для которой *Я* является освященным именем. [279]

Недостаток всех этих попыток заключается в том, что вывод, претендующий на то, чтобы следовать из определенных предпосылок, ни в коем случае не является рационально вовлеченным в эти предпосылки. Чувство любого рода, если оно просто *возвращается*, должно быть ничем иным, как тем, чем оно было вначале. Если при возвращении ему приписывается память о предыдущем существовании и всевозможные другие когнитивные функции, то это уже не то же самое, а совсем другое чувство, и его следует так описать. Мы описали его с наибольшей ясностью. Мы сказали, что чувства никогда не возвращаются. Мы не претендовали на то, чтобы *объяснить* это; мы зафиксировали это как эмпирически установленный закон, аналогичный некоторым законам физиологии мозга; и, пытаясь определить, чем новые чувства отличаются от старых, мы обнаружили, что они *познают* и *присваивают* старые, тогда как старые всегда познавали и присваивали что-то другое. И снова этот рассказ претендовал на то, чтобы быть не более чем полным описанием фактов. Он объяснял их не больше, чем объясняет ассоцианизм. Но последний и предполагает их объяснение, и в одном и том же дыхании фальсифицирует их, и по каждой причине заслуживает осуждения.

Остается только сказать, что у авторов-ассоцианистов, как правило, затаилась нечистая совесть в отношении *Я*; и хотя они достаточно четко говорят о том, что это такое, а именно - совокупность чувств или мыслей, они очень стесняются открыто решать проблему того, как оно приходит к осознанию себя. Ни Бэйн, ни Спенсер, например, не касаются этой проблемы напрямую. Как правило, писатели-ассоцианисты продолжают говорить о "разуме" и о том, что "мы" делаем; и таким образом, тайком протаскивая то, что они должны были бы открыто постулировать в форме настоящего "суждения Мысли", они либо торгуют на недостатке проницательности своего читателя, либо сами не разбираются в этом.

Мистер Д. Г. Томпсон - единственный известный мне писатель-ассоциационист, который прекрасно избежал этой путаницы и открыто *постулирует* то, что ему нужно. "Все состояния сознания, - говорит он, - подразумевают и постулируют субъект Ego, чья субстанция неизвестна и непознаваема, к которому [почему бы не сказать - *посредством* которого?] состояния сознания относятся как атрибуты, но который в процессе отсылки объективируется и сам становится атрибутом субъекта Ego, который лежит еще за пределами, и который всегда ускользает от познания, хотя всегда постулируется для познания." [280] Это как раз и есть наше суждение и воспоминание о настоящем "Мышлении", описанное в менее простых терминах.

После мистера Томпсона М. Тейн и оба Миллса заслуживают похвалы за стремление быть настолько ясными, насколько это возможно. В первом томе своего "Интеллекта" Тейн рассказывает нам, что *такое* Эго, - непрерывная паутина сознательных событий, не более реально отличных друг от друга [281], чем ромбоиды, треугольники и квадраты, начерченные мелом на доске, реально отличные друг от друга, поскольку сама доска - единое целое. Во втором томе он *говорит*, что все эти части обладают общим характером, заложенным в них, - *внутренним* характером [это наш характер "теплоты", иначе называемый]. Этот характер абстрагирован и изолирован ментальной фикцией и является тем, что мы *осознаем* как наше "я": "Это стабильное *внутри* - то, что каждый из нас называет "я" или "я"". Очевидно, М. Тэн забывает сказать нам, что это за "каждый из нас", который внезапно включается, выполняет абстракцию и "называет" свой продукт я или я. Персонаж не абстрагирует себя. Тейн подразумевает под "каждым из нас" только настоящую "судящую мысль" с ее памятью и тенденцией присвоить, но он не называет ее достаточно отчетливо и впадает в фикцию, что вся серия мыслей, вся "доска", является отражающим психологом.

Джеймс Милль, определив память как ряд связанных идей, начиная с идей моего прошлого "я" и заканчивая идеями моего настоящего "я", определяет "я" как ряд идей, из которых память объявляет первые непрерывно связанными с последними. Последовательные ассоциированные идеи 'сливаются, как бы, в единую точку сознания'. [282] Джон Милль, аннотируя этот рассказ, говорит:

"Феномен Я и феномен памяти - это всего лишь две стороны одного и того же факта, или два различных способа рассмотрения одного и того же факта. Мы можем, как психологи, отталкиваться от любого из них и отсылать к другому..... Но вряд ли допустимо делать и то, и другое. По крайней мере, следует сказать, что таким образом мы не объясняем ни того, ни другого. Мы лишь показываем, что эти две вещи по сути своей одинаковы; что мое воспоминание о том, что я поднялся на Скиддоу в определенный день, и мое сознание того, что я тот самый человек, который поднялся на Скиддоу в этот день, - это два способа констатации одного и того же факта: факта, который психология до сих пор не смогла свести к чему-то более элементарному. Анализируя сложные феномены сознания, мы должны прийти к чему-то окончательному; и, похоже, мы достигли двух элементов, которые имеют все *основания* претендовать на это звание. Во-первых, это... различие между фактом и мыслью об этом факте: различие, которое мы способны познать в прошлом, и которое тогда составляет память, и в будущем, когда оно составляет ожидание; но ни в том, ни в другом случае мы не можем дать ему никакого отчета, кроме того, что оно существует..... Во-вторых, в дополнение к этому и исходя из убеждения... что идея, которую я сейчас имею, была получена из предыдущего ощущения... есть еще убеждение, что это ощущение... было моим собственным; что оно произошло с моим "я". Другими словами, я осознаю длинную и непрерывную

череду прошлых ощущений, уходящих в прошлое настолько, насколько позволяет память, и заканчивающихся ощущениями, которые я испытываю в настоящий момент, и все они связаны необъяснимой связью, которая отличает их не только от любой последовательности или комбинации в простой мысли, но и от параллельных последовательностей ощущений, которые, как я верю, на основании удовлетворительных доказательств, произошли с каждым из других существ, похожих на меня, которых я воспринимаю вокруг себя. Эта последовательность чувств, которую я называю своей памятью о прошлом, и есть то, благодаря чему я различаю свое Я. Я - это человек, который испытывал эту серию чувств, и я не знаю о себе ничего, кроме того, что они у меня были. Но между всеми частями этой серии существует некая связь, которая заставляет меня сказать, что это были чувства человека, который был тем же самым человеком на протяжении всего времени [по нашему мнению, это их "теплота" и сходство с "центральной духовным Я", которое сейчас реально ощущается] и отличался от тех, кто испытывал любую из параллельных последовательностей чувств; и эта связь, по моему мнению, составляет мое Я. На этом, я думаю, вопрос должен быть исчерпан, пока какому-нибудь психологу не удастся лучше, чем кому-либо другому, показать способ, с помощью которого анализ может быть продолжен".[283]

Читатель должен судить о наших собственных успехах в продвижении анализа дальше. Различные различия, которые мы провели, являются частью попытки сделать это. Сам Джон Милль в одном из более поздних отрывков, так далеко не продвинувшись в анализе, похоже, отступил на что-то опасно близкое к Душе. Он заявляет:

"Факт узнавания ощущения... воспоминания о том, что оно уже ощущалось, - это самый простой и элементарный факт памяти: а *необъяснимая связь*... которая соединяет настоящее сознание с прошлым, о котором оно мне напоминает, настолько близка, насколько, как мне кажется, мы можем приблизиться к позитивному представлению о Я". То, что в этой связи есть нечто реальное, реальное, как сами ощущения, а не просто продукт законов мышления без какого-либо соответствующего ему факта, я считаю неопровержимым..... Этот изначальный элемент,... которому мы не можем дать никакого названия, кроме его собственного, не подразумевая при этом какую-то ложную или необоснованную теорию, есть Эго, или Я. Как таковое, я приписываю реальность Эго - моему собственному разуму - отличную от того реального существования в качестве постоянной возможности, которое является единственной реальностью, которую я признаю в Материи..... Мы вынуждены воспринимать каждую часть серии как связанную с другими частями *чем-то общим*, что не является самими ощущениями, в большей степени, чем последовательность ощущений является самими ощущениями; и поскольку то, что одинаково в первом и во втором, во втором и в третьем, в третьем и в четвертом, и так далее, должно быть одинаковым в первом и в пятидесятом, этот общий элемент является постоянным элементом. Но за пределами этого мы не можем утверждать ничего, кроме самих состояний сознания. Чувства или сознания, которые принадлежат или принадлежали ему, и его возможности иметь больше, - вот единственные факты, которые можно утверждать о "Я", единственные положительные атрибуты, кроме постоянства, которые мы можем ему приписать".[284]

Обычный метод философствования мистера Милля состоял в том, чтобы смело утверждать некую общую доктрину, полученную от отца, а затем делать столько уступок в деталях ее противникам, чтобы практически полностью отказаться от нее.^[285] В этом месте уступки сводятся, насколько это можно понять, к признанию чего-то очень похожего на Душу. Эта "необъяснимая связь", которая соединяет чувства, это "нечто общее", чем они связаны и что не является самими преходящими чувствами, но чем-то "постоянным", о чем мы не можем "утверждать ничего", кроме его атрибутов и его постоянства, - что это, как не метафизическая Субстанция, вновь оживающая? Насколько можно уважать справедливость нрава Милля, настолько же можно сожалеть о его провале в этом вопросе. В сущности, он совершает ту же ошибку, что и Юм: ощущения *как таковые*, по его мнению, не имеют "связи". Связь сходства и непрерывности, которую находит среди них вспоминающая Мысль, - это не "реальная связь", а "простой продукт законов мышления"; и тот факт, что нынешняя Мысль "присваивает" их, тоже не является реальной связью. Но если Юм довольствовался тем, что говорил, что "реальной связи", в конце концов, может и не быть, то Милль, не желая признавать такую возможность, вынужден, как и любой схоластик, поместить ее в нефеноменальный мир.

Уступки Джона Милля можно рассматривать как *окончательное банкротство ассоциационистского описания* самосознания, начинающегося, как водится, с самыми лучшими намерениями, смутно осознающего путь, но "озадаченного в высшей степени" в конце концов неадекватностью тех "простых чувств", некогнитивных, не трансцендентных самим себе, которые были единственным багажом, который он был готов взять с собой. Необходимо *просить* память, знание чувств о чем-то вне их самих. Если это будет сделано, все остальные истинные вещи последуют естественным образом, и сбиться с пути будет трудно. Знание, которое настоящее чувство имеет о прошлом, является реальной связью между ними, как и их сходство; как и их непрерывность; как и "присвоение" одним другим: все это реальные связи, реализуемые в судящей Мысли каждого момента, единственном месте, где могут быть реализованы *разрывы*, если они существуют. И Юм, и Милль подразумевают, что разъединение может быть реализовано там, а связь - нет. Но в этом вопросе самосознания связи и разъединения находятся на одном уровне. Способ, которым нынешняя Мысль присваивает прошлое, является реальным способом, пока никакой другой владелец не присваивает его более реальным способом, и пока у Мысли нет оснований для отказа от него более сильных, чем те, которые привели к его присвоению. Но никакой другой собственник никогда не представляет себя в действительности вместо моего прошлого; и основания, которые я воспринимаю для присвоения его - а именно, непрерывность и сходство с настоящим, - перевешивают те, которые я воспринимаю для отречения от него - а именно, удаленность во времени. Таким образом, моя нынешняя Мысль стоит во всей полноте владения шлейфом моих прошлых "я", является владельцем не только *де-факто*, но и *де-юре*, самым настоящим владельцем, какой только может быть, и все это без предположения о какой-либо "необъяснимой связи", а совершенно верифицируемым и феноменальным образом.

Обратимся теперь к тому, что мы можем назвать

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТСКОЙ ТЕОРИИ.

которая обязана своим происхождением Канту. Высказывания самого Канта слишком пространны и неясны, чтобы приводить их здесь дословно, поэтому я должен изложить только их суть. Кант, как я его понимаю, исходит из представления об *объекте*, по сути, аналогичного нашему собственному описанию его на [стр. 275](#) и далее, то есть это система вещей, качеств или фактов, находящихся в отношениях. "*Объект* - это то, в знании (Begriff)

чего связано многообразие данного восприятия".[286] Но в то время как мы просто умоляли дать нам средство этого связанного знания в форме того, что мы называем настоящей Мыслью, или отрезком потока сознания (который мы объявили конечным фактом для психологии), Кант отрицает этот конечный факт и настаивает на анализе его на большое количество отдельных, хотя и одинаково существенных, элементов. Многообразие" объекта обусловлено чувствительностью, которая *сама по себе* хаотична, а единство - синтетической обработкой, которую это многообразие получает от высших способностей - интуиции, восприятия, воображения, понимания и апперцепции. Это одна существенная спонтанность Понимания, которая под этими разными названиями привносит единство в многообразие чувств.

"Понимание *есть*, в сущности, не что иное, как способность связывать воедино *априорные* идеи и приводить многообразие данных идей к единству Апперцепции, которая, следовательно, является высшим принципом во всем человеческом познании" (§ 16).

Связанный материал должен быть *предоставлен* низшими факультетами Пониманию, поскольку последнее не является интуитивным факультетом, а по своей природе "пустое". Подведение этого материала "под единство восприятия" Кант объясняет как мышление его всегда так, что, каковы бы ни были его другие детерминации, он может быть известен *мне* как *мысль*. [287] Хотя это сознание, что *я мыслю его*, не обязательно должно быть в каждый момент явно осознано, оно всегда *способно* быть осознанным. Ведь если бы существовал объект, *неспособный* сочетаться с мыслью мыслящего, как бы он мог быть познан, как бы он был связан с другими объектами, как бы он вообще входил в "опыт"?

Осознание того, что *я мыслю*, следовательно, подразумевается во всем опыте. Не существует связанного сознания чего бы то ни было без сознания *Я* как его предпосылки и "трансцендентного" условия! Итак, все вещи, насколько они вообще умопостигаемы, являются таковыми через сочетание с чистым сознанием *Я*, , и кроме этого, по крайней мере потенциального, сочетания ничто не может быть познано *нами* вообще.

Но это Я, сознание которого Кант таким образом дедуктивно устанавливает как *условие sine qua non* опыта, в то же время отрицается им как обладающее какими-либо положительными атрибутами. Хотя Кант называет его "изначальным трансцендентальным синтетическим единством восприятия" - так длинно, наше сознание о нем, по его словам, достаточно коротко. Самосознание этого "трансцендентального" рода говорит нам, "не о том, как мы выглядим, не о том, каковы мы внутренне, а только о *том, что мы есть*" (§ 25). В основе нашего знания о себе лежит только "простая и совершенно пустая идея: *Я*; о которой мы не можем даже сказать, что у нас есть понятие, но только сознание, сопровождающее все понятия. В этом *Я*, или *он*, или *оно* (вещь), которое мыслит, не представлено ничего более, чем голый трансцендентальный субъект знания = *x*, который познается только мыслями, являющимися его предикатами, и о котором, взятом самом по себе, мы не можем составить ни малейшего представления" (там же, "Паралогизмы"). Чистое "Я" всякой апперцепции, таким образом, для Канта - не душа, а лишь тот "субъект", который является необходимым коррелятом объекта во всяком познании. Душа есть, считает Кант, но эта простая эго-форма нашего сознания ничего не говорит нам о ней, ни о том, субстанциальна ли она, ни о том, нематериальна ли она, ни о том, проста ли она, ни о том, постоянна ли она. Эти заявления Канта о полной бесплодности сознания чистого Я и вытекающей отсюда невозможности какой-либо дедуктивной или "рациональной" психологии, как ничто другое, заслужили для него титул "всеразрушителя". Единственное "я", о котором мы знаем что-то положительное, считает он, - это эмпирическое, а не чистое "я"; "я", которое является объектом среди других

объектов и "составляющие" которого мы сами видели и признали феноменальными вещами, проявляющимися в виде пространства и времени.

Для наших целей это достаточное объяснение "трансцендентального" Эго.

Эти цели не идут дальше, чем выяснение того, должно ли что-то в концепции Канта заставить нас отказаться от нашей собственной, о воспоминании и присвоении Мысли, непрерывно обновляемой. Во многих отношениях смысл Канта неясен, но нам не нужно будет сжимать тексты, чтобы убедиться в том, каким он был на самом деле и исторически. Если мы сможем четко определить две или три вещи, которыми он, *возможно*, был, это поможет нам не меньше, чем прояснить наши собственные идеи.

В целом, приемлемая интерпретация взглядов Канта могла бы принять примерно следующую форму. Как и мы, он верит в Реальность за пределами разума, о котором пишет, но критик, который ручается за эту реальность, делает это на основании веры, поскольку она не является верифицируемой феноменальной вещью. Не является она и многообразной. Манифольд", который объединяет интеллектуальные функции, - это вообще ментальный манифольд, который, таким образом, *стоит между* Эго восприятия и внешней Реальностью, но все же стоит внутри разума. В функции познания есть множественность, которую нужно соединить, и Кант переносит эту множественность внутрь разума. Реальность становится просто пустым *местом*, или непознаваемым, так называемым нуменоном; многообразное явление находится в уме. Мы же, напротив, помещаем множественность вместе с реальностью наружу и оставляем ум простым. Оба мы имеем дело с одними и теми же элементами - мыслью и объектом - вопрос лишь в том, в каком из них должна быть помещена множественность. Где бы она ни была помещена, она должна быть "синтезирована", когда она становится мыслью. И тот конкретный способ его размещения будет тем лучше, что, помимо естественного описания фактов, делает "тайну синтеза" наименее трудной для понимания.

Кантовский способ описания фактов мифологичен. Представление о том, что наша мысль - это такая сложная внутренняя машина, осуждается всем тем, что мы говорили в пользу ее простоты на [стр. 276 и далее](#). Наша мысль не состоит из частей, какими бы составными ни были ее объекты. В ней нет изначально хаотического многообразия, которое можно было бы привести к порядку. Есть нечто почти шокирующее в представлении о столь целомудренной функции, несущей в своем чреве эту кантовскую суету. Если мы вообще хотим иметь дуализм Мысли и Реальности, то множественность должна быть заложена в последнем, а не в первом члене пары связанных терминов. Части и их отношения, несомненно, принадлежат не столько познающему, сколько тому, что познается.

Но даже если бы вся эта мифология была правдой, процесс синтеза ни в коем случае нельзя было бы *объяснить*, назвав внутреннюю часть разума его местом. Никакая тайна не стала бы от этого светлее. Это такая же загадка, как "Я" может использовать продуктивное Воображение, чтобы заставить Понимание использовать категории для объединения данных, которые Распознавание, Ассоциация и Понимание получают от разумной Интуиции, как и то, как Мысль может объединить объективные факты. Как ни формулирую, трудность всегда одна и та же: *многие познаются одним*. Или кто-то всерьез думает, что лучше понимает, как познающий "соединяет" свои объекты, когда называет первое трансцендентальным "Я", а второе - "многообразием интуиции", чем когда называет их соответственно Мыслью и Вещью? Знание должно иметь средство передвижения. Назовите это средство Эго, или назовите его Мыслью, Психозом, Душой, Интеллектом, Сознанием,

Разумом, Чувством, - как вам угодно, - оно должно *знать*. Лучшим грамматическим субъектом для глагола *знать* будет, по возможности, тот, из других свойств которого можно вывести знание. А если такого субъекта нет, то лучшим будет тот, у которого меньше всего двусмысленностей и наименее претенциозное название. По признанию Канта, трансцендентальное "Я" не обладает никакими свойствами, и из него ничего нельзя вывести. Его название претенциозно, и, как мы увидим в дальнейшем, его значение двусмысленно смешано со значением субстанциальной души. Поэтому, по всем возможным причинам, мы не можем использовать его вместо нашего собственного термина "Мысль" в качестве принципа, посредством которого Множество одновременно познается.

Двусмысленность, о которой говорится в значении трансцендентального Эго, заключается в том, подразумевает ли Кант под ним *агента*, а под опытом, который он помогает составить, - операцию; или же опыт - это событие, *произведенное* неназначенным способом, а Эго - просто внутренний *элемент*, содержащийся в нем. Если имеется в виду операция, то Эго и Пространство должны оба существовать до того столкновения, которое приводит к переживанию одного другим. Если же имеется в виду простой анализ, то такого предварительного существования нет, и элементы *существуют* лишь постольку, поскольку они находятся в единстве. Тон и язык Канта - это везде слова того, кто говорит об операциях и агентах, с помощью которых они совершаются.^[288] И все же есть основания полагать, что в действительности он, возможно, не имел в виду ничего подобного.^[289] В этой неопределенности нам снова не нужно ничего делать, кроме как решать, что думать о его трансцендентальном "Я", *если оно* является агентом.

Что ж, если это так, то трансцендентализм - это всего лишь субстанциализм в позорном обличье, а Эго - лишь "дешевое и отвратительное" издание души. Все наши доводы в пользу предпочтения "Мысли" "Душе" действуют с удвоенной силой, когда "Душа" сокращается до такого размера. Душа действительно ничего не объясняла; "синтезы", которые она выполняла, были просто взяты в готовом виде и наклеплены на нее как выражения ее природы, взятые постфактум; но, по крайней мере, у нее было некоторое подобие благородства и мировоззрения. Ее называли активной; она могла выбирать; она была ответственна и постоянна в своем пути. Эго - это просто *ничто*: такой неэффективный и ветреный аборт, какой только может показать философия. Было бы действительно одной из трагедий Разума, если бы добрый Кант, при всей своей честности и напряженности, посчитал эту концепцию важным порождением своей мысли.

Но мы видели, что Кант вообще не считал ее важной. Его фихтеанские и гегельянские преемники должны были называть ее первым принципом философии, писать ее имя с заглавной буквы и произносить с обожанием, словом, вести себя так, как будто они поднимаются на воздушном шаре, всякий раз, когда им приходит в голову мысль о ней. Однако и здесь я не уверен в исторических фактах и знаю, что, возможно, не совсем правильно понял своих авторов. Весь урок кантовской и посткантовской спекуляции, как мне кажется, заключается в уроке простоты. У Канта усложнение как мыслей, так и высказываний было врожденным недугом, усиленным затхлым академизмом его кенигсбергского существования. У Гегеля это была бушующая лихорадка. Поэтому кислый виноград, которым питались эти отцы философии, ужасно раздражает наши зубы. Однако у нас в Англии и Америке есть современное продолжение гегелизма, от которого, к счастью, приходят более простые избавления; и, не найдя никакой определенной психологии в том, что Гегель, Розенкранц или Эрдманн говорят нам об Эго, я обращаюсь к Кэрду и Грину.

Практически, огромная разница между этими авторами и Кантом заключается в их полном абстрагировании от наблюдающего психолога и от Реальности, которую, как он думает, он знает; или, скорее, в поглощении обоих этих побочных терминов в надлежащую тему психологии, а именно, в психический опыт наблюдаемого разума. Реальность объединяется со связным Многообразием, психолог - с Эго, знание становится "связным", и в результате возникает уже не конечный или критикуемый, а "абсолютный" Опыт, в котором объект и субъект всегда одни и те же. Наша конечная "Мысль" практически и потенциально является этим вечным (или, скорее, "вневременным"), абсолютным Эго, и лишь условно и умозрительно - той ограниченной вещью, которой она кажется *prima facie*. Более поздние "секции" нашего "Потока", которые приходят и присваивают себе более ранние, являются этими более ранними, так же как в субстанциализме Душа остается во все времена одной и той же.[290] Этот "солипсический" характер опыта, воспринимаемого как абсолютный, действительно уничтожает психологию как отдельную науку.

Психология - это естественная наука, повествующая о конкретных конечных потоках мысли, сосуществующих и сменяющих друг друга во времени. Конечно, можно предположить (хотя и далеко не однозначно), что в последнем метафизическом случае все эти потоки мысли могут быть мыслимы одним универсальным Все-мыслителем. Но в этом метафизическом представлении нет никакой пользы для психологии; ведь если допустить, что один Мыслитель мыслит во всех нас, то все равно, что Он мыслит во мне и что в вас, никогда не может быть выведено из одной лишь идеи о Нем. Идея о Нем, кажется, даже оказывает положительное парализующее воздействие на разум. Существование конечных мыслей полностью подавляется. Характеристики мысли, как говорит профессор Грин.

"не следует искать в происшествиях отдельных жизней, которые длятся всего лишь день..... Ни знание, ни какой-либо умственный акт, связанный со знанием, не может быть правильно назван "феноменом сознания"... Ибо явление - это разумное событие, связанное по способу предшествования или следствия с другими разумными событиями, но сознание, составляющее знание... не есть событие, связанное таким образом, и не состоит из таких событий".

Опять же, если

"мы исследуем составные части любого воспринимаемого объекта, ... мы обнаружим, что они могут существовать только для сознания, и что сознание, для которого они существуют, не может быть просто серией явлений или последовательностью состояний. Тогда становится ясно, что существует функция сознания, осуществляемая в самом зачаточном опыте [а именно, функция *синтеза*], которая несовместима с определением сознания как любого рода последовательности любого рода явлений".[291]

Если бы мы последовали этим замечаниям, нам пришлось бы отказаться от нашего понятия "Мысль" (вечно обновляющегося во времени, но всегда познаваемого) и вместо поддержать сущность, скопированную с мысли во всех существенных отношениях, но отличающуюся от нее тем, что она находится "вне времени". Что может выиграть психология от такого обмена, трудно предположить. Более того, это сходство вневременного Эго с Душой дополняется еще и другими сходствами. Монизм посткантианских идеалистов, кажется, постоянно скатывается в обычный старомодный спиритуалистический дуализм. Они непрерывно говорят, будто, подобно Душе, их Вседержитель является агентом, действующим на

отделенных материалах чувства. Возможно, это происходит от случайного факта, что английские работы школы были скорее полемическими, чем конструктивными, и что читатель часто может принять за позитивную профессию утверждение *ad hominem*, предназначенное для сведения к абсурду, или принять анализ части знания на элементы за драматический миф о его создании. Но я думаю, что этот вопрос имеет более глубокие корни. Профессор Грин постоянно говорит об "активности" Я как "условии" существования знания. Факты, как утверждается, становятся связанными с другими фактами только благодаря "действию объединяющего самосознания на данные ощущений".

"Каждый воспринимаемый нами объект... требует для своего представления *действия* принципа сознания, не подверженного условиям времени, на последовательные появления, такого действия, которое может *удержать появления вместе*, без слияния, в воспринятом факте".[292]

Нет нужды повторять, что соединение вещей в нашем знании ни в коем случае нельзя *объяснить*, сделав его делом агента, чья сущность - самотождественность и который находится вне времени. Агентство феноменальной мысли, приходящей и уходящей во времени, так же легко *понять*. А когда к тому же говорится, что агентом, который комбинирует, является тот же "саморазличающийся субъект", который "в другом режиме своей деятельности" представляет многообразный объект самому себе, непонятность становится совершенно пароксизмальной, и мы вынуждены признать, что вся рассматриваемая школа мысли, несмотря на случайные проблески чего-то более утонченного, все еще пребывает на той мифологической стадии мышления, где явления объясняются как результаты драмы, разыгрываемой сущностями, которые лишь дублируют характеры самих явлений. Самость должна не только *знать* свой объект, - это слишком лысое и мертвое отношение, чтобы его можно было записать и оставить в статичном состоянии. Познание должно быть обрисовано как "знаменитая победа", в которой отчетливость объекта каким-то образом "преодолевается".

"Самость существует как единая самость лишь постольку, поскольку она противопоставляет себя как объект себе как субъекту и тут же отрицает и преодолевает эту противоположность. Только потому, что оно является таким конкретным единством, которое само по себе имеет разрешенное противоречие, интеллект может справиться со всей многогранностью и разделенностью могущественной вселенной и надеяться овладеть ее тайнами. Как молния спит в капле росы, так в простом и прозрачном единстве самосознания удерживается в равновесии тот жизненный антагонизм противоположностей, который... кажется, разрывает мир на части. Интеллект способен понять мир, или, другими словами, разрушить барьер между собой и вещами и найти себя в них, только потому, что его собственное существование имплицитно является решением всего разделения и конфликта вещей".[293]

Этот динамический (я чуть было не написал динамический) способ репрезентации знания имеет то достоинство, что он не приручен. Переходить от него к нашей собственной психологической формулировке - все равно что от фейерверков, ловушек и превращений пантомимы переходить к бессодержательности полуночи, где

"жутко под моросящим дождем,
на лысой улице разрывается пустой день!"[294]

И все же мы должны повернуть, признав, что наша "Мысль" - когнитивное феноменальное событие во времени - если она вообще существует, сама является единственным Мыслителем, которого требуют факты. Единственная услуга, которую трансцендентальный эгоизм оказал психологии, заключалась в том, что он протестовал против "пучковой" теории Юма о разуме. Но эта услуга была оказана плохо; ведь сами эгоисты, пусть они говорят что угодно, верят в этот пучок, а в своей собственной системе просто *связывают его* своей особой трансцендентальной веревкой, изобретенной только для этого. Кроме того, они говорят, будто с этим чудесным завязыванием или "связыванием" обязанности Эго выполнены. О его гораздо более важной обязанности выбирать некоторые из тех вещей, которые оно связывает, и присваивать их, исключая все остальные, они не говорят нам ни слова. Подводя итог моему собственному мнению о трансценденталистской школе, можно сказать, что это (какую бы скрытую метафизическую истину она ни прорицала) школа, в которой психологии, по крайней мере, нечему учиться, и чьи сообщения об Эго в частности ни в коей мере не обязывают нас пересмотреть нашу собственную формулировку Потока Мысли.[295]

Таким образом, были рассмотрены все возможные конкурирующие формулировки. Литература о Самости велика, но все ее авторы могут быть классифицированы как радикальные или смягченные представители трех названных нами школ - субстанциализма, ассоцианизма или трансцендентализма. Наше собственное мнение следует отнести к отдельной категории, хотя оно включает в себя существенные элементы всех трех школ. *Между ассоцианизмом и его соперниками никогда не было бы ссоры, если бы первый признавал неразложимое единство каждого импульса мысли, а второй был готов допустить, что "погибающие" импульсы мысли могут вспоминать и знать.*

Мы можем подвести итог, сказав, что личность подразумевает постоянное присутствие двух элементов: объективного человека, познаваемого проходящей субъективной Мыслью и признаваемого продолжающимся во времени. *В дальнейшем будем использовать слова я и я для обозначения эмпирической личности и судящей Мысли.*

Определенные превратности в "я" требуют нашего внимания.

Во-первых, хотя его изменения происходят постепенно, со временем они становятся значительными. Центральная часть "я" - это ощущения тела и регулировки в голове; к ощущениям тела следует отнести и общие эмоциональные тона и тенденции, ибо в основе своей они - лишь привычки, в которых протекает органическая деятельность и чувствительность. От младенчества до старости эта совокупность чувств, самая постоянная из всех, все же подвержена медленной мутации. Наши силы, телесные и умственные, меняются по меньшей мере так же быстро.[296] Наши владения, как известно, являются скоропортящимися фактами. Идентичность, которую обнаруживает Я, наблюдая за этой длинной процессией, может быть лишь относительной идентичностью, медленной сменой, в которой всегда сохраняется какой-то общий компонент.[297] Самый общий элемент, самый единообразный, - это обладание одними и теми же воспоминаниями. Как бы ни отличался мужчина от юноши, оба оглядываются на одно и то же детство и называют его своим.

Таким образом, идентичность, которую находит Я в своем Я, - это всего лишь слабо выраженная вещь, идентичность "в целом", такая же, как та, которую любой сторонний наблюдатель мог бы найти в той же совокупности фактов. Мы часто говорим о человеке: "Он

так изменился, что его не узнать"; и так же человек, реже, говорит о себе. Эти изменения в "я", признаваемые как самим "я", так и сторонними наблюдателями, могут быть серьезными или незначительными. Они заслуживают отдельного упоминания.

МУТАЦИИ "Я"

можно разделить на два основных класса:

1. Изменения памяти; и
2. Изменения в настоящем телесном и духовном "я".

1. *Изменения памяти* - это либо *потери*, либо *ложные воспоминания*. В любом случае "я" изменяется. Следует ли наказывать человека за то, что он совершил в детстве и уже не помнит? Должен ли он быть наказан за преступления, совершенные в постэпилептическом бессознательном состоянии, сомнамбулизме или в любом непроизвольно вызванном состоянии, о котором не сохранилось никаких воспоминаний? Закон, в согласии со здравым смыслом, говорит: "Нет; сейчас он не тот же человек, что и тогда". Такие потери памяти - нормальное явление в глубокой старости, и "я" человека уменьшается в соотношении с исчезнувшими фактами.

В сновидениях мы забываем о своих переживаниях во время бодрствования; их как будто и не было. Верно и обратное. Как правило, в состоянии бодрствования не сохраняется память о том, что произошло во время месмерического транса, хотя при повторном погружении человек может отчетливо вспомнить это, а затем забыть факты, относящиеся к состоянию бодрствования. Таким образом, в рамках здоровой психической жизни мы имеем приближение к чередованию "я".

Ложные воспоминания - далеко не редкое явление для большинства из нас, и, когда бы они ни возникали, они искажают сознание я. Большинство людей, вероятно, испытывают сомнения по поводу тех или иных событий, приписываемых их прошлому. Они могли их видеть, могли говорить, делать, а могли только мечтать или воображать, что они это делали. Содержание сновидений часто вклинивается в поток реальной жизни самым недоуменным образом. Наиболее частым источником ложной памяти являются рассказы о наших переживаниях, которые мы даем другим. Такие рассказы мы почти всегда делаем и более простыми, и более интересными, чем правда. Мы цитируем то, что должны были сказать или сделать, а не то, что действительно сказали или сделали; и в первый момент мы можем полностью осознавать это различие. Но вскоре вымысел вытесняет реальность из памяти и воцаряется вместо нее. Это один из главных источников ошибочности свидетельств, которые должны быть совершенно честными. Особенно там, где речь идет о чудесном, история принимает наклон в ту сторону, и память следует за ней. Доктор Карпентер приводит следующий пример из жизни мисс Коббе, который очень часто встречается:

"Однажды писателю довелось услышать, как одна самая добросовестная подруга рассказывала об инциденте с переворачиванием стола, к которому она присовокупила заверение, что стол загремел, когда *никого не было в радиусе ярда от него*. Писатель был озадачен этим фактом, но дама, хотя и была полностью уверена в точности своего заявления, пообещала взглянуть на записку, которую она сделала десять лет назад об этой операции. Записка была изучена, и оказалось, что в ней содержится четкое утверждение, что стол загремел, когда *на него легли руки*

шести человек! Во всем остальном память дамы оказалась строго верной, и в этом пункте она ошиблась совершенно добросовестно".[298]

Добиться точности во всех деталях в истории такого рода практически невозможно, хотя именно несущественные детали страдают от изменений больше всего.[299] Диккенс и Бальзак, как говорят, постоянно смешивали свои выдумки с реальными событиями. Каждый, должно быть, знал *какой-нибудь* экземпляр нашей смертной пыли, настолько опьяненный мыслями о собственной персоне и звуком собственного голоса, что не мог даже подумать о правде, когда речь шла о его автобиографии. Милый, безобидный, лучезарный J. V.! Пусть никогда не проснется разница между твоим реальным и воображаемым "я"! [300]

2. Когда мы переходим от изменений в памяти к аномальным *изменениям в настоящем "я"*, мы сталкиваемся с еще более серьезными нарушениями. С описательной точки зрения эти изменения бывают трех основных типов. Но некоторые случаи объединяют черты двух или более типов; и наши знания об элементах и причинах этих изменений личности настолько незначительны, что разделение на типы не должно рассматриваться как имеющее глубокое значение. Типы таковы:

- (1) Безумный бред;
- (2) Чередование личностей;
- (3) Медиумы или одержимость.

1) При безумии мы часто имеем бредовые идеи, спроецированные в прошлое, которые являются меланхолическими или сангвиническими в зависимости от характера болезни. Но самые страшные изменения "я" происходят от настоящих извращений чувствительности и импульсов, которые оставляют прошлое нетронутым, но побуждают пациента думать, что настоящее "я" - это совершенно новый человек. Нечто подобное обычно происходит при быстром развитии всего характера, как интеллектуального, так и волевого, которое происходит после периода полового созревания. Патологические случаи достаточно любопытны, чтобы заслуживать более подробного рассмотрения.

Основой нашей личности, как говорит М. Рибо, является то ощущение нашей жизненной силы, которое, поскольку оно постоянно присутствует, остается на заднем плане нашего сознания.

"Оно является основой потому, что, всегда присутствуя, всегда действуя, не зная ни покоя, ни отдыха, оно не знает ни сна, ни обморока и длится столько же, сколько сама жизнь, одной из форм которой оно является. Оно служит опорой для того самосознающего я, которое представляет собой память, оно является средством ассоциации между другими его частями..... Предположим, что можно сразу же изменить наше тело и поставить на его место другое: скелет, сосуды, внутренности, мышцы, кожу - все новое, кроме нервной системы с ее памятью о прошлом. Нет сомнений, что в таком случае поток непривычных жизненных ощущений вызовет тяжелейшие расстройства. Между старым чувством существования, выгравированным в нервной системе, и новым, действующим со всей интенсивностью его реальности и новизны, возникло бы непримиримое противоречие".[301]

С началом церебральных заболеваний часто происходит нечто, вполне сравнимое с этим:

"Масса новых ощущений, доселе чуждых человеку, импульсы и идеи того же неопытного рода, например, ужасы, представления о готовящемся преступлении, о преследующих человека врагах и т. д. Вначале они контрастируют со старым знакомым я, как странное, часто поразительное и отвратительное.^[302] Часто их вторжение в прежний круг чувств ощущается так, как будто старым "я" овладевает темная всепоглощающая сила, и факт такого "овладения" описывается в фантастических образах. Всегда эта двойственность, эта борьба старого "я" с новыми диссонирующими формами опыта сопровождается болезненным душевным конфликтом, страстью, бурным эмоциональным возбуждением. Этим в значительной степени объясняется распространенный опыт, что первой стадией в огромном большинстве случаев психических заболеваний является эмоциональное изменение, особенно меланхолического типа. Если теперь не снять напряжение мозга, которое является непосредственной причиной появления новых аномальных идей, последние закрепляются. Постепенно у него могут возникать ассоциации с теми идеями, которые были характерны для прежнего "я", или же часть последних может быть погашена и утрачена в процессе развития мозговой болезни, так что мало-помалу противостояние двух сознательных "я" ослабевает, а эмоциональные бури утихают. Но к этому времени *старое "я" само фальсифицируется и превращается в другое* благодаря этим ассоциациям, благодаря этому приему в себя ненормальных элементов чувства и воли. Пациент снова может быть спокоен, и его мысли иногда логически правильны, но в них всегда присутствуют болезненные ошибочные идеи, со спайками, которыми они обросли, как неконтролируемые предпосылки, и человек уже не тот же самый, а действительно новый человек, его старое "я" трансформировано".^[303]

Но сам пациент редко продолжает описывать изменения именно в таких терминах, если только в них не преобладают новые *телесные ощущения* или утрата старых. Простые извращения зрения и слуха или даже импульсы вскоре перестают ощущаться как противоречия единству я.

Каковы могут быть конкретные извращения телесной чувствительности, порождающие эти противоречия, здравомыслящий человек по большей части не в состоянии себе представить. У одного пациента есть другое "я", которое повторяет за ним все его мысли. У других, среди которых одни из первых героев истории, есть знакомые деймоны, которые говорят с ними и отвечают им. В другом случае кто-то "делает" его мысли за него. У другого есть два тела, лежащие в разных кроватях. Некоторые пациенты чувствуют себя так, как будто потеряли части своего тела: зубы, мозг, желудок и т. д. У кого-то оно сделано из дерева, стекла, масла и т. д. В некоторых оно больше не существует, или мертво, или является инородным объектом, совершенно отдельным от "я" говорящего. Иногда части тела теряют связь для сознания с остальными, рассматриваются как принадлежащие другому человеку и подвижные враждебной волей. Так, правая рука может бороться с левой, как с врагом.^[304] Или крики самого пациента приписываются другому человеку, к которому он выражает симпатию. Литература о безумии полна рассказов о подобных иллюзиях. М. Тейн приводит рассказ пациента доктора Кришабера о страданиях, из которого видно, насколько совершенно отстраненным от нормального может внезапно стать опыт человека:

"После первого или второго дня в течение нескольких недель было невозможно наблюдать или анализировать себя. Страдания - *angina pectoris* - были слишком непреодолимыми. Только в первых числах января я смог дать себе отчет в том, что я пережил..... Вот первое, что я отчетливо запомнил. Я был один и уже стал жертвой постоянного зрительного расстройства, как вдруг меня охватило зрительное расстройство, бесконечно более выраженное. Предметы становились все меньше и отдалялись на бесконечное расстояние - люди и вещи вместе. Я сам был неизмеримо далеко, я смотрел вокруг себя с ужасом и изумлением; *мир ускользал от меня*..... В то же время я заметил, что мой голос чрезвычайно далек от меня, что он звучит уже не как мой. Я ударил ногой о землю и почувствовал ее сопротивление; но это сопротивление казалось иллюзорным - не потому, что почва была мягкой, а потому, что вес моего тела уменьшился почти до нуля..... У меня было ощущение отсутствия веса....". Помимо того, что они были такими далекими, "предметы казались мне *плоскими*. Когда я разговаривал с кем-либо, я видел его как изображение, вырезанное из бумаги, без рельефа..... Это ощущение периодически продолжалось в течение двух лет..... Постоянно казалось, что мои ноги не принадлежат мне. С руками было почти так же плохо. Что касается головы, то она, казалось, больше не существовала..... Мне казалось, что я действую автоматически, под влиянием чуждого мне импульса..... Внутри меня было новое существо и другая часть меня, старое существо, которое не проявляло никакого интереса к новому человеку. Я отчетливо помню, как говорил себе, что страдания этого нового существа были мне безразличны. На самом деле я никогда не был обманут этими иллюзиями, но мой разум часто уставал от непрерывного исправления новых впечатлений, и я отпускал себя и жил несчастной жизнью этого нового существа. Я страстно желал снова увидеть свой старый мир, вернуться к себе прежнему. Это желание удерживало меня от самоубийства..... Я был другим, и я ненавидел, я презирал этого другого; он был мне совершенно омерзителен; это был, конечно, другой, который принял мою форму и взял на себя мои функции".[305]

В случаях, подобных этому, столь же несомненно, что *Я* остается неизменным, как и то, что *Я* изменяется. Иными словами, нынешнее Мышление пациента познает как старое, так и новое *Я*, пока сохраняет память. Только вот в той объективной сфере, которая раньше так просто поддавалась суждению узнавания и эгоистического присвоения, возникли странные недоумения. Настоящее и прошлое, увиденные в ней, не могут объединиться. Где мой прежний я? Что представляет собой этот новый? Неужели они одно и то же? Или у меня их два? Такие вопросы, ответы на которые можно найти в любой теории, которую пациент способен представить как правдоподобную, составляют начало его безумной жизни.[306]

Случай, с которым я познакомился благодаря доктору К. Дж. Фишеру из Тьюксбери, возможно, произошел именно таким образом. Женщина, Бриджет Ф.,

"много лет была невменяемой и всегда говорила о своем мнимом "я" как о "крысе", просила меня "похоронить маленькую крысу" и т. д. О своем настоящем "я" она говорит в третьем лице как о "хорошей женщине": "Хорошая женщина знала доктора Ф. и раньше работала на него" и т. д. Иногда она с грустью спрашивает: "Как вы думаете, хорошая женщина когда-нибудь вернется? Она занимается рукоделием, вяжет, стирает и т. д. и показывает свою работу, говоря: "Разве это не годится только для крысы? В периоды депрессии она пряталась под зданиями,

пролезала в норы и под коробки. "Она была всего лишь крысой и хочет умереть", - говорила она, когда мы ее находили".

2. Феномен *чередования личностей* в своих простейших фазах, похоже, основан на провалах в памяти. Любой человек становится, как мы говорим, *несовместимым* с самим собой, если он забывает свои обязательства, обещания, знания и привычки; и это всего лишь вопрос степени, в какой момент мы скажем, что его личность изменилась. В патологических случаях, известных как случаи двойной или альтернативной личности, провал в памяти происходит резко, и ему обычно предшествует период бессознательного состояния или обморока, длящийся различное количество времени. В гипнотическом трансе мы можем легко вызвать изменение личности, либо сказав субъекту забыть все, что произошло с ним с такой-то или такой-то даты, и тогда он снова становится ребенком, либо сказав ему, что он другой, совершенно вымышленный персонаж, и тогда все факты о себе на время исчезают из его памяти, и он бросается в новый образ с живостью, пропорциональной количеству гистрионного воображения, которым он обладает.^[307] Но в патологических случаях трансформация происходит спонтанно. Самым известным случаем, пожалуй, является случай Фелиды Х., о котором сообщил доктор Азам из Бордо.^[308] В возрасте четырнадцати лет эта женщина начала впадать во "вторичное" состояние, характеризующееся изменением общего настроения и характера, как будто некоторые "запреты", существовавшие ранее, были внезапно сняты. Во время вторичного состояния она помнила первое состояние, но при выходе из него в первое состояние она ничего не помнила о втором. В возрасте сорока четырех лет продолжительность вторичного состояния (которое в целом превосходило по качеству первоначальное) настолько увеличилась, что оно стало занимать большую часть ее времени. Во время него она помнит события, относящиеся к первоначальному состоянию, но полное забвение вторичного состояния при повторении первоначального часто очень огорчает ее, как, например, когда переход происходит в карете по дороге на похороны, и она не имеет ни малейшего представления о том, кто из ее друзей может быть мертв. В одном из ранних вторичных состояний она действительно забеременела, а в первом состоянии не знала, как это произошло. Иногда она испытывает сильную тревогу из-за этих пробелов в памяти, и однажды она пыталась покончить с собой.

В качестве другого примера доктор Ригер приводит рассказ^[309] об эпилептике, который в течение семнадцати лет проводил свою жизнь попеременно то на свободе, то в тюрьмах, то в психушках, причем в нормальном состоянии его характер был достаточно упорядоченным, но чередовался с периодами, когда он на несколько недель покидал свой дом, вел жизнь вора и бродяги, попадал в тюрьму, испытывал эпилептические припадки и возбуждение, был обвинен в малевании и т. д. и т. д., и при этом ни разу не вспомнив об аномальных условиях, которые были виноваты во всех его несчастьях.

"Я никогда не получал ни от кого, - говорит доктор Ригер, - столь необычного впечатления, как от этого человека, о котором нельзя было сказать, что у него вообще было какое-либо правильно осознанное прошлое..... В самом деле, невозможно додуматься до такого состояния души. Его последняя кража была совершена в Нюрнберге, он ничего об этом не знал, видел себя перед судом, а затем в больнице, но не понимал ни малейшей причины. То, что у него были эпилептические приступы, он знал. Но его невозможно было убедить в том, что на протяжении нескольких часов он бредил и вел себя ненормально".

Еще один примечательный случай - случай Мэри Рейнольдс, недавно вновь опубликованный доктором Вейром Митчеллом.^[310] Эта скучная и меланхоличная молодая женщина, жившая в дикой местности Пенсильвании в 1811 году,

"однажды утром, спустя долгое время после привычного подъема, она была обнаружена в глубоком сне, из которого ее невозможно было пробудить. После восемнадцати или двадцати часов сна она пробудилась, но в состоянии неестественного сознания. Память исчезла. Во всех смыслах она была как существо, впервые попавшее в этот мир. Все, что осталось у нее от прошлого, - это способность произносить несколько слов, и это, похоже, было таким же чисто инстинктивным, как крики младенца; ведь поначалу слова, которые она произносила, не были связаны ни с какими идеями в ее голове". Пока ей не объяснили их значение, они были бессмысленными звуками.

"Ее глаза практически впервые открылись миру. Все старое ушло, все стало новым". Ее родители, братья, сестры, друзья не были признаны ею и не воспринимались ею как таковые. Она никогда не видела их раньше, никогда не знала их, не знала, что такие люди были. Теперь же она впервые оказалась в их компании и была с ними знакома. Для окружавших ее пейзажей она была совершенно чужой. Дом, поля, лес, холмы, долины, ручьи - все было в новинку. Все красоты пейзажа были неизведанными.

У нее не было ни малейшего представления о том, что она когда-либо существовала до того момента, когда она очнулась от этого таинственного сна". Одним словом, она была младенцем, только что родившимся, но рожденным в состоянии зрелости, способным наслаждаться богатыми, возвышенными, роскошными чудесами сотворенной природы".

"Первым уроком в ее воспитании было обучение тому, какими узами она связана с теми, кто ее окружает, и какие обязанности возлагаются на нее в связи с этим. Этому она училась очень медленно и, "по правде говоря, так и не научилась, или, по крайней мере, никогда не признавала ни кровосмесительных, ни, тем более, дружеских уз". Она считала тех, кого когда-то знала, по большей части чужаками и врагами, среди которых ее каким-то удивительным и непостижимым образом пересадили, хотя из какого региона или состояния существования - вопрос нерешенный".

"Следующим уроком было заново обучить ее искусству чтения и письма. Она была достаточно способной и так быстро продвинулась в обоих, что за несколько недель с легкостью научилась читать и писать заново. При копировании своего имени, которое брат написал для нее в качестве первого урока, она взяла ручку очень неловко и стала писать справа налево на иврите, как будто ее пересадили с восточной земли.....

"Следующее, что заслуживает внимания, - это перемена, произошедшая в ее характере. Вместо того чтобы быть меланхоличной, она теперь была жизнерадостной до крайности. Вместо замкнутости она стала оживленной и общительной. Прежде неразговорчивая и замкнутая, теперь она стала веселой и жизнерадостной. Ее нрав полностью и абсолютно изменился. В то время как во втором состоянии она необычайно любила компании, она была гораздо больше очарована творениями природы, представленными в лесах, холмах, долинах и водоемах. Утром она отправлялась в путь пешком или верхом на лошади и до ночи бродила по всей стране; при этом ей было совершенно безразлично, где она

находится - на тропинке или в бездорожном лесу. Возможно, ее пристрастие к такому образу жизни было вызвано сдержанностью, которую неизбежно налагали на нее ее друзья, из-за чего она считала их своими врагами, а не товарищами, и была рада держаться от них подальше.

Она не знала страха, а поскольку медведи и пантеры были многочисленны в лесу, а гремучие змеи и медноголовые водились повсюду, друзья рассказывали ей об опасности, которой она себя подвергала, но это не производило иного эффекта, кроме презрительного смеха, когда она говорила: "Я знаю, что вы хотите только напугать меня и удержать дома, но вам это не удастся, потому что я часто вижу ваших медведей и совершенно уверена, что они не более чем черные свиньи".

"Однажды вечером, вернувшись с ежедневной экскурсии, она рассказала следующий случай: "Когда я ехала сегодня по узкой тропинке, из леса вышел огромный черный боров и остановился передо мной. Я никогда раньше не видела такого наглого черного бора. Он встал на задние ноги, оскалился и оскалил зубы. Я не мог заставить лошадь идти дальше. Я сказал ему, что он дурак, раз испугался бора, и попытался прогнать его кнутом, но он не шел и хотел повернуть назад. Я сказал борову, чтобы он убрался с дороги, но он не обращал на меня внимания. "Ну что ж, - сказал я, - если ты не хочешь словами, я попробую ударами"; я слез с него, взял палку и пошел к нему. Когда я подошел совсем близко, он опустил на четвереньки и медленно и угрюмо пошел прочь, останавливаясь через каждые несколько шагов и оглядываясь, ухмыляясь и рыча. Тогда я сел на лошадь и поехал дальше"...

"Так продолжалось пять недель, когда однажды утром, после продолжительного сна, она проснулась и снова стала собой. Она как ни в чем не бывало признала родительские, братские и сестринские узы и немедленно приступила к выполнению обязанностей, которые возлагались на нее и которые она запланировала пять недель назад. Ее очень удивила перемена, которую произвела одна ночь (как она предполагала). Природа предстала перед ней в ином свете. В ее памяти не осталось и следа от тех головокружительных сцен, через которые она прошла. Ее блуждания по лесу, ее проделки и шутки - все это исчезло из ее памяти, не оставив после себя ни тени. Ее родители видели своего ребенка, ее братья и сестры - свою сестру. Все знания, которыми она обладала в своем первом состоянии, предшествовавшем изменению, были свежими и энергичными, как будто никаких изменений не было. Но все новые приобретения, которые она сделала, и все новые идеи, которые она получила, были для нее теперь потеряны - но не утрачены, а отложены на хранение на будущее. Конечно, ее естественное расположение духа вернулось; ее меланхолия стала еще глубже, когда она узнала о случившемся. Все шло по-старому, и она тешила себя надеждой, что загадочные происшествия тех пяти недель больше никогда не повторятся, но этим ожиданиям не суждено было сбыться. По прошествии нескольких недель она погрузилась в глубокий сон и проснулась в своем втором состоянии, начав новую жизнь именно там, где она ее оставила, выйдя из этого состояния. Теперь она не была ни дочерью, ни сестрой. Все знания, которыми она обладала, были получены за несколько недель ее прежнего периода второго сознания. Она ничего не знала о прошедшем времени. Два периода, сильно разделенные друг от друга, соприкасались. Ей казалось, что это была всего лишь одна ночь.

"В этом состоянии она прекрасно понимала факты своего дела, причем не по памяти, а по информации. При этом ее бодрость духа была настолько велика, что

никакой депрессии не возникло. Напротив, это добавляло ей бодрости и служило основой, как и все остальное, для веселья.

"Эти переходы из одного состояния в другое продолжались с разными интервалами в течение пятнадцати или шестнадцати лет, но наконец прекратились, когда она достигла возраста тридцати пяти или тридцати шести лет, оставив ее *навсегда во втором состоянии*. В нем она оставалась без изменений в течение последней четверти века своей жизни".

Эмоциональное противостояние двух состояний, однако, кажется, постепенно исчезло в Мэри Рейнольдс:

"Переход от веселой, истеричной, озорной женщины, любящей шутить и подверженной абсурдным верованиям или обманчивым убеждениям, к женщине, сохранившей жизнерадостность и любовь к обществу, но отрезвевшей до уровня практической пользы, происходил постепенно. Большую часть из двадцати пяти последующих лет она так же отличалась от своей меланхоличной, болезненной сущности, как и от утомительного состояния первых лет своего второго состояния. Некоторые члены ее семьи говорили об этом как о третьем состоянии. Ее описывают как рассудительную, трудолюбивую и очень веселую, но при этом достаточно серьезную; обладающую уравновешенным темпераментом и не имеющую ни малейших признаков травмированного или нарушенного разума. Несколько лет она преподавала в школе, и в этом качестве была и полезна, и приемлема, являясь всеобщей любимицей и стар, и млад.

"В течение последних двадцати пяти лет она жила в одном доме с преподобным доктором Джоном В. Рейнольдсом, своим племянником, часть этого времени ведя за ним хозяйство, демонстрируя здравый смысл и глубокое знакомство с обязанностями своей должности.

"Доктор Рейнольдс, который все еще живет в Мидвилле, - пишет доктор Митчелл, - и который любезно предоставил в мое распоряжение эти факты, в своем письме ко мне от 4 января 1888 года сообщает, что в более поздний период своей жизни она говорила, что иногда у нее возникали смутные, мечтательные представления о теневом прошлом, которое она не могла полностью осознать, и не могла быть уверена, происходят ли они от частично восстановленной памяти или от рассказов о событиях другими людьми во время ее ненормального состояния".

"Мисс Рейнольдс умерла в январе 1854 года в возрасте шестидесяти одного года. Утром в день смерти она встала в обычном состоянии, позавтракала и занялась домашними делами. Во время этой работы она внезапно подняла руки к голове и воскликнула: "О! Интересно, что с моей головой!" - и тут же упала на пол. Когда ее отнесли на диван, она задыхалась один или два раза и умерла".

В таких случаях, как предыдущий, когда вторичный характер превосходит первый, есть основания думать, что первый - болезненный. Слово "*торможение*" описывает его тупость и меланхолию. Первоначальный характер Фелиды Х. был тусклым и меланхоличным по сравнению с тем, который она приобрела позже, и это изменение можно рассматривать как снятие запретов, сохранившихся с прежних лет. Все мы знаем, что такие запреты возникают временно, когда мы не можем вспомнить или каким-то другим образом распорядиться своими умственными ресурсами. Систематизированные амнезии (потери памяти) гипнотических субъектов, которым приказано забыть все существительные, или все глаголы, или определенную букву алфавита, или все, что относится к определенному человеку,

являются подобными запретами в более широком масштабе. Иногда они возникают спонтанно, как симптомы болезни.[311] Теперь М. Пьер Жане показал, что такие запреты, когда они влияют на определенный класс ощущений (делая субъекта анестетиком), а также на память о таких ощущениях, лежат в основе изменений личности. Истеричка с анестезией и "амнезией" - это один человек; но когда вы восстанавливаете ее подавленные чувствительность и воспоминания, погружая ее в гипнотический транс - другими словами, когда вы выводите их из "диссоциированного" и расщепленного состояния и заставляете их вновь соединиться с другими чувствительностью и воспоминаниями - это уже другой человек. Как уже говорилось выше (с. 203), гипнотический транс - это один из методов восстановления чувствительности у истериков. Но однажды, когда истеричка-анестетик по имени Люси уже находилась в гипнотическом трансе, М. Жане по какой-то причине продолжал делать над ней пассы в течение получаса, как будто она еще не уснула. В результате она впала в своего рода обморок, из которого через полчаса вышла во втором сомнамбулическом состоянии, совершенно не похожем на то, которое было характерно для нее до этого - другая чувствительность, другая память, другой человек, короче говоря. В состоянии бодрствования бедная молодая женщина была анестезией, почти глухой и с сильно суженным полем зрения. Однако, как бы плохо это ни было, зрение было ее лучшим чувством, и она использовала его как ориентир во всех своих движениях. С перевязанными глазами она стала совершенно беспомощной и, как и другие люди подобного рода, чьи случаи уже были описаны, почти сразу же заснула из-за прекращения действия последнего сенсорного стимула. М. Жане называет это бодрствующее или первичное (вряд ли в такой связи можно говорить о "нормальном") состояние именем Люси 1. В "Люси 2", ее первом гипнотическом трансе, анестезия уменьшилась, но не исчезла. В более глубоком трансе, "Люси 3", вызванном, как только что было описано, от них не осталось и следа. Ее чувствительность стала совершенной, и вместо того, чтобы быть крайним примером "зрительного" типа, она превратилась в то, что в терминологии профессора Шарко называется двигательным. Иными словами, если в бодрствующем состоянии она мыслила исключительно визуальными категориями и могла представлять себе вещи, только вспоминая, как они *выглядят*, то теперь, в этом глубоком трансе, ее мысли и воспоминания казались М. Джанет в основном состоящими из образов движения и осязания.

Обнаружив этот глубокий транс и изменение личности у Люси, М. Жане, естественно, захотел найти его у других своих подопечных. Он нашел его у Розы, у Мари и у Леонии; а его брат, доктор Жюль Жане, который проходил *практику* в больнице Сальпетриер, нашел его у знаменитого субъекта Wit..., чьи трансы годами изучались различными врачами этого учреждения, но никому из них не удавалось пробудить эту очень своеобразную индивидуальность.[312]

С возвращением всех чувств в более глубоком трансе эти испытуемые превращались как бы в нормальных людей. В частности, их воспоминания становились все более обширными, и тут М. Жане делает теоретическое обобщение. *Когда определенный вид ощущений*, говорит он, *отменяется у истерического пациента, вместе с ним отменяются и все воспоминания о прошлых ощущениях такого рода*. Если, например, слух является анестетическим чувством, пациент становится неспособным даже представить себе звуки и голоса, и ему приходится говорить (когда речь еще возможна) с помощью моторных или артикуляционных подсказок. Если двигательное чувство отменено, пациент должен волевым усилием заставить свои конечности двигаться, предварительно определив их для своего разума в визуальных терминах, и должен иннервировать свой голос, предчувствуя, как будут звучать слова. Практические последствия этого закона были бы велики, так как все переживания, относящиеся к сфере чувствительности, которая впоследствии стала

анестетической, как, например, осязание, хранились бы и запоминались в тактильных терминах, и были бы бессодержательно забыты, как только кожная и мышечная чувствительность была бы вырезана в ходе болезни. С другой стороны, память о них восстанавливается, как только возвращается чувство осязания. Так, у истеричных субъектов, на которых экспериментировал М. Жане, осязание действительно возвращалось в состоянии транса. В результате всевозможные воспоминания, отсутствующие в обычном состоянии, тоже возвращались, и они могли вернуться и объяснить происхождение многих необъяснимых в других случаях вещей в своей жизни. Например, одной из стадий большого судорожного кризиса при истеро-эпилепсии является то, что французские писатели называют *фазой страстных чувств*, когда пациентка, не говоря и не отдавая себе отчета, проходит через внешние движения страха, гнева или какого-либо другого эмоционального состояния души. Обычно эта фаза у каждого пациента настолько стереотипна, что кажется автоматической, и даже высказывались сомнения в том, существует ли какое-либо сознание, пока она длится. Однако, когда в глубоком трансе к пациентке Люси вернулась тактильная чувствительность, она объяснила происхождение своего истерического кризиса сильным испугом, который она испытала в детстве, в день, когда какие-то мужчины, спрятавшись за шторами, выскочили на нее; она рассказала, как переживала эту сцену снова во всех своих кризисах; она рассказала о своих приступах хождения во сне по дому в детстве и о том, как в течение нескольких месяцев она была закрыта в темной комнате из-за расстройства глаз. Все это были вещи, о которых она ничего не помнила в бодрствующем состоянии, потому что это были записи опыта, связанного в основном с движением и осязанием.

Но интересна Леония, о которой пишет М. Жане, и она лучше всего показывает, как с развитием чувствительности и двигательных импульсов меняются воспоминания и характер.

"У этой женщины, чья жизнь больше похожа на невероятный роман, чем на подлинную историю, с трехлетнего возраста случались приступы естественного сомнамбулизма. С шестнадцати лет ее постоянно гипнотизировали самые разные люди, и сейчас ей сорок пять. В то время как ее нормальная жизнь развивалась одним образом в бедном деревенском окружении, ее вторая жизнь прошла в гостиных и кабинетах врачей и, естественно, приняла совершенно иное направление. Сегодня, когда она находится в нормальном состоянии, эта бедная крестьянка - серьезный и довольно грустный человек, спокойный и медлительный, очень мягкий со всеми и чрезвычайно робкий: глядя на нее, никогда не заподозришь, какой личностью она является. Но едва она погружается в гипнотический сон, как с ней происходит метаморфоза. Ее лицо уже не то. Правда, она держит глаза закрытыми, но острота других чувств заменяет их. Она веселая, шумная, беспокойная, иногда невыносимо. Она остается добродушной, но приобрела необыкновенную склонность к иронии и острому шутовству. Нет ничего любопытнее, чем услышать ее после посиделок, когда к ней пришли незнакомцы, пожелавшие увидеть ее спящей. Она дает их словесный портрет, подражает их манерам, притворяется, что знает их маленькие нелепые стороны и страсти, и для каждого придумывает роман. К этому характеру следует добавить обладание огромным количеством воспоминаний, о существовании которых она даже не подозревает в бодрствующем состоянии, поскольку амнезия у нее тогда полная..... Она отказывается от имени Леония и берет имя Леонтина (Леония 2), к которому ее приучили первые магнетизеры. "Эта добрая женщина - не я, - говорит она, - она слишком глупа! Себе, Леонтине или Леонии 2, она приписывает все ощущения и все действия, словом, весь сознательный опыт, который она пережила в

сомнамбулизме, и связывает их воедино, чтобы составить историю своей и без того долгой жизни. С другой стороны, Леонии 1 [так М. Жане называет бодрствующую женщину] она приписывает исключительно события, пережитые в часы бодрствования. Поначалу меня поразило важное исключение из правил, и я был склонен думать, что в этом разделении ее воспоминаний может быть что-то произвольное. В обычном состоянии у Леонии есть муж и дети; но Леония-2, сомнамбула, признавая детей своими, приписывает мужа "другому". Такой выбор, возможно, объясним, но он не подчиняется никаким правилам. Только позже я узнал, что в ранние годы ее магнетизеры, столь же дерзкие, как и некоторые гипнотизеры последнего времени, погружали ее в сомнамбулизм при первых родах и что она спонтанно впадала в это состояние при последующих. Таким образом, Леония 2 была совершенно права, приписывая себе детей - ведь это она их родила, и правило, согласно которому первое трансовое состояние формирует другую личность, не было нарушено. Но то же самое происходит и со вторым, самым глубоким состоянием транса. Когда после повторных пассов, обмороков и т. д. она достигает состояния, которое я назвал Леонией 3, она все еще является другой личностью. Серьезная и серьезная, вместо того чтобы быть неугомонным ребенком, она медленно говорит и мало двигается. Она снова отделяет себя от бодрствующей Леонии 1. "Хорошая, но довольно глупая женщина, - говорит она, - а не я". И она также отделяет себя от Леонии 2: "Как вы можете видеть что-то от меня в этом безумном существе?" - говорит она. К счастью, я для нее ничто".

Леония 1 знает только себя; Леония 2 - себя и Леонию 1; Леония 3 - себя и обеих других. У Леонии 1 сознание визуальное; у Леонии 2 - и визуальное, и слуховое; у Леонии 3 оно одновременно визуальное, слуховое и тактильное. Профессор Жанет сначала думал, что именно он является первооткрывателем Леонии-3. Но она рассказала ему, что и раньше часто бывала в таком состоянии. Бывший магнетизер попал к ней так же, как и М. Жанет, когда пытался с помощью пассов углубить сон Леонии-2.

"Это воскрешение сомнамбулического персонажа, который исчез в течение двадцати лет, достаточно любопытно; и, обращаясь к Леонии 3, я, естественно, теперь принимаю имя Леонора, которое дал ей ее первый хозяин".

Наиболее тщательно изученным случаем множественной личности является случай с истеричным юношей Людовиком V, о котором ММ. Бурру и Бурот написали книгу.^[313] Симптомы слишком сложны, чтобы воспроизводить их здесь с подробностями. Достаточно сказать, что Людовик V. вел нерегулярную жизнь, служил в армии, находился в госпиталях и в исправительных домах, и у него было множество истерических анестезий, параличей и контрактур, нападавших на него в разное время и в разных местах. В восемнадцать лет в сельскохозяйственном исправительном доме его укусила гадюка, что вызвало судорожный криз и оставило *обе его ноги* парализованными на три года. Во время этого состояния он был кроток, нравственен и трудолюбив. Но вдруг, после длительного судорожного припадка, паралич исчез, а вместе с ним и память на все время, в течение которого он находился в таком состоянии. Изменился и его характер: он стал ссориться, тревоугодничать, невежлив, воровал вино у товарищей, деньги у санитаров, а в конце концов сбежал из заведения и яростно дрался, когда его догнали и поймали. Позже, когда он впервые попал под наблюдение авторов, его *правая сторона* была наполовину парализована и бесчувственна, а характер невыносим; применение металлов перенесло паралич на *левую* сторону, отменило воспоминания о другом состоянии и перенесло его психически обратно в больницу

Бикетра, где он лечился от аналогичного физического состояния. Его характер, взгляды, образование - все это претерпело сопутствующую трансформацию. Он уже не был тем человеком, который был в тот момент. Вскоре выяснилось, что любое нынешнее нервное расстройство в нем может быть временно устранено с помощью металлов, магнитов, электрических или других ванн и т. д.; и что любое прошлое расстройство может быть возвращено гипнотическим внушением. Он также пережил быстрое спонтанное повторение серии своих прошлых расстройств после каждого из конвульсивных приступов, которые случались с ним через определенные промежутки времени. Было замечено, что каждое физическое состояние, в котором он оказывался, исключало определенные воспоминания и влекло за собой определенную модификацию характера.

"Закон этих изменений, - говорят авторы, - совершенно ясен. Существуют точные, постоянные и необходимые отношения между телесным и психическим состоянием, так что невозможно изменить одно из них, не изменив параллельно другое".[314]

Таким образом, случай с этим протеиформным индивидуумом, похоже, подтверждает закон М. П. Джанета о том, что анестезии и пробелы в памяти идут вместе. Соединив закон Джанета с законом Локка о том, что изменения памяти приводят к изменениям личности, мы должны получить очевидное объяснение, по крайней мере, некоторых случаев альтернативной личности. Но простая анестезия недостаточно объясняет изменения предрасположенности, которые, вероятно, вызваны изменениями в первичности моторных и ассоциативных путей, координированных с сенсорными путями, а не последовательных по отношению к ним. И действительно, достаточно взглянуть на другие случаи, кроме случая М. Джанет, чтобы показать нам, что чувствительность и память не связаны между собой каким-либо неизменным образом.[315] Закон М. Джанета, верный для его собственных случаев, не кажется верным для всех.

Разумеется, рассуждать о том, что может быть причиной амнезий, которые лежат в основе изменений в "Я", - это всего лишь догадки. Естественно, ссылаются на изменения кровоснабжения. Попеременное действие двух полушарий было давно предложено доктором Уиганом в его книге о двойственности разума. Я вернусь к этому объяснению после рассмотрения третьего класса изменений Я, а именно тех, которые я назвал "владениями".

Совсем недавно я познакомился со случаем альтернативной личности "амбулаторного" типа, который дал мне разрешение назвать его имя на этих страницах.[316]

Преподобный Ансель Борн из города Грин, штат Иллинойс, получил профессию плотника, но в результате внезапной временной потери зрения и слуха при весьма своеобразных обстоятельствах он обратился из атеизма в христианство незадолго до своего тридцатого года и с тех пор по большей части ведет жизнь странствующего проповедника. Большую часть жизни он страдал от головных болей и временных приступов подавленности духа, у него было несколько приступов потери сознания, длившихся час или меньше. У него также есть участок несколько сниженной кожной чувствительности на левом бедре. В остальном его здоровье хорошее, а мышечная сила и выносливость превосходны. Он обладает твердым и уверенным в себе характером, человек, для которого "да" - это "да", а "нет" - "нет"; его честный характер настолько известен в обществе, что ни один человек,

знающий его, ни на минуту не допустит возможности того, что его случай не является совершенно подлинным.

17 января 1887 года он взял 551 доллар в банке в Провиденсе, чтобы заплатить за определенный участок земли в Грине, оплатил некоторые счета и сел в лошадиную повозку в Паутукете. Это последний инцидент, который он помнит. В тот день он не вернулся домой, и в течение двух месяцев о нем ничего не было слышно. О нем писали в газетах как о пропавшем без вести, и полиция, подозревая нечестную игру, тщетно искала его местонахождение. Однако утром 14 марта в Норристауне, штат Пенсильвания, человек, называвший себя А. Дж. Брауном, который шесть недель назад снял небольшой магазинчик, набил его канцелярскими товарами, кондитерскими изделиями, фруктами и мелочами и вел свою тихую торговлю, не казавшуюся никому неестественной или эксцентричной, проснулся в испуге и позвал жителей дома, чтобы они сказали ему, где он находится. Он сказал, что его зовут Энсел Борн, что он совершенно не знаком с Норристауном, что он ничего не знает о содержании магазинов и что последнее, что он помнит - казалось, только вчера, - это как он забирал деньги из банка и т. д. в Провиденсе. Он не мог поверить, что прошло уже два месяца. Жители дома решили, что он сошел с ума; то же самое поначалу сделал и доктор Луис Х. Рид, которого они вызвали к нему. Но по телеграфу в Провиденс пришли подтверждающие сообщения, и вскоре его племянник, мистер Эндрю Харрис, прибыл на место, все прояснил и отвез его домой. Он был очень слаб, потеряв за время своей выходки, очевидно, более двадцати фунтов плоти, и испытывал такой ужас перед идеей конфетного магазина, что отказался снова заходить в него.

Первые две недели этого периода остались неучтенными, поскольку после возвращения к нормальной жизни он ничего не помнил, и никто из знакомых, похоже, не видел его после того, как он ушел из дома. Примечательная часть изменения - это, конечно же, особые занятия, которым предавался так называемый Браун. Мистер Борн никогда в жизни не имел ни малейшего отношения к торговле. Соседи описывали "Брауна" как неразговорчивого, упорядоченного в своих привычках и ни в коем случае не странного. Он несколько раз ездил в Филадельфию, пополнял свои запасы, готовил себе еду в задней лавке, где и спал, регулярно посещал церковь, а однажды на молитвенном собрании произнес, по мнению слушателей, хорошую речь, в ходе которой рассказал о происшествии, свидетелем которого он стал в своем родном городе Борне.

Это все, что было известно об этом случае до июня 1890 года, когда я побудил мистера Борна подвергнуться гипнозу, чтобы проверить, не вернется ли в гипнотическом трансе его "коричневая" память. Это произошло с удивительной готовностью; настолько, что оказалось совершенно невозможно заставить его, пока он находился в гипнозе, вспомнить какие-либо факты из его обычной жизни. Он слышал об Анселе Борне, но "не знал, встречался ли он с этим человеком". На вопрос о миссис Борн он ответил, что "никогда не видел эту женщину" и т. д. С другой стороны, он рассказал о своих странствиях в течение потерянных двух недель,^[317] и сообщил всевозможные подробности об эпизоде в Норристауне. Все это было достаточно прозаично; и личность Брауна, похоже, не что иное, как довольно сжатый, удрученный и амнезийный отрывок самого мистера Борна. Он не называет никаких мотивов для странствий, кроме того, что "там были неприятности" и он "хотел отдохнуть". Во время транса он выглядит постаревшим, уголки его рта опущены, голос медленный и слабый, он сидит, прикрыв глаза, и тщетно пытается

вспомнить, что было до и после двух месяцев, проведенных в Брауне. "Я весь в изгороди, - говорит он, - не могу выбраться ни с одной стороны. Я не знаю, что усадило меня в ту лошадиную повозку в Паутукете, и не знаю, как я вообще вышел из того магазина и что с ним стало". Его глаза практически нормальны, а все его чувства (за исключением замедленной реакции) в гипнозе примерно такие же, как и в бодрствовании. Я надеялся с помощью внушения и т. д. объединить две личности в одну и сделать воспоминания непрерывными, но никакие ухищрения не помогли этого добиться, и череп мистера Борна и по сей день покрыт двумя отдельными личностями.

Этот случай (независимо от того, есть в нем эпилептический элемент или нет), по-видимому, следует отнести к спонтанному гипнотическому трансу, продолжавшемуся в течение двух месяцев. Особенность его в том, что ничего подобного в жизни этого человека никогда не случалось, и что никакие эксцентричности характера не проявились. В большинстве подобных случаев приступы повторяются, а чувствительность и поведение заметно меняются.^[318]

3. При "медиумизме" или "одержимости" вторжение и выход из вторичного состояния происходят относительно резко, а продолжительность состояния обычно невелика - от нескольких минут до нескольких часов. Когда вторичное состояние хорошо развито, после возвращения первичного сознания не остается памяти ни о чем, что происходило во время него. Субъект во время вторичного сознания говорит, пишет или действует так, как будто его оживляет инопланетянин, и часто называет имя этого инопланетянина и рассказывает его историю. В старые времена инородный "контроль" обычно был демоном, и сейчас он таковым является в сообществах, которые поддерживают эту веру. У нас он в худшем случае выдает себя за индейца или другого гротескно говорящего, но безобидного персонажа. Обычно он выдает себя за дух умершего человека, известного или неизвестного присутствующим, и тогда субъект становится тем, кого мы называем "медиумом". Медиумизм во всех его проявлениях кажется совершенно естественным особым типом альтернативной личности, а восприимчивость к нему в той или иной форме - отнюдь не редкий дар у людей, не имеющих других явных нервных аномалий. Феномены очень сложны, и их только начинают изучать с должной научной точки зрения. Низшей стадией медиумизма является автоматическое письмо, причем в том случае, когда субъект знает, какие слова придут, но чувствует, что его побуждают написать их как бы извне. Далее следует бессознательное письмо, даже во время чтения или разговора. Вдохновенные речи, игра на музыкальных инструментах и т. д. также относятся к относительно низшим фазам одержимости, в которых обычное "я" не исключено из сознательного участия в исполнении, хотя инициатива, как кажется, исходит откуда-то извне. В высшей фазе транс завершен, голос, язык и все изменено, и не остается никаких воспоминаний до следующего транса. Одна из любопытных вещей в трансовых изречениях - это их общее сходство у разных людей. Здесь, в Америке, "контролер" - это либо гротескный, сленговый и легкомысленный персонаж ("индейские" контролеры, называющие дам "скво", мужчин - "храбрецами", дом - "вигвамом" и т. д. и т. п., слишком распространены); либо, если он отваживается на более высокие интеллектуальные полеты, он изобилует любопытной туманной оптимистической философией и водой, в которой постоянно повторяются фразы о духе, гармонии, красоте, законе, прогрессии, развитии и т. д. Создается впечатление, что больше половины трансовых посланий, независимо от того, кем они произнесены, написаны одним автором. Все ли подсознательные "я" особенно восприимчивы к определенному слою *Zeitgeist* и черпают вдохновение из него, я не знаю; но это явно относится к вторичным "я", которые становятся

"развитыми" в спиритуалистических кругах. Там зачатки медиумического транса неотличимы от эффектов гипнотического внушения. Субъект берет на себя роль медиума просто потому, что мнение ожидает этого от него в данных условиях; и выполняет ее со слабостью или живостью, пропорциональной его гистрионным дарованиям. Но странно, что люди, не подверженные спиритическим традициям, так часто ведут себя точно так же, когда впадают в оцепенение, говорят от имени ушедших, совершают несколько смертельных агоний, посылают сообщения о своем счастливом доме в летней стране и описывают болезни присутствующих. У меня нет теории, чтобы опубликовать эти случаи, несколько из которых я видел лично.

В качестве примера автоматических письменных представлений приведу рассказ о собственном случае, любезно предоставленный мне мистером Сиднеем Дином из Уоррена, штат Айленд, членом Конгресса от Коннектикута с 1855 по 1859 год, который всю свою жизнь был энергичным и деятельным журналистом, автором и человеком дела. В течение многих лет он занимался писательской деятельностью и имеет большую коллекцию автоматически созданных рукописей.

"Некоторые из них, - пишет он нам, - написаны иероглифами или странными составными произвольными символами, каждая серия которых обладает кажущимся единством в общем дизайне или характере, после чего следует то, что якобы является переводом или передачей на материнский английский. Я никогда не пытался скопировать эти иероглифы. Они были вырезаны с точностью инструмента гравера и, как правило, одним быстрым движением карандаша. Многие языки, некоторые устаревшие и ушедшие из истории, якобы даны. Увидев их, вы убедитесь, что никто не может скопировать их иначе, как по слепку.

"Однако это лишь малая часть явлений. Автоматизм" уступил место *внушению*, и во время работы я нахожусь в нормальном состоянии, и, кажется, два разума, интеллекта, личности практически задействованы. Письмо написано моей собственной рукой, но под диктовку не моего собственного разума и воли, а другого, на темы, о которых я не могу иметь ни знаний, ни теории; и я сам сознательно критикую мысль, факт, способ его выражения и т. д., в то время как рука записывает тему и даже слова, внушенные для написания. Если я отказываюсь писать предложение или даже слово, впечатление мгновенно прекращается, и моя готовность должна быть мысленно выражена, прежде чем работа будет возобновлена, и она возобновляется в точке прекращения, даже если это должно быть в середине предложения. Предложения начинаются без моего ведома об их теме или окончании. На самом деле, я никогда не знал заранее, о чем пойдет речь.

"Сейчас, в неопределенное время, не подчиняясь моей воле, идет работа над серией из двадцати четырех глав, посвященных научным особенностям жизни, моральной, духовной, вечной. Семь уже написаны в указанном порядке. Им предшествовали двадцать четыре главы, относящиеся в целом к жизни за пределами материальной смерти, ее характеристикам и т. д. Каждая глава подписана именем какого-либо человека, жившего на земле, - с некоторыми я был знаком лично, другие известны по истории..... Я ничего не знаю о предполагаемом авторстве той или иной главы до тех пор, пока она не будет завершена, а имя не будет проставлено и приложено к ней..... Меня интересует не только предполагаемое авторство, - о котором у меня нет ничего подтверждающего, - но и преподаваемая философия, о которой я был в неведении до появления этих глав. С моей жизненной позиции, а именно с позиции библейской ортодоксии, эта

философия является новой, кажется разумной и логически обоснованной. Я признаюсь, что не в состоянии успешно опровергнуть ее к своему удовлетворению.

"Это разумное "я", которое пишет, или же влияние принимает индивидуальность, что практически делает из влияния личность. Это *не* я сам; это я осознаю на каждом этапе процесса. Я также изучил всю область утверждений о "бессознательной церебрации", так называемой, насколько я компетентен критически исследовать её, и она, как теория, терпит неудачу во многих пунктах, когда применяется к этой странной работе через меня. Для меня было бы гораздо разумнее и удовлетворительнее принять глупую гипотезу реинкарнации - старую доктрину метемпсихоза, - как учат сегодня некоторые спиритуалисты, и поверить, что я жил здесь прошлой жизнью, и что время от времени она овладевает моими интеллектуальными способностями и пишет главы по философии жизни, или открывает почтовое отделение для духов, чтобы они сбрасывали свои излияния и переводили их в английскую письменность. Нет; самое простое и естественное решение для меня - признать сделанное утверждение, то есть что пишет воплощенный интеллект. Но *кто*? Вот в чем вопрос. Имена ученых и мыслителей, которые когда-то жили, прикреплены к самым неграмматичным и слабым из bosh.....

"Мне кажется разумным, если исходить из гипотезы, что это человек, использующий чужой разум или мозг, что в сообщении должно быть больше или меньше стиля или тона этого другого, и что невидимой личности, то есть силе, которая производит впечатление, принадлежит мысль, факт или философия, а не стиль или тон. Например, пока влияние впечатляет мой мозг с величайшей силой и быстротой, так что мой карандаш летит по бумаге, чтобы записать мысли, я сознаю, что во многих случаях средство выражения мысли, то есть язык, очень естественно и знакомо мне, как будто каким-то образом *моя* личность как писателя смешивается с сообщением. И опять же, стиль, язык, все совершенно чуждо моему собственному стилю".

Обильное знакомство с трансами одного медиума убедило меня в том, что "контроль" может быть совершенно иным, чем любое *возможное* бодрствующее "я" человека. В случае, который я имею в виду, он представляется неким покойным французским врачом; и, как я убежден, он знаком с фактами об обстоятельствах, живых и мертвых родственниках и знакомых множества людей, которых медиум никогда не встречала раньше и имен которых она никогда не слышала. Я излагаю здесь свое мнение, не подкрепленное доказательствами, не для того, конечно, чтобы обратить кого-либо в свою веру, а потому, что убежден, что серьезное изучение этих трансовых феноменов - одна из величайших потребностей психологии, и думаю, что мое личное признание, возможно, привлечет читателя или двух читателей в область, которую обычно отказывается исследовать *столь диссонирующий "ученый"*.

Многие люди нашли убедительные доказательства того, что в некоторых случаях контроль действительно является тем самым ушедшим духом, за которого он себя выдает. Феномены настолько постепенно переходят в случаи, когда это очевидно абсурдно, что предположение (совершенно не зависящее *от априорных* "научных" предрассудков) сильно против того, чтобы это было правдой. Случай с Луранси Веннум, пожалуй, является самым крайним случаем "одержимости" современного типа, какой только можно найти.^[319] Луранси была четырнадцатилетней девочкой, жившей с родителями в Ватсеке, штат Иллинойс, которая (после различных мучительных истерических расстройств и спонтанных трансов, во время которых она была одержима ушедшими духами более или менее гротескного вида) в конце

концов объявила себя оживленной духом Мэри Рофф (дочери соседа, умершей в психушке двенадцать лет назад) и настояла на том, чтобы ее отправили "домой", в дом мистера Роффа. После недели "тоски по дому" и настойчивых просьб родители согласились, и Роффы, которые жалели ее и были спиритуалистами, взяли ее к себе. Оказавшись там, она, похоже, убедила семью, что их умершая Мэри поменяла место жительства с Луранси. Луранси, мол, временно находится на небесах, а дух Мэри теперь управляет ее организмом и снова живет в своем прежнем земном доме.

"Девочка, теперь уже в своем новом доме, казалась совершенно счастливой и довольной, она знала всех людей и все, что знала Мэри в своем теле двенадцать-двадцать пять лет назад, узнавала и называла по имени тех, кто был друзьями и соседями семьи с 1852 по 1865 год, когда Мэри умерла, обращала внимание на десятки, да, сотни происшествий, случившихся во время ее естественной жизни. За все время своего пребывания у мистера Роффа она не знала и не узнавала никого из семьи мистера Веннума, их друзей или соседей, однако мистер и миссис Веннум и их дети навещали ее и людей мистера Роффа, и ее представляли им, как незнакомым людям. После частых визитов, слыша, как часто и благосклонно о них говорят, она научилась любить их как знакомых и трижды навещала их вместе с миссис Рофф. Изо дня в день она выглядела естественной, легкой, приветливой и трудолюбивой, прилежно и добросовестно выполняла свои домашние обязанности, помогала в общей работе семьи, как и полагается верной и благоразумной дочери, пела, читала или беседовала, когда предоставлялась возможность, по всем вопросам, представляющим частный или общий интерес для семьи."

Так называемая Мэри во время пребывания у Роффов иногда "возвращалась на небеса" и покидала тело в "тихом трансе", то есть без возвращения первоначальной личности Луранси. Однако через восемь или девять недель память и манера поведения Луранси иногда частично, но не полностью, возвращались на несколько минут. Однажды Луранси, похоже, на короткое время полностью овладела собой. Наконец, примерно через четырнадцать недель, в соответствии с пророчеством, которое "Мэри" сделала, когда впервые взяла на себя "контроль", она окончательно ушла, и сознание Луранси вернулось навсегда. Мистер Рофф пишет:

"Она хотела, чтобы я отвез ее домой, что я и сделал. Она назвала меня мистером Роффом и разговаривала со мной так, как разговаривала бы молодая девушка, не будучи знакомой. Я спросил ее, как ей представляются вещи - кажутся ли они естественными. Она ответила, что все кажется ей сном. Она встретила своих родителей и братьев очень ласково, обнимая и целуя каждого со слезами радости. Она долго сжимала руки на шее отца, почти задушив его поцелуями. Я видел ее отца только что (в одиннадцать часов). Он говорит, что она вела себя совершенно естественно и, кажется, полностью здорова".

Мать Луранси пишет через несколько месяцев, что она была

"Совершенно и абсолютно здоровой и естественной. В течение двух или трех недель после возвращения домой она казалась немного странной по сравнению с тем, какой она была до болезни прошлым летом, но, возможно, это лишь естественная перемена, произошедшая с девочкой, и разве что ей казалось, будто она спит или видит сон и т. д. Луранси стала умнее, сообразительнее, трудолюбивее, женственнее и вежливее, чем прежде. Мы ставим в заслугу ее полное излечение и восстановление ее семьи, доктора Э. У. Стивенса, а также

мистера и миссис Рофф, которые добились ее перевода к мистеру Роффу, где ее излечение было завершено. Мы твердо уверены, что, останься она дома, она бы умерла, или мы были бы вынуждены отправить ее в приют для умалишенных; а если так, то она бы умерла там; и еще, что я не смог бы прожить и короткого времени, если бы на меня свалились все заботы и хлопоты". Несколько родственников Луранси, включая нас самих, теперь верят, что она была исцелена силой духа и что Мэри Рофф управляла девочкой".

Восемь лет спустя Луранси сообщили, что она замужем, стала матерью и находится в добром здравии. Очевидно, она переросла медиумическую фазу своего существования.[\[320\]](#)

О состоянии чувствительности во время этих вторжений было сделано немного наблюдений. У двух автоматических писателей я обнаружил анестезию рук во время акта. У двух других я обнаружил, что это не так. Автоматическому письму обычно предшествуют стреляющие боли по нервам руки и нерегулярные сокращения мышц руки. У одного медиума я обнаружил нечувствительность языка и губ к уколам во время транса (разговорного).

Если мы поразмышляем о состоянии мозга во время всех этих различных извращений личности, то увидим, что он должен быть способен последовательно менять все свои способы действия и отказываться на время от использования целых наборов хорошо организованных ассоциативных путей. Ничем иным нельзя объяснить потерю памяти при переходе от одного чередующегося состояния к другому. И не только это, но мы должны признать, что организованные системы путей могут быть отброшены к другим, так что процессы в одной системе порождают одно сознание, а процессы в другой системе - другое, *одновременно* существующее сознание. Только так мы можем понять факты автоматического письма и т. д., когда пациент находится вне транса, а также ложные анестезии и амнезии истерического типа. Но какого рода диссоциацию может обозначать фраза "выбитый из колеи", мы не можем даже предположить; только я думаю, что мы не должны говорить об удвоении "я", как если бы оно заключалось в неспособности объединиться со стороны определенных систем *идей*, которые обычно это делают. Лучше говорить об *объектах*, которые обычно объединяются и которые теперь разделены между двумя "я", в истерических и автоматических случаях, о которых идет речь. Каждое из этих "я" обусловлено системой мозговых путей, действующих сами по себе. Если бы мозг действовал нормально, и разобщенные системы снова объединились, то в результате мы получили бы новое поражение сознания в виде третьего "Я", отличного от двух других, но знающего их объекты вместе.

Некоторые особенности в низших автоматических представлениях позволяют предположить, что системы, выведенные из зацепления друг с другом, содержатся одна в правом, а другая в левом полушарии. Например, испытуемые часто пишут задом наперед, или переносят буквы, или пишут зеркально. Все эти являются симптомами аграфического заболевания. Левая рука, если оставить ее естественный импульс, у большинства людей будет писать зеркальным шрифтом легче, чем естественным. Мистер Ф. У. Х. Майерс сделал акцент на этих аналогиях.[\[321\]](#) Он также обратил внимание на обычный низкий моральный тон обычного планшетного письма. Согласно принципам Хьюлинга Джексона, левое полушарие, будучи более развитым органом, в обычное время подавляет активность правого; но мистер Майерс предполагает, что во время автоматических представлений

обычное торможение может быть снято и правое полушарие может действовать самостоятельно. Вполне вероятно, что в какой-то степени так оно и есть. Но грубое объяснение "двух" "я" двумя полушариями, конечно, далеко от мысли Майерса. Самих себя может быть больше, чем два, и мозговые системы, используемые для каждой из них, должны быть представлены как взаимопроникающие друг в друга в очень незначительной степени.

РЕЗЮМЕ.

Подведем итоги этой длинной главы. Сознание Я включает в себя поток мыслей, каждая часть которого в качестве "я" может 1) помнить тех, кто был раньше, и знать то, что знали они; и 2) подчеркивать и заботиться в первую очередь о некоторых из них как о "я", а *остальное относить к ним*. Ядром "я" всегда является телесное существование, ощущаемое как присутствующее в данный момент. Все запомнившиеся ощущения, *напоминающие* это настоящее чувство, считаются принадлежащими одному с ним "я". Какие бы другие вещи ни воспринимались как *связанные* с этим чувством, они считаются частью *опыта* этого "я"; и некоторые из них (которые колеблются в большей или меньшей степени) считаются *составляющими* "я" в более широком смысле, например одежда, материальные ценности, друзья, почести и уважение, которые человек получает или может получить. Это я - эмпирическая совокупность вещей, объективно известных. Я, которое их знает, само по себе не может быть совокупностью, и для психологических целей его не нужно рассматривать как неизменную метафизическую сущность, подобную Душе, или принцип, подобный чистому Эго, рассматриваемому как "вне времени". Это *Мысль*, в каждый момент отличная от той, что была в предыдущий момент, но *присваивающая* себе последнюю, вместе со всем тем, что последняя называла своим собственным. Все эмпирические факты находят свое место в этом описании, не обремененном никакими гипотезами, кроме гипотезы о существовании мимолетных мыслей или состояний ума. Один и тот же мозг может обслуживать множество сознательных "я", либо чередующихся, либо сосуществующих; но каковы изменения в его действии, и могут ли вмешиваться ультрацеребральные условия - это вопросы, на которые сейчас невозможно ответить.

Если кто-то возразит, что я не называю *причин*, по которым сменяющие друг друга мысли должны наследовать друг друга, или почему они и состояния мозга должны быть функциями (в математическом смысле) друг друга, я отвечу, что причина, если она есть, должна лежать там, где лежат все настоящие причины, - в общем смысле или значении мира. Если есть такой смысл или хоть какое-то приближение к нему (а мы обязаны верить, что он есть), то только он может прояснить нам, почему столь конечные человеческие потоки мысли вызываются к существованию в такой функциональной зависимости от мозгов. Это все равно, что сказать, что специальная естественная наука *психология* должна остановиться на простой функциональной формуле. *Если проходящая мысль является непосредственно проверяемым существом, в чем до сих пор не сомневалась ни одна школа, то эта мысль сама является мыслителем*, и психологии не нужно смотреть дальше. Единственный путь, который я могу открыть для привлечения более трансцендентального мыслителя, - это *отрицание* того, что мы обладаем каким-либо *непосредственным* знанием о мысли как таковой. Тогда существование последней будет сведено к постулату, утверждению, что *должен существовать знающий*, соотносимый со всем *известным*; а проблема, *кто этот знающий*, станет метафизической проблемой. Когда вопрос поставлен в этих терминах, спиритуалистические и трансценденталистские решения должны рассматриваться как *prima facie* наравне с нашими собственными психологическими решениями и обсуждаться беспристрастно. Но это выводит нас за рамки психологической или натуралистической точки зрения.

[257] См. очаровательный отрывок из "Философии одежды" в книге Г. Лотце "Микрокосмос", англ. перев. т. I, с. 592 и далее.

[258] "Кто отнимает у меня мое доброе имя" и т. д.

[259] "Тот, кто воображает, что похвала и бесчестье не являются сильными побудительными мотивами для людей... кажется мало сведущим в природе и истории человечества; большая его часть, как он обнаружит, управляет собой в основном, если не исключительно, по этому закону моды; и поэтому они делают то, что поддерживает их репутацию в их компании, не обращая внимания на законы Бога или магистрата. О наказаниях, которые следуют за нарушением законов Божьих, некоторые, да и большинство, людей редко задумываются всерьез; а среди тех, кто задумывается, многие, пока нарушают законы, думают о будущем примирении и замирении за такие нарушения; что же касается наказаний, вытекающих из законов содружества, то они часто льстят себя надеждой на безнаказанность. Но ни один человек не избегает наказания *их* порицания и неприязни, если он противоречит моде и мнению той компании, в которой он состоит и в которой хотел бы себя зарекомендовать. Не найдется и одного из десяти тысяч, кто был бы достаточно жестким и бесчувственным, чтобы выдержать постоянную неприязнь и осуждение своего собственного клуба. Нужно обладать странной и необычной конституцией, чтобы довольствоваться тем, что жить в постоянном позоре и немилости в своем собственном обществе. Многие люди ищут уединения и примиряются с ним; но никто, в ком нет ни малейшей мысли или чувства человека, не может жить в обществе под постоянной неприязнью и дурным мнением своих знакомых и тех, с кем он общается. Это слишком тяжелое бремя для человека, и он должен состоять из непримиримых противоречий, чтобы получать удовольствие от общества и при этом не чувствовать презрения и позора со стороны своих товарищей". (Очерк Локка, кн. II, гл. xxviii, § 12).

[260] Дальнейшие замечания об этих чувствах движения см. в [следующей главе](#).

[261] Рассказ Вундта о самосознании заслуживает сравнения с этим. То, что я назвал "приспособлениями", он называет процессами "апперцепции". "В этом развитии (сознания) одна особая группа восприятий претендует на выдающееся значение, а именно те, источник которых лежит в нас самих. Образы ощущений, которые мы получаем от нашего собственного тела, и представления наших собственных движений отличаются от всех других тем, что образуют *постоянную* группу. Поскольку некоторые мышцы всегда находятся в состоянии напряжения или активности, из этого следует, что мы никогда не испытываем недостатка в ощущении, тусклом или ярком, положения или движения нашего тела..... Это постоянное чувство, кроме того, имеет ту особенность, что мы осознаем свою способность в любой момент добровольно вызвать любой из его компонентов. Ощущения движения мы возбуждаем немедленно такими импульсами воли, которые вызывают сами движения; зрительные и осязательные ощущения нашего тела мы возбуждаем добровольным движением наших органов чувств. Таким образом, мы представляем себе эту постоянную массу ощущений как непосредственно или отдаленно подчиненную нашей воле и называем ее *самосознанием*. Это самосознание вначале является полностью сенсорным, ... лишь постепенно преобладает второе из названных его свойств - подчинение нашей воле. В той мере, в какой восприятие всех наших психических объектов представляется нам внутренним упражнением воли, наше самосознание начинает одновременно и расширяться, и сужаться. Оно расширяется в том смысле, что каждый психический акт, какой бы он ни был, оказывается связанным с нашей волей; и оно сужается в том смысле, что все более и более

концентрируется на внутренней деятельности апперцепции, на фоне которой наше собственное тело и все связанные с ним представления представляются внешними объектами, отличными от нашего собственного "я". Это сознание, сжатое до процесса апперцепции, мы называем нашим Я; а апперцепцию психических объектов вообще можно, вслед за Лейбницем, обозначить как возведение их в наше самосознание. Таким образом, естественное развитие самосознания неявно включает в себя самые абстрактные формы, в которых эта способность была описана в философии; только философия любит помещать абстрактное "я" в начало, и таким образом обращать процесс развития вспять. Не следует также упускать из виду тот факт, что полностью абстрактное эго [как чистая активность], хотя и предполагается естественным развитием нашего сознания, никогда не встречается в нем в действительности. Самый умозрительный из философов не в состоянии отделить свое "я" от тех телесных ощущений и образов, которые составляют непрерывный фон его осознания себя. Представление о своем "я" как таковом, как и всякое представление, вытекает из чувственности, ибо сам процесс апперцепции доходит до нашего знания главным образом через те чувства напряжения [то, что я выше назвал внутренним регулированием], которые его сопровождают." (Physiologische Psychologie, 2te Aufl. Bd. ii, pp. 217-19.)

[262] Единственное известное мне исключение - М. Ж. Сурио в своей важной статье в *Revue Philosophique*, vol. xxi, p. 449. Заключение М. Сурио гласит: "Совесть не существует" (p. 472).

[263] См. прекрасные замечания профессора Бейна об "Эмоции власти" в его "Эмоциях и воле".

[264] Ср. Карлайл: *Sartor Resartus*, "The Everlasting Yea". "Говорю тебе, болван, все это происходит от твоего тщеславия; от того, что ты воображаешь, будто те же самые твои пустыни являются таковыми. Если ты воображаешь, что заслуживаешь быть повешенным (что наиболее вероятно), ты почувствуешь счастье быть только застреленным: если ты воображаешь, что заслуживаешь быть повешенным в волосяной петле, то для тебя будет роскошью умереть в пеньке. Какой законодательный акт был принят, чтобы *вы* были счастливы? Не так давно ты вообще не имел права *быть счастливым*" и т. д. и т. п.

[265] Перевод Т. В. Хиггинсона (1866), с. 105.

[266] "Обычный способ ослабить шок от разочарования или неуважения - это, по возможности, низко оценить тех, кто его причиняет. Это наше средство от несправедливых нареканий партийного духа, равно как и от личной злобы". (Bain: *Emotion and Will*, p. 209.)

[267] Следует заметить, что качества "Я", сформированные таким образом в идеале, - это все качества, одобренные моими реальными собратьями в первую очередь; и что причина, по которой я теперь апеллирую от их вердикта к вердикту идеального судьи, заключается в некоторых внешних особенностях конкретного случая. То, что когда-то вызывало во мне восхищение как мужество, теперь стало в глазах людей "дерзостью"; то, что было стойкостью, стало упрямством; то, что было верностью, стало фанатизмом. Только идеальный судья, как я теперь полагаю, может прочесть мои качества, мои желания, мои силы такими, каковы они на самом деле. Мои товарищи, введенные в заблуждение интересами и предрассудками, сбились с пути.

[268] Вид эгоизма зависит от того, к какому "я" стремятся. Если речь идет о телесном "я"; если человек хватается лучшую еду, теплый угол, свободное место; если он никому не дает места, плюет и отрывает нам в лицо, - мы называем это свинством. Если это социальное "я" в виде популярности или влияния, к которому он жаждет, он может материальными способами подчинить себя другим как лучшее средство для достижения своей цели; и в этом случае он

очень склонен выдавать себя за бескорыстного человека. Если он стремится к "потустороннему" "я", и если он стремится к нему аскетически, - хотя он предпочел бы видеть все человечество вечно проклятым, чем потерять свою индивидуальную душу, - "святость", вероятно, будет тем именем, которым назовут его эгоизм".

[269] Лотце, Мед. Psych. 498-501; Microcosmos, bk. ii, chap. v, §§ 3, 4.

[270] Psychologische Analysen auf Physiologischer Grundlage. Theil ii, 2te Hälfte, § 11. Весь раздел должен быть прочитан.

[271] Профессор Бэйн в своей главе "Эмоции себя" не очень справедливо оценивает примитивную природу значительной части нашего самоощущения и, кажется, сводит его к рефлексивной самооценке трезвого интеллектуального типа, которой, конечно, *большинство* из них не является. Он говорит, что, когда внимание обращено внутрь себя как Личности, "мы выполняем по отношению к себе те упражнения, которые должным образом сопровождают созерцание других людей. Мы привыкли внимательно изучать поступки и поведение тех, кто рядом с нами, *оценивать* одного человека выше, чем другого, сравнивая их; *жалеть* того, кто попал в беду; испытывать *благодарные* по отношению к конкретному человеку; *поздравлять* человека с удачей, которую нам приятно видеть, как он обретает; *восхищаться* величием или совершенством, проявленными кем-либо из наших товарищей. Все эти упражнения, как и Любовь и Негодование, по своей сути социальные; изолированный индивид никогда не сможет ни достичь их, ни проявить. Каким же образом, с помощью какой выдумки [!] мы можем переложить их на самих себя? Или как получается, что мы получаем какое-либо удовлетворение, ставя себя на место другой стороны? Возможно, самой простой формой отраженного действия является самооценка, основанная на наблюдении за поступками и поведением наших ближних. Вскоре мы начинаем сравнивать окружающих нас людей; мы видим, что один из них сильнее и выполняет больше работы, чем другой, и, как следствие, возможно, получает большую зарплату. Мы видим, что один проявляет, возможно, больше доброты, чем другой, и, как следствие, получает больше любви. Мы видим, как некоторые люди превосходят остальных в удивительных подвигах и привлекают к себе взгляды и восхищение толпы. У нас возникает ряд устойчивых ассоциаций по отношению к таким людям; благоприятных в случае с вышестоящими и неблагоприятных в случае с нижестоящими. Сильному и трудолюбивому человеку мы приписываем оценку большей награды и чувствуем, что быть на его месте было бы более счастливым жребием, чем выпадает другим. Желая, как мы это делаем, исходя из первичных побуждений нашего существа, обладать благами и наблюдая, что они достаются нам благодаря превосходящим усилиям человека, мы испытываем уважение к таким усилиям и желание, чтобы они принадлежали нам. Мы знаем, что и сами прилагаем усилия, чтобы получить свою долю благ; и, наблюдая за другими, мы склонны вспоминать себя и сравнивать с собой, причем эти сравнения интересны своими существенными последствиями. Научившись однажды смотреть на других людей как на людей, совершающих труд, больший или меньший, и получающих плоды по согласию; будучи, кроме того, во всех отношениях похожими на наших братьев, мы находим не трудным и не бессмысленным упражнением созерцать себя как совершающего труд и получающего вознаграждение..... Как мы решаем между одним человеком и другим, кто из них достойнее... так мы решаем между собой и всеми другими людьми, находясь, однако, в этом решении под влиянием наших собственных желаний".
Несколькими страницами дальше мы читаем: "Термины "самодовольство". Самовосхваление" обозначается позитивное удовольствие от сосредоточения на собственных заслугах и достоинствах. Как и в других видах, так и здесь отправной точкой является созерцание превосходства или приятных качеств *в другом человеке*,

сопровожаемое в большей или меньшей степени симпатией или любовью". В этом месте профессор Бейн также рассматривает жалость к себе как эмоцию, отвлеченную от более непосредственного объекта, "в манере, которую мы можем назвать фиктивной и нереальной". Тем не менее, поскольку мы можем рассматривать себя в свете другого человека, мы можем испытывать по отношению к нему эмоцию жалости, которую вызывают другие в нашей ситуации".

Этот рассказ профессора Бейна, надо заметить, является хорошим образцом старомодного способа объяснения нескольких эмоций как быстрых расчетов результатов и переноса чувства с одного объекта на другой, связанный по смежности или сходству с первым. Зоологический эволюционизм, появившийся после того, как профессор Бейн впервые написал эту книгу, заставил нас увидеть, что многие эмоции должны быть *примитивно* вызваны особыми объектами. Ни одна из них не заслуживает звания примитивной в большей степени, чем самовосхваление и унижение, сопутствующие нашим собственным успехам и неудачам в выполнении основных жизненных функций. Для этих чувств нам не нужны заимствованные размышления. Профессор Бейн говорит лишь о той малой части нашего самоощущения, которую рефлексивная критика может добавить к общей массе или вычистить из нее.

[272] "Also nur dadurch, dass ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in *einem Bewusstsein* verbinden kann, ist es möglich dass ich die *Identität des Bewusstseins* in diesen *Vorstellungen* selbst vorstelle, d. h. die analytische Einheit der Apperception ist nur unter der Voraussetzung irgend einer synthetischen möglich." В этом отрывке (Критик чистого разума, 2-е изд. § 16) Кант называет именами аналитической и синтетической апперцепции то, что мы здесь понимаем под объективным и субъективным синтезом соответственно. Очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь придумал хорошую пару терминов, в которых можно было бы зафиксировать это различие - те, что используются в тексте, конечно, очень плохи, но Кант кажется мне еще хуже. "Категориальное единство" и "трансцендентальный синтез" также были бы хорошими кантовскими, но вряд ли хорошими человеческими выражениями.

[273] Так что мы могли бы сказать, в качестве плохого каламбура: "Только связанный мир может быть известен как несвязанный". Я говорю "плохой каламбур", потому что точка зрения смещается между связанностью и несвязанностью. Разъединенность относится к известным реалиям; связанность - к знанию о них; а реальность и знание о ней - это, с психологической точки зрения, которой мы придерживаемся на этих страницах, два разных факта.

[274] Какой-нибудь тонкий читатель возразит, что Мысль не может назвать какую-либо часть своего объекта "Я" и связать с ней другие части, не связав сначала эту часть с собой; и что она не может связать ее с собой, не зная себя, - так что наше предположение (выше, с. 304) о том, что Мысль может не иметь непосредственного знания о себе, таким образом, оказывается опровергнутым. На это можно ответить, что мы должны быть осторожны, чтобы не быть обманутыми словами. Слова "я" и "мне" не означают ничего таинственного и неповторимого - это, по сути, лишь названия *акцентов*; а Мысль всегда что-то подчеркивает. В пределах познаваемого ею пространства она противопоставляет "*здесь*" и "*там*"; в пределах времени - "*сейчас*" и "*потом*"; пару вещей она называет одна *этой*, другая - *той*. Я и ты, я и оно - различия, точно такие же, как и эти, - различия, возможные в исключительно *объективной* области знания, причем "я" означает для Мысли не что иное, как телесную жизнь, которую она мгновенно ощущает. Чувство моего телесного существования, каким бы

неясным оно ни было, *может* быть абсолютным первоначалом моей сознательной самости, фундаментальным восприятием того, что *я есть*. Мысль, которая в данный момент не осознает себя, может присвоить ему все, что угодно. Являются ли они не только логическими возможностями, но и реальными фактами, в тексте еще не решено догматически.

[275] Metaphysik, § 245 *fin*. Этот автор, который в своей ранней работе, "Медицинской психологии", был (насколько я знаю) убежденным защитником теории души-субстанции, написал в §§ 243-5 своей "Метафизики" самую прекрасную критику этой теории из всех существующих.

[276] Об эмпирической и трансцендентальной концепциях единства Я см. Lotze, Metaphysic, § 244.

[277] Приложение к первой книге "Трактата о человеческой природе" Юма.

[278] Гербарт тоже верил в душу; но для него "Я", которое мы "сознаем", - это эмпирическое "Я", а не душа.

[279] Сравните еще раз замечания на [стр. 158-162](#) выше.

[280] Система психологии (1884). т. i, с. 114.

[281] "Отличается только от *наблюдения*", - добавляет он. Чьему наблюдению? Внешнему психологу, Эго, своему собственному или доске? *Darauf kommt es an!*

[282] Анализ и т. д., издание Дж. С. Милля, т. i, с. 331. "Как это было" восхитительно характерно для этой школы.

[283] Анализ Дж. Милля, т. ii, с. 175.

[284] Examination of Hamilton. 4th ed. p. 263.

[285] Его глава о психологической теории разума - прекрасный пример, и его уступки в ней стали настолько знаменитыми, что их необходимо процитировать для пользы читателя. Он заканчивает главу такими словами (*loc. cit.* p. 247): "Таким образом, теория, рассматривающая разум как серию чувств, с фоном возможностей чувств, может эффективно противостоять самым недоброжелательным аргументам, направленным против нее. Но как бы ни были необоснованны внешние возражения, теория имеет внутренние трудности, которые мы не излагали и которые, как мне кажется, не под силу устранить метафизическому анализу....."

"Нити сознания, составляющие феноменальную жизнь разума, состоят не только из настоящих ощущений, но также, частично, из воспоминаний и ожиданий. Что же это такое? Сами по себе они являются настоящими ощущениями, состояниями настоящего сознания, и в этом отношении не отличаются от ощущений. Все они, кроме того, напоминают некоторые данные ощущения или чувства, о которых мы уже имели опыт. Но их особенность состоит в том, что каждое из них предполагает веру в нечто большее, чем его собственное настоящее существование. Ощущение предполагает только это; но воспоминание об ощущении, даже если оно не относится к какой-либо конкретной дате, предполагает предположение и веру в то, что ощущение, копией или представлением которого оно является, действительно существовало в прошлом; а ожидание предполагает веру, более или менее позитивную, в то, что ощущение или другое чувство, к которому оно непосредственно относится, будет существовать в будущем. Явления, связанные с этими двумя состояниями сознания, также не могут быть адекватно выражены, если не сказать, что вера, которую они включают,

состоит в том, что я сам раньше имел или что я сам, и никто другой, в будущем буду иметь ощущения, которые помню или ожидаю. Факт, в который верят, заключается в том, что эти ощущения действительно составляли или будут составлять в будущем часть той же самой серии состояний, или потока сознания, частью которого является воспоминание или ожидание этих ощущений. Поэтому, если мы говорим о разуме как о серии ощущений, мы вынуждены завершить это утверждение, назвав его серией ощущений, которая осознает себя как прошлое и будущее; и мы оказываемся перед альтернативой: поверить, что разум, или Эго, - это нечто отличное от любой серии ощущений или их возможностей, или принять парадокс, что нечто, что *ex hypothesi* является лишь серией ощущений, может осознавать себя как серию.

"Истина заключается в том, что мы находимся лицом к лицу с той окончательной необъяснимостью, к которой, как замечает сэр У. Гамильтон, мы неизбежно приходим, когда достигаем конечных фактов; и в целом один способ изложения представляется более непонятным, чем другой, только потому, что весь человеческий язык приспособлен к одному и настолько несовместим с другим, что не может быть выражен ни в каких терминах, которые не отрицают его истинности. Настоящий камень преткновения, возможно, находится не в какой-либо теории факта, а в самом факте. Истинная непостижимость, возможно, заключается в том, что нечто, прекратившееся или еще не существующее, все еще может быть в некотором роде настоящим; что ряд чувств, бесконечно большая часть которых относится к прошлому или будущему, может быть собран, как бы, в простое настоящее представление, сопровождаемое верой в реальность. Я думаю, что самое мудрое, что мы можем сделать, это принять необъяснимый факт без какой-либо теории о том, как он происходит; а когда мы вынуждены говорить о нем в терминах, которые предполагают теорию, использовать их с оговоркой относительно их значения".

Позднее в той же книге (с. 561) Милль, говоря о том, что можно справедливо требовать от теоретика, говорит: "Он не имеет права строить теорию на основе одного класса явлений, распространять ее на другой класс, которому она не соответствует, и оправдываться тем, что если мы не можем заставить ее соответствовать, то это потому, что конечные факты необъяснимы". Классы явлений, которые ассоцианистская школа берет за основу своей теории Эго, - это чувства, не знающие друг друга. Класс феноменов, который представляет Эго, - это чувства, в которых последующие интенсивно осознают те, что были раньше. Эти два класса не "подходят" друг другу, и никакие упражнения в изобретательности не смогут заставить их соответствовать друг другу. Никакое *перетасовывание* неосознанных чувств не может сделать их осознанными. Чтобы получить осознание, мы должны открыто просить его, постулируя новое чувство, которое им обладает. Это новое чувство - не "теория" явлений, а простое их изложение; и как таковое я постулирую в тексте нынешнее проходящее Мышление как психическое целое, с его знанием о многом, что было раньше.

[286] Kritik d. reinen Vernunft, 2te Aufl. § 17.

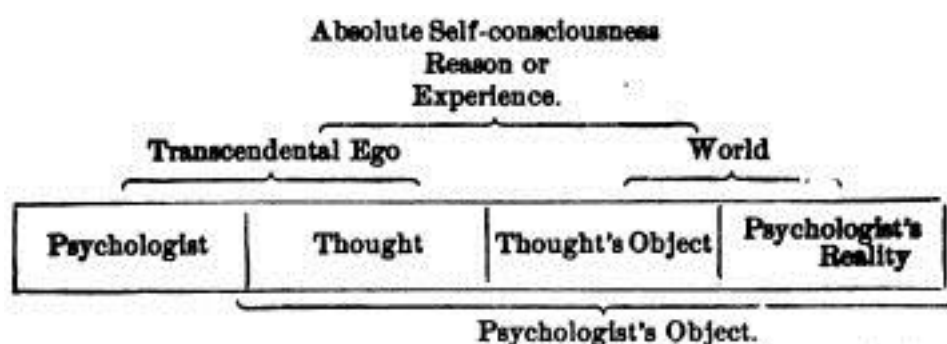
[287] Следует заметить, в справедливости сказанного выше на [стр. 274](#) и далее, что ни Кант, ни его преемники нигде не различают *присутствия* апперцептивного "Я" в объединенном объекте и *осознания* этим "Я" своего собственного присутствия и своей отличности от того, что оно апперцептирует. То, что объект должен быть известен тому, что *мыслит*, и то, что он должен быть известен тому, что *мыслит, что он мыслит*, рассматривается ими как тождественные необходимости, - по какой логике, не сообщается. Кант пытается смягчить скачок в рассуждениях, говоря, что мысль о себе со стороны "Я" должна быть только *потенциальной* - "'Я мыслю" должно *быть* способно сопровождать все другие знания", - но

мысль, которая является только потенциальной, на самом деле не является мыслью вообще, что практически лишает дело смысла.

[288] "Что касается души, то теперь, или "я", "мыслитель", все движение Канта вперед по сравнению с Юмом и сенсационной психологией направлено на демонстрацию того, что субъект знания является *агентом*". (G. S. Morris, Kant's Critique, etc. (Chicago, 1882), p. 224.)

[289] "В "Пролегоменах" Канта, - говорит Г. Коэн, - я сам не нашел этого отрывка, - прямо говорится, что проблема состоит не в том, чтобы показать, как возникает опыт (*ensteht*), а в том, из чего он состоит (*besteht*)". (Kant's Theorie d. Erfahrung (1871), p. 138.)

[290] Контраст между достигнутым таким образом монизмом и нашей собственной психологической точкой зрения может быть представлен схематически таким образом: термины в квадратах обозначают то, что для нас является конечными несводимыми данными психологической науки, а vincula над ними символизируют редукции, которые осуществляет посткантианский идеализм:



Эти редукции объясняют повсеместное распространение "заблуждения психолога" (bk. ii, ch. i, p. 32) в современных монистических трудах. Для нас непростительный логический грех, говоря о знании мысли (либо об объекте, либо о себе), без предупреждения менять термины и, подставляя вместо них знание психолога, делать вид, будто мы продолжаем говорить о том же самом. Для монистического идеализма это само по себе бесправие философии, и, конечно же, нельзя слишком сильно потакать ему.

[291] Т. Х. Грин, Пролегомены к этике, §§ 57, 61, 64.

[292] *Loc. cit.* § 64.

[293] E. Caird: Hegel (1883), p. 149.

[294] Возникает почти искушение поверить, что пантомимическое состояние ума и состояние гегелевской диалектики - это, с эмоциональной точки зрения, одно и то же. В пантомиме все обычные вещи происходят невозможным образом, люди вцепляются друг другу в горло, дома выворачиваются наизнанку, старухи становятся молодыми мужчинами, все "переходит в свою противоположность" с немыслимой быстротой и мастерством; и это, не вызывая недоумения, приводит зрителя в восторг. Так и в гегелевской логике, отношения, которые в других местах признаются под нелепым названием различий (например, между познающим и объектом, многим и единым), должны быть сначала превращены в невозможности и противоречия, затем "трансцендированы" и идентифицированы чудом, прежде чем будет создан соответствующий настрой для полного наслаждения зрелищем, которое они демонстрируют.

[295] Читатель, пожалуйста, поймет, что я вполне готов оставить гипотезу о трансцендентальном Эго как замене преходящей Мысли открытой для обсуждения на *общих спекулятивных основаниях*. Только в этой книге я предпочитаю придерживаться предположения здравого смысла о том, что у нас есть последовательные сознательные состояния, потому что все психологи делают это, и потому что не видно, как может быть написана психология, которая не постулирует такие мысли в качестве своих конечных данных. Данные всех естественных наук становятся, в свою очередь, объектами критической обработки, более тонкой, чем та, которой подвергаются сами науки; так же, в конечном счете, может обстоять дело и с нашей мимолетной Мыслью. Мы сами видели (с. 299-305), что *чувственная уверенность* в ее существовании не так сильна, как обычно предполагается. Моя ссора с трансцендентальными эгоистами касается главным образом *оснований* их веры. Если бы они последовательно предлагали его в качестве *замены* преходящей Мысли, если бы они последовательно *отрицали существование последней*, я бы больше уважал их позицию. Но, насколько я могу их понять, они привычно верят и в проходящую мысль. Они, кажется, даже верят в локковский поток отдельных идей, ибо главная слава Эго на их страницах всегда заключается в его силе "преодолевать" эту разделенность и объединять естественно разъединенное, "*синтезируя*", "*соединяя*" или "*связывая*" идеи вместе, используемые писателями-трансценденталистами как синонимы для обозначения знания различных объектов сразу. Считается, что не быть сознательным вообще, а быть сознательным многих вещей вместе - это трудная задача в нашей психической жизни, которую может выполнить только чудотворное Эго. Но на какой скользкой почве оказывается человек, когда он меняет определенное понятие познания объекта на совершенно неопределенное понятие объединения или синтеза идей его различных частей! В главе "Сенсация" мы снова столкнемся с этим.

[296] "Когда мы сравниваем вялое бездействие младенца, дремлющего с момента принятия молочной пищи до момента, когда он просыпается, чтобы потребовать ее снова, с беспокойной энергией того могучего существа, которым он станет в зрелые годы, изливая истину за истиной, в быстром и ослепительном изобилии, на мир или хватая в свои руки судьбы империй, как мало обстоятельств сходства, которые мы можем проследить, со всем тем интеллектом, который впоследствии должен быть проявлен; Как мало мы видим того, что служит для приведения в слабое движение простого механизма жизни!... Каждый возраст, если мы можем говорить о многих возрастах в течение нескольких лет человеческой жизни, кажется, отмечен определенным характером. Каждый из них имеет свои особые объекты, возбуждающие живые привязанности; и в каждом из них напряжение возбуждается привязанностями, которые в другие периоды заканчиваются, не вызывая активных желаний. Мальчик находит мир в меньшем пространстве, чем то, которое ограничивает его видимый горизонт; он блуждает по своему полю и истощает свои силы в погоне за предметами, которыми в последующие годы можно только пренебречь; в то время как для него предметы, которые впоследствии поглотят всю его душу, так же безразличны, как и предметы его нынешних страстей, которым суждено появиться..... Сколько, должно быть, у каждого было возможностей наблюдать прогресс интеллектуального разложения и холодность, которая овладевает некогда доброжелательным сердцем! Мы покидаем нашу страну, возможно, в раннем возрасте, а после многолетнего отсутствия возвращаемся со всеми воспоминаниями о прошлых удовольствиях, которые становятся все более нежными по мере приближения к объекту. Мы с нетерпением ищем того, чей отцовский голос мы привыкли слушать с таким же благоговением, как если бы его предсказания обладали оракульной достоверностью, - того, кто первым привел нас к знаниям, и чей образ постоянно соединялся в нашем сознании с тем почитанием, которое не запрещает любовь. Мы находим его погруженным, возможно, в имбецильность идиотизма, неспособным узнать нас, - не знающим ни прошлого, ни

будущего и живущим лишь чувством животного удовлетворения. Мы ищем любимого товарища нашего детства, чья сердечная нежность и т.д. Мы находим его ожесточившимся человеком, встречающим нас с трудом, с холодным лицемерием распущенной дружбы, в его общих отношениях к миру, не заботящимся о страданиях, *которых он не должен испытывать.....* Наблюдая все это,... не используем ли мы лишь малозначительную метафору, когда говорим о нем, что он стал другим человеком, что его ум и характер изменились? В чем состоит идентичность?... Предполагаемый тест на идентичность, когда он применяется к разуму в этих случаях, полностью проваливается. Он не влияет и не подвержен влиянию тем же способом при тех же обстоятельствах. Следовательно, если проверка справедлива, это не тот же самый идентичный разум". (Т. Браун: Лекции по философии человеческого разума, "О ментальной идентичности").

[297] "У сэра Джона Катлера была пара черных камвольных чулок, которые его служанка так часто штопала шелком, что в конце концов они превратились в пару шелковых чулок. Теперь, если предположить, что эти чулки сэра Джона наделены некоторой степенью сознания при каждой конкретной штопке, они бы чувствовали, что это одна и та же отдельная пара чулок и до, и после штопки; и это ощущение продолжалось бы в них на протяжении всей череды штопок; и все же после последней из всех, не, возможно, ни одной нити осталось от первой пары чулок: но они стали шелковыми чулками, как было сказано ранее." (Martinus Scriblerus Поупа, цитируется Брауном, там же).

[298] Hours of Work and Play, p. 100.

[299] Тщательное исследование ошибок в повествованиях см. в E. Gurney: Phantasms of the Living, vol. i, pp. 126-158. В "Трудах Общества психических исследований" за май 1887 года мистер Ричард Ходжсон на множестве примеров показывает, насколько совершенно неточным может быть описание по памяти быстрого ряда событий.

[300] См. Джозайя Ройс (Mind, vol. 13, p. 244, и Proceedings of Am. Soc. of Psych. Research, vol. i, p. 366), где приводятся доказательства того, что определенный вид галлюцинаций памяти, который он называет "псевдопрезентиментом", не является редким явлением.

[301] Maladies de la Mémoire, p. 85. То, как мало осталось бы от личного сознания, если бы все наши органы чувств прекратили свою работу, бесхитростно показано в замечании необычного юноши-анестезиолога, о случае которого сообщает профессор Штрюмпель (в Deutsches Archiv f. klin. Med., xxii, 847, 1878). Этот мальчик, которого мы впоследствии найдем поучительным во многих отношениях, был полностью анестетичен снаружи и (насколько можно было проверить) внутри, за исключением зрения одним глазом и слуха одним ухом. Когда ему закрывали глаз, он говорил: "*Wenn ich nicht sehen kann, da bin ich gar nicht-l no longer am*".

[302] "Ни с чем нельзя сравнить состояние пациента так хорошо, как с состоянием гусеницы, которая, сохраняя все свои гусеничные идеи и воспоминания, вдруг превращается в бабочку с чувствами и ощущениями бабочки. Между старым и новым состоянием, между первым "я", гусеницей, и вторым "я", бабочкой, происходит глубокое расщепление, полный разрыв. Новые чувства не находят предшествующего ряда, к которому они могли бы привязаться; пациент не может ни интерпретировать, ни использовать их; он их не узнает, они ему неизвестны. Отсюда два вывода, первый из которых состоит в том, что он говорит: "*Меня больше нет*"; второй, несколько более поздний, состоит в том, что он говорит: "*Я - другой человек*". (H. Taine: de l'Intelligence, 3me édition (1878), p. 462).

[303] В. Гризингер: Психические заболевания, § 29.

[304] См. интересный случай "старого Пня" в *Proceedings of the Am. Soc. for Psych. Research*, p. 552.

[305] *De l'Intelligence*, 3me édition (1878), vol. ii, note, p. 461. Книга Кришабера (*La Névropathie Cérébro-cardiaque*, 1873) полна подобных наблюдений.

[306] Внезапные перемены во внешней удаче часто вызывают такие изменения в эмпирическом я, которые почти равносильны патологическому нарушению самосознания. Когда бедняк выигрывает крупный приз в лотерею или неожиданно получает наследство; когда человек, пользующийся большой славой, публично опозорен, миллионер становится нищим или любящий муж и отец видит, как его семья гибнет одним махом, то временно происходит такой разрыв между всеми прошлыми привычками, активными или пассивными, и потребностями и возможностями новой ситуации, что человек не находит никакой среды преемственности или ассоциации, которая перенесла бы его с одной фазы на другую в его жизни. В таких условиях нередко возникают психические отклонения.

[307] Число субъектов, которые могут делать это с какой-либо плодотворностью и изобилием, относительно невелико.

[308] Впервые в *Revue Scientifique* за 26 мая 1876 года, затем в своей книге *Hypnotisme, Double Conscience, et Altérations de la Personnalité* (Paris, 1887).

[309] *Der Hypnotismus* (1884), pp. 109-15.

[310] *Transactions of the College of Physicians of Philadelphia*, April 4, 1888. Также, менее полно, в журнале *Harper's Magazine*, май 1860 г.

[311] См. случаи из "Болезней памяти" Рибота. См. также большое их количество в книге Форбса Уинслоу "Непонятные болезни мозга и разума", главы xiii-xvii.

[312] См. интересный рассказ М. Ж. Жане в *Revue Scientifique*, 19 мая 1888 года.

[313] *Variations de la Personnalité* (Paris, 1888).

[314] *Op. cit.* p. 84. В этой работе и в работе доктора Азама (цитируется на предыдущей странице), а также в работе профессора Th. Ribot "*Maladies de la Personnalité*" (1885), читатель найдет информацию и ссылки относительно других известных случаев такого рода.

[315] Испытуемая его брата Wit...., хотя в состоянии бодрствования в анестезии она ничего не помнила ни об одном из своих трансов, все же помнила свой более глубокий транс (в котором ее чувствительность стала совершенной - см. выше, [стр. 207](#)), когда она находилась в легком трансе. Тем не менее в последнем она была такой же анестетичной, как и в бодрствующем состоянии. (*Loc. cit.* p. 619.) - Не похоже, что между двумя состояниями Фелиды X. существовало какое-то важное различие в ее чувствительности - насколько можно судить по рассказу М. Азама, она была в той или иной степени анестетичной в обоих состояниях (*op. cit.* pp. 71, 96). - В случае раздвоения личности, о котором сообщил М. Дюфай (*Revue Scientifique*, vol. xviii, p. 69), память, по-видимому, была лучше в более анестетическом состоянии. - Гипнотические субъекты, которых сделали слепыми, не обязательно теряют свои визуальные представления. Таким образом, оказывается, что амнезия может происходить без анестезии, а анестезия - без амнезии, хотя они могут встречаться и в комбинации. Гипнотические субъекты, ослепшие в результате внушения, скажут вам, что они ясно представляют себе вещи, которые они больше не могут видеть.

[316] Полный отчет о случае, рассказанном мистером Р. Ходжсоном, можно найти в "Трудах Общества психических исследований" за 1891 год.

[317] Он провел день в Бостоне, ночь в Нью-Йорке, день в Ньюарке и десять или более дней в Филадельфии, сначала в определенном отеле, а затем в определенном пансионе, не заводя никаких знакомств, "отдыхая", читая и "осматриваясь". К сожалению, мне не удалось получить независимое подтверждение этих деталей, поскольку реестры гостиниц уничтожены, а названный им пансион снесен. Он забыл имена двух дам, которые его содержали.

[318] Как видно, все детали этого дела *вполне совместимы* с симуляцией. Я могу лишь сказать, что никто из тех, кто обследовал мистера Борна (включая доктора Рида, доктора Вейра Митчелла, доктора Гая Хинсдейла и мистера Р. Ходжсона), практически не сомневается в его врожденной честности, и, насколько я могу судить, никто из его личных знакомых не придерживается скептических взглядов.

[319] The Watseka Wonder, by E. W. Stevens. Чикаго, Религиозно-философское издательство, 1887.

[320] Мой друг мистер Р. Ходжсон сообщил мне, что он посетил Ватсеку в апреле 1890 года и провел перекрестный допрос главных свидетелей этого дела. Его доверие к оригинальному рассказу укрепилось благодаря тому, что он узнал; кроме того, были установлены различные неопубликованные факты, которые увеличили правдоподобность спиритуалистической интерпретации этого явления.

[321] См. его очень важную серию статей об автоматическом письме и т. д. в Proceedings of the Soc. for Psych. Research, особенно статью ii (май 1885 г.). Сравните также поучительную статью д-ра Модсли в Mind, vol. xiv, p. 161, и эссе Люиса "Sur le Dédoublement" и т. д. в l'Encéphale за 1889 год.

ГЛАВА XI.

ВНИМАНИЕ.

Странно сказать, но такой очевидный факт, как постоянное присутствие избирательного внимания, почти не получил внимания психологов английской эмпирической школы. Немцы явно рассматривали его либо как способность, либо как результат, но на страницах таких авторов, как Локк, Хьюм, Хартли, Миллс и Спенсер, это слово почти не встречается, а если и встречается, то в скобках и как бы невзначай.[322] Мотив такого игнорирования феномена внимания достаточно очевиден. Эти авторы стремятся показать, что высшие способности разума являются чистыми продуктами "опыта", а опыт, как предполагается, должен быть чем-то просто *данным*. Внимание, подразумевающее определенную степень реактивной спонтанности, казалось бы, должно прорвать круг чистой восприимчивости, составляющей "опыт", и поэтому о нем нельзя говорить под страхом вмешательства в гладкость повествования.

Но стоит только задуматься над этим вопросом, как становится ясно, насколько ложно такое представление об опыте, которое приравнивает его к простому присутствию в органах чувств внешнего порядка. Миллионы предметов внешнего порядка присутствуют в моих органах чувств, но никогда не входят в мой опыт. Почему? Потому что они не представляют для меня

никакого интереса. Мой опыт - это то, на что я согласен обращать внимание. Только те предметы, которые я замечаю, формируют мое сознание - без избирательного интереса опыт представляет собой полный хаос. Только интерес дает акцент и ударение, свет и тень, фон и передний план - понятную перспективу, одним словом. Он варьируется в каждом существе, но без него сознание каждого существа было бы серой хаотичной неразборчивостью, которую мы даже не можем себе представить. Такой писатель-эмпирик, как мистер Спенсер, например, рассматривает существо как абсолютно пассивную глину, на которую обрушивается "опыт". На глине остаются самые глубокие следы там, где капли падают гуще всего, и так формируется окончательная форма разума. Дайте достаточно времени, и все разумные существа должны в конце концов принять идентичную ментальную конституцию, поскольку "опыт", единственный формирова́тель, является постоянным фактом, и порядок его элементов должен в конце концов быть точно отражен пассивным зеркалом, которое мы называем разумным организмом. Если бы такой рассказ был верен, то раса собак, выращиваемых в течение многих поколений, скажем, в Ватикане, с визуальными символами, изваянными из мрамора, представленными их глазам во всем многообразии форм и комбинаций, должна была бы очень скоро различать тончайшие оттенки этих особых символов. Одним словом, они должны были бы стать, если бы им было дано время, опытными *знатоками* скульптуры. Каждый может судить о вероятности такого завершения. Конечно, вечность знакомства со статуями оставит собаку такой же бесхитростной, какой она была вначале, за неимением первоначального интереса, к которому можно было бы привязать ее различение. Тем временем запахи у оснований постаментов организовались бы в сознании этой породы собак в систему "соответствий", к которой никогда не приблизится самая наследственная каста *хранителей*, просто потому, что для них, как для людей, интерес собаки к этим запахам навсегда останется непостижимой тайной. Эти авторы, таким образом, полностью игнорируют тот вопиющий факт, что субъективный интерес может, накладывая свой увесистый указательный палец на конкретные предметы опыта, так акцентировать их, чтобы придать наименее частым ассоциациям гораздо больше силы для формирования нашей мысли, чем наиболее частым. Сам интерес, хотя его происхождение, несомненно, совершенно *естественно*, *делает* опыт больше, чем он сам.

Каждый знает, что такое внимание. Это овладение сознанием, в ясной и яркой форме, одним из нескольких одновременно возможных объектов или составов мысли. Фокусировка, концентрация сознания - вот его суть. Она подразумевает отказ от одних вещей, чтобы эффективно работать с другими, и является состоянием, которое имеет реальную противоположность в виде растерянного, ошеломленного, рассеянного состояния, которое по-французски называется *рассеянностью*, а по-немецки - *Zerstreuung*.

Нам всем знакомо это последнее состояние, даже в его крайней степени. Большинство людей, вероятно, несколько раз в день впадают в нечто подобное: Глаза фиксируются на пустоте, звуки мира сливаются в смутное единство, внимание рассеивается так, что все тело ощущается как бы сразу, а передний план сознания заполняется если и чем-то, то неким торжественным чувством сдачи пустому течению времени. На тусклом фоне сознания мы тем временем знаем, что должны делать: встать, одеться, ответить собеседнику, попытаться сделать следующий шаг в рассуждениях. Но почему-то мы не можем *начать*; *мысли* не могут пробить панцирь летаргии, окутывающий наше состояние. Каждый миг мы ожидаем, что заклинание разрушится, поскольку не знаем причин, по которым оно должно продолжаться. Но оно продолжается, импульс за импульсом, и мы плывем вместе с ним, пока - также без причины, которую мы можем обнаружить, - не появляется энергия, что-то - мы не знаем что -

позволяет нам собраться, мы моргаем глазами, качаем головой, фоновые идеи становятся эффективными, и колеса жизни снова идут по кругу.

Это любопытное состояние торможения можно на несколько мгновений вызвать по желанию, зафиксировав взгляд на пустоте. Некоторые люди могут добровольно опустошить свой разум и "ни о чем не думать". Для многих, как замечает о себе профессор Экснер, это самый эффективный способ заснуть. Трудно не предположить, что нечто подобное рассеянному состоянию ума является обычным состоянием животных, когда они не заняты активной деятельностью. Усталость, монотонные механические занятия, которые заканчиваются тем, что они выполняются автоматически, обычно вызывают его у людей. Это не сон; и все же, когда человек пробуждается от такого состояния, он часто едва ли сможет сказать, о чем он думал. Субъекты гипнотического транса, похоже, впадают в него, когда предоставлены сами себе; на вопрос, о чем они думают, они отвечают: "Ни о чем конкретном!" [323]

Устранение этого состояния мы называем пробуждением внимания. Тогда в фокус сознания попадает один главный объект, остальные временно подавляются. Пробуждение может произойти либо под воздействием стимула извне, либо в результате какого-то неизвестного внутреннего изменения; и изменение, которое оно несет с собой, равносильно концентрации на одном единственном объекте с исключением всего остального, или состоянию, находящемуся между этим и полностью рассеянным состоянием.

СКОЛЬКО ВЕЩЕЙ МЫ МОЖЕМ ВОСПРИНИМАТЬ ОДНОВРЕМЕННО?

Вопрос об объеме сознания часто задавался и на него давались ответы - иногда *априорные*, иногда экспериментальные. Здесь мы, кажется, должны коснуться его; и наш ответ, в соответствии с принципами, изложенными в главе IX, не будет сложным. Число вещей, на которые мы можем обратить внимание, совершенно неопределенно, оно зависит от силы индивидуального интеллекта, от формы постижения и от того, что представляют собой эти вещи. Если воспринимать их концептуально, как связанную систему, их число может быть очень велико. Но как бы многочисленны ни были вещи, они могут быть познаны только в едином импульсе сознания, для которого они образуют один сложный "объект" (с. 276 и далее), так что, говоря правильно, перед разумом ни в коем случае не существует множественности *идей*, правильно называемых *идеями*.

Единство души", как полагали многие философы, которые также верили в отчетливую атомарную природу "идей", исключает присутствие в ней более чем одного объективного факта, проявляющегося в одной идее, в одно время. Даже Дугалд Стюарт считает, что каждый *минимальный видимый* элемент изображенной фигуры

"представляет собой столь же отчетливый объект внимания для ума, как если бы он был отделен промежутком пустого пространства от остального..... Невозможно, чтобы ум одновременно обращал внимание более чем на одну из этих точек; а поскольку восприятие фигуры подразумевает знание относительного положения различных точек по отношению друг к другу, мы должны заключить, что восприятие фигуры глазом является результатом ряда различных актов внимания. Эти акты внимания, однако, совершаются с такой быстротой, что эффект, по отношению к нам, такой же, как если бы восприятие было мгновенным". [324]

Такие вопиюще искусственные взгляды могут проистекать только из фантастической метафизики или из двусмысленности слова "идея", которое, обозначая то психическое состояние, то познаваемую вещь, заставляет людей приписывать вещи не только единство,

присущее психическому состоянию, но даже простоту, которая, как считается, пребывает в Душе.

Когда вещи постигаются *органами чувств*, их количество, которое может быть охвачено одновременно, невелико: "*Pluribus intentus, minor est ad singula sensus*".

"По мнению Чарльза Бонне, разум может иметь отчетливое представление о шести объектах одновременно; Абрахам Такер ограничивает это число четырьмя, а Дестют Трейси снова увеличивает его до шести. Мнение первого и последнего из этих философов" [продолжает сэр Вм. Гамильтон] "кажется мне правильным. Вы можете легко провести эксперименты самостоятельно, но при этом следует остерегаться группировать предметы в классы. Если вы бросите на пол горсть шариков, вам будет трудно рассмотреть сразу более шести, максимум семи, не запутавшись; но если вы сгруппируете их в двойки, тройки или пятерки, вы сможете понять столько же групп, сколько единиц; потому что разум рассматривает эти группы только как единицы - он рассматривает их как целое, а их части выбрасывает из рассмотрения".[325]

Профессор Джевонс, повторив это наблюдение, путем мгновенного подсчета бобов, брошенных в коробку, обнаружил, что число 6 было угадано правильно 120 раз из 147, 5 - 102 раза из 107, а 4 и 3 - всегда правильно. [326] Очевидно, что подобные наблюдения ничего не решают о нашем внимании, как его правильно называть. Они скорее измеряют отчасти отчетливость нашего зрения - особенно первичного образа-памяти[327] - отчасти количество ассоциаций у человека между увиденными расположениями и названиями чисел.[328]

Каждое число-имя - это способ восприятия фасоли как единого тотального объекта. В таком тотальном объекте все части гармонично сходятся к единому результирующему понятию; ни одна фасоль не имеет собственных особых расходящихся ассоциаций, и поэтому, с *практикой*, их может стать довольно много, пока мы не сможем правильно их оценить. Но когда "объект" перед нами распадается на части, не связанные друг с другом и образующие как бы отдельный объект или систему, не мыслимую в единстве с остальными, становится труднее воспринимать все эти части сразу, и ум склонен отпустить одну, пока он занимается другой. Тем не менее, в определенных пределах это можно сделать. М. Полхан тщательно экспериментировал в этом вопросе, произнося вслух одно стихотворение, а мысленно повторяя другое, или записывая одно предложение, а проговаривая другое, или производя вычисления на бумаге, читая стихи.[329] Он обнаружил, что

"наиболее благоприятным условием для удвоения ума является его одновременное применение к двум простым и разнородным операциям. Две операции одного рода, два умножения, два перечитывания или чтение одного стихотворения и написание другого делают процесс более неопределенным и трудным".

Внимание часто, но не всегда, колеблется во время этих представлений; и иногда слово из одной части задания переходит в другую. Когда я пытаюсь одновременно декламировать одно и писать другое, то обнаруживаю, что начало каждого слова или фразы - это то, что требует внимания. Как только я начинаю, мое перо бежит дальше на пару слов, словно под действием собственного импульса". М. Полхан сравнил время, которое занимают две одинаковые операции, выполняемые одновременно и последовательно, и обнаружил, что часто их одновременное выполнение дает значительный выигрыш во времени. Например:

"Я пишу первые четыре куплета "Аталии", одновременно декламируя одиннадцать из "Мюссе". Все исполнение занимает 40 секунд. Но только декламация занимает

22, а написание - 31, то есть всего 53, так что разница в пользу одновременных действий".

Или снова:

"Я умножаю 421 312 212 на 2; операция занимает 6 секунд; чтение 4 стихов также занимает 6 секунд. Но две операции, выполняемые одновременно, занимают только 6 секунд, так что потери времени от их совмещения нет".

Конечно, этим измерениям времени не хватает точности. С тремя системами объектов (письмо *каждой* рукой во время декламации) операция стала намного сложнее.

Если же под изначальным вопросом "Сколько идей или вещей мы можем рассматривать одновременно?" подразумевается, сколько совершенно несвязанных систем или процессов зачатия может происходить одновременно, то ответ таков: *не более одной, если только процессы не очень привычны; но тогда две, или даже три*, без особых колебаний внимания. Если же процессы менее автоматичны, как в истории с Юлием Цезарем, диктующим четыре письма, пока он пишет пятое, [330] должно происходить быстрое колебание сознания от одного к другому, и никакого последующего выигрыша времени. В любой из систем частей может быть бесчисленное множество, но мы рассматриваем их в совокупности, когда представляем себе целое, которое они образуют.

Когда предметом внимания являются небольшие ощущения, и когда необходимо точно их отметить, оказывается, что внимание к одному из них сильно мешает восприятию другого. В этой области была проделана большая работа, о которой я должен рассказать.

Давно замечено, что, когда ожидающее внимание сосредоточено на одном из двух ощущений, другое на мгновение вытесняется из сознания и кажется последующим, хотя в действительности эти два ощущения могут быть одновременными. Так, если воспользоваться привычным примером из книг, хирург иногда видит, как кровь течет из руки пациента, которому он делает кровопускание, *еще до того, как* он видит, как инструмент проникает в кожу. Точно так же кузнец может увидеть, как летят искры, *прежде чем* он увидит, как молот кует железо, и т. д. Таким образом, существует определенная трудность в восприятии точной *даты* двух впечатлений, когда они не интересуют наше внимание в равной степени, и когда они разного рода.

Профессор Экснер, чьи эксперименты по *минимально ощутимой последовательности* во времени двух ощущений мы должны будем процитировать в другой главе, делает несколько примечательных замечаний о том, как должно быть *настроено* внимание, чтобы уловить интервал и правильный порядок ощущений, когда время слишком мало. Речь идет о том, чтобы определить, были ли два сигнала одновременными или последовательными, и, если последовательными, то какой из них пришел первым.

Первый способ, в который он впал, - это когда сигналы не сильно различались, например, когда это были похожие звуки, услышанные одним ухом. В этом случае он ждал *первого* сигнала, каким бы он ни был, и в следующий момент определял его по памяти. Второй, который всегда можно было узнать по умолчанию, часто не был четко различим сам по себе. Когда времени оставалось слишком мало, первый сигнал вообще нельзя было отделить от второго.

Второй способ заключался в том, чтобы приспособить внимание к определенному сигналу, а в следующий момент осознать в памяти, пришел ли он до или после своего товарища.

"Этот способ несет в себе большую неопределенность. Неподготовленное впечатление приходит к нам в память более слабым, чем другое, неясным, как бы плохо зафиксированным во времени. Мы склонны принимать субъективно более сильный стимул, тот, на который мы рассчитывали, за первый, так же как мы склонны принимать объективно более сильный стимул за первый. Тем не менее, может случиться и иначе. В экспериментах по переходу от осязания к зрению мне часто казалось, что впечатление, к которому внимание *не было* готово, уже было, когда пришло другое".

Чаще всего Экснер прибегал к этому методу, когда впечатления сильно различались.^[331]

В таких наблюдениях (которые не следует путать с теми, где два сигнала идентичны, а их успешность известна как простое *удвоение*, без различия того, который пришел первым) очевидно, что каждый сигнал должен устойчиво сочетаться в нашем восприятии с *различным* моментом времени. Это простейший возможный случай, когда два несоответствующих понятия одновременно занимают сознание. Теперь случай *одновременности* сигналов представляется другим. Мы должны обратиться к Вундту за наблюдениями, позволяющими пролить на это более яркий свет.

Читатель помнит эксперименты с временем реакции, о которых мы рассказывали [в главе III](#). В экспериментах Вундта время реакции иногда сводилось к нулю или даже принимало отрицательное значение, что в переводе на обычный язык означает, что наблюдатель иногда был настолько сосредоточен на сигнале, что его реакция *фактически совпадала по времени с ним или даже предшествовала ему*, а не наступала через долю секунды после него, как это должно быть по природе вещей. Подробнее об этих результатах будет сказано позже. А пока Вундт, объясняя их, говорит следующее:

"В целом мы очень точно ощущаем одновременность двух раздражителей, если они не сильно отличаются по силе. И в серии экспериментов, в которых предупреждение предшествует, с фиксированным интервалом, стимулу, мы невольно стараемся реагировать не только как можно быстрее, но и так, чтобы наше движение совпало с самим стимулом. Мы стремимся к тому, чтобы наши собственные ощущения прикосновения и иннервации [мышечного сокращения] объективно *совпали с сигналом*, который мы слышим; и опыт показывает, что во многих случаях нам это примерно удается. В этих случаях мы отчетливо осознаем, что слышим сигнал, реагируем на него и чувствуем, как происходит наша реакция, - и все это в один и тот же момент".^[332]

В другом месте Вундт добавляет:

"Трудность этих наблюдений и сравнительная редкость исчезновения времени реакции показывает, как трудно, когда наше внимание напряжено, удерживать его даже на *двух* различных идеях одновременно. Заметим также, что когда это происходит, человек всегда пытается привести идеи в определенную связь, воспринять их как компоненты некоего сложного представления. Так, в экспериментах, о которых идет речь, мне часто казалось, что я своим собственным записывающим движением произвожу звук, который издает шарик, падая на доску".^[333]

В случаях, о которых говорит Вундт, "трудность" заключается в том, чтобы заставить два одновременных события кажущимся образом сочетаться в один и тот же момент времени. Нет никакой трудности, как он признает, в том, чтобы так разделить наше внимание между двумя *действительно* одновременными впечатлениями, чтобы ощутить их как таковые. Описанные им случаи - это действительно случаи анахронического восприятия, субъективного смещения во времени, если воспользоваться его собственным термином. Еще более любопытные случаи этого явления были тщательно изучены им. Они продвигают нас на шаг дальше в нашем исследовании, поэтому я процитирую их, используя, насколько это возможно, его точные слова:

"Условия усложняются, когда мы получаем серию впечатлений, разделенных четкими интервалами, в середину которых внезапно вносится разнородное впечатление. Тогда возникает вопрос, с каким членом серии мы воспринимаем дополнительное впечатление: с тем ли, с которым оно действительно сосуществует, или это какая-то абберрация?... Если дополнительный стимул принадлежит другому чувству, могут возникнуть очень значительные абберрации".

"Лучше всего экспериментировать с рядом зрительных впечатлений (которые можно легко получить от движущегося объекта) для серии и со звуком в качестве разрозненного впечатления. Пусть, например, указательная стрелка движется по круговой шкале с равномерной и достаточно медленной скоростью, так что производимые ею впечатления не сливаются, но позволяют отчетливо видеть ее положение в любой момент. Пусть часовой механизм, который ее вращает, имеет устройство, которое звонит в колокол один раз за каждый оборот, но в точке, которую можно изменять, так что наблюдателю никогда не нужно знать заранее, когда произойдет удар колокола. В таких наблюдениях возможны три случая. Удар колокола может быть воспринят либо точно в тот момент, на который указывает указатель при его звучании, - в этом случае смещения во времени не будет; либо мы можем совместить его с более поздним положением указателя - *положительное смещение во времени*, как мы его назовем; или, наконец, мы можем совместить его с положением указателя, более ранним, чем то, при котором произошел звук, - и это мы назовем *отрицательным смещением*. Наиболее естественным смещением было бы, по-видимому, положительное, так как для апперцепции всегда требуется определенное время..... Но опыт показывает, что дело обстоит как раз наоборот: чаще всего звук появляется раньше своей реальной даты - гораздо реже совпадает с ней или появляется позже. Следует заметить, что во всех этих экспериментах требуется некоторое время, чтобы получить отчетливо воспринимаемое сочетание звука с определенным положением указателя, и что одного оборота последнего никогда не бывает достаточно для этой цели. Движение должно продолжаться достаточно долго, чтобы сами звуки образовали регулярную серию - в результате мы получаем одновременное восприятие двух разных серий событий, из которых любая может изменять результат за счет изменения своей скорости. Первое, что отмечается, - это принадлежность звука к определенной области шкалы; лишь постепенно он воспринимается в сочетании с определенным положением индекса. Но даже результат, полученный путем наблюдения за многими оборотами, может быть недостаточно определенным, поскольку случайные сочетания внимания оказывают на него большое влияние. Если мы намеренно попытаемся совместить удар колокола с произвольно выбранным положением указателя, нам это удастся без труда, если только это положение не будет слишком удалено от истинного. Если же мы охватываем всю шкалу, за исключением одного деления, через которое мы

можем видеть прохождение указателя, мы имеем сильную тенденцию сочетать удар колокола с этим фактически видимым положением; и при этом мы можем легко упустить более 1/4 секунды времени. Результаты, поэтому, чтобы иметь какую-либо ценность, должны быть получены в результате длительных и очень многочисленных наблюдений, в которых такие нерегулярные колебания внимания нейтрализуют друг друга по закону больших чисел и позволяют проявиться истинным законам. Хотя мои собственные эксперименты продолжаются много лет (с перерывами), они еще недостаточно многочисленны, чтобы исчерпать тему - тем не менее, они выявляют основные законы, которым следует внимание в таких условиях".[334]

Вундт, соответственно, различает *направление* и *величину* кажущегося смещения во времени удара колокола. Направление зависит от скорости движения указателя и (следовательно) от скорости последовательности ударов колокола. Момент удара колокола он оценивал с наименьшей склонностью к ошибкам, когда обороты происходили раз в секунду. При более быстрой оценке преобладали *положительные* ошибки, при более медленной - почти всегда *отрицательные*. С другой стороны, если скорость *убыстрялась*, ошибки становились *отрицательными*, если *замедлялась* - *положительными*. Количество ошибок, в общем, тем больше, чем медленнее скорость и ее изменения. Наконец, преобладают индивидуальные различия, а также различия у одного и того же человека в разное время.[335]

Ученик Вундта фон Чиш провел эти эксперименты в еще более сложных масштабах,[336] используя не только один удар колокола, но и 2, 3, 4 или 5 одновременных впечатлений, так что внимание должно было отмечать место указателя в тот момент, когда происходила целая группа событий. Одиночный удар колокола фон Чиш всегда слышал слишком рано - смещение было неизменно "отрицательным". По мере добавления других одновременных впечатлений смещение становилось сначала нулевым, а затем положительным, то есть впечатления были связаны с положением указателя, которое было слишком поздним. Это замедление было больше, когда одновременные впечатления были разнородными (электрические тактильные стимулы на разных местах, простые сенсорные стимулы, различные звуки), чем когда все они были одного рода. Прирост заторможенности становился относительно меньше с каждым дополнительным впечатлением, так что вполне вероятно, что шесть впечатлений дали бы почти такой же результат, как и пять, максимальное число которых использовал герр фон Т.

Вундт объясняет все эти результаты своим предыдущим наблюдением, что реакция иногда предшествует сигналу (см. выше, с. 411). По его мнению, разум настолько сосредоточен на ударах колокола, что его "апперцепция" продолжает периодически созреть после каждого удара в ожидании следующего. Его наиболее естественная скорость созревания может быть быстрее или медленнее, чем скорость, с которой приходят удары. Если быстрее, то он слышит удар слишком рано; если медленнее, то слишком поздно. При этом положение указателя на шкале отмечается в тот момент, рано или поздно, когда субъективно слышен удар колокола. Если заменить несколько впечатлений одним ударом колокола, то созревание восприятия замедлится, и индекс будет виден слишком поздно. Так, по крайней мере, я понимаю объяснения, которые дают Херрен Вундт и В. Цшиш.[337]

Вот и все, что я хотел сказать о трудностях, связанных с объединением двух несопоставимых понятий, и о количестве вещей, на которые мы можем одновременно обращать внимание.

РАЗНОВИДНОСТИ ВНИМАНИЯ.

Говорят, что вещи, на которые мы обращаем внимание, нас *интересуют*. Предполагается, что наш интерес к ним является *причиной* нашего внимания. Что делает объект интересным, мы увидим позже; а позже поинтересуемся, в каком смысле интерес может вызывать внимание. А пока

Внимание можно разделить на виды различными способами. Оно либо направлено на

а) Объекты чувств (сенсорное внимание); или

б) идеальные или представляемые объекты (интеллектуальное внимание). Оно либо

в) непосредственным; или

г) производным: непосредственным, когда тема или стимул интересны сами по себе, без связи с чем-либо еще; производным, когда они обязаны своим интересом ассоциации с какими-то другими интересными вещами. То, что я называю производным вниманием, было названо "апперцептивным" вниманием. Кроме того, внимание может быть либо

д) пассивным, рефлекторным, произвольным, не требующим усилий; или

е) активным и добровольным.

Добровольное внимание всегда является производным; мы никогда не прилагаем усилий, чтобы обратить внимание на объект, кроме как ради какого-то *отдаленного* интереса, которому эти усилия послужат. Но и сенсорное, и интеллектуальное внимание может быть как пассивным, так и добровольным.

При *пассивном непосредственном сенсорном внимании* стимулом является ощущение-впечатление, либо очень интенсивное, объемное или внезапное, - в этом случае безразлично, какова его природа, будь то зрение, звук, запах, удар или внутренняя боль, - либо это *инстинктивный* стимул, восприятие, которое в силу своей природы, а не просто силы, обращается к одному из наших нормальных врожденных импульсов и имеет непосредственно возбуждающее качество. В главе "Инстинкт" мы увидим, как эти стимулы различаются у разных животных и каковы большинство из них у человека: странные предметы, движущиеся предметы, дикие животные, яркие предметы, красивые предметы, металлические предметы, слова, удары, кровь и т. д., и т. п.

Чувствительность к мгновенно возбуждающим сенсорным стимулам характеризует внимание детства и юности. В зрелом возрасте мы, как правило, выбираем те раздражители, которые связаны с одним или несколькими так называемыми постоянными интересами, и наше внимание становится невосприимчивым к остальным.^[338] Но детство характеризуется большой активной энергией, и у него мало организованных интересов, чтобы встречать новые впечатления и решать, достойны они внимания или нет, и следствием этого является та чрезвычайная подвижность внимания, с которой мы все знакомы у детей, и которая делает их первые уроки такими грубыми делами. Любое сильное ощущение вызывает аккомодацию воспринимающих его органов и абсолютное забвение на время поставленной задачи. Этот рефлекторный и пассивный характер внимания, который, как говорит один французский писатель, заставляет ребенка казаться принадлежащим не столько себе, сколько каждому предмету, случайно попавшемуся ему на глаза, - первое, что должен преодолеть учитель. Он так и не преодолевается у некоторых людей, чья работа до конца жизни выполняется в промежутках блуждания ума.

Пассивное сенсорное внимание *возникает* тогда, когда впечатление, не будучи ни сильным, ни инстинктивно возбуждающим, связано предыдущим опытом и воспитанием с вещами, которые таковыми являются. Эти вещи можно назвать *мотивами* внимания. Впечатление черпает из них интерес, а может быть, даже сливается с ними в единый сложный объект; в результате он попадает в фокус сознания. Слабый стук *сам по себе* не является интересным звуком; он вполне может быть вычленен из общего шума мира. Но когда это сигнал, как, например, сигнал любовника на оконном стекле, он вряд ли останется незамеченным. Гербарт пишет:

"Как немного плохой грамматики ранит ухо пуриста! Как фальшивая нота ранит музыканта! Или нарушение хороших манер - светского человека! Насколько быстрым является прогресс в науке, когда ее первые принципы настолько хорошо впечатались в нас, что мы мысленно воспроизводим их с совершенной отчетливостью и легкостью! Как медленно и неуверенно, с другой стороны, мы усваиваем сами принципы, если знакомство с еще более элементарными представлениями, связанными с предметом, не дало нам адекватной предрасположенности! Восприимчивое внимание можно наблюдать у маленьких детей, когда, слыша речь старших, пока еще неразборчивую для них, они вдруг улавливают одно известное слово то тут, то там и повторяют его про себя; да! даже у собаки, которая оглядывается на нас, когда мы говорим о ней и произносим ее имя. Не менее интересен и талант, который проявляют блуждающие умом школьники во время уроков, - замечать каждый момент, когда учитель рассказывает историю. Я помню классы, в которых при неинтересном обучении и ослабленной дисциплине постоянно слышался гулкий ропот, который неизменно затихал на то время, пока длился анекдот. Как мальчики, которые, казалось, ничего не слышали, могли заметить, когда начинался анекдот? Несомненно, большинство из них постоянно слышали что-то из разговора учителя; но большая часть его не имела никакой связи с их прежними знаниями и занятиями, и поэтому отдельные слова не успевали войти в их сознание, как они снова выпадали из него; но, с другой стороны, не успевали слова пробудить старые мысли, образуя прочно связанные ряды, с которыми легко сочеталось новое впечатление, как из нового и старого вместе возникал общий интерес, который опускал блуждающие мысли ниже порога сознания и на некоторое время приводил на их место успокоенное внимание."[\[339\]](#)

Пассивное интеллектуальное внимание является непосредственным, когда мы следуем в мыслях за вереницей образов, захватывающих или интересных *сами по себе*; производным, когда образы интересны только как средства для достижения отдаленной цели или просто потому, что они связаны с чем-то, что делает их дорогими. Из-за того, что огромное количество реальных вещей превращается для нас в единые объекты мышления, не существует четкой границы между непосредственным и производным вниманием интеллектуального типа. Когда мы поглощены интеллектуальным вниманием, мы можем стать настолько невнимательными к внешним вещам, что будем "рассеянными", "абстрактными" или "*отвлеченными*". Любая задумчивость или сосредоточенная медитация способна повергнуть нас в это состояние.

"Архимед, как известно, был настолько поглощен геометрической медитацией, что впервые узнал о штурме Сиракуз благодаря собственной смертельной ране, а его восклицание при появлении римских солдат было таким: *Noli turbare circulos meos!* Так и Иосиф Скалигер, самый ученый из людей, будучи протестантским студентом в Париже, был настолько поглощен изучением Гомера, что узнал о резне святого

Варфоломея и о своем собственном побеге только в день, следующий за катастрофой. Философ Карнеад был склонен к столь глубоким размышлениям, что, чтобы он не погрузился в сон от истощения, его служанка считала необходимым кормить его, как ребенка. А о Ньюtone рассказывают, что, занимаясь математическими исследованиями, он иногда забывал пообедать. Кардан, один из самых знаменитых философов и математиков, однажды во время путешествия так погрузился в размышления, что забыл и дорогу, и цель своего путешествия. На вопросы шофера, следует ли ему ехать дальше, он ничего не ответил, а когда в сумерках пришел в себя, то с удивлением обнаружил, что карета стоит на месте и находится прямо под виселицей. Математик Виета иногда настолько погружался в размышления, что часами больше походил на мертвеца, чем на живого, и тогда полностью без сознания всего происходящего вокруг. В день своей свадьбы великий Бутеус забыл обо всем в своих филологических спекуляциях, и к делам внешнего мира его пробудило лишь запоздалое посольство от брачующихся, которые нашли его поглощенным составлением своих *Commentarii*".[340]

Поглощение может быть настолько глубоким, что изгоняет не только обычные ощущения, но даже самую сильную боль. Говорят, что такой способностью обладали Паскаль, Уэсли, Роберт Холл. Доктор Карпентер говорит о себе, что

"он часто начинал лекцию, испытывая невралгическую боль, настолько сильную, что он был уверен в невозможности продолжения; но не раньше, чем он решительным усилием запускал себя в поток мыслей, он обнаруживал, что его непрерывно несло по течению без малейшего отвлечения, пока не наступал конец и внимание не ослабевало; тогда боль повторялась с силой, которая преодолевала всякое сопротивление, заставляя его удивляться, как он мог когда-либо перестать ее чувствовать".[341]

Доктор Карпентер говорит о запуске себя с помощью решительного *усилия*. Это усилие характеризует то, что мы называли *активным или добровольным вниманием*. Это чувство, которое знакомо каждому, но которое большинство людей называли бы совершенно неопишным. Мы испытываем его в сенсорной сфере, когда пытаемся уловить впечатление крайней *слабости*, будь то зрение, слух, вкус, обоняние или осязание; мы испытываем его, когда пытаемся *различить* ощущение, слившееся с массой других, похожих; мы испытываем его, когда *сопротивляемся притяжению* более сильных стимулов и удерживаем свой ум занятым каким-то объектом, который, естественно, не впечатляет. Мы получаем его в интеллектуальной сфере при точно таких же условиях: когда стремимся обострить и сделать отчетливой идею, которая, как нам кажется, смутно присутствует; или мучительно вычленим оттенок смысла из его аналогов; или решительно держимся за мысль, настолько противоречащую нашим импульсам, что, если бы нам не помогли, она быстро уступила бы место образам более захватывающего и впечатляющего вида. Тот, кто, как мы можем предположить, на званом обеде решительно слушает соседа, который низким голосом дает ему бессодержательные и непрошенные советы, в то время как вокруг гости громко смеются и говорят о захватывающих и интересных вещах, сразу же проявит все формы внимательного усилия.

Не существует такого понятия, как добровольное внимание, сохраняющееся более нескольких секунд за раз. То, что называется устойчивым добровольным вниманием, - это повторение последовательных усилий, которые возвращают тему в сознание.[342] Тема,

однажды возвращенная, если она является благоприятной, *развивается*; и если ее развитие интересно, она на некоторое время пассивно привлекает внимание. Доктор Карпентер некоторое время назад описал поток мыслей, в который он однажды вошел, как "несущий его за собой". Этот пассивный интерес может быть коротким или долгим. Как только он возникает, внимание отвлекается на какую-то неважную вещь, а затем волевое усилие может вернуть его к теме снова; и так далее, при благоприятных условиях, в течение нескольких часов. В течение всего этого времени, однако, обратите внимание, что это не идентичный объект в психологическом смысле (стр. 275), а последовательность взаимно связанных объектов, образующих только идентичную тему, на которой фиксируется внимание. Никто не может непрерывно следить за объектом, который не меняется.

Теперь всегда есть объекты, которые до поры до времени *не будут развиваться*. Они просто *гаснут*; и чтобы удержать ум на чем-либо, связанном с ними, требуются такие непрерывно возобновляемые усилия, что самая решительная Воля в конце концов сдается и позволяет своим мыслям следовать более стимулирующим просьбам после того, как она выдержала их в течение всего возможного времени. Есть темы, известные каждому человеку, от которых он сторонится, как испуганная лошадь, и взглянуть на которые - значит уклониться. Таковы его убывающие активы для расточителя в полной карьере. Но зачем выделять расточителя, если каждому человеку, движимому страстью, мысль об интересах, которые отрицают страсть, вряд ли может прийти в голову более чем на мимолетное мгновение? Это как "memento mori" в расцвете жизненной гордости. Природа восстает против таких предложений и исключает их из поля зрения: "Как долго, о здоровый читатель, ты сможешь продолжать думать о своей могиле?" В более мягких случаях трудность не менее велика, особенно когда мозг ослаблен. Человек хватается за любой мимолетный предлог, каким бы пустяковым или внешним он ни был, чтобы уйти от одиозности происходящего. Я, например, знаю человека, который раздувает огонь, расставляет стулья, вытирает пыль с пола, накрывает на стол, берет газету, убирает любую книгу, попавшуюся ему на глаза, подстригает ногти, тратит утро *как попало*, короче говоря, и все это без всякого умысла, - просто потому, что единственное, чем он *должен* заниматься, это подготовка к полуденному уроку формальной логики, которую он ненавидит. Что угодно, только не *это*!

И снова объект должен измениться. Когда он находится в поле зрения, он становится невидимым, а когда в поле зрения - неслышимым, - если мы слишком неподвижно на него смотрим. Гельмгольц, который подвергал свое сенсорное внимание самым суровым испытаниям, используя свои глаза для объектов, которые в обычной жизни явно не замечаются, делает несколько интересных замечаний по этому поводу в своей главе о соперничестве сетчатки.[343] Явление, которое называет этим именем, заключается в том, что если мы смотрим каждым глазом на разные картинки (как на прилагаемом стереоскопическом слайде), то иногда в сознание приходит одна картинка, иногда другая, или части обеих, но почти никогда - обе вместе. Теперь Гельмгольц заявляет:

"Я обнаружил, что могу по собственной воле сосредоточиться то на одной, то на другой системе линий; и тогда эта система остается видимой в течение определенного времени, в то время как другая полностью исчезает. Так происходит, например, всякий раз, когда я пытаюсь сосчитать линии сначала одной, а затем другой системы..... Но очень трудно надолго приковать внимание к одной из систем, если только мы не связываем с нашим взглядом какую-то отчетливую цель, которая постоянно поддерживает активность внимания. Такой целью является подсчет линий, сравнение интервалов между ними и тому подобное. Равновесие внимания, сохраняющееся сколь угодно долго, недостижимо ни при каких обстоятельствах.

Естественная тенденция внимания, когда оно предоставлено самому себе, - блуждать по все новым и новым объектам; и как только интерес к объекту заканчивается, как только в нем не остается ничего нового, оно, вопреки нашей воле, переключается на что-то другое. Если мы хотим удержать его на одном и том же объекте, мы должны постоянно стремиться узнать что-то новое о нем, особенно если другие сильные впечатления увлекают нас".

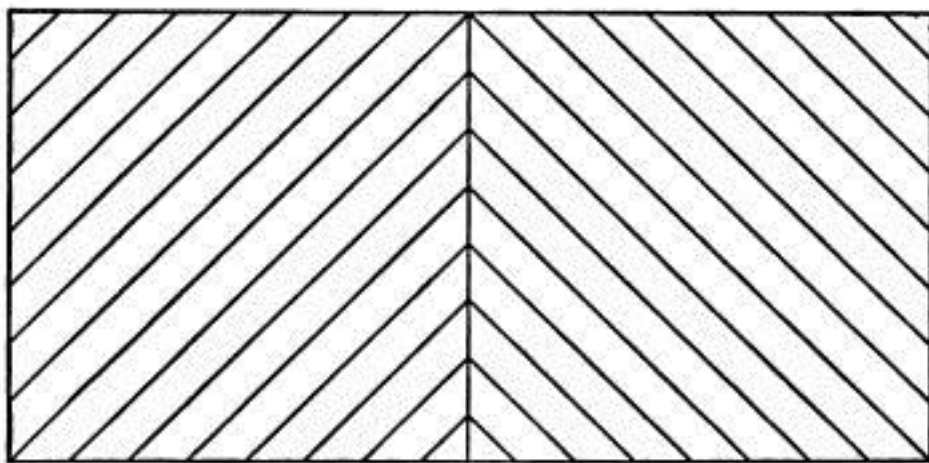


Рис. 36.

И снова критикуя автора, который рассматривал внимание как деятельность, абсолютно подвластную сознательной воле, Гельмгольц пишет:

"Это верно лишь в ограниченной степени. Мы двигаем глазами по своей воле; но человек без подготовки не может так легко осуществить намерение заставить их сблизиться. Однако в любой момент он может выполнить намерение посмотреть на близкий объект, в котором участвует конвергенция. Теперь так же мало мы можем осуществить нашу цель - удерживать наше внимание устойчиво зафиксированным на определенном объекте, когда наш интерес к объекту исчерпан, а цель внутренне сформулирована таким абстрактным образом. *Но мы можем поставить перед собой новые вопросы об объекте, так что возникнет новый интерес к нему, и тогда внимание останется приковано.* Отношение внимания к воле, таким образом, является не столько непосредственным, сколько опосредованным контролем".

Эти слова Гельмгольца имеют фундаментальное значение. И если они верны в отношении сенсорного внимания, то насколько более верны они в отношении интеллектуального! *Условием* устойчивого внимания к определенной теме мысли является то, что мы должны беспрестанно ее прокручивать и поочередно рассматривать различные ее аспекты и отношения. Только в патологических состояниях сознанием овладевает фиксированная и постоянно монотонно повторяющаяся идея.

И теперь мы видим, почему то, что называется устойчивым вниманием, тем легче, тем богаче приобретениями и тем свежее и оригинальнее ум. В таких умах предметы зарождаются, прорастают и растут. В каждый момент они радуют новыми последствиями и приковывают внимание заново. Но интеллект, не обеспеченный материалами, застойный, неоригинальный, вряд ли будет долго рассматривать какой-либо предмет. Один взгляд

исчерпывает возможности интереса. Принято считать, что гении превосходят других людей в способности к устойчивому вниманию.^[344] Следует опасаться, что у большинства из них так называемая "сила" носит пассивный характер. Их идеи бурлят, любая тема бесконечно разветвляется перед их плодовитым умом, и так они могут часами находиться в восторге. *Но это их гений заставляет их быть внимательными, а не их внимание делает из них гениев.* И когда мы доходим до сути дела, то видим, что они отличаются от обычных людей не столько характером своего внимания, сколько природой объектов, на которые оно последовательно направляется. У гения они образуют конкатенированный ряд, предполагающий друг друга по какому-то рациональному закону. Поэтому мы называем внимание "устойчивым", а тему многочасовой медитации - "одной и той же". У обычного человека ряд по большей части бессвязен, объекты не имеют рациональной связи, и мы называем внимание блуждающим и нефиксированным.

Вполне вероятно, что гениальность имеет тенденцию препятствовать приобретению человеком привычки к добровольному вниманию, и что умеренные интеллектуальные способности являются почвой, на которой мы можем ожидать, что здесь, как и везде, добродетели воли, строго говоря, будут процветать. Но независимо от того, приходит ли внимание по милости гения или по волевому усилию, чем дольше человек занимается какой-либо темой, тем лучше он ею владеет. А способность добровольно возвращать блуждающее внимание снова и снова - это основа суждения, характера и воли. Никто не может быть *compro sui*, если у него его нет. Образование, которое должно совершенствовать эту способность, было бы образованием *par excellence*. Но легче определить этот идеал, чем дать практические указания по его достижению. Единственная общая педагогическая сентенция, касающаяся внимания, заключается в том, что чем больше ребенок заранее заинтересован в предмете, тем лучше он будет его посещать. Поэтому прививайте ему интерес таким образом, чтобы каждый новый предмет был связан с каким-то уже имеющимся приобретением; и, по возможности, пробуждайте любопытство, чтобы новый предмет казался ответом или частью ответа на вопрос, уже существовавший в его сознании.

Описав разновидности, перейдем к рассмотрению

ЭФФЕКТАМ ВНИМАНИЯ.

Его отдаленные последствия слишком неисчислимы, чтобы их можно было описать. Практическая и теоретическая жизнь целых видов, а также отдельных существ является результатом отбора, который осуществляется благодаря привычному направлению их внимания. В [главах XIV и XV](#) мы рассмотрим некоторые из этих последствий. Пока же достаточно сказать, что каждый из нас буквально *выбирает* своими способами внимания к вещам, какой вселенной он будет себя представлять.

Непосредственные последствия внимания состоят в том, что оно заставляет нас:

- а) воспринимать
- б) воспринимать
- в) различать
- г) запоминать

лучше, чем могли бы - как больше последовательных вещей, так и каждую вещь более четко. Это также

(е) сокращает "время реакции".

а и b. Большинство людей скажут, что ощущение, на которое обращают внимание, становится сильнее, чем могло бы быть в противном случае. Однако этот момент не совсем ясен и вызывает некоторые дискуссии.[345] От силы или интенсивности ощущений следует отличать их ясность; и увеличение *этого показателя*, по мнению некоторых психологов, - максимум, что может сделать внимание. Однако при рассмотрении фактов следует признать, что в определенной степени относительная интенсивность двух ощущений может меняться, когда на одно из них обращают внимание, а на другое - нет. Каждый художник знает, как он может сделать сцену перед глазами более теплой или более холодной по цвету, в зависимости от того, как он настроит свое внимание. Если на теплый, то вскоре он начинает *видеть*, как из всего появляется красный цвет; если на холодный, то синий. Точно так же при прослушивании определенных нот в аккорде или обертонов в музыкальном звуке та, на которую мы обращаем внимание, звучит, вероятно, немного громче, а также эмфатичнее, чем раньше. Когда мы мысленно разбиваем серию монотонных штрихов на ритмы, акцентируя каждый второй или третий и т. д., штрих, на котором сосредоточено внимание, кажется, становится сильнее, а также эмфатичнее. Повышенная видимость оптических послеобразов и двойных изображений, к которым приводит пристальное внимание, вряд ли может быть истолкована иначе, чем как реальное усиление самих ретинальных ощущений. И эта точка зрения становится особенно вероятной благодаря тому факту, что воображаемый визуальный объект может, если внимание сконцентрировано на нем достаточно долго, приобрести перед мысленным взором почти блеск реальности и (в случае некоторых исключительно одаренных наблюдателей) оставить негативное послеображение себя, когда он исчезает (см. главу XVIII). Уверенное ожидание определенной интенсивности или качества впечатления часто заставляет нас ощутимо видеть или слышать его в объекте, который на самом деле далеко не соответствует ему. Перед лицом таких фактов было бы опрометчиво утверждать, что внимание не может сделать чувственное впечатление более интенсивным.

Но, с другой стороны, интенсификация, которая может быть достигнута, кажется, никогда не приведет к ошибкам в суждениях. Как мы правильно воспринимаем и называем один и тот же цвет при разном освещении, один и тот же звук на разных расстояниях, так мы, кажется, делаем аналогичную поправку на различное количество внимания, с которым рассматриваем объекты; и какие бы изменения в ощущениях ни приносило внимание, мы относим их как бы на счет внимания, и все равно воспринимаем и воспринимаем объект как тот же самый.

"Серая бумага кажется нам не светлее, биение маятника часов не громче, сколько бы мы ни усиливали напряжение нашего внимания к ним. Никто не может заставить серую бумагу казаться белой или удар маятника звучать как удар сильного молотка, - напротив, каждый ощущает усиление как результат своей собственной сознательной деятельности, обращенной на вещь".[346]

Если бы было иначе, мы не могли бы отмечать *интенсивность*, обращая на нее внимание. Слабые впечатления, как говорит Штумпф,[347] становились бы сильнее от самого факта наблюдения.

"Я вообще не мог бы наблюдать слабые звуки, а только такие, которые казались бы мне максимально сильными или, по крайней мере, такими, которые усиливались бы с увеличением интенсивности моего наблюдения. Однако в действительности я могу, при постоянном усилении внимания, прекрасно следить за диминуэндо".

Эта тема вполне заслуживает точного эксперимента, если только удастся разработать соответствующие методы. Между тем нет никаких сомнений в том, что внимание повышает *четкость* всего, что мы воспринимаем или представляем себе с его помощью. Но что здесь подразумевается под ясностью?

с. Ясность, в той мере, в какой ее создает внимание, *означает отличие от других вещей и внутренний анализ или подразделение*. Это, по сути, продукты интеллектуального различения, включающие сравнение, память и восприятие различных отношений. Внимание само по себе не различает, не анализирует и не соотносит. Самое большее, что мы можем сказать, - это то, что оно является условием нашей деятельности. А поскольку эти процессы будут описаны позже, то ясность, которую они создают, лучше здесь не обсуждать. Важно отметить, что это не *непосредственный* плод внимания.[\[348\]](#)

d. К какому бы выводу мы ни пришли в будущем, мы не можем отрицать, что *объект, на который однажды обратили внимание, останется в памяти*, в то время как невнимательный объект, пропущенный мимо, не оставит никаких следов. Уже в главе VI (см. [с. 163](#) и далее) мы обсуждали, являются ли определенные состояния сознания "бессознательными", или же это скорее состояния, на которые не обращали внимания, и о прохождении которых воспоминания впоследствии не могли найти никаких следов. Дугалд Стюарт говорит:[\[349\]](#) "Связь между вниманием и памятью отмечалась многими авторами". Он цитирует Квинтилиана, Локка и Гельвеция, а также подробно объясняет явления "вторичного автоматизма" (см. выше, [с. 114](#) и далее) наличием умственных действий, которые стали настолько невнимательными, что не сохраняют памяти о себе. Позже, в главе "Память", этот вопрос будет подниматься снова.

д) В этой главе, посвященной *сокращению времени реакции*, можно многое сказать о влиянии внимания. Поскольку Вундт, вероятно, работал над этой темой более тщательно, чем любой другой исследователь, и сделал ее специфически своей, то то, что следует далее, лучше, насколько это возможно, излагать его словами. Читатель помнит метод и результаты экспериментов с "временем реакции", приведенные в [главе III](#).

Факты, которые я привожу далее, можно также рассматривать как дополнение к этой главе. Вундт пишет:

"Когда мы с напряженным вниманием ждем стимула, часто случается так, что вместо того, чтобы зарегистрировать стимул, мы реагируем на какое-то совершенно другое впечатление, - и это не потому, что мы путаем одно с другим. Напротив, в момент совершения движения мы прекрасно осознаем, что реагируем не на тот стимул. Иногда, хотя и не так часто, это может быть совсем другой вид ощущений, - например, экспериментируя со звуком, можно зарегистрировать вспышку света, произведенную либо случайно, либо специально. Мы не можем объяснить эти

результаты иначе, чем предположив, что напряжение внимания к ожидаемому впечатлению сосуществует с подготовительной иннервацией двигательного центра для реакции, которой достаточно малейшего шока, чтобы превратиться в фактический разряд. Этот шок может быть вызван любым случайным впечатлением, даже тем, на которое мы никогда не собирались реагировать. Когда подготовительная иннервация однажды достигает такой интенсивности, время, которое проходит между стимулом и сокращением мышц, которые реагируют, может стать исчезающе малым."[\[350\]](#)

"Восприятие впечатления облегчается, когда ему предшествует предупреждение, заранее сообщаящее о том, что оно должно произойти. Это происходит, когда несколько раздражителей следуют друг за другом через равные промежутки времени, - например, когда мы отмечаем движения маятника глазом или удары маятника ухом. Каждый отдельный удар служит сигналом для следующего, который, таким образом, встречается полностью подготовленным вниманием. То же самое происходит, когда воспринимаемому стимулу предшествует, через определенный интервал, одно предупреждение: время всегда заметно сокращается..... Я провел сравнительные наблюдения за временем реакции с предупреждающим сигналом и без него. Реагируемым впечатлением был звук, издаваемый при падении шарика на доску "аппарата для падения"... В первой серии удару шарика не предшествовало предупреждение; во второй шум, издаваемый аппаратом при освобождении шарика, служил сигналом..... Здесь приведены средние показатели двух серий таких экспериментов:

Высота падения.		Среднее.	Средняя ошибка.	Кол-во экспериментов.
25 см.	Без предупреждения	0.253	0.051	13
	Предупреждение	0.076	0.060	17
5 см.	Без предупреждения	0.266	0.036	14
	Предупреждение	0.175	0.035	17

"... В длинной серии экспериментов (интервал между предупреждением и стимулом остается неизменным) время реакции становится все меньше и меньше, и иногда удается сократить его до исчезающей величины (несколько тысячных долей секунды), до нуля или даже до отрицательного значения."[\[351\]](#) ... Единственное основание, которое мы можем выделить для этого явления, - *подготовка (vorbereitende Spannung) внимания*. Легко понять, что время реакции должно быть сокращено таким образом; но то, что оно иногда опускается до нуля и даже принимает отрицательные значения, может показаться удивительным. Тем не менее этот последний случай также объясняется тем, что происходит в простых экспериментах с временем реакции", о которых только что говорилось, в которых, "когда напряжение внимания достигло своей кульминации, движение, которое мы готовы выполнить, выходит из-под контроля воли, и мы регистрируем неправильный сигнал". В этих других экспериментах, где предупреждение предвосхищает момент появления стимула, также очевидно, что внимание настолько точно приспособляется к его восприятию, что *не раньше, чем он объективно дан, он полностью воспринимается, и с восприятием совпадает двигательная разрядка*".[\[352\]](#)

Обычно, когда впечатление полностью предвосхищено, внимание настолько полно подготавливает двигательные центры как к стимулу, так и к реакции, что единственное потерянное время - это время физиологического проведения вниз. Но даже этот интервал может исчезнуть, то есть стимул и реакция могут стать объективно одновременными; или, что еще более примечательно, реакция может разрядиться до того, как стимул действительно произошел. [353] Вундт, как мы видели несколько страниц назад (стр. 411), объясняет это усилением разума так отреагировать, чтобы мы могли ощутить собственное движение и сигнал, который его побуждает, в одно и то же мгновение. Как выполнение движения должно предшествовать нашему ощущению его, так оно должно предшествовать и стимулу, если мы хотим, чтобы и он, и наше движение ощущались одновременно.

Особый теоретический интерес этих экспериментов заключается в том, что они *показывают, что ожидающее внимание и ощущение являются непрерывными или идентичными процессами, поскольку они могут иметь идентичные двигательные эффекты*. Хотя другие исключительные наблюдения показывают, что *субъективно* они также непрерывны, в экспериментах Вундта этого нет: похоже, что в момент преждевременной реакции он никогда не был введен в заблуждение относительно того, что реальный стимул был рядом.

Как концентрация внимания ускоряет восприятие, так и, наоборот, восприятие стимула *замедляется тем, что либо сбивает, либо отвлекает внимание*, с которым мы его ожидаем.

"Если, например, мы производим реакции на звук таким образом, что слабые и сильные стимулы нерегулярно чередуются, так что наблюдатель никогда не может с уверенностью ожидать определенной силы, время реакции на все различные сигналы увеличивается, а также и средняя ошибка. Я прилагаю два примера..... В серии I сильный и слабый звук чередовались регулярно, так что их интенсивность каждый раз была известна заранее. Во II они появлялись нерегулярно.

I. Регулярное чередование.

	Среднее время.	Средняя ошибка.	Количество экспериментов.
Сильный звук	0.116"	0.010"	18
Слабый звук	0.127"	0.012"	9

II. Неравномерное чередование.

Сильный звук	0.189"	0.038"	9
Слабый звук	0.298"	0.076"	15

"Еще больше увеличивается время, когда в серию сильных впечатлений неожиданно вклинивается слабое, или *наоборот*. Таким образом, я наблюдал, как время реакции на звук, настолько слабый, что он едва воспринимается, увеличивается до 0,4" или 0,5", а на сильный звук - до 0 25". Общим опытом также является то, что стимул, который ожидается в общем виде, но к интенсивности которого внимание не может быть адаптировано заранее, требует более длительного времени реакции. В таких случаях ... причина различия может заключаться только в том, что там, где подготовка внимания невозможна, время как восприятия, так и волевого усилия удлиняется. Возможно, также, что заметно

большие времена реакции, которые получаются при стимулах, настолько слабых, что их можно только воспринять, объясняются тем, что внимание всегда стремится приспособиться к чему-то большему, чем это минимальное количество стимулов, так что наступает состояние, подобное тому, которое возникает в случае неожиданных стимулов..... Еще больше, чем под воздействием ранее неизвестных стимулов, время реакции затягивается под воздействием *совершенно неожиданных* впечатлений. Иногда это происходит случайно, когда внимание наблюдателя, вместо того чтобы сконцентрироваться на предстоящем сигнале, рассеивается. Это может быть реализовано намеренно, если в длинную серию равноудаленных стимулов внезапно вклинивается гораздо более короткий интервал, которого наблюдатель не ожидает. Психический эффект здесь подобен эффекту испуга; часто испуг проявляется внешне. Время реакции может быть легко удлинено до четверти секунды при сильных сигналах или до полусекунды при слабых. Более незначительным, но все же очень заметным является замедление, когда эксперимент организован таким образом, что наблюдатель, не зная, будет ли стимулом световое, звуковое или осязательное впечатление, не может заранее переключить свое внимание на какой-либо орган чувств. Тогда можно заметить своеобразное волнение, поскольку чувство напряжения, сопровождающее внимание, постоянно колеблется между несколькими органами чувств.

"Осложнения другого рода возникают, когда регистрируется впечатление, ожидаемое как по качеству, так и по силе, но сопровождаемое другими стимулами, которые затрудняют концентрацию внимания. Время реакции здесь всегда более или менее продолжительно. Простейший случай такого рода - регистрация сиюминутного впечатления на фоне другой, непрерывной сенсорной стимуляции значительной силы. Непрерывный стимул может принадлежать тому же смыслу, что и реагируемый стимул, или другому. Если он относится к тому же смыслу, то замедление, которое он вызывает, может быть частично связано с отвлечением им внимания, а частично с тем, что стимул, на который реагировать, выделяется менее сильно, чем если бы он был один, и практически становится менее интенсивным ощущением. Но в реальности присутствуют и другие факторы; ведь мы находим, что время реакции более продлено сопутствующей стимуляцией, когда стимул слабый, чем когда он сильный. Я проводил эксперименты, в которых основным впечатлением, или сигналом для реакции, был удар колокола, сила которого могла быть градуирована пружиной против молотка с подвижным противовесом. Каждый набор наблюдений состоял из двух серий, в одной из которых удар колокола регистрировался обычным способом, а в другой - зубчатое колесо, принадлежащее хронометрическому аппарату, издавало в течение всего эксперимента постоянный шум, ударяясь о металлическую пружину. В одной половине последней серии (А) удар колокола был умеренно сильным, поэтому сопутствующий шум значительно уменьшал его, не делая, однако, неразличимым. В другой половине (В) звук колокола был настолько громким, что был слышен совершенно отчетливо над шумом.

		Среднее.	Максимум.	Минимум.	Количество экспериментов.
А	Без шума	0.189	0.214	0.156	21
(Колокольный удар	С шумом	0.313	0.499	0.183	16

умеренный)

В	Без шума	0.158	0.206	0.133	20
(Колокольный удар громко)	С шумом	0.203	0.295	0.140	19

"Поскольку в этих экспериментах звук В даже с шумом производил значительно более сильное впечатление, чем звук А без шума, мы должны видеть в этих цифрах непосредственное влияние мешающего шума на процесс реакции. Это влияние освобождается от смешения с другими факторами, когда мгновенный стимул и сопутствующий ему шум воздействуют на разные органы чувств. Для проверки этого я выбрал зрение и слух. Моментальным сигналом служила индукционная искра, перескакивающая с одной платиновой точки на другую на темном фоне. Постоянным раздражителем был шум, описанный выше.

Искра.	Средняя.	Максимум.	Минимум.	Количество экспериментов.
Без шума	0.222	0.284	0.158	20
С шумом	0.300	0.390	0.250	18

"Если вспомнить, что в экспериментах с одним и тем же чувством относительная интенсивность сигнала всегда подавлена [что само по себе является тормозящим условием], то величина торможения в этих последних наблюдениях позволяет предположить, что *мешающее влияние на внимание больше, когда стимулы различны, чем когда они относятся к одному и тому же чувству*. На самом деле, когда среди шума раздается звонок, человеку не особенно трудно сразу же зарегистрироваться; но когда сигналом служит искра, у него возникает ощущение принуждения, поскольку он отворачивается от шума в сторону. Этот факт сразу же связан с другими свойствами нашего внимания. Усилие последнего сопровождается различными телесными ощущениями, в зависимости от того, какое чувство задействовано. Поэтому иннервация, которая существует во время усилия внимания, вероятно, различна для каждого органа чувств".[\[354\]](#)

Затем Вундт, после некоторых теоретических замечаний, которые нам нет необходимости сейчас цитировать, приводит таблицу замедлений, которая выглядит следующим образом:

Заторможенность.

1. Неожиданная сила впечатления:
 - а) Неожиданно сильный звук 0.073
 - б) Неожиданно слабый звук 0.171
2. Помехи от сходного стимула (звук за звуком) 0.045[\[355\]](#)
3. Интерференция от непохожих стимулов (свет от звука) 0.078

На основании этих результатов, полученных с элементарными процессами ума, кажется вероятным, что все процессы, даже более высокие, такие как воспоминания, рассуждения и т.д., когда внимание концентрируется на них вместо рассеянного и вялого, выполняются тем самым более быстро.[\[356\]](#)

Еще более интересные наблюдения за временем реакции были сделаны Мюнстербергом. Читатель помнит, как в главе III (с. 93) было отмечено, что время реакции короче, когда человек концентрирует свое внимание на ожидаемом движении, чем когда он концентрирует его на ожидаемом сигнале. Герр Мюнстерберг обнаружил, что это в равной степени относится и к тем случаям, когда реакция не является простым рефлексом, а может произойти только после интеллектуальной операции. В серии экспериментов для реакции использовались пять пальцев, и реактор должен был использовать другой палец в зависимости от того, какого рода был сигнал. Так, при произнесении слова в именительном падеже использовался большой палец, для дательного - другой; аналогичным образом прилагательные, существительные, местоимения, числительные и т. д., или, опять же, города, реки, звери, растения, стихии, или поэты, музыканты, философы и т. д., координировались каждый со своим пальцем, так что при упоминании слова, принадлежащего к одному из этих классов, реакцию должен был производить именно этот палец и никакой другой. Во второй серии экспериментов реакция заключалась в произнесении слова в ответ на вопрос, например, "назовите съедобную рыбу" и т.д.; или "назовите первую драму Шиллера" и т.д.; или "кто больше, Юм или Кант?" и т.д.; или (сначала называя яблоки и вишни, а также несколько других фруктов) "что вы предпочитаете, яблоки или вишни?" и т. д.; или "какая драма Гете самая лучшая?" и т. д.; или "какая буква идет позже в алфавите, буква L или первая буква самого красивого дерева?" и т. д.; или "что меньше, 15 или 20 минус 8?" [357] и т. д. и т. п. Даже в этой серии реакций *время было гораздо быстрее, если испытуемый заранее направлял свое внимание на ответ, чем если бы он направлял его на вопрос*. Более короткое время реакции редко превышало одну пятую секунды, более длинное - от четырех до восьми раз.

Чтобы понять такие результаты, нужно иметь в виду, что в этих экспериментах реактор всегда заранее в общих чертах знал, какого *рода* вопрос ему предстоит получить, а следовательно, и *сферу, в которой* может находиться его ответ. [358] Поэтому, когда он с самого начала обращал свое внимание на ответ, те мозговые процессы в нем, которые были связаны со всей этой "сферой", оставались в состоянии субвозбуждения, и тогда вопрос мог с минимальной потерей времени вывести конкретный ответ из "сферы", которая принадлежала именно ему. Когда же, напротив, внимание было направлено исключительно на вопрос и отвлечено от возможного ответа, все это предварительное возбуждение двигательных путей не происходило, и весь процесс ответа приходилось проходить уже *после того, как* вопрос был услышан. Неудивительно, что время затянулось. Это прекрасный пример суммирования стимулов и того, как ожидающее внимание, даже если оно не очень сильно фокусировано, подготавливает двигательные центры и сокращает работу, которую стимул должен на них выполнить, чтобы произвести заданный эффект, когда он наступит.

ИНТИМНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА ВНИМАНИЯ.

Теперь у нас есть достаточное количество фактов, чтобы оправдать рассмотрение этого более сложного вопроса. И два физиологических процесса, о которых мы получили представление, сразу же наводят на мысль, что в совокупности они могут дать исчерпывающий ответ. Я имею в виду

1. *Аккомодация или настройка органов чувств; и*
2. *Предвосхищающую подготовку изнутри идеологических центров, связанных с объектом, на который обращено внимание.*

1. Органы чувств и телесные мышцы, способствующие их работе, настраиваются наиболее энергично при сенсорном внимании, как непосредственном и рефлекторном, так и производном. Но есть все основания полагать, что даже интеллектуальное внимание, внимание к *иде*е разумного объекта, также сопровождается некоторой степенью возбуждения органов чувств, к которым обращен объект. Подготовка идейных центров существует, с другой стороны, везде, где наш интерес к объекту - будь то чувственный или идеальный - *вытекает* из других интересов или каким-либо образом связан с присутствием других объектов в сознании. Он существует в равной степени как при пассивном, так и при волевом характере внимания. Так что в целом мы можем с уверенностью заключить - поскольку в зрелой жизни мы никогда не обращаем внимания на что-либо без того, чтобы наш интерес к этому не был в какой-то степени обусловлен его связью с другими объектами, - что *два процесса - сенсорная настройка и идеологическая подготовка - вероятно, сосуществуют во всех наших конкретных актах внимания.*

Теперь эти два пункта необходимо доказать более подробно. Во-первых, что касается сенсорной настройки.

То, что она присутствует, когда мы обращаем внимание на *разумные* вещи, очевидно. Когда мы смотрим или слушаем, мы непроизвольно приспособливаем глаза и уши, поворачиваем голову и тело; когда мы чувствуем вкус или запах, мы приспособливаем язык, губы и дыхание к объекту; ощупывая поверхность, мы соответствующим образом двигаем пальпирующим органом; во всех этих действиях, помимо непроизвольных мышечных сокращений позитивного рода, мы подавляем другие, которые могут помешать результату - мы закрываем глаза при вкушении, приостанавливаем дыхание при слушании и т. д. В результате возникает более или менее массивное органическое ощущение, что внимание продолжается. Это органическое ощущение, как описано на [странице 302](#), противопоставляется объектам, которые оно сопровождает, и рассматривается как специфически наше, в то время как объекты образуют "не-я". Мы относимся к нему как к ощущению нашей *собственной активности*, хотя оно поступает к нам от наших органов после их аккомодации, так же как и ощущение любого объекта. Любой объект, если он *сразу же* возбуждает, вызывает рефлекторную аккомодацию органа чувств, что приводит к двум результатам: во-первых, к повышению четкости объекта, а во-вторых, к ощущению активности, о которой идет речь. И то, и другое - ощущения "афферентного" типа.

Но и при *интеллектуальном* внимании, как мы уже видели ([с. 300](#)), возникают подобные ощущения активности. Фехнер, как мне кажется, был первым, кто проанализировал эти ощущения и отличил их от более сильных, только что названных. Он пишет:

"Когда мы переносим внимание с объектов одного чувства на объекты другого, у нас возникает неопишное ощущение (хотя в то же время совершенно определенное и воспроизводимое с удовольствием), изменение *направления* или по-разному локализованное напряжение (*Spannung*). Мы чувствуем напряжение, направленное вперед в глазах, и напряжение, направленное вбок в ушах, усиливающееся в зависимости от степени нашего внимания и меняющееся по мере того, как мы внимательно смотрим на объект или слушаем что-то; и мы говорим, соответственно, о *напряжении внимания*. Разница наиболее отчетливо ощущается, когда внимание быстро колеблется между глазом и ухом; и это чувство локализуется с наиболее явными различиями в отношении различных органов чувств, в зависимости от того, как мы хотим тонко различить вещь на ощупь, вкус или запах.

"Но теперь, когда я пытаюсь живо вспомнить картину из памяти или фантазии, у меня возникает чувство, совершенно аналогичное тому, которое я испытываю, когда пытаюсь остро воспринять вещь глазом или ухом; и это аналогичное чувство локализуется совершенно по-разному. В то время как при самом остром внимании к реальным объектам (а также к послеобразам) напряжение явно направлено вперед, и когда внимание переключается с одного чувства на другое, оно лишь меняет свое направление между несколькими внешними органами чувств, оставляя остальную часть головы свободной от напряжения, при воспоминании или фантазии дело обстоит иначе, ибо здесь чувство полностью отходит от внешних органов чувств и, кажется, скорее укрывается в той части головы, которую заполняет мозг; Если я захочу, например, вспомнить какое-нибудь место или человека, оно возникнет передо мной с живостью не в зависимости от того, как я напрягаю свое внимание вперед, а скорее пропорционально тому, как я, так сказать, втягиваю его назад."[\[359\]](#)

У меня самого "обратное втягивание", которое ощущается во время внимания к идеям памяти и т. д., кажется, в основном состоит из ощущения фактического выкатывания глазных яблок наружу и вверх, как это происходит во сне, и является полной противоположностью их поведения, когда мы смотрим на физическую вещь. Я уже говорил об этом ощущении на [странице 300](#). [\[360\]](#) Читателя, сомневающегося в наличии этих органических ощущений, прошу еще раз перечитать весь тот отрывок.

Однако было сказано, что мы можем обращать внимание на объект, находящийся на периферии зрительного поля, и при этом не приспосабливать к нему глаз. Так, учителя замечают действия детей в школьном классе, на которых они, кажется, не смотрят. Женщины в целом тренируют периферийное зрительное внимание больше, чем мужчины. Это было бы возражением против *неизменного и универсального* присутствия движений настройки как составляющих процесса внимания. Обычно, как известно, ни один объект, лежащий в краевых частях поля зрения, не может привлечь наше внимание, не "зацепив" в то же время наш глаз, то есть не вызвав таких движений вращения и аккомодации, которые сфокусировали бы его изображение на фовеа, или точке наибольшей чувствительности. Практика, однако, позволяет нам, *приложив усилия*, обратить внимание на маргинальный объект, сохраняя при этом неподвижность глаз. Объект при таких обстоятельствах никогда не становится совершенно отчетливым - место его изображения на сетчатке делает отчетливость невозможной, - но (как может убедиться каждый, попробовав) мы начинаем осознавать его более отчетливо, чем до того, как были предприняты усилия. Гельмгольц излагает этот факт настолько поразительно, что я приведу его наблюдение полностью. Он пытался объединить в одно цельное восприятие пары стереоскопических картинок, мгновенно освещенных электрической искрой. Картинки находились в темном ящике, который время от времени освещался искрой; чтобы глаза не блуждали между картинками, в середине каждой картинки было проделано отверстие, через которое проникал свет из комнаты, так что каждый глаз в темные промежутки времени имел перед собой одну яркую точку. При параллельных оптических осях точки объединялись в одно изображение, и при малейшем движении глазных яблок это изображение сразу же становилось двойным. Гельмгольц обнаружил, что простые линейные фигуры, когда глаза остаются неподвижными, могут быть восприняты как твердые тела при одной вспышке искры. Но когда фигуры представляли собой сложные фотографии, требовалось много последовательных вспышек, чтобы понять их целостность.

"Теперь интересно, - говорит он, - обнаружить, что, хотя мы продолжаем устойчиво фиксировать булавочные отверстия и никогда не позволяем их комбинированному изображению распасться на две части, мы можем, тем не менее, до появления искры, держать наше внимание добровольно обращенным к любой части темного поля, чтобы затем, когда появится искра, получить впечатление только от тех частей изображения, которые лежат в этой области. В этом отношении, таким образом, наше внимание совершенно не зависит от положения и приспособления глаз, а также от любых известных изменений в этих органах; оно свободно направляет себя сознательным и добровольным усилием на любую выбранную часть темного и недифференцированного поля зрения. Это одно из самых важных наблюдений для будущей теории внимания".[361]

Геринг, однако, добавляет следующую деталь:

"В то время как мы обращаем внимание на маргинальный объект, мы должны всегда, - говорит он, - *в то же время обращать* внимание на непосредственно фиксируемый объект. Если даже на одно мгновение мы упускаем последний из виду, наш взгляд перемещается к первому, что можно легко определить по возникающим после этого изображениям или по слышимым мышечным звукам. В таком случае случай не столько правильно называть транслокацией, сколько необычайно широким *рассеиванием* внимания, в котором наибольшая доля все же приходится на вещь, на которую непосредственно смотрят".[362]

и, следовательно, непосредственно аккомодируется. Аккомодация существует здесь, как и в других местах, и без нее мы должны были бы потерять часть нашего чувства внимательной активности. На самом деле, *напряжение* этой активности (которое в эксперименте оказалось очень большим) частично объясняется необычайно сильными сокращениями мышц, необходимых для удержания глазных яблок в неподвижном состоянии, которые вызывают нежелательное ощущение давления в этих органах.

2. Но если периферийная часть изображения в этом эксперименте не может быть физически аккомодирована, что означает разделение ею нашего внимания? Что происходит, когда мы "распределяем" или "рассеиваем" его на предмете, к которому мы по-прежнему не желаем "приспособиться"? Это приводит нас к той второй особенности процесса, "*идейной подготовке*", о которой мы говорили. *Усилия, направленные на маргинальную область картины, заключаются не более и не менее как в стремлении сформировать как можно более ясное представление о том, что там изображено.* Идея заключается в том, чтобы прийти на помощь ощущению и сделать его более отчетливым. Она приходит с усилием, и такой способ прихода является оставшейся частью того, что мы знаем как "напряжение" нашего внимания в данных обстоятельствах. Давайте покажем, насколько универсально присутствует в наших актах внимания это усиливающее воображение, это внутреннее воспроизведение, это предвосхищающее мышление о том, на что мы обращаем внимание.

Оно, конечно, должно присутствовать при интеллектуальном внимании, так как в этом случае объект внимания есть не что иное, как идея, внутреннее воспроизведение или концепция. Если мы докажем, что идеальная конструкция объекта присутствует в *сенсорном* внимании, то она будет присутствовать везде. Когда, однако, сенсорное внимание находится на пике своего развития, невозможно сказать, какая часть восприятия приходит извне, а какая -

изнутри; но если мы обнаружим, что *подготовка* к нему всегда частично состоит в создании в сознании воображаемого дубликата объекта, который будет готов принять внешнее впечатление, как матрицу, этого будет вполне достаточно, чтобы установить спорный момент.

В экспериментах Вундта и Экснера, процитированных выше, ожидание впечатлений и подготовка к реакции состоят не из чего иного, как из предвосхищающего воображения того, какими должны быть впечатления или реакции. Там, где стимул неизвестен, а реакция не определена, время теряется, потому что при таких обстоятельствах невозможно заранее сформировать устойчивый образ. Но когда и природа, и время сигнала и реакции предсказаны, ожидающее внимание настолько полностью состоит из предвосхищающего воображения, что, как мы видели ([сноска 273](#); [стр. 373, 377](#)), оно может имитировать интенсивность реальности или, во всяком случае, производить двигательные эффекты реальности. Невозможно читать страницы описания Вундта и Экснера и не интерпретировать "*Apperception*", "*Spannung*" и другие термины как эквиваленты *воображения*. У Вундта, в частности, слово "*апперцепция*" (которым он очень дорожит) вполне взаимозаменяемо и с воображением, и с вниманием. Все три термина - это названия для возбуждения изнутри идеологических мозговых центров, для которых название "*предвосприятие*", данное мистером Льюсом, кажется наилучшим из возможных обозначений.

Там, где впечатление, которое нужно уловить, очень слабое, способ не упустить его - обострить наше внимание на нем, предварительно соприкоснувшись с ним в более сильной форме.

"Если мы хотим начать наблюдать обертоны, рекомендуется непосредственно перед звуком, который должен быть проанализирован, очень тихо произнести ноту, которую мы ищем..... Для этого хорошо подходят фортепиано и фисгармония, так как оба дают сильные обертоны. Ударьте на фортепиано сначала по g' [определенный музыкальный пример, ранее приведенный в тексте]; затем, когда его колебания объективно прекратятся, сильно ударьте по ноте c , в звучании которой g' является третьим обертоном, и удерживайте свое внимание на тоне только что услышанного g' ; теперь вы услышите этот тон, звучащий в середине c Если вы приложите резонатор, соответствующий определенному обертону, например g' звука c , к уху, а затем заставите звучать ноту c , вы услышите g' , значительно усиленный резонатором..... Это усиление резонатора может быть использовано для того, чтобы заставить невооруженное ухо быть внимательным к звуку, который оно должно уловить. Ибо когда резонатор постепенно удаляется, g' становится слабее; но внимание, однажды направленное на него, удерживает его теперь более легко, и наблюдатель слышит тон g' теперь в естественном неизменном звучании ноты своим невооруженным ухом".[\[363\]](#)

Вундт, комментируя опыты такого рода, говорит, что

"при внимательном наблюдении всегда обнаруживается, что сначала человек пытается вызвать в памяти образ тона, который ему предстоит услышать, а затем слышит его в полном звучании". То же самое можно заметить и в слабых или беглых зрительных впечатлениях. Осветите рисунок электрическими искрами, разделенными значительными интервалами, и после первой, а часто и после второй и третьей искры почти ничего не удастся узнать. Но путанный образ остается в

памяти; каждое последующее освещение дополняет его, и так, наконец, мы достигаем более четкого восприятия. Первичное побуждение к этой внутренней деятельности обычно исходит от самого внешнего впечатления. Мы слышим звук, в котором, исходя из определенных ассоциаций, подозреваем определенный обертон; затем вспоминаем этот обертон в памяти; и, наконец, улавливаем его в услышанном звуке. Или, может быть, мы видим какое-то минеральное вещество, с которым мы уже встречались; впечатление пробуждает в памяти образ, который снова более или менее полностью тает вместе с самим впечатлением. Таким образом, каждой идее требуется определенное время, чтобы проникнуть в фокус сознания. И в течение этого времени мы всегда обнаруживаем в себе своеобразное *чувство* внимания..... Феномены показывают, что происходит *адаптация* внимания к впечатлению. Удивление, которое вызывают у нас неожиданные впечатления, объясняется главным образом тем, что наше внимание в момент возникновения впечатления не приспособлено к нему. Сама адаптация носит двойной характер, она связана как с интенсивностью, так и с качеством стимула. Различные качества впечатлений требуют несопоставимых адаптаций. И мы замечаем, что наше ощущение *напряжения* нашей внутренней внимательности возрастает с каждым увеличением силы впечатлений, на восприятие которых мы нацелены".[364]

Естественный способ представить все это в символической форме клетки мозга, на которую воздействуют с двух сторон. В то время как объект возбуждает его извне, другие клетки мозга, или, возможно, духовные силы, пробуждают его изнутри. Последнее влияние - это "адаптация внимания". *Полноценная энергия мозговых клеток требует сотрудничества обоих факторов*: не когда объект просто присутствует, а когда и присутствует, и на него обращено внимание, он воспринимается полностью.

Несколько дополнительных примеров теперь станут совершенно ясными. Гельмгольц, например, добавляет это наблюдение к процитированному нами некоторое время назад отрывку о стереоскопических картинках, освещенных электрической искрой.

"Эти опыты, - говорит он, - интересны с точки зрения той роли, которую играет внимание в вопросе двойных изображений..... Ибо в картинах, настолько простых, что мне относительно трудно увидеть их двойными, мне удастся увидеть их двойными, даже когда освещение только мгновенное, в тот момент, когда я стараюсь *живо представить себе, как они должны выглядеть*. Влияние внимания здесь чистое, ибо все движения глаз исключены".[365]

В другом месте[366] тот же автор говорит:

"Когда у меня перед глазами пара стереоскопических рисунков, которые трудно совместить, мне трудно привести линии и точки, которые соответствуют, в соответствие друг с другом, и при каждом небольшом движении глаз они скользят друг от друга. *Но если мне удастся получить живой мысленный образ (Anschauungsbild) представленной твердой формы* (что часто случается по счастливой случайности), я затем с полной уверенностью перемещаю оба глаза по фигуре, при этом изображение снова не разделяется".

И снова, говоря о соперничестве сетчаток, Гельмгольц заявляет:

"Оно не является испытанием силы между двумя ощущениями, а зависит от того, фиксируем мы или не фиксируем внимание. Действительно, едва ли найдется явление, столь хорошо подходящее для изучения причин, способных определять

внимание. Недостаточно сформировать сознательное намерение увидеть сначала одним глазом, а затем другим; *мы должны сформировать как можно более четкое представление о том, что мы ожидаем увидеть. Тогда оно действительно появится*".[367]

На рисунках 37 и 38, где результат неоднозначен, мы можем перейти от одной кажущейся формы к другой, если заранее сильно представим себе форму, которую хотим увидеть. Точно так же в тех головоломках, где определенные линии на картине образуют своим сочетанием объект, не имеющий никакой связи с тем, что якобы изображено на картине; или в каждом случае, когда объект незаметен и трудно различим на фоне; мы можем не видеть его в течение долгого времени; но, увидев его однажды, мы можем снова обратить на него внимание, когда захотим, благодаря мысленному дублированию его, которое теперь несет наше воображение. В бессмысленных французских словах "*pas de lieu Rhône que nous*" кто может сразу распознать английское "paddle your own canoe"?[368] Но кто из тех, кто однажды заметил тождество, не сможет снова привлечь к нему внимание? Когда мы ждем удара далеких часов, наш разум настолько заполнен их образом, что в каждый момент нам кажется, что мы слышим долгожданный или страшный звук. Так и с ожиданием шагов. Каждое движение в лесу - для охотника его дичь, для беглеца - его преследователи. Каждый чепец на улице - это мгновение, когда влюбленный прикрывает голову своего кумира. Образ в сознании - *это* внимание; *предварительное восприятие*, как называет его мистер Льюс, - это половина восприятия искомой вещи.[369]

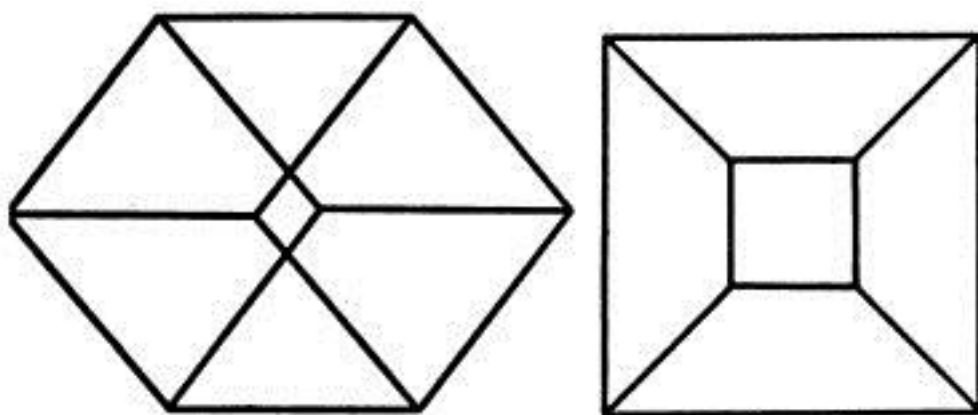


Рис. 37 и 38.

Именно по этой причине у людей нет глаз, кроме как для тех аспектов вещей, которые их уже научили различать. Любой из нас может заметить явление после того, как на него однажды указали, которое ни один из десяти тысяч не смог бы обнаружить самостоятельно. Даже в поэзии и искусстве кто-то должен прийти и сказать нам, какие аспекты мы можем выделить и какими эффектами мы можем восхищаться, прежде чем наша эстетическая природа сможет "расшириться" в полной мере и никогда "с неправильным чувством". При обучении в детском саду одно из упражнений состоит в том, чтобы показать детям, сколько особенностей они могут выделить в таком предмете, как цветок или чучело птицы. Они с готовностью называют уже знакомые им признаки, такие как листья, хвост, счет, лапки. Но они могут часами смотреть, не различая ноздрей, когтей, чешуи и т. д., пока их внимание не привлечет к этим

деталю; после этого, однако, они видят их каждый раз. Короче говоря, *единственные вещи, которые мы обычно видим, - это те, которые мы предварительно воспринимаем*, а единственные вещи, которые мы предварительно воспринимаем, - это те, которые были обозначены для нас, и эти обозначения впечатаны в наш разум. Если бы мы потеряли наш запас ярлыков, мы были бы интеллектуально потеряны посреди мира.

Органическое приспособление, таким образом, и идеологическая подготовка или предварительное восприятие участвуют во всех актах внимания. Интересную теорию отстаивают не менее авторитетные специалисты, чем профессора Бейн[370] и Рибо,[371] и еще более умело защищает мистер Н. Ланге,[372], который считает, что сама идейная подготовка является следствием мышечного приспособления, так что последнее можно назвать сутью всего внимательного процесса. По крайней мере, именно к этому практически сводится теория этих авторов, хотя первые два не излагают ее именно в таких терминах. Доказательство состоит в демонстрации случаев интеллектуального внимания, которое сопровождается органической подстройкой, или объектов, в мышлении которых нам приходится совершать движение. Так, Ланге говорит, что, когда он пытается представить себе определенный цветной круг, он обнаруживает, что сначала делает глазами движение, которому соответствует круг, а *затем* представляет себе цвет и т. д. как следствие этого движения.

"Пусть мой читатель, - добавляет он, - закроет глаза и подумает о каком-нибудь протяженном предмете, например о *карандаше*. Он легко заметит, что сначала он делает легкое движение [глазами], соответствующее прямой линии, и что у него часто возникает слабое ощущение иннервации руки, как будто он касается поверхности карандаша. Так, думая об определенном звуке, мы поворачиваемся в его сторону, или повторяем мускулами его ритм, или артикулируем его имитацию".[373]

Но одно дело - указывать на присутствие мышечных сокращений как постоянных спутников наших мыслей, а другое - утверждать, как герр Ланге, что мысль *становится возможной* только благодаря мышечным сокращениям. Вполне возможно, что если объект мысли состоит из двух частей, одна из которых воспринимается движением, а другая - нет, то часть, воспринимаемая движением, привычно вызывается первой и закрепляется в сознании исполнением движения, в то время как другая часть приходит вторично, как простое сопровождение движения. Но даже если бы это было правилом для всех людей (в чем я сомневаюсь[374]), это было бы только практической привычкой, а не конечной необходимостью. В главе о воле мы узнаем, что сами движения являются результатом образов, возникающих в сознании, образов иногда ощущений в движущейся части, иногда воздействия движения на глаза и уши, а иногда (если движение изначально рефлекторное или инстинктивное) - его естественного стимула или возбуждающей причины. По правде говоря, это противоречит всем более широким и глубоким аналогиям, если отрицать, что любое качество чувства может непосредственно возникнуть в форме идеи, и утверждать, что только идеи движения могут вызывать в сознании другие идеи.

Вот вам и регулировка и предварительное восприятие. Единственный третий процесс, о котором я могу думать как о постоянно присутствующем, - это торможение неуместных движений и идей. Однако это, по-видимому, скорее случайная особенность волевого

внимания, чем существенная особенность внимания в целом,[\[375\]](#) и не нужно нас сейчас особенно волновать. Отмечая лишь тесную связь, которую наш рассказ до сих пор устанавливает между вниманием, с одной стороны, и воображением, дискриминацией и памятью, с другой, давайте сделаем несколько практических выводов, а затем перейдем к более спекулятивной проблеме, которая остается.

Практические выводы носят педагогический характер. Во-первых, *укрепление внимания у детей*, которым безразличен изучаемый предмет и которые пускают свою сообразительность на самотек. Интерес здесь должен быть "производным" от чего-то, что учитель связывает с заданием, наградой или наказанием, если ничего более внешнего не приходит на ум. Профессор Рибо говорит:

"Ребенок отказывается читать; он не в состоянии удерживать внимание на буквах, которые его не привлекают; но он с жадностью смотрит на картинки в книге. Он спрашивает: "Что они означают? Отец отвечает: "Когда ты научишься читать, книга сама тебе расскажет". После нескольких подобных бесед ребенок смиряется и приступает к работе, сначала вяло, потом привычка растет, и в конце концов он проявляет пыл, который приходится сдерживать. Это случай генезиса добровольного внимания. Искусственное и косвенное желание должно быть привито к естественному и прямому. Чтение не обладает непосредственной привлекательностью, но у него есть заимствованная привлекательность, и этого достаточно. Ребенок попадает в колесо работы, первый шаг сделан".

Приведу еще один пример, от М. Б. Переса:[\[376\]](#)

"Ребенок шести лет, обычно склонный к блужданиям ума, однажды по собственной воле сел за фортепиано, чтобы повторить мелодию, которой была очарована его мать. Его упражнения продолжались час. Тот же ребенок в возрасте семи лет, увидев, что его брат занят делами на каникулах, подошел и сел за стол отца. "Что ты там делаешь?" - спросила его няня, удивленная тем, что он так быстро нашелся. "Я, - ответил ребенок, - учу страницу немецкого языка; это не очень забавно, но приятно удивит маму".

Здесь снова рождается добровольное внимание, привитое на этот раз к сочувствию, а не к эгоистическому чувству, как в первом примере. Фортепиано, немецкая музыка, не пробуждают спонтанного внимания; но они пробуждают и поддерживают его, заимствуя силу из других мест.[\[377\]](#)

Во-вторых, возьмем то блуждание ума, которое в более позднем возрасте может беспокоить нас *во время чтения или прослушивания лекций*. Если внимание - это воспроизведение ощущений изнутри, то привычка читать не только глазом, слушать не только ухом, но и формулировать про себя увиденные или услышанные слова должна углублять внимание к последним. Опыт показывает, что так оно и есть. Я могу гораздо лучше следить за разговором или лекцией, если я активно повторяю про себя слова, чем если я их просто слышу; и я нахожу ряд своих студентов, которые сообщают о пользе добровольного принятия подобного курса.[\[378\]](#)

Во-вторых, *учитель, который хочет привлечь внимание своего класса, должен привязывать свои новинки к вещам, о которых у них уже есть представление*. Старое и знакомое легко воспринимается умом и помогает удерживать новое, формируя для него, по

гербартианской фразеологии, "апперцепцию" (*Apperceptionsmasse*). Конечно, в каждом конкретном случае это очень деликатная проблема - знать, какой "апперцепционный маневр" следует использовать. Психология может лишь сформулировать общее правило.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОМ ИЛИ СИЛОЙ?

Когда несколько страниц назад я символизировал элемент "идейной подготовки" во внимании мозговой клеткой, на которую воздействуют изнутри, я добавил "другими мозговыми клетками или какой-то духовной силой", не решив, какой именно. Вопрос "какая?" - одна из тех центральных психологических загадок, которые разделяют школы. Когда мы размышляем о том, что повороты нашего внимания образуют ядро нашего внутреннего "я"; когда мы видим (как мы увидим в главе о воле), что воление есть не что иное, как внимание; когда мы верим, что наша автономия среди природы зависит от того, что мы не являемся чистым следствием, но причиной, -...

*Principium quoddam quod fati fœdera rumpat,
Ex infinito ne causant causa sequatur-*

Мы должны признать, что вопрос о том, включает ли внимание такой принцип духовной активности или нет, является метафизическим, а также психологическим, и вполне заслуживает всех усилий, которые мы можем приложить для его решения. Это, по сути, ключевой вопрос метафизики, тот самый шарнир, на котором наша картина мира должна качнуться от материализма, фатализма, монизма к спиритуализму, свободе, плюрализму - или же в другую сторону.

Это восходит к теории автоматов. Если чувство - это инертный аккомпанемент, то, конечно, клетка мозга может быть задействована только другими клетками мозга, и внимание, которое мы уделяем в любой момент любому предмету, будь то в форме сенсорной адаптации или "предвосприятия", - это фатально predetermined эффект исключительно материальных законов. Если же, с другой стороны, чувство, сосуществующее с деятельностью клеток мозга, динамически реагирует на эту деятельность, способствуя или препятствуя ей, то внимание, по крайней мере частично, является *причиной*. Из этого, конечно, не следует, что это реагирующее чувство должно быть "свободным" в том смысле, что его количество и направление не определены заранее, поскольку оно вполне может быть predetermined во всех этих деталях. Если бы это было так, то наше внимание не было бы *материально* детерминированным, и в то же время оно не было бы "свободным" в смысле спонтанным или непредсказуемым заранее. Вопрос, конечно, чисто умозрительный, поскольку у нас нет возможности объективно установить, реагируют ли наши чувства на наши нервные процессы или нет; и те, кто отвечает на него так или иначе, делают это на основании общих аналогий и предположений, взятых из других областей. Как простые *концепции*, теория эффекта и теория причины внимания одинаково ясны; и тот, кто утверждает истинность любой из этих концепций, должен делать это на метафизических или универсальных, а не на научных или конкретных основаниях.

Что касается *непосредственного сенсорного внимания*, то вряд ли кто-то склонен считать его чем-то иным, кроме как эффектом.^[379] Мы "эволюционировали" таким образом, чтобы

реагировать на особые стимулы особыми аккомодационными актами, которые производят в нас, с одной стороны, ясные восприятия, а с другой - такие ощущения внутренней активности, которые были описаны выше. Аккомодация и возникающие при этом ощущения *и есть* внимание. Не мы дарим его, а объект вытягивает его из нас. Инициатива принадлежит объекту, а не уму.

Производное внимание, когда нет волевых усилий, также кажется наиболее правдоподобным, чтобы быть простым эффектом. Объект снова берет на себя инициативу и привлекает наше внимание к себе, но не в силу собственного интереса, а потому, что он связан с какой-то другой интересной вещью. Его мозговой процесс связан с другим, который либо возбужден, либо стремится к возбуждению, и ответственность разделить это возбуждение и стать возбужденным - это ответственность за "предвосприятие", в котором заключается внимание. Если я получил оскорбление, я могу не думать о нем все время, но мысль о нем находится в таком состоянии повышенной раздражительности, что место, где я его получил, или человек, который его нанес, не могут быть упомянуты в моем слухе без того, чтобы мое внимание не устремилось, так сказать, в этом направлении, поскольку воображение оживляет всю эту операцию. Там, где происходит такое возбуждение, должно существовать и органическое приспособление, и идеи должны в какой-то степени иннервировать мышцы. Таким образом, весь процесс непроизвольного производного внимания объясняется, если мы признаем, что существует нечто достаточно интересное, чтобы вызвать и зафиксировать мысль о том, что может быть с этим связано. Эта фиксация *и есть* внимание; и она несет в себе смутное ощущение происходящей активности, а также согласия, поддержки и принятия, что заставляет нас чувствовать, что эта активность - наша собственная.

Именно это подкрепление идей и впечатлений уже существующими содержаниями ума имел в виду Гербарт, когда дал название *апперцептивного* внимания описываемому нами виду. Теперь мы легко понимаем, почему стук любовника должен быть услышан - он находит нервный центр, наполовину готовый к взрыву. Мы видим, как мы можем обратить внимание на голос собеседника среди шумов, которые проходят незамеченными, хотя объективно гораздо громче, чем слова, которые мы слышим. Каждое слово пробуждается *дважды*: один раз извне - губами говорящего, но уже до этого изнутри - предчувственными процессами, исходящими от предыдущих слов, и тусклым возбуждением всех процессов, связанных с "темой" разговора. Несущественные шумы, с другой стороны, пробуждаются только один раз. Они образуют не связанный между собой поезд. Мальчики в школе, невнимательные к учителю, за исключением тех случаев, когда он начинает рассказывать анекдот, и тогда все наострают уши, объясняются так же легко. Слова анекдота вызывают ассоциации с волнующими объектами, которые реагируют и фиксируют их, а другие слова - нет. Аналогично с грамматикой, которую слышал пурист, и другими примерами Гербарта, приведенными на [странице 418](#).

Даже если внимание является добровольным, его можно представить себе как следствие, а не причину, продукт, а не агент. То, на что мы обращаем внимание, *приходит к нам* по своим собственным законам. Внимание не *создает* никакой идеи; идея уже должна быть там, прежде чем мы сможем обратить на нее внимание. Внимание лишь фиксирует и сохраняет то, что по обычным законам ассоциаций оказывается "перед софитами" сознания. Но как только мы признаем это, мы увидим, что внимание как *таковое*, ощущение присутствия не больше фиксирует и сохраняет идеи, чем приносит их. Ассоциативные связи, которые их вызывают, также закрепляют их благодаря интересу, который они придают. Короче говоря, добровольное и непроизвольное внимание может быть по сути одним и тем же. Правда, там,

где идеи по своей сути очень нежелательны, а усилия, затрачиваемые на их рассмотрение, велики, нам кажется, что частое возобновление усилий и есть та самая причина, благодаря которой они удерживаются, и мы, естественно, считаем эти усилия изначальной силой. На самом деле только *усилие присутствия*, а не само *присутствие*, вызывает у нас серьезное искушение приписать спонтанную силу. Мы думаем, что можем сделать больше, *если захотим*; и количество, которое мы делаем, не кажется фиксированной функцией самих идей, как это обязательно должно было бы быть, если бы наше усилие было эффектом, а не духовной силой. Но даже здесь можно представить себе факты механически и рассматривать усилия как простой эффект.

Усилие ощущается только там, где в сознании возникает конфликт интересов. Идея А может быть внутренне захватывающей для нас. Идея Z может быть интересна в связи с каким-то более отдаленным благом. А может быть нашей возлюбленной, а Z - неким условием спасения нашей души. При таких обстоятельствах, если нам и удастся обратить внимание на Z, то это всегда связано с затратой усилий. Идейная подготовка, "предвосприятие" А продолжается само собой, в то время как восприятие Z нуждается в постоянных импульсах добровольного подкрепления - то есть мы испытываем *чувство* добровольного подкрепления (или усилия) в каждый следующий момент, когда мысль о Z ярко вспыхивает в нашем сознании. Динамически, однако, это может означать только следующее: ассоциативные процессы, которые заставляют Z торжествовать, на самом деле сильнее, и в отсутствие А заставили бы нас уделять Z "пассивное" и беспрепятственное внимание; но пока А присутствует, часть их силы используется для торможения процессов, связанных с А. Такое торможение - это частичная нейтрализация энергии мозга, которая в противном случае была бы доступна для беглого мышления. Но то, что теряется для мысли, преобразуется в чувство, в данном случае в своеобразное ощущение усилия, трудности или напряжения.

Поток наших мыслей подобен реке. В целом в нем преобладает легкое простое течение, дрейф вещей происходит под действием силы тяжести, а внимание без усилий является правилом. Но время от времени возникает препятствие, затор, затор, который останавливает течение, создает водоворот и заставляет все временно двигаться в другую сторону. Если бы настоящая река могла чувствовать, она бы ощущала эти завихрения и заторы как места приложения усилий. "Я здесь теку, - сказала бы она, - в направлении наибольшего сопротивления, вместо того чтобы течь, как обычно, в направлении наименьшего. Мое усилие - это то, что позволяет мне совершить этот подвиг". На самом деле усилие было бы лишь пассивным показателем того, что подвиг совершается. В то же время агентом было бы общее нисходящее движение остальной воды, заставляющее *часть* ее подниматься вверх в этом месте; и хотя в *среднем* направлении наименьшего сопротивления направлено вниз, это не является причиной того, что время от времени оно не направляется вверх. Так и с нашими добровольными актами внимания. Они представляют собой кратковременные остановки, связанные с особым чувством, части потока. Но задерживающая сила, вместо того чтобы быть этим особым чувством, может быть ничем иным, как процессами, в результате которых происходит столкновение. Ощущение усилия может быть "аккомпанементом", как говорит мистер Брэдли, "более или менее лишним", и способствовать результату не больше, чем боль в пальце человека, когда на него падает молоток, способствует весу молотка. Таким образом, представление о том, что наше усилие при внимании является оригинальной способностью, силой, дополнительной к другим, которые мозг и разум являются местом, может быть крайним суеверием. Вниманию, возможно, придется уйти, как и многим другим способностям, когда-то считавшимся необходимыми, как многим словесным фантомам, как многим идолам племени. Оно может

стать наростом на психологии. Нет нужды таскать идеи перед сознанием или фиксировать их, когда мы видим, как прекрасно они таскают и фиксируют друг друга там.

Я изложил теорию эффекта настолько убедительно, насколько это возможно.^[380] Это четкая, сильная, хорошо подготовленная концепция, и, как и все подобные, она способна нести убеждение, если нет противоположных доказательств. Ощущение усилия, конечно, *может* быть инертным сопровождением, а не активным элементом, каким оно кажется. До сих пор не было проведено ни одного измерения (можно с уверенностью сказать, что и никогда не будет проведено), которое могло бы показать, что оно вносит энергию в результат. Мы, , можем считать внимание излишеством, или "люксом", и догматизировать его причинную функцию, не испытывая в душе ничего, кроме гордости за то, что мы применяем бритву Оккама к сущности, которая размножилась "сверх необходимости".

Но бритва Оккама, хотя и является очень хорошим правилом метода, конечно, не закон природы. Законы стимуляции и ассоциации вполне могут быть незаменимыми актерами во всех спектаклях внимания, и даже могут быть достаточно хорошей "труппой", чтобы проводить многие спектакли без посторонней помощи; и все же иногда они *могут* быть просто фоном для "звездного исполнителя", который является не более их "инертным аккомпанементом" или "случайным продуктом", чем Гамлет - Горацио и Офелия. Такой "исполнитель-звезда" был бы добровольным усилием, которое нужно приложить, если бы это была изначальная психическая сила. Природа *может*, говорю я, потворствовать этим осложнениям; и концепция, что она сделала это в данном случае, я думаю, столь же ясна (если не столь "разборчива" логически), как и концепция, что она этого не сделала. Чтобы обосновать это утверждение, *давайте спросим, на что бы повлияли усилия по посещению, если бы они были изначальной силой.*

Оно углубило бы и продлило пребывание в сознании бесчисленных идей, которые в противном случае улетучились бы быстрее. Задержка, полученная таким образом, может быть не более секунды, но эта секунда может оказаться *решающей*; ведь в постоянном подъеме и спаде мыслей в сознании, когда две связанные между собой системы находятся почти в равновесии, часто всего лишь секунда больше или меньше внимания в самом начале, и одна система получит силу, чтобы занять поле и развиваться, и исключить другую, или же сама будет исключена другой. Развившись, она может заставить нас действовать, и это действие может предопределить нашу гибель. Когда мы перейдем к главе о воле, мы увидим, что вся драма волевой жизни зависит от количества внимания, чуть большего или чуть меньшего, которое могут получить соперничающие двигательные идеи. Но все ощущение реальности, все жало и волнение нашей волевой жизни зависит от нашего чувства, что в ней все *действительно решается* от момента к моменту, и что это не скучное бряцание цепи, выкованной бесчисленное количество лет назад. Эта видимость, заставляющая жизнь и историю трепетать с такой трагической изюминкой, не *может* быть иллюзией. Как мы соглашаемся с сторонником механической теории, что она может быть таковой, так и он должен согласиться с нами, что это *не так*. В результате две концепции возможности оказываются лицом к лицу, и нет ни одного достаточно определенно известного факта, который мог бы стать арбитром между ними.

В этих обстоятельствах можно оставить вопрос открытым в ожидании света, а можно поступить так, как поступает большинство спекулятивных умов, то есть обратиться к своей общей философии, чтобы склонить луч. Верующие в механизм делают это без колебаний, и они не должны отказывать в аналогичной привилегии верующим в духовную силу. Я

причисляю себя к последним, но поскольку мои доводы носят этический характер, они вряд ли подходят для введения в психологическую работу.[381] Последнее слово психологии здесь - невежество, ибо задействованные "силы", безусловно, слишком тонки и многочисленны, чтобы их можно было подробно проследить. Между тем, учитывая странное высокомерие, с которым самые дикие материалистические спекуляции упорно называют себя "наукой", нелишне будет напомнить, в чем заключается аргументация, с помощью которой подтверждается эффект-теория внимания. Это аргумент по аналогии, взятый из рек, рефлекторных действий и других материальных явлений, где сознание, *по-видимому*, вообще не существует, и распространенный на случаи, когда сознание представляется существенной чертой явления. *Сознание не в счет*, говорят эти рассуждатели, оно не существует для науки, оно *ничтожно*, о нем вообще не следует думать. Безрассудный характер всего этого не нуждается в комментариях. Это делает механическую теорию истинной *per fas aut nefas*. Ради этой теории мы делаем умозаключения от явлений к другим, поразительно *на них не похожим*; и мы предполагаем, что осложнение, которое внесла природа (наличие чувств и усилий, а именно), вообще не заслуживает научного признания. Такое поведение может быть *мудрым*, хотя я в этом сомневаюсь; но научным, в отличие от метафизического, его всерьез назвать нельзя.[382]

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ.

Полностью рассказав о внимании, позвольте мне добавить пару слов о *невнимательности*.

Мы не замечаем ни тиканья часов, ни шума городских улиц, ни журчания ручья возле дома; и даже шум литейного цеха или завода не смешивается с мыслями рабочих, если они находятся там достаточно долго. Когда мы впервые надеваем очки, особенно если они имеют определенную кривизну, яркие отражения, которые они дают от окон и т. д., смешиваясь с полем зрения, очень мешают. Через несколько дней мы перестаем обращать на них внимание. Различные энтоптические образы, *волевые мышцы* и т. д., хотя и присутствуют постоянно, почти никогда не осознаются. Давление одежды и обуви, биение сердца и артерий, дыхание, постоянные телесные боли, привычные запахи, вкусы во рту и т. д. - вот примеры из других органов чувств, когда мы не осознаем слишком неизменного содержания, и это упущение Гоббс выразил в известной фразе: "*Semper idem sentire ac non sentire ad idem revertunt*".

Причиной бессознательности, конечно, не является простое притупление органов чувств. Если бы ощущение было важным, мы должны были бы замечать его достаточно хорошо; и мы можем в любой момент заметить его, явно обратив на него свое внимание,[383] при условии, что оно не стало настолько въедливым, что невнимание к нему укоренилось в нашей конституции, как в случае с *волевыми мышцами*, двойным изображением сетчатки и т. д. Но даже в этих случаях искусственные условия наблюдения и терпения вскоре дают нам возможность овладеть впечатлением, которое мы ищем. Невнимательность должна быть привычкой, основанной на более высоких условиях, чем простая сенсорная усталость.

Гельмгольц сформулировал общий закон невнимательности, который мы должны будем изучить в следующей главе, кроме первой. Закон Гельмгольца заключается в том, что мы оставляем незамеченными все впечатления, которые не имеют для нас ценности как признаки, по которым мы можем *различать вещи*. В крайнем случае такие впечатления сливаются со своими родственниками в суммарный эффект. Верхние частичные тона,

которыми отличаются человеческие голоса, отличаются только как целое - мы не можем разделить сами тона. Запахи, составляющие неотъемлемую часть характерного вкуса некоторых веществ - мяса, рыбы, сыра, масла, вина, - не доходят до нас как запахи. Различные мышечные и тактильные ощущения, составляющие восприятие признаков "мокрый", "упругий", "тестообразный" и т. д., не выделяются отдельно как таковые. И все это происходит из-за укоренившейся привычки переходить от них сразу к их значению, оставляя в покое их субстанциональную природу. Они образовали в сознании связи, которые теперь трудно разорвать; они являются составными частями процессов, которые трудно остановить, и которые совершенно не похожи на то, чем могли бы быть процессы привлечения внимания. В случаях, которые имеет в виду Гельмгольц, эти привычки сформировались не только у нас, но и у наших предков. Однако в тех случаях, с которых мы начали, - мельничное колесо, очки, фабричный гул, тесная обувь и т. д. - привычки к невнимательности появились совсем недавно, и их генезис, по крайней мере гипотетически, можно проследить.

Каким образом впечатления, не нужные интеллекту, могут быть таким образом отстранены от всякого отношения к остальному сознанию? Профессор Г. Э. Мюллер дал правдоподобный ответ на этот вопрос, и большая часть того, что следует далее, заимствована у него.^[384] Он начинает с того, что

"Когда мы впервые выходим с фабрики или завода, на котором мы находились достаточно долго, чтобы привыкнуть к шуму, мы чувствуем, что нам чего-то *не хватает*. Наше полное ощущение существования отличается от того, что было, когда мы находились на фабрике..... Один друг пишет мне: "У меня в комнате есть маленькие часы, которые не идут без подзавода двадцать четыре часа. Вследствие этого они часто останавливаются. Как только это происходит, я замечаю это, тогда как в дороге я, естественно, не замечаю этого. Когда это впервые стало происходить, произошла такая модификация: Я вдруг почувствовал неопределенное беспокойство или какую-то пустоту, не будучи в состоянии сказать, в чем дело; и только после некоторого размышления я нашел причину в остановке часов".

То, что остановка неощущаемого стимула сама по себе может быть ощутимой, - хорошо известный факт: спящий в церкви, который просыпается, когда заканчивается проповедь; мельник, который делает то же самое, когда его колесо стоит на месте, - вот яркие примеры. Теперь (поскольку каждое впечатление, падающее на нервную систему, должно распространяться каким-то образом) Мюллер предполагает, что впечатления, которые приходят к нам, когда мыслецентры заняты другими делами, могут таким образом блокироваться или препятствовать проникновению в эти центры, а затем переливаться в более низкие пути разрядки. И далее он предполагает, что если этот процесс будет повторяться достаточно часто, то созданный таким образом боковой путь станет настолько проницаемым, что им можно будет пользоваться независимо от того, что происходит в вышележащих центрах. При упомянутой приобретенной невнимательности постоянный стимул *поначалу* всегда вызывал беспокойство, и сознание его успешно вытеснялось только тогда, когда мозг был *сильно возбужден* другими вещами. Постепенно вытеснение становилось все более легким и, наконец, автоматическим.

Боковые пути, которые таким образом учатся отводить раздражители, мешающие думать, не могут быть определены с точностью. Вероятно, они заканчиваются органическими процессами или незначительными мышечными сокращениями, которые, когда прекращается действие их провоцирующей причины, сразу же вызывают у нас ощущение,

что что-то исчезло из нашего существования (как говорит Мюллер), или (как выражается его друг) ощущение пустоты.[385]

Предположение Мюллера пробуждает другое. Хорошо известно, что люди, стремящиеся удержать внимание на трудном предмете, прибегают к различным бессмысленным движениям, таким как ходьба по комнате, барабанный бой пальцами, игра с ключами или цепочкой от часов, почесывание головы, дерганье усов, вибрация ног, или что-либо еще, в зависимости от конкретного человека. Существует анекдот о том, как сэр В. Скотт, будучи мальчиком, возвысился над своим классом, отрезав от пиджака обычного старосты пуговицу, которую тот имел привычку вертеть в пальцах во время урока. Пуговица исчезла, исчезла и способность ее владельца к декламации. - Большая часть этой активности, несомненно, связана с переполнением эмоционального возбуждения во время тревожных и сосредоточенных мыслей. Она отводит нервные токи, которые, если бы накапливались в центрах мыслей, скорее всего, еще больше запутали бы их. Но не может ли она также служить средством отвода всех неважных ощущений момента и, таким образом, удерживать внимание на его внутренней задаче? У каждого человека обычно есть свое собственное привычное движение такого рода. Таким образом, нисходящий нервный путь остается постоянно открытым во время сосредоточенного размышления; а поскольку, как представляется, это закон частого (если не универсального) применения, что случайные стимулы имеют тенденцию разряжаться через пути, которые уже разряжаются, а не через другие, может защитить центры мысли от вмешательства извне. Если бы это было истинным обоснованием этих своеобразных движений, мы должны были бы предположить, что ощущения, возникающие в каждой фазе движения, также немедленно передаются следующей фазе и помогают поддерживать круговой процесс. Я предлагаю это предположение, но оно того стоит; связь самих движений с продолжающимся усилием внимания, безусловно, является подлинным и любопытным фактом.

[322] Бэйн упоминает о внимании в "Чувствах и интеллекте", с. 558, и даже дает его теорию на с. 370-374 "Эмоций воли". К этой теории я вернусь позже.

[323] "Первая и самая важная, но и самая трудная задача на начальном этапе воспитания - постепенно преодолеть невнимательное рассеяние ума, которое проявляется везде, где органическая жизнь преобладает над интеллектуальной. Обучение животных... должно быть в первую очередь основано на пробуждении внимания (ср. Adrian Leonard, *Essai sur l'Education des Animaux*, Lille, 1842), то есть мы должны стремиться к тому, чтобы они постепенно воспринимали отдельно те вещи, на которые, если бы они были предоставлены сами себе, не обращали бы внимания, потому что они слились бы с огромной суммой других сенсорных стимулов в запутанное общее впечатление, в котором каждый отдельный элемент только затемняет и мешает остальным. Точно так же поначалу происходит и с человеческим ребенком. Огромные трудности обучения глухонемых и особенно идиотов объясняются главным образом тем, как медленно и мучительно нам удается вычленить из общей путаницы восприятия отдельные предметы с достаточной четкостью". (Waitz, *Lehrb. d. Psychol.*, p. 632.)

[324] Элементы, часть i, гл. ii, *fin*.

[325] Лекции по метафизике, лекция xiv.

[326] *Nature*, vol. iii, p. 281 (1871).

[327] Если человеку в *нормальном* состоянии на мгновение показать множество точек или штрихов на листе бумаги, попросив его сказать, сколько их там, он обнаружит, что в его сознании они разбиваются на группы, и пока он анализирует и подсчитывает в памяти одну группу, другие растворяются. Короче говоря, впечатление, производимое точками, быстро сменяется чем-то другим. В *состоянии транса*, напротив, оно, кажется, *сохраняется*; я обнаружил, что люди в гипнотическом состоянии легко считают точки в уме, пока их число не превышает двадцати.

[328] Мистер Кэттелл провел эксперимент Джевонса гораздо более точным способом (Philosophische Studien, iii, 121 ff.). Карточки были исписаны короткими линиями, число которых варьировалось от четырех до пятнадцати, и выставлены на глаз на сотую долю секунды. Когда число составляло всего четыре или пять, ошибок, как правило, не было. При больших числах наблюдалась тенденция скорее к занижению, чем к завышению оценки. Аналогичные эксперименты были проведены с буквами и цифрами и дали тот же результат. Когда буквы составляли знакомые слова, их можно было назвать в три раза чаще, чем когда их сочетание было бессмысленным. Если слова образовывали предложение, их можно было уловить в два раза чаще, чем когда они не имели никакой связи. "Затем предложение воспринималось как единое целое. Если не воспринимать его таким образом, то из нескольких слов почти ничего не улавливается; но если воспринимать предложение как целое, то слова кажутся очень отчетливыми". Вундт и его ученик Дитце пробовали проводить аналогичные эксперименты с быстро повторяющимися звуковыми штрихами. Вундт заставлял их следовать друг за другом группами и обнаружил, что группы из двенадцати ударов, не более, могут быть распознаны и идентифицированы, когда они сменяют друг друга с наиболее благоприятной скоростью, а именно от трех до пяти десятых секунды (Phys. Psych., ii, 215). Дитце обнаружил, что, мысленно разделяя группы на подгруппы по мере прослушивания, можно идентифицировать до сорока ударов как единое целое. Затем они воспринимаются как восемь подгрупп по пять или как пять из восьми штрихов каждая. (Philosophische Studien, ii, 362.)- Позже в лаборатории Вундта Бехтерев проводил наблюдения над двумя *одновременно* идущими сериями ударов метронома, из которых одна содержала на один удар больше, чем другая. Наиболее благоприятная скорость последовательности составляла 0,3 секунды, и тогда он различал группу из 18 и одну из 18 + 1, по-видимому. (Neurologisches Centralblatt, 1889, 272.)

[329] Revue Scientifique, vol. 39, p. 684 (28 мая 1887 г.).

[330] Ср. Chr. Wolff: Psychologia Empirica, § 245. Изложение Вольфом феномена внимания в целом превосходно.

[331] Pflüger's Archiv, xi, 429-31.

[332] Physiol. Psych., 2d ed. ii, pp. 238-40.

[333] *Ib.* p. 262.

[334] Физиол. Psych., 2d ed. ii, 264-6.

[335] Это было оригинальное наблюдение "личного уравнивания" Бесселя. Наблюдатель смотрел в экваториальный телескоп, чтобы отметить момент, когда звезда пересекла меридиан, который в поле зрения телескопа обозначен видимой нитью, рядом с которой появляются другие равноудаленные нити. "Перед тем как звезда достигала нити, он смотрел на часы, а затем, не сводя глаз с телескопа, отсчитывал секунды по биению маятника. Поскольку звезда редко проходила меридиан в точный момент удара, наблюдатель, чтобы

оценить доли, должен был отметить ее положение в момент удара до и в момент удара после прохождения, и разделить время так, как линия меридиана, казалось, разделяет пространство. Если, например, отсчитать 20 секунд, а на 21-й звезда окажется удаленной от меридианной нити с на расстояние ac , а на 22-й - на расстояние bc , то, если $ac:bc::1:2$, звезда пройдет за $21 \frac{1}{8}$ секунды. Условия напоминают условия нашего эксперимента: звезда - это указательная стрелка, нити - шкала; следует ожидать смещения во времени, которое при больших скоростях может быть положительным, а при малых - отрицательным. Астрономические наблюдения не позволяют нам измерить его абсолютную величину; но то, что оно существует, подтверждается тем фактом, что после устранения всех других возможных ошибок между разными наблюдателями все еще остается личная разница, которая часто намного больше, чем разница между простыми временами реакции, составляя ... иногда более секунды". (Op. cit. p. 270.)

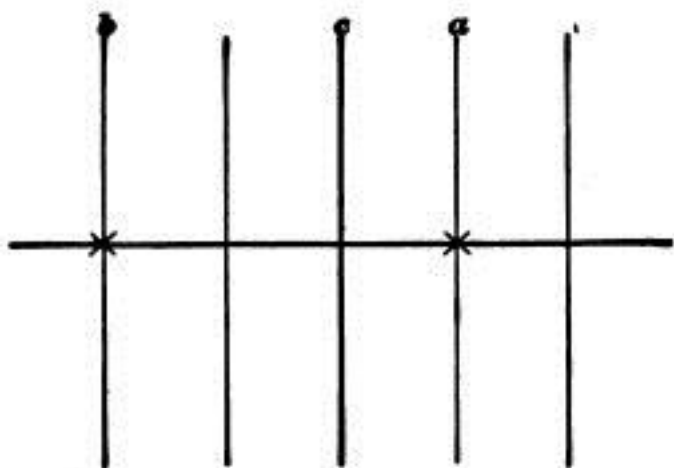


Рис. 35.

[336] Philosophische Studien, ii, 601.

[337] Physiol. Psych., 2d ed. ii, 273-4; 3d ed. ii, 339; Philosophische Studien, ii, 621 ff.- Я знаю, что я глуп, но признаюсь, что эти теоретические выкладки, особенно Вундта, кажутся мне несколько туманными. Герр В. Тшиш считает невозможным, чтобы восприятие положения указателя пришло слишком поздно, и говорит, что это не требует особого внимания (стр. 622). Однако кажется, что это вряд ли может быть так. Оба наблюдателя говорят о сложности увидеть указатель в нужный момент. Дело обстоит совсем иначе, чем в случае с беспристрастным распределением внимания по одновременным сиюминутным ощущениям. Колокольчик или другой сигнал дает сиюминутное ощущение, а указатель - непрерывное ощущение движения. Отметить какое-либо одно *положение указателя* - значит *прервать* это ощущение движения и заменить его совершенно другим восприятием - одним, а именно, положением - на время, пусть и короткое. Это влечет за собой резкое изменение в способе наблюдения за оборотами указателя; это изменение *должно* происходить ни раньше, ни позже, чем мгновенное впечатление, и *фиксировать* указатель таким, каким он виден тогда и там. Речь идет не о том, чтобы просто получить сразу два ощущения и почувствовать их - что было бы гармоничным действием; а о том, чтобы *остановить одно* и сменить его на другое, в то время как мы одновременно получаем третье. Два из этих актов расходятся, а все три скорее мешают друг другу. Становится трудно "зафиксировать" указатель в тот самый момент, когда мы уловили сиюминутное впечатление; поэтому мы впадаем в манеру фиксировать его либо в последний возможный момент до, либо в первый возможный момент после того, как впечатление пришло.

По крайней мере, такое положение вещей кажется мне более вероятным. Если мы фиксируем индекс до того, как впечатление действительно приходит, это означает, что мы воспринимаем его слишком поздно. Но почему мы фиксируем его *раньше*, когда впечатления приходят медленно и просто, и *позже*, когда они приходят быстро и сложно? И почему при определенных условиях смещения вообще не происходит? Ответ напрашивается сам собой: когда между впечатлениями проходит достаточно времени, чтобы внимание успело комфортно адаптироваться и к ним, и к указателю (одна секунда в экспериментах W.'экспериментов), оно осуществляет оба процесса одновременно; когда досуг чрезмерен, внимание, следуя своим собственным законам созревания и будучи *готовым* отметить индекс до прихода другого впечатления, отмечает его *тогда*, поскольку это момент наиболее легкого действия, в то время как впечатление, которое приходит на мгновение позже, мешает отметить его снова; и, наконец, что когда досуг недостаточен, сиюминутные впечатления, будучи более фиксированными данными, рассматриваются сначала, а индекс фиксируется немного позже. Отмечание индекса в слишком ранний момент было бы констатацией реального факта, аналог которого есть во многих других ритмических опытах. Например, в экспериментах на время реакции, когда в регулярно повторяющейся серии стимул время от времени пропускается, наблюдатель иногда реагирует так, как будто он появился. Здесь, как замечает Вундт, мы ловим себя на том, что действуем только потому, что наша внутренняя подготовка завершена. Фиксация" указателя - это своего рода действие; таким образом, моя интерпретация согласуется с фактами, признанными в других местах; но объяснение Вундта (если я его понимаю) экспериментов требует, чтобы мы поверили, что наблюдатель, подобный В. Тшишу, будет стабильно и без исключений получать галлюцинацию удара колокола до его появления и *не слышать настоящего удара колокола после этого*. Я сомневаюсь, что это возможно, и не могу придумать аналога этому в остальном нашем опыте. Вся эта тема заслуживает того, чтобы повторить ее еще раз. Вундту следует отдать должное за его терпение в проработке фактов. Его объяснение их в более ранней работе (Vorlesungen üb. Menschen und Thierseele, i, 37-42, 365-371) состояло лишь в апелляции к единству сознания, и его можно считать довольно грубым.

[338] Заметим, что постоянные интересы сами по себе основаны на определенных объектах и отношениях, в которых наш интерес непосредствен и инстинктивен.

[339] Гербарт: Psychologie als Wissenschaft, § 128.

[340] Сэр В. Гамильтон. Метафизика, лекция xiv.

[341] Mental Physiol., § 124. Часто упоминаемый случай, когда солдаты не воспринимают, что они ранены, относится к аналогичному роду.

[342] Профессор Дж. М. Кэттелл провел эксперименты, о которых мы будем говорить далее, по определению степени, в которой время реакции может быть сокращено путем отвлечения или добровольного сосредоточения внимания. О последней серии он говорит, что "средние показатели показывают, что внимание можно держать в напряжении, то есть удерживать центры в состоянии неустойчивого равновесия, в течение одной секунды" (Mind, xi, 240).

[343] Physiologische Optik, § 32.

[344] "Гений, - говорит Гельвеций, - есть не что иное, как постоянное внимание (*une attention suivie*)". "Гений, - говорит Бюффон, - это только длительное терпение (*une longue patience*)". По крайней мере, в точных науках, - говорит Кювье, - именно терпение здравого рассудка,

когда он непобедим, является истинным гением". А Честерфилд также заметил, что "способность уделять внимание, устойчивое и нерассеянное, одному объекту, является верным признаком высшего гения". (Hamilton: Lect. on Metaph., lecture xiv.)

[345] См. например, Ulrici: Leib u. Seele, ii, 28; Lotze: Metaphysik, § 273; Fechner, Revision d. Psychophysik, xix; G. E. Müller: Zur Theorie d. sinnl. Aufmerksamkeit, § 1; Stumpf: Tonpsychologie, i, 71.

[346] Fechner, *op. cit.* p. 271.

[347] Tonpsychologie, i, p. 71.

[348] Сравните, о ясности как существенном плоде внимания, "Метафизику" Лотце, § 273.

[349] Элементы, часть i, глава ii.

[350] Physiol. Psych., 2d ed. ii, 226.

[351] Под отрицательным значением времени реакции Вундт имеет в виду случай, когда реактивное движение происходит *раньше* стимула.

[352] *Op. cit.* ii, 239.

[353] Читатель не должен полагать, что это явление встречается часто. Опытные наблюдатели, такие как Экснер и Кэттелл, отрицают, что сталкивались с ним в своем личном опыте.

[354] *Op. cit.* pp. 241-5.

[355] Следует добавить, что мистер Дж. М. Кэттелл (Mind, xi, 33), повторив эксперименты Вундта с раздражающим шумом на двух опытных наблюдателях, обнаружил, что время простой реакции на свет или звук едва заметно увеличивается. Сильная волевая концентрация внимания сокращала его в среднем на 0,013 секунды (с. 240). Выполнение мысленных добавлений в ожидании стимула удлиняло его, по-видимому, больше, чем что-либо другое. Другие, менее тщательные, наблюдения можно найти у Оберштайнера в Brain, i, 439. Отрицательные результаты Кэттелла показывают, насколько далеко некоторые люди могут абстрагировать свое внимание от стимулов, которые других бы обеспокоили. -А. Бартельс (Versuche über die Ablenkung d. Aufmerksamkeit, Dorpat, 1889) обнаружил, что раздражение одного глаза иногда предотвращает, иногда улучшает восприятие быстро следующего очень слабого раздражения другого.

[356] Ср. Вундт, Физиол. Psych., 1st ed. p. 794.

[357] Beiträge zur Experimentellen Psychologie, Heft i, pp. 73-106 (1889).

[358] По меньшей мере, он всегда приближал свою артикуляционную иннервацию к точке разрядки. Герр М. описывает напряжение мышц головы как характерное для установки внимания на ответ.

[359] Psychophysik, Bd. ii, pp. 475-6.

[360] Должен сказать, что мне совершенно не знакомы те особые ощущения в коже головы, которые описывает Фехнер. "Ощущение напряженного внимания в различных органах чувств, по-видимому, является только мышечным, возникающим при использовании этих различных органов путем приведения в движение, посредством своего рода рефлекторного

действия, мышц, которые им принадлежат. Можно спросить, с каким именно мышечным сокращением связано ощущение напряженного внимания при попытке что-то вспомнить? На этот вопрос мое собственное чувство дает мне решительный ответ; оно приходит ко мне отчетливо, не как ощущение напряжения внутри головы, а как ощущение напряжения и сжатия кожи головы с давлением извне внутрь всего черепа, несомненно, вызванное сокращением мышц головы. Это очень хорошо согласуется с немецким народным выражением *den Kopf zusammennehmen* и т. д. и т. п. Во время прежней болезни, когда я не мог выдержать ни малейшего усилия непрерывного мышления и не имел никаких теоретических предубеждений по этому вопросу, мышцы головы, особенно затылка, приобретали довольно болезненную чувствительность всякий раз, когда я пытался *думать*". (*Ibid.* pp. 490-491.) В одной из ранних работ профессора Маха, рассказав о том, как с помощью внимания мы разлагаем сложные музыкальные звуки на элементы, этот исследователь продолжает: "Это не просто фигура речи, когда говорят, что мы "ищем" среди звуков. Этот внимательный поиск - вполне очевидная телесная деятельность, как и внимательный взгляд в случае с глазом. Если, повинаясь велениям физиологии, понимать под вниманием не что-то мистическое, а телесную предрасположенность, то вполне естественно искать ее в переменном напряжении мышц уха. Точно так же то, что обычные люди называют внимательным взглядом, сводится в основном к аккомодации и настройке зрительных осей..... В соответствии с этим, мне кажется очень правдоподобным мнение, что в целом внимание имеет свое место в механизме тела. Если нервная работа осуществляется через определенные каналы, это само по себе является механическим основанием для закрытия других каналов". (Wien. Sitzungsberichte, Math. Naturw., xlviii, 2, 297. 1863.)

[361] *Physiol. Optik*, p. 741.

[362] *Hermann's Handbuch*, iii, i, 548.

[363] *Helmholtz: Tonempfindungen*, 3d ed. 85-9 (англ. перев., 2d ed. 50, 51; см. также pp. 60-1).

[364] *Physiol. Psych.*, ii, 209.

[365] *Physiol. Optik*, 741.

[366] P. 728.

[367] Научно-популярные лекции, англ. Trans., p. 295.

[368] Аналогично в стихах, которыми кто-то пытался меня озадачить на днях: "*Gui n'a beau dit, qui sabot dit, nid a beau dit elle?*".

[369] Не могу удержаться от того, чтобы не сослаться в примечании на дополнительный ряд фактов, приведенных Лотце в его "Медицинской психологии", § 431, хотя меня не удовлетворяет объяснение, которое он дает усталости органов чувств. "Если спокойно лежать и созерцать рисунок на обоях, то иногда это земля, иногда рисунок, который становится более четким и, следовательно, приближается..... Арабески из монохромных многосложных линий то поражают нас как состоящие из одной, то из другой связанной линейной системы, и все это без всякого намерения с нашей стороны. [Это прекрасно видно в мавританских узорах; но и простая схема, подобная рис. 39, также хорошо это демонстрирует.

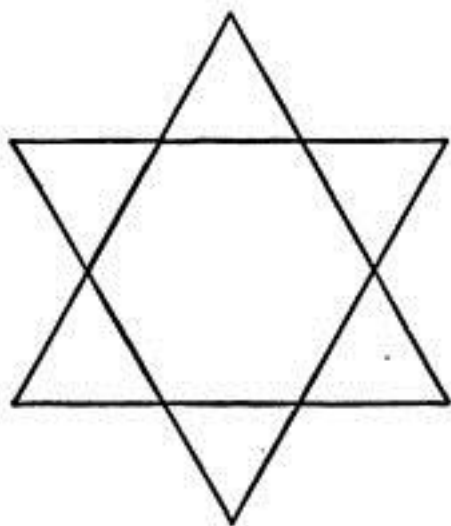


Рис. 39.

Иногда мы видим это как два больших треугольника, наложенных друг на друга, иногда как шестиугольник с углами, охватывающими его стороны, иногда как шесть маленьких треугольников, скрепленных по углам]... Часто случается, что, когда мы смотрим на картину, вдруг какая-нибудь из ее черт освещается с особенной ясностью, хотя ни ее оптический характер, ни ее смысл не раскрывают никаких мотивов для такого возбуждения внимания..... Для человека, находящегося в состоянии дремоты, окружающая обстановка попеременно то погружается в темноту, то резко светлеет. Разговор прохожих кажется сейчас доносящимся с неопределенного расстояния; но в следующий момент он поражает нас своей угрожающей громкостью у самого нашего уха" и т. д. Эти колебания, на которые все обратили внимание, как мне кажется, легко объяснимы неустойчивым равновесием наших идейных центров, законом которого является постоянное изменение. Мы *представляем себе* один набор линий как объект, другой - как фон, и тут же первый набор становится тем, который мы *видим*. Для концептуального изменения не нужно *логических* мотивов, достаточно иррадиации мозговых трактов друг на друга, в соответствии со случайностями питания, "как искры в сгоревшей бумаге". Изменения во время сонливости еще более очевидно обусловлены этой причиной.

[370] The Emotions and the Will, 3d ed. p. 370.

[371] Psychologie de l'Attention (1889), p. 32 ff.

[372] Philosophische Studien, iv, 413 и далее.

[373] См. Lange, *loc. cit.* p. 417, где приводится еще одно доказательство его точки зрения, взятое из феномена соперничества сетчатки.

[374] Многие из моих студентов по моей просьбе экспериментировали с воображаемыми буквами алфавита и слогами, и они говорили мне, что могут видеть их внутренне как полные цветные картины, не следя за их очертаниями глазом. Я сам плохой визуализатор и все время делаю движения". Л. Марилье в статье выдающейся интроспективной силы, появившейся после написания моего текста ("Remarques sur le Mécanisme de l'Attention", в Revue Philosophique, vol. xxvii, p. 566), возразил Рибо и другим, что сенсорные образы не зависят от моторных в их отношениях к вниманию. Я рад привести его в качестве союзника.

[375] Д-р Ферьер ("Функции мозга", §§ 102-3) и Оберштайнер ("Мозг", i, 439 и далее) рассматривают его как важнейшую характеристику. Автор, чья трактовка предмета является

наиболее тщательной и удовлетворительной, - профессор Г. Э. Мюллер, чья небольшая работа *Zur Théorie der sinnlichen Aufmerksamkeit*, Inauguraldissertation, Leipzig, Edelmann (1874?), является по образованности и остроте образцом того, какой должна быть монография. Я хотел бы привести из нее цитату, но германизм ее состава делает цитирование совершенно невозможным. См. также G. H. Lewes: *Problems of Life and Mind*, 3d Series, Prob. 2, chap. 10; G. H. Schneider: *Der menschliche Wille*, 294 ff., 309 ff.; C. Stumpf: *Tonpsychologie*, i, 67-75; W. B. Carpenter: *Mental Physiology*, chap. 3; Cappie в "Brain", июль 1886 (теория гиперемии); J. Sully в "Brain", октябрь 1890.

[376] *L'Enfant de trois à sept Ans*, p. 108.

[377] *Psychologie de l'Attention*, p. 53.

[378] Повторение такого рода не придает *интеллекта* сказанному, оно лишь удерживает ум от блуждания по другим каналам. Интеллект иногда приходит в виде ударов, как бы в конце предложений или в середине слов, которые до этого были просто словами. См. выше, [с. 281](#).

[379] Читатель должен заметить, что я говорю все, что *можно* сказать в пользу теории эффекта, поскольку, склоняясь к теории причины, я не хочу недооценивать противника. Собственно говоря, против теории эффекта можно было бы начать выступать с самого начала, с феномена непосредственного сенсорного внимания. Например, может сказать, что внимание вызывает движения настройки глаз, а не просто является их следствием. Геринг пишет об этом наиболее категорично: "Движения от одной точки фиксации к другой вызываются и регулируются изменениями места внимания. Когда объект, видимый сначала косвенно, привлекает наше внимание к себе, соответствующее движение глаза следует без дальнейших церемоний, как следствие перемещения внимания и наших усилий сделать объект отчетливым. Блуждание внимания влечет за собой блуждание точки фиксации. Прежде чем начнется ее движение, цель уже находится в сознании и схвачена вниманием, и местоположение этой точки в общем видимом пространстве определяет направление и величину движения глаза". (Hermann's Handbuch, p. 534.) Я не настаиваю на этом, потому что трудно сказать, что первично - внимание или движение (доводы Геринга, pp. 535-6, также 544-6, кажутся мне двусмысленными), и потому что, даже если внимание к объекту и первично, оно может быть простым эффектом стимула и ассоциации. Теорию Маха о том, что *воля к взгляду* - это *само пространственное ощущение*, можно сравнить с теорией Геринга в этом месте. См. "Beiträge zur Analyse der Empfindungen" Маха (1886), pp. 55 и далее.

[380] F. H. Bradley, "Is there a Special Activity of Attention?" in 'Mind,' xi, 305, и Lipps, *Grundtatsachen*, chaps. iv and xxx, заявили об этом аналогичным образом.

[381] Более подробно об этом будет сказано, когда мы перейдем к главе о воле.

[382] Защиту понятия внутренней активности см. в статье мистера Джеймса Уорда в "Mind", xii, 45 и 564.

[383] Следует признать, что часто проходит немного времени, прежде чем эта попытка увенчается успехом. В детстве я спал в детской с очень громко тикающими часами и помню свое изумление, когда не раз, прислушиваясь к их тиканью, обнаруживал, что не могу уловить его в течение, казалось бы, долгого времени; затем оно вдруг врывается в мое сознание с почти поразительной громкостью. -М. Дельбёф рассказывает, как, ночуя в деревне возле мельничной плотины, он проснулся ночью и подумал, что вода перестала течь, но, выглянув в открытое окно, увидел, что она течет в лунном свете, а затем услышал и ее.

[384] Zur Theorie d. sinnl. Aufmerksamkeit, p. 128 foll.

[385] Я начал экспериментально выяснять, изменяется ли какая-либо из измеряемых функций рабочих после того, как в мастерской прекращается шум машин. Пока что я не обнаружил постоянных результатов ни в отношении пульса, ни в отношении дыхания, ни в отношении силы сжатия руки. Я надеюсь продолжить это исследование (май, 1890).

ГЛАВА XII.

КОНЦЕПЦИЯ.

ЧУВСТВО ОДИНАКОВОСТИ.

В главе VIII, [стр. 221](#), было проведено различие между двумя видами знания о вещах, простым знакомством с ними и знанием о них. Возможность двух таких знаний зависит от фундаментальной психической особенности, которую можно назвать "*принципом постоянства значений разума*" и которая может быть выражена следующим образом: "*Одни и те же вещи могут мыслиться в последовательных порциях ментального потока, и некоторые из этих порций могут знать, что они означают те же самые вещи, которые означали другие порции*". Можно выразить это иначе, сказав, что "*ум всегда может намереваться и знать, когда он намеревается думать об одном и том же*".

Это *чувство одинаковости* является основой и фундаментом нашего мышления. Мы видели в [главе X](#), как сознание личной идентичности опирается на него, как настоящая мысль находит в своих воспоминаниях тепло и близость, которые она признает как те же самые тепло и близость, которые она чувствует сейчас. Это чувство идентичности познающего субъекта некоторые философы считают единственным средством, с помощью которого мир держится вместе. Вряд ли стоит говорить, что чувство идентичности известного объекта выполняло бы точно такую же объединяющую функцию, даже если бы чувство субъективной идентичности было утрачено. А без намерения снова и снова думать об одних и тех же внешних вещах и ощущения того, что мы это делаем, наше чувство собственной персональной одинаковости лишь ненамного поможет нам создать вселенную нашего опыта.

Заметьте, однако, что мы в первую очередь говорим о чувстве одинаковости только с точки зрения структуры разума, а не с точки зрения вселенной. Мы психологизируем, а не философствуем. То есть нас не волнует, существует ли *реальная* одинаковость в вещах или нет, а также истинны или ложны предположения разума о ней. Наш принцип состоит лишь в том, что разум постоянно пользуется *понятием* одинаковости и, лишившись его, имел бы иную структуру, чем та, которую он имеет. Одним словом, принцип, согласно которому разум может означать Одинаковое, верен в отношении его *значений*, но не обязательно в отношении чего-либо другого. [386] Разум должен представить себе как возможное, что перед ним должно быть То же самое, чтобы наш опыт был таким, какой он есть. Без психологического чувства идентичности одинаковость могла бы вечно сыпаться на нас из внешнего мира, и мы не были бы ничуть не хуже. С другой стороны, при наличии психологического чувства внешний мир может быть непрерывным потоком, и все же мы должны воспринимать повторяющийся опыт. Даже сейчас мир может быть местом, в котором одно и то же никогда не происходило и никогда не произойдет дважды. Вещь, на которую мы хотим указать, может меняться сверху вниз, и мы не будем знать об этом. Но в

самом смысле мы не обманываемся; наше намерение - думать об одном и том же. Название, которое я дал этому принципу, назвав его законом постоянства наших значений, подчеркивает его субъективный характер и оправдывает нас в том, что мы считаем его наиболее важным из всех особенностей нашей психической структуры.

Не во всей психической жизни чувство одинаковости развито подобным образом. В сознании червей и полипов, хотя одни и те же реалии могут часто производить на него впечатление, чувство одинаковости может возникать редко. Мы же, бегая туда-сюда, как пауки по сплетенной ими паутине, ощущаем себя работающими над одинаковыми материалами и мыслящими их по-разному. И считается, что человек, который больше всего идентифицирует материалы, обладает самым философским человеческим умом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ.

Функция, с помощью которой мы таким образом определяем численно определенный и постоянный предмет дискурса, называется концепцией, а мысли, которые являются ее проводниками, - *концептами*. Но слово "концепт" часто употребляется так, как если бы оно обозначало сам объект дискурса; и эта вольность порождает такую уклончивость в дискуссии, что я буду избегать использования выражения концепт вообще и говорить вместо него о "состоянии сознания" или о чем-то подобном. Слово "концепция" недвусмысленно. Оно правильно обозначает не ментальное состояние и не то, что это ментальное состояние обозначает, а отношение между ними, а именно, *функцию* ментального состояния в обозначении именно этой конкретной вещи. Очевидно, что одно и то же ментальное состояние может быть проводником многих концепций, может означать конкретную вещь и многое другое. Если оно обладает такой множественной концептуальной функцией, его можно назвать актом сложной концепции.

Мы можем представлять себе реальности, предполагаемые как внепсихические, например, паровой двигатель; фикции, например, русалку; или просто *entia rationis*, например, различие или небытие. Но что бы мы ни представляли себе, наше представление состоит из этого и ничего другого - ничего другого, то есть *вместо* этого, хотя оно может состоять из многого другого *в дополнение к* этому. Каждый акт зачатия происходит в результате того, что наше внимание выделяет какую-то одну часть из массы материи для размышления, которую представляет мир, и держится за нее, не путая.^[387] Путаница возникает, когда мы не знаем, совпадает ли предложенный нам объект с одним из наших значений или нет; поэтому для полноты концептуальной функции необходимо, чтобы мысль не только говорила "я имею в виду это", но и говорила "я не имею в виду то".^[388]

Таким образом, каждая концепция вечно остается тем, что она есть, и никогда не может стать другой. Ум может менять свои состояния и свои значения в разное время; может отбросить одну концепцию и взять другую, но ни в каком разумном смысле нельзя сказать, что отброшенная концепция *превращается в* свою преемницу. Бумага, которая мгновение назад была белой, теперь может показаться мне выжженной до черноты. Но моя концепция "белое" не меняется на концепцию "черное". Напротив, оно остается рядом с объективной чернотой, как другое значение в моем сознании, и тем самым позволяет мне судить о черноте как об изменении бумаги. Если бы оно не оставалось, я бы просто сказал "чернота" и больше ничего не знал. Таким образом, среди потока мнений и физических вещей мир понятий, или вещей, предназначенных для мысли, стоит неподвижно и неизменно, как платоновское царство идей.^[389]

Одни представления относятся к вещам, другие - к событиям, третьи - к качествам. Любой факт, будь то вещь, событие или качество, может быть понят в достаточной мере для целей идентификации, если только он выделен и обозначен так, чтобы отделить его от других вещей. Достаточно просто назвать его "этим" или "тем". Говоря техническим языком, предмет может быть понят по его *денотации*, без *коннотации* или с минимальной коннотацией. Главное, чтобы он был опознан нами как то, о чем идет речь; для этого не требуется его полного представления, даже если это вполне представимая вещь.

В этом смысле концепцией могут обладать существа, находящиеся на крайне низком интеллектуальном уровне. Все, что для этого требуется, - повторное узнавание одного и того же опыта. Полип был бы концептуальным мыслителем, если бы в его сознании когда-нибудь промелькнуло ощущение "Hollo! Вещмешок снова!".

Большинство объектов нашего мышления, однако, в той или иной степени не только представлены, но и просто указаны. Либо это вещи и события, воспринимаемые или воображаемые, либо это качества, воспринимаемые позитивным образом. Даже если у нас нет интуитивного знакомства с природой вещи, если мы знаем хоть какие-то ее отношения, хоть что-то о ней, этого достаточно, чтобы индивидуализировать и отличить ее от всех других вещей, которые мы могли бы иметь в виду. Многие темы наших рассуждений, таким образом, *проблематичны* или определяются только их отношениями. Мы думаем о вещи, в *отношении* которой должны быть получены определенные факты, но мы еще не знаем, как эта вещь будет выглядеть, когда она будет реализована. Так мы представляем себе вечный двигатель. Это *quæsitum* совершенно определенного рода, - мы всегда можем сказать, соответствуют или не соответствуют предлагаемые нам реальные машины тому, что мы под этим подразумеваем. Естественная возможность или невозможность вещи не затрагивает вопроса о ее мыслимости таким проблематичным способом. Круглый квадрат", "черное-белое-вещь" - это абсолютно определенные понятия; это чистая случайность, что они обозначают вещи, которые природа никогда не позволяет нам чувственно воспринимать.^[390]

ПОНЯТИЯ НЕИЗМЕННЫ.

Тот факт, что одна и та же реальная тема дискурса в одно время представляется как просто "то" или "то, что и т.д.", а в другое время представляется с дополнительными уточнениями, рассматривается многими авторами как доказательство того, что сами концепции плодородны и саморазвиваются. Концепция, по мнению гегельянцев в философии, "развивает свое собственное значение", "делает явным то, что в ней неявно содержится", переходит, случается, "в свою противоположность", короче говоря, полностью теряет тот пустой самоидентичный характер, который мы предполагали. Фигура, которую мы рассматривали как многоугольник, теперь представляется нам суммой сопоставленных треугольников; число, которое до сих пор считалось тринадцатью, наконец-то оказывается шестью плюс семь, или праймом; человек, которого считали честным, оказывается плутом. Такие изменения нашего мнения рассматриваются этими мыслителями как эволюция нашей концепции изнутри.

Факты неоспоримы: наше знание действительно растет и изменяется благодаря рациональным и внутренним процессам, а также эмпирическим открытиям. Там, где открытия эмпирические, никто не претендует на то, что движущей силой, заставляющей знания развиваться, является только концепция. Все признают, что им является наше постоянное воздействие на *вещь*, способное произвести впечатление на наши органы

чувств. Так, стрихнин, который на вкус горький, мы обнаруживаем, что он также убивает и т. д. Я утверждаю, что там, где новое знание возникает только в результате *мышления*, факты по существу те же самые, и что *говорить о саморазвитии наших представлений* - это очень плохой способ изложения дела. Не новые ощущения, как в эмпирическом случае, а новые представления являются необходимыми условиями прогресса.

Ибо если рассмотреть предполагаемые случаи саморазвития, то, как я полагаю, окажется, что новая истина в каждом случае утверждает *связь* между первоначальным предметом концепции и каким-то новым предметом, задуманным позднее. Эти новые предметы зарождения возникают по-разному. Каждая из наших концепций относится к чему-то, что наше внимание первоначально вырвало из континуума ощущаемого опыта и условно выделило, чтобы сделать из него отдельную тему для разговора. У каждой из них есть способ, если оставить ум наедине с ней, предложить другие части континуума, из которого она была вырвана, чтобы концепция работала над ними аналогичным образом. Это "предложение" часто является не более чем тем, что мы позже узнаем как ассоциацию идей. Часто, однако, это своего рода приглашение разуму поиграть, добавить линии, разбить группы чисел и т. д. Что бы это ни было, оно привносит в сознание новые представления, которые впоследствии могут быть, а могут и не быть явно связаны с тем, в каком отношении новое находится к старому. Так, у меня есть представление о равноудаленных линиях. Внезапно, не знаю откуда, в моей голове возникает представление об их встрече. Внезапно я снова думаю о встрече и равноудаленности вместе, и воспринимаю их несовместимыми. "Эти линии никогда не встретятся", - говорю я. Вдруг снова в голове всплывает слово "параллель". "Они параллельны", - продолжаю я; и так далее. Исходные представления, с которых все начинается; привнесенные представления, подталкиваемые разнообразными психологическими причинами; сравнения и комбинации этих двух представлений; результирующие представления, которые заканчиваются; последние могут быть либо рациональными, либо эмпирическими отношениями.

Что касается этих отношений, то они, как можно сказать, являются концепциями второй степени, и местом их рождения является сам разум. В главе XXVIII я буду долго отстаивать притязания разума на оригинальность и плодотворность в их порождении. Но ни одна из концепций разума не является плодотворной *сама по себе*, как утверждает мнение, которое я критикую. Когда несколько нот аккорда звучат вместе, мы получаем новое ощущение от их сочетания. Это ощущение вызвано тем, что разум реагирует на группу звуков определенным образом, и никому не придет в голову сказать о какой-либо одной ноте аккорда, что она сама по себе "развилась" в другие ноты или в ощущение гармонии. Так и с концепциями. Ни одна из них не развивается в другую. Но если думать о двух из них одновременно, их *связь* может прийти в сознание и стать основой для третьей концепции.

Возьмем, к примеру, "тринадцать", которое, как говорят, развивается в "прайм". На самом деле происходит так: мы сравниваем совершенно неизменное понятие тринадцати с различными другими понятиями, кратными двум, трем, четырем, пяти и шести, и убеждаемся, что оно *отличается* от них всех. Такое отличие - это только что установленное отношение. Лишь для краткости мы называем его свойством исходных тринадцати, свойством быть простым. В следующей главе мы увидим, что (если отбросить эстетические и моральные отношения между вещами) единственные важные отношения, о которых мы узнаем при простом осмотре понятий, - это отношения сравнения, то есть различия и неразличия, между ними. Суждение $6 + 7 = 13$ выражает отношение *равенства* между двумя идеальными объектами, 13, с одной стороны, и $6 + 7$, с другой, последовательно задуманными и сравниваемыми. Суждения $6 + 7 > 12$ или $6 + 7 < 14$ выражают аналогичным

образом отношения неравенства между идеальными объектами. Но если несправедливо говорить, что концепция $6 + 7$ порождает концепцию 12 или 14, то, конечно, столь же несправедливо говорить, что она порождает концепцию 13.

Представления 12, 13 и 14 порождены отдельными действиями ума, играющего со своим материалом. Когда, сравнивая два идеальных объекта, мы находим их равными, представление об одном из них может быть представлением о целом, а о другом - представлением о всех его частях. Этот конкретный случай, как мне кажется, является единственным, в котором представление об эволюции одной концепции в другую звучит правдоподобно. Но даже в этом случае концепция как таковая целого не перерастает в концепцию как таковую частей. Пусть сначала будет дана концепция некоторого объекта как целого. Начнем с того, что оно указывает на некое целое и определяет его для дальнейшего размышления. Это "целое" может быть одной из тех механических головоломок, трудность которых состоит в том, чтобы разгадать части. В этом случае никто не станет притворяться, что более богатое и продуманное представление о головоломке, которое мы получаем после ее решения, возникло непосредственно из нашего первого грубого представления о ней, поскольку, как известно, это результат экспериментов с нашими руками. Верно, что, поскольку они оба имеют в виду *одну и ту же головоломку*, наша ранняя мысль и наша поздняя мысль имеют одну концептуальную функцию, являются проводниками одной концепции. Но в дополнение к тому, что мы являемся проводниками этой лысой неизменной концепции, "той самой головоломки", более поздняя мысль является проводником всех тех других концепций, для приобретения которых потребовалось ручное экспериментирование. То же самое происходит и там, где целое не механическое, а математическое. Пусть это будет многоугольное пространство, которое мы разрезаем на треугольники и о котором затем утверждаем, что оно *и есть* эти треугольники. Здесь эксперимент (хотя обычно его проводят с карандашом в руках) может быть проведен с помощью воображения. Мы удерживаем пространство, сначала задуманное как просто многоугольное, в нашем сознании до тех пор, пока наше внимание, блуждающее туда-сюда внутри него, не разрежет его на треугольники. Треугольники - это новая концепция, результат этой новой операции. Однако, представив их однажды и сравнив со старым многоугольником, который мы первоначально задумали и который мы никогда не переставали представлять себе, мы считаем, что они точно вписываются в его площадь. Мы говорим, что раннее и позднее представления относятся к одному и тому же пространству. Но эта связь между треугольниками и многоугольниками, которую разум не может не обнаружить, если он вообще их сравнивает, очень плохо выражается словами о том, что старое представление переросло в новое. Новые представления возникают из новых ощущений, новых движений, новых эмоций, новых ассоциаций, новых актов внимания и новых сравнений старых представлений, а не другими способами. Эндогенная пролиферация - это не тот способ роста, на который могут претендовать концепции.

Поэтому я надеюсь, что меня не обвинят в том, что я скрываю тайны от глаз, когда я настаиваю на том, что психология концепций - это не то место, где следует рассматривать вопросы непрерывности и изменения. Концепции образуют единственный класс сущностей, которые ни при каких обстоятельствах не могут измениться. Они могут перестать быть, совсем; или они могут остаться, как они есть по отдельности; но для них нет среднего пути. Они образуют по сути прерывную систему и переводят процесс нашего перцептивного опыта, который по природе своей является потоком, в набор застывших и окаменевших терминов. Само понятие потока является абсолютно неизменным значением в сознании: оно обозначает только одно - поток, неподвижно. - И, таким образом, доктрина о потоке понятия может быть отброшена и не должна больше занимать наше внимание.[\[391\]](#)

АБСТРАКТНЫЕ" ИДЕИ.

Теперь мы должны перейти к менее извинительной ошибке. Есть философы, которые отрицают, что связанные вещи вообще могут быть разорваны, даже условно, мыслящим умом. Мнение, известное как номинализм, гласит, что на самом деле мы никогда не составляем никакого представления о частичных элементах опыта, но вынуждены, когда бы мы ни думали о нем, думать о нем во всей его полноте, в том виде, в каком он пришел.

Я умолчу о средневековом номинализме и начну с Беркли, который, как считается, заново открыл для себя эту доктрину. Его высказывания против "абстрактных идей" - одни из самых часто цитируемых отрывков в философской литературе.

"Все согласны, - говорит он, - что качества или формы вещей никогда не существуют сами по себе и отдельно от всех других, но смешаны, как бы, и слиты вместе, несколько в одном и том же объекте. Но, как нам говорят, ум, способный рассматривать каждое качество в отдельности или абстрагироваться от других качеств, с которыми оно объединено, тем самым создает для себя абстрактные идеи..... Таким образом, говорят, мы приходим к абстрактной идее человека, или, если угодно, человечества, или человеческой природы; в которую, правда, входит цвет, потому что нет человека, который не имел бы какого-то цвета, но тогда он не может быть ни белым, ни черным, ни каким-либо другим, потому что нет одного конкретного цвета, в котором участвовали бы все люди. Так же и рост, но тогда это не высокий рост, не низкий рост, не средний рост, а нечто абстрагированное от всего этого. Так и с остальными..... Обладают ли другие этой замечательной способностью абстрагировать свои идеи, они лучше всего могут сказать: что касается меня, то я обнаружил, что у меня действительно есть способность воображать или представлять себе идеи тех конкретных вещей, которые я воспринимал, и различным образом соединять и разделять их..... Я могу рассматривать руку, глаз, нос, каждый из которых сам по себе абстрагирован или отделен от остального тела. Но тогда, какую бы руку или глаз я ни представлял, они должны иметь определенную форму и цвет. Точно так же представление о человеке, которое я создаю для себя, должно быть либо белым, либо черным, либо рыжим, прямым или кривым, высоким, низким или среднего роста. Я не могу никаким усилием мысли представить себе абстрактную идею, описанную выше. И для меня так же невозможно сформировать абстрактную идею движения, отличного от движущегося тела, которое не является ни быстрым, ни медленным, ни криволинейным, ни прямолинейным; и то же самое можно сказать обо всех других абстрактных общих идеях, какие бы они ни были..... И есть основания думать, что большинство людей признают себя таковыми в моем случае. Большинство людей, которые просты и неграмотны, никогда не претендуют на абстрактные понятия. Говорят, что они трудны и не могут быть достигнуты без труда и изучения.

"Теперь я хотел бы знать, в какое время люди преодолевают эти трудности и снабжают себя необходимыми помощниками для рассуждений. Не может быть, чтобы это происходило, когда они вырастают, ибо тогда, похоже, они не осознают, что им приходится прилагать к этому усилия; следовательно, это остается делом их детства. И, конечно же, огромный и многократный труд по формированию абстрактных понятий покажется трудной задачей для этого нежного возраста. Разве не трудно представить себе, что пара детей не может вместе рассказывать о своих сахарницах, погремушках и прочих безделушках, пока они не соберут вместе

бесчисленные несоответствия и не сформируют в своем сознании абстрактные общие идеи, приложив их к каждому общему имени, которым они пользуются?"[392]

Нота, столь смело взятая Беркли, не могла, однако, быть выдержана перед лицом факта, очевидного для каждого человека, что мы можем обозначать цвет, не имея в виду никакого конкретного цвета, и рост, не имея в виду никакого конкретного роста. Джеймс Милль, конечно, героически трубит в главе "Классификация" своего "Анализа"; но в его сыне Джоне голос номинализма настолько ослаб, что, хотя "абстрактные идеи" отвергаются как вопрос традиционной формы, высказываемые мнения на самом деле не что иное, как концептуализм, стыдящийся называть себя своим собственным законным именем.[393] Концептуализм утверждает, что разум может представить себе любое качество или отношение, которое ему угодно, и не иметь в виду ничего, кроме него, в отрыве от всего остального в мире. Это, конечно, доктрина, которую мы исповедовали. Джон Милль сказал:

"Формирование понятия не состоит в том, чтобы отделить атрибуты, которые, как говорят, составляют его, от всех других атрибутов того же объекта и позволить нам представить эти атрибуты, отделенные от любых других. Мы не представляем их себе, не мыслим их, не познаем их каким-либо образом, как нечто отдельное, но исключительно как образующие, в сочетании с многочисленными другими атрибутами, идею отдельного объекта. Но, хотя мы понимаем их только как часть более крупной агломерации, у нас есть способность фиксировать на них свое внимание, пренебрегая другими атрибутами, с которыми они, по нашему мнению, сочетаются. *Пока длится концентрация внимания, если она достаточно интенсивна, мы можем временно не осознавать ни одного из других атрибутов и действительно, в течение короткого промежутка времени, не иметь в своем сознании ничего, кроме атрибутов, составляющих понятие.....* Общих понятий, таким образом, у нас, собственно говоря, нет; у нас есть только сложные идеи объектов в конкретном: но мы способны *обращать внимание исключительно на определенные части* конкретной идеи: и благодаря этому *исключительному вниманию* мы позволяем этим частям *определять исключительно ход наших мыслей*, вызываемых впоследствии по ассоциации; и находимся в состоянии продолжать размышления или рассуждения, касающиеся только этих частей, *точно так же, как если бы мы были способны представить их отдельно от всего остального*".[394]

Это прекрасный пример того, как Милль благочестиво придерживается своих общих утверждений, но уступает в деталях все, о чем просят его противники. Если существует лучшее описание разума, обладающего "абстрактной идеей", чем то, которое содержится в словах, выделенных мною курсивом, то я с ним не знаком". Таким образом, берклианский номинализм распадается.

Легко обнажить ложное предположение, которое лежит в основе всего обсуждения этого вопроса в том виде, в котором оно велось до сих пор. Это предположение заключается в том, что идеи, для того чтобы познавать, должны быть отлиты в точное подобие тех вещей, которые они познают, и что единственные вещи, которые могут быть познаны, - это те, на которые идеи могут походить. Эта ошибка не ограничивается номиналистами. *Omnis cognitio fit per assimilationem cognoscentis et cogniti* было максимой, более или менее явно

предполагаемой писателями всех школ. Практически это равносильно утверждению, что идея должна *быть* дублирующим изданием того, что она знает^[395] - другими словами, она может знать только саму себя, или, короче говоря, что знание в любом строгом смысле этого слова, как самотрансцендентная функция, невозможно.

Теперь наши собственные прямые утверждения о конечности когнитивного отношения и о различии между "объектом" мысли и ее простой "темой" или "предметом дискурса" (ср. с. 275 и далее) противоречат любой такой теории; и по мере продвижения в этой книге мы будем находить все больше поводов для отрицания ее общей истинности. Все, что требуется от состояния ума, чтобы познать реальность, намереваться ее или быть "о ней", - это привести к более отдаленному состоянию ума, которое либо действует на реальность, либо уподобляется ей. Единственный класс мыслей, о которых можно с некоторой долей правдоподобия сказать, что они похожи на свои объекты, - это ощущения. Материал, из которого состоят все остальные наши мысли, символичен, и мысль подтверждает свою причастность к теме тем, что рано или поздно *заканчивается* ощущением, напоминающим последнее.

Но Милль и другие считают, что мысль должна *быть* тем, что она означает, и означать то, что она *есть*, и что если она представляет собой образ целого человека, то она не может означать какую-то его часть, исключая все остальное. Я ничего не говорю здесь о абсурдно ложной описательной психологии, связанной с утверждением, что единственные вещи, которые мы можем мысленно представить, - это индивиды, полностью детерминированные во всех отношениях. В главе XVIII будет что сказать по этому поводу, а здесь мы можем его проигнорировать. Ведь даже если бы было верно, что в наших образах всегда присутствуют конкретные индивиды, из этого ни в коей мере не следовало бы, что наши смыслы относятся к ним же.

Смысл нашего значения - это совершенно особый элемент мысли. Это один из тех мимолетных и "переходных" фактов сознания, которые интроспекция не может повернуть к себе, изолировать и поднять для изучения, как энтомолог обходит насекомое на булавке. В используемой мною (несколько неуклюжей) терминологии это относится к "краю" субъективного состояния и является "чувством тенденции", чей нейронный аналог, несомненно, представляет собой множество процессов зарождения и угасания, слишком слабых и сложных, чтобы их можно было проследить. Геометр, имея перед собой одну определенную фигуру, прекрасно знает, что его мысли применимы и к бесчисленному множеству других фигур, и что, хотя он *видит* линии определенной особой величины, направления, цвета и т. д., он *имеет в виду* не одну из этих деталей. Когда я употребляю слово "человек" в двух разных предложениях, я могу оба раза произнести на губах один и тот же звук и представить в своем воображении одну и ту же картину, но я могу иметь в виду и в тот самый момент, когда произношу слово и представляю себе картину, знать, что я имею в виду две совершенно разные вещи. Так, когда я говорю: "Какой замечательный человек Джонс!" я прекрасно понимаю, что под словом "человек" я подразумеваю не Наполеона Бонапарта или Смита. Но когда я говорю: "Какой замечательный человек!" я так же хорошо понимаю, что *подразумеваю* не только Джонса, но и Наполеона, и Смита. Это дополнительное сознание является абсолютно позитивным чувством, превращающим то, что в противном случае было бы просто шумом или видением, в нечто *понятное*; и совершенно определенным образом определяющим последовательность моего мышления, последующие слова и образы. В главе IX мы видели, что образ *как таковой*, ядро, функционально является наименее важной частью мысли. Таким образом, наше учение о "границе" приводит к вполне удовлетворительному решению номиналистического и

концептуалистического споров, насколько они касаются психологии. Мы должны принять решение в пользу концептуалистов и утверждать, что способность мыслить вещи, качества, отношения или какие-либо другие элементы, изолированные и абстрагированные от общего опыта, в котором они появляются, является наиболее неоспоримой функцией нашего мышления.

УНИВЕРСАЛЫ.

После абстракций - универсалии! Грань, которая позволяет нам верить в одно, позволяет нам верить и в другое. Индивидуальная концепция - это концепция чего-то, что ограничено в своем применении одним случаем. Универсальная или общая концепция относится к целому классу или к чему-то, принадлежащему к целому классу, вещей. Концепция абстрактного качества, взятая сама по себе, не является ни универсальной, ни конкретной.[396] Если я абстрагирую *белый цвет* от остального ветреного пейзажа этим утром, это совершенно определенное представление, самотождественное качество, которое я могу обозначить снова; но, поскольку я еще не индивидуализировал его, явно намереваясь ограничить его этим конкретным снегом, и не подумал о возможности других вещей, к которым оно может быть применимо, это пока что не что иное, как "это", "плавающее прилагательное", как называет его мистер Брэдли, или тема, вырванная из остального мира. В таком состоянии оно является единственным - я "выделил его"; и когда позже я универсализирую или индивидуализирую его применение, и моя мысль превращается в значение либо *этого* белого, либо *всех возможных* белых, я на самом деле имею в виду две новые вещи и формирую две новые концепции.[397] Такое изменение моего смысла не имеет ничего общего с изменением образа, который я могу иметь в своем мысленном взоре, но исключительно со смутным сознанием, которое окружает этот образ, той сферы, к которой он должен применяться. Мы не можем дать более определенный отчет об этом смутном сознании, чем тот, который был дан на [стр. 249-266](#). Но это не повод отрицать его присутствие.[398]

Однако номиналисты и традиционные концептуалисты находят в этих простых фактах повод для извечной ссоры. Полные своего представления о том, что идея, чувство или состояние сознания могут в конечном счете осознавать только свое собственное качество, и соглашаясь, как они оба, что такая идея или состояние сознания - совершенно детерминированная, единичная и преходящая вещь, они считают невозможным представить себе, как она может стать проводником знания о чем-либо постоянном или универсальном. "Чтобы познать универсальное, оно должно быть универсальным, ибо подобное можно познать только через подобное" и т. д. Не в силах примирить эти несовместимые понятия, познающего и познаваемого, каждая сторона умерщвляет одно из них, чтобы спасти другое. Номиналисты "решают вопрос" с известной вещью, отрицая, что она когда-либо была подлинной универсалией; концептуалисты уничтожают знатока, отрицая, что он является состоянием ума, в том смысле, что он является исчезающим сегментом потока мыслей, константным с другими фактами чувственности. Вместо него в качестве средства познания универсалий они придумывают *actus purus intellectus*, или Эго, чья функция рассматривается как квази-чудесная и не вызывающая ничего, кроме благоговения, и к которой считается своего рода кощунством подходить с намерением объяснить и сделать общей или свести к более низким терминам. Привлеченный вначале как средство познания универсалий, высший принцип впоследствии становится необходимым средством всякого мышления, ибо, как утверждается, "универсальный элемент присутствует в каждой мысли". Номиналисты же, которым не нравятся *actus purus* и внушающие благоговение принципы и которые презируют благоговейное настроение,

довольствуются тем, что говорят, будто мы ошибаемся, полагая, что когда-нибудь увидим лицо универсального; и что то, что нас обманывает, есть не что иное, как рой "индивидуальных идей", которые в любой момент могут быть пробуждены при звуке имени.

Если мы откроем страницы любой из этих школ, то обнаружим, что во всем этом вихре универсального и особенного невозможно определить, когда автор говорит об универсалиях в сознании, а когда об объективных универсалиях, настолько странно смешиваются эти два понятия. Джеймс Ферьер, например, - самый блестящий из антиноминалистских писателей. Но кто достаточно проворный, чтобы подсчитать в следующих его предложениях, сколько раз он переходит от известного к знающему и приписывает обоим свойства, которые он находит в каждом из них?

"Мыслить - значит переходить от единичного или конкретного к идее [понятию] или универсальному..... Идеи необходимы, потому что без них невозможно мышление. Они универсальны, поскольку полностью лишены той конкретности, которая характеризует все явления простого ощущения. Постичь природу этой универсальности нелегко. Возможно, наилучшим средством для достижения этой цели является сравнение ее с конкретным. Нетрудно понять, что ощущение, феномен чувства, никогда не является чем-то большим, чем то конкретное, чем оно является. Как таковое, то есть в своей строгой конкретности, оно абсолютно немислимо. В самом акте мыслимости возникает нечто большее, чем оно само, и это нечто большее не может быть снова конкретным..... Десять частных *сами по себе* не могут быть мыслимы так же, как может быть мыслима одна частность; ... в мысли всегда возникает дополнительное нечто, которое есть возможность других частных в неопределенной степени..... Неопределенное дополнительное нечто, примером которого они являются, - это универсалия..... Идея или универсальное не могут быть представлены в воображении, поскольку это сразу же свело бы их к частностям..... Эта неспособность сформировать какую-либо картину или представление идеи не проистекает из какого-либо несовершенства или ограниченности наших способностей, но является качеством, присущим самой природе интеллекта. В предположении, что идея или универсалия может стать объектом либо чувства, либо воображения, кроется противоречие. Идея, таким образом, диаметрально противоположна образу".[399]

Номиналисты, со своей стороны, допускают *квазиуниверсальность*, нечто, что мы считаем универсальным, хотя оно таковым не является; и во всем, что они говорят об этом нечто, которое они объясняют как "неопределенное число конкретных идей", проявляется то же колебание между субъективной и объективной точками зрения. Читатель так и не может понять, о какой "идее" идет речь - знающей или знаемой. Сами авторы не делают различий. Они хотят вложить в сознание нечто, что должно *напоминать* то, что находится вне сознания, пусть даже смутно, и думают, что, когда это будет достигнуто, дальнейшие вопросы задаваться не будут. Джеймс Милл пишет:[400]

"Слово "человек", скажем мы, сначала применяется к отдельному человеку; сначала оно ассоциируется с идеей этого человека и приобретает способность вызывать идею о нем; затем оно применяется к другому человеку и приобретает способность вызывать идею о нем; так еще и еще, пока оно не станет ассоциироваться с неопределенным числом и не приобретет способность вызывать неопределенное число этих идей безразличным образом. Что происходит? Оно действительно вызывает неопределенное число идей отдельных людей, как только это происходит; и вызывая их в тесной связи, оно образует вид сложной идеи о них..... Факт также

заключается в том, что когда идея становится в определенной степени сложной, из-за множественности идей, которые она *охватывает*, она по необходимости становится неотчетливой; ... и эта неотчетливость, несомненно, была главной причиной тайны, которая, как оказалось, принадлежит ей..... Таким образом, оказывается, что слово "*человек*" - это не слово, имеющее очень простую идею, как считали реалисты, и не слово, не имеющее вообще никакой идеи, как считали [ранние] номиналисты, а слово, вызывающее неопределенное количество идей по непреодолимым законам ассоциации и формирующее их в одну очень сложную и нечеткую, но не поэтому непонятную, идею".

Беркли уже сказал:[401]

"Слово становится общим, когда оно становится знаком не абстрактной общей идеи, а многих конкретных идей, любую из которых оно безразлично предлагает уму. Идея, которая, рассматриваемая сама по себе, является конкретной, становится общей, когда ее заставляют представлять или обозначать все другие конкретные идеи того же рода".

'Stand for', а не *know*; 'becomes general', а не *becomes aware of something* general; 'particular ideas', а не particular *things* - *везде* одна и та же робость в умолении о факте знания и жалкая бессильная попытка навязать его в форме способа *бытия* "идей". Если фактом, который нужно представить, являются неопределенно многочисленные действительные и возможные члены класса, то предполагается, что если мы только сможем собрать вместе на мгновение в уме достаточное количество идей, то *бытие* каждой из них будет эквивалентно *знанию*, или *значению*, *одного* члена рассматриваемого класса; и их число будет настолько велико, что запутает наш подсчет и оставит сомнения в том, все ли возможные члены класса были таким образом удовлетворительно сообщены или нет.

Конечно, это вздор. Идея не является тем, что она знает, и не знает того, что она есть; и рои копий одной и той же "идеи", повторяющиеся в стереотипной форме или "по непреодолимым законам ассоциации сформированные в одну идею", никогда не будут тем же самым, что и мысли о "*всех возможных членах*" класса. Мы должны понимать под *этим* совершенно особый кусочек сознания *ad hoc*. Но понятие Беркли, Юма и Милля о рое идей легко перевести в мозговые термины и таким образом заставить их обозначать нечто реальное; и в этом смысле я считаю доктрину этих авторов менее пустой, чем противоположную, которая делает средство универсальных концепций *актом* души (*actus purus*). Если каждая "идея" обозначает какой-то особый зарождающийся нервный процесс, то совокупность этих зарождающихся процессов может иметь для своего сознательного коррелята психическую "бахрому", которая должна быть именно тем универсальным значением, или намерением, чтобы используемое имя или мысленная картина означали всех возможных индивидов класса. Каждое своеобразное усложнение мозговых процессов должно иметь своеобразный коррелят в душе. Одному набору процессов будет соответствовать мысль о неопределенном принятии объема такого слова, как *человек*; другому - о конкретном принятии; третьему - о всеобщем принятии объема того же слова. Мысль, соответствующая любому из этих процессов, всегда сама по себе является уникальным и неповторимым событием, зависимость которого от своеобразного нервного процесса я, конечно, не берусь объяснить.[402]

Правда, по сравнению с тем фактом, что каждое понятие, о чем бы оно ни было, является одним из неизменных достояний разума, вопрос о том, подразумевается ли под ним отдельная вещь, или целый класс вещей, или только некое качество, является незначительной мелочью. Мы имеем дело с единичными, частными, неопределенными и универсальными понятиями, смешанными между собой во всех отношениях. Единичный индивид, когда он изолирован и отождествлен от остального мира в моем сознании, имеет такое же *значение*, как и самое редкое и универсально применимое качество, которым он может *обладать* - например, бытие, когда с ним обращаются таким же образом.^[403] С любой точки зрения удивляет тот подавляющий и предвещающий характер, который приписывается универсальным концепциям. Почему, начиная с Платона и Аристотеля, философы презирали знание частного и преклонялись перед общим, трудно понять, если учесть, что более восхитительным должно быть знание более восхитительных вещей, а ценные *вещи* все конкретны и единичны. Единственная ценность универсальных символов в том, что они помогают нам, рассуждая, познать новые истины об отдельных вещах. Кроме того, ограничение значения отдельной вещи, вероятно, требует еще более сложных мозговых процессов, чем его распространение на все случаи жизни; и сама тайна знания как такового одинаково велика, независимо от того, общие или единичные вещи являются известными. Таким образом, традиционное поклонение универсалиям можно назвать лишь извращенным сентиментализмом, философским "идолом пещеры".

Вряд ли стоит добавлять (что само собой следует из [стр. 229-237](#) и что все время подразумевалось в наших утверждениях), что *ничто не может быть задумано дважды, не будучи задуманным в совершенно разных состояниях сознания*. Так, мое кресло - одна из тех вещей, о которых у меня есть представление; я знал его вчера и узнал его, когда смотрел на него. Но если я думаю о нем сегодня как о том же самом кресле, на которое я смотрел вчера, очевидно, что само представление о нем как о том же самом является дополнительным усложнением мысли, внутренняя конституция которой вследствие этого должна измениться. Короче говоря, логически невозможно, чтобы одна и та же вещь *осознавалась как одна и та же* двумя последовательными копиями одной и той же мысли. На самом деле, мысли, по которым мы узнаем, что имеем в виду одну и ту же вещь, могут сильно отличаться друг от друга. Мы представляем себе вещь то в одном контексте, то в другом; то в виде определенного образа, то в виде символа. Иногда наше чувство идентичности относится лишь к периферии, иногда - к ядру нашей мысли. Мы никогда не можем разорвать мысль на части и сказать, какая именно из ее частей позволяет нам понять, о каком предмете идет речь; но, тем не менее, мы всегда знаем, какой из всех возможных предметов мы имеем в виду. Интроспективная психология должна здесь отбросить губку; колебания субъективной жизни слишком изысканны, чтобы их можно было задержать грубыми средствами. Она должна ограничиться свидетельством того факта, что всевозможные субъективные состояния действительно образуют средство, с помощью которого познается одно и то же; и она должна опровергнуть противоположное мнение.

Обычная психология "идей" постоянно говорит том, что средством познания одной и той же вещи должно быть одно и то же повторяющееся состояние ума, и как будто повторение одной и той же "идеи" является не только необходимым, но и достаточным условием для того, чтобы означать одну и ту же вещь дважды. Но такое повторение одной и той же идеи полностью исключает существование повторного знания о чем-либо. Это было бы простое возвращение в ранее существовавшее состояние, ничего не приобретшее за это время и совершенно не осознающее, что это состояние существовало раньше. Мы мыслим иначе.

Как правило, мы полностью осознаем, что уже думали о том, о чем думаем сейчас. Непрерывность и постоянство темы составляют суть нашего мышления. Мы узнаем старую проблему и старые решения; и мы продолжаем изменять, улучшать и заменять один предикат другим, никогда не позволяя теме измениться.

Именно это имеется в виду, когда говорят, что мышление состоит в вынесении *суждений*. Последовательность суждений может касаться одной и той же вещи. Общий практический постулат, побуждающий нас продолжать думать, состоит в том, что, продолжая это делать, мы будем лучше судить *об одних и тех же вещах*, чем если бы мы этого не делали.^[404] В ходе последовательных суждений с вещами производятся всевозможные новые операции и получаются всевозможные новые результаты, при этом смысл основной темы никогда не теряется. Вначале мы просто *имеем* тему; затем мы *оперируем* с ней; и, наконец, мы снова имеем ее в более богатом и истинном виде. Сложная концепция была заменена простой, но с полным сознанием того, что обе они относятся к одному и тому же.

Различие между наличием и действием столь же естественно в ментальном, как и в материальном мире. Как наши руки могут держать кусок дерева и нож, но ничего не делать ни с тем, ни с другим; так и наш ум может просто сознать существование вещи, но не присутствовать при этом, не различать ее, не находить, не считать, не сравнивать, не любить, не любить, не выводить, не признавать ее членораздельно, как уже встречавшуюся. В то же время мы знаем, что, вместо того чтобы смотреть на него так зачарованно и бессмысленно, мы можем в одно мгновение активизировать свою деятельность и определить его местонахождение, классифицировать, сравнить, сосчитать и осудить. Во всем этом нет ничего, что мы не постулировали бы в самом начале нашей интроспективной работы: реальности, а именно *extra mentem*, мысли и возможные отношения познания между ними. В результате работы мысли над данными, данными чувству, порядок, в котором *приходит* опыт, преобразуется в совершенно иной порядок, в порядок *задуманного* мира. Нет, например, такого пятна света, которое я вычленяю и определяю как камешек, которое не было бы тем самым оторвано от своих простых соседей во времени и пространстве и не мыслилось бы в связи с вещами, физически отделенными от него широтой природы. Сравните форму, в которой факты появляются в учебнике физики, как логически подчиненные законы, с той, в которой мы естественно знакомимся с ними. Концептуальная схема - это своего рода сито, в которое мы пытаемся собрать содержание мира. Большинство фактов и отношений проваливаются сквозь его сетку, будучи либо слишком тонкими, либо незначительными, чтобы быть зафиксированными в какой-либо концепции. Но всякий раз, когда физическая реальность улавливается и отождествляется как тождественная с чем-то уже задуманным, она остается на сите, и все предикаты и отношения концепции, с которой она отождествляется, становятся также ее предикатами и отношениями; другими словами, она попадает в сеть сита. Так происходит то, что мистер Ходжсон называет переводом перцептивного в концептуальный порядок мира.^[405] В главе XXII мы увидим, как этот перевод всегда происходит ради какого-то субъективного *интереса*, и как концепция, с которой мы обращаемся с кусочком чувственного опыта, на самом деле является не чем иным, как телеологическим инструментом. *Вся эта функция концептуализации, фиксации и удержания смыслов не имеет никакого значения, если не считать того, что концептуализатор - существо с частичными целями и частными задачами.* Таким образом, о концепте можно сказать еще многое, но на данный момент этого достаточно.

[386] В философии есть еще два "принципа тождества". *Онтологический* утверждает, что каждая реальная вещь есть то, что она есть, что *a* есть *a*, а *b* есть *b*. *Логический* гласит, что то, что однажды истинно для субъекта суждения, всегда истинно для этого субъекта. Онтологический закон - это тавтологический трюизм; логический принцип - это уже больше, поскольку он подразумевает предметы, не изменяемые временем. *Психологический* закон также подразумевает факты, которые не могут быть реализованы: может не быть последовательности мыслей; или, если бы она была, более поздние мысли могли бы не думать о более ранних; или, если бы они думали, они могли бы не вспомнить их содержание; или, вспомнив содержание, они могли бы не воспринимать его как "то же самое" с чем-либо еще.

[387] В последующих главах мы увидим, что между различными данными, фиксируемыми разумом, существуют определенные отношения. Эти отношения называются *априорными* или аксиоматическими. Простой осмотр данных позволяет нам увидеть их; и один осмотр так же эффективен, как и миллион, чтобы зародить в нас убеждение, что между *этими* данными всегда должно существовать такое-то отношение. Чтобы изменить эту связь, мы должны сделать данные другими. Гарантией единообразия и адекватности" данных может быть только собственная власть разума фиксироваться на любом объективном содержании и подразумевать это содержание так часто, как ему захочется. Это право разума "конструировать" для себя постоянные идеальные объекты из данных опыта, как ни странно, кажется многим камнем преткновения. Профессор Робертсон в своей ясной и поучительной статье "Аксиомы" в *Encyclopædia Britannica* (9-е издание) предполагает, что только там, где *движения* входят в конституцию идеального объекта (как это происходит в геометрических фигурах), мы можем "сделать" конечные отношения такими, какими они должны быть для нас при любых обстоятельствах". Правда, он делает уступку в пользу концепций числа, абстрагированных от "субъективных происшествий, сменяющих друг друга во времени", поскольку они также являются актами "конструирования, зависящими от той силы, которой мы обладаем, чтобы добровольно определять поток субъективного сознания". "Содержание пассивных ощущений, - с другой стороны, - может неограниченно варьироваться вне всякого нашего контроля". А что, если оно будет меняться, пока мы можем продолжать думать и иметь в виду те качества, от которых оно изменилось? Мы можем "создавать" для себя идеальные объекты из неустраимых фрагментов пассивного опыта так же прекрасно, как и из легко повторяемых активных переживаний. И когда мы собираем наши объекты вместе и сравниваем их, мы не *создаем*, а *находим* их отношения.

[388] Cp. Hodgson, *Time and Space*, § 46. Lotze, *Logic*, § 11.

[389] "Ибо, хотя человек в лихорадке должен от сахара ощущать горький вкус, который в другое время будет вызывать сладкий, все же представление о горьком в его сознании будет столь же отчетливым, как если бы он вкушал только желчь". (Очерк Локка, т. II, гл. xi, § 3. Прочтите весь раздел!)

[390] Черные круглые вещи, квадратные белые вещи, *per contra*, природа дает нам достаточно свободно. Но комбинации, которые она отказывается реализовать, могут существовать так же отчетливо, в форме постулатов, как и те, которые она дает, могут существовать в форме позитивных образов в нашем уме. В самом деле, она *может* осознавать тепло-холод всякий раз, когда к двум точкам кожи, расположенным так близко друг к другу, что их невозможно различить на месте, прикасаются: к одной - теплым, к другой - холодным куском металла. При этом тепло и холод часто ощущаются как бы в одном и том же объективном месте. При аналогичных условиях два предмета, один острый, а другой тупой, могут ощущаться как один острый тупой предмет. Одно и то же пространство может

казаться двухцветным, если с помощью оптических приемов один из цветов воспринимается как бы *сквозь* другой. Совместимы или нет два любых атрибута, в смысле занимать или не занимать одно и то же место и момент, зависит просто от *фактических* особенностей природных тел и наших органов чувств. *С точки зрения логики*, любое сочетание качеств в полной мере *мыслимо*, как и любое другое, и имеет столь же отчетливое значение для мысли. Необходимость этого замечания вызвана тем, что некоторые авторы (например, Спенсер, "Психология", §§ 420-7) намеренно путают немислимое и неопределенно-вообразимое. Как мы узнаем, *какие* вещи мы не можем представить, если только не представим их себе, имея в виду именно их, а не другие вещи?

[391] В философских вопросах аргументы редко приводят к переменам; и некоторые читатели, я знаю, обнаружив, что они представляют себе определенный вопрос иначе, чем раньше, все равно предпочтут сказать, что у них есть две разные редакции одной и той же концепции, одна из которых развилась из другой, чем сказать, что у них есть две разные концепции одной и той же вещи. В конце концов, это зависит от того, как мы определяем концепцию. Мы сами определили ее как функцию, посредством которой состояние ума означает думать то же самое, что оно думало в прошлом. Соответственно, два состояния ума будут двумя редакциями одной и той же концепции до тех пор, пока одно из них означает думать то же, что думал другой; но не более того. Если один из них имеет в виду думать то, что другой не думал, то это уже другой концепт, отличный от другого. А если кто-то из них хочет думать все то, что думал другой, *и даже больше*, то это уже другая концепция, настолько, насколько *больше*. В этом последнем случае одно состояние ума имеет две концептуальные функции. Каждая мысль сама решает, какую из всех открытых ей концептуальных функций она должна теперь возобновить; с какой другой мыслью она должна отождествить себя как концептора, и насколько. "То же самое А, которое я однажды обозначил, - говорит оно, - я теперь обозначу снова, и обозначу его с С в качестве предиката (или чего другого) вместо В, как раньше". Во всем этом, следовательно, нет абсолютно никакого изменения, а только расщепление и перецепление понятий. Сложные концепции приходят, как функции новых состояний ума. Некоторые из этих функций совпадают с предыдущими, некоторые - нет. Любое измененное мнение, таким образом, *частично* содержит новые редакции (абсолютно идентичные старым, однако) прежних представлений, *частично* - совершенно новые представления. Это разделение совершенно легко провести в каждом конкретном случае.

[392] Принципы человеческого знания, Введение, §§ 10, 14.

[393] Conceptualisme honteux", Rabier, Psychologie, 310.

[394] Exam. of Hamilton, p. 393. Ср. также "Логик", т. ii, гл. v, § 1, и т. iv, гл. ii, § 1.

[395] Например: "Познание вещей должно означать, что разум находит себя в них, или что каким-то образом различие между ними и разумом растворяется". (E. Caird, Philosophy of Kant, first edition, p. 553.)

[396] Традиционная концептуалистская доктрина состоит в том, что абстракция должна быть универсальной *eo ipso*. Даже современные и независимые авторы, такие как профессор Дьюи ("Психология", 207), подчиняются этой традиции: "Разум захватывает какой-то один аспект,... абстрагирует или прескиндит его. Этот самый захват какого-то одного элемента обобщает тот, который абстрагирован..... Внимание, извлекая его, делает его отдельным содержанием сознания и тем самым универсализирует его; он рассматривается уже не в его конкретной связи с объектом, а сам по себе, то есть как идея, или то, что он обозначает для ума; а значение всегда универсально".

[397] *Белизна* - это одно, а *белизна этого листа бумаги* - другое.

[398] Мистер Ф. Х. Брэдли говорит, что концепция или "значение" "состоит из части содержания, отрезанной, зафиксированной разумом и рассматриваемой отдельно от существования знака". Неправильно было бы добавить, и отнести к другому реальному предмету; ибо там, где мы думаем, не судя, и там, где мы отрицаем, это описание было бы неприменимо". Похоже, это та же доктрина, что и наша; применение к одному или ко всем предметам абстрактного факта, о котором идет речь (то есть его индивидуальности или универсальности), представляет собой новую концепцию. Я, однако, не совсем уверен, что мистер Брэдли неуклонно придерживается этой позиции. Ср. первую главу его "Принципов логики". Доктрина, которую я защищаю, решительно отстаивается в "Философской системе" Росмини, Введение Томаса Дэвидсона, стр. 43 (Лондон, 1882).

[399] Лекции по греческой философии, с. 33-39.

[400] Анализ, глава viii.

[401] Принципы человеческого знания, введение, §§ 11, 12.

[402] Для усиления эффекта текста можно привести отрывок из эссе в "Разуме", упомянутого на с. 224.

"Почему мы не можем встать на сторону концептуалистов, утверждая, что универсальный смысл слова действительно соответствует *какому-то* ментальному факту, но в то же время, соглашаясь с номиналистами, что все ментальные факты являются модификациями субъективной чувствительности, почему мы не можем назвать этот факт "чувством"? Короче говоря, *человек*, предназначенный для *человечества*, отличается по ощущениям от *человека* как простого шума или от *человека*, предназначенного для *этого* человека, то есть от одного только Джона Смита. Не то чтобы разница заключалась только в том, что, когда слово воспринимается универсально, с ним ассоциируется один из "смешанных" образов человека, предложенных мистером Гальтоном. Многим кажется, что эти смешанные или, как их называет профессор Хаксли, "родовые" образы эквивалентны понятиям. Но сама по себе размытая вещь столь же конкретна, как и резкая; и родовой характер резкого или размытого образа зависит от того, что он ощущается *со своей репрезентативной функцией*. Эта функция - таинственный *плюс*, понятый смысл. Но она не является ничем, приложенным к изображению сверху, ни чистым актом разума, обитающего в сверхчувственной и полусверхъестественной плоскости. Его можно представить в виде диаграммы, непрерывной со всеми остальными сегментами субъективного потока. Это как раз то пятно, бахрома или ореол неясно ощущаемой связи с массой других образов, которые вот-вот появятся, но еще не отчетливо в фокусе, и которые мы так подробно изложили [в [главе IX](#)].

Если образ не окаймлен, он раскрывает лишь простое качество, вещь или событие; если же он окаймлен, он может раскрыть нечто определенное, взятое в целом или в схеме отношений". Различие между мыслью и чувством, таким образом, сводится, в последнем субъективном анализе, к наличию или отсутствию "бахромы". А это, в свою очередь, сводится, с большой долей вероятности, в последнем физиологическом анализе к отсутствию или наличию субвозбуждений в других извилинах мозга, чем те, разряды которых лежат в основе более определенного ядра, основного ингредиента мысли, - в данном случае, слова или образа, который она может вызвать.

"Контраст, таким образом, заключается не в том, как это хотели бы представить платоники, между некоторыми субъективными фактами, называемыми образами и ощущениями, и

другими, называемыми актами относящегося к ним интеллекта; первые - это слепые погибающие вещи, не знающие даже своего собственного существования как такового, в то время как вторые объединяют полюса в таинственном синтезе их познавательного охвата. Контраст действительно заключается в двух *аспектах*, в которых могут быть взяты все без исключения ментальные факты: их структурный аспект, как субъективный, и их функциональный аспект, как познавательный. В первом аспекте как высшее, так и низшее является чувством, особым образом окрашенным сегментом потока. Этот оттенок - его чувствительное тело, *wie ihm zu Muthe ist*, то, что он чувствует при прохождении. В последнем аспекте как низший ментальный факт, так и высший могут ухватить в качестве своего содержания некоторую долю истины, даже если бы эта истина была такой же безотносительной материей, как голое нелокализованное и не имеющее даты качество боли. С когнитивной точки зрения все ментальные факты являются интеллектами. С субъективной точки зрения все они являются чувствами. Стоит только признать, что преходящее и мимолетное - такие же реальные части потока, как и отчетливое и сравнительно постоянное; стоит только допустить, что бахрома и ореолы, невнятные восприятия, объекты которых еще не названы, просто зачатки познания, предчувствия, осознание направления - это мысли *sui generis*, такие же, как артикулированные воображения и предложения; стоит только восстановить, говорю я, *смутное* в его психологических правах, и дело больше не представляет никаких трудностей.

"И тут мы видим, что существующее противопоставление ощущения знанию - совершенно ложный вопрос. Если каждое чувство есть в то же время частица знания, то мы не должны больше говорить о ментальных состояниях, отличающихся большим или меньшим количеством познавательного качества; они отличаются только тем, что знают больше или меньше, что имеют много фактов или мало фактов для своего объекта. Чувство широкой схемы отношений - это чувство, которое знает много; чувство простого качества - это чувство, которое знает мало. Но само знание, будь то много или мало, имеет одну и ту же сущность и является столь же хорошим знанием в одном случае, как и в другом. Понятие и образ, различаемые таким образом через свои объекты, по своей внутренней природе, как способы ощущения, являются сущностными. Одно, как частное, уже не будет считаться относительно неизменной сущностью, которую следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, тогда как другое, как универсальное, будет прославляться как некое стоящее чудо, которое следует обожать, но не объяснять. И понятие, и образ, *будучи* субъективными, единичны и конкретны. Оба они - моменты потока, которые приходят и в одно мгновение перестают быть таковыми. Слово "универсальность" не имеет смысла в применении к их психическому телу или структуре, которая всегда конечна. Оно имеет значение только в том случае, если применяется к их использованию, значению или отсылке к тому виду объекта, который они могут выявить. Представление как таковое универсального объекта столь же специфично, как и представление объекта, о котором мы знаем так мало, что междометие "Ха!" - это все, что он может вызвать у нас в речи. Оба должны быть взвешены на одних и тех же весах, и им должна быть дана одна и та же мера, будь то поклонение или презрение". (Mind, ix, pp. 18-19.)

[403] Hodgson, Time and Space, p. 404.

[404] Сравните восхитительный отрывок в Hodgson's Time and Space, p. 310.

[405] Философия размышлений, i, 273-308.

ГЛАВА XIII.

ДИСКРИМИНАЦИЯ И СРАВНЕНИЕ.

Популярно наблюдение, что некоторые люди обладают более острыми чувствами, чем другие, и что некоторые обладают более острым умом и способны "разделять волосы" и видеть два оттенка смысла там, где большинство видит только один. Локк уже давно выделил способность к различению как одну из тех, в которой люди различаются индивидуально. Его слова достаточно хороши, чтобы процитировать их в качестве введения к этой главе:

"Еще одна способность, которую мы можем отметить в нашем разуме, - это способность различать и проводить различие между несколькими идеями, которые он имеет. Недостаточно иметь путаное восприятие чего-то в целом: если бы ум не обладал отчетливым восприятием различных объектов и их качеств, он был бы способен на очень малое знание; хотя тела, влияющие на нас, были бы так же заняты вокруг нас, как и сейчас, а ум был бы постоянно занят размышлениями. От этой способности отличать одну вещь от другой зависит доказательство и уверенность некоторых даже очень общих положений, которые выдаются за врожденные истины; потому что люди, упуская из виду истинную причину, по которой эти положения находят всеобщее одобрение, приписывают ее исключительно врожденным однородным впечатлениям; тогда как на самом деле она зависит от этой ясно различающей способности ума, благодаря которой он воспринимает две идеи как одинаковые или разные. Но об этом подробнее позже.

"Насколько несовершенство точного различения идей одной от другой связано с тупостью или недостатками органов чувств, или с недостатком остроты, упражнения или внимания в понимании, или с поспешностью и торопливостью, свойственными некоторым характерам, я не буду здесь рассматривать: достаточно заметить, что это одна из операций, которую разум может обдумывать и наблюдать в себе. Это имеет такое значение для других его знаний, что если эта способность сама по себе притуплена или неправильно используется для различения одной вещи от другой, то наши представления путаются, а разум и суждения нарушаются или вводятся в заблуждение. Если в наличии наших идей в памяти наготове состоит быстрота частей; в этом, в том, чтобы иметь их непутанными и быть в состоянии хорошо отличить одну вещь от другой, где есть только наименьшее различие, состоит в большой степени точность суждения и ясность разума, которая должна наблюдаться в одном человеке над другим. И отсюда, возможно, вытекает причина того распространенного наблюдения, что люди, обладающие большим остроумием и быстрой памятью, не всегда имеют самые ясные суждения и глубокий разум. Ибо остроумие заключается в том, чтобы собирать идеи и быстро и разнообразно соединять те из них, в которых можно найти какое-либо сходство или соответствие, создавая тем самым в воображении приятные картины и приятные видения; рассудительность же, напротив, лежит совсем в другой стороне, тщательно отделяя одну от другой идеи, в которых можно найти наименьшее различие, чтобы не быть введенным в заблуждение сходством и сходством, принимая одну вещь за другую. Это способ действия, совершенно противоположный метафоре и аллюзии, где по большей части кроется та развлекательность и приятность остроумия, которая так живо поражает воображение и потому так приемлема для всех людей, потому что ее красота проявляется с первого взгляда, и не требуется никакого труда мысли, чтобы исследовать, что в ней истинно или разумно".[406]

Но потомки Локка не спешили вступать на путь, на плодотворность которого указывал их учитель, и настолько пренебрегли изучением дискриминации, что можно сказать, что классические английские психологи, как школа, едва ли признавали ее существование. Ассоциация" оказалась в их руках единственной всепоглощающей силой разума. Доктор Мартино в своей рецензии на книгу Бейна делает несколько весомых замечаний по поводу этой односторонности локковской школы. Наша ментальная история, говорит он, с его точки зрения, представляет собой,

"вечное образование новых соединений: и слова "ассоциация", "сплочение", "слияние", "неразрывная связь" выражают переход от множественности данных к некоторому единству результата. Поэтому для объяснения этого процесса необходимы две вещи: верное перечисление первичных компонентов и правильное изложение законов их сочетания: точно так же, как в химии нам дают список простых элементов, а затем принципы их синтеза. Последнее из этих двух условий мы находим выполненным ассоциативными психологами, но не первое. Они не пришли к согласию ни по поводу своего каталога элементов, ни по поводу знаков, по которым они могут отличить простое от сложного. Психологическая единица не фиксирована; то, что Хартли называет одним впечатлением, Милл рассматривает как полдюжины или больше: и тенденция современных учителей в этом вопросе состоит в том, чтобы все больше и больше отступать от лучше выбранного пути своего учителя. Хартли, например, рассматривал все настоящее воздействие на нас любого отдельного объекта - скажем, апельсина - как одно ощущение; а весь остаток, который он оставляет после себя, - как одну "идею ощущения". Его современные ученики, с другой стороны, рассматривают тот же эффект как совокупность множества ощущений, а идеальный след, который он оставляет, как очень сложный. Идея объекта", вместо того чтобы быть элементарной отправной точкой для них, является одним из сложных результатов повторения и опыта; и постоянно приводится в качестве замечательной иллюстрации сплачивающей силы привычных ассоциаций. Так, Джеймс Милл отмечает:

"Именно этому великому закону ассоциации мы обязаны формированием наших представлений о том, что мы называем внешними объектами; то есть представлений об определенном количестве ощущений, получаемых вместе так часто, что они как бы сливаются воедино, и о них говорят под идеей единства. Отсюда то, что мы называем идеей дерева, идеей камня, идеей лошади, идеей человека. Употребляя названия "дерево", "лошадь", "человек" - названия того, что я называю объектами, - я имею в виду и могу иметь в виду только свои собственные ощущения; фактически, следовательно, я называю только определенное количество ощущений, рассматриваемых как находящиеся в определенном состоянии сочетания, то есть одновременности. Конкретные ощущения зрения, осязания, мышц - это ощущения, идеям которых, цвету, протяженности, шероховатости, твердости, гладкости, вкусу, запаху, так сливающимся в одну идею, я даю название идеи дерева".[\[407\]](#)

"Точно так же мистер Бейн замечает:

"Внешние объекты обычно воздействуют на нас через множество органов чувств. Камешек на морском берегу представляется глазу в виде формы и цвета. Мы берем его в руку и повторяем впечатление от формы с дополнительным ощущением прикосновения. Стукните два вместе, и раздастся характерный звук. Чтобы сохранить впечатление от объекта такого рода, должна возникнуть ассоциация всех этих различных эффектов. Такая ассоциация, когда она созрела и укрепилась, и есть

наша идея, наше интеллектуальное восприятие камешка. Переходя к органическому миру и срывая розу, мы имеем те же эффекты формы для глаза и руки, цвета и осязания, с новыми эффектами запаха и вкуса. Определенное время требуется для того, чтобы все эти качества соединились в единое целое, чтобы дать нам для всех целей устойчивый образ розы. Когда все эти впечатления полностью овладевают нами, любое из них оживляет остальные: запах, вид, ощущение колючего стебля - каждое из них само по себе поднимает все впечатление на поверхность".[408]

"Итак, такой порядок выведения, при котором наше объективное знание начинается с множественности впечатлений и приходит к единству, мы считаем полной инверсией нашей психологической истории. Хартли, как нам кажется, был совершенно прав, не обращая внимания на количество входов, через которые объект оказывает на нас свое воздействие, и, несмотря на это обстоятельство, рассматривая воздействие как одно..... Даже теперь, после того как жизнь прочла нам столько аналитических уроков, в той мере, в какой мы можем зафиксировать отношение нашей сцены и нас самих, чувство множественности наших впечатлений отступает, и мы погружаемся в неразделенное сознание; теряя, например, отдельное внимание к любому равномерному гулу в ухе, или свету в глазах, или тяжести одежды на теле, хотя ни один из них не действует на цвет нашего чувства. Этот закон, как только он будет принят, должен быть перенесен далеко за пределы точки Хартли. Не только каждый объект должен предстать перед нами целостно, прежде чем он разделится на свои качества, но и вся окружающая нас сцена должна вычленять для нас объект за объектом из своего неподвижного фона путем возникновения и изменения; и даже наше самоотстранение от мира напротив нас должно ждать начала столкновения между силой, которую мы излучаем, и силой, которую мы получаем. Ограничимся простейшим случаем: когда красный шар из слоновой кости, увиденный впервые, будет удален, он оставит мысленное представление о себе, в котором будет неразличимо сосуществовать все то, что он одновременно дал нам. Пусть его сменит белый шар; теперь, а не раньше, атрибут отделится, и цвет, силой контраста, будет вытеснен на передний план. Пусть белый шар будет заменен яйцом: и это новое отличие выведет форму из прежней дремоты. И таким образом, то, что вначале было просто предметом, вырезанным из окружающей сцены, становится для нас сначала *красным* предметом, затем *красным круглым* предметом, и так далее. Таким образом, вместо того, чтобы качества, данные по отдельности, соединялись вместе и складывались, представляя нам объект как их совокупность, объект заранее находится вместе с ними и из своей целостности предоставляет их нашему познанию одно за другим. В этом распаде первичное ядро никогда не теряет своего субстанциального характера или имени; в то время как различие, которое оно отбрасывает, предстает как простой атрибут, выраженный прилагательным. Отсюда следует, что мы вынуждены думать о объекте как о *имеющем*, а не как о *являющемся* его качествами; и мы никогда не можем искренне согласиться с верой в то, что некая свободная совокупность атрибутов действительно сливается в *вещь*. Единство исходного целого не ощущается как распадающееся на части и распадающееся на свойства, которые оно последовательно выделяет; оно сохраняет остаточное существование, которое делает его *субстанцией*, в отличие от возникающего качества, которое является лишь его *феноменальным предикатом*. Если бы не этот вечный процесс дифференциации себя от мира, объекта от его сцены, атрибута от объекта, ни один шаг абстракции не мог бы быть сделан; ни одно качество не могло бы попасть в поле

нашего зрения; и если бы у нас было десять тысяч чувств, все они сходились бы и встречались в одном сознании. Но если это так, то говорить об ощущениях, группирующихся в агрегаты и таким образом составляющих для нас объекты, о которых мы думаем, - полная фальсификация порядка природы; и весь язык теории, касающийся области синхронных экзистенций, является прямой инверсией истины. Опыт развивается и интеллект тренируется не путем ассоциации, а путем *диссоциации*, не путем сведения множества впечатлений к одному, а путем раскрытия одного во многие; и подлинная психологическая история должна излагать себя в аналитических, а не синтетических терминах. Именно те идеи субстанции, разума, причины, пространства, которые эта система рассматривает как бесконечно сложные, как последний результат мириад слившихся элементов, на самом деле являются остаточной простотой сознания, стабильность которого вихри и потоки феноменального опыта оставили неповрежденной."[409]

Истина заключается в том, что опыт обучается как ассоциации, так и диссоциации, и что психология должна быть написана как в синтетических, так и в аналитических терминах. Наши первоначальные чувственные совокупности, с одной стороны, подразделяются дискриминационным вниманием, а с другой - объединяются с другими совокупностями, - либо благодаря нашим собственным движениям, переносящим наши органы чувств из одной части пространства в другую, либо потому, что новые объекты последовательно приходят и заменяют те, которыми мы были впечатлены вначале. Простое впечатление" Юма и "простая идея" Локка - это абстракции, которые никогда не реализуются в опыте. Опыт с самого начала представляет нам конкретные объекты, смутно непрерывные с остальным миром, который окутывает их в пространстве и времени, и потенциально делимые на внутренние элементы и части. Эти объекты мы разрываем и воссоединяем. Чтобы наше знание о них росло, мы должны обращаться с ними обоими способами; и в целом трудно сказать, какой из них преобладает. Но поскольку элементы, из которых традиционный ассоцианизм строит свои конструкции - "простые ощущения", а именно - все они являются продуктами дискриминации, доведенной до высокого уровня, кажется, что мы должны сначала обсудить тему аналитического внимания и дискриминации.

Замечание любой *части* нашего объекта - это акт дискриминации. Уже на [стр. 404](#) я описал, как мы часто спонтанно впадаем в состояние недискриминации, даже в отношении объектов, которые мы уже научились различать. Такие анестетики, как хлороформ, закись азота и т. д., иногда вызывают преходящие провалы, еще более полные, при которых числовое различие особенно похоже на исчезновение; ведь человек видит свет и слышит звук, но один ли это свет или много звуков, сказать совершенно невозможно. Если части объекта уже были различимы, и каждая из них стала объектом специального дискриминационного акта, мы с трудом можем снова ощутить объект в его первоначальном единстве; и настолько заметным может быть наше сознание его состава, что мы с трудом можем поверить, что он когда-либо мог появиться неразделенным. Но это ошибочное мнение: неоспоримым фактом является то, что *любое количество впечатлений из любого количества источников чувств, одновременно падающих на разум*, который еще не пережил их по отдельности, *сольется в единый неразделенный объект для этого разума*. Закон состоит в том, что все вещи сливаются, которые *могут* слиться, и ничто не разделяется, кроме того, что должно. Что заставляет впечатления разделяться, нам предстоит изучить в этой главе. Хотя они легче разделяются, если поступают по отдельным нервам, однако, как мы увидим в дальнейшем, наличие отдельных нервов не является безусловным основанием для их разделения. Младенец, которого одновременно атакуют глаза, уши, нос, кожа и внутренности, ощущает все это как одну большую цветущую,

жужжащую путаницу; и до самого конца жизни наше расположение всех вещей в одном пространстве объясняется тем, что первоначальные протяженности или размеры всех ощущений, которые сразу попали в поле нашего зрения, слились в одно и то же пространство. Нет никакой другой причины, кроме этой, почему "рука, которую я трогаю и вижу, пространственно совпадает с рукой, которую я сразу же чувствую".[410]

Правда, иногда мы можем поддасться искушению воскликнуть, когда перед нами предстает множество доселе незамеченных деталей объекта: "Как мы могли не знать о них и при этом ощущать объект или делать выводы, как если бы это был *континуум*, *пленум*? Были бы *пробелы* - но мы не чувствовали пробелов; поэтому мы должны были видеть и слышать эти детали, опираться на эти ступени; они должны были действовать на наш разум, как и сейчас, только *бессознательно* или, по крайней мере, *невнимательно*. Наше первое неанализированное ощущение действительно состояло из этих элементарных ощущений, наш первый быстрый вывод действительно был основан на этих промежуточных умозаклчениях, все это время, только мы не замечали этого факта". Но это не что иное, как фатальное "заблуждение психолога" (стр. 196), заключающееся в том, что низшее состояние ума как будто должно неявно знать все то, что явно известно о *той же теме* высшим состояниям ума. Вещь, о которой думают, несомненно, одна и та же, но она мыслится дважды в двух абсолютно разных психозах, - один раз как единое целое, а другой раз как сумма различающихся частей. Это не одна мысль в двух редакциях, а две совершенно разные мысли об одной вещи. И каждая мысль сама по себе является *континуумом*, *пленумом*, не нуждающимся во вкладе другой, чтобы заполнить свои пробелы. Сидя здесь, я думаю о предметах и делаю умозаклчения, которые будущее непременно проанализирует, сформулирует и разложит по полочкам, показывая мне множество вещей там, где я сейчас замечаю одну. Тем не менее, моя мысль чувствует себя вполне достаточной сама по себе на данный момент; она мечется от полюса к полюсу, такая же свободная и такая же неосознанная, что ничего не заметила, как если бы обладала величайшим дискриминационным просвещением. Все мы в какой-то момент перестаем анализировать мир и больше не замечаем различий. Последние единицы, на которых мы останавливаемся, - это наши объективные элементы бытия. Они у собаки отличаются от гумбольдтовских, у практического человека - от метафизических. Но мысли собаки и практического человека *ощущаются* непрерывными, хотя Гумбольдту или метафизику они показались бы полными пробелов и дефектов. И они непрерывны, *как мысли*. Только *как зеркала вещей*, высшие умы находят их полными пропусков. А когда обнаруживаются пропущенные вещи и обнажаются незамеченные различия, то не старые *мысли* распадаются, а *на смену им приходят новые*, которые выносят новые суждения о том же объективном мире.

ПРИНЦИП ОПОСРЕДОВАННОГО СРАВНЕНИЯ.

Когда мы различаем какой-либо элемент, мы можем противопоставить ему случай его собственного отсутствия, когда его просто нет, без связи с тем, что есть; или же мы можем принять во внимание последнее. Пусть первый вид дискриминации называется *экзистенциальной*, а второй - *дифференциальной*. Особенность дифференциальной дискриминации состоит в том, что она приводит к восприятию различий, которые ощущаются как *большие или меньшие* одно по сравнению с другим. Целые группы различий могут выстраиваться в ряды: музыкальная шкала, цветовая шкала - вот примеры. В каждом отделе нашего опыта данные могут быть записаны в равномерном порядке, от самого низкого до самого высокого члена. И любая единица измерения может быть членом нескольких таких порядков. Данная нота может занимать высокое место в ряду высоты тона, низкое место в ряду громкости и среднее место в ряду приятности. Данный оттенок, чтобы

быть полностью определенным, должен иметь свое место в ряду качеств, в ряду чистоты (свободы от белого) и в ряду интенсивности или яркости. Он может быть низким в одном из этих аспектов, но высоким в другом. Переходя от термина к термину в любом таком ряду, мы сознаем не только то, что каждый шаг различия равен (или больше, или меньше) предыдущему, но и то, что мы движемся в *едином направлении*, отличном от других возможных направлений. Это *сознание последовательного увеличения различий* - один из фундаментальных фактов нашей интеллектуальной жизни. Больше, *больше*, больше одного и того же вида различий, говорим мы, продвигаясь от термина к термину и понимая, что чем дальше мы продвигаемся, тем больше увеличивается разрыв между термином, в котором мы находимся, и тем, с которого мы начали. Между любыми двумя терминами такого ряда разница больше, чем между любыми промежуточными терминами, или чем между промежуточным термином и любым из крайних. Более громкое, чем громкое, громче менее громкого; более далекое, чем далекое, дальше менее далекое; более раннее, чем раннее, раньше позднего; более высокое, чем высокое, выше низкого; более большое, чем большое, больше малого; или, говоря кратко и универсально, *более высокое, чем большее, больше меньшего*; таков великий синтетический принцип опосредованного сравнения, связанный с обладанием человеческим разумом чувством последовательного увеличения. В главе XXVIII мы увидим, какое огромное значение этот принцип имеет для осуществления всех наших высших рациональных операций.

ВСЕ ЛИ РАЗЛИЧИЯ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧИЯМИ СОСТАВА?

Каждое из различий в одном из этих однородных рядов ощущается как определенная ощутимая величина, и каждый член представляется как последний член с добавлением этой величины. Во многих конкретных объектах, которые отличаются друг от друга, мы можем ясно увидеть, что различие состоит только в том, что один объект такой же, как и другой, *плюс* что-то еще, или что они оба имеют идентичную часть, к которой каждый добавляет отдельный остаток. Так, две картины могут быть вырезаны из одного и того же блока, но одна из них может отличаться добавлением цвета; или два ковра могут демонстрировать идентичный узор, который в каждом из них выткан в разных оттенках. Точно так же два класса ощущений могут иметь одинаковый эмоциональный тон, но отрицать друг друга в остальных отношениях - например, темный цвет и глубокий звук; или два лица могут иметь одинаковую форму носа, но во всем остальном отличаться друг от друга. Сходство одной и той же ноты, звучащей на инструментах разного тембра, объясняется сосуществованием основного тона, общего для обоих, с избыточными тонами в одном, которых нет в другом. Опуская руку в воду, а затем в более холодную, я могу наблюдать некоторые дополнительные ощущения, так сказать, более широкие и глубокие иррадиации холода, которых не было в предыдущем опыте, хотя, насколько я могу судить, в остальном ощущения могут быть теми же самыми. При поднятии сначала одной гири, а затем другой, в локтевом суставе, запястье и других местах возникают новые ощущения, которые заставляют меня называть вторую гирю более тяжелой из двух. Во всех этих случаях каждая из различающихся вещей может быть представлена двумя частями: одной, общей для нее и других, и другой, свойственной только ей. Если они образуют ряд, *A, B, C, D* и т. д., и общая часть будет называться *X*, а наименьшее различие - *d*, то состав ряда будет следующим:

$$AX = + d;$$

$$B = (X + d) + d, \text{ или } X + 2d;$$

$$C = X + 3d;$$

$$D = X + 4d;$$

.....

Если бы сам X в конечном счете состоял из d , то мы могли бы объяснить весь ряд как обусловленный изменчивым сочетанием и повторным сочетанием с самим собой неизменного элемента; и все очевидные различия качества были бы переведены в различия только количества. Это тот вид редукции, который атомная теория в физике и теория "ум-вещь" в психологии считают своим идеалом. Так что, следуя аналогии наших примеров, можно легко поддаться искушению обобщить и сказать, что все различия - это лишь сложение и вычитание, и что то, что мы называем "дифференциальной" дискриминацией, - это лишь замаскированная "экзистенциальная" дискриминация; то есть, когда A и B различаются, мы просто различаем в одном из них нечто, чего нет в другом. *Абсолютная идентичность вещей до определенного момента, а затем абсолютная неидентичность*, по этой теории, заняли бы место тех предельных качественных несходств между ними, в которые мы естественно верим; и психическая функция различения, перестав считаться предельной, превратилась бы в простое логическое утверждение и отрицание, или восприятие того, что черта, обнаруженная в одной вещи, в другой не существует.

Теоретически, однако, эта теория полна трудностей. Если бы все различия, которые мы ощущаем, были *в одном направлении*, так что все объекты можно было бы выстроить в один ряд (каким бы длинным он ни был), она могла бы еще работать. Но когда мы принимаем во внимание пресловутый факт, что объекты отличаются друг от друга в *разных направлениях*, сделать это становится практически невозможно. Ведь тогда, предположив, что объект отличается от вещей в одном направлении на величину d , он должен будет отличаться от вещей в другом направлении на величину другого рода, назовем ее d' ; таким образом, избавившись от качественного несходства между объектами, мы снова получим его между их приращениями. Мы можем, конечно, вновь применить наш метод и сказать, что различие между d и d' - это не качественное несходство, а факт композиции: один из них - то же самое, что и другой, *плюс* приращение еще более высокого порядка, например, δ . Но если вспомнить, что все в мире можно сравнить со всем остальным и что число направлений различия бесконечно велико, то становится ясно, что усложнение самосочетаний конечного дифференциального приращения, которым, согласно этой теории, объясняются все бесчисленные непохожести мира, чтобы не записать ни одну из них в качестве конечного различия вида, умопомрачительно. Это теория пыли разума; со всеми ее трудностями в особенно бескомпромиссной форме; и все ради фантастического удовольствия произвольно утверждать, что между вещами в мире и между "идеями" в разуме нет ничего, кроме абсолютного подобия и абсолютного не-подобия элементов, причем это не-подобие не допускает никаких степеней.

Мне кажется, гораздо мудрее отказаться от таких трансцендентальных экстравагантных спекуляций и придерживаться естественных представлений. Они оставили бы непохожесть как неразложимое отношение между вещами, причем такое отношение, в котором есть все степени. Абсолютное не-подобие было бы максимальной степенью, абсолютное подобие - минимальной степенью этого неподобия, различие которого было бы одной из наших высших познавательных способностей.^[411] Разумеется, природные явления категорически против того, чтобы считать, что качественных различий не существует. С той же ясностью, с какой в одних объектах мы ощущаем различие как вопрос *плюса* и *минуса*, в других объектах мы чувствуем, что это не так. Противопоставьте наше ощущение разницы между длиной двух линий нашему ощущению разницы между синим и желтым или между правым и левым.

Разве правое равно левому с добавлением чего-то? Является ли синий желтым *плюс* что-то? Если да, то что именно?[412] Пока мы придерживаемся *проверяемой* психологии, мы *вынуждены признать*, что различия простого рода образуют *несводимый вид отношений* между некоторыми элементами нашего опыта, и вынуждены отрицать, что дифференциальное различие может быть везде сведено к простому установлению того, что элементы, присутствующие в одном факте, в другом не существуют. Восприятие того, что элемент существует в одной вещи и не существует в другой, и восприятие качественного различия - это, короче говоря, совершенно не связанные между собой психические функции.[413]

Но в то же время, настаивая на этом, мы должны признать, что качественные различия, какими бы обильными они ни были, не являются единственными, с которыми приходится иметь дело нашему разуму. Различия, которые кажутся простым составом, числом, *плюсом* и *минусом*, также многочисленны.[414] Но для настоящего времени будет лучше пренебречь всеми этими количественными случаями и, взяв другие (которых, по самым скромным подсчетам, все равно будет достаточно много), рассмотреть далее *то, каким образом мы приходим к познанию простых различий рода*. Мы не можем *объяснить* познание; мы можем лишь установить условия, в силу которых оно происходит.

УСЛОВИЯ РАЗЛИЧЕНИЯ.

Каковы же условия, при которых мы различаем вещи, отличающиеся друг от друга простым способом?

Во-первых, *вещи должны быть разными* либо по времени, либо по месту, либо по качеству. Если разница в любом из этих аспектов достаточно велика, то мы не можем ее не заметить, разве что не заметим ее вовсе. Никто не может не выделить черную полосу на белом фоне или не почувствовать контраст между басовой нотой и высокой, прозвучавшей сразу после нее. Дискриминация здесь *непроизвольна*. Но там, где объективное различие меньше, дискриминация не должна происходить так неизбежно, и даже может потребовать значительных усилий внимания, чтобы быть выполненной вообще.

Другим благоприятным условием является то, что ощущения, вызываемые *различными объектами*, не должны *приходить к нам одновременно*, а должны *падать* на один и тот же орган в *непосредственной* последовательности. Легче сравнивать последовательные, чем одновременные звуки, легче сравнивать два веса или две температуры, проверяя один за другим одной и той же рукой, чем использовать обе руки и сравнивать оба сразу. Точно так же легче различать оттенки света или цвета, переводя взгляд с одного на другой, чтобы они последовательно стимулировали один и тот же участок сетчатки. При проверке местной дискриминации кожи с помощью компасных точек было обнаружено, что они ощущаются при прикосновении к различным точкам гораздо легче, когда их ставят одну за другой, чем когда их ставят обе сразу. В последнем случае они могут находиться на расстоянии двух-трех дюймов друг от друга на спине, бедрах и т. д., и все равно будет ощущение, что они приложены к одному месту. Наконец, в случае с обонянием и вкусом сравнение одновременных впечатлений практически невозможно. Причина, по которой последовательные впечатления так благоприятствуют результату, заключается, по-видимому, в том, что существует реальное *ощущение различия*, вызванное шоком при переходе от одного восприятия к другому, которое не похоже на первое. Это ощущение различия имеет свое особое качество, как различие, которое остается ощутимым, независимо от того, какого рода термины могут быть, между которыми оно возникает. Короче

говоря, это одно из тех переходных чувств, или чувств отношения, о которых я говорил в предыдущем месте (стр. 245 и далее); и, будучи однажды вызванным, его объект остается в памяти вместе с содержательными терминами, которые предшествуют и следуют за ним, и позволяет нам делать суждения о сравнении. Вскоре мы увидим основания полагать, что никакие два термина не могут быть *одновременно* восприняты как различные, если в ходе предварительной операции мы последовательно не обращали внимания на каждый из них и не вызывали при этом переходного ощущения различия между ними. Поле сознания, каким бы сложным оно ни было, никогда не подвергается анализу, если не изменились некоторые его составляющие. *Сейчас* мы различаем, правда, множество сосуществующих вещей вокруг нас в каждый момент: но это потому, что у нас было долгое образование, и каждая вещь, которую мы теперь видим отчетливой, была уже дифференцирована от своих соседей путем повторных появлений в последовательном порядке. Для младенца звуки, зрелища, прикосновения и боль представляют собой, вероятно, один неанализированный клубок путаницы.[415]

Там, где разница между последовательными ощущениями незначительна, переход между ними должен осуществляться как можно быстрее, и оба ощущения должны сравниваться *в памяти*, чтобы добиться наилучших результатов. Нельзя точно судить о разнице между двумя похожими винами, пока второе еще находится во рту. Так же и со звуками, теплом и т. д. - мы должны получить предсмертные фазы обоих ощущений сравниваемой пары. Однако там, где разница сильная, это условие несущественно, и тогда мы можем сравнивать реально ощущаемое чувство с другим, хранящимся только в памяти. Чем больше промежуток времени между ощущениями, тем неопределеннее их различение.

Таким образом, разница, сразу ощущаемая между двумя терминами, не зависит от нашей способности идентифицировать один из терминов сам по себе. Я могу ощущать прикосновение к двум разным точкам на своей коже и при этом не знать, какая из них находится выше, а какая ниже. Я могу наблюдать, как различаются два соседних музыкальных тона, и при этом не знать, какой из них выше по тону. Точно так же я могу различать два соседних оттенка, но при этом не знать, какой из них голубее или желтее, и чем он отличается от своего собрата.[416]

С таким непосредственным восприятием различий, как это, мы не должны смешивать те совершенно непохожие случаи, когда мы *делаем вывод*, что две вещи должны различаться, потому что мы знаем достаточно о каждой из них, взятой самой по себе, чтобы оправдать нашу классификацию их под разными головами. Часто случается, когда между двумя переживаниями проходит большой промежуток времени, что наши суждения направляются не столько позитивным образом или копией предыдущего, сколько воспоминаниями о некоторых фактах, связанных с ним. Так, я знаю, что сегодня солнце светит менее ярко, чем в определенный день на прошлой неделе, потому что тогда я сказал, что оно было совершенно ослепительным, - замечание, которое я не хотел бы делать сейчас. Или я знаю, что сейчас чувствую себя лучше, чем прошлым летом, потому что сейчас я могу психологизировать, а тогда не мог. Мы постоянно заняты сравнением чувств, с качеством которых наше воображение в данный момент не *знакомо* - например, удовольствия или боли. Как известно, трудно вызвать в воображении живой образ любого из этих классов чувств. Ассоцианисты могут говорить о том, что идея удовольствия - это приятная идея, а идея боли - болезненная, но неискушенное человеческое чувство против них, соглашаясь с Гомером, что воспоминание о прошедшем горе может быть радостью, и с Данте, что нет большей печали, чем в несчастье вспоминать о более счастливом времени.

Чувства, запомнившиеся таким несовершенным способом, *должны* быть сопоставлены с настоящими или недавними чувствами с помощью того, что мы о них знаем. В этом случае мы определяем отдаленный опыт, *представляя его себе*. Самый совершенный способ представить его - это определить его в терминах какой-то стандартной шкалы. Если я знаю, что сегодня на термометре ноль, а в прошлое воскресенье было 32°, я знаю, что сегодня холоднее, и я знаю, насколько холоднее, чем было в прошлое воскресенье. Если я знаю, что определенная нота была *c*, а эта нота - *d*, я знаю, что эта нота должна быть выше из двух.

Вывод о том, что две вещи различаются, потому что различаются их сопутствующие факторы, эффекты, имена, виды, или, говоря в общем, их *признаки*, конечно, может быть неограниченно усложнен. Науки дают примеры того, как люди, заметив различия в следствиях, начинают предполагать новые гипотетические причины, отличные от всех известных до сих пор. Но сколько бы ни было шагов, по которым делаются такие умозаключения, *все они заканчиваются непосредственной интуицией различия*. Последним основанием для вывода о различии *A* и *B* должно быть то, что, в то время как *A* - это *m*, *B* - это *n*, и что *m* и *n*, *как видно, различаются*. Давайте тогда оставим в стороне сложные случаи, *A* и *B*, и вернемся к изучению не поддающегося анализу восприятия различия между их знаками, *m* и *n*, когда это, казалось бы, простые термины.

Я сказал, что при их непосредственной последовательности *ощущается* шок от их различия. Он ощущается *неоднократно*, когда мы переходим от *m* к *n* и обратно; и мы стремимся получить его таким образом неоднократно (по крайней мере, чередуя наше внимание) всякий раз, когда шок настолько мал, что его трудно воспринять. Но помимо того, что разница ощущается в краткий миг перехода, она также как бы включается во второй термин, который ощущается как "отличный от первого", даже пока он длится. Очевидно, что "второй термин" ума в этом случае - не просто *n*, а очень сложный объект; и что последовательность не просто сначала "*m*", потом "*различие*", потом "*n*", а сначала "*m*", потом "*различие*", потом "*n-отличие от m*". Однако несколько мыслей, которым открываются эти три объекта, - это три обычных "сегмента" ментального "потока".

Поскольку наш мозг и ум фактически созданы, невозможно получить определенные "*m*" и "*n*" в непосредственной последовательности и сохранить их *в чистоте*. Если бы они оставались чистыми, это означало бы, что они остаются несопоставимыми. С нами же неизбежно, по механизму, который мы пока не можем понять, между ними возникает шок различия, и вторым объектом становится не *n* в чистом виде, а *n-как отличное от m*.^[417] То, что при этих условиях происходит познание *m* и *n* во взаимном отношении, не более парадоксально, чем то, что при других условиях происходит познание простого качества *m* или *n*. Но поскольку это рассматривается как парадокс, и поскольку для его объяснения был привлечен духовный агент, который сам по себе не является частью потока, , представляется желательным сделать еще одно замечание.

Мой рассказ, как можно заметить, является просто описанием фактов, как они происходят: чувства (или мысли), каждое из которых знает что-то, но более позднее знание, если ему предшествует некоторое более раннее, более сложный объект, чем он знал бы, если бы не было предыдущего. Я не предлагаю никакого *объяснения* такой последовательности познаний. Объяснение (я искренне надеюсь) когда-нибудь будет найдено в зависимости от состояния головного мозга. А пока оно не найдено, мы можем рассматривать эту последовательность лишь как частный случай общего закона, согласно которому каждый опыт, пережитый мозгом, оставляет в нем модификацию, которая является одним из факторов, определяющих, какими будут последующие опыты (ср. с. 232-236). Тому, кто

отрицает возможность такого закона, мне нечего сказать, пока он не приведет своих доказательств.

Сенсуалисты и спиритуалисты (и те, и другие, наполненные своим представлением о том, что разум должен каким-то образом *содержать* то, что он знает) начинают с извращенного изложения фактов. И те, и другие признают, что для того, чтобы *m* и *n* можно было хоть как-то познать, маленькие округлые и законченные копии каждого из них должны содержаться в разуме как отдельные сущности. Эти так называемые чистые идеи *m* и *n*, соответственно, сменяют там друг друга. А поскольку они *различны*, говорят сенсуалисты, то они *eo ipso* различны. "Различать идеи и различать идеи - это синонимичные выражения; различать и различать означают совершенно одно и то же", - говорит Джеймс Милль.[418] "Различаются!" - говорят спиритуалисты, - "чем различаются? Действительно, соответствующие идеи *m* и *n* в уме различны. Но по этой самой причине ни одна из них не может отличить себя от другой, поскольку для этого ей пришлось бы осознать другую и, таким образом, на время стать ею, а это означало бы смешение с другой и потерю своей собственной отчетливости. Различение идей и идея различения - это не одно, а два. Последнее есть *отношение*. Только *относящийся к ним принцип*, противоположный по своей природе всем фактам чувства, Эго, Душа или Субъект, компетентен, присутствуя в обеих идеях одинаково, удерживать их вместе и в то же время сохранять их различия".

Но если признать очевидные факты, что *чистая идея "n" вообще никогда не возникает в сознании*, когда "*m*" однажды уже прошло; и что чувство "*n-отлично от m*" само по себе является абсолютно уникальным импульсом мысли, то дно этой драгоценной ссоры отпадает, и ни одной из сторон не остается ничего, о чем можно было бы спорить. Конечно, такое завершение следует приветствовать, особенно если оно достигнуто, как мы здесь, формулировкой фактов, которая предлагает себя так естественно и несофистично.[419]

Итак, мы можем завершить наше исследование того, как происходит простое произвольное различие, сказав, 1) что его проводником является мысль, обладающая знанием обоих сравниваемых терминов и их различия; 2) что необходимым и достаточным условием (в понимании человеческого разума) для возникновения этой мысли является то, что мысль или ощущение одного из различаемых терминов должно, насколько это возможно, предшествовать мысли, в которой известен другой термин; и 3) и чтобы мысль, которая знает второй термин, затем также знала разницу (или в более трудных случаях постоянно сменялась той, которая знает разницу) и оба термина, между которыми она находится.

Эта последняя мысль, однако, не обязательно должна *быть* этими терминами с их различием или *содержать* их. Мысль человека может знать и означать всевозможные вещи без того, чтобы эти вещи попадали в нее телесно - например, далекое, будущее и прошлое.[420] Исчезающий термин в случае, который нас занимает, исчезает; но поскольку он является конкретным термином и ничем иным, он оставляет после себя специфическое влияние, которое определяет последующий импульс мысли совершенно характерным образом. Какое бы сознание ни пришло следующим, оно должно знать исчезнувший термин и называть его иначе, чем сейчас.

Здесь мы подошли к концу нашего разговора о произвольном различии последовательно ощущаемых простых вещей; мы должны отказаться от этой темы, не имея надежды заглянуть в нее глубже для настоящего времени, и обратиться к различению менее простых вещей.

ПРОЦЕСС АНАЛИЗА.

И сначала о дискриминации одновременно ощущаемых впечатлений! Наш первый взгляд на реальность часто заключается в том, что мы считаем ее простой, но позже мы можем научиться воспринимать ее как сложную. Этот новый способ познания одной и той же реальности удобно назвать *анализом*. Очевидно, что он является одним из самых непрекращающихся психических процессов, поэтому давайте рассмотрим, при каких условиях он возникает.

Я думаю, что с самого начала можно смело утверждать, что *любое общее впечатление, производимое на разум, должно быть не поддающимся анализу, элементы которого никогда не переживаются отдельно*. Компоненты абсолютно неизменной группы не встречающихся больше нигде атрибутов никогда не могут быть различимы. Если бы все холодные вещи были мокрыми, а все мокрые - холодными, если бы все твердые вещи кололи нашу кожу, а никакие другие не кололи; разве возможно, чтобы мы различали холодность и мокроту, твердость и жгучесть соответственно? Если бы все жидкости были прозрачными и ни одна нежидкость не была бы прозрачной, то прошло бы много времени, прежде чем у нас появились бы отдельные названия для жидкостей и прозрачности. Если бы тепло зависело от положения над поверхностью земли, так что чем выше находилась вещь, тем горячее она становилась, то для обозначения горячего и высокого служило бы одно слово. На самом деле мы имеем целый ряд ощущений, сопутствующие факторы которых почти всегда одни и те же, и, соответственно, нам кажется почти невозможным вычленив их из тех совокупностей, в которых они находятся. В качестве примера можно привести сокращение диафрагмы и расширение легких, сокращение определенных мышц и вращение определенных суставов. Сближение глазных яблок и аккомодация к близким объектам для каждого расстояния объекта (при обычном использовании глаз) неразрывно связаны, и ни один из них не может (без своего рода искусственного обучения, о котором будет сказано ниже) ощущаться сам по себе. Мы узнаем, что *причины* таких групп ощущений множественны, и поэтому строим теории о составе самих ощущений - "слияние", "интеграция", "синтез" и т. д. Но при непосредственном интроспективном анализе они никогда не анализируются. Наглядный пример мы увидим, когда будем рассматривать эмоции. Каждая эмоция имеет свое "выражение": учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, покрасневшее лицо и тому подобное. Выражение порождает телесные ощущения, а эмоция, таким образом, обязательно и неизменно сопровождается этими телесными ощущениями. Следствием этого является то, что невозможно воспринимать ее как духовное состояние само по себе или анализировать ее в отрыве от низших чувств, о которых идет речь. Фактически невозможно доказать, что оно существует как отдельный психический факт. Настоящий автор сильно сомневается в том, что он существует. Но те, кто наиболее твердо убежден в его существовании, должны ждать, чтобы доказать свою точку зрения, пока они не смогут привести какой-нибудь еще не найденный патологический случай человека, который будет испытывать эмоции в теле, в котором либо полный паралич будет препятствовать их выражению, либо полная анестезия сделает их неосязаемыми.

В общем, если объект воздействует на нас одновременно несколькими способами, *abcd*, мы получаем своеобразное интегральное впечатление, которое впоследствии характеризует для нашего сознания индивидуальность этого объекта и становится признаком его присутствия; и которое разрешается на *a, b, c, d*, соответственно, только с помощью дальнейших впечатлений. Теперь мы можем перейти к рассмотрению этих вопросов.

Если какое-либо одно качество или составная часть, a, такого объекта ранее была известна нам изолированно или каким-либо другим образом уже стала объектом

отдельного знакомства с нашей стороны, так что мы имеем в нашем сознании образ ее, отчетливый или смутный, связанный с *bcd*, *то эта составная часть а может быть проанализирована из общего впечатления*. Анализ вещи означает отдельное внимание к каждой из ее частей. В [главе XI](#) мы видели, что одним из условий внимания к вещи является формирование изнутри отдельного образа этой вещи, который должен как бы выйти навстречу полученному впечатлению. Внимание является условием анализа, а отдельное воображение - условием внимания, из этого также следует, что отдельное воображение является условием анализа. *Только те элементы, с которыми мы знакомы и которые можем представить себе по отдельности, можно различить в общем чувстве-впечатлении*. Образ как бы приветствует своего товарища из соединения и усиливает его ощущение, в то время как он гасит и противостоит ощущениям других составляющих, и таким образом соединение становится для нашего сознания раздробленным на части.

Все факты, приведенные в главе XI в доказательство того, что внимание связано с внутренним воспроизведением, подтверждают и эту точку зрения. Когда мы ищем какой-либо предмет в комнате, например, книгу в библиотеке, мы обнаруживаем ее тем легче, чем больше знаем ее название и т. д., если в нашем сознании есть отчетливый образ ее внешнего вида. Асафетида в "Вустерширском соусе" неочевидна для того, кто не пробовал асафетиду *как таковую*. В "холодном" цвете художник никогда не сможет проанализировать всепроникающее присутствие *синего*, если только он предварительно не познакомился с синим цветом как таковым. Все цвета, которые мы ощущаем в действительности, являются смесями. Даже самые чистые первичные цвета всегда содержат немного белого. Абсолютно чистый красный, зеленый или фиолетовый никогда не встречается, и поэтому его нельзя различить в так называемых первичных цветах, с которыми нам приходится иметь дело: последние, следовательно, выдаются за чистые.- Читатель помнит, как обертон можно услышать только в окружении его созвучий в голосе музыкального инструмента, предварительно озвучив его в одиночестве. Тогда воображение, насытившись им, слышит его подобие в составном тоне. Гельмгольц, чей рассказ об этом наблюдении мы ранее цитировали, продолжает объяснять трудность этого случая таким образом, который прекрасно подтверждает точку зрения, которую я сейчас пытаюсь доказать. Он сказал:

"Конечные простые элементы ощущения тона, сами простые тоны, редко можно услышать в одиночку. Даже те инструменты, с помощью которых они могут быть получены (как вилки для настройки перед резонансными камерами), при сильном возбуждении дают слабые гармонические верхние партиалы, частично внутри и частично вне уха..... Следовательно, возможности для того, чтобы запечатлеть в нашей памяти точный и верный образ этих простых элементарных тонов, весьма скудны. Но если составные части известны лишь неопределенно и смутно, то и анализ их суммы должен быть соответственно неопределенным. Если мы не знаем с уверенностью, какая часть рассматриваемого музыкального тона должна быть отнесена к его первому тону, мы не можем не быть уверены в том, что относится к партиентам. Следовательно, мы должны начать с того, чтобы сделать отдельные элементы, которые должны быть выделены, индивидуально слышимыми, чтобы получить совершенно новое воспоминание о соответствующем ощущении, и все это дело требует постоянного и сосредоточенного внимания. Мы даже лишены той легкости, которая может быть достигнута частыми повторениями эксперимента, как, например, при анализе музыкальных аккордов на отдельные ноты. В этом случае мы достаточно часто слышим отдельные ноты сами по себе, в то время как простые тоны мы слышим редко, и можно сказать, что мы никогда не слышим, как из простых тонов складывается соединение".[\[421\]](#)

ПРОЦЕСС АБСТРАГИРОВАНИЯ.

Очень немногие элементы реальности воспринимаются нами в абсолютной изоляции. Самое большее, что обычно происходит с компонентом *a* в составном явлении *abcd*, это то, что его *сила* относительно *bcd* меняется от максимума до минимума; или то, что он оказывается связанным с *другими* качествами в других соединениях, как *aefg* или *ahik*. Любое из этих превращений в способе нашего переживания *a* может при благоприятных обстоятельствах привести к тому, что мы почувствуем разницу между ним и его сопутствующими элементами и выделим его - не абсолютно, правда, но приблизительно - и таким образом проанализируем соединение, частью которого он является. Акт выделения называется *абстракцией*, а вычлененный элемент - *абстракцией*.

Сначала рассмотрим случай колебаний относительной силы или интенсивности. Пусть есть три степени соединения, например *Abcd*, *abcd* и *abcD*. Переходя от одного соединения к другому, ум будет ощущать толчки различий. Более того, различия будут последовательно нарастать, и их направление будет ощущаться как определенный род. Увеличение от *abcd* к *Abcd* происходит на стороне *a*, а к *abcD* - на стороне *d*. И эти два различия в направлении ощущаются по-разному. Я не утверждаю, что это различие *направления a* и *направления d* даст нам фактическую интуицию либо *a*, либо *d* в абстрактном смысле. Но оно позволяет нам *представить* или *постулировать* каждое из этих качеств и определить его как *крайнее значение* определенного направления. Например, "сухие" и "сладкие" вина различаются и образуют ряд. Бывает, что мы ощущаем сладость чисто и просто во вкусе сахара, и это мы можем проанализировать в винном вкусе. Но никто не знает, какова на вкус "сухость" сама по себе. Однако это должно быть нечто экстремальное в направлении сухости; и мы, вероятно, не сможем не признать это как оригинал нашей абстрактной концепции, если когда-нибудь столкнемся с ним. Подобным образом мы формируем представления о вкусе мяса, помимо его ощущения на языке, о вкусе фруктов, помимо их кислотности, и т. д., и абстрагируем осязание тел в отличие от их температуры. Мы даже можем понять качество сокращения мышцы в отличие от его степени, или сокращение одной мышцы от сокращения другой, как, например, когда, упражняясь с призматическими очками и изменяя конвергенцию наших глаз при неизменной аккомодации, мы узнаем направление, в котором наше ощущение конвергенции отличается от ощущения аккомодации.

Но колебания интенсивности качества - менее эффективная помощь в абстрагировании от него, чем разнообразие других качеств, в компании которых оно может проявляться. *То, что ассоциируется то с одной вещью, то с другой, имеет тенденцию отделяться от любой из них и превращаться в объект абстрактного созерцания разума.* Можно назвать это *законом диссоциации при изменении сопутствующих факторов*. Практическим результатом его будет то, что ум, который таким образом разобщил и абстрагировал характер, сможет анализировать его из общего числа, когда бы он ни встретился с ним снова. Этот закон часто признавался психологами, хотя я не знаю ни одного, кто придал бы ему такое важное значение в нашей ментальной истории, которого он заслуживает. Мистер Спенсер сказал:

"Если свойство А встречается здесь вместе со свойствами В, С, D, там - с С, F, H, и снова с E, G, B... то должно случиться, что при умножении опыта впечатления, производимые этими свойствами на организм, будут разъединены и сделаны настолько независимыми в организме, насколько независимы свойства в окружающей среде, откуда в конце концов должна возникнуть способность распознавать атрибуты сами по себе, отдельно от конкретных тел".[\[422\]](#)

И еще более подробно об этом пишет доктор Мартино в уже цитированном мною отрывке:

"Когда красный шар из слоновой кости, увиденный в первый раз, будет удален, он оставит мысленное представление о себе, в котором будут неразличимо сосуществовать все те, которые он одновременно нам дал. Пусть его сменит белый шар; теперь, а не раньше, атрибут отделится, и *цвет*, силой контраста, будет вытеснен на передний план. Пусть белый шар будет заменен яйцом, и это новое различие выведет *форму* из прежней дремоты, и таким образом то, что вначале было просто предметом, вырезанным из окружающей сцены, становится для нас сначала *красным* предметом, затем *красным круглым* предметом и так далее".

Почему повторение символа в сочетании с различными целыми объектами приводит к тому, что он разрывает свою связь с любым из них и выкатывается, как бы, один на стол сознания, остается немного загадкой. Можно предположить, что нервные процессы различных сопутствующих элементов в большей или меньшей степени нейтрализуют или подавляют друг друга и оставляют активным только процесс, обозначаемый общим термином. Мистер Спенсер, по-видимому, считает, что сам факт того, что общий термин повторяется чаще, чем любой из его ассоциатов, сам по себе придаст ему такую степень интенсивности, что его абстрагирование должно обязательно последовать.

Это звучит правдоподобно, но при внимательном рассмотрении распадается. Ведь не всегда часто повторяющийся характер становится первым замеченным, когда его сопутствующие элементы изменились определенное количество раз; еще более вероятно, что внимание привлечет самый новый из всех сопутствующих элементов. Если мальчик всю жизнь не видел ничего, кроме шляпов и шхун, он, вероятно, никогда не выделит в своем понятии "парус" характер того, что он висит вдоль борта. Когда он впервые увидит корабль с квадратной оковкой, появится возможность выделить продольный способ подвески как особую случайность и отделить его от общего представления о парусе. Но есть двадцать шансов к одному, что это не будет формой сознания мальчика. Он *заметит* новый и исключительный характер того, что его подвесили крест-накрест. Он пойдет домой и будет говорить об этом, и, возможно, никогда не сформулирует сознательно, в чем состоит более привычная особенность.

Этот способ абстракции реализуется в очень широком масштабе, потому что элементы мира, в котором мы находимся, появляются, по сути, здесь, там и везде, и все время меняют свои сопутствующие элементы. Но, с другой стороны, абстракция, так сказать, никогда не бывает полной, анализ соединения никогда не бывает совершенным, потому что ни один элемент не дается нам абсолютно один, и поэтому мы никогда не можем подойти к соединению, представляя в своем воображении любой из его компонентов в совершенно чистом виде. Цвета, звуки, запахи точно так же спутаны с другими материями, как и более формальные элементы опыта, такие как протяженность, интенсивность, усилие, удовольствие, различие, подобие, гармония, плохость, сила и даже само сознание. Все они включены в единый мир. Но в результате флуктуаций и перестановок, о которых мы говорили, мы формируем довольно хорошее представление о том, в каком *направлении* каждый элемент отличается от остальных, и поэтому мы оформляем понятие о нем как о *конечной точке*, продолжая подразумевать его как отдельную вещь. В случае многих элементов, простых ощущений, таких как тепло, холод, цвета, запахи и т. д., крайние направления почти соприкасаются, и в этих случаях мы имеем сравнительно точное представление о том, что именно мы имеем в виду под абстракцией. Но даже это лишь приближение; и с буквальной математической

строгостью все наши абстракции должны быть признаны лишь несовершенно представимыми вещами. В сущности, процесс - это процесс *представления*, и везде, даже в сфере простых чувственных качеств, он такой же, как тот, посредством которого мы обычно достигаем понятий абстрактного добра, совершенного счастья, абсолютной власти и тому подобных: непосредственное восприятие разницы между соединениями и воображаемое продление направления этой разницы до идеальной конечной точки, понятие которой мы фиксируем и сохраняем как один из постоянных предметов наших рассуждений.

Это все, что я могу сказать полезного об абстракции или об анализе, к которому она ведет.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ПРАКТИКИ.

Во всех рассмотренных до сих пор случаях я предполагал, что различия настолько велики, что являются вопиющими, а дискриминация, если она была последовательной, рассматривалась как произвольная. Но, далеко не всегда произвольная, дискриминация часто бывает крайне трудной и большинством людей никогда не выполняется. Профессор де Морган, думая, правда, скорее о концептуальной, чем о перцептивной дискриминации, писал, достаточно остроумно:

"Большая часть нелогичной части образованного сообщества - большинство или меньшинство, я не знаю; возможно, шесть человек из одного и полдюжины из другого - не в состоянии провести различие, и, конечно, их нельзя заставить провести различие, и, конечно, они никогда не пытаются провести различие. Для них все подобные вещи - уловки, ухищрения, увертки, лазейки и т. д. Они повесят человека за кражу лошади по закону, запрещающему кражу овец; и будут смеяться над вами, если вы заикнетесь о различии между лошадью и овцой". [423]

Однако любая личная или практическая заинтересованность в результатах, которые могут быть получены в результате различения, делает ум человека удивительно острым для обнаружения различий. Сам преступник вряд ли упустит из виду разницу между лошадью и овцой. А длительное обучение и практика в различении имеют тот же эффект, что и личная заинтересованность. Оба эти фактора придают небольшим объективным различиям ту же силу воздействия на разум, которую при других обстоятельствах оказывали бы только большие. Давайте попробуем разобраться в *способах* их воздействия - начнем с практики и привычки.

То, что "практика делает совершенным", хорошо известно в области двигательных достижений. Но двигательные достижения частично зависят от сенсорной дискриминации. Игра в бильярд, стрельба из винтовки, танцы на канате требуют тончайшего восприятия мельчайших различий в ощущениях, а также способности точно градуировать мышечную реакцию на них. В чисто сенсорной области мы имеем хорошо известную виртуозность, проявляемую профессиональными покупателями и испытателями различных видов товаров. Один человек на вкус отличит верхнюю и нижнюю половину бутылки старой мадеры. Другой, пощупав муку в бочке, определит, где была выращена пшеница - в Айове или Теннесси. Слепоглухонемая Лора Бриджмен настолько улучшила свое осязание, что после годичного перерыва смогла узнать руку человека, который когда-то пожал ее; а ее сестра по несчастью Джулия Брейс, как говорят, была нанята в Хартфордском приюте для сортировки белья многочисленных заключенных после стирки, благодаря своему удивительно развитому обонянию.

Этот факт настолько известен, что мало кто из психологов, если вообще кто-либо, признавал, что он нуждается в объяснении. Они полагали, что практика должна, по природе вещей,

улучшать тонкость обоняния, и оставляли этот вопрос в покое. Максимум, что они сказали: "Это объясняется вниманием; мы больше внимания уделяем привычным вещам, а то, на что мы обращаем внимание, мы воспринимаем более тонко". Этот ответ верен, но он слишком общий; мне кажется, что мы можем быть немного более точными.

Есть, по крайней мере, две разные причины, которые мы можем увидеть в работе всякий раз, когда опыт улучшает дискриминацию:

Во-первых, *термины*, разница между которыми ощущается, заключают контракт с несопоставимыми партнерами, и это помогает развести их в разные стороны.

Во-вторых, *разница* напоминает нам о более крупных различиях того же рода, и это помогает нам заметить ее.

Давайте сначала изучим первую причину и начнем с того, что представим два соединения по десять элементов в каждом. Предположим, что ни один из элементов одного соединения не отличается от соответствующего элемента другого соединения настолько, чтобы его можно было отличить от него, если сравнивать их по отдельности, и пусть величина этого незаметного различия будет названа равной 1. Однако соединения будут отличаться друг от друга десятью различными способами; и, хотя каждое различие само по себе может остаться незамеченным, общая разница, равная 10, вполне может оказаться достаточной, чтобы поразить чувство. Одним словом, *увеличение числа "точек", вовлеченных в различие, может возбудить нашу дискриминацию так же эффективно, как и увеличение разницы в одной точке*. Два человека, у которых рот, нос, глаза, щеки, подбородок и волосы отличаются незначительно, будут так же мало сбиты с толку, как и два изображения одного и того же человека - одно с накладным носом, а другое без него. Единственный контраст в этих случаях заключается в том, что в одном случае мы можем легко назвать *точку* различия, а в другом - нет.

Две вещи, В и С, неразличимые при сравнении по отдельности, могут сцепляться друг с другом с разной силой, и образовавшиеся таким образом соединения могут, как целое, быть признаны очень разными. *Эффект практики в увеличении дискриминации должен быть частично обусловлен усиливающим влиянием на первоначальное небольшое различие между терминами дополнительных различий между различными ассоциатами, которые они по отдельности затрагивают*. Пусть В и С - это условия: Если А заключит договор о спайках с В, а С - с D, то АВ может показаться очень отличным от CD, хотя *сами по себе* В и С могли бы быть почти идентичными.

Для примера: как научиться отличать кларет от бургундского? Вероятно, их пили по разным поводам. Когда мы впервые пили кларет, мы слышали, как его называют этим именем, мы ели такой-то и такой-то ужин и т. д. В следующий раз, когда мы пьем его, тусклое напоминание обо всем этом доносится до нас по мере того, как мы ощущаем вкус вина. Когда мы пробуем бургундское, наше первое впечатление - что это разновидность кларета; но что-то не позволяет полностью идентифицировать его, и в настоящее время мы слышим, что оно называется бургундским. В течение следующих нескольких опытов различие может быть все еще неопределенным - "какое, - спрашиваем мы себя, - из двух вин является этим образцом?" Но в конце концов вкус кларета довольно отчетливо вспоминает свое собственное имя, "кларет", "это вино я пил за столом у такого-то и такого-то" и т. д.; а вкус

бургунди - название бургунди и чей-то другой стол. *И только после того, как к каждому из них приходит разная обстановка, наше различие двух вкусов становится твердым и устойчивым.* Через некоторое время столы и другие части обстановки, помимо названия, становятся настолько многообразными, что уже не всплывают в сознании; но *параллельно* с этим привязанность каждого вина к своему *названию* становится все более прочной, и в конце концов каждый вкус мгновенно и определенно подсказывает свое название и ничего другого. Названия отличаются друг от друга гораздо больше, чем ароматы, и способствуют еще большему отдалению последних друг от друга. Подобный процесс, должно быть, происходит во всем нашем опыте. Говядина и баранина, клубника и малина, запах розы и запах фиалки сцепляются друг с другом, усиливая различия, которые уже ощущаются в терминах.

Читатель может сказать, что это не имеет никакого отношения к тому, чтобы заставить нас почувствовать *разницу* между двумя терминами. Это просто фиксация, идентификация и, так сказать, субстанциализация *терминов*. Но то, что мы чувствуем как их *различие*, мы должны чувствовать, даже если мы не смогли назвать или как-то иначе идентифицировать термины.

На это я отвечаю, что, по моему мнению, различие всегда конкретизируется и становится *более существенным* благодаря признанию терминов. Например, на днях я вышел на улицу и обнаружил, что только что выпавший снег имеет очень странный вид, отличающийся от обычного вида снега. Я тут же назвал его "слюдяным"; и мне показалось, что в тот момент, когда я это сделал, разница стала более отчетливой и фиксированной, чем раньше. Другие оттенки слова "слюдяной" еще больше отдаляли снег от обычного и, казалось, даже усугубляли его особый вид. Я думаю, что в целом будет признано, что какой-то подобный эффект на наш способ чувствовать разницу следует из названия терминов, между которыми она существует; хотя я и сам признаю, что трудно принудительно доказать, что название или иная идентификация любой данной пары едва различимых терминов необходима для того, чтобы они *сначала* ощущались как разные.^[424]

Я предлагаю это объяснение только как частичное: оно, конечно, не полное. Возьмем, к примеру, способ, с помощью которого *практика совершенствует нашу локальную дискриминацию на коже*. Два компаса, касающихся ладони, должны находиться на расстоянии, скажем, в полдюйма друг от друга, чтобы их нельзя было принять за одну точку. Но по истечении часа или около того практики с ними мы можем различить их как две, даже если они находятся на расстоянии менее четверти дюйма друг от друга. Если бы в этом опыте постоянно касались одних и тех же двух участков кожи, то рассматриваемое нами объяснение было бы вполне применимо. Предположим, что на коже имеется линия $a b c d e f$ точек. Предположим, что местное различие ощущений между точками a и f настолько сильно, что его можно мгновенно распознать при одновременном прикосновении к этим точкам, но предположим, что различие между точками c и d сначала слишком мало для этой цели. Если бы мы начали с того, что положили компасы на a и f и постепенно сужали их отверстие, то сильное удвоение, распознанное вначале, все еще *предполагалось бы*, когда точки компаса приближались к положениям c и d ; ведь точка e была бы так близка к f и так похожа на нее, что не могла бы быть вызвана без того, чтобы f также не пришла на ум. Точно так же *точка d* будет вызывать в памяти e и, более отдаленно, f . Таким образом, $c-d$ будет уже не просто $c-d$, а нечто большее, чем $abc-def$, - ощутимо различающиеся впечатления. Но в реальном опыте обучение может происходить гораздо менее методично, и в конце концов мы учимся различать c и d без постоянного сцепления одного из этих пятен с ab , а другого с ef . Эксперименты Фолькмана показывают это. Он и Фехнер, вдохновленные наблюдением

Чермак о том, что кожа слепых в два раза лучше различает, чем кожа зрячих, попытались экспериментальным путем показать эффект практики на себе. Они обнаружили, что даже в пределах одного сидения расстояния, на которых точки ощущались как двойные, могут уменьшиться в конце до значительно меньшей половины их величины в начале; и что некоторые, хотя и не все, из этой улучшенной чувствительности сохраняются на следующий день. Но они также обнаружили, что тренировка одного участка кожи таким образом улучшает различение не только соответствующего участка противоположной стороны тела, но и соседних участков. Так, в начале эксперимента точки компаса должны были находиться на расстоянии одной линии от Парижа, чтобы их можно было различить кончиком мизинца. Но после тренировки *других пальцев* оказалось, что мизинец может различать точки, расположенные на расстоянии всего лишь половины линии.[425] Такое же соотношение существовало между различными точками руки и кисти.[426]

Здесь становится ясно, что причина, которую я предположил вначале, неприменима и что мы должны призвать другую.

Каковы же точные экспериментальные явления? Точки, как таковые, не имеют четкого местоположения, и разница, как таковая, между их ощущениями, не ощущается отчетливо, пока интервал не превысит минимум, необходимый для простого восприятия их *удвоения*. Сначала мы ощущаем тупость, затем подозрение на удвоение, которое впоследствии перерастает в отчетливое удвоение, и, наконец, два по-разному ощущаемых и по-разному расположенных места с определенным промежутком между ними. Некоторые из мест, которые мы пробуем, сразу же дают нам эту последнюю стадию восприятия; некоторые дают только самую раннюю; между ними есть промежуточные места. Но как только *образ удвоения*, ощущаемого в более различимых местах, закрепляется в нашей памяти, он помогает нам найти его подобие в тех местах, где иначе мы могли бы его не заметить, подобно тому как недавно услышанный "обертон" помогает нам обнаружить его в сложном звуке (*supra*, pp. 439-40). Тусклое удвоение становится более четким, будучи ассимилированным с образом более отчетливого удвоения, ощущаемого за мгновение до этого. Оно интерпретируется посредством последнего. Так и любое различие, как и любой другой вид впечатления, воспринимается легче, если мы несем в уме навстречу ему отчетливый образ того, какого рода вещь мы должны искать, какова ее природа.[427]

Эти два процесса, подкрепление понятий разрозненными ассоциациями и заполнение памяти прошлыми различиями, схожими по направлению с нынешними, но более заметными, - единственные объяснения, которые я могу предложить для воздействия образования в этой области. То, что достигается обоими процессами, по сути, одно и то же: они заставляют малые различия влиять на нас так, как если бы они были большими - то, что большие различия должны влиять на нас так, как они влияют, остается необъяснимым фактом. В принципе, этих двух процессов должно быть достаточно, чтобы учесть все возможные случаи. Достаточно ли их на самом деле, нет ли остаточного фактора, который мы не смогли обнаружить и проанализировать, я не берусь решать.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ ОГРАНИЧИВАЮТ ДИСКРИМИНАЦИЮ.

Вспомним, что на [странице 509](#) личный интерес был назван точильщиком дискриминации наряду с практикой. Но личный интерес, вероятно, действует через внимание, а не каким-то непосредственным или конкретным образом. Различие, в котором мы практически заинтересованы, - это то, на чем мы концентрируем свое внимание и к чему мы постоянно присматриваемся. Мы часто проводим его и получаем от этого все преимущества, которые только что были объяснены. С другой стороны, когда различие не имеет практического

интереса, когда мы ничего не выигрываем, анализируя черту из общей совокупности, частью которой она является, мы приобретаем привычку оставлять ее незамеченной и в конце концов становимся черствыми к ее присутствию. Гельмгольц был первым психологом, который остановился на этих фактах так категорично, как они того заслуживают, и я не могу сделать ничего лучше, чем процитировать его слова.

"Мы привыкли, - говорит он, - в большом количестве случаев, когда ощущения разного рода или в разных частях тела существуют одновременно, признавать, что они различны, как только они воспринимаются, и направлять наше внимание по желанию на любое из них в отдельности. Таким образом, в любой момент мы можем отдельно осознавать, что мы видим, что мы слышим, что мы чувствуем; и различать, что мы чувствуем в пальце или в большом пальце ноги, будь то давление, легкое прикосновение или тепло. Так же и в поле зрения. Действительно, как я постараюсь показать в дальнейшем, мы легко отличаем наши ощущения друг от друга, *когда точно знаем*, что они составные, как, например, когда мы убедились, путем часто повторяющегося и неизменного опыта, что наше настоящее ощущение возникает от одновременного действия многих независимых стимулов, каждый из которых обычно возбуждает одинаково хорошо известное индивидуальное ощущение".

Это, заметим, лишь еще одно утверждение нашего закона, согласно которому единственными индивидуальными компонентами, которые мы можем выделить из соединений, являются те, о которых мы имеем независимое представление в отдельной форме.

"Это побуждает нас думать, что нет ничего проще, когда одновременно возбуждается несколько различных ощущений, чем отличать их по отдельности друг от друга, и что это врожденная способность нашего разума".

"Таким образом, мы обнаруживаем, среди прочего, что совершенно само собой разумеется, что мы слышим по отдельности различные музыкальные тона, которые приходят к нашим чувствам коллективно; и мы ожидаем, что в каждом случае, когда два из них встречаются вместе, мы будем в состоянии сделать то же самое.

"Дело становится совершенно иным, когда мы приступаем к исследованию более необычных случаев восприятия и стремимся более полно понять условия, при которых вышеупомянутое различие может быть сделано или не сделано, как это происходит в физиологии органов чувств. Тогда мы осознаем, что *в нашем осознании ощущений следует различать два разных вида или степени*. Низший класс этого сознания - тот, в котором влияние данного ощущения ощущается только в представлениях, которые мы формируем о внешних вещах и процессах, и помогает в их определении. Это может происходить без необходимости или даже без возможности установить, какой именно части наших ощущений мы обязаны тем или иным обстоятельствам в нашем восприятии. В этом случае мы будем говорить, что впечатление от данного ощущения *воспринимается синтетически*. Второй более высокий класс - это когда мы сразу же выделяем рассматриваемое ощущение как существующую часть суммы ощущений, возбужденных в нас. Тогда мы скажем, что ощущение *воспринимается аналитически*. Эти два случая следует тщательно отличать друг от друга".[\[428\]](#)

Под ощущением, воспринимаемым синтетически, Гельмгольц подразумевает, что оно вообще не различается, а только ощущается в массе с другими одновременными ощущениями. То, что оно ощущается именно там, по его мнению, доказывается тем, что

наше суждение о сумме изменится, если произойдет что-либо, что изменит *внешнюю причину* ощущения.[429] Следующие страницы из более раннего издания показывают, каковы конкретные случаи синтетического восприятия и каковы случаи аналитического восприятия:

"В использовании наших органов чувств практика и опыт играют гораздо большую роль, чем мы обычно предполагаем. Наши ощущения в первую очередь важны лишь в той мере, в какой они позволяют нам правильно судить о мире вокруг нас; и наша практика в их различении обычно заходит лишь настолько далеко, чтобы соответствовать этой цели. Однако мы слишком склонны думать, что должны немедленно осознавать каждый компонент наших ощущений. Это естественное предубеждение объясняется тем, что мы действительно сразу и без усилий осознаем все, что связано с нашими ощущениями и имеет отношение к тем практическим целям, ради которых мы хотим познать внешний мир. Ежедневно и ежечасно, в течение всей нашей жизни, мы тренируем наши органы чувств исключительно для этой цели, и ради нее накапливается наш опыт. Но даже в сфере этих ощущений, которые действительно соответствуют внешним вещам, тренировка и практика дают о себе знать. Хорошо известно, насколько тоньше и быстрее художник различает цвета и освещение, чем тот, чей глаз не натренирован в этих вопросах; как музыкант и настройщик музыкальных инструментов с легкостью и уверенностью воспринимает различия тональности, которые для уха обывателя не существуют; и как даже в таких низших сферах, как кулинария и виноделие, требуется долгая привычка сравнивать, чтобы стать мастером. Но еще более поразительным является эффект практики, когда мы переходим к ощущениям, которые зависят только от внутреннего состояния наших органов, и которые, совершенно не соответствуя внешним вещам или их воздействию на нас, не имеют ценности для получения информации о внешнем мире. Физиология органов чувств за последнее время познакомила нас с целым рядом таких явлений, открытых отчасти в результате теоретических спекуляций и расспросов, отчасти отдельными людьми, как Гете и Пуркинье, специально наделенными от природы талантом к такого рода наблюдениям. Эти так называемые субъективные явления чрезвычайно трудно обнаружить; а когда они все же найдены, для их наблюдения почти всегда требуются специальные приспособления для внимания. Обычно трудно заметить явление снова, даже если уже известно описание первого наблюдателя. Причина в том, что мы не только не умеем выделять эти субъективные ощущения, но, напротив, самым тщательным образом тренируемся абстрагировать от них свое внимание, поскольку они только мешают нам наблюдать за внешним миром. Только когда их интенсивность настолько сильна, что фактически мешает нам наблюдать за внешним миром, мы начинаем замечать их; или иногда, во сне и бреде, они могут стать отправной точкой для галлюцинаций.

"Позвольте мне привести в качестве примера несколько хорошо известных случаев, взятых из физиологической оптики. В каждом глазу, вероятно, присутствуют так называемые *muscae volitantes*; это волокна, гранулы и т. д., плавающие в стекловидном теле, отбрасывающие свои тени на сетчатку и появляющиеся в поле зрения в виде маленьких темных движущихся пятен. Их легче всего обнаружить, если внимательно смотреть на широкую, яркую, пустую поверхность, например небо. Большинство людей, не обращавших внимания на существование этих фигур, впервые замечают их, когда с их глазами случается какое-нибудь недомогание и они обращают внимание на субъективное состояние этих органов. Тогда обычно

жалуются на то, что вместе с болезнью появились и *волевые мышцы*; и это часто заставляет пациентов очень беспокоиться об этих безобидных вещах и обращать внимание на все их особенности. Тогда приходится прилагать немало усилий, чтобы заставить их поверить, что эти фигуры существовали всю их предыдущую жизнь и что все здоровые глаза их содержат. Я знал одного пожилого джентльмена, которому однажды довелось прикрыть один из глаз, случайно заболевший, и который затем был в немалой степени потрясен, обнаружив, что его второй глаз полностью ослеп; причем слепота эта длилась, должно быть, годами, но он никогда не знал об этом.

"Кто, кроме того, поверит, не проведя соответствующих экспериментов, что, когда один из глаз закрыт, существует большой промежуток, так называемое "слепое пятно", недалеко от середины поля открытого глаза, в котором он вообще ничего не видит, но которое он заполняет своим воображением? Мариотт, которого теоретические догадки привели к открытию этого феномена, вызвал немалое удивление, когда продемонстрировал его при дворе Карла II в Англии. В то время эксперимент был повторен с многочисленными вариациями и стал модным развлечением. На самом деле щель настолько велика, что семь полных лун, расположенных рядом друг с другом, не покрыли бы ее диаметр, и что лицо человека на расстоянии 6 или 7 футов исчезает в ней. При обычном зрении эту огромную дыру в поле совершенно невозможно заметить, потому что наши глаза постоянно блуждают, и как только какой-нибудь объект нас заинтересует, мы сразу же обращаем их на него. Отсюда следует, что объект, который в любой момент возбуждает наше внимание, никогда не попадает в эту щель, и поэтому мы никогда не осознаем слепое пятно в поле зрения. Чтобы заметить его, мы должны сначала намеренно приковать свой взгляд к одному объекту и затем переместиться ко второму объекту по соседству со слепым пятном, стараясь тем временем обратить внимание на этот последний, не меняя направления взгляда с первого объекта. Это противоречит всем нашим привычкам, и поэтому сделать это непросто. Для некоторых людей это даже невозможно. Но только когда это удастся сделать, мы видим, как исчезает второй объект, и убеждаемся в существовании этого разрыва.

"Наконец, позвольте мне упомянуть о двойном изображении в обычном бинокулярном зрении. Когда мы смотрим на какую-то точку обоими глазами, все объекты по эту сторону от нее или за ней кажутся двойными. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно небольшого усилия наблюдателя; из этого можно сделать вывод, что мы видим большую часть внешнего мира двойным всю нашу жизнь, хотя многие люди не знают об этом и в высшей степени удивляются, когда на это обращают их внимание. На самом деле мы никогда не видели так двояко ни один конкретный объект, на который в тот момент было направлено наше внимание; ведь на такие объекты мы всегда смотрим обоими глазами. При привычном использовании глаз наше внимание всегда отвлекается от объектов, которые дают нам двойные изображения в данный момент; именно по этой причине мы так редко узнаем о существовании этих изображений. Чтобы найти их, мы должны поставить перед своим вниманием новую и необычную задачу: мы должны заставить его исследовать боковые части поля зрения, но не для того, чтобы, как обычно, найти, какие объекты там находятся, а чтобы проанализировать наши ощущения. Только тогда мы замечаем этот феномен.^[430]

"Та же трудность, что и при наблюдении субъективных ощущений, которым не соответствует ни один внешний объект, возникает и при анализе сложных

ощущений, которые соответствуют одному объекту. К этому роду относятся многие из наших ощущений звука. Когда звук скрипки, как бы часто мы его ни слышали, снова и снова возбуждает в нашем ухе одну и ту же сумму частичных тонов, в результате наше ощущение этой суммы тонов заканчивается тем, что становится для нашего ума простым знаком для голоса скрипки. Другая комбинация частичных тонов становится разумным знаком голоса кларнета и т. д. И чем чаще мы слышим любую подобную комбинацию, тем больше привыкаем воспринимать ее как единое целое и тем труднее становится анализировать ее путем непосредственного наблюдения. Я считаю, что это одна из главных причин, почему анализ нот человеческого голоса в пении относительно так сложен. Подобные слияния многих ощущений в то, что для сознательного восприятия кажется простым целым, встречаются во всех наших органах чувств.

"Физиологическая оптика дает другие интересные примеры. Восприятие телесной формы близкого объекта происходит через комбинацию двух различных изображений, которые глаза по отдельности получают от него, и разнообразие которых обусловлено различным положением каждого глаза, изменяющим перспективное представление о том, что находится перед ним. До изобретения стереоскопа это объяснение можно было предположить только гипотетически, но теперь его можно доказать в любой момент с помощью этого прибора. В стереоскоп мы вставляем два плоских рисунка, представляющих два перспективных взгляда двух глаз, таким образом, что каждый глаз видит свой собственный взгляд в нужном месте; и мы получаем, таким образом, восприятие одного протяженного объекта, столь же полное и яркое, как если бы перед нами был реальный объект.

"Теперь мы можем, правда, закрывая один глаз за другим и обращая внимание на точку, распознать разницу в изображениях - по крайней мере, когда она не слишком мала. Но для стереоскопического восприятия тверди достаточно картинок, разница между которыми столь необычайно мала, что едва ли может быть распознана при самом тщательном сравнении; и несомненно, что при обычном небрежном наблюдении за телесными объектами нам и в голову не придет, что это восприятие обусловлено двумя перспективными видами, слитыми в один, поскольку это совершенно иной вид восприятия, чем восприятие любого плоского перспективного вида самого по себе. Поэтому несомненно, что два различных ощущения наших двух глаз сливаются в третье восприятие, совершенно отличное от любого из них. Как частичные тона сливаются в восприятии голоса определенного инструмента, и как мы учимся разделять частичные тона вибрирующей струны, зажав узловую точку и позволив им звучать отдельно, так и мы учимся разделять изображения на двух глазах, попеременно открывая и закрывая их.

"Есть и другие, гораздо более сложные примеры того, как множество ощущений могут объединиться и послужить основой для довольно простого восприятия. Например, когда мы воспринимаем объект в определенном *направлении*, мы должны каким-то образом быть впечатлены тем фактом, что определенные волокна нашего зрительного нерва, и никакие другие, впечатлены его светом. Кроме того, мы должны правильно оценивать положение наших глаз в голове и положение головы в теле с помощью ощущений в мышцах глаз и мышцах шеи соответственно. Если любой из этих процессов нарушается, мы получаем ложное восприятие положения объекта. Нервные волокна можно изменить, поставив перед глазом призму, или изменить положение глазного яблока, прижав орган к одной из сторон;

такие эксперименты показывают, что для простого восприятия положения объекта ощущения этих двух видов должны совпадать. Но было бы совершенно невозможно понять это непосредственно из чувственного впечатления, которое производит объект. Даже когда мы проводим эксперименты и убеждаем себя всеми возможными способами, что так и должно быть, это все равно остается скрытым от нашего непосредственного интроспективного наблюдения.

"Этих примеров" [синтетического восприятия, восприятия, при котором каждое сопутствующее ощущение ощущается в целом и является одним из определяющих факторов того, каким будет целое, но не привлекает внимания к своей отдельной сущности] "может быть достаточно, чтобы показать жизненно важную роль, которую направление внимания и практика наблюдения играют в чувственном восприятии. Применим это теперь к уху. Обычная задача, которую решает наше ухо, когда на него обрушивается сразу множество звуков, заключается в том, чтобы различить голоса нескольких звучащих тел или инструментов; за пределами этого оно не имеет объективного интереса к анализу. Мы хотим знать, что говорит каждый из них, когда много людей говорят вместе, когда много инструментов и голосов объединяются, какая мелодия исполняется каждым из них. Любой более глубокий анализ, например, анализ каждой отдельной ноты на ее частичные тона (хотя он может быть выполнен теми же средствами и слуховым аппаратом, что и первый анализ), не скажет нам ничего нового о реально существующих источниках звука, но может ввести нас в заблуждение относительно их количества. По этой причине при анализе звуковой массы мы ограничиваем свое внимание голосами нескольких инструментов и, так сказать, воздерживаемся от различения элементарных компонентов последних. В этом последнем виде дискриминации мы так же непрактичны, как и в первом, напротив, хорошо обучены".[431]

После всего сказанного, кажется, нет необходимости комментировать эти интересные и важные факты и размышления Гельмгольца.

ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ДИСКРИМИНАЦИИ.

Время, необходимое для дискриминации, стало предметом экспериментального измерения. Вундт называет его *Unterscheidungszeit*. Его испытуемые (время простой реакции которых - см. с. 85 и далее - было определено ранее) должны были сделать движение, всегда одно и то же, в тот момент, когда они определяли, *какой* из двух или более сигналов они получили. Точное время сигнала и движения автоматически регистрировалось гальваническим хроноскопом. Конкретный сигнал, который должен был быть получен, заранее неизвестен, и превышение времени, затраченного на те реакции, в которых его характер должен был быть впервые обнаружен, над временем простой реакции, измеряло, согласно Вундту, время, необходимое для акта различения. Оказалось, что при нерегулярном использовании четырех различных сигналов оно было больше, чем при использовании только двух. В первом случае оно было средним для трех наблюдателей соответственно (сигналами служили внезапное появление черного или белого объекта),

0,050 сек;

0,047 сек.

0,079 сек.

В последнем случае, когда к прежним сигналам добавились красный и зеленый, для тех же наблюдателей они составили,

0.157;

0.073;

0.132.[432]

Позже, в лаборатории Вундта, герр Тишер провел много тщательных экспериментов по тому же методу, где фактами, подлежащими различению, были различные степени громкости звука, служившего сигналом. Я прилагаю таблицу результатов герра Тисера, поясняя, что каждая вертикальная колонка после первой дает средние результаты, полученные на отдельном человеке, и что цифра в первой колонке означает количество возможных громкостей, которые можно было бы ожидать в конкретной серии реакций. Время выражается в тысячных долях секунды.

2	6	8.5	10.75	10.7	33	53
3	10	14.4	19.9	22.7	58.5	57.8
4	16.7	20.8	29	29.1	75	84
5	25.6	31	...	40.1	95.5	138[433]

Здесь интересны большие индивидуальные вариации и быстрый рост времени дискриминации с увеличением количества возможных терминов для дискриминации. Индивидуальные вариации во многом обусловлены недостатком практики в выполнении конкретной задачи, но отчасти и различиями в психическом процессе. Один джентльмен, например, сказал, что в экспериментах с тремя звуками он держал в уме образ среднего из них и сравнивал услышанное как более громкое, более низкое или одинаковое. Таким образом, его различение трех возможностей становилось очень похожим на различение двух.[434]

Г-н Дж. М. Кэттелл обнаружил, что не может получить никаких результатов с помощью этого метода,[435] и вернулся к методу, который использовали наблюдатели, предшествовавшие Вундту, и который Вундт отверг. Это "*простой метод*" (*einfache Wahlmethode*), как называет его Вундт. Реактор ожидает сигнала и реагирует, если он одного рода, но бездействует, если он другого рода. Таким образом, реакция происходит после различения; двигательный импульс не может быть послан в руку, пока субъект не поймет, что это за сигнал. Нервный импульс, как говорит мистер Кэттелл, должен, вероятно, дойти до коры головного мозга и вызвать там изменения, вызывающие в сознании восприятие сигнала. Эти изменения занимают время различения (или время восприятия, как его называет мистер К.), но *затем* нервный импульс должен спуститься из коры в нижний двигательный центр, который стоит наготове и готов к разрядке; и это, как говорит мистер К., также дает время воли. Таким образом, общее время реакции включает в себя как "время воли", так и "время различения". Но поскольку центробежные и центростремительные процессы, занимающие эти два времени соответственно, вероятно, примерно одинаковы, а время, используемое в коре головного мозга, примерно поровну делится между восприятием сигнала и подготовкой двигательного разряда, если мы разделим его поровну между восприятием

(дискриминацией) и волевым усилием, ошибка не может быть большой.[\[436\]](#) Более того, мы можем изменить характер восприятия, не изменяя времени волеизъявления, и, таким образом, с большой тщательностью исследовать длительность времени восприятия.

Руководствуясь этими принципами, профессор Кэттелл установил, что время, необходимое для различения белого сигнала и отсутствия сигнала, у двух наблюдателей составляет:

0,030 сек. и 0,050 сек;

время, необходимое для отличия одного цвета от другого, было аналогичным:

0,100 и 0,110 сек;

для отличия определенного цвета от десяти других цветов:

0,105 и 0,117 сек;

для различения буквы А в обычном шрифте от буквы Z:

0,142 и 0,137;

для различения данной буквы от всех остальных букв алфавита (не реагируя до появления этой буквы)

0,119 и 0,116;

для различения слова от любого из двадцати пяти других слов - от

0,118 сек. до 0,158 сек.

Разница зависит от длины слов и знакомства с языком, к которому они принадлежат.

Профессор Кэттелл обращает внимание на то, что время, затрачиваемое на различение слова, зачастую немногим больше времени, затрачиваемого на различение буквы:

"Таким образом, мы различаем не отдельные буквы, из которых состоит слово, а слово в целом". Применение этого принципа при обучении детей чтению очевидно".

Он также обнаруживает большую разницу во времени различения различных букв, особенно плохо различается буква Е.[\[437\]](#)

Описывая эти эксперименты, я следовал примеру предыдущих авторов и говорил так, как будто процесс, в котором природа сигнала определяет реакцию, идентичен обычному сознательному процессу дискриминационного восприятия и волеизъявления. Я убежден, однако, что это не так; и что, хотя результаты одни и те же, форма сознания совершенно иная. Читатель помнит мое утверждение (*выше*, [с. 90](#) и далее), что простое время реакции (обычно предполагается, что оно включает сознательный процесс восприятия) на самом деле измеряет не что иное, как рефлекторный акт. Любой, кто будет выполнять реакции с

дискриминацией, легко убедится, что и здесь процесс больше похож на рефлекс, чем на сознательную операцию. Я сам и мои ученики провели большое количество измерений, в которых ожидаемым сигналом было в одной серии прикосновение к коже спины и головы, а в другой серии - искра в поле зрения. Рука должна была как можно быстрее двигаться к месту прикосновения или искры. Она делала это безошибочно и ощутимо мгновенно; в то время как и место, и движение, казалось, *воспринимались* лишь мгновение спустя, по памяти. Эти эксперименты были предприняты с целью выяснить, возникает ли движение при виде искры сразу же после зрительного восприятия, или же между восприятием искры и реакцией должна была возникнуть "моторная идея".[438] Первое, что выяснилось в ходе интроспекции, - это то, что реакции не предшествовало *никакое* восприятие или идея. Она происходила сама собой, как только поступал сигнал; восприятие было ретроспективным. Мы должны предположить, что состояние ожидания определенного диапазона возможных разрядов заранее иннервирует целый набор путей, так что, когда приходит конкретное ощущение, оно направляется в соответствующую двигательную розетку слишком быстро, чтобы успел возбудиться перцептивный процесс. В экспериментах, которые я описываю, условия были наиболее благоприятными для быстроты, так как связь между сигналами и их движениями можно назвать почти врожденной. Инстинктивным является движение руки в сторону увиденного предмета или прикосновения к участку кожи. Но там, где движение *условно* привязано к сигналу, будет больше шансов на задержку, и скорость будет зависеть от количества практики. Это хорошо видно из результатов Тишера, приведенных на [с. 524](#), где самый опытный наблюдатель, сам Тишер, реагировал за одну восьмую времени, необходимого одному из других.[439] Но то, что все исследователи стремились определить в этих экспериментах, - это *минимальное* время. Полагаю, я сказал достаточно, чтобы убедить студента в том, что это минимальное время ни в коем случае не измеряет то, что мы сознательно называем дискриминацией. Оно измеряет только то, что в условиях эксперимента приводит к подобному результату. Но это бич психологии - полагать, что если результаты схожи, то и процессы должны быть одинаковыми. Психологи слишком склонны рассуждать так, как рассуждали бы геометры, если бы последние сказали, что диаметр круга - это то же самое, что и его полуокружность, потому что, мол, они заканчиваются в одних и тех же двух точках.[440]

ВОСПРИЯТИЕ ПОДОБИЯ.

Восприятие сходства практически очень сильно связано с восприятием различий. Иными словами, единственные различия, которые мы отмечаем *как* различия, оцениваем количественно и располагаем по шкале, - это сравнительно ограниченные различия, которые мы находим между представителями одного рода. Сила тяжести и цвет этих чернил - вещи, которые мне никогда не приходило в голову сравнивать, пока я не начал искать примеры несравнимого. Точно так же эластичность этой индийской резинки, комфорт вчерашнего сна, добро, которое можно сделать с помощью наследства, - все это слишком разные вещи, чтобы их можно было сравнивать до сих пор. Их отношение друг к другу - это не столько разница, сколько просто логическая отрицательность. Чтобы быть признанными *различными*, вещи, как правило, должны обладать некоторой соизмеримостью, каким-то общим аспектом, который предполагает возможность одинакового отношения к ним. Это, конечно, не теоретическая необходимость - ведь любое различие можно назвать "различием", если угодно, - а практическое и лингвистическое замечание.

Те же самые вещи, которые вызывают восприятие различия, обычно вызывают и восприятие сходства. И их анализ, позволяющий определить, в чем состоит различие и в чем сходство, называется *сравнением*. Если мы начнем рассматривать вещи как просто

одинаковые или похожие, то будем удивлены различием. Если же мы начнем рассматривать их как просто разные, то обнаружим, насколько они похожи. *Различие, обычно называемое так, существует между видами одного рода.* И способность, с помощью которой мы воспринимаем сходство, на котором основан род, является таким же конечным и необъяснимым умственным даром, как и та, с помощью которой мы воспринимаем различия, от которых зависят виды. Когда мы переходим от одного предмета к другому, который в первом случае мы просто различаем численно, но в момент привлечения нашего внимания воспринимаем как *сходный* с первым, происходит шок сходства; точно так же происходит шок различия, когда мы проходим между двумя несходными предметами.^[441] Объективная степень сходства, как и различия, определяет величину шока. Сходство может быть настолько мимолетным, или его основа настолько привычной и малозаметной, что оно вообще ускользнет от нашего внимания. Однако там, где мы его находим, мы создаем род сравниваемых вещей; а их несоответствия и несоизмеримость в других отношениях могут затем фигурировать в качестве *дифференциала* многих видов. Как "мыслимые" или "существующие" даже дым сигареты и стоимость долларовой купюры сопоставимы - тем более как "скоропортящиеся" или как "наслаждающиеся".

Многое из того, что я говорил о различиях в этой главе, можно применить, просто изменив язык, и к сходству. Мы движемся по миру, выполняя обе функции параллельно, обнаруживая различия в похожем и сходства в непохожем. Чтобы абстрагировать *основание* либо различия, либо сходства (там, где оно не является конечным), требуется анализ данных объектов на их части. Таким образом, все, что говорилось о зависимости анализа от предварительного отдельного знакомства с абстрагируемым признаком и от наличия у него разнообразных сопутствующих признаков, находит место в психологии сходства так же, как и в психологии различия.

Но когда все сказано и сделано в отношении условий, которые способствуют нашему восприятию сходства и абстрагированию от его оснований, остается грубый факт: *некоторые люди гораздо более чувствительны к сходству и гораздо более готовы указать, в чем оно состоит, чем другие.* Это умники, поэты, изобретатели, ученые, практические гении. *Врожденный талант к восприятию аналогий* профессор Бэйн, а также другие ученые до и после него, считают *главным фактом в гениальности любого порядка.* Но поскольку эта глава и так уже длинна, а вопрос о гениальности лучше подождать до главы XXII, где можно будет одновременно обсудить его практические последствия, я не буду больше ничего говорить ни о нем, ни о способности замечать сходство. Если читатель чувствует, что в моих руках эта способность не получила должной справедливости и что ей следует удивляться и придавать ей гораздо больше значения, чем это было сделано на этих последних страницах, он, возможно, найдет некоторую компенсацию, когда доберется до этой последующей главы. Думаю, я достаточно подчеркиваю это, когда называю его одним из главных фундаментов интеллектуальной жизни; другими являются Дискриминация, Упорство и Ассоциация.

ВЕЛИЧИНА РАЗЛИЧИЙ.

На [странице 489](#) я говорил о том, что различия могут быть большими или меньшими, а также о том, что некоторые их группы могут быть расположены линейно, демонстрируя последовательное *увеличение*. Ряд, термины которого все больше и больше отличаются от начальной точки, - это ряд, термины которого все меньше и меньше похожи на нее. Они становятся все более и более похожими, если читать их с другой стороны. Таким образом, сходство и несходство с исходной точкой являются функциями, обратными друг другу, от положения любого термина в таком ряду.

Профессор Штумпф вводит слово "*расстояние*" для обозначения положения термина в любом таком ряду. Чем меньше похож термин, тем больше он удален от начальной точки. Идеальным регулярным рядом такого рода был бы такой, в котором расстояния - ступени сходства или различия - между всеми парами соседних терминов были бы равны. Это был бы равномерно градуированный ряд. Интересным фактом в психологии является то, что во многих областях нашего восприятия мы можем без труда расположить термины именно таким равномерно градуированным образом. Различия, другими словами, между различными парами терминов, например, *a* и *b*, с одной стороны, и *c* и *d*, с другой,^[442] могут быть оценены как равные или различные по величине. Расстояния от одного термина до другого в ряду равны. Линейные величины и музыкальные ноты - это, пожалуй, те впечатления, которые нам проще всего упорядочить подобным образом. Далее следуют оттенки света или цвета, которые мы без особого труда упорядочиваем по ступеням различий ощутимо равной величины. Г-да Плато и Дельбёф довольно легко определили, какой оттенок серого, по мнению каждого, будет точно соответствовать середине между более темным и более светлым оттенком.^[443]

Как теперь мы можем с такой легкостью признать равенство двух разностей между различными парами терминов? Или, короче говоря, как мы можем признать *величину* разности вообще? Профессор Штумпф интересно обсуждает этот вопрос;^[444] и приходит к выводу, что наше чувство величины различия и наше восприятие того, что термины двух различных пар одинаково или неравно удалены друг от друга, не может быть объяснено никаким более простым умственным процессом, но, как и сам шок от различия, должно рассматриваться в настоящее время как не поддающееся анализу дарование разума. Этот пронизательный автор отвергает, в частности, представление, согласно которому наше суждение о расстоянии между двумя ощущениями зависит от того, что мы *мысленно преодолеваем промежуточные ступени*. Мы, конечно, можем это делать и часто находим это полезным, как в музыкальных интервалах или фигурных линиях, но мы не должны этого делать; и для сравнительного суждения о величине "расстояния" не *требуется* ничего большего, чем три или четыре впечатления, относящиеся к одному виду.

Исчезновение всех ощутимых различий между двумя численно различными вещами делает их *качественно одинаковыми или равными*. Равенство, или *качественное* (в отличие от числового) *тождество*, есть, таким образом, не что иное, как *крайняя степень сходства*.^[445]

Выше (с. 492) мы видели, что некоторые люди считают, что различие между двумя объектами состоит из двух вещей, то есть из их абсолютной идентичности в одних отношениях и абсолютной неидентичности в других. Мы видели, что эта теория применима не ко всем случаям (с. 493). Поэтому любая теория, которая основывает сходство на тождестве, а не тождество на сходстве, должна потерпеть неудачу. Возможно, большинство людей полагает, что две похожие вещи обязаны своим сходством абсолютному тождеству в отношении какого-то атрибута или атрибутов в сочетании с абсолютной нетождественностью остальной части их существа. Это предположение, которое может быть справедливо для сложных вещей, разрушается, когда мы переходим к простым впечатлениям.

"Когда мы сравниваем глубокую, среднюю и высокую ноты, например, *си*, *фа* диэз, *а*", мы сразу же замечаем, что первая меньше похожа на третью, чем вторая. То же самое можно сказать и о *c* *d* *e* в той же области шкалы. То, что мы называем одну из нот "средней", является выражением подобного суждения. Но где здесь идентичная, а где неидентичная часть? Мы не можем думать об обертонах; ведь три первые названные ноты не имеют ничего общего, по крайней мере, на музыкальных

инструментах. Более того, мы могли бы взять простые тона, и все равно наше суждение было бы безоговорочно одинаковым, если бы тона не были выбраны слишком близко друг к другу..... Нельзя также сказать, что тождество состоит в том, что все они являются звуками, а не звуком, запахом и цветом, соответственно. Ибо этот идентичный атрибут присущ каждому из них в равной степени, тогда как первый, будучи менее похож на третий, чем второй, должен был бы, согласно критикуемой нами теории, иметь меньше идентичного качества..... Таким образом, оказывается неосуществимым определять все возможные случаи сходства как частичное тождество *плюс* частичное несходство; и напрасно искать во всех случаях идентичные элементы".[446]

А поскольку все сложные сходства основаны на простых, как эти, из этого следует, что сходство *überhaupt* не должно пониматься как особое усложнение тождества, а скорее тождество должно пониматься как особая степень сходства, в соответствии с положением, выраженным в начале предыдущего параграфа. Сходство и различие - это предельные отношения восприятия. В самом деле, ни одно из двух ощущений, ни один из двух объектов, которые мы знаем, не являются в научной строгости идентичными. Мы называем идентичными те из них, различие которых не воспринимается. Правда, сверх этого у нас есть *представление* об абсолютной одинаковости, но оно, как и многие другие наши представления (ср. с. 508), является идеальной конструкцией, полученной путем последовательного увеличения в определенном направлении до своего максимального предполагаемого предела. Она играет важную роль, наряду с другими постоянными значениями, которыми мы обладаем, в наших идеальных интеллектуальных построениях. Но она не играет никакой роли в объяснении того, как мы психологически воспринимаем сходство между простыми вещами.

МЕРА ДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

В 1860 году профессор Г. Т. Фехнер из Лейпцига, человек большой образованности и тонкого ума, опубликовал два тома под названием "Психофизика", посвященные установлению и объяснению закона, названного им психофизическим, который он считал выражением глубочайшего и элементарного отношения между психическим и физическим мирами. Это формула связи между количеством наших ощущений и количеством их внешних причин. Простейшее ее выражение состоит в том, что когда мы переходим от одного ощущения к более сильному того же рода, ощущения возрастают пропорционально логарифмам их возбуждающих причин. Книга Фехнера положила начало новому отделу литературы, с которым, пожалуй, невозможно сравниться по тщательности и тонкости, но из которого, по скромному мнению настоящего писателя, должного психологического результата просто *нет*. Споры о психофизических законах привели к появлению большого количества наблюдений над чувством различения и сделали их обсуждение очень строгим. Он также прояснил наши представления о наилучших методах получения средних результатов, когда конкретные наблюдения отличаются друг от друга; кроме этого, он ничего не дал; но поскольку это глава в истории нашей науки, читатель должен получить о ней некоторое представление.

Мысль Фехнера была популярно изложена множеством раз. Поскольку мне нечего добавить нового, я просто обязан процитировать уже существующее изложение. Я выбираю тот, который приводит Вундт в своих "Словах о человеке и природе" (*Vorlesungen über Menschen und Thierseele*, 1863), опуская многое:

"Насколько одно ощущение сильнее или слабее другого, мы никогда не можем сказать. Будет ли солнце в сто или тысячу раз ярче луны, пушка в сто или тысячу раз громче пистолета - это мы оценить не в состоянии. Естественная мера ощущений, которой мы обладаем, позволяет нам судить о равенстве, о "большем" и "меньшем", но не о том, "во сколько раз больше или меньше". Поэтому эта естественная мера так же хороша, как и отсутствие всякой меры, когда речь идет о точном определении интенсивности в сфере ощущений. Даже если она и учит нас в общих чертах тому, что с силой внешнего физического стимула сила сопутствующих ощущений возрастает или ослабевает, все же она не дает нам ни малейшего представления о том, изменяются ли ощущения точно в той же пропорции, что и сам стимул, или же медленнее или быстрее. Одним словом, мы ничего не знаем о законе, связывающем ощущение и его внешнюю причину, благодаря нашей природной чувствительности. Чтобы найти этот закон, мы должны сначала найти точную меру для самого ощущения; мы должны быть в состоянии сказать: Стимул силы *один* порождает ощущение силы *один*; стимул силы *два* порождает ощущение силы *два*, или *три*, или *четыре*, и т. д. Но для этого мы должны сначала узнать, что означает ощущение, в два, три или четыре раза превышающее другое.....

"Пространственные величины мы скоро научимся определять точно, потому что мы измеряем только одно пространство относительно другого. Измерение психических величин гораздо сложнее..... Но проблема измерения величины *ощущений* - это первый шаг в смелом предприятии по созданию психических величин, подлежащих точному измерению..... Если бы все наши знания сводились к тому, что ощущение возрастает, когда возрастает стимул, и падает, когда последний падает, многого бы мы не добились. Но даже непосредственное наблюдение без посторонней помощи учит нас некоторым фактам, которые, по крайней мере в общих чертах, указывают на закон, согласно которому ощущения меняются в зависимости от их внешней причины.

"Каждый знает, что в прохладной ночи мы слышим то, что не замечаем в дневном шуме. Мягкое тиканье часов, воздух, циркулирующий через дымоход, скрип стульев в комнате и тысяча других незначительных звуков накладывают свой отпечаток на наше ухо. Не менее хорошо известно, что в беспорядочном шуме улиц или грохоте железной дороги мы можем не только не услышать, что говорит нам наш сосед, но даже не услышать звука собственного голоса. Звезды, которые ярче всего светят ночью, не видны днем; и хотя мы видим луну тогда, она гораздо бледнее, чем ночью. Каждый, кому приходилось иметь дело с весами, знает, что если к фунту в руке прибавить второй фунт, то разница сразу же ощущается; если же прибавить его к стограммовому весу, то мы вообще не ощущаем разницы.....

"Звук часов, свет звезд, давление фунта - все это *стимулы* для наших чувств, причем стимулы, внешняя величина которых остается неизменной. Чему же тогда учат эти ощущения? Очевидно, ничему, кроме того, что один и тот же раздражитель, в зависимости от обстоятельств, при которых он действует, будет ощущаться либо более или менее интенсивно, либо не ощущаться вовсе. Какого рода теперь изменение обстоятельств, от которых может зависеть это изменение в ощущениях? При внимательном рассмотрении вопроса мы видим, что они везде одного и того же рода. Тиканье часов - слабый стимул для нашего слухового нерва, который мы отчетливо слышим, когда он один, но не тогда, когда он добавляется к сильному стимулу вагонных колес и других шумов дня. Свет звезд - это стимул для глаз. Но если этот свет добавить к сильному стимулу дневного света, мы ничего не

почувствуем, хотя отчетливо ощущаем его, когда он объединяется с более слабым стимулом сумерек. Фунтовая гиря - это стимул для нашей кожи, который мы ощущаем, когда он присоединяется к предыдущему стимулу равной силы, но который исчезает, когда он объединяется со стимулом, в тысячу раз большим по величине.

"Поэтому мы можем считать общим правилом, что стимул, чтобы быть ощутимым, может быть тем меньше, чем меньше уже существующая стимуляция органа, но должен быть тем больше, чем больше уже существующая стимуляция. Из этого в общих чертах можно понять связь между стимулом и чувством, которое он вызывает. По крайней мере, из этого следует, что закон зависимости не так прост, как можно было бы предположить заранее. Самое простое отношение, очевидно, состоит в том, что ощущение должно возрастать в том же соотношении, что и стимул, так что если стимул *одной* силы вызывает ощущение *один*, то стимул *два* должен вызывать ощущение *два*, стимул *три* - ощущение *три* и т. д. Но если бы преобладали эти простейшие отношения, то стимул, добавленный к уже существующему сильному стимулу, должен был бы вызывать такое же сильное усиление ощущений, как если бы он был добавлен к уже существующему слабому стимулу; свет звезд, например, должен был бы вносить такое же большое дополнение к дневному свету, как и к темноте ночного неба. Мы знаем, что это не так: днем звезды невидимы, и их добавление к нашим ощущениям незаметно, тогда как то же самое добавление к нашим ощущениям в сумерках очень значительно. Таким образом, очевидно, что сила ощущений возрастает не пропорционально количеству раздражителей, а медленнее. И теперь возникает вопрос, в какой пропорции возрастание ощущений становится меньше по мере увеличения стимула. Чтобы ответить на этот вопрос, повседневного опыта недостаточно. Нужны точные измерения как количества различных стимулов, так и интенсивности самих ощущений.

"Как провести эти измерения, подсказывает повседневный опыт. Измерить силу ощущений, как мы видели, невозможно; мы можем измерить только разницу ощущений. Опыт показал нам, какие очень неравные различия ощущений могут возникать при равных различиях внешних раздражителей. Но все эти опыты выражались в одном виде факта, что одна и та же разница стимулов может в одном случае ощущаться, а в другом случае не ощущаться вовсе - фунт ощущается, если его прибавить к другому фунту, но не ощущается, если его прибавить к ста фунтам..... Мы можем быстрее всего достичь результата в наших наблюдениях, если начнем с произвольной силы стимула, заметим, какие ощущения он вызывает, а затем *посмотрим, насколько мы можем увеличить стимул, чтобы ощущения не изменились*. Если мы будем проводить такие наблюдения со стимулами разной абсолютной величины, мы будем вынуждены столь же разнообразно выбирать те количества добавок к стимулу, которые способны вызвать у нас едва уловимое ощущение *большого*. Свет, чтобы быть просто ощутимым в сумерках, не должен быть почти таким же ярким, как свет звезды; чтобы быть просто ощутимым днем, он должен быть гораздо ярче. Если теперь мы проведем такие наблюдения для всех возможных сил различных стимулов и отметим для каждой силы количество добавок, необходимых для получения едва заметного изменения ощущений, мы получим ряд цифр, в которых сразу же будет выражен закон, согласно которому ощущения изменяются при увеличении стимула....".

Наблюдения по этому методу особенно легко проводить в сферах световых, звуковых ощущений и ощущений давления..... Начиная с последнего случая,

"Мы обнаруживаем удивительно простой результат. Едва ощутимая добавка к исходному весу *должна быть точно в той же пропорции к нему, быть той же долей* его, независимо от того, какова абсолютная величина весов, на которых производится эксперимент..... В среднем по ряду опытов оказалось, что эта доля составляет около $1/3$; то есть, независимо от того, какое давление уже оказывается на кожу, увеличение или уменьшение давления будет *ощущаться*, как только добавленный или вычтенный вес составит одну треть от первоначального веса".

Затем Вундт описывает различия в мышечных ощущениях, в ощущениях тепла, света и звука; и завершает свою седьмую лекцию (из которой мы сделали выдержки) следующим образом:

"Итак, мы обнаружили, что все органы чувств, стимулы которых мы можем точно измерить, подчиняются единому закону. Какими бы различными ни были их отличительные особенности, для всех них верно то, что *увеличение стимула, необходимое для возникновения ощущения, имеет постоянное отношение к общему стимулу*. Цифры, выражающие это соотношение для нескольких органов чувств, можно представить в виде таблицы:

Ощущение света,	$1/100$
Мышечное ощущение,	$1/17$
Ощущение давления,	$1/3$
Ощущение тепла,	$1/3$
Ощущение звука,	$1/3$

"Эти цифры далеко не так точны, как хотелось бы. Но, по крайней мере, они позволяют составить общее представление об относительной дискриминационной восприимчивости различных органов чувств. Важный закон, дающий в столь простой форме отношение ощущения к вызывающему его стимулу, был впервые обнаружен физиологом Эрнстом Генрихом Вебером для получения в особых случаях. Густав Теодор Фехнер впервые доказал, что это закон для всех отделов ощущений. Психология обязана ему первым всесторонним исследованием ощущений с физической точки зрения, первой основой точной теории чувствительности".

Таково общее изложение того, что Фехнер называет законом Вебера. Точность" теории чувствительности, к которой он приводит, заключается в том, что он дает возможность представить ощущения в виде чисел. *Единицей* любого вида ощущений будет то приращение, которое при увеличении стимула мы едва можем воспринять как прибавление. Общее число единиц, которое содержит любое данное ощущение, будет состоять из общего числа таких приращений, которые можно воспринять при переходе от отсутствия ощущений к ощущениям данного вида. Мы не можем получить это число непосредственно, но мы можем, теперь, когда мы знаем закон Вебера, получить его с помощью физического стимула, от которого оно зависит. Ибо если мы знаем, сколько стимула потребуется, чтобы вызвать едва ощутимое ощущение, а затем какой процент добавления к стимулу будет постоянно давать едва ощутимый прирост ощущения, то вычислить из общего количества стимула, который мы можем использовать в любой момент, количество таких приростов, или, другими словами, единиц ощущения, которые он может породить, - это вопрос сложного интереса. Это число находится в таком же отношении к общему стимулу, в каком прошедшее время находится к капиталу плюс начисленные сложные проценты.

Приведем пример: Если стимул А просто не производит ощущения, и если r - это процент, который нужно добавить к нему, чтобы получить едва ощутимое ощущение - назовем это ощущение 1 - то мы должны иметь ряд чисел ощущений, соответствующих нескольким стимулам, следующим образом:

Ощущение 0 = стимул А;

Сенсация 1 = стимул А $(1 + r)$;

Сенсация 2 = стимул А $(1 + r)^2$;

Сенсация 3 = стимул А $(1 + r)^3$;

.....

Ощущение n = стимул А $(1 + r)^n$.

Ощущения здесь образуют арифметический ряд, а стимулы - геометрический ряд, и эти два ряда соответствуют друг другу. Теперь, из двух рядов, соответствующих таким образом, термины арифметического ряда называются логарифмами терминов, соответствующих им по рангу в геометрическом ряду. Обычный арифметический ряд, начинающийся с нуля, образован в обычных логарифмических таблицах, так что мы действительно можем сказать (предполагая, что наши факты пока верны), что *ощущения изменяются в той же пропорции, что и логарифмы их соответствующих стимулов*. И тогда мы сможем вычислить число единиц в любом данном ощущении (считая, что единица ощущения равна только что ощутимому приращению выше нуля, а единица стимула равна приращению стимула r , которое приводит к этому), умножая логарифм стимула на постоянный коэффициент, который должен меняться в зависимости от конкретного вида ощущений. Если мы назовем стимул R , а постоянный фактор C , то получим формулу

$$S = C \log R,$$

которую Фехнер называет *психофизическим маасформелем*. Таково, вкратце, рассуждение Фехнера, как я его понимаю.

Маасформель допускает математическое развитие в различных направлениях и породил трудные дискуссии, в которые я рад не вступать, поскольку их интерес - математический и метафизический, а вовсе не психологический.^[447] О метафизике я скажу пару слов несколькими страницами позже. Пока же следует понять, что ни один человек, ни в одном исследовании, в котором участвовали бы ощущения, никогда не использовал вычисленные таким или иным способом числа для проверки теории или получения нового результата. Вся концепция численного измерения ощущений, короче говоря, остается просто математической спекуляцией о возможностях, которая никогда не применялась на практике. Однако в ходе обсуждения этого вопроса было обнаружено множество конкретных фактов о дискриминации, которые заслуживают места в этой главе.

Прежде всего, когда разница между двумя ощущениями приближается к пределу различимости, выясняется, что в один момент мы ее различаем, а в другой - нет. Существуют случайные колебания нашей внутренней чувствительности, из-за которых невозможно определить, каков наименьший прирост ощущения, не взяв среднее значение большого числа оценок. Эти *случайные ошибки* могут как увеличивать, так и уменьшать нашу чувствительность, и они устраняются при таком усреднении, поскольку те, что выше и те, что ниже линии, нейтрализуют друг друга в сумме, и нормальная чувствительность, если таковая

существует (то есть чувствительность, обусловленная постоянными причинами, в отличие от этих случайных), становится явной. Лучший способ получения средней чувствительности был очень тщательно проработан. Фехнер рассмотрел три следующих метода:

(1) *Метод просто различимых различий*. Возьмите стандартное ощущение S и прибавляйте к нему, пока не почувствуете отчетливо прибавление d ; затем вычитайте из $S + d$, пока не почувствуете отчетливо эффект от вычитания; [448] называйте здесь разницу d' . Наименее заметная искомая разница равна $d + d'/2$; а отношение этой величины к исходному S (или, скорее, к $S + d - d'$) Фехнер называет порогом различия. *Этот порог разности должен быть постоянной величиной* (независимо от размера S), *если закон Вебера универсально верен*. Сложность применения этого метода заключается в том, что мы очень часто сомневаемся, было ли что-то добавлено к S или нет. Более того, если мы просто возьмем наименьшее d , относительно которого мы *никогда не сомневаемся* и не ошибаемся, то, конечно, получим наименьшее различимое различие больше, чем оно должно быть теоретически. [449]

Конечно, *чувствительность* мала, когда наименьшая различимая разница велика, и *наоборот*; другими словами, она и порог различия находятся в обратной зависимости друг от друга.

(2) *Метод истинных и ложных случаев*. Ощущение, которое едва ли больше другого, из-за случайных ошибок в длинной серии экспериментов будет иногда оцениваться как равное, а иногда как меньшее; то есть мы сделаем определенное количество ложных и определенное количество истинных суждений о разнице между двумя ощущениями, которые мы сравниваем.

"Но чем больше это различие, тем больше увеличивается число истинных суждений за счет ложных; или, выражаясь иначе, тем ближе к единице будет дробь, знаменатель которой представляет все число суждений, а числитель - те, которые истинны. Если m - это отношение такого рода, полученное при сравнении двух стимулов, A и B , мы можем искать другую пару стимулов, a и b , которые при сравнении дадут такое же соотношение истинных и ложных случаев". [450]

Если бы это было сделано, и отношение a к b оказалось бы равным отношению A к B , это доказало бы, что пары малых стимулов и пары больших стимулов могут одинаково влиять на нашу дискриминационную чувствительность, пока отношение компонентов друг к другу в каждой паре одинаково. Другими словами, это доказывает веберовский закон. Фехнер использовал этот метод для определения собственной способности различать разницу в весе, записав не менее 24 576 отдельных суждений и вычислив в результате, что его способность различать одно и то же относительное увеличение веса была менее хорошей в районе 500, чем 300 граммов, но после 500 граммов она улучшилась до 3000, что было самым большим весом, с которым он экспериментировал.

(3) *Метод средних ошибок* заключается в том, что берется стандартный стимул, а затем делается попытка сделать другой стимул того же рода, точно равный ему. Как правило, ошибка будет большой, если дискриминационная чувствительность, задействованная в игре, мала, и *наоборот*. Сумма ошибок, независимо от того, положительные они или отрицательные, деленная на их количество, дает среднюю ошибку. Эта ошибка, после внесения определенных поправок, принимается Фехнером за "обратную величину" дискриминационной чувствительности, о которой идет речь. Она должна быть постоянно пропорциональна стимулу, независимо от абсолютной величины последнего, если закон Вебера верен.

Эти методы имеют дело только с ощутимыми различиями. Дельбёф и Вундт экспериментировали с большими различиями с помощью того, что Вундт называет *Méthode der mittleren Abstufungen*, и того, что мы можем назвать

(4) *Метод равных интервалов*. Он заключается в таком расположении трех стимулов в серии, чтобы интервалы между первым и вторым казались равными интервалам между вторым и третьим. На первый взгляд, между этим методом и предыдущими нет прямой логической связи. В них мы сравниваем одинаково *ощутимые* приращения стимула в разных областях шкалы последнего, а в четвертом методе мы сравниваем приращения, которые кажутся нам одинаково *большими*. Но то, что мы можем только заметить как приращение, не обязательно всегда будет казаться одинаково большим после того, как его заметили. Напротив, оно будет казаться намного больше, если мы имеем дело со стимулами, которые уже велики.

(5) Метод удвоения *стимула* был использован сотрудником Вундта, Меркелем, который пытался сделать так, чтобы один стимул казался вдвое больше другого, а затем измерял объективное соотношение этих двух стимулов. Только что сделанные замечания применимы и к этому случаю.

Вот и все о методах. Результаты в руках разных наблюдателей отличаются. Я добавлю несколько из них и рассмотрю сначала *дискриминационную чувствительность к свету*.

По первому методу Фолькманн, Обер, Массон, Гельмгольц и Крапелин находят цифры, изменяющиеся от $1/3$ или $1/4$ до $1/195$ от исходного стимула. Меньшие доли различаются, когда свет уже достаточно сильный, большие - когда он слабый или интенсивный. То есть дискриминационная чувствительность низка при сравнении слабого или чрезмерно сильного света, а максимальна при определенной средней освещенности. Таким образом, она является функцией интенсивности света, но в определенном диапазоне последней она остается постоянной, и *таким образом* закон Вебера подтверждается для света.

Абсолютные цифры привести невозможно, но Меркель, используя метод 1, обнаружил, что закон Вебера справляется со стимулами (измеренными в его произвольной единице) в диапазоне от 96 до 4096, за пределами которого эксперименты не проводились.^[451] Кёниг и Бродхун провели измерения по методу 1, которые охватывают наиболее обширную серию и, кроме того, применимы к шести различным цветам света. Эти эксперименты (проведенные, по-видимому, в лаборатории Гельмгольца) проводились от интенсивности, названной 1, до интенсивности, которая была в 100 000 раз больше. От интенсивности 2000 до 20 000 закон Вебера действовал; ниже и выше этого диапазона дискриминационная чувствительность снижалась. Дискриминируемое приращение было одинаковым для всех цветов света и составляло (согласно таблицам) от 1 до 2 процентов от стимула.^[452] Дельбёф проверил закон Вебера для определенного диапазона интенсивности света по методу 4, то есть он обнаружил, что объективная интенсивность света, который кажется средним между двумя другими, на самом деле является средним геометрическим интенсивности последних. Но А. Леманн, а затем и Нейглик в лаборатории Вундта обнаружили, что эффект контраста играет настолько большую роль в экспериментах, проведенных таким образом, что результаты Дельбёфа не могут считаться окончательными. Меркель, повторив эксперименты еще позже, обнаружил, что объективная интенсивность света, которую мы считаем средней между двумя другими, не является ни средней, ни среднегеометрической. Расхождение с обеими

цифрами огромно, но наименее велико расхождение со средней цифрой или средним арифметическим двух крайних интенсивностей.[453] Наконец, звезды с незапамятных времен располагались по "величинам", которые должны были отличаться друг от друга на равные, казалось бы, промежутки. В последнее время их интенсивность измеряется фотометрически, и проводится сравнение субъективных и объективных рядов. Профессор Дж. Джастроу - последний работник в этой области. Взяв за основу гарвардские фотометрические таблицы Пикеринга, он обнаружил, что отношение средней интенсивности каждой "величины" к интенсивности ниже ее уменьшается по мере перехода от более низких к более высоким величинам, что свидетельствует о равномерном отклонении от закона Вебера, если считать, что метод равных интервалов имеет прямое отношение к последнему.[454]

Звуки менее тонко различаются по интенсивности, чем свет. Определенная сложность возникла из-за споров по поводу измерения объективной интенсивности стимула. Согласно более ранним исследованиям, осязаемое увеличение стимула составляет примерно $1/3$ от последнего. Последние результаты Меркеля по методу просто осязаемых различий делают его равным примерно $3/10$ для той части шкалы интенсивностей, в которой действует закон Вебера, то есть от 20 до 5000 произвольной единицы М.[455] Ниже этого значения дробное приращение должно быть больше. Выше этого значения измерения не проводились.

Для давления и мышечного чувства мы имеем довольно противоречивые результаты. Вебер методом просто осязаемых различий установил, что люди могут различить увеличение веса на $1/40$, когда две гири последовательно поднимаются одной и той же рукой. Когда гири клали на руку, которая лежала на столе, требовалась гораздо большая доля. Похоже, он проверил свои результаты только для двух пар разных гирь[456] и на этом основал свой "закон". Эксперименты в лаборатории Херинга по подъему 11 гирь весом от 250 до 2750 граммов показали, что наименьшее осязаемое приращение варьировалось от $1/21$ для 250 граммов до $1/114$ для 2500. Для 2750 оно снова возросло до $1/98$. Недавние и очень тщательные эксперименты Меркеля, в которых палец надавливал на балку весов с противовесом от 25 до 8020 граммов, показали, что между 200 и 2000 граммами ощущается постоянное дробное увеличение примерно на $1/13$ при отсутствии движения пальца и примерно на $1/19$ при наличии движения. Выше и ниже этих пределов дискриминационная способность становилась меньше. Она была выше, когда давление оказывалось на один квадратный миллиметр поверхности, чем когда на семь.[457]

Тепло и вкус стали предметом аналогичных исследований, в результате которых было подтверждено нечто похожее на закон Вебера. Определение единицы стимула, однако, настолько сложно, что я не буду приводить никаких цифр. Результаты можно найти в книге Вундта "Физиологическая психология", 3-е изд. i, 370-2.

Было установлено, что различение длины глазом также в определенной степени подчиняется закону Вебера. Все цифры можно найти в G. E. Müller, *op. cit.* part ii, chap. x, к которому мы отсылаем читателя. Профессор Ястроу опубликовал несколько экспериментов, проведенных с помощью модификации метода равных кажущихся разностей, по оценке длины палок, из которых следует, что расчетные интервалы и реальные интервалы прямо пропорциональны друг другу, а не логарифмически пропорциональны. Это напоминает результаты Меркеля, полученные этим методом для весов, света и звуков, и отличается от выводов Джастроу о звездных магнитудах.[458]

Если мы рассмотрим все эти факты в целом, то увидим, что не какое-то фиксированное количество, добавленное к впечатлению, заставляет нас заметить увеличение последнего, а то, что это количество зависит от того, насколько велико уже впечатление. Количество можно выразить в виде определенной доли от всего впечатления, к которому оно добавляется; и оказалось, что эта доля является почти постоянной величиной во всей области шкалы интенсивности данного впечатления. Выше и ниже этой области доля увеличивается. Это и есть *закон Вебера*, который выражает эмпирическое обобщение, имеющее практическое значение, не предполагая никакой теории и не стремясь к абсолютной мере самих ощущений. Он находится в

Теоретическая интерпретация закона Вебера

оригинальность Фехнера заключается исключительно в его предположениях, а именно: 1) что только что воспринятое приращение является *единицей ощущения* и во всех частях шкалы одинаково (математически выражаясь, $\Delta s = \text{const.}$); 2) что все наши ощущения состоят из сумм этих единиц; и, наконец, 3) что причина, по которой требуется постоянное дробное увеличение стимула, чтобы пробудить эту единицу, заключается в конечном законе связи разума с материей, согласно которому величины наших ощущений связаны логарифмически с величинами их объектов. Фехнер, кажется, находит нечто непостижимо возвышенное в существовании конечного "психофизического" закона такой формы.

Все эти предположения отличаются особой хрупкостью. Начнем с того, что *психический факт*, который в экспериментах соответствует увеличению стимула, - это не *увеличенное ощущение*, а *суждение о том, что ощущение увеличено*. То, что Фехнер называет "ощущением", - это то, что представляется сознанию как *объективное явление* света, тепла, веса, звука, пораженной части тела и т. д. Фехнер молчаливо, если не открыто, предполагает, что такое *суждение об увеличении* состоит в том простом факте, что *увеличенное число* единиц ощущения присутствует в сознании; и что суждение, таким образом, само является количественно большей психической вещью, когда оно судит о больших различиях или различиях между большими терминами, чем когда оно судит о малых. Но эти идеи действительно абсурдны. Самый трудный вид суждения, суждение, которое больше всего напрягает внимание (если *это* является каким-либо критерием "размера" суждения), - это суждение о *самых маленьких* вещах и различиях. Но на самом деле нет никакого смысла говорить о том, что одно суждение больше другого. И даже если мы оставим в стороне суждения и будем говорить только об ощущениях, мы уже обнаружили (в [главе VI](#)), что не можем вложить никакого ясного смысла в представление о том, что они представляют собой массу единиц вместе взятых. Для интроспекции наше ощущение розового цвета, конечно, не является частью нашего ощущения алого цвета; свет электрической дуги, похоже, не содержит в себе свет тлеющей свечи. Сложные *вещи* состоят из частей, и одна такая вещь может иметь вдвое или втрое больше частей, чем другая. Но когда мы берем простое разумное качество, например свет или звук, и говорим, что сейчас его вдвое или втрое больше, чем мгновение назад, то, хотя кажется, что мы имеем в виду то же самое, что и в случае с составными объектами, на самом деле мы имеем в виду нечто иное. Мы имеем в виду, что если бы мы расположили различные возможные степени качества в шкале последовательного возрастания, то *расстояние, интервал* или *разница* между более сильным и более слабым образцом перед нами казались бы примерно такими же большими, как между более слабым образцом и началом шкалы. *Именно эти* отношения, *эти*

расстояния *мы измеряем, а не состав самих качеств*, как думает Фехнер. Если же мы обратимся к делимым объектам, то, конечно, большой объект может быть познан в небольшом размышлении. Кроме того, интроспекция показывает, что в большинстве ощущений новый *вид* чувства неизменно сопровождает наше суждение о возросшем впечатлении; и это факт, который формула Фехнера игнорирует.[459]

Но помимо этих *априорных* трудностей, даже если предположить, что ощущения действительно состоят из добавленных единиц, предположение Фехнера о том, что все *одинаково воспринимаемые* добавления являются *одинаково большими* добавлениями, совершенно произвольно. Почему бы малому добавлению к малому ощущению не быть столь же *ощутимым*, как и большому добавлению к большому? В этом случае закон Вебера распространялся бы не на сами дополнения, а только на их воспринимаемость. Наше *восприятие* разницы единиц в двух ощущениях зависело бы от того, что последние находятся в фиксированном соотношении. Но *само различие* напрямую зависело бы от разницы между соответствующими стимулами. Сколько единиц прибавилось к стимулу, столько же прибавилось к ощущению, и если стимул вырос в определенном соотношении, то в точно таком же соотношении выросло бы и ощущение, хотя его *ощутимость* росла бы по логарифмическому закону.[460]

Если *A* обозначает наименьшую разницу, которую мы воспринимаем, то вместо формулы $\Delta s = \text{const.}$, которая принадлежит Фехнеру, мы должны иметь формулу $\Delta s/s = \text{const.}$, формулу, которая интерпретирует все *факты* закона Вебера совершенно иным теоретическим способом, чем тот, который принял Фехнер.[461]

Таким образом, вся надстройка, которую Фехнер воздвигает на фактах, оказывается не только произвольной и субъективной, но и в высшей степени неправдоподобной. Отступления от веберовского закона в тех областях, где он не действует, он объясняет соединением с ним других неизвестных законов, которые маскируют его действие. Как будто в *любом* наборе явлений нельзя найти *какой-либо* закон, если только у человека хватит ума придумать достаточно других сосуществующих законов, чтобы перекрыть и нейтрализовать его! Итог дискуссии, если говорить о теориях Фехнера, действительно *нулевой*. *Один только закон Вебера остается верным, как эмпирическое обобщение в достаточной степени:* То, что мы добавляем к большому стимулу, мы замечаем меньше, чем то, что мы добавляем к малому, если только *относительно стимула* он не будет таким же большим.

Закон Вебера, вероятно, чисто физиологический.

Можно выразить это положение вещей иначе, сказав, что весь стимул не кажется эффективным для создания ощущения "больше", и простейшая интерпретация такого положения вещей была бы *физической*. Потеря эффекта произошла бы в нервной системе. Если бы наши ощущения были результатом такого состояния нервных молекул, при котором стимулу становилось бы все труднее увеличиваться, наши ощущения, естественно, росли бы медленнее, чем сам стимул. Все большая часть работы последнего уходила бы на преодоление сопротивлений и все меньшая - на реализацию состояния, вызывающего чувство. Таким образом, закон Вебера стал бы своего рода *законом трения* в нейронной машине.[462] Как именно следует понимать эти внутренние сопротивления и трения - вопрос умозрительный. Дельбёф сформулировал их как усталость; Бернштейн и Уорд - как иррадиацию. Самая последняя и, вероятно, самая "реальная" гипотеза принадлежит Эббингаузу, который полагает, что интенсивность ощущений зависит от *количества* нейронных молекул, которые распадаются в единицу времени. В любой момент времени существует только определенное количество молекул, *способных* распадаться; и в то время

как большинство из них находится в среднем состоянии неустойчивости, некоторые почти стабильны, а некоторые уже близки к распаду. Самые маленькие стимулы воздействуют только на эти последние молекулы; а поскольку их немного, то и сенсационный эффект от добавления данного количества стимула *вначале* относительно невелик. Средние стимулы воздействуют на большинство молекул, но их становится все меньше и меньше, поскольку их количество уже уменьшилось. При последнем добавлении стимулов все средние молекулы уже распались, и они воздействуют только на небольшой относительно неразложимый остаток, вызывая соответственно небольшие приращения ощущений (Pflüger's Archiv, 45, 113.).

Несомненно, именно таким образом следует интерпретировать закон Вебера, если он вообще будет интерпретирован. Фехнеровский *Maasformel* и представление о нем как о высшем "психофизическом законе" останутся "идолом логоса", если таковой когда-либо существовал. Сам Фехнер действительно был немецким *гелертером* идеального типа, одновременно простым и проницательным, мистиком и экспериментатором, домашним и смелым, верным фактам так же, как и своим теориям. Но было бы ужасно, если бы даже такой дорогой старик, как этот, мог навсегда опечалить нашу науку своими терпеливыми причудами и, в мире, полном более питательных объектов внимания, заставить всех будущих студентов продираться сквозь трудности не только его собственных работ, но и еще более сухих, написанных в его опровержение. Те, кому нужна эта ужасная литература, могут найти ее; она имеет "дисциплинарную ценность", но я не стану даже перечислять ее в сноске. Единственное, что в ней забавно, это то, что критики Фехнера всегда должны чувствовать себя обязанными, после того как они разгромили его теории по бедрам и ляжкам и не оставили от них ни единой палочки, закончить тем, что, тем не менее, ему принадлежит *нетленная слава*, что он первым сформулировал их и тем самым превратил психологию в *точную науку*,

"И все славили герцога.

Кто этот великий бой выиграл".

"Но что же хорошего вышло в итоге?

Quoth little Peterkin.

"Этого я не могу сказать, - сказал он,

Но это была знаменитая победа!"

[406] Человеческое понимание, ii, xi, 1, 2.

[407] Анализ, т. I, с. 71.

[408] Чувства и интеллект, стр. 411.

[409] Очерки философские и теологические: First Series, pp. 268-273.

[410] Монтгомери в "Mind", x, 527. Ср. также Lipps: Grundtatsachen des Seelenlebens, p. 579 ff.; и см. ниже, глава XIX.

[411] Штумпф (Tonpsychologie, i, 116 ff.) пытается доказать, что теория, согласно которой все различия являются различиями состава, неизбежно ведет к бесконечному регрессу, когда мы пытаемся определить единицу. Мне кажется, что в своих конкретных рассуждениях он

забывает о конечных единицах теории "ум-вещь". Я не могу считать завершенное бесконечное одним из препятствий для веры в эту теорию, хотя я полностью принимаю общие рассуждения Штумпфа и очень рад оказаться на одной стороне с таким исключительно ясным мыслителем. Строгости Валя в "Vierteljsch. f. wiss. Фил.", мне кажется, не имеют силы, поскольку автор не проводит различия между сходством вещей явно сложных и сходством вещей разумно простых.

[412] Вера в то, что причины эффектов, которые, как мы считаем, отличаются качественно, являются фактами, которые отличаются только количеством (например, что синий цвет вызван таким-то количеством эфирных волн, а желтый - меньшим количеством), не должна смешиваться с чувством, что эффекты сами отличаются количественно.

[413] Герр Г. Х. Шнайдер в своем юношеском памфлете (Die Unterscheidung, 1877) попытался показать, что нет никаких позитивно существующих элементов чувствительности, никаких существенных качеств, между которыми возникают различия, но что термины, которые мы называем таковыми, ощущения, являются лишь суммами различий, локусами или отправными точками, из которых исходят многие направления различий. Он называет их "Unterschiedsempfindungs-Complexe". Это абсурдное воплощение того "принципа относительности", о котором мы должны будем упомянуть в главе XVII, может служить противовесом теории "ум-вещь", которая утверждает, что нет ничего, кроме предметных ощущений, и отрицает существование отношений различия между ними вообще.

[414] Ср. Stumpf, Tonpsychologie, i, 121, и James Ward, Mind, i, 464.

[415] Обычная трактовка этого явления заключается в том, чтобы назвать его результатом слияния множества ощущений, которые сами по себе являются отдельными. Это чистая мифология, как будет убедительно показано далее.

[416] "Мы часто начинаем смутно осознавать разницу в ощущениях или группе ощущений, прежде чем сможем приписать различиям какой-либо определенный характер. Так, мы обнаруживаем странный или чужеродный ингредиент или вкус в знакомом блюде, или тон в знакомой мелодии, и все же какое-то время не можем сказать, на что похож этот незванный гость. Поэтому, возможно, дискриминация может рассматриваться как самый ранний и самый первичный способ интеллектуальной деятельности". (Sully: Outlines of Psychology, p. 142. Ср. также G. H. Schneider: Die Unterscheidung, pp. 9-10.)

[417] В случаях, когда различие незначительно, нам может потребоваться, как уже отмечалось, получить фазу умирания n , а также m , прежде чем n -отличается от m и отчетливо ощущается. В этом случае неизбежные последовательные ощущения (насколько мы можем разделить то, что так непрерывно) будут такими: четыре, m , разница, n , n -отличие от- m . Это небольшое дополнительное осложнение ничуть не меняет существенных черт дела.

[418] Анализ. Изд. Дж. С. Милля, ii, 17. Ср. также стр. 12, 14.

[419] Есть только одно препятствие - наша неизбывная склонность считать, что если сравниваются два предмета или качества, то это означает, что точные копии обоих попали в разум и там сопоставлены друг с другом. На это первым ответом будет эмпирический: "Загляните в разум и посмотрите". Когда я признаю вес, который я сейчас поднимаю, меньшим, чем тот, который я только что поднял; когда, когда у меня сейчас болит зуб, я воспринимаю боль менее интенсивной, чем минуту назад; две вещи в сознании, которые сравниваются, были бы, по мнению критикуемых мною авторов, признаны фактическим

ощущением и образом в памяти. Образ в памяти, по общему согласию тех же авторов, признается более слабой вещью, чем ощущение. Тем не менее в этих случаях он оценивается как более сильный; то есть объект, который предполагается известным только в той мере, в какой этот образ его представляет, оценивается как более сильный. Разве это не должно поколебать веру в представление об отдельных репрезентативных "идеях", взвешивающих себя или взвешиваемых Эго друг против друга в сознании? И пусть не говорят, что то, что заставляет нас оценивать ощущаемую боль как более слабую, чем воображаемую боль мгновения назад, - это наше воспоминание о *нисходящем характере шока разницы*, который мы ощутили, перейдя в настоящий момент от предшествующего ему. Этот шок, несомненно, имеет разный характер в зависимости от того, что происходит между сроками, второй из которых уменьшается или увеличивается; и можно признать, что в случаях, когда прошлый срок помнится с сомнением, воспоминание о шоке как о *плюсе* или *минусе* может иногда позволить нам установить связь, которую иначе мы не могли бы воспринять. Но вряд ли можно ожидать, что воспоминание об этом толчке пересилит наше фактическое сравнение терминов, оба из которых *присутствуют* (как образ и ощущение в предполагаемом случае), и заставит нас признать более слабый термин более сильным: Предположим, что разум сравнивает две реальности, сопоставляя две свои идеи, которые их представляют, - что мы получим? Все та же загадка. Идеи по-прежнему должны быть *известны*; и, поскольку внимание при сравнении переключается с одного на другое, прошлое должно быть известно вместе с настоящим, как и раньше. Если вы должны закончить тем, что ваше "Я", не *будучи* ни идеей *m*, ни идеей *n*, все же знает и сравнивает их, то почему бы не позволить вашему импульсу мысли, который не *является* ни вещью *m*, ни вещью *n*, знать и сравнивать их напрямую? Вопрос лишь в том, как *назвать* факты наименее искусственно. Эгоист *объясняет* их, называя Эго "сочетающим" или "синтезирующим" две идеи, не больше, чем мы, называя их импульсом мысли, знающим два факта.

[420] Боюсь, что мои слова мало кого обратят в веру, настолько упорно мыслители всех школ отказываются признать неопосредованную функцию *знания вещи*, и настолько неисправимо они подменяют ее *тем, что является вещью*. Например, в последнем изречении спиритуалистической философии ("Введение в психологическую теорию" Боуна, 1887 г., опубликованное всего за три дня до написания этой статьи) одно из первых предложений, которое бросается мне в глаза, следующее: "Что помнит? Спиритуалист говорит, что помнит душа; она пребывает сквозь годы и течение тела и, *собирая свое прошлое, несет его с собой*" (с. 28). Почему, ради всего святого, о Боун, вы не можете сказать "*знает это*"? Если наша душа что-то и *не* делает со своим прошлым, так это уносит его с собой.

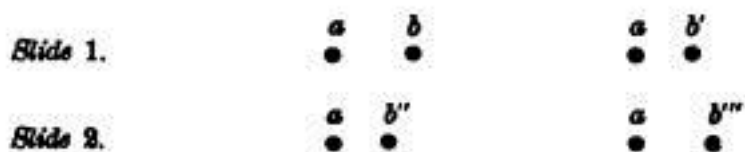
[421] Sensations of Tone, 2d English Ed., p. 65.

[422] Психология, i, 345.

[423] A Budget of Paradoxes, p. 380.

[424] Объяснение, которое я предлагаю, предполагает, что разница, слишком слабая, чтобы оказать непосредственное влияние, заставив разум заметить ее *как таковую*, тем не менее будет достаточно сильной, чтобы удерживать "термины" от вызова идентичных ассоциаций. На основании многих наблюдений кажется вероятным, что так оно и есть. Все факты "бессознательного" умозаключения являются тому подтверждением. Мы говорим, что картина "похожа" на работу определенного художника, хотя не можем назвать характерные отличия. По лицу человека мы видим, что он искренен, хотя не можем назвать ни одной конкретной причины для нашей веры. Приведенные Гельмгольцем несколькими страницами ниже факты о восприятии чувств будут дополнительными примерами. Вот еще один хороший

пример, хотя, возможно, его будет легче понять после прочтения главы о восприятии пространства, чем сейчас. Возьмите два стереоскопических слайда и изобразите на каждом полуслайде пару точек, a и b , но сделайте их расстояния такими, чтобы точки a были равноудалены на обоих слайдах, в то время как точки b были ближе друг к другу на слайде 1, чем на слайде 2. Кроме того, сделайте расстояние $ab = ab''$ и расстояние $ab' = ab''$. Затем последовательно посмотрите на оба слайда стереоскопически, так, чтобы a 's на обоих были прямо зафиксированы (то есть попали на две фовеи, или центры отчетливого зрения). Тогда буквы " a " будут казаться одиночными, и, вероятно, такими же будут буквы " b ". Но теперь одиночный b на слайде 1 будет казаться ближе, а b на слайде 2 - дальше, чем a . Но если диаграммы составлены правильно, b и b''' должны воздействовать на "одинаковые" пятна, одинаково удаленные вправо от фовеа, b в левом глазу и b''' в правом. То же самое верно и для b' и b'' . Одинаковые пятна - это пятна, ощущения от которых невозможно различить как таковые. Поскольку в этих двух наблюдениях, однако, они порождают столь противоположные восприятия расстояния и вызывают столь противоположные тенденции к движению (так как на слайде 1 мы *сходимся* при взгляде от a к b , а на слайде 2 *расходимся*), из этого следует, что два процесса, вызывающие совершенно неразличимые для непосредственного сознания ощущения, могут, тем не менее, быть связаны каждый с несопоставимыми ассоциациями как сенсорного, так и моторного типа. Ср. Donders, Archiv f. Ophthalmologie, Bd. 13 (1867). Основа его эссе заключается в том, что мы не можем *почувствовать*, на какой глаз падает тот или иной элемент составной картины, но его влияние на наше общее восприятие различается в двух глазах.



[425] A. W. Volkmann: Ueber den Einfluss der Uebung, etc., Leipzig Berichte, Math.-phys. Classe. x, 1858, p. 67.

[426] Там же. Tabelle 1, p. 43.

[427] Профессор Липпс объясняет тактильное различие слепых таким образом, который (если отбросить его "мифологические" предположения), как мне кажется, в основном согласуется с этим. Предполагается, что более сильные идеи поднимают более слабые через порог сознания, сливаясь с ними, причем тенденция к слиянию пропорциональна сходству идей Ср. Grundtatsachen, etc., pp. 232-3; также pp. 118, 492, 526-7.

[428] Sensations of Tone, 2d. English Edition, p. 62.

[429] Сравните с этим, однако, то, что я сказал выше, глава V, [стр. 172-176](#).

[430] Когда человек щурится, в центре поля образуются двойные изображения. На самом деле, большинство косоглазых оказываются слепыми на один глаз или почти слепыми; и среди офтальмологов долгое время считалось, что слепота - это вторичное заболевание, вызванное добровольным подавлением одного из наборов двойных изображений, другими словами, положительным и упорным отказом использовать один из глаз. Такое объяснение слепоты, однако, в последние годы ставится под сомнение. См. краткое изложение этого вопроса у О. Ф. Уодсворта в Boston Med. and Surg. Journ., cxvi, 49 (20 января 87 г.), а также ответы Дерби и других немного позже. -W. J.

[431] Tonempfindungen, Dritte Auflage, pp. 102-107.- Читатель, усвоивший содержание нашей главы V, выше, несомненно, заметит, что прославленный физиолог в этих параграфах впал в ту интерпретацию фактов, которую мы там пытались доказать ошибочной. Гельмгольц, однако, не более неосторожен, чем большинство психологов, смешивая вместе воспринимаемый объект, органические условия восприятия и ощущения, которые *могли бы* быть вызваны несколькими частями объекта или несколькими органическими условиями, *если бы* они вступали в действие по отдельности или на них отдельно обращали внимание, и полагая, что то, что верно в отношении любого из этих видов фактов, должно быть верно и в отношении других видов. Если каждое органическое состояние или часть объекта существует, то и его ощущение, по его мнению, также должно существовать, только в "синтетическом" состоянии, которое неотлично от того, что авторы, которых мы ранее рассматривали, называли "бессознательным". Я не буду повторять аргументы, достаточно подробно изложенные в предыдущей главе (см. особенно с. 170-176), но просто скажу, что то, что он называет "слиянием многих *ощущений* в одно", на самом деле является производством одного ощущения в результате сотрудничества многих *органических условий*; и что то, что восприятие не различает (когда оно "синтетическое"), - это не уже существующие, но не выделенные *ощущения*, а новые объективные *факты*, оцениваемые как более истинные, чем уже синтетически воспринимаемые факты - два вида твердого тела, множество гармонических тонов, вместо одного вида и одного тона, состояния мышц глазного яблока, до сих пор неизвестные, и тому подобное. Эти новые факты, впервые обнаруженные, познаются в состояниях сознания, никогда до этого момента точно не осознававшихся, в состояниях сознания, которое в то же время оценивает их как определения того же самого *факта*, который был осознан ранее. Все, что Гельмгольц говорит об условиях, препятствующих анализу и его продолжению, столь же естественно относится к анализу, благодаря появлению *новых* чувств, *предметов* на их элементы, как и к анализу совокупных чувств на элементарные чувства, которые, как предполагается, все это время были скрыты в них.

Читатель может сам применить эту критику к следующим отрывкам из Лотце и Штумпфа, которые я цитирую потому, что они являются наиболее яркими выражениями мнения, противоположного моему собственному. Оба автора, как мне кажется, совершают заблуждение психолога и позволяют вложить свои более поздние знания об ощущаемых вещах в свой рассказ о примитивном способе их ощущения.

Лотце говорит: "Бесспорно, что одновременное воздействие множества различных стимулов на разные органы чувств или даже на один и тот же орган чувств приводит нас в состояние спутанного общего ощущения, в котором мы, конечно, не в состоянии четко различать различные впечатления. Но из этого не следует, что в таком случае мы положительно воспринимаем действительное единство содержания наших идей, возникающее из их смешения; наше душевное состояние, по-видимому, скорее состоит в (1) сознании нашей неспособности разделить то, что действительно осталось разнообразным, и (2) в общем ощущении нарушения, произведенного в экономике нашего тела одновременным воздействием раздражителей..... Не в том, что ощущения сливаются друг с другом, а просто в том, что акт их различения отсутствует; и это опять же, конечно, не настолько далеко, чтобы факт различия оставался совершенно неощутимым, а только настолько, чтобы помешать нам определить величину различия и осознать другие отношения между различными впечатлениями. Тот, кого в одно и то же время раздражают раскаленный жар, ослепительный свет, оглушительный шум и отвратительный запах, конечно, не соединит эти разрозненные ощущения в одно, с единым содержанием, которое можно было бы чувственно воспринять; они остаются для него разделенными, и он просто не находит

возможным сознавать одно из них отдельно от других. Но, далее, у него будет чувство дискомфорта - то, о чем я говорил выше как о *второй* составляющей всего его состояния. Ибо каждый стимул, вызывающий в сознании определенное содержание ощущений, является также определенной степенью нарушения, а потому взывает к силам нервов; и совокупность этих маленьких изменений, которые по своему характеру как нарушения не столь разнообразны, как порождаемые ими содержания сознания, порождает то общее чувство, которое, в сочетании с неспособностью различать, вводит нас в заблуждение относительно фактического отсутствия разнообразия в наших ощущениях. Только так, опять-таки, я могу представить себе то состояние, которое иногда описывается как начало всего нашего образования, состояние, которое само по себе должно быть простым и которое впоследствии будет разделено на различные ощущения деятельностью разделения. Никакая деятельность разделения в мире не могла бы установить различия там, где не существует никакого реального разнообразия; ибо ей нечего было бы указать на места, где она должна была бы их установить, или на ширину, которую она должна была бы им придать". ("Метафизика", § 260, английский перевод).

Штумпф пишет следующее: "Из сосуществующих ощущений всегда имеется большое количество нерасчлененных в сознании или (если предпочесть называть то, что нерасчленено, бессознательным) в душе. Они, однако, не сливаются в простое качество. Когда, войдя в комнату, мы получаем ощущения запаха и тепла вместе, не обращая явного внимания ни на одно из них, эти два качества ощущений не являются, так сказать, совершенно новым простым качеством, которое в тот момент, когда внимание аналитически вмешивается в процесс, сначала *меняется на* запах и тепло..... В таких случаях мы оказываемся в присутствии неопределенной, не имеющей названия совокупности ощущений. И когда, после успешного анализа этой совокупности, мы вызываем ее в памяти, какой она была в своем неанализированном состоянии, и сравниваем ее с найденными нами элементами, последние (как мне кажется) могут быть признаны реальными частями, содержащимися в первых, а первые - их суммой. Так, например, когда мы ясно осознаем, что содержание нашего ощущения масла мяты - это отчасти ощущение вкуса, а отчасти - температуры". (Tonpsychologie, i, 107.)

Я бы предпочел сказать, что мы воспринимаем этот объективный факт, известный нам как вкус мяты, как содержащий другие объективные факты, известные как ароматическое или соленое качество и холодность, соответственно. Нет никаких оснований предполагать, что средство этого последнего очень сложного восприятия имеет какую-либо идентичность с более ранним психозом - меньше всего оно содержится в нем.

[432] *Physiol. Psych.*, ii, 248.

[433] *Wundt's Philos. Studien*, i, 527.

[434] *Ibid.* p. 530.

[435] *Mind*, xi, 377 и далее. Он говорит: "Я, по-видимому, либо различал впечатление и совершал движение одновременно, либо, если я пытался избежать этого, ожидая, пока я сформирую отчетливое впечатление, прежде чем начну совершать движение, я добавлял к простой реакции не только восприятие, но и воление." - Это замечание вполне может подтвердить наши сомнения относительно строгой *психологической* ценности любого из этих измерений.

[436] Mind, xi, 379.

[437] О других определениях времени дискриминации этим методом см. v. Kries и Auerbach, Archiv f. Physiologie, Bd. i, p. 297 ff. (эти авторы получают гораздо меньшие цифры); Friedrich, Psychologische Studien, i, 39. Глава ix книги Букколы "Le Legge del tempo, etc." дает полное представление об этом предмете.

[438] Если это так, то реакции на искру должны быть медленнее, чем на прикосновение. Исследование было прекращено, поскольку оказалось невозможным свести разницу между условиями зрительной и осязательной серий только к возможному присутствию в последней промежуточной моторной идеи. Нельзя было исключить и другие различия.

[439] Тишер приводит цифры, полученные от совершенно непрактичных людей, которые я не стал приводить. Время дискриминации одного из них в 22 раза больше, чем у самого Тишера! (Psychol. Studien, i, 527.)

[440] Сравните превосходный отрывок Липпса с тем же критическим эффектом в его Grundtatsachen des Seelenlebens, pp. 390-393.- Я оставляю свой текст таким, каким он был написан до публикации результатов Ланге и Мюнстерберга, приведенных на [стр. 92](#) и [432](#). Их "сокращенное" или "мускулистое" время, полученное, когда ожидающее внимание было направлено на возможные реакции, а не на стимул, составляет минимальное время реакции, о котором я говорю, и все, что я говорю в тексте, прекрасно согласуется с их результатами.

[441] Cp. Sully: Mind, x, 494-5; Bradley: ibid. xi, 83; Bosanquet: ibid. xi, 405.

[442] Суждение становится проще, если две пары терминов имеют один общий член, если сравниваются, например, $a-b$ и $b-c$. Это, как говорит Штумпф (Tonpsychologie, i, 131), вероятно, происходит потому, что введение четвертого термина влечет за собой произвольные перекрестные сравнения: a и b с d , b с c и т. д., что сбивает нас с толку, отвлекая наше внимание от тех отношений, которые мы должны оценивать сами.

[443] J. Delbœuf: Éléments de Psychophysique (Paris, 1883), p. 64. Плато в Stumpf, Tonpsych., i, 125. Я заметил любопытное увеличение некоторых "расстояний" различия под воздействием хлороформа. Например, звяканье колокольчиков на лошадях проезжающей мимо двери конной повозки и грохот самого автомобиля, которые для нашего обычного слуха очень легко сливаются в *квазинепрерывное* звуковое тело, казались настолько далекими друг от друга, что для перехода от одного к другому требовалось мысленно повернуться в разные стороны, как будто они принадлежали к разным мирам. На основании некоторых данных я склонен подозревать, что окончательная философия различия и подобия должна быть построена на опыте опьянения, особенно газом с закисью азота, который впускает нас в интуицию, тонкость которой отрицается в состоянии бодрствования". Cp. B. P. Blood: The Anæsthetic Revelation, and the Gist of Philosophy (Amsterdam, N. Y., 1874). Cp. также Mind, vii, 200.

[444] *Op. cit.* p. 126 и далее.

[445] Stumpf, pp. 111-121.

[446] Stumpf, pp. 116-7. Я опустил, чтобы не делать мой текст слишком запутанным, чрезвычайно острый и убедительный абзац, который я воспроизвожу здесь: "Мы можем обобщить: Там, где ряд чувственных впечатлений воспринимается *как серия*, там в последнюю очередь должны быть обнаружены восприятия простого сходства.

Доказательство: Предположим, что все термины ряда, например, качества тона, $c d e f g$, имеют нечто общее, - *неважно, что это*, назовем это X ; тогда я скажу, что различные части

каждого из этих терминов должны не только быть по-разному составлены в каждом, но и сами должны образовывать ряд, существование которого является основанием для восприятия исходных терминов в последовательной форме. Таким образом, мы получаем вместо исходного ряда $a b c d e f \dots$ эквивалентный ряд $X\alpha, X\beta, X\gamma, \dots$ и т. д. Что же получается? Сразу же возникает вопрос: Как $\alpha \beta \gamma$ можно назвать серией? Согласно теории, эти элементы должны сами состоять из части, общей для всех, и частей, отличающихся друг от друга, причем последние части образуют новую серию, и так далее *ad infinitum*, что абсурдно".

[447] Важнейшими усовершенствованиями формулы Фехнера являются работы Дельбёфа в его "Исследованиях по измерению ощущений" (1873), с. 35, и Эльзаса в его брошюре "О психофизике" (1886), с. 16.

[448] Обратный порядок приведен для того, чтобы противоположные случайные ошибки из-за "контраста" нейтрализовали друг друга.

[449] Теоретически кажется, что он должен быть равен сумме всех дополнений, которые мы оцениваем как увеличения, деленной на общее число суждений.

[450] J. Delbœuf, *Éléments de Psychophysique* (1883), p. 9.

[451] *Philos. Studien*, iv, 588.

[452] *Berlin Acad. Sitzungsberichte*, 1888, p. 917. Другие наблюдатели (Добровольский, Ламауский) находили большие различия в разных цветах.

[453] См. таблицы Меркеля, *loc. cit.* p. 568.

[454] Американский журнал психологии, i, 125. Темп снижения небольшой, но устойчивый, и я не могу понять, что имеет в виду профессор Дж., говоря, что его цифры подтверждают закон Вебера.

[455] *Philosophische Studien*, v, 514-5.

[456] Cp. G. E. Müller: *Zur Grundlegung der Psychophysik*, §§ 68-70.

[457] *Philosophische Studien*, v, 287 ff.

[458] *American J. of Psychology*, iii, 44-7.

[459] Cp. Stumpf, *Tonpsychologie*, pp. 397-9. "Одно ощущение не может быть кратным другому. Если бы это было возможно, мы могли бы вычесть одно из другого и почувствовать остаток сам по себе. Каждое ощущение представляет собой неделимую единицу". Профессор фон Крис в *"Vierteljahrsschrift für wiss. Philosophie"*, vi, 257 ff., очень ясно показывает абсурдность предположения, что наши сильные ощущения содержат в себе наши слабые ощущения как части. Они различаются как качественные единицы. Сравните также J. Tannery в Delbœuf's *Éléments de Psychophysique* (1883), p. 134 ff.; J. Ward в *Mind*, i, 464; Lotze, *Metaphysik*, § 258.

[460] F Brentano, *Psychologie*, i, 9, 88 ff.- Меркель считает, что его результаты по методу равных интервалов показывают, что мы сравниваем значительные интервалы друг с другом по закону, отличному от того, по которому мы замечаем едва уловимые интервалы. В первом случае стимулы образуют арифметический ряд (довольно дикий, если верить его цифрам), во втором - геометрический - по крайней мере, так я понимаю этого доблестного экспериментатора, но несколько туманного, хотя и острого писателя.

[461] Это формула, которую Меркель считает, что он проверил (если я правильно его понял) своими экспериментами по методу 4.

[462] Elsas: Ueber die Psychophysik (1856), p. 41. Когда чаши весов уже нагружены, но находятся в равновесии, то для того, чтобы наклонить балку, требуется пропорционально больший вес, добавленный к одной из них.

ГЛАВА XIV.[463]

АССОЦИАЦИЯ.

После дискриминации - ассоциация! Уже в прошлой главе мне пришлось ссылаться на "ассоциацию" различаемых объектов с другими, более сильно отличающимися друг от друга, чтобы объяснить улучшение некоторых видов дискриминации практикой. Очевидно, что прогресс нашего знания *должен* состоять из обеих операций; ведь объекты, сначала представляющиеся целым, анализируются на части, а объекты, представляющиеся по отдельности, объединяются и предстают перед умом в виде новых составных целых. Таким образом, анализ и синтез - это непрерывно чередующиеся виды умственной деятельности, когда один удар подготавливает путь для другого удара, подобно тому как при ходьбе у человека попеременно задействуются две ноги, и обе они необходимы для любого упорядоченного продвижения вперед.

То, как цепочки образов и мыслей следуют друг за другом в нашем мышлении, беспокойный полет одной идеи перед следующей, переходы нашего разума между вещами, широкими, как расходящиеся полюса, переходы, которые на первый взгляд поражают нас своей внезапностью, но которые при внимательном рассмотрении часто обнаруживают промежуточные звенья, совершенно естественные и уместные - все эти волшебные, невесомые потоки с незапамятных времен вызывали восхищение всех, чье внимание случайно было привлечено их вездесущей тайной. Более того, он бросил вызов расе философов, которые пытались избавиться от загадки, сформулировав этот процесс в более простых терминах. Проблема, которую поставили перед собой философы, заключается в том, чтобы установить *принципы связи* между мыслями, которые, как кажется, прорастают одна другой, и таким образом объяснить их своеобразную последовательность или сосуществование.

Но тут же возникает двусмысленность: какая связь имеется в виду? Связь *мыслей* или связь *между мыслями*? Это две совершенно разные вещи, и только в случае одной из них есть надежда найти "принципы". Джунгли связей, о которых *думают*, никогда не могут быть сформулированы просто. Можно представить все мыслимые связи: сосуществование, последовательность, сходство, контраст, противоречие, причина и следствие, средство и цель, род и вид, часть и целое, субстанция и свойство, раннее и позднее, большое и малое, домовладелец и арендатор, хозяин и слуга, - Небо знает, что именно, ибо список буквально неисчерпаем. Единственное упрощение, к которому можно было бы стремиться, - это сведение отношений к меньшему числу типов, подобных тем, которые такие авторы, как Кант и Ренувье, называют "категориями" понимания.[464] Следуя той или иной категории, мы должны были бы пронестись мыслью по миру тем или иным образом. И все категории были бы логичны, были бы отношениями разума. Они объединяли бы предметы в континуум. Если бы *это была* та связь, которую мы ищем между одним моментом нашего мышления и другим, наша глава могла бы на этом закончиться. Ибо единственное краткое описание этих

бесконечных возможностей перехода состоит в том, что все они являются *актами разума* и что разум переходит от одного объекта к другому по некоторому рациональному пути связи. Истинность этой формулы уравнивается лишь ее бесплодностью для психологических целей. Практически она сводится к тому, чтобы просто указать дознавателю на отношения между фактами или вещами и сказать ему, что его мышление следует им.

Но на самом деле его мышление лишь иногда следует им, и эти так называемые "переходы разума" далеко не всегда одинаково разумны. Если чистая мысль управляет всеми нашими поездами, то почему она должна вести одни так быстро, а другие так медленно, одни по унылым равнинам, а другие по великолепным пейзажам, одни к горным высотам и драгоценным рудникам, другие через мрачные болота и тьму, а некоторые вообще сходят с рельсов и попадают в пустыню сумасшествия? Почему мы годами бьемся над какой-то научной или практической проблемой, но все тщетно - мысли не дают нам желаемого решения? И почему однажды, когда мы идем по улице и наше внимание далеко от этих поисков, ответ приходит к нам в голову так же беспечно, как будто его и не было - возможно, его подсказали цветы на чепце дамы, стоящей перед нами, а возможно, мы ничего не можем обнаружить? Если разум может дать нам облегчение тогда, почему он не сделал этого раньше?

Приходится признать, что мысль работает в условиях, навязанных *сверх меры*. Великий закон привычки - что двадцать опытов заставляют нас вспомнить вещь лучше, чем один, что долгое потакание ошибкам делает правильное мышление почти невозможным - кажется, не имеет под собой никакой существенной основы. Дело мысли - истина, а количество переживаний не должно иметь никакого отношения к ее сохранению; и по праву она должна быть в состоянии обнять ее еще крепче, после многих лет, проведенных вдали от нее. Противоположные положения кажутся совершенно фантастическими и произвольными, но тем не менее они являются частью самой кости и мозга нашего разума. Разум - лишь одна из тысячи возможностей мышления каждого из нас. Кто может сосчитать все глупые фантазии, гротескные предположения, совершенно неуместные размышления, которые он делает в течение дня? Кто может поклясться, что его предрассудки и иррациональные убеждения составляют менее громоздкую часть его умственной мебели, чем его уточненные мнения? Правда, председательствующий арбитр, кажется, восседает в сознании и подчеркивает лучшие предложения, в то время как он заканчивает, отстраняясь и оставляя неучтенной путаницу. Но в этом и заключается вся разница. *Способ генезиса* достойного и никчемного одинаков. Законы нашего действительного мышления, *cogitatum*, должны в равной степени учитывать плохие и хорошие материалы, на основе которых арбитр должен принимать решения, мудрость и глупость. Законы арбитра, *cogitandum*, того, что мы *должны* думать, относятся к первому, как законы этики к законам истории. Кто, кроме историка-гегельянца, когда-либо претендовал на то, что разум в действии *сам по себе* является достаточным объяснением политических изменений в Европе?

Итак, существуют механические условия, от которых зависит мысль и которые, по меньшей мере, определяют порядок представления содержания или материала для ее сравнений, отборов и решений. Наводит на размышления тот факт, что Локк и многие более поздние континентальные психологи были вынуждены ссылаться на механический процесс, чтобы объяснить *абerrации* мышления, препятствующие прецессии, фрустрации разума. Они нашли его в законе привычки, или в том, что мы сейчас называем ассоциацией по смежности. Но этим авторам и в голову не приходило, что процессу, который может пройти путь реального порождения одних идей и последовательностей в сознании, можно смело

доверить порождение и других; и что те привычные ассоциации, которые способствуют развитию мысли, могут происходить из того же механического источника, что и те, которые ей мешают. Хартли, соответственно, предложил привычку в качестве достаточного объяснения всех связей наших мыслей и, таким образом, занялся непосредственно психологическим аспектом проблемы связи и попытался рассматривать как рациональные, так и иррациональные связи с единой точки зрения. Проблема, на которую он пытался, пусть и неубедительно, ответить, заключалась в связи между нашими психическими состояниями, рассматриваемыми исключительно как таковые, независимо от объективных связей, которые они могут познавать. Как человек, подумав об А, в следующий момент думает о Б? Или как он приходит к тому, что А и Б всегда думают вместе? Эти явления Хартли пытался объяснить с помощью физиологии головного мозга. Я считаю, что во многих существенных аспектах он был на верном пути, и предлагаю просто пересмотреть его выводы с помощью различий, которые он не сделал.

Но вся историческая доктрина психологических ассоциаций запятнана одной огромной ошибкой - построением наших мыслей из смешения самих по себе неизменных и непрерывно повторяющихся "простых идей". Именно их сцепление и призваны объяснить "принципы ассоциации". В [главах VI и IX](#) мы увидели множество причин для того, чтобы рассматривать доктрину простых идей или психических атомов как мифологическую; и во всем последующем наша проблема будет заключаться в том, чтобы сохранить все истины, которые ассоциативная доктрина уловила, не отягощая ее несостоятельным обременением в виде того, что ассоциация происходит между "идеями".

Ассоциация, в той мере, в какой это слово обозначает эффект, возникает между вещами, о которых думают - именно вещи, а не идеи, ассоциируются в сознании. Мы должны говорить об ассоциации объектов, а не об ассоциации идей. А если ассоциация является причиной, то она возникает между процессами в мозге - именно они, будучи связанными определенным образом, определяют, какие последующие объекты будут мыслиться. Давайте перейдем к окончательным обобщениям, рассмотрев сначала несколько знакомых фактов.

Законы двигательной привычки в нижних центрах нервной системы никем не оспариваются. Серия движений, повторяющихся в определенном порядке, имеет тенденцию с особой легкостью разворачиваться в этом порядке в дальнейшем. Номер один пробуждает номер два, тот пробуждает номер три, и так далее, пока не будет произведен последний. Подобная привычка, однажды вошедшая в привычку, может продолжаться автоматически. Так же происходит и с объектами, с которыми связано наше мышление. У некоторых людей каждая нота мелодии, услышанная всего один раз, будет безошибочно воспроизводиться в нужной последовательности. Маленькие мальчики в школе усваивают склонения многих греческих существительных, прилагательных и глаголов из повторяющихся речитативов высших классов, которые падают им на слух, когда они сидят за партами. Все это происходит без всяких добровольных усилий с их стороны и без всякой мысли о написании слов. Доггерические рифмы, которые дети используют в своих играх, такие как формула

"Ana mana mona mike
Barcelona bona strike".

используемая для "отсчета", представляет собой еще один знакомый пример того, как услышанные в последовательности вещи скрепляются в памяти в том же порядке.

В области осязания мы имеем меньшее количество примеров, хотя, вероятно, каждый, кто принимает ванну определенным образом, знаком с тем, что каждая часть тела, на которую выжимается вода из губки, пробуждает предчувствие покалывания в том участке кожи, который по привычке оказывается следующим. Вкусы и запахи не образуют в нашем опыте привычного ряда. Но даже если бы они и были, сомнительно, чтобы привычка фиксировала порядок их воспроизведения так же хорошо, как это происходит с другими ощущениями. Однако в зрении мы имеем ощущение, в котором порядок воспроизводимых вещей почти так же сильно зависит от привычки, как и порядок запоминаемых звуков. Комнаты, пейзажи, здания, картины или люди, чей облик нам хорошо знаком, всплывают перед мысленным взором со всеми деталями их внешнего вида, как только мы вспоминаем какую-либо из их составных частей. Некоторые люди, читая наизусть печатные тексты, как бы видят, как каждое последующее слово, прежде чем произнести его, появляется в своем порядке на воображаемой странице. Некий шахматист, один из тех героев, которые тренируются играть в несколько партий одновременно с завязанными глазами, по слухам, говорит, что ночью в постели после матча перед его мысленным взором снова и снова проходят партии, причем каждая доска изображается как проходящая по очереди через все свои последовательные стадии. В этом случае, конечно, интенсивное предшествующее добровольное напряжение силы зрительного представления - вот что способствовало фиксированному порядку возрождения.

Ассоциации возникают как между впечатлениями от разных органов чувств, так и между однородными ощущениями. Увиденные и услышанные вещи соединяются друг с другом, а также с запахами и вкусами, в представлении, в том же порядке, в котором они соединялись как впечатления от внешнего мира. Ощущения контакта аналогичным образом воспроизводят виды, звуки и вкусы, с которыми их ассоциирует опыт. Фактически, "объекты" нашего восприятия, такие как деревья, люди, дома, микроскопы, из которых состоит реальный мир, - это не что иное, как скопления качеств, которые благодаря одновременной стимуляции так сплелись, что в момент возбуждения одного из них он служит знаком или сигналом для возникновения идеи о других. Пусть человек войдет в свою комнату в темноте и пошарит среди предметов. Прикосновение к спичкам мгновенно напомним об их внешнем виде. Если его рука соприкоснется с апельсином, лежащим на столе, в голове сразу же промелькнет золотисто-желтый цвет фрукта, его вкус и аромат. Если провести рукой по буфету или толкнуть ногой угольный ящик, большая блестящая темная форма одного и неровная чернота другого мгновенно пробудятся и составят то, что мы называем узнаванием предметов. Голос скрипки слабым эхом отдается в сознании, когда на нее в темноте кладут руку, а ощущения от одежды или драпировок, которые могут висеть в комнате, не *понять*, пока в каждом случае не будет воскрешен взгляд, соответствующий ощущениям. Запахи, как известно, обладают способностью вызывать в памяти другие ощущения, в компании которых они были восприняты, возможно, много лет назад; а объемный эмоциональный характер образов, внезапно возникающих в сознании в такой момент, является одной из основных тем популярных психологических гаданий.

"Пропал и пропал, пропал и пропал!

Вздых, шепот - какое-то божественное прощание...

Пустынная сладость - далеко-далеко".

Мы не можем услышать грохот железнодорожного трамвая или крик его свистка, не вспомнив о его длинном, суставчатом облике и стремительной скорости, или уловить знакомый голос в толпе, не вспомнив, вместе с именем говорящего, и его лицо. Но самый известный и важный случай мысленного сочетания слуховых и оптических впечатлений, первоначально пережитых вместе, связан с языком. Ребенку предлагают новый вкусный фрукт и в то же время говорят, что он называется "инжир". Или, глядя в окно, он восклицает: "Какая смешная лошадь!", а ему отвечают, что это "пестрая" лошадь. При изучении букв ему повторяют звук каждой буквы и одновременно показывают ее форму. В дальнейшем, сколько бы он ни прожил, он никогда не увидит ни фиги, ни лошади, ни буквы алфавита без названия, которое он впервые услышал в связи с каждой из них, и наоборот, он никогда не услышит название без слабого пробуждения образа объекта.[465]

БЫСТРОТА АССОЦИАЦИЙ.

Чтение служит еще более ярким примером такого рода сплоченности. Оно представляет собой непрерывное и длительное припоминание звуков по виду, который всегда был связан с ними в прошлом. Я обнаружил, что за две минуты могу назвать шестьсот букв на печатной странице. За каждую секунду в моем сознании должно происходить пять различных ассоциаций между зрением и звуком (не говоря уже обо всех других процессах). При чтении целых слов скорость гораздо выше. Валентин в своей "Физиологии" сообщает, что чтение одной страницы доказательства, содержащей 2629 букв, заняло у него 1 минуту и 32 секунды. В этом эксперименте каждая буква была *понята* за 1/28 секунды, но из-за объединения букв в целые слова, образующие единое совокупное впечатление, непосредственно связанное с одним акустическим образом, мы не должны предполагать, что в звуке может быть 28 отдельных ассоциаций. Однако этих цифр достаточно, чтобы показать, с какой чрезвычайной быстротой актуальные ощущения вызывают привычные ассоциации. И то, и другое, на самом деле, кажется нашему обычному вниманию, приходит в голову сразу.

Психологи последних дней, занимающиеся измерением времени, пытались решить эту проблему более сложными методами. Гальтон, используя очень простой прибор, обнаружил, что вид непредвиденного слова пробуждает связанную с ним "идею" примерно за 5/6 секунды.[466] Далее Вундт провел определение, в котором "подсказкой" служили односложные слова, произносимые ассистентом. Испытуемый должен был нажать на клавишу, как только звук слова пробуждал ассоциированную мысль. Слово и реакция регистрировались хронографически, и общий временной интервал между ними у четырех наблюдателей составлял 1,009, 0,896, 1,037 и 1,154 секунды соответственно. Из этого времени необходимо вычесть время простой физиологической реакции и время простого распознавания звука слова ("время апперцепции", как называет его Вундт), чтобы получить точное время, необходимое для возникновения ассоциированной идеи. Эти времена определялись и вычитались отдельно. Разница, названная Вундтом *временем ассоциации*, составила у тех же четырех человек 706, 723, 752 и 874 тысячные доли секунды соответственно.[467] Длительность последней цифры объясняется тем, что реагирующий человек (президент Г. С. Холл) был американцем, чьи ассоциации с немецкими словами, естественно, были бы медленнее, чем у местных жителей. Самое короткое время ассоциации было отмечено, когда слово "Sturm" подсказало профессору Вундту слово "Wind" за 0,341 секунды.[468] - Наконец, мистер Кэттелл сделал несколько интересных наблюдений по поводу времени ассоциации между внешним видом букв и их названиями. "Я наклеивал буквы, - говорит он, - на вращающийся барабан и определял, с какой скоростью их можно читать вслух, когда они проходят через щель в экране". Он обнаружил, что скорость зависит

от того, одна или несколько букв одновременно видны через щель, и назвал полсекунды примерно тем временем, которое требуется, чтобы увидеть и назвать одну букву, видимую в одиночку.

Когда в поле зрения постоянно находятся две или более букв, процессы видения и названия не только совпадают, но, пока испытуемый видит одну букву, он начинает видеть следующие за ней и, таким образом, может быстрее их читать". Из девяти человек, с которыми проводились эксперименты, четверо могли быстрее читать буквы, когда в поле зрения находились сразу пять, но им не помогала шестая буква; троим не помогала пятая, а двоим - четвертая. Это показывает, что пока одна идея находится в центре внимания, на заднем плане сознания могут находиться две, три или четыре дополнительные идеи. Вторая буква в поле зрения сокращает время примерно на 1/40, третья - на 1/60, четвертая - на 1/100, пятая - на 1/200 секунды.

"Я обнаружил, что чтение (вслух, как можно быстрее) слов, которые не имеют связи между собой, как слов, которые образуют предложения, и букв, которые не имеют связи между собой, как букв, которые образуют слова, занимает примерно в два раза больше времени. Когда слова составляют предложения, а буквы - слова, процессы видения и названия не только совпадают, но одним умственным усилием субъект может распознать целую группу слов или букв и одним волевым актом выбрать движения, которые нужно сделать при назывании, так что скорость чтения слов и букв действительно ограничена только максимальной скоростью, с которой могут двигаться речевые органы. В результате большого количества экспериментов писатель обнаружил, что он читал слова, не составляющие предложения, со скоростью 1/4 секунды, слова, составляющие предложения (отрывок из Свифта), со скоростью 1/8 секунды, на слово..... Скорость, с которой человек читает на иностранном языке, пропорциональна его знакомству с этим языком. Например, при максимально быстром чтении скорость писателя составляла: английский 138, французский 167, немецкий 250, итальянский 327, латинский 434 и греческий 484; цифры указывают на тысячные доли секунды, затрачиваемые на чтение каждого слова. Эксперименты, проведенные на других людях, поразительно подтверждают эти результаты. Испытуемый не знает, что он читает на иностранном языке медленнее, чем на своем собственном; это объясняет, почему иностранцы, кажется, говорят так быстро. Этот простой метод определения уровня владения языком может быть использован на школьных экзаменах.

"Таким же образом определялось время, необходимое для того, чтобы увидеть и назвать цвета и изображения предметов. Оказалось, что для цветов это время примерно такое же (более 1/2 сек.), как и для картинок, а для слов и букв - примерно вдвое больше. Другие эксперименты, которые я проводил, показывают, что мы можем распознать один цвет или картинку за несколько меньшее время, чем слово или букву, но нам требуется больше времени, чтобы назвать их. Это объясняется тем, что в случае со словами и буквами ассоциация между идеей и названием происходила так часто, что процесс стал автоматическим, в то время как в случае с цветами и картинками мы должны волевым усилием выбрать название".^[469]

В более поздних экспериментах мистер Кэттелл изучал время выполнения различных ассоциаций, терминами (т.е. подсказками и ответами) которых были слова. Слово на одном языке должно было вызывать его эквивалент на другом, имя автора - язык, на котором он писал, название города - страну, в которой он находится, название писателя - одно из его произведений и т. д. Во всех этих экспериментах среднее отклонение от среднего очень

велико; и интересная особенность, которую они демонстрируют, - это существование определенных постоянных различий между ассоциациями разного рода. Таким образом:

От деревни к городу время мистера К. составило 0,340 сек.

От сезона к месяцу время мистера К. составило 0,399 сек.

От языка к автору время мистера К. составило 0,523

От автора к работе, время мистера К. составило 0,596.

Среднее время двух наблюдателей, экспериментировавших с восемью различными типами ассоциаций, составило 0,420 и 0,436 сек. соответственно.^[470] Очень широкий диапазон колебаний, несомненно, является следствием того, что слова, используемые в качестве подсказок, и различные типы изучаемых ассоциаций значительно отличаются по степени известности.

"Например, В - учитель математики, а С больше занимается литературой. В знает так же хорошо, как и Б, что $7 + 5 = 12$, но ему требуется на 1/10 секунды больше времени, чтобы вызвать это в памяти; Б знает так же хорошо, как и В, что Данте был поэтом, но ему требуется на 1/20 секунды больше времени, чтобы подумать об этом. Подобные эксперименты обнажают психическую жизнь таким образом, что это поражает и не всегда радует".^[471]

ЗАКОН СМЕЖНОСТИ.

Если не принимать во внимание временные детерминации, то все факты, с которыми мы столкнулись, можно свести к простому утверждению, что *объекты, однажды пережитые вместе, имеют тенденцию ассоциироваться в воображении, так что при мысли об одном из них другие, скорее всего, тоже будут вспоминаться, причем в той же последовательности или сосуществовании, что и раньше*. Это утверждение мы можем назвать *законом мысленной ассоциации по смежности*.^[472]

Я сохраняю это название, чтобы как можно меньше отходить от традиции, хотя обозначение этого процесса мистером Уордом как ассоциации по *непрерывности*^[473] или Вундтом как *внешней* ассоциации (чтобы отличить ее от *внутренней* ассоциации, которую мы узнаем под названием ассоциации по сходству)^[474], возможно, является более подходящим термином. Как бы мы ни назвали этот закон, поскольку он выражает всего лишь феномен психической привычки, наиболее естественным способом его учета является представление о нем как о *результате законов привычки в нервной системе; другими словами, его следует приписать физиологической причине*. Если это действительно закон тех нервных центров, которые координируют сенсорные и моторные процессы вместе, что пути, однажды использованные для соединения любой пары из них, тем самым становятся более проницаемыми, то нет причин, почему тот же закон не должен действовать и в отношении идеологических центров и их путей соединения.^[475] Части этих центров, которые когда-то действовали вместе, станут настолько связаны друг с другом, что возбуждение в одной точке будет иррадиировать через всю систему. Шансы на полную иррадиацию будут велики в той мере, в какой предыдущие возбуждения были частыми, а нынешние точки, возбужденные заново, - многочисленными. Если все точки были первоначально возбуждены вместе, то при воздействии на одну точку или группу точек облучение может быть ощутимо одновременным во всей системе. Но если первоначальные впечатления были последовательными - например, спряжение греческого глагола - и пробуждали нервные тяжи в определенном порядке, то теперь, когда один из них пробуждается, они будут разряжаться друг в друга в этом определенном порядке и никак иначе.

Читатель вспомнит все, что было сказано о повышенном напряжении нервных путей и о суммировании стимулов (с. 82 и далее). Поэтому мы должны предположить, что в этих идейных трактах, как и в других местах, активность может быть пробуждена в любом конкретном месте суммированием ряда напряжений, каждое из которых не способно само по себе вызвать разрядку. Предположим, например, что локальность М находится в функциональной непрерывности с четырьмя другими локальностями, К, L, N и О. Предположим также, что в четырех предыдущих случаях она была отдельно объединена с каждой из этих локальностей в общей деятельности. Тогда М может быть косвенно пробужден любой причиной, которая имеет тенденцию пробуждать либо К, либо L, N, либо О. Но если причина, пробуждающая К, будет, например, настолько незначительной, что только увеличит его напряжение, не пробуждая его к полной разрядке, то К удастся лишь слегка увеличить напряжение М. Но если в то же время напряжение L, N и О аналогичным образом увеличится, то комбинированное воздействие всех четырех на М может быть настолько большим, что пробудит действительную разрядку в этом последнем локалитете. Точно так же, если пути между М и четырьмя другими локализациями были так слегка раскопаны предыдущим опытом, что для пробуждения М требуется очень сильное возбуждение в любой из локализаций, менее сильное возбуждение, чем это в любой из них, не сможет достичь М. Но если все четыре одновременно будут мягко возбуждены, их комбинированное воздействие на М может быть адекватным для его полного возбуждения.

Психологический закон ассоциации объектов, о которых думают благодаря их предыдущей близости в мыслях или опыте, будет, таким образом, следствием физического факта, что нервные токи легче всего распространяются по тем проводящим путям, которые уже были наиболее задействованы. Декарт и Локк пришли к такому объяснению, которое современной науке пока не удалось усовершенствовать.

"Обычай, - говорит Локк, - закрепляет привычки мышления в понимании, а также определения в воле и движения в теле; все это кажется лишь *поездами движения в животном духе* [под этим Локк подразумевал то же, что мы понимаем *под нейронными процессами*], которые, однажды начав движение, продолжают идти теми же шагами, к которым они привыкли, которые, часто ступая, превращаются в ровную дорожку, и движение по ней становится легким и, как бы, естественным".[476]

Хартли более глубоко осмыслил этот принцип. Чувственные нервные токи, возникающие при полном присутствии объектов, были для него "вибрациями", а те, которые порождают представления об объектах при их отсутствии, - "миниатюрными вибрациями". И он суммирует причину ментальных ассоциаций в одной формуле, сказав:

"Любые вибрации, А, В, С и т.д., будучи связанными вместе достаточное количество раз, получают такую власть над *a, b, c* и т.д., соответствующими миниатюрными вибрациями, что любая из вибраций А, когда она воздействует одна, способна возбудить *b, c* и т.д., миниатюры остальных".[477]

Очевидно, что если существует какой-либо закон нейронной привычки, подобный этому, то смежности, сосуществования и последовательности, встречающиеся во внешнем опыте, неизбежно должны быть более или менее идеально скопированы в нашей мысли. Если А В С D E - последовательность внешних впечатлений (это могут быть события или последовательно переживаемые свойства объекта), которые однажды породили последовательные "идеи" *a b c d e*, то не раньше, чем А снова произведет на нас впечатление и пробудит *a, b c d e* возникнут как идеи еще до того, как В С D E появятся как впечатления.

Другими словами, порядок впечатлений в следующий раз будет *предвосхищен*, а ментальный порядок будет пока что копировать порядок внешнего мира. Любой объект при новой встрече заставит нас ожидать его прежних спутников, благодаря переполнению его мозгового тракта путями, ведущими к ним. И все эти внушения будут следствиями материального закона.

Если ассоциации, как здесь, состоят из последовательно появляющихся вещей, то различие, которое я провел в начале главы, между *мыслью* о связи и связью *мыслей*, не имеет значения. Ведь связь, о которой думают, - это совпадение или последовательность; и связь между мыслями - то же самое. Объекты и "идеи" вписываются в параллельные схемы и могут быть описаны идентичным языком, как смежные вещи, склонные к тому, чтобы снова мыслить вместе, или смежные идеи, склонные к тому, чтобы повторяться вместе.

Если бы эти случаи были образцами всех ассоциаций, то проведенное мной различие вполне можно было бы назвать *Spitzfindigkeit* или педантичной придиркой и отбросить. Но на самом деле мы не можем относиться к этому вопросу так просто. Один и тот же внешний объект может предполагать *любую из многих* реальностей, ранее ассоциировавшихся с ним - ведь в превратностях нашего внешнего опыта мы постоянно можем встретить одну и ту же вещь среди различных спутников, - и философия ассоциации, которая должна просто сказать, что она предполагает одну из них или даже ту из них, которую она чаще всего сопровождала, прошла бы лишь очень короткий путь в *обосновании* предмета. Однако большинство ассоцианистов зашли так далеко со своим "принципом смежности". Предоставив объект А, они никогда не говорят нам заранее, кого из своих ассоциатов он предложит; их мудрость ограничивается тем, что после того, как они предлагают второй объект, они показывают, что этот объект когда-то был ассоциатом. Им пришлось дополнить свой принцип смежности другими принципами, такими, как принципы сходства и контраста, прежде чем они смогли приступить к изучению богатства фактов.

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЗАКОН АССОЦИАЦИИ.

На последующих страницах я попытаюсь показать, что не существует другого *элементарного* причинного закона ассоциации, кроме закона нервной привычки. Все *материалы* нашего мышления обусловлены тем, как один элементарный процесс в полушариях головного мозга стремится возбудить любой другой элементарный процесс, который он мог возбудить в какое-то прежнее время. Однако количество действующих элементарных процессов и характер тех из них, которые в любой момент времени полностью возбуждают другие, определяют характер общего действия мозга и, как следствие этого, определяют объект, о котором мы думаем в данный момент. В зависимости от того, является ли этот результирующий объект той или иной вещью, мы называем его продуктом ассоциации по смежности, или ассоциации по сходству, или по контрасту, или по каким-либо другим типам, которые мы могли бы признать в качестве конечных. Его производство, однако, в каждом из этих случаев должно быть объяснено просто количественными изменениями в элементарных мозговых процессах, которые в данный момент работают по закону привычки, так что *психическая близость*, сходство и т. д. являются производными от одного более глубокого факта.

Мой тезис, изложенный таким кратким образом, вскоре станет более ясным; и в то же время станут понятны некоторые мешающие факторы, которые взаимодействуют с законом нейронной привычки.

Итак, давайте примем за основу всех наших последующих рассуждений этот закон: *Когда два элементарных мозговых процесса действуют вместе или в непосредственной*

последовательности, один из них, повторяясь, имеет тенденцию распространять свое возбуждение на другой.

Но, по сути дела, каждый элементарный процесс в разное время возбуждался в сочетании со многими другими процессами, причем под воздействием неизбежных внешних причин. Какой из этих других процессов он должен пробудить, теперь становится проблемой. Должны ли *b* или *c* быть пробуждены в следующий раз нынешним *a*? Мы должны сделать еще одно предположение, основанное, однако, на факте *напряжения* в нервной ткани и на факте суммирования возбуждений, каждое из которых неполное или латентное само по себе, в открытый результат.^[478] Процесс *b*, а не *c*, пробудится, если в дополнение к вибрирующему тракту *a* какой-то другой тракт *d* находится в состоянии субвозбуждения, и ранее был возбужден только *b*, а не *a*. Короче говоря, мы можем сказать:

Количество активности в любой данной точке мозговой коры является суммой тенденций всех других точек разряжаться в нее, причем эти тенденции пропорциональны (1) количеству раз, когда возбуждение каждой другой точки сопровождало возбуждение данной точки; (2) интенсивности таких возбуждений; и (3) отсутствию какой-либо конкурирующей точки, функционально связанной с первой точкой, в которую могли бы перенаправляться разряды.

Выражение фундаментального закона таким сложным способом приводит к максимальному упрощению. Давайте пока рассмотрим только спонтанные поезда мыслей и идей, такие, которые возникают в задумчивости или размышлении. Случай добровольного мышления, направленного на достижение определенной цели, будет рассмотрен позже.

Возьмем для закрепления наших представлений два стихотворения из "Локсли Холла":

"Я, наследник всех веков в передовых файлах времени".

и -

"Ибо я не сомневаюсь, что сквозь века пробивается одна цель".

Почему, когда мы читаем по памяти одну из этих строк и доходим до *веков*, та часть *другой* строки, которая следует за ними и, так сказать, прорастает из *веков*, также не прорастает из нашей памяти и не путает смысл наших слов? Просто потому, что слово, следующее за *веками*, пробуждается в мозговом процессе не одним только *вековым* процессом, а *плюс к* нему мозговыми процессами всех слов, предшествующих *векам*. Слово *ages* в момент его сильнейшей активности *само по себе* безразлично разрядится либо в 'in', либо в 'one'. Так же и предыдущие слова (чье напряжение в данный момент гораздо менее сильно, чем у *ages*) каждое из них безразлично разрядится в любое из большого количества других слов, с которыми они в разное время сочетались. Но когда процессы "*я, наследник всех веков*" одновременно вибрируют в мозгу, причем последний из них находится в максимальной, а остальные - в затухающей фазе возбуждения; тогда самой сильной линией разряда будет та, к которой *все* они *одинаково* стремятся. Следующим пробудится "*In*", а не "*one*" или любое другое слово, потому что его мозговой процесс уже вибрировал в унисон не только с *веками*, но и со всеми остальными словами, чья активность угасает. Это хороший случай воздействия на мысль того, что мы называли [на с. 258](#) "бахромой".

Но если бы какое-то из предшествующих слов - например, "наследник" - имело очень сильную ассоциацию с какими-то участками мозга, полностью отделенными по опыту от

поэмы "Локсли Холл" - если бы декламатор, например, с трепетом ожидал открытия завещания, которое могло бы сделать его миллионером - вероятно, что путь разряда через слова поэмы внезапно прервался бы на слове "наследник". Его *эмоциональный интерес к этому слову* был бы таков, что его *собственные особые ассоциации преобладали бы над совокупностью других слов*. Как мы уже говорили, ему резко напомнили бы о его личной ситуации, и поэма полностью выпала бы из его мыслей.

Автору этих страниц каждый год приходится заучивать имена большого количества студентов, которые сидят в алфавитном порядке в лекционной аудитории. В конце концов он научился называть их по именам, когда они садятся на свои привычные места. Однако, встретив одного из них на улице в начале года, он почти никогда не вспоминает его имя, но может вспомнить место его владельца в аудитории, лица его соседей и, следовательно, его общее алфавитное положение; и тогда, обычно как общий ассоциат всех этих объединенных данных, имя студента всплывает в его памяти.

Отец хочет продемонстрировать гостям успехи своего довольно скучного ребенка в обучении в детском саду. Держа нож вертикально на столе, он спрашивает: "Как ты это называешь, мой мальчик?" "Я называю это *ножом*", - таков твердый ответ, от которого ребенка не удастся отклонить никаким изменением формы вопроса, пока отец, вспомнив, что в детском саду использовался карандаш, а не нож, не достает из кармана длинный карандаш, держит его таким же образом и получает желанный ответ: "Я называю его *вертикальным*". Все сопутствующие факторы детсадовского опыта должны были соединиться воедино, чтобы слово "вертикальный" вновь пробудилось.

Профессор Бейн в своих главах о "Сложных ассоциациях" подробно и исчерпывающе рассмотрел этот тип ментальной последовательности, и то, что он сделал так хорошо, не нужно здесь повторять.^[479]

Беспристрастная реинтеграция.

Идеальная работа закона составных ассоциаций, если бы она не была изменена никаким посторонним влиянием, была бы такова, чтобы держать ум на вечной беговой дорожке конкретных воспоминаний, из которых нельзя было бы упустить ни одной детали. Предположим, например, что мы начинаем думать о некоем званом ужине. Единственное, что все компоненты званого обеда могли бы объединить, чтобы вспомнить, - это первое конкретное событие, которое последовало за ним. Все детали этого события, в свою очередь, могут быть объединены только для того, чтобы пробудить следующее за ним событие, и так далее. Если, например, a, b, c, d, e - элементарные нервные пути, возбужденные последним актом званого ужина, назовем этот акт A , а l, m, n, o, p - те, которые мы можем назвать B , то мысль об A должна пробудить мысль о B , потому что a, b, c, d, e , каждый и все разрядятся в l через пути, по которым происходила их первоначальная разрядка. Точно так же они будут разряжаться в m, n, o и p ; и эти последние тракты также будут усиливать действие друг друга, потому что в опыте B они уже вибрировали в унисон. Линии на рис. 40 символизируют суммирование разрядов в каждый из компонентов B , и, следовательно, силу комбинации влияний, с помощью которых B в своей совокупности пробуждается.

Гамильтон впервые использовал слово "реинтеграция" для обозначения всех ассоциаций. Такие процессы, как мы только что описали, можно в полном смысле назвать реинтеграцией, поскольку они обязательно приведут, если не будут препятствовать, к восстановлению в мыслях *всего* содержания больших массивов прошлого опыта. От этой полной реинтеграции невозможно было бы спастись иначе, как через вторжение какого-то

нового и сильного впечатления в настоящее время или через чрезмерную склонность какого-то из элементарных мозговых трактов к самостоятельному разряду в аберрантной части мозга. Такова тенденция слова "наследник" в стихотворении из "Локсли Холл", которое было нашим первым примером. Как формируются такие тенденции, нам вскоре предстоит выяснить с особой тщательностью. Если их нет, панорама прошлого, открывшись, должна разворачиваться с фатальной буквальностью до самого конца, если только какой-нибудь внешний звук, взгляд или прикосновение не отклонят течение мысли.

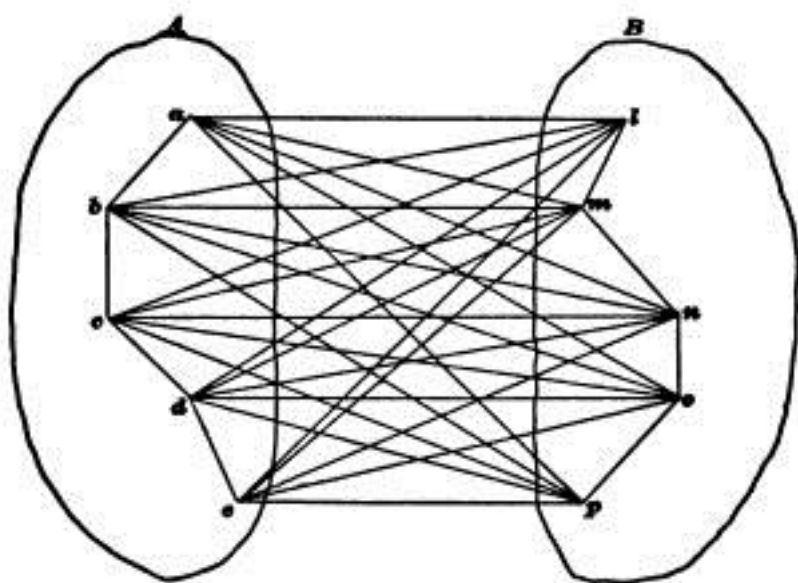


Рис. 40.

Назовем этот процесс *беспристрастной реинтеграцией*. Сомнительно, чтобы он когда-либо происходил в абсолютно завершенной форме. Однако все мы сразу же признаем, что в некоторых умах поток мыслей имеет гораздо большую тенденцию принимать такую форму, чем в других. Эти невыносимо болтливые старухи, эти сухие и нескладные существа, которые не жалеют ни одной детали, пусть даже мелкой, пересказываемых ими фактов, и на нить повествования которых все несущественные детали нанизываются так же настойчиво, как и существенные, рабы буквального факта, спотыкающиеся о малейший резкий шаг в мысли, - фигуры, известные каждому из нас. Комическая литература извлекает из них свою выгоду. Кормилица Джульетты - классический пример. Деревенские персонажи Джорджа Элиота и некоторые мелкие личности Диккенса служат прекрасными примерами.

Возможно, наиболее удачным воплощением этого психического типа является характер мисс Бейтс в романе мисс Остин "Эмма". Послушайте, как она реинтегрируется:

"Но где *вы* могли это услышать?" - кричала мисс Бейтс. "Где вы могли это слышать, мистер Найтли? Ведь не прошло и пяти минут с тех пор, как я получила записку миссис Коул - нет, не может быть больше пяти, по крайней мере, десяти, - я уже надела чепец и спенсер, готовая выйти, и только спустилась поговорить с Пэтти о свинине - Джейн стояла в проходе - не ты ли, Джейн? - Мама так боялась, что у нас нет достаточно большой кастрюли для засолки. Я сказала, что спущусь и посмотрю, а Джейн сказала: "Может, мне спуститься вместо тебя? Я думаю, ты немного простудилась, а Пэтти мыла кухню". "О, моя дорогая, - сказала я, - и тут как раз пришла записка. Мисс Хокинс - это все, что я знаю, - мисс Хокинс из Бата. Но,

мистер Найтли, как вы могли это услышать? Ведь в тот самый момент, когда мистер Коул рассказал об этом миссис Коул, она села и написала мне. Мисс Хокинс..."

Но в жизни каждого из нас бывают моменты, когда происходит полное воспроизведение всех элементов прошлого опыта. Что это за моменты? Это моменты эмоционального воспоминания о прошлом как о чем-то, что когда-то было, но навсегда ушло - моменты, интерес которых заключается в ощущении того, что наше "я" когда-то было другим, чем сейчас. В этом случае любая деталь, пусть даже самая незначительная, которая сделает картину прошлого более полной, также будет иметь свой эффект в набухании того полного контраста между *сейчас* и *тогда*, который составляет центральный интерес нашего созерцания.

ОБЫЧНАЯ ИЛИ СМЕШАННАЯ АССОЦИАЦИЯ.

Этот случай помогает нам понять, почему обычный спонтанный поток наших идей не следует закону беспристрастной реинтеграции. *Ни в одном случае возрождения прошлого опыта все элементы нашей мысли не действуют в равной степени при определении того, какой будет следующая мысль. Всегда какой-то компонент преобладает над остальными.* Его особые внушения или ассоциации в этом случае часто будут отличаться от тех, которые он имеет в целом по группе предметов; и его тенденция пробуждать эти отдаленные ассоциации будет отклонять путь наших размышлений. Как в первоначальном чувственном опыте наше внимание фокусировалось на нескольких впечатлениях от сцены, находящейся перед нами, так и здесь при воспроизведении этих впечатлений проявляется такая же пристрастность, и некоторые элементы выделяются над остальными. Что это будут за объекты, в большинстве случаев спонтанного переживания трудно определить заранее. В субъективных терминах мы говорим, что *препотентные объекты* - это те, которые вызывают у нас наибольший интерес.

Выражаясь мозговыми терминами, закон интереса будет звучать так: *какой-то один мозговой процесс всегда преобладает над сопутствующими ему в возбуждении действия в другом месте.*

"Два процесса, - говорит мистер Ходжсон, [480] , - постоянно происходят в процессе реинтеграции. Один - процесс коррозии, плавления, распада; другой - процесс обновления, возникновения, становления..... Ни один объект репрезентации не остается долго перед сознанием в одном и том же состоянии, но блекнет, распадается, становится неотчетливым. Однако те части объекта, которые представляют интерес, противостоят этой тенденции к постепенному распаду всего объекта..... Это неравенство в объекте - одни части, неинтересные, подчиняются распаду, другие, интересные, сопротивляются ему - когда оно продолжается в течение определенного времени, заканчивается превращением в новый объект".

Только там, где интерес одинаково распространяется на все части (как в эмоциональной памяти, о которой только что шла речь, где, как и все *прошрое*, они интересуют нас одинаково), этот закон отменяется. Меньше всего ему будут подчиняться те умы, которые имеют наименьшее разнообразие и интенсивность интересов - те, которые, в силу общей убогости и бедности своей эстетической природы, вечно вращаются среди буквальных последовательностей местной и личной истории.

Большинство из нас, однако, организовано лучше, чем это, и наши размышления идут неустойчивым курсом, постоянно отклоняясь в какую-то новую сторону, прослеживаемую изменчивой игрой интереса, когда он постоянно падает на какой-то частичный элемент в

каждом сложном представлении, которое вызывается. Так часто случается, что мы обнаруживаем, что думаем в два почти соседних момента о вещах, разделенных целым диаметром пространства и времени. И только когда мы внимательно вспоминаем каждый шаг наших размышлений, мы видим, как естественно мы переходили от одного к другому по закону Ходжсона. Так, например, взглянув на свои часы только что (1879), я обнаружил, что думаю о недавней резолюции Сената о наших законных банкнотах. Часы вызвали в памяти образ человека, который чинил их гонг. Он предложил ювелирную лавку, где я видел его в последний раз; эта лавка - несколько рубашек, которые я там купил; они - стоимость золота и его недавнее падение; последний - равную стоимость гринбеков, а это, естественно, вопрос о том, как долго они продержатся, и предложение Байярда. Каждый из этих образов представлял собой различные точки интереса. Те из них, которые стали поворотными пунктами моей мысли, легко определить. Гонг на мгновение стал самой интересной частью часов, потому что, начавшись с прекрасного тона, он стал диссонировать и вызвал разочарование. Если бы не это, часы могли бы навести на мысль о друге, который мне их подарил, или о любом из тысячи обстоятельств, связанных с часами. Ювелирная лавка навела на мысль о шпильках, потому что только они из всего ее содержимого были пронизаны эгоистическим интересом обладания. Этот интерес к шпилькам, их ценность, заставили меня выделить материал как главный источник и т. д. до конца. Каждый читатель, который в любой момент остановит себя и скажет: "Как это я додумался до такого?", непременно проследит цепочку представлений, связанных между собой линиями смежности и неразрывно сочетающимися точками интереса. Это обычный процесс ассоциации идей, который спонтанно происходит в обычном сознании. *Мы можем назвать его обычной, или смешанной, ассоциацией.*

Другой пример этого приводится Гоббсом в отрывке, который цитировался так часто, что стал классическим:

"В разговоре о нашей нынешней гражданской войне что может показаться более дерзким, чем спросить (как это сделал один человек), какова стоимость римского пенни? И все же связность, на мой взгляд, была достаточно очевидной. Ибо мысль о войне приводила к мысли о предании короля его врагам; мысль об этом приводила к мысли о предании Христа; а та - к мысли о тридцати пенсах, которые были ценой этой измены; и отсюда легко следовал этот злобный вопрос; и все это в одно мгновение, ибо мысль быстра".[\[481\]](#)

Можем ли мы определить, когда определенная часть идущей мысли, в силу своей заинтересованности, становится настолько сильной, что делает своих исключительных соратников доминирующими чертами грядущей мысли - можем ли мы, говорю я, определить, *кто* из ее соратников будет вызван? Ведь их множество. Как говорит Ходжсон:

"Интересные части распадающегося объекта вольны снова соединяться с любыми объектами или частями объектов, с которыми в любое время они уже соединялись. Все прежние комбинации этих частей могут вернуться в сознание; одна должна; но какая именно?"

Мистер Ходжсон отвечает:

"Ответ может быть только один: то, что *привычнее* всего сочеталось с ними раньше. Этот новый объект сразу же начинает формироваться в сознании и группировать свои части вокруг части, оставшейся от прежнего объекта; часть за частью выходит

и располагается на прежнем месте; но едва этот процесс начался, как первоначальный закон интереса начинает действовать на это новое образование, захватывает интересные части и навязывает их вниманию, исключая остальные, и весь процесс повторяется снова с бесконечным разнообразием. Я осмелюсь предложить это в качестве полного и правдивого описания всего процесса реинтеграции".

Ограничивая отток от интересного объекта тем каналом, который просто наиболее *привычен* в смысле наиболее частый, Ходжсон, безусловно, несовершенен. Образ далеко не всегда оживляет своего наиболее частого соратника, хотя частота, безусловно, является одним из наиболее мощных факторов, определяющих оживление. Если я резко произнесу слово "*ласточка*", читатель, если он по привычке орнитолог, подумает о птице; если физиолог или медик, специализирующийся на заболеваниях горла, он подумает о деглутинации. Если я скажу "*финик*", он, будучи торговцем фруктами или арабским путешественником, подумает о плодах пальмы; если он привык изучать историю, в его сознании возникнут цифры, перед которыми стоят а.д. или в.с. Если я скажу "*постель*", "*ванна*", "*утро*", то его ежедневный туалет будет непобедимо ассоциироваться с тремя привычными названиями. Но частые переходы часто сводятся на нет. Вид "Системы критической философии" К. Горинга чаще всего пробуждал во мне мысли о мнениях, изложенных в ней. Мысль о самоубийстве никогда не связывалась с этим томом. Но вот недавно, когда мой взгляд упал на них, в голове мелькнула мысль о самоубийстве. Почему? Потому что буквально вчера я получил письмо из Лейпцига, в котором сообщалось, что недавняя смерть этого философа от утопления была актом саморазрушения. Мысли имеют тенденцию пробуждать как своих недавних, так и самых привычных соратников. Это известный опыт, слишком известный, чтобы нуждаться в иллюстрациях. Если мы видели нашего друга сегодня утром, то при упоминании его имени вспоминаются скорее обстоятельства этой беседы, чем какие-то более отдаленные детали, касающиеся его. Если упоминаются пьесы Шекспира, а мы вчера вечером читали "Ричарда II", то в голове проплывают отголоски именно этой пьесы, а не "Гамлета" или "Отелло". Возбуждение особых трактатов или особые способы общего возбуждения мозга оставляют после себя некую нежность или возвышенную чувствительность, которая проходит через несколько дней. Пока это длится, эти тракты или эти режимы могут пробудить свою активность под влиянием причин, которые в другое время могли бы оставить их в покое. Таким образом, *давность* опыта является главным фактором, определяющим оживление мысли.^[482]

Яркость первоначального опыта также может иметь тот же эффект, что и привычка или рецидив, вызывая вероятность оживления. Если мы однажды стали свидетелями казни, любой последующий разговор или чтение о смертной казни почти наверняка вызовет в памяти образы этой конкретной сцены. Таким образом, события, пережитые лишь однажды и в юности, могут в последующие годы, в силу своего захватывающего качества или эмоциональной интенсивности, служить типами или примерами, используемыми нашим сознанием для иллюстрации любой возникающей темы, интерес к которой имеет самое отдаленное отношение. Если человек в детстве однажды беседовал с Наполеоном, то любое упоминание о великих людях или исторических событиях, битвах или тронах, водовороты судьбы или островах в океане будет вызывать в его памяти эпизоды той памятной беседы. Если сейчас на странице перед глазами читателя вдруг появится слово "*зуб*", есть пятьдесят шансов из ста, что, если он даст ему время пробудить какой-нибудь образ, это будет образ какой-нибудь стоматологической операции, в которой он сам пострадал. Ежедневно он трогал свои зубы и жевал ими; сегодня утром он чистил их, жевал свой завтрак и ковырялся в

них; но более редкие и отдаленные ассоциации возникают быстрее, потому что они были гораздо более интенсивными.[483]

Четвертый фактор в отслеживании хода воспроизведения - *соответствие эмоционального тона* между воспроизводимой идеей и нашим настроением. Одни и те же объекты не вызывают одинаковых ассоциаций, когда мы веселы, и когда мы меланхоличны. На самом деле нет ничего более поразительного, чем наша полная неспособность поддерживать поездку радостных образов, когда мы подавлены духом. Шторм, тьма, война, образы болезней, нищеты и гибели неустанно мучают воображение меланхоликов. А люди с сангвиническим темпераментом, когда у них приподнятое настроение, считают невозможным придать постоянство дурным предчувствиям или мрачным мыслям. В одно мгновение шлейф ассоциаций уносится к цветам и солнцу, к образам весны и надежды. Записи об арктических или африканских путешествиях, прочитанные в одном настроении, не вызывают никаких мыслей, кроме ужаса перед злобностью природы; прочитанные в другое время, они наводят лишь на восторженные размышления о неукротимой силе и мужестве человека. Немногие романы так переполнены радостным животным духом, как "Три гвардейца" Дюма. И все же он может пробудить в сознании читателя, страдающего морской болезнью (о чем писатель может свидетельствовать лично), самое мрачное и тоскливое сознание жестокости и кровавой расправы, в которой повинны герои Атоса, Портоса и Арамиса.

Таким образом, *привычка, повторяемость, яркость и эмоциональная конгруэнтность* - все это причины, по которым одно представление, а не другое, должно быть пробуждено интересной частью уходящей мысли. Мы можем с уверенностью сказать, что *в большинстве случаев приходящее представление будет либо привычным, либо недавним, либо ярким, и оно будет конгруэнтным*. Если все эти качества объединяются в каком-либо одном отсутствующем ассоциате, мы можем почти безошибочно предсказать, что этот ассоциат уходящей мысли станет важным компонентом приходящей мысли. Однако, несмотря на то, что последовательность представлений избавлена от совершенного индетерминизма и ограничена несколькими классами, характерные качества которых закреплены природой нашего прошлого опыта, следует признать, что огромное количество терминов в цепочке наших представлений не поддается никаким закономерностям. Возьмем пример с часами, приведенный на [странице 586](#). Почему в ювелирном магазине мне предложили шпильки, а не цепочку, которую я купил там совсем недавно, которая стоила дороже и чьи сентиментальные ассоциации были гораздо интереснее? И цепочка, и шпильки возбудили мозговые тракты одновременно с магазином. Единственная причина, по которой нервный поток из магазина-тракта переключился в шпильку-тракт, а не в цепочку-тракт, должна заключаться в том, что шпилька-тракт в этот момент оказалась более открытой, либо из-за какого-то случайного изменения в ее питании, либо потому, что зарождающиеся подсознательные напряжения мозга в целом так распределили свое равновесие, что здесь оно было более неустойчивым, чем в цепочке-тракте. Интроспекция любого читателя легко найдет подобные примеры. Таким образом, остается верным, что до некоторой степени даже в тех формах обычных смешанных ассоциаций, которые ближе всего к беспристрастной рединтеграции, возникновение интересного ассоциата должно быть названо в значительной степени делом случая - случая, то есть для нашего интеллекта. Несомненно, она определяется мозговыми причинами, но они слишком тонки и изменчивы для нашего анализа.

АССОЦИАЦИЯ ПО СХОДСТВУ.

При частичной или смешанной ассоциации мы все время предполагали, что интересная часть исчезающей мысли должна быть значительной по объему и достаточно сложной, чтобы сама по себе представлять конкретный объект. Сэр Уильям Гамильтон рассказывает, например, что, подумав о Бен-Ломонде, он обнаружил, что думает о прусской системе образования, и обнаружил, что связующими звеньями были немецкий джентльмен, которого он встретил на Бен-Ломонде, Германия и т. д. Интересная часть Бен-Ломонда, как он ее пережил, часть, действующая в определении хода его идей, была сложным образом конкретного человека. Но теперь предположим, что тот селективный орган заинтересованного внимания, который может таким образом превратить беспристрастную рединтеграцию в частичную ассоциацию, - предположим, что он еще более утончается и акцентирует часть проходящей мысли, настолько малую, что она уже не является образом конкретной вещи, а только абстрактного качества или свойства. Более того, предположим, что акцентированная таким образом часть сохраняется в сознании (или, говоря мозговым языком, продолжается в мозгу) после того, как другие части мысли исчезают. *Тогда эта небольшая уцелевшая часть окружит себя своими ассоциатами*, как мы уже видели, и отношение между объектом новой мысли и объектом угасшей мысли будет *отношением сходства*. Эта пара мыслей образует пример того, что называется "ассоциацией по сходству".[484]

Сходства, которые здесь ассоциируются или из которых первое следует за вторым в сознании, представляются *соединениями*. Опыт доказывает, что это всегда случай. *Нет никакой тенденции со стороны* простых "идей", атрибутов или качеств *напоминать нам о себе подобных*. Мысль об одном оттенке синего не напоминает нам о другом оттенке синего и т. д., если только мы не имеем в виду какую-то общую цель, например, назвать оттенок, когда мы, естественно, должны думать о других оттенках синего, через "смешанные ассоциации" цели, названия и оттенков вместе. Но не существует элементарной тенденции чистых качеств пробуждать в сознании их подобия.

В главе "Дискриминация" мы видели, что две составные вещи похожи, когда какое-то одно качество или группа качеств одинаково присущи им обоим, хотя в отношении других качеств у них может не быть ничего общего. Луна похожа на газовую струю, она также похожа на мяч для ходьбы; но газовая струя и мяч для ходьбы не похожи друг на друга. Когда мы утверждаем сходство двух составных вещей, мы всегда должны сказать, *в каком отношении оно проявляется*. Луна и газовая струя схожи в отношении светимости, и ни в чем другом; луна и ножной мяч - в отношении ротондированности, и ни в чем другом. Ножной мяч и газовая струя ни в каком отношении не похожи - то есть у них нет общей точки, нет одинакового атрибута. Сходство в соединениях - это частичное тождество. Когда *один и тот же* атрибут появляется в двух явлениях, хотя он является их единственным общим свойством, эти два явления сходны до сих пор. Вернемся теперь к нашим ассоциативным представлениям. Если мысль о луне сменяется мыслью о футбольном мяче, а та - мыслью об одной из железных дорог мистера Х, то это потому, что атрибут гнилости в луне оторвался от всех остальных и окружил себя совершенно новыми спутниками - упругостью, кожистым покровом, быстрой подвижностью, подчиняющейся человеческому капризу, и т. д.; и потому что последний из названных атрибутов в футбольном мяче, в свою очередь, отделился от своих компаньонов и, сохраняясь, окружил себя такими новыми атрибутами, которые составляют понятия "железнодорожного короля", растущего и падающего фондового рынка и тому подобное.

Постепенный переход от беспристрастной рединтеграции к аналогичной ассоциации через то, что мы называли обычной смешанной ассоциацией, можно символизировать с помощью

диаграмм. Рис. 41 - беспристрастная рединтеграция, рис. 42 - смешанная, а рис. 43 - сходная ассоциация. На каждом из них А - уходящая, Б - приходящая мысль. В "беспристрастном" случае все части А одинаково активны в вызове В. В "смешанном" большинство частей А инертны. Только часть М вырывается наружу и пробуждает В. В "подобном" фокусированная часть М гораздо меньше, чем в предыдущем случае, и после пробуждения своего нового набора ассоциатов, вместо того чтобы угаснуть самой, она продолжает упорно действовать вместе с ними, образуя идентичную часть в двух идеях, и делая их, *pro tanto*, похожими друг на друга.

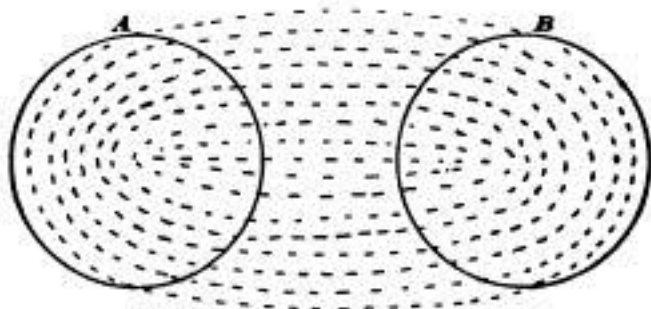


Рис. 41.

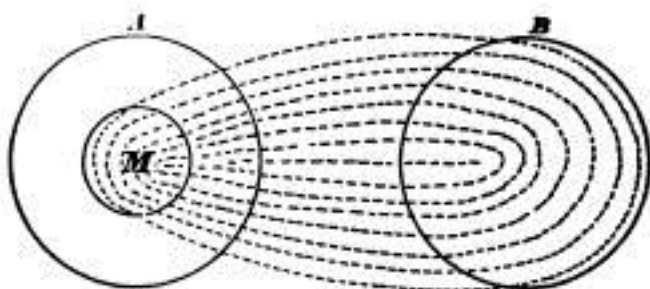


Рис. 42.

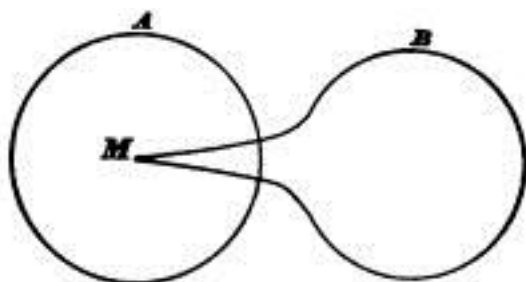


Рис. 43.

Почему одна часть проходящей мысли должна вырваться из согласования с остальными и действовать, как мы говорим, на собственном крючке, почему другие части должны стать инертными, - это тайна, которую мы можем установить, но не объяснить. Возможно, минимальное проникновение в законы нейронного действия когда-нибудь прояснит этот вопрос; возможно, нейронных законов будет недостаточно, и нам придется ссылаться на динамическую реакцию формы сознания на его содержание. Но сейчас мы не можем в это вдаваться.

Подводя итог, мы видим, что *различие между тремя видами ассоциаций сводится к простому различию в количестве той части нервного тракта, поддерживающей уходящую мысль, которая действует, вызывая приходящую мысль*. Но способ действия этой активной части один и тот же, будь она большой или маленькой. Предметы, составляющие грядущий объект, пробуждаются в каждом случае, потому что их нервные тяги когда-то возбуждались непрерывно вместе с нервными тягами идущего объекта или его действующей части. Этот высший физиологический закон привычки между нервными элементами и есть то, что *управляет поездом*. Направление его движения и форма его переходов, будь то рединтегративные, ассоциативные или подобные, обусловлены неизвестными регулирующими или детерминирующими условиями, которые достигают своего эффекта, открывая этот выключатель и закрывая тот, переводя двигатель иногда на половинную скорость, сцепляя или расцепляя вагоны.

Эта последняя фигура речи, в которую я невольно вклинился, сама по себе представляет прекрасный пример ассоциации по сходству. Я думал об отклонениях хода идей. Начиная со времен Гоббса и далее английские писатели любили говорить о ходе наших представлений. Это слово выделилось посреди моей сложной мысли с необычайно резким акцентом и окружило себя многочисленными деталями железнодорожных образов. Однако только те детали становились понятными, которые осаждались нервными тягами под двойным воздействием - с одной стороны, от *поезда*, с другой - от *движения мысли*. Возможно, преобладание предложений со словом "*поезд*" в этот момент было вызвано недавним возбуждением железнодорожного мозгового тракта примером, приведенным на нескольких страницах назад, когда король железной дороги играл в футбол с фондовым рынком.

Из такого примера становится ясно, насколько неразрывно связаны между собой все сопутствующие факторы, результат действия которых и является линией нашего размышления. В большинстве случаев было бы глупостью пытаться проследить их. Начиная с приведенного выше случая, когда стержнем подобной ассоциации стало конкретное слово "*поезд*", и заканчивая теми, где оно настолько тонко, что совершенно не поддается анализу, проход не прерывается. Мы можем привести ряд примеров. Когда мистер Бейджхот говорит, что разум дикаря, далекий от естественного состояния, *татуирован* чудовищными суевериями, это очень похоже на тот случай, который мы только что рассматривали. Когда сэр Джеймс Стивен сравнивает нашу веру в единообразие природы, соответствие будущего прошлому, с человеком, который гребет в одну сторону, а смотрит в другую, и управляет своей лодкой, держа ее корму на одной линии с объектом позади себя, оперативную связь становится сложнее вычленить. Еще более тонко звучит фраза доктора Холмса о том, что истории, передаваясь из уст в уста, делают большой зазор пропорционально своему продвижению вперед; или описание немецких предложений, данное мистером Лоуэллом, о том, что они имеют свойство рыскать и идти кормой вперед, не обращая внимания на штурвал в течение нескольких минут после того, как он был опущен. И наконец, это настоящая загадка, когда говорят, что бледно-голубой цвет имеет женское начало, а кроваво-красный - мужское. А если я слышу, как друг описывает какую-то семью как обладающую голосом *промокашки*, то образ, хотя и кажется сразу подходящим, озадачивает все способности к анализу. Высшие поэты используют резкие эпитеты, которые в равной степени интимны и далеки, и, как говорит Эмерсон, сладко мучают нас приглашениями в свои недоступные дома.

В этих последних случаях мы должны предположить, что в подобных объектах есть идентичная часть, и что ее мозговой тракт энергично функционирует, не будучи, однако, достаточно изолированным в своей деятельности, чтобы выделиться как *таковой* и

сформировать условие отчетливо различимой "абстрактной идеи". Мы не можем даже при тщательном поиске увидеть мост, по которому мы перешли от сердца одного представления к сердцу другого. В некоторых мозгах, однако, такой способ перехода встречается очень часто. Это было бы одним из самых важных физиологических открытий, если бы мы смогли определить механическое или химическое различие, которое заставляет мысли одного мозга держаться ближе к беспристрастной реинтеграции, в то время как мысли другого - метаться во всем беззаконном веселье сходства. Почему в этих последних мозгах действие должно быть склонно фокусироваться в небольших точках, в то время как в других оно терпеливо заполняет свое широкое ложе, кажется, невозможно угадать. Каким бы ни было различие, именно оно отделяет гениального человека от прозаического создания привычки и рутинного мышления. В главе XXII нам придется еще раз вернуться к этому вопросу.

АССОЦИАЦИЯ В ВОЛЕВОМ МЫШЛЕНИИ.

До сих пор мы предполагали, что процесс внушения одного объекта другому происходит спонтанно. Поезд образов блуждает по собственной воле, то ступая по трезвым канавкам привычки, то прыгая, скача и скача по всему полю времени и пространства. Это - задумчивость, или размышления; но огромные сегменты потока наших идей состоят из чего-то совсем иного. Ими руководит четкая цель или осознанный интерес. Как говорят немцы, мы *nachdenken*, или мыслим с определенной целью. Теперь необходимо рассмотреть, какие изменения происходят в поездах наших образов благодаря наличию цели. Ход наших мыслей можно назвать *добровольным*.

С точки зрения физиологии, мы должны предположить, что цель означает постоянную активность определенных, довольно определенных мозговых процессов на протяжении всего хода мысли. Наши самые обычные размышления не являются чистыми грезами, абсолютным дрейфом, а вращаются вокруг какого-то центрального интереса или темы, к которой относится большинство образов и к которой мы быстро возвращаемся после случайных отступлений. Этот интерес поддерживается постоянно активными мозговыми трактами, которые мы предполагали. В смешанных ассоциациях, которые мы до сих пор изучали, части каждого объекта, образующие стержни, на которых последовательно вращаются наши мысли, в значительной степени определяют свой интерес в связи с каким-то *общим интересом*, который на время овладел разумом. Если мы назовем *Z* мозговым трактом общего интереса, то, если появится объект *abc*, а у *b* будет больше ассоциаций с *Z*, чем у *a* или *c*, *b* станет интересной, стержневой частью объекта и будет вызывать исключительно свои собственные ассоциации. Ибо энергия мозгового тракта *b* будет усилена активностью *Z*, - активностью, которая, из-за отсутствия предыдущей связи между *Z* и *a* или *c*, не влияет на *a* или *c*. Если, например, я думаю о Париже, пока *голоден*, я несомненно обнаружу, что его *рестораны* стали стержнем моей мысли, и т. д., и т. п.

Но как в теоретической, так и в практической жизни существуют интересы более острого рода, принимающие форму определенных образов какого-то достижения, будь то действие или приобретение, которое мы хотим осуществить. Цепочка идей, возникающих под влиянием такого интереса, обычно представляет собой мысль о *средствах*, с помощью которых будет достигнута цель. Если цель своим простым присутствием не наводит на мысль о средствах, поиск последних превращается в интеллектуальную *проблему*. Решение проблем - наиболее характерный и своеобразный вид волевого мышления. Там, где целью является какой-то внешний поступок или выгода, решение в значительной степени состоит из фактических двигательных процессов, ходьбы, речи, письма и т. д., которые ведут к этому. Если цель вначале только идеальная, как, например, при планировании места работы, то шаги чисто воображаемые. В обоих этих случаях открытие средств может сформировать

новый вид цели, совершенно особой природы, а именно цель, которую мы сильно желаем, прежде чем достигнем ее, но природу которой, даже при самом сильном желании, мы не можем отчетливо представить. Такая цель - это проблема.

Такое же положение вещей возникает всякий раз, когда мы пытаемся вспомнить что-то забытое или изложить причину суждения, которое мы сделали интуитивно. Желание напрягается и давит в направлении, которое кажется ему правильным, но к точке, которую оно не в состоянии увидеть. Короче говоря, *отсутствие предмета* определяет наши представления настолько же позитивно, насколько позитивно может быть его присутствие. Пробел становится не просто пустотой, а тем, что называется *ноющей* пустотой. Если мы попытаемся объяснить в терминах действия мозга, как мысль, которая существует лишь потенциально, может быть эффективной, то, похоже, мы будем вынуждены поверить, что мозговой тракт должен быть действительно возбужден, но лишь минимальным и подсознательным образом. Попробуйте, например, представить себе, что происходит в человеке, который ломает голову, пытаясь вспомнить мысль, пришедшую ему в голову на прошлой неделе. Сопутствующие мысли присутствуют, по крайней мере, многие из них, но они отказываются пробудить саму мысль. Мы не можем предположить, что они *вообще* не проникают в его мозговой тракт, потому что его разум дрожит на самом краю ее восстановления. В ушах звучит его актуальный ритм; слова, кажется, вот-вот последуют за ним, но не успевают. Что именно блокирует разрядку и не дает мозговому возбуждению перейти из зарождающегося в яркое состояние, мы не можем предположить. Но в философии желания и удовольствия мы видим, что такие зарождающиеся возбуждения, спонтанно стремящиеся к крещендо, но подавляемые или сдерживаемые другими причинами, могут стать мощными психическими стимулами и детерминантами желания. Все вопросы, удивление, эмоции любопытства должны быть отнесены к церебральным причинам, имеющим некоторую подобную форму. Огромное различие между попыткой вспомнить забытое и поиском средств для достижения определенной цели заключается в том, что последние не являются частью нашего опыта, в то время как первые уже сформировали его. Если мы сначала изучим *способ вспоминания забытой вещи*, то сможем с большим пониманием отнестись к добровольному поиску неизвестного.

Забытая вещь ощущается нами как пробел в ряду других вещей. Если это мысль, то мы имеем смутное представление о том, где мы находились и о чем думали, когда она пришла нам в голову. Мы помним общую тему, к которой она относится. Но все эти детали отказываются складываться в единое целое из-за отсутствия ярких черт этой отсутствующей мысли, связь которой с каждой деталью составляет теперь главный интерес последней. Мы продолжаем перебирать детали в уме, неудовлетворенные, жаждущие чего-то большего. От каждой детали исходят линии ассоциаций, образующие множество предварительных догадок. Многие из них сразу же становятся неважными, лишаются интереса и тут же исчезают из сознания. Другие связаны с другими присутствующими деталями, а также с отсутствующей мыслью. Когда *они* всплывают, у нас возникает своеобразное ощущение, что мы "согрелись", как говорят дети, играя в прятки; и за такие ассоциации мы хватаемся и удерживаем внимание. Таким образом, мы последовательно вспоминаем, что когда у нас возникла мысль, о которой идет речь, мы были за обеденным столом; затем, что там был наш друг Дж. Д.; затем, что тема разговора была такой-то и такой-то; наконец, что мысль пришла *à propos* определенного анекдота, а затем, что она имела отношение к французской цитате. Все эти дополнительные ассоциации *возникают независимо от воли*, в результате спонтанного процесса, который мы так хорошо знаем. *Все, что делает воля, - это подчеркивает и задерживается на тех, которые кажутся уместными, и игнорирует остальные.* Благодаря такому зависанию внимания вблизи желаемого объекта, накопление

ассоциаций становится настолько большим, что совокупное напряжение их нервных процессов прорывает барьер, и нервная волна вливается в тракт, который так долго ждал ее появления. И когда ожидание, подсознательный зуд там вырывается в полноту ярких ощущений, разум обретает невыразимое облегчение.

Весь этот процесс можно грубо символизировать в виде схемы. Назовем забытую вещь Z, первые факты, с которыми мы почувствовали ее связь, - a, b и c, а детали, которые в конце концов помогли ее вызвать, - l, m и n. Каждый кружок будет обозначать мозговой процесс, лежащий в основе мысли об объекте, обозначенном буквой, которая в нем содержится. Сначала активность в Z будет просто напряженной; но поскольку активность в a, b и c мало-помалу переходит в l, m и n, и поскольку все эти процессы так или иначе связаны с Z, их совместное воздействие на Z, представленное центрострелками, помогает напряжению преодолеть сопротивление и пробудить Z к полной активности.

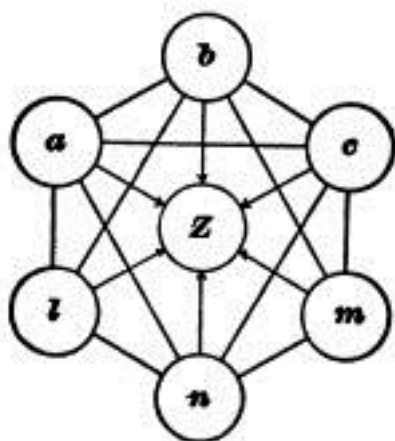


Рис. 44.

Напряжение, присутствующее с самого начала в Z, даже если оно остается ниже порога разрядки, вероятно, в какой-то степени сотрудничает с a, b, c в определении того, что l, m, n должны проснуться. Без напряжения Z могло бы происходить более медленное накопление объектов, связанных с ним. Но, как уже говорилось выше, объекты появляются перед нами по собственным законам мозга, и Эго мыслителя может оставаться наготове только для того, чтобы распознавать их относительную ценность и размышлять над некоторыми из них, в то время как другие отбрасываются. Как при потере материального объекта мы не можем вернуть его прямым усилием, а лишь перемещаемся по окрестностям, где он может лежать, и верим, что он попадется нам на глаза; так и здесь, не позволяя нашему вниманию покинуть окрестности того, что мы ищем, мы верим, что в конце концов оно само заговорит с нами.[\[485\]](#)

Переходим к случаю поиска неизвестного средства для достижения четко поставленной цели. Здесь цель стоит на месте a, b, c на схеме. Она является отправной точкой иррадиации внушения; и здесь, как и в том случае, волевое внимание делает только то, что отбрасывает некоторые из внушений как не относящиеся к делу, и удерживает другие, которые считаются более уместными - пусть они символизируются l, m, n. Эти последние, наконец, накапливаются достаточно, чтобы разрядиться все вместе в Z, возбуждение которого в психической сфере эквивалентно решению нашей проблемы. Единственное отличие этого

случая от предыдущего состоит в том, что в этом случае не нужно никакого первоначального субвозбуждения в Z, сотрудничающего с самого начала. Когда мы ищем забытое имя, мы должны предположить, что центр имени с самого начала находится в состоянии активного напряжения, из-за того особого чувства *узнавания*, которое мы получаем в момент воспоминания. Обилие мысли кажется здесь лишь максимальной степенью чего-то, что наш разум предвидел заранее. Она мгновенно заполняет гнездо, полностью сформированное в соответствии с его формой; и кажется наиболее естественным приписать идентичность качества в нашем ощущении зияющего гнезда и в нашем ощущении того, что приходит, чтобы заполнить его, одинаковости нервных путей, возбужденных в разной степени. При решении проблемы, напротив, осознание того, что мы нашли средства, происходит гораздо менее мгновенно. Здесь то, что мы знаем заранее, - это его отношения с уже известными нам предметами. Оно должно иметь причинно-следственную связь, или быть эффектом, или содержать атрибут, общий для двух предметов, или быть единообразным сопутствующим элементом, или что-либо еще. Короче говоря, мы знаем о нем многое, но пока не имеем представления о *знакомстве* с ним (см. [с. 221](#)), или, говоря языком мистера Ходжсона, "мы заранее знаем то, что хотим найти, в определенном смысле, в его втором намерении, и не знаем этого, в другом смысле, в его первом намерении".^[486] Наша интуиция того, что одна из возникающих идей является, наконец, нашим *quæsitum*, обусловлена нашим признанием того, что ее отношения идентичны тем, которые мы имели в виду, и это может быть довольно медленным актом суждения. На самом деле, каждый знает, что объект может некоторое время присутствовать в его сознании, прежде чем будут восприняты его отношения с другими вещами. Снова процитируем Ходжсона:

"Способ действия является общим для волевой памяти и рассудка..... Но рассудок добавляет к памяти функцию сравнения или оценки возникающих образов..... Память стремится заполнить пробел образом, который в определенное время заполнил его раньше, рассуждение - образом, который имеет определенные временные и пространственные отношения к образам до и после".

или, выражаясь более понятным языком, с тем, который находится в определенных логических отношениях к тем данным вокруг пробела, которые заполнили наш разум в самом начале. Это ощущение пустой формы отношений до того, как мы получим материальное качество того, о чем идет речь, не удивит никого, кто читал [главу IX](#).

Начиная с отгадывания газетных загадок и заканчивая выстраиванием политики империи, нет иного процесса, кроме этого. Мы полагаемся на законы мозговой природы, которые спонтанно преподносят нам соответствующую идею:

"Наша единственная власть над ней - это усилие, которое мы прилагаем, чтобы сохранить болезненную незаполненную брешь в сознании".^[487] ... Важно отметить два обстоятельства: первое - воля не способна вызывать образы, а только отвергать и выбирать из тех, что предлагаются спонтанной реинтеграцией.^[488] Но быстрота, с которой осуществляется этот отбор, благодаря знакомству с путями спонтанной реинтеграции, придает процессу рассуждения видимость вызывания образов, которые предвидятся как соответствующие цели. Их нельзя увидеть до того, как они будут предложены; их нельзя вызвать до того, как они будут увидены. Другое обстоятельство заключается в том, что всякое рассуждение в своей простейшей форме есть не что иное, как внимание".^[489]

Мы не ставим перед собой цель вдаваться в подробный анализ различных классов умственных занятий. В научном исследовании мы получаем, пожалуй, столь богатый пример,

какой только можно найти. Исследователь начинает с факта, для которого он ищет причину, или с гипотезы, для которой он ищет доказательства. В любом случае он продолжает непрерывно крутить этот вопрос в голове, пока, вызывая ассоциацию за ассоциацией, не возникнет какой-то привычный, похожий вариант, который он признает соответствующим его потребностям. На это, однако, могут уйти годы. Невозможно дать правила, по которым исследователь мог бы сразу прийти к результату; но и здесь, и в случае с реминисценцией накопление помощи в виде ассоциаций может продвигаться быстрее при использовании определенных рутинных методов. Например, пытаясь вспомнить какую-то мысль, мы можем целенаправленно пробежаться по последовательным классам обстоятельств, с которыми она могла быть связана, полагаясь на то, что, когда нужный член класса окажется на месте, это поможет оживить мысль. Таким образом, мы можем пробежаться по всем *местам*, где она могла возникнуть. Мы можем перебирать в памяти *людей*, с которыми, как мы помним, общались, или последовательно вызывать в памяти все *книги*, которые мы читали в последнее время. Если мы пытаемся вспомнить человека, мы можем просмотреть список улиц или профессий. Какой-то пункт из методично просматриваемых списков, скорее всего, будет ассоциироваться с тем, в чем мы нуждаемся, и может подсказать или помочь это сделать. И все же этот пункт мог бы никогда не возникнуть без такой систематической процедуры. В научных исследованиях это накопление ассоциаций было методизировано Миллем под названием "Четыре метода экспериментального исследования". По "методу согласия", по "методу различия", по "методу остатков" и "сопутствующих вариаций" (которые здесь невозможно определить более точно) мы составляем определенные списки случаев; и, обдумывая эти списки в уме, мы с большей вероятностью обнаружим искомую причину. Но последний штрих открытия только подготавливается, а не совершается ими. Мозговые тракты должны по собственному желанию наконец выстрелить в нужную сторону, иначе мы так и будем блуждать во тьме. То, что в некоторых мозгах тракты стреляют в нужную сторону гораздо чаще, чем в других, и что мы не можем сказать, почему, - это окончательные факты, на которые мы никогда не должны закрывать глаза. Даже составляя списки примеров в соответствии с методами Милля, мы находимся во власти спонтанной работы сходства в нашем мозгу. Как можно объединить в список несколько фактов, похожих на тот, причину которого мы ищем, если один из них не будет быстро наводить на мысль о другом через ассоциацию по сходству?

СХОДСТВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ ЗАКОНОМ.

Таков предлагаемый мною анализ сначала трех основных типов спонтанной ассоциации, а затем добровольной ассоциации. Следует заметить, что вызываемый *объект может иметь любое логическое отношение к тому, который его предложил*. Закон требует лишь выполнения одного условия. Угасание объекта должно быть обусловлено мозговым процессом, некоторые элементы которого пробуждаются благодаря привычке некоторых элементов мозгового процесса к объекту, который попадает в поле зрения. Это пробуждение является оперативным механизмом, причинным агентством, на протяжении всего времени, в той разновидности ассоциации, которую я назвал именем сходства, как и в любой другой разновидности. Сходство между объектами или между мыслями (если сходство между ними существует) не имеет причинной силы в переносе нас от одного к другому. Это всего лишь результат - действие обычного каузального агента, когда он действует определенным конкретным образом. Но обычные писатели говорят так, будто сходство объектов само по себе является агентом, координируемым с привычкой и независимым от нее, и подобно ей способным подталкивать объекты перед разумом. Это совершенно непонятно. Сходство двух вещей не существует, пока обе вещи не существуют - бессмысленно говорить о нем как об *агенте производства* чего-либо, будь то в физической или психической сферах.[\[490\]](#) Это

отношение, которое разум воспринимает после факта, точно так же, как он может воспринимать отношения превосходства, расстояния, причинности, контейнера и содержания, субстанции и случайности или контраста между объектом и каким-то вторым объектом, который вызывает ассоциативный механизм.[491]

Тем не менее, есть умелые авторы, которые не только настаивают на сохранении ассоциации по сходству как отдельного элементарного закона, но и делают его самым элементарным законом и стремятся вывести из него ассоциацию по смежности. Они рассуждают следующим образом: Когда настоящее впечатление *A* пробуждает идею *b* своего прошлого смежного ассоциата *B*, как это может произойти, кроме как через оживление образа *a* его собственного прошлого появления. *Это* термин, непосредственно связанный с *b*; так что процесс, вместо того чтобы быть просто *A-b*, является *A-a-b*. Теперь *A* и *a* похожи; поэтому никакая ассоциация по смежности не может возникнуть иначе, как через предшествующую ассоциацию по сходству. Самое важное предположение здесь состоит в том, что каждое впечатление, попадая в ум, должно с необходимостью пробуждать образ своего прошлого "я", в свете которого оно "апперципируется" или понимается, и через посредничество которого оно вступает в отношения с другими объектами ума. Это предположение принято почти повсеместно, и все же трудно найти для него какие-либо веские основания. Впервые оно возникло перед нами, когда мы рассматривали факты афазии и умственной слепоты (см. с. 50 и далее). Но тогда мы не видели необходимости в оптических и слуховых образах для интерпретации оптических и слуховых ощущений. Напротив, мы согласились, что слуховые ощущения понимаются нами лишь постольку, поскольку они пробуждают неслуховые образы, а оптические ощущения - лишь постольку, поскольку они пробуждают неоптические образы. В главах о памяти, о рассуждении и о восприятии то же самое предположение встретится нам снова, и снова его придется отвергнуть как необоснованное. Сенсационный процесс *A* и идеологический процесс *a*, вероятно, занимают в основном одни и те же участки. Когда приходит внешний стимул и эти тракты вибрируют от ощущения *A*, они так же непосредственно разряжаются в пути, ведущие к *B*, как и тогда, когда внешнего стимула нет и они вибрируют только от идеи *a*. Сказать, что процесс *A* может достичь этих путей только с помощью более слабого процесса *a*, все равно что сказать, что нам нужна свеча, чтобы видеть солнце. *A* заменяет *a*, делает все то, что делает *a*, и даже больше; и, на мой взгляд, нет никакого разумного смысла в том, чтобы сказать, что более слабый процесс сосуществует с более сильным. Поэтому я считаю, что эти авторы совершенно неправы. Единственное правдоподобное доказательство сосуществования *a* с *A*, которое они приводят, - это когда *A* вызывает у нас *чувство знакомости*, но не пробуждает никаких отчетливых мыслей о прошлых смежных ассоциациях. В одной из последующих глав я рассмотрю этот случай. Здесь я довольствуюсь тем, что скажу, что он не кажется убедительным в отношении рассматриваемого вопроса; и что я по-прежнему считаю ассоциацию сосуществующих или последовательных впечатлений одним элементарным законом.

Контраст *также считается независимым агентом в ассоциации*. Но воспроизведение объекта, контрастирующего с уже имеющимся в сознании, легко объясняется на основе наших принципов. Последние авторы, по сути, все сводят его либо к сходству, либо к смежности. Контраст всегда предполагает родовое сходство; противопоставляются только *крайности класса*, черное и белое, а не черное и кислое, или белое и колючее. Механизм, воспроизводящий сходное, может воспроизвести и *противоположное сходное*, а также любое промежуточное понятие. Кроме того, большее количество контрастов привычно

сочетается в речи: молодой и старый, жизнь и смерть, богатый и бедный и т. д., и, как говорит доктор Бейн, хранится в памяти каждого.[492]

Я верю, что студент теперь почувствует, что путь к более глубокому пониманию порядка наших идей лежит в направлении физиологии головного мозга. *Элементарный* процесс оживления не может быть ничем иным, как законом привычки. Воистину далек тот день, когда физиологи действительно проследят от группы клеток к группе клеток те облучения, на которые мы гипотетически ссылались. Возможно, он никогда не наступит. Кроме того, используемый нами схематизм взят непосредственно из анализа объектов на их элементарные части и лишь по аналогии распространен на мозг. И, тем не менее, только будучи включенным в мозг, такой схематизм может представлять что-либо *каузальное*. Это, на мой взгляд, является убедительным основанием для утверждения, что порядок *представления материалов разума* обусловлен исключительно физиологией мозга.

Закон случайного преобладания одних процессов над другими также относится к сфере церебральных вероятностей. Если допустить такую нестабильность, какой требует мозговая ткань, то определенные точки всегда должны разряжаться быстрее и сильнее, чем другие; и эта преобладающая сила будет менять свое место от момента к моменту по случайным причинам, давая нам совершенную механическую диаграмму капризной игры подобных ассоциаций в самом одаренном разуме. Изучение сновидений подтверждает эту точку зрения. Обычное обилие путей облучения кажется в спящем мозге уменьшенным. Лишь несколько из них остаются неизменными, и самые фантастические последовательности возникают потому, что токи пробегают - "как искры в сгоревшей бумаге" - везде, где питание момента создает отверстие, но нигде больше.

Эффекты заинтересованного внимания и воления остаются. Эти виды деятельности, кажется, держатся за определенные элементы и, подчеркивая их и зацкливаясь на них, делают их ассоциациями, которые вызываются только ими. *Это* та точка, на которой антимеханическая психология должна, если вообще должна, стоять в вопросе об ассоциациях. Все остальное, безусловно, обусловлено мозговыми законами. Мое собственное мнение по вопросу об активном внимании и духовной спонтанности изложено в другом месте. Но даже если существует психическая спонтанность, она, конечно, не может создавать идеи или вызывать их *ex abrupto*. Ее сила ограничена *выбором* среди тех, которые ассоциативный механизм уже представил или стремится представить. Если он может подчеркнуть, усилить или задержать на секунду одну из них, он может сделать все, что может потребовать самый ярый сторонник свободы воли; ведь тогда он определяет направление следующих ассоциаций, заставляя их зависеть от подчеркнутого термина; и определяя таким образом ход мышления человека, он определяет и его поступки.

ИСТОРИЯ МНЕНИЙ ОБ АССОЦИАЦИИ

Прежде чем закончить эту главу, можно кратко остановиться на истории мнений об ассоциации.[493] Аристотель, похоже, уловил и факты, и принцип объяснения; но он не стал расширять свои взгляды, и только во времена Гоббса этот вопрос был вновь затронут определенным образом. Гоббс впервые сформулировал проблему последовательности наших мыслей. В "Левиафане", глава iii, он пишет следующее:

"Под следствием, или вереницей мыслей, я понимаю ту последовательность одной мысли за другой, которую называют, чтобы отличить ее от рассуждения словами, *умственным рассуждением*. Когда человек думает о чем бы то ни было, его следующая за этим мысль вовсе не так случайна, как кажется. Не всякая мысль к всякой мысли приходит безразлично. Но как у нас нет воображения, которого мы раньше не ощущали, целиком или по частям, так и у нас нет перехода от одного воображения к другому, подобного которому мы никогда не имели в наших чувствах. Причина этого заключается в следующем. Все фантазии - это движения внутри нас, реликты тех, что совершались в чувстве: и те движения, которые сразу же сменяли друг друга в чувстве, продолжают и после чувства: так как первые снова происходят и преобладают, вторые следуют за ними, по согласованности движимой материи, подобно тому, как вода на плоском столе тянется в ту сторону, куда ведет палец ту или иную ее часть. Но поскольку в чувстве к одной и той же воспринимаемой вещи иногда примешивается то одно, то другое, то со временем получается, что, представляя себе что-либо, нет никакой уверенности в том, что мы представим себе в следующий момент; несомненно только одно: это будет нечто, что предшествовало тому же самому в то или иное время. Эта череда мыслей, или мысленное рассуждение, бывает двух видов. Первый - *неуправляемый, бесцельный* и непостоянный; в нем нет страстной мысли, которая бы управляла и направляла те, что следуют за ним, к себе, как к цели и сфере действия какого-то желания или другой страсти. Вторая более постоянна, поскольку *регулируется* каким-то желанием и замыслом. Ибо впечатление, производимое такими вещами, как желание или страх, сильно и постоянно, или, если оно прекращается на время, быстро возвращается: так сильно оно иногда, что мешает и нарушает наш сон. Из желания возникает мысль о каком-то средстве, которое, как мы видели, производит подобие того, к чему мы стремимся; а из мысли об этом - мысль о средствах к этому средству; и так постоянно, пока мы не придем к какому-то началу в пределах наших собственных сил. А поскольку цель, в силу величия впечатления, часто приходит на ум, то, если наши мысли начинают блуждать, они быстро снова становятся на путь: что заметил один из семи мудрецов и дал людям это избитое ныне наставление - *Respite finem*; то есть во всех своих действиях часто смотри на то, что ты хотел бы иметь, как на то, что направляет все твои мысли на путь к достижению этого.

"Поезд регулируемых мыслей бывает двух видов; один - когда мы представляем себе эффект, мы ищем причины или средства, которые его производят: это свойственно и человеку, и животному. Другое дело, когда мы представляем себе что-либо, мы ищем все возможные последствия, которые могут быть произведены этим; то есть мы представляем себе, что мы можем сделать с этим, когда оно у нас есть. Этого я ни разу не видел, но только у человека; ибо это диковинка, вряд ли свойственная природе любого живого существа, у которого нет других страстей, кроме чувственных, таких как голод, жажда, похоть и гнев. В общем, рассуждения разума, когда им управляет замысел, есть не что иное, как *поиск* или способность к изобретению, которую латиняне называли *sagacitas* и *sollertia*; выискивание причин какого-то следствия, настоящего или прошлого, или следствий какой-то настоящей или прошлой причины".

Наиболее важным после этого отрывка Гоббса является отрывок Юма:

"Поскольку все простые идеи могут быть разделены воображением и могут быть снова соединены в той форме, в какой ему заблагорассудится, ничто не было бы более необъяснимым, чем действия этой способности, если бы она не

руководствовалась некоторыми универсальными принципами, которые делают ее в какой-то мере единой с самой собой во все времена и во всех местах. Если бы идеи были совершенно свободны и не связаны между собой, их соединил бы только случай; и невозможно, чтобы одни и те же простые идеи регулярно превращались в сложные (как это обычно бывает) без какого-то союза между ними, какого-то ассоциирующего качества, благодаря которому одна идея естественным образом вливается в другую. Этот объединяющий принцип между идеями не следует рассматривать как неразрывную связь, ибо это уже было исключено из воображения. Мы также не должны заключать, что без него разум не может соединить две идеи, ибо нет ничего более свободного, чем эта способность: но мы должны рассматривать его только как нежную силу, которая обычно преобладает и является причиной того, что, среди прочего, языки так близко соответствуют друг другу; природа, таким образом, указывает каждому на те простые идеи, которые наиболее подходят для объединения в сложные. Качества, из которых возникает эта ассоциация и благодаря которым разум переходит от одной идеи к другой, три: сходство, смежность во времени или месте, причина и следствие.

"Я полагаю, нет необходимости доказывать, что эти качества порождают ассоциации между идеями и при появлении одной идеи естественным образом вводят другую. Очевидно, что в процессе нашего мышления и постоянной смены идей наше воображение легко переходит от одной идеи к любой другой, *похожей на нее*, и что только это качество является для воображения достаточной связью и ассоциацией. Очевидно также, что, поскольку органы чувств, меняя свои объекты, вынуждены регулярно менять их и воспринимать их так, как они лежат *рядом* друг с другом, воображение должно по давнему обычаю приобрести тот же способ мышления и бегать по частям пространства и времени, представляя себе свои объекты. Что же касается связи, которую устанавливает отношение *причины и следствия*, то впоследствии у нас будет случай исследовать ее до конца, и поэтому сейчас мы не будем на ней настаивать. Достаточно заметить, что нет такой связи, которая производила бы в воображении более прочную связь и заставляла бы одну идею с большей готовностью вызывать другую, чем связь причины и следствия между их объектами..... Таким образом, это принципы объединения или сцепления между нашими простыми идеями, и в воображении они занимают место той неразрывной связи, которой они объединены в нашей памяти. Вот вид Притяжения, который в ментальном мире, как выяснится, имеет столь же экстраординарные эффекты, как и в естественном, и проявляет себя в столь же многочисленных и разнообразных формах. Его эффекты повсюду заметны; но что касается его причин, то они в основном неизвестны и должны быть сведены к *изначальным* качествам человеческой природы, которые я не берусь объяснить".[494]

Однако Хьюм, как и Гоббс, не стал проследживать следствия, о которых он говорит, и задача популяризации понятия ассоциации и создания эффективной школы, основанной только на ассоциации идей, была возложена на Хартли[495] и Джеймса Милля.[496] Эти авторы детально проследили присутствие ассоциации во всех кардинальных понятиях и операциях ума. Несколько "факультетов" разума были отброшены; единый принцип ассоциации между идеями делал всю их работу. Как говорит Пристли:

"Для того чтобы сделать человека тем, кем он является, не требуется ничего, кроме разумного принципа с этим единственным законом". Не только все наши интеллектуальные удовольствия и боли, но и все феномены памяти, воображения,

воления, рассуждения и всех других умственных привязанностей и операций, являются лишь различными способами или случаями ассоциации идей".[497]

Выдающийся французский психолог М. Рибо повторяет сравнение Юмом закона ассоциации с законом тяготения и продолжает:

"Примечательно, что это открытие было сделано так поздно. Нет ничего проще, чем заметить, что этот закон ассоциации - действительно фундаментальный, неустрашимый феномен нашей психической жизни; что он лежит в основе всех наших действий; что он не допускает никаких исключений; что без него не могут существовать ни сон, ни отдых, ни мистический экстаз, ни самые абстрактные рассуждения; что его подавление было бы равносильно подавлению самой мысли. Тем не менее ни один древний автор не понимал этого, ибо нельзя всерьез утверждать, что несколько разрозненных строк Аристотеля и стоиков представляют собой теорию и ясный взгляд на предмет. Именно Гоббсу, Юму и Хартли мы должны приписать возникновение этих исследований о связи наших идей. Открытие конечного закона наших психологических актов имеет, таким образом, общие черты со многими другими открытиями: оно пришло поздно и кажется настолько простым, что может справедливо удивить нас.

"Возможно, не лишним будет спросить, в чем этот способ объяснения превосходит существующую теорию факультетов.[498] Наиболее расширенное использование состоит, как мы знаем, в разделении интеллектуальных явлений на классы, в выделении тех, которые различаются, в группировке тех, которые имеют одинаковую природу, в присвоении им общего названия и в приписывании их одной и той же причине; именно таким образом мы пришли к выделению тех различных аспектов интеллекта, которые называются суждением, рассуждением, абстракцией, восприятием и т.д. Этот метод точно такой же, как и в физике, где слова "калория", "электричество", "гравитация" обозначают неизвестные причины определенных групп явлений. Если, таким образом, никогда не забывать, что различные способности - это только неизвестные причины известных явлений, что они - просто удобное средство классификации фактов и разговора о них, если не впадать в общую ошибку, делая из них существенные сущности, создания, которые то соглашаются, то расходятся, образуя в интеллекте маленькую республику; тогда мы не видим ничего предосудительного в этом распределении по способностям, соответствующем правилам разумного метода и хорошей естественной классификации. В чем же тогда процедура мистера Бейна превосходит метод факультетов? В том, что последний является просто *классификацией*, а его - *объяснением*. Между психологией, которая прослеживает интеллектуальные факты до определенных способностей, и той, которая сводит их к единому закону ассоциации, существует, согласно нашему образу мышления, такая же разница, какую мы находим в физике между теми, кто приписывает ее явления пяти или шести причинам, и теми, кто выводит гравитационную калорию, свет и т. д. из движения. Система факультетов ничего не объясняет, потому что каждый из них - это всего лишь *flatus vocis*, имеющий ценность только благодаря явлениям, которые он содержит, и не означающий ничего больше, чем эти явления. Новая теория, напротив, показывает, что различные процессы интеллекта - это лишь различные случаи одного закона; что воображение, дедукция, индукция, восприятие и т. д. - это лишь множество определенных способов, с помощью которых идеи могут сочетаться друг с другом; и что различия между способностями - это лишь различия в ассоциации. Она *объясняет* все интеллектуальные факты, конечно, не так, как

метафизика, которая требует конечной и абсолютной причины вещей, а так, как физика, которая ищет только их вторичную и непосредственную причину".[499]

Неопытный читатель может быть рад краткому указанию на то, каким образом все различные умственные операции могут быть представлены как образы ощущений, связанные вместе.

Память - это ассоциация настоящего образа с другими, которые, как известно, принадлежат прошлому. *Ожидание* - то же самое, с заменой будущего на прошлое. *Фантазия* - ассоциация образов без временного порядка.

Вера в то, что *не* является чувством, - это очень живая, сильная и устойчивая ассоциация образа этой вещи с некоторым настоящим ощущением, так что пока ощущение сохраняется, образ не может быть исключен из сознания.

Суждение - это "перенос идеи *истины* по ассоциации с одной пропозиции на другую, похожую на нее".[500]

Разум - это представление о том, что "все, что имеет какой-либо знак, имеет и то, знаком чего оно является"; в конкретном случае знак или средний термин всегда *связан* с каждым из других терминов и служит связующим звеном, благодаря которому они сами косвенно связаны друг с другом. Этот же вид переноса чувственного опыта, связанного с другим, на третий, также связанный с этим другим, служит для объяснения эмоциональных фактов. Когда нам приятно или больно, мы выражаем это, и выражение ассоциируется с чувством. Услышав такое же выражение от другого, мы оживляем связанное с ним чувство и *сочувствуем*, то есть огорчаемся или радуемся вместе с ним.

Другие социальные привязанности, *благожелательность*, *совестливость*, *честолюбие* и т. д., возникают подобным образом путем переноса телесного удовольствия, испытываемого в награду за социальное служение и, следовательно, связанного с ним, на сам акт служения, при этом связь с вознаграждением отпадает. Точно так же и *скупость*, когда скупец переносит телесное удовольствие, связанное с тратой денег, на сами деньги, отбрасывая связь с тратой.

Страх - это перенос телесной боли, связанной по опыту с тем, чего бояться, на мысль об этом предмете, при этом точные черты боли остаются в стороне. Так, мы боимся собаки, не представляя себе ее укус.

Любовь - это ассоциация приятности определенных чувственных переживаний с представлением об объекте, способном их дать. Сами переживания могут перестать быть отчетливо представляемыми после того, как представление об их приятности будет перенесено на объект, что и составляет нашу любовь к нему.

Волевое усилие - это ассоциация представлений о мышечном движении с представлениями о тех удовольствиях, которые это движение доставляет. Сначала движение происходит автоматически и приводит к непредвиденному удовольствию. Последнее становится настолько связанным с движением, что всякий раз, когда мы думаем о нем, возникает идея движения; а идея движения, когда оно ярко выражено, вызывает движение. Это и есть акт воли.

Для философа этой школы нет ничего проще, чем объяснить на основе опыта такое понятие, как бесконечность.

"Он видит в нем обычное проявление одного из законов ассоциации идей - закона, согласно которому представление о какой-либо вещи непреодолимо влечет за собой представление о любой другой вещи, которая часто переживалась в тесной связи с ней, а не иначе. Поскольку мы никогда не имели опыта ни одной точки пространства без других точек за ней, ни одной точки времени без других, следующих за ней, закон неразрывной ассоциации делает невозможным для нас думать о любой точке пространства или времени, как бы далека она ни была, без того, чтобы в воображении не возникла идея о других, еще более отдаленных точках. Таким образом, предполагаемое изначальное и неотъемлемое свойство этих двух идей полностью объясняется и объясняется законом ассоциации; и мы можем видеть, что если бы пространство или время были действительно способны к прекращению, мы были бы так же неспособны, как сейчас, представить себе эту идею".[501]

Эти примеры ассоциативной психологии, за исключением последнего, выражены очень грубо, но их вполне достаточно для нашей временной потребности. Хартли и Джеймс Милл[502] усовершенствовали Юма настолько, что используют только один принцип ассоциации - принцип смежности или привычки. Хартли игнорирует сходство, Джеймс Милль прямо отрицает его в отрывке, который, несомненно, является одним из курьезов литературы:

"Я полагаю, что мы привыкли видеть похожие вещи вместе. Когда мы видим дерево, мы обычно видим больше деревьев, чем одно; овцу - больше овец, чем одну; человека - больше мужчин, чем одного. Исходя из этого наблюдения, я думаю, мы можем отнести сходство к закону частотности [т.е. смежности], который, по-видимому, является лишь частным случаем".

Г-н Герберт Спенсер совсем недавно пытался построить психологию, которая игнорирует ассоциацию по сходству,[503] и в главе, которая также представляет собой курьез, он пытается объяснить ассоциацию двух идей сознательным отнесением первой к тому моменту времени, когда было пережито ее ощущение, о котором не успеваешь подумать, как возникает ее содержание, а именно вторая идея. Однако господа Бэйн и Милль, а также огромное большинство современных психологов сохраняют и сходство, и смежность как несводимые принципы ассоциации.

Изложение ассоциации профессором Бейном, по общему мнению, является лучшим выражением английской школы. Восприятие согласия и различия, ретентивность и два вида ассоциации, сходство и подобие, рассматриваются им как составляющие все, что подразумевается под собственно интеллектом. Его страницы кропотливы и поучительны с описательной точки зрения; хотя, после моей собственной попытки разобраться с предметом каузально, я вряд ли могу приписать им какую-либо глубокую *объяснительную* ценность. Ассоциация по сходству, которой слишком пренебрегала британская школа до Бейна, получила от него наиболее щедрый пример. В качестве поучительного отрывка можно привести следующий, из многих столь же хороших:

"Мы можем иметь сходство форм при разнообразии использования, а также сходство использования при разнообразии форм. Вербка предполагает другие веревки и шнуры, если смотреть на внешний вид; но если смотреть на *использование*, то она может предполагать железный трос, деревянную опору, железный пояс, кожаную ленту или скошенную шестерню. Несмотря на разнообразие внешнего вида, предложение зависит от того, что отвечает общей

цели. Если нас очень привлекает внешняя привлекательность, то тем труднее будет вспомнить вещи, сходные только в использовании; если же, напротив, мы глубоко чувствительны к одному моменту - практической эффективности инструмента, то несущественные для этого особенности будут малозаметны, и мы всегда будем готовы воскресить в памяти прошлые предметы, соответствующие по использованию какому-то одному настоящему, хотя и различные во всех других обстоятельствах. Мы не замечаем разницы между лошадью, паровым двигателем и водопадом, когда наше сознание поглощено одним обстоятельством - движущей силой. Разнообразие этих объектов, несомненно, долгое время удерживало их от первого отождествления; а для тупого интеллекта это отождествление могло быть навсегда невозможным. Сильная концентрация ума на одной особенности механической силы и степень безразличия к общему аспекту самих вещей, должны сговориться с интеллектуальной энергией реанимации с помощью симиляров, чтобы собрать вместе в представлении три структуры, столь различные. На подобном примере мы можем увидеть, как в голове изобретателя-механика могут возникнуть новые приспособления к существующим механизмам. Когда размышляющему уму впервые пришло в голову, что движущаяся вода обладает свойством, идентичным человеческой или грубой силе, а именно свойством приводить в движение другие массы, преодолевая инерцию и сопротивление, - когда вид потока подсказал через эту точку сходства силу животного, - в класс движущих сил было внесено новое дополнение, и, когда обстоятельства позволяли, эта сила могла стать заменой других. Современному человеку, знакомому с водными колесами и дрейфующими плотами, может показаться, что сходство здесь совершенно очевидно. Но если мы вернемся в ранний период, когда бегущая вода воздействовала на разум своим блеском, ревом и неравномерным опустошением, мы легко можем предположить, что отождествление этого с мускульной энергией животных отнюдь не было очевидным эффектом. Несомненно, когда возник разум, невосприимчивый по своей природной конституции к поверхностным аспектам вещей и обладающий при этом большой растяжимостью идентифицирующего интеллекта, такое сравнение стало бы возможным. Мы можем продолжить тот же пример на одну ступень дальше и прийти к открытию силы пара или идентификации расширяющегося пара с ранее известными источниками механической силы. На протяжении многих веков пар представлялся обывателю в виде облаков на небе или шипящего шума у носика чайника с образованием туманного завывающегося облака на расстоянии нескольких дюймов. Также иногда наблюдалось поднятие крышки чайника. Но как долго еще никто не был поражен параллелизмом этого явления с порывом ветра, приливом воды или напряжением мышц животного? Диссонанс был слишком велик, чтобы его можно было преодолеть столь слабым и ограниченным сходством. Однако в одном из умов отождествление все же произошло, и его последствия не заставили себя ждать. Подобие уже встречалось с другими умами, но не с такими результатами. Такие умы должны были в той или иной мере выделяться среди миллионов людей, и сейчас мы попытаемся дать объяснение их превосходству. Интеллектуальный характер Уатта содержал все элементы, подготовительные к большому сходству в этом случае; высокая восприимчивость, как от природы, так и от воспитания, к механическим свойствам тел; обширные предыдущие знания или знакомство; безразличие к поверхностным и сенсационным эффектам вещей. Однако не только возможно, но и весьма вероятно, что многие люди обладали всеми этими способностями; они не выходят за рамки обычных способностей. Они в той или иной степени приложимы к

механическому образованию почти как само собой разумеющееся. То, что открытие не было сделано раньше, предполагает, что необходимо было нечто более далекое и не часто встречающееся; и этим дополнительным даром, по-видимому, является идентифицирующая сила сходства в целом; тенденция обнаруживать сходство посреди несходства и маскировки. Это предположение объясняет факт и согласуется с известным интеллектуальным характером изобретателя парового двигателя".[504]

Изложение ассоциации доктором Ходжсоном - лучшее из всех, что еще было предложено на английском языке.[505] Все эти авторы более или менее четко придерживаются представления об атомистических "идеях", которые повторяются. В Германии то же мифологическое предположение было более радикально воспринято и доведено до еще более логичной, хотя и более отталкивающей, крайности Гербартом[506] и его последователями, которые до недавнего времени, можно сказать, царили почти у себя на родине.[507] Для Гербарта каждая идея - это постоянно существующая сущность, вхождение которой в сознание является лишь случайным определением ее бытия. Пока ей удастся занять театр сознания, она вытесняет другую идею, которая там уже была. Этот акт торможения, однако, дает ему своего рода удержание другого представления, которое во всех последующих случаях облегчает его следование за другим в сознании. Изобретательность, с которой большинство особых случаев ассоциации формулируются на этом механическом языке борьбы и торможения, велика и превосходит по аналитической тщательности все, что было сделано британской школой. Это, однако, сомнительная заслуга в случае, когда элементы, с которыми приходится иметь дело, являются искусственными; и я должен признаться, что, на мой взгляд, есть что-то почти отвратительное в болтливом гербартианском жаргоне о *Vorstellungsmassen* и их *Hemmungen* и *Hemmungssummen*, и *sinken* и *erheben* и *schweben*, и *Verschmelzungen* и *Complexionen*. Герр Липпс, самый последний систематический немецкий психолог, с сожалением должен сказать, что он провел теорию идей таким образом, что большая оригинальность, образованность и острота, которые он демонстрирует, вызывают только большее сожаление.[508] Такие тщательно искусственные конструкции, как мне кажется, являются лишь бременем и помехой, а не помощью нашей науке".[509]

На французском языке М. Рабье в своей главе об ассоциации[510] рассматривает эту тему энергичнее и острее, чем кто-либо другой. Его трактовка, хотя и краткая, по общей обоснованности, как мне кажется, уступает только трактовке Ходжсона.

В последней главе мы уже ссылались на ассоциацию, чтобы объяснить эффект использования в улучшении дискриминации. В последующих главах мы увидим множество доказательств той огромной роли, которую она играет в других процессах, и тогда с готовностью признаем, что немногие принципы анализа в любой науке оказались более плодотворными, чем этот, как бы расплывчато он ни был сформулирован. Наша собственная попытка сформулировать его более определенно и избежать обычной путаницы между причинно-следственными связями и отношениями, которые просто известны, не должна ослеплять нас в отношении огромных заслуг тех, кто эту путаницу не ощущал. С этой практической точки зрения было бы истинным *ignoratio elenchi* льстить себе, что нанесли сильный удар по психологии ассоциаций, когда взорвали теорию атомистических идей или показали, что смежность и сходство между идеями могут существовать только после ассоциации.[511] Весь корпус ассоциативной психологии остается в силе после того, как вы перевели "идеи" в "объекты", с одной стороны, и "мозговые процессы" - с другой; и анализ

способностей и операций в этих терминах столь же убедителен, как и в традиционно используемых.

[463] Теория, изложенная в этой главе, и многие страницы текста были первоначально опубликованы в журнале "Popular Science Monthly" за март 1880 года.

[464] Сравните критику ассоцианизма Ренувье в его "Essais de Critique générale", Logique, ii, p. 493 и далее.

[465] Если только имя не относится к быстро произнесенному предложению, когда никакой содержательный образ не успевает возникнуть.

[466] В своих наблюдениях он говорит, что время было потеряно на мысленное восприятие слова, которое было подсказкой, "из-за тихого ненавязчивого способа, которым я считал необходимым вывести его на экран, чтобы не отвлекать мысли". Кроме того, субстантив, стоящий сам по себе, обычно является эквивалентом слишком абстрактной идеи, которую мы не можем правильно осмыслить без промедления. Так, очень трудно быстро понять слово "каре́та", потому что существует так много различных видов - двухколесные, четырехколесные, открытые и закрытые, и в таком количестве различных возможных положений, что ум, возможно, колеблется среди неясного ощущения многих чередований, которые не могут сочетаться друг с другом. Но ограничьте эту идею, скажем, ландо, и мысленная ассоциация проявится быстрее". (Inquiries, etc., p. 190.)

[467] Physiol. Psych., ii, 280 fol.

[468] Интересные замечания о том, какие вещи ассоциировались в этих экспериментах с побуждающим словом, см. в Galton, *op. cit.* pp. 185-203, и Trautscholdt в "Psychologische Studien" Вундта, i, 213.

[469] Mind, xi, 64-5.

[470] Это значение гораздо меньше, чем то, которое Вундт получил выше. Мистер Кэттелл не называет причин такого различия. Вундт обращает внимание на то, что найденные им цифры дают среднее значение 0,720", точно равное *промежутку времени*, который в его экспериментах (см. далее главу "Время") воспроизводился без ошибок в любую сторону, и тому, что требуется, по мнению Веберов, для размахивания ногами при быстрой локомоции. "Нет ничего невероятного в том, - добавляет он, - что эта психическая константа, средняя ассоциация-время и наиболее правильная оценка временного интервала, возможно, развилась под влиянием самых обычных телесных движений, которые также определили способ, которым мы склонны ритмически делить более длинные периоды времени". (Physiol. Psych., ii, 286). *Сближение* носит тот предварительный характер, который не вредит психологам, если они помнят, насколько фиктивны и несравнимы друг с другом все эти средние показатели, полученные от разных наблюдателей, работающих в разных условиях. Единственные измерения времени ассоциации, которые до сих пор, кажется, имеют большое теоретическое значение, - это несколько измерений, проведенных фон Цшишем на безумных пациентах (Mendel's Neurologisches Centralblatt, 15 Mai, 1885, 3 Jhrg., p. 217). Время простой реакции было найдено примерно нормальным у трех пациентов: у одного с прогрессивным параличом, у другого с манией преследования, у третьего, выздоравливающего после обычной мании. У выздоравливающего маньяка и паралитика, однако, время ассоциации было едва ли вдвое меньше нормального показателя Вундта (0,28" и 0,23" вместо 0,7" - меньше, чем у Кэттелла), в то время как у страдающего манией

преследования и галлюцинациями оно было вдвое больше нормального (1,39" вместо 0,7"). У этого последнего пациента время было в шесть раз больше, чем у паралитика. Герр фон Тшиш отмечает связь короткого времени со снижением способности к четким и последовательным процессам мышления, а длительного - с постоянной фиксацией внимания на однообразных объектах (галлюцинации). Мисс Мари Валицки (Revue Philosophique, xxviii, 583) продвинула наблюдения фон Тшиша еще дальше, проведя в общей сложности 18 000 измерений. Она обнаружила, что время ассоциации увеличивается при паралитическом слабоумии и уменьшается при мании. Время выбора, напротив, увеличивается при мании.

[471] Mind, xii, 67-74.

[472] Сравните закон Бэйна об ассоциации по смежности: "Действия, ощущения и состояния чувств, происходящие вместе или в тесной последовательности, имеют тенденцию срастаться, или сцепляться, таким образом, что, когда какое-либо из них впоследствии представляется уму, другие склонны вызываться в воображении" (Senses and Intellect, p. 327). Сравните также формулировку Хартли: "Любые ощущения А, В, С и т. д., будучи связанными друг с другом достаточное количество раз, получают такую власть над соответствующими идеями а, b, с и т. д., что любое из ощущений А, будучи впечатленным в одиночку, способно возбудить в уме b, с и т. д., идеи остальных". (Observations on Man, part i, chap. i, § 2, Prop. x.) Приведенное в тексте высказывание отличается от этих тем, что придерживается объективной точки зрения. Именно *вещи* и объективные *свойства вещей* ассоциируются в нашей мысли.

[473] Encyclopædia Britannica, 9th Ed., article Psychology, p. 60. col. 2.

[474] Физиол. Psych., 2d ed. ii, 300.

[475] Трудность здесь, как и в случае с привычкой *überhaupt*, заключается в том, чтобы понять, как образуются новые пути (см. выше, с. 109). Опыт показывает, что новый путь образуется между центрами чувственных впечатлений всякий раз, когда они вибрируют вместе или в быстрой последовательности. Ребенок видит определенную бутылку, слышит, как ее называют "молоком", и в дальнейшем думает об этом названии, когда снова видит бутылку. Но почему последовательное или одновременное возбуждение двух центров, независимо стимулируемых извне, одного - зрением, другого - слухом, *должно* приводить к образованию пути между ними, сразу не понятно. Мы можем только строить гипотезы. Любая гипотеза о специфическом способе их образования, которая хорошо согласуется с наблюдаемыми фактами ассоциаций, будет в дальнейшем заслуживать доверия, несмотря на возможную неясность. Герр Мюнстерберг считает (Beiträge zur exp. Psychologie, Heft i, p. 132), что между центрами, возбуждаемыми последовательно извне, не должно образовываться никаких путей, и что, следовательно, все смежные ассоциации возникают между *одновременными* переживаниями. Г-н Уорд (*loc. cit.*), напротив, считает, что она может быть только между *последовательными* переживаниями: "Ассоциация объектов, представленных одновременно, может быть решена в ассоциацию объектов, последовательно присутствующих в опыте..... Вряд ли можно назвать случай, в котором внимание к ассоциированным объектам не могло бы быть последовательным. Фактически, совокупность объектов, на которых внимание может быть сфокусировано сразу, уже была бы ассоциирована." В тексте я воздерживаюсь от принятия решения между этими крайними возможностями и описываю смежную ассоциацию как существующую как между последовательно, так и между сосуществующими объектами. Физиологический вопрос о том, как мы можем представить себе возникновение путей, лучше отложить до тех пор, пока

он снова не встанет перед нами в главе о воле, где мы сможем рассмотреть его в более широком смысле. Здесь же достаточно обратить внимание на эту серьезную проблему.

[476] Essay, bk. ii, chap. xxxiii, § 6. Сравните с Юмом, который, как и Локк, использует этот принцип только для объяснения беспричинных и препятствующих умственных ассоциаций:

"Легко было бы сделать воображаемое вскрытие мозга и показать, почему, когда мы представляем себе какую-либо идею, животные духи бегут по всем смежным следам и пробуждают другие идеи, связанные с ней. Но хотя я пренебрег всеми преимуществами, которые я мог бы извлечь из этой темы при объяснении отношений идей, боюсь, что здесь я должен прибегнуть к ней, чтобы объяснить ошибки, возникающие из-за этих отношений. Итак, я замечу, что, поскольку разум наделен способностью возбуждать любую идею, которую он пожелает; всякий раз, когда он посылает духов в ту область мозга, в которой находится идея, эти духи всегда возбуждают идею, когда они бегут точно по соответствующим следам и роются в той клетке, которая принадлежит этой идее. Но поскольку их движение редко бывает прямым и, естественно, немного отклоняется в ту или иную сторону: по этой причине животные духи, попадая в смежные следы, представляют другие связанные с ними идеи вместо той, которую разум хотел сначала рассмотреть. Это изменение мы не всегда замечаем; но, продолжая тот же ход мыслей, используем ту связанную идею, которая нам представлена, и применяем ее в своих рассуждениях, как если бы она была той же самой, что мы требовали. Это является причиной многих ошибок и софизмов в философии; как естественно представить, и как легко показать, если бы была возможность".

[477] *Op. cit.* prop. xi.

[478] См. главу III, с. 82-5.

[479] Я настоятельно советую студенту прочитать его "Чувства и интеллект", с. 544-556.

[480] Время и пространство, с. 266. Сравните с Кольриджем: "Истинный практический общий закон ассоциации таков: что бы ни делало определенные части общего впечатления более яркими или отчетливыми, чем остальные, ум будет стремиться вспомнить именно их, отдавая предпочтение другим, одинаково связанным общим условием современности или смежности. Но сама воля, ограничивая и усиливая внимание, может произвольно придать яркость или отчетливость любому объекту". (*Biographia Litteraria*, Chap. v.)

[481] Левиафан, т. i, гл. iii, *init.*

[482] Я имею в виду период в несколько часов. Мистер Гальтон обнаружил, что впечатления детства и юности с большей вероятностью будут подсказаны случайно увиденными словами, чем впечатления более поздних лет. См. его очень интересный отчет об экспериментах в "Исследованиях человеческих способностей", с. 191-203.

[483] Другие примеры см. в Wahle, in *Vierteljsch. f. Wiss. Phil.*, ix, 144-417 (1885).

[484] Я сохраняю название ассоциации по сходству, чтобы не отходить от общепринятого употребления. Читатель, однако, заметит, что моя номенклатура не основана на одном и том же принципе. Беспристрастная реинтеграция подразумевает нейронные процессы; сходство - это объективное отношение, воспринимаемое разумом; обычная или смешанная ассоциация - это просто денотативное слово. Более подходящими терминами были бы *полное припоминание*, *частичное припоминание* и *фокусированное припоминание* ассоциаций. Но поскольку значение последнего слова почти идентично значению

ассоциации по сходству, я считаю, что лучше пожертвовать уместностью в пользу популярности и оставить последнее хорошо заезженное словосочетание.

[485] Никто не описал этот процесс лучше, чем Гоббс: "Иногда человек ищет то, что он потерял; и с того места и времени, где он его потерял, его ум бежит назад от места к месту и от времени к времени, чтобы узнать, где и когда он его имел; то есть найти какое-то определенное и ограниченное время и место, в котором можно начать метод поиска. Затем его мысли снова бегут по тем же местам и временам, чтобы найти, какое действие или другой случай может заставить его потерять ее. Это мы называем "*вспоминанием*", или "*вызыванием в памяти*". Иногда человек знает определенное место, в пределах которого он должен искать; и тогда его мысли пробегают по всем его частям, подобно тому, как человек прочесывает комнату, чтобы найти драгоценность, или как спаниель бежит по полю, пока не найдет запах, или как человек должен пробежать алфавит, чтобы начать рифму". (Левиафан, 165, с. 10.)

[486] Теория практики, т. I, с. 394.

[487] *Ibid.* p. 394.

[488] Все ассоциации Ходжсон называет рединтеграцией.

[489] *Ibid.* p. 400. Сравните с Bain, *Emotions and Will*, p. 377. "Исходящие потоки разума неизбежно случайны; цель - это только то, что ясно для взгляда, и вместе с этим есть восприятие соответствия каждого проходящего предложения. Волевая энергия удерживает внимание на активном поиске; и как только перед умом встает что-либо конкретное, он набрасывается на это, как дикий зверь на свою добычу".

[490] Сравните, что говорится о принципе сходства в F. H. Bradley, *Principles of Logic*, pp. 294 ff.; E. Rabier, *Psychologie*, 187 ff.; Paulhan, *Critique Philosophique*, 2me Série, i, 458; Rabier, *ibid.* 460; Pillon, *ibid.* ii, 55; B. P. Bowne, *Introduction to Psych. Theory*, 92; Ward, *Encyclop. Britt.* art. *Psychology*, p. 60; Wahle, *Vierteljahrsch. f. wiss. Philos.*, ix, 426-431.

[491] Доктор Маккош, соответственно, только логичен, когда опускает сходство в то, что он называет *законом корреляции*, согласно которому, когда мы обнаружили *связь между вещами*, представление об одной из них имеет тенденцию вызывать другие (*Psychology, the Cognitive Powers*, p. 130). Автор упоминает такие отношения, как тождество, целое и части, сходство, пространство, время, количество, активное свойство, причина и следствие. Если воспринимаемые отношения между объектами должны рассматриваться как основания для их появления в сознании, то сходство, конечно, не имеет права на исключительное или даже преобладающее место.

[492] Cp. Bain, *Senses and Intellect*, 504 ff.; J. S. Mill, Note 39 to *J. Mill's Analysis*; Lipps, *Grundtatsachen*, 97.

[493] См. более подробные сведения в "Риде" Гамильтона, приложения D** и D***; и L. Ferri, *La Psychologie de l'Association* (Paris, 1883). Также Robertson, art. Ассоциация в Энциклопедии. Britannica.

[494] Трактат о человеческой природе, часть i, § iv.

[495] *Observations on Man* (London, 1749).

[496] Анализ явлений человеческого разума (1829).

[497] *Hartley's Theory*, 2d ed. (1790) p. xxvii.

[498] [Current, то есть во Франции.- W. J.].

[499] La Psychologie Angloise, p. 242.

[500] Priestley, *op. cit.* p. xxx.

[501] Рецензия на "Психологию Бейнса" Дж. С. Милля в *Edinb. Review*, Oct. 1, 1859, p. 293.

[502] Анализ феноменов человеческого разума, издание Дж. С. Милля, т. i, с. 111.

[503] Об ассоциативности отношений между ощущениями, в "Принципах психологии", т. i, с. 259. Невозможно рассматривать "сцепление каждого ощущения с ранее пережитыми ощущениями того же класса, порядка, рода, вида и, насколько это возможно, того же разнообразия", которое Спенсер называет (p. 257) "единственным процессом ассоциации ощущений", как эквивалент того, что обычно известно как ассоциация по сходству.

[504] *The Senses and the Intellect*, pp. 491-3.

[505] См. его "Время и пространство", глава v, и его "Теорию практики", §§ 53-57.

[506] *Psychologie als Wissenschaft* (1824), 2.

[507] Профессор Рибот в главе i своей "Современной немецкой психологии" хорошо рассказал о Гербарте и его школе, а также о Бенеке, его сопернике и частичном аналоге. См. также две статьи о гербартовской психологии Г. Ф. Стаута в журнале "*Mind*" за 1888 год. Книга Дж. Д. Моррелла "Наброски психической философии" (2-е изд., Лондон, 1862) в значительной степени следует за Гербартом и Бенеке. Я не знаю ни одной другой английской книги, которая бы так поступала.

[508] См. его "*Grundtatsachen des Bewusstseins*" (1883), гл. vi *и далее*, особенно pp. 106 ff., 364.

[509] Самые обременительные и совершенно безвозмездные из них, пожалуй, у Штейнталя в его "Введении в психологию", 2te Aufl. (1881). Ср. также G. Glogau: *Steinthal's Psychologische Formeln* (1886).

[510] *Leçons de Philosophie*, i. Psychologie, chap. xvi (1884).

[511] Мистер Ф. Х. Брэдли, как мне кажется, был виновен в чем-то очень похожем на это *ignoratio elenchi* в, конечно, тонкой и остроумной, но решительно длинной критике ассоциации идей, содержащейся в книге ii, части ii, главе i, его "Принципов логики".

ГЛАВА XV.[512]

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ.

В следующих двух главах я займусь тем, что иногда называют внутренним восприятием, или восприятием *времени* и событий как занимающих в нем определенную дату, особенно если эта дата - прошлое, в этом случае такое восприятие *носит название памяти*. Чтобы помнить о прошлом, необходимо, чтобы понятие "прошлое" было одной из наших "идей". В главе "Память" мы увидим, что многие вещи воспринимаются нами как прошлые не в силу какого-то их собственного качества, а скорее потому, что они ассоциируются с другими вещами,

которые для нас означают прошлое. Но как эти вещи обретают *свою* прошлое? Что лежит в основе нашего опыта прошлого, откуда мы черпаем значение этого термина? Именно этот вопрос читателю предлагается рассмотреть в данной главе. Мы увидим, что у нас есть постоянное чувство *sui generis* прошедшего, жертвой которого в свою очередь становится каждый наш опыт. Считать вещь прошедшей - значит считать ее среди объектов или в направлении объектов, которые в данный момент кажутся затронутыми этим качеством. Таков оригинал нашего представления о прошлом времени, на котором строят свои системы память и история. И в этой главе мы рассмотрим только это непосредственное ощущение времени.

Если бы сознание представляло собой череду ощущений и образов, похожих на бусинки, и все они были бы отдельными,

"мы никогда не могли бы иметь никакого знания, кроме знания настоящего момента. В тот момент, когда каждое из наших ощущений прекращается, оно исчезает навсегда; и мы должны быть такими, как если бы нас никогда не было..... Мы были бы полностью неспособны к приобретению опыта..... Даже если бы наши идеи были связаны в поездах, но только так, как они связаны в воображении, мы все равно были бы лишены способности приобретать знания. Одна идея, по этому предположению, следовала бы за другой. Но это все. Каждое из наших последовательных состояний сознания, как только оно прекращалось, исчезало бы навсегда. Каждое из этих мгновенных состояний было бы всем нашим существом".[513]

Тем не менее, в этих обстоятельствах мы могли бы *действовать* рационально, если бы механизм, создающий наши череды образов, создавал их в рациональном порядке. Мы должны произносить соответствующие речи, не осознавая ни одного слова, кроме того, которое только что было у нас на устах; мы должны принимать решения о правильной политике, не имея ни малейшего представления об общих основаниях нашего выбора. Наше сознание будет подобно искре светящегося червя, освещающей точку, которую она непосредственно охватывает, но оставляющей все остальное в полной темноте. Возможна ли очень высокоразвитая практическая жизнь в таких условиях, как эти, более чем сомнительно; однако она вполне мыслима.

Я выдвигаю эту причудливую гипотезу лишь для того, чтобы контрастом подчеркнуть нашу реальную природу. Наши чувства не сжимаются таким образом, а наше сознание никогда не сужается до размеров искры светящегося червя. *Знание о какой-то другой части потока, прошлой или будущей, близкой или отдаленной, всегда смешивается с нашим знанием о настоящем.*

Простое ощущение, как мы увидим далее, - это абстракция, а все наши конкретные состояния ума - это репрезентации объектов с определенной степенью сложности. Часть этой сложности - отголоски только что прошедших объектов и, возможно, в меньшей степени, предвкушение тех, которые только предстоят. Объекты исчезают из сознания медленно. Если в данный момент мы думаем об ABCDEFG, то следующим будет BCDEFGH, а после него - CDEFGHI - отголоски прошлого последовательно исчезают, а приходы будущего восполняют потерю. Эти задержки старых объектов, эти приходы новых - зародыши памяти и ожидания, ретроспективного и перспективного чувства времени. Они придают сознанию ту непрерывность, без которой оно не могло бы называться потоком.[514]

ЧУВСТВЕННОЕ НАСТОЯЩЕЕ ИМЕЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ.

Пусть кто-нибудь попробует, не скажу, что задержать, но заметить или обратить внимание на *настоящий* момент времени. Возникает один из самых озадачивающих опытов. Где оно, это настоящее? Оно растаяло в нашей хватке, исчезло, не успели мы к нему прикоснуться, исчезло в мгновение ока. Как сказал один поэт, которого цитирует мистер Ходжсон,

"Le moment où je parle est déjà loin de moi,"

И только вступая в живую и подвижную организацию гораздо более широкого временного отрезка, можно понять строгое настоящее. На самом деле, это совершенно идеальная абстракция, не только никогда не реализуемая в смысле, но, вероятно, даже не представляемая тем, кто не привык к философским размышлениям. Размышления приводят нас к выводу, что она *должна* существовать, но то, что она существует, никогда не может быть фактом нашего непосредственного опыта. Единственный факт нашего непосредственного опыта - это то, что мистер Э. Р. Клей удачно назвал "*умозрительным настоящим*". Его слова заслуживают того, чтобы процитировать их полностью:[\[515\]](#)

"Отношение опыта ко времени не было глубоко изучено. Его объекты даются как относящиеся к настоящему, но часть времени, на которую ссылается данность, - это совсем другое, нежели контерминированное прошлое и будущее, которое философия обозначает названием "*настоящее*". Настоящее, к которому относится данность, на самом деле является частью прошлого - недавнего прошлого, - которое обманчиво выдается за время, промежуточное между прошлым и будущим. Пусть оно называется мнимым настоящим, а прошлое, которое выдается за прошлое, называется очевидным прошлым. Все ноты одного такта песни кажутся слушателю заключенными в настоящем. Все изменения места метеора кажутся зрителю заключенными в настоящем. В момент окончания таких серий ни одна часть времени, измеряемого ими, не кажется прошлым. Таким образом, время, рассматриваемое относительно человеческого восприятия, состоит из четырех частей, а именно: очевидного прошлого, умозрительного настоящего, реального настоящего и будущего. Если опустить мнимое настоящее, то оно состоит из трех... несуществующих частей - прошлого, которое не существует, будущего, которое не существует, и их совокупности, настоящего; способность, из которой оно исходит, заключается для нас в фикции мнимого настоящего".

Короче говоря, практически познаваемое настоящее - это не острие ножа, а седловина, имеющая определенную ширину, на которой мы сидим и с которой мы смотрим в двух направлениях во времени. Единицей композиции нашего восприятия времени является *длительность*, с носом и кормой, так сказать, - задом наперед и концом вперед.[\[516\]](#) Только как части этого блока *длительности* воспринимается отношение *последовательности* одного конца к другому. Мы не ощущаем сначала один конец, а затем другой, следующий за ним, и из восприятия последовательности делаем вывод о промежутке времени между ними, но мы как бы ощущаем промежуток времени в целом, с двумя его концами, встроенными в него. Опыт с самого начала представляет собой синтетическую, а не простую данность; для чувственного восприятия его элементы неразделимы, хотя внимание, обращенное назад, может легко разложить опыт и отличить его начало от конца.

Когда мы перейдем к изучению восприятия пространства, то обнаружим, что в этом отношении оно вполне аналогично времени. Дата во времени соответствует положению в

пространстве; и хотя сейчас мы мысленно конструируем большие пространства, мысленно представляя себе все более и более удаленные положения, так же как сейчас мы конструируем большие длительности, мысленно продлевая серию последовательных дат, все же первоначальное переживание как пространства, так и времени - это всегда нечто уже данное как единое целое, внутри которого внимание впоследствии различает части по отношению друг к другу. Без частей, уже данных как время и пространство, последующее различие их вряд ли могло бы сделать больше, чем воспринять их как *отличные* друг от друга; у него не было бы мотива называть различие временным порядком в данном случае и пространственным положением в том.

И точно так же, как в некоторых опытах мы можем осознавать обширное пространство, заполненное объектами, не определяя четко местоположение каждого из них в нем; так и когда многие впечатления следуют слишком быстро во времени, хотя мы можем отчетливо осознавать, что они занимают определенную продолжительность и не являются одновременными, мы можем быть совершенно не в состоянии определить, какое из них первое, а какое последнее; или мы можем даже изменить их реальный порядок в нашем суждении. В сложных экспериментах на время реакции, где сигналы, движения и щелчки аппарата поступают в очень быстром порядке, мы поначалу сильно озадачены, пытаемся определить, в каком порядке они идут, но в том, что они занимают определенное время, мы никогда не сомневаемся.

ТОЧНОСТЬ НАШЕЙ ОЦЕНКИ КОРОТКИХ ПЕРИОДОВ ВРЕМЕНИ.

Теперь мы должны перейти к подробному описанию *фактов* восприятия времени как предварительных к нашему умозрительному заключению. Многие из этих фактов являются предметом эксперимента, другие - обычного опыта.

Прежде всего, мы отмечаем заметное *различие между элементарными ощущениями длительности и пространства*. Первые имеют гораздо более узкий диапазон; чувство времени можно назвать близоруким органом, по сравнению, например, с глазом. Глаз с одного взгляда видит прутья, акры, даже мили, и эти совокупности он может впоследствии разделить на почти бесконечное число четко идентифицируемых частей. С другой стороны, единицы длительности, которые чувство времени способно воспринять одним махом, - это группы по несколько секунд, и внутри этих единиц можно четко различить очень мало подразделений - не более сорока, как мы увидим в дальнейшем. Длительности, с которыми нам практически приходится иметь дело, - минуты, часы и дни - должны быть символически поняты и построены путем мысленного добавления, по примеру тех протяженностей в сотни миль и выше, которые в области космоса вообще находятся вне сферы практических интересов большинства людей. Чтобы "осознать" четверть мили, нам достаточно выглянуть в окно и *ощутить* ее длину с помощью действия, которое, хотя и может быть частично результатом организованных ассоциаций, все же кажется немедленно выполненным. Чтобы осознать час, мы должны бесконечно считать "сейчас!- сейчас!- сейчас!- сейчас!-". Каждое "сейчас" - это ощущение отдельного *бита* времени, и точная сумма этих битов никогда не производит на наш разум очень четкого впечатления.

Сколько битов мы можем четко воспринять одновременно? Очень мало, если это длинные биты, больше, если они очень короткие, большинство, если они приходят к нам составными группами, каждая из которых включает в себя более мелкие биты.

Слух - это то чувство, с помощью которого разделение длительностей происходит наиболее резко. Почти вся экспериментальная работа по изучению чувства времени была проведена с помощью звуковых ударов. Насколько длинную серию звуков мы можем сгруппировать в сознании, чтобы не спутать ее с более длинной или короткой серией?

Наша спонтанная тенденция состоит в том, чтобы разбить любую монотонно заданную серию звуков на некое подобие ритма. Мы невольно акцентируем каждый второй, третий или четвертый такт или разбиваем серию еще более замысловатыми способами. Когда мы, таким образом, воспринимаем впечатления в ритмической форме, мы можем без путаницы распознать более длинный ряд.

Каждая разновидность стиха, например, имеет свой "закон"; а повторяющиеся ударения и выпадения заставляют нас с особой готовностью ощущать недостаток слога или его избыток. Разные стихи могут быть снова связаны в форме строфы, и тогда мы можем сказать о другой строфе: "Ее второй стих отличается на столько-то от первого", когда, если бы не прочувствованная форма строфы, эти два разных стиха пришли бы к нам слишком отдельно, чтобы их можно было сравнить. Но эти наложенные друг на друга системы ритма вскоре достигают своего предела. В музыке, как говорит Вундт[517], "в то время как мера может легко содержать 12 изменений интенсивности звука (как в времени 12/8), ритмическая группа может охватывать 6 мер, а период состоять из 4, в исключительных случаях из 5 [8?] групп".

Вундт и его ученик Дитце пытались экспериментально определить *максимальный объем нашего непосредственного отчетливого сознания для последовательных впечатлений*.

Вундт обнаружил[518], что двенадцать впечатлений могут быть четко выделены как единое скопление, если они улавливаются сознанием в определенном ритме и сменяют друг друга с интервалом не менее 0,3 и не более 0,5 секунды. Таким образом, общее время отчетливого восприятия составляет от 3,6 до 6 секунд.

Дитце[519] приводит более крупные цифры. Наиболее благоприятные интервалы для четкого улавливания ударов были тогда, когда они приходили с интервалом от 0,3 до 0,18 секунды. Тогда сорок штрихов можно было запомнить как единое целое и безошибочно идентифицировать при повторении, при условии, что сознание воспринимало их в пяти подгруппах по восемь или в восьми подгруппах по пять штрихов в каждой. Если не допускать никакой группировки штрихов, кроме составления *пар* их внимания, - а практически оказалось невозможным не группировать их хотя бы этим простейшим способом, - то наибольшее число, которое можно было четко воспринять как единое целое, составляло 16.[520] Таким образом, 40 умножить на 0,8 секунды, или 12 секунд, - это *максимальная заполненная длительность*, которую мы можем *отчетливо и немедленно* осознать.

Максимальная незаполненная, или *вакантная, длительность*, по-видимому, лежит в том же объективном диапазоне. Эстель и Мехнер, также работавшие в лаборатории Вундта, обнаружили, что она варьируется от 5 или 6 до 12 секунд, а возможно, и больше. Различия, по-видимому, объясняются скорее практикой, чем идиосинкразией.[521]

Эти цифры можно условно принять за самую важную часть того, что мы вместе с мистером Клеем называли несколько страниц назад *умозрительным настоящим*. В умозрительном настоящем есть, кроме того, смутно исчезающая обратная и прямая граница; но его ядром, вероятно, является дюжина секунд или меньше, которые только что истекли.

Если это максимум, то какова же тогда *минимальная* продолжительность, которую мы можем отчетливо ощутить?

Наименьшая цифра, установленная экспериментально, была получена Экснером, который отчетливо слышал удвоение двух последовательных щелчков колеса Саварта и двух последовательных щелчков электрической искры, когда интервал между ними составлял около 1/500 секунды.[\[522\]](#)

С глазом восприятие менее тонкое. Две искры, падающие рядом друг с другом в быстрой последовательности на центр сетчатки, переставали распознаваться Экснером как последовательные, когда интервал между ними падал ниже 0,044".[\[523\]](#)

Если, как в данном случае, последовательных отпечатков всего два, то мы легче всего воспринимаем интервал между ними. Президент Холл, экспериментировавший с модифицированным колесом Саварта, которое давало щелчки в разном количестве и с разным интервалом, отмечает:[\[524\]](#)

"Для того чтобы их прерывистость была ясно ощутима, четыре или даже три щелчка или удара должны быть дальше друг от друга, чем два. Если два легко различимы, то три или четыре, разделенные одним и тем же интервалом... часто уверенно объявляются двумя или тремя соответственно". Было бы хорошо, если бы наблюдения были направлены таким образом, чтобы установить, по крайней мере до десяти или двадцати, увеличение [интервала], необходимое для каждого дополнительного щелчка в серии, чтобы ощущение прерывистости оставалось постоянным на протяжении всего времени."[\[525\]](#)

Если первое впечатление падает на одно чувство, а второе - на другое, то восприятие промежутка времени, как правило, менее определенное и тонкое, и есть разница, какое впечатление приходит первым. Так, Экснер установил, что[\[526\]](#) наименьший воспринимаемый интервал составляет несколько секунд:

От зрения до осязания	0.071
От осязания до зрения	0.053
От зрения до слуха	0.16
От слуха к зрению	0.06
От одного уха к другому	0.064

Осознавать временной интервал - это одно, а определить, короче он или длиннее другого - совсем другое. Имеется ряд экспериментальных данных, которые дают нам представление о тонкости этого последнего восприятия. Проблема заключается в *наименьшей разнице между двумя временами*, которую мы можем воспринять.

Разница минимальна, если время очень короткое. Экснер,[\[527\]](#) максимально быстро реагируя ногой на сигнал, видимый глазом (искру), отмечал все реакции, которые казались ему либо медленными, либо быстрыми в процессе выполнения. Таким образом, он считал, что отклонения примерно в 1/100 секунды в любую сторону от среднего значения правильно замечены им в то время. Среднее значение здесь было 0,1840". Холл и Джастроу прослушали интервалы между щелчками своего аппарата. Между двумя такими равными

интервалами по 4,27" был включен средний интервал, который можно было сделать либо короче, либо длиннее крайних. "После того как серия была прослушана два или даже три раза, часто не возникало впечатления об относительной длине среднего интервала, и только после четвертого и последнего [повторения серии] суждение склонялось в сторону *плюса* или *минуса*. Вставка переменной между двумя неизменными и похожими интервалами значительно облегчала суждение, которое между двумя непохожими терминами было гораздо менее точным".[528] Три наблюдателя в этих экспериментах не совершали ошибок, когда средний интервал отличался на 1/60 от крайних. Когда он отличался на 1/120, ошибки возникали, но были незначительными. Таким образом, минимальная *абсолютная* разница воспринимается как 0,355".

Эта минимальная абсолютная разница, конечно, увеличивается по мере увеличения длительности сравниваемых периодов. Были предприняты попытки выяснить, какое *отношение* она имеет к самим временам. Согласно "психофизическому закону" Фехнера, оно должно быть всегда одинаковым. Однако различные наблюдатели обнаружили, что это не так.[529] Напротив, очень интересные *колебания* в точности суждения и в направлении ошибки - колебания, зависящие от абсолютной величины сравниваемых времен, - были замечены всеми, кто экспериментировал с этим вопросом. О них можно рассказать вкратце.

Прежде всего, *в каждом списке интервалов, с которыми проводились эксперименты, найдется то, что Виерордт называет "точкой безразличия", то есть интервал, который мы оцениваем с максимальной точностью, время, которое мы склонны оценивать не длиннее и не короче, чем оно есть на самом деле, и от которого, обоих направлениях, ошибки увеличивают свой размер.*[530] Это время варьируется от одного наблюдателя к другому, но его среднее значение удивительно постоянно, как показывает следующая таблица.[531]

Времена, отмеченные на слух, и средние точки безразличия (указанные в секундах) были, для-

Вундт[532]	0.72
Колерт [533]	0.75
Эстель (вероятно)	0.75
Мехнер	0.71
Стивенс [534]	0.71
Мах [535]	0.35
Баккола (около)[536]	0.40

Странность этих цифр заключается в том, что они повторяются у многих мужчин в течение примерно трех четвертей секунды, как интервал времени, который легче всего уловить и воспроизвести. Еще более странно, что и Эстель, и Мехнер обнаружили, что *кратные* значения этого времени воспроизводятся более точно, чем интервалы промежуточной длины;[537] и Гласс обнаружили в своих наблюдениях определенную периодичность, с постоянным приращением в 1,25 секунды. Таким образом, похоже, что существует нечто вроде периодического или ритмического обострения нашего чувства времени, период которого несколько различается у разных наблюдателей.

Наше чувство времени, как и другие чувства, *похоже, подчиняется закону контраста*. В наблюдениях Эстела это проявилось довольно отчетливо: интервал звучал короче, если ему непосредственно предшествовал длинный, и длиннее, если было наоборот.

Как и другие чувства, *наше ощущение времени обостряется благодаря практике*. Мехнер приписывает почти все расхождения между другими наблюдателями и собой только этой причине.[\[538\]](#)

Отрезки времени, заполненные (щелчками звука), кажутся длиннее свободных той же продолжительности, когда последняя не превышает секунды или двух.[\[539\]](#) Это, напоминая то, что происходит с пространствами, видимыми глазом, становится обратным, когда берутся более длительные отрезки времени. Возможно, именно в соответствии с этим законом *громкий* звук, ограничивающий короткий промежуток времени, заставляет его казаться длиннее, а *слабый* звук - короче. Сравнивая интервалы, выделенные звуками, мы должны следить за тем, чтобы звуки были одинаковыми.[\[540\]](#)

Как известно, в музыке интервалы времени сопровождаются определенными эмоциональными ощущениями. *Чувство поспешности сопровождает одну меру быстроты, чувство задержки - другую;* и эти два чувства гармонируют с различными душевными настроениями. Вьерордт слушал серии ударов, выполняемых метрономом в темпе от 40 до 200 в минуту, и обнаружил, что они очень естественно делятся на семь категорий, от "очень медленно" до "очень быстро".[\[541\]](#) Каждая категория ощущений включала в себя интервалы, следующие друг за другом в определенном диапазоне скорости, и никаких других. Это качественное, а не количественное суждение - по сути, эстетское суждение. Средняя категория, нейтральная, или, как он ее называет, "адекватная", скорость, содержит интервалы, сгруппированные около 0,62 секунды, и Вьерордт говорит, что это составляет то, что можно назвать почти *приятным* временем.[\[542\]](#)

Ощущение времени и акцента в музыке, ритма, совершенно не зависит от ощущения мелодии. Мелодии с выраженным ритмом можно легко распознать, если просто барабанить по столу кончиками пальцев.

У НАС НЕТ ЧУВСТВА ПУСТОГО ВРЕМЕНИ.

Хотя деление времени на удары ощущений помогает нам точно знать, сколько его проходит, такое деление на первый взгляд не кажется существенным для нашего восприятия его течения. Пусть человек сидит с закрытыми глазами и, полностью абстрагировавшись от внешнего мира, занимается исключительно течением времени, подобно тому, кто просыпается, как говорит поэт, "чтобы услышать, как время течет среди ночи, и все движется к гибельному дню". В таких обстоятельствах, кажется, нет никакого разнообразия в материальном содержании нашей мысли, и то, что мы замечаем, представляется, если вообще представляется, чистым рядом длительностей, распускающихся, так сказать, и растущих под нашим заторможенным взглядом. Так ли это на самом деле или нет? Вопрос очень важен, поскольку, если опыт таков, каким он примерно представляется, у нас есть своего рода особое чувство чистого времени - чувство, для которого пустая длительность является адекватным стимулом; если же это иллюзия, то должно быть, что наше восприятие бегства времени в процитированном опыте обусловлено *заполнением* времени и нашей *памятью* о содержании, которое оно имело мгновение назад и которое, как мы чувствуем, соглашается или не соглашается с его содержанием сейчас.

Требуется лишь небольшое усилие интроспекции, чтобы показать, что последняя альтернатива является истинной, и что *мы можем интуитивно воспринимать не только длительность, но и протяженность, лишенную всякого чувственного содержания*. Как с закрытыми глазами мы воспринимаем темное зрительное поле, в котором постоянно идет

свертывающаяся игра неясного сияния; так и мы, никогда не абстрагируясь от отчетливых внешних впечатлений, всегда внутренне погружены в то, что Вундт где-то назвал сумерками нашего общего сознания. Наше сердцебиение, дыхание, импульсы нашего внимания, фрагменты слов или предложений, которые проходят через наше воображение, - вот что населяет эту тусклую среду обитания. Все эти процессы ритмичны и воспринимаются нами по мере их возникновения во всей своей совокупности: дыхание и импульсы внимания - как последовательные череды, каждая со своим подъемом и спадом; сердцебиение - аналогично, только относительно более кратко; слова - не отдельно, а связанными группами. Короче говоря, как бы мы ни опустошали свой разум, некая форма *процесса изменения* остается для нас ощутимой и не может быть изгнана. А вместе с ощущением процесса и его ритма приходит ощущение длительности этого процесса. Осознание *изменений*, таким образом, является условием, от которого зависит наше восприятие течения времени; но нет никаких оснований полагать, что для осознания изменений достаточно простого изменения самого времени. Изменение должно быть какого-то конкретного рода - внешняя или внутренняя чувственная серия, процесс внимания или воления.^[543]

И здесь снова возникает аналогия с пространством. Самая ранняя форма отчетливого восприятия пространства - это, несомненно, движение по какой-либо из наших чувствительных поверхностей, и это движение первоначально дается как простое целое ощущений, и только разлагается на его элементы - последовательные положения, последовательно занимаемые движущимся телом - когда наше образование в области различения значительно продвинулось. Но движение - это изменение, процесс; поэтому мы видим, что и в мире времени, и в мире пространства первые известные вещи - это не элементы, а комбинации, не отдельные единицы, а уже сформированные целые. Условием *бытия* целых вещей могут быть элементы; но условием нашего *познания* элементов является то, что мы уже ощутили целые вещи как целые.

В опыте наблюдения за течением пустого времени - "пустого", которое в дальнейшем будет восприниматься в относительном смысле, только что изложенном, - мы сообщаем ему импульсы. Мы говорим "сейчас! сейчас! сейчас!" или считаем "еще! еще! еще!" по мере того, как ощущаем его начало. Эта композиция из единиц длительности называется законом *дискретного течения* времени. Дискретность, однако, обусловлена лишь тем, что наши последовательные акты *распознавания* или *восприятия того, что* это такое, дискретны. Ощущение является настолько непрерывным, насколько может быть непрерывным любое ощущение. Все непрерывные ощущения *называются* биениями. Мы замечаем, что некое конечное "большее" из них проходит или уже прошло. Если воспользоваться образом Ходжсона, то ощущение - это измерительная лента, а восприятие - делительный механизм, который отмеряет ее длину. Слушая устойчивый звук, мы *воспринимаем его* в виде дискретных импульсов узнавания, последовательно называя его "тот же самый! тот же самый! тот же самый!". Со временем дело обстоит не иначе.

После небольшого количества ударов наше представление о сумме, которую мы сказали, становится весьма расплывчатым. Единственный способ узнать ее точно - это подсчет, наблюдение за часами или другая символическая концепция.^[544] Когда время превышает часы или дни, концепция становится абсолютно символической. Мы думаем о сумме, которую имеем в виду, либо только как о *названии*, либо перебирая в уме несколько значимых *дат*, не пытаясь представить себе всю длительность, которая лежит между ними. Ни у кого нет ничего похожего на *восприятие* большей продолжительности времени между нынешним и первым веком, чем между нынешним и десятым. Для историка, это правда,

более длинный интервал будет предполагать множество дополнительных дат и событий, и поэтому покажется более *многозначной* вещью. И по той же причине большинство людей будут думать, что они непосредственно воспринимают продолжительность прошедшей недели как превышающую продолжительность прошедшей недели. Но на самом деле в этих случаях вообще нет *интуиции* сравнительного времени. Это всего лишь даты и события, *представляющие* время; их обилие *символизирует* его длительность. Я уверен, что это так, даже если сравниваемое время длится не более часа или около того. То же самое происходит и с расстояниями в много миль, которые мы всегда сравниваем друг с другом с помощью чисел, которыми они измеряются.^[545]

От этого мы естественно переходим к разговору о некоторых семейных вариациях в нашей оценке длительности времени. *В общем, время, наполненное разнообразными и интересными событиями, кажется коротким, когда оно проходит, но долгим, когда мы оглядываемся назад. С другой стороны, отрезок времени, лишенный впечатлений, кажется долгим, но в ретроспективе коротким.* Неделя путешествий и осмотра достопримечательностей может занимать в памяти угол больше трех недель; а месяц болезни едва ли даст больше воспоминаний, чем один день. Длительность ретроспективы зависит, очевидно, от многообразия воспоминаний, которые дает это время. Множество объектов, событий, изменений, множество подразделений сразу же расширяют обзор, когда мы оглядываемся назад. Пустота, монотонность, привычность заставляют его сужаться. В романе фон Хольтея "Бродяги" один Антон описывает, как он возвращается в родную деревню.

"Семь лет, - восклицает он, - семь лет, как я сбежал! Кажется, скорее семьдесят, столько всего произошло. Я не могу думать обо всем этом без головокружения - во всяком случае, не сейчас, . И опять же, когда я смотрю на деревню, на церковную башню, кажется, что я едва ли мог пробыть здесь семь дней".

Профессор Лазарус^[546] (у которого я заимствую эту цитату) объясняет обе эти контрастные иллюзии нашим принципом, согласно которому пробужденные воспоминания могут быть многочисленными или немногочисленными:

"Круг впечатлений, широко разветвленный, богатый разнообразием, который он имел в виду в день своего отъезда из деревни, встает теперь в его сознании, как его образ, лежащий перед ним. А вместе с ним - в быстрой последовательности и бурном движении, не в хронологическом порядке, не по хронологическим мотивам, но подсказывая друг другу всевозможные связи, - возникают массивные образы всей его богатой бродячей и скитальческой жизни. Они беспорядочно катятся и волнообразно сменяют друг друга, сначала, возможно, один из первого года, затем из шестого, вскоре из второго, снова из пятого, первого и т. д., пока не покажется, что прошло семьдесят лет, и он покачивается от полноты своего видения..... Тогда внутренний взор отворачивается от всего этого прошлого. Внешний обращается к деревне, особенно к церковной башне. Вид ее вызывает в памяти прежнее представление о ней, так что сознание заполняется только этим, или почти только этим. Одно видение сравнивает себя с другим и выглядит таким близким, таким неизменным, что кажется, будто между ними прошла всего неделя времени".

С возрастом один и тот же отрезок времени кажется короче, то есть дни, месяцы и годы становятся короче; становятся ли короче часы - сомнительно, а минуты и секунды, судя по всему, остаются примерно одинаковыми.

"Тому, кто насчитает в своей памяти множество лустр, достаточно задать себе вопрос, чтобы обнаружить, что последние из них, последние пять лет, пролетели гораздо быстрее, чем предшествующие периоды равной продолжительности. Пусть каждый вспомнит свои последние восемь-десять школьных лет: это целая вечность. Сравните с ними последние восемь или десять лет жизни: это всего лишь час".

Так пишет профессор Пол Джанет,[\[547\]](#) и дает решение, которое вряд ли можно назвать уменьшающим загадку. По его словам, существует закон, по которому кажущаяся длина интервала в определенный период жизни человека пропорциональна общей продолжительности самой жизни. Ребенок в 10 лет ощущает год как 1/10 всей своей жизни, а мужчина в 50 лет - как 1/50, причем вся жизнь при этом, по-видимому, сохраняет постоянную длину. Эта формула, правда, грубо выражает явления, но не может быть элементарным психическим законом; и несомненно, что, по крайней мере, в значительной степени, сокращение лет по мере взросления обусловлено однообразием содержания памяти и последующим упрощением взгляда, устремленного назад. В юности каждый час дня мы можем получить абсолютно новый опыт, субъективный или объективный. Восприятие яркое, запоминание сильное, и наши воспоминания об этом времени, как и воспоминания о времени, проведенном в быстром и интересном путешествии, представляют собой нечто запутанное, многообразное и затянувшееся. Но с каждым годом часть этого опыта превращается в автоматическую рутину, которую мы почти не замечаем, дни и недели сглаживаются в воспоминаниях до бессодержательных единиц, а годы становятся полыми и разрушаются.

Вот вам и кажущееся сокращение отрезков времени в *ретроспективе*. Они сокращаются *мимоходом*, когда мы настолько поглощены их содержанием, что не замечаем самого времени. Говорят, что день, полный волнений, без пауз, проходит "как по маслу". Напротив, день, полный ожидания, неудовлетворенного желания перемен, покажется маленькой вечностью. *Tædium, ennui, Langweile, boredom* - слова, эквивалент которых есть, пожалуй, в каждом известном человеку языке. Она возникает всякий раз, когда из-за относительной пустоты содержания какого-то отрезка времени мы становимся внимательными к течению самого времени. Мы ожидаем и готовы к новому впечатлению; когда оно не приходит, вместо него мы получаем пустое время; и такой опыт, постоянно возобновляемый, заставляет нас самым грозным образом осознать масштабы самого времени.[\[548\]](#) Закройте глаза и просто ждите, когда кто-нибудь скажет вам, что прошла минута. Вся продолжительность вашего досуга с ней кажется невероятной. Вы погружаетесь в его недра, как в недра той бесконечной первой недели океанского путешествия, и удивляетесь, что история может преодолеть множество таких периодов в своем течении. И все потому, что вы так внимательно следите за ощущением времени *как такового*, и потому, что ваше внимание к нему подвержено такому тонкому последовательному делению. *Одиозность* всего этого опыта проистекает из его бессодержательности; ведь *стимуляция* - обязательное условие для получения удовольствия от опыта, а ощущение голого времени - наименее стимулирующий опыт, который мы можем иметь.[\[549\]](#) Ощущение *tædium* - это *протест*, говорит Фолькманн, против всего настоящего.

Точно такие же колебания происходят в нашем сознании пространства. Дорога, по которой мы идем назад, надеясь на каждом шагу найти оброненный предмет, кажется нам длиннее, чем когда мы шли по ней в другую сторону. Пространство, которое мы измеряем шагами,

кажется нам длиннее, чем то, которое мы проходим, не задумываясь о его длине. И в целом объем пространства, на который мы обращаем внимание, сам по себе оставляет у нас большее впечатление простора, чем тот, в котором мы отмечаем только содержание.[550]

Я не утверждаю, что все в этих колебаниях оценки можно объяснить тем, что содержание времени многолюдно и интересно или просто и скучно. И в сокращении времени под влиянием старости, и в его удлинении под влиянием *тоски может быть* какая-то более глубокая причина. Эту причину можно выяснить, если она существует, только выяснив, *почему мы вообще воспринимаем время*. К этому исследованию мы и приступим, хотя и без особой надежды.

ОЩУЩЕНИЕ ПРОШЛОГО ВРЕМЕНИ - ЭТО ОЩУЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО.

Если нас спросят, почему мы воспринимаем свет солнца или звук взрыва, мы ответим: "Потому что определенные внешние силы, эфирные или воздушные волны, воздействуют на мозг, пробуждая в нем изменения, на которые реагируют сознательные восприятия, свет и звук". Но мы спешим добавить, что ни свет, ни звук не *копируют* и не *отражают* эфирные или воздушные волны; они представляют их лишь символически. *Единственный* случай, говорит Гельмгольц, в котором происходит такое копирование и в котором

"наши восприятия могут действительно соответствовать внешней реальности, - это случай, когда явления *сменяют друг друга*. Одновременность, последовательность и регулярное возвращение одновременности или последовательности могут иметь место как в ощущениях, так и во внешних событиях. События, как и наши представления о них, происходят во времени, так что временные отношения последних могут служить точной копией первых. Ощущение грома следует за ощущением молнии, так же как звуковые колебания воздуха под действием электрического разряда достигают места наблюдателя позже, чем светящийся эфир".[551]

Занимаясь подобными размышлениями, человек испытывает почти инстинктивный импульс довести их до некоего грубого спекулятивного вывода и подумать, что он наконец-то постиг тайну познания, где, выражаясь вульгарным языком, "шерсть коротка". Что может быть естественнее, скажем мы, чем то, что последовательность и длительность вещей *должны* стать известными? Последовательность внешних сил накладывает свой отпечаток на мозг в виде такой же последовательности. Последовательные изменения мозга в точности копируются соответственно последовательными импульсами ментального потока. Ментальный поток, чувствуя себя, должен ощущать временные соотношения своих собственных состояний. Но поскольку они являются копиями внешних временных соотношений, он должен знать и их. Иными словами, эти последние временные отношения вызывают собственное познание; или, другими словами, само существование времени в тех изменениях вне ума, которые влияют на ум, является достаточной причиной того, что время воспринимается умом.

Эта философия, к сожалению, слишком груба. Даже если представить себе внешние последовательности как силы, накладывающие печать на мозг, а последовательности мозга - как силы, накладывающие печать на разум,[552] все равно между последовательными изменениями разума и *осознанием их последовательности* лежит такая же широкая пропасть, как между объектом и субъектом любого случая познания в мире.

Последовательность ощущений, сама по себе, не является ощущением

последовательности. И поскольку к нашим последовательным ощущениям добавляется ощущение их собственной последовательности, это должно рассматриваться как дополнительный факт, требующий своего особого разъяснения, которое эти разговоры о внешних временных соотношениях, штампующих копии самих себя внутри, оставляют нетронутым.

В самом начале статьи я показал, что прошлое, чтобы быть известным как прошлое, должно быть известно *вместе* с настоящим и в "настоящем" моменте времени. Поскольку ясное понимание этого момента имеет определенное значение, позвольте мне, рискуя повториться, еще раз вернуться к нему. Фолькманн замечательно выразил этот вопрос следующим образом:

"На вопрос о происхождении идеи времени можно было бы ответить простым указанием на ряд идей, различные члены которого, начиная с первой, последовательно достигают полной ясности. Но против этого можно возразить, что последовательные идеи еще не являются идеей последовательности, потому что последовательность в мысли не является мыслью о последовательности. Если идея А следует за идеей Б, то сознание просто меняет одну на другую. То, что Б *следует* за А, для нашего сознания - несуществующий факт; ведь это *после* не дано ни в Б, ни в А, и никакой третьей идеи не предполагается. Мышление о последовательности В по отношению к А - это другой вид мышления, нежели тот, который породил А, а затем породил В; и этот первый вид мышления отсутствует до тех пор, пока существуют только мышление А и мышление В. Короче говоря, при резком рассмотрении вопроса мы приходим к такому антитезису: если А и В должны быть представлены как *происходящие последовательно*, то они должны быть *представлены одновременно*; если мы хотим думать о них как об одном после другого, то мы должны думать о них обоих сразу".^[553]

Если мы представим реальный временной поток нашего мышления горизонтальной линией, то мысль этого потока или любого отрезка его длины, прошлого, настоящего или грядущего, можно представить в виде перпендикуляра, поднятого над горизонталью в определенной точке. Длина этого перпендикуляра обозначает определенный объект или содержание, которым в данном случае является время, о котором думают, и все это вместе думают в настоящий момент потока, на который поднят перпендикуляр. Мистер Джеймс Уорд очень хорошо излагает этот вопрос в своей виртуозной статье "Психология" в девятом издании Британской энциклопедии, страница 64. Он сказал:

"Если мы представляем последовательность как линию, мы можем представить одновременность как вторую линию под прямым углом к первой; пустое время - или длина времени без ширины времени, можно сказать, - это просто абстракция. Именно с первой линией нам приходится иметь дело при рассмотрении времени как оно есть, а со второй - при рассмотрении нашей интуиции времени, где, как и в перспективном представлении расстояния, мы ограничены линиями в плоскости под прямым углом к реальной линии глубины. В последовательности событий, скажем, чувственных впечатлений, А В С D E..., присутствие В означает отсутствие А и С, но представление этой последовательности подразумевает одновременное присутствие в том или ином режиме двух или более представлений А В С D. В реальности прошлое, настоящее и будущее - это различия во времени, но в представлении все, что соответствует этим различиям, находится в сознании одновременно."

Таким образом, существует своего рода *перспективная проекция* прошлых объектов на настоящее сознание, подобная проекции широких пейзажей на экран камеры.

И поскольку мы видели некоторое время назад, что наша максимальная отчетливая *интуиция* длительности вряд ли охватывает более десятка секунд (в то время как наша максимальная смутная интуиция, вероятно, не превышает минуты или около того), мы должны предположить, что *этот объем длительности изображается достаточно устойчиво в каждое проходящее мгновение сознания* в силу некоторой достаточно постоянной особенности в мозговом процессе, к которому привязано сознание. *Эта особенность мозгового процесса, какой бы она ни была, должна быть причиной того, что мы вообще воспринимаем факт времени.* [554] Устойчиво воспринимаемая таким образом длительность - это едва ли не больше, чем "умозрительное настоящее", как его называли несколько страниц назад. Его *содержание* находится в постоянном движении, события появляются в его переднем конце так же быстро, как и исчезают в заднем, и каждое из них меняет свой временной коэффициент от "еще нет" или "еще не совсем" до "только что прошло" или "прошло", когда оно проходит мимо. Между тем умозрительное настоящее, интуитивная длительность, остается постоянной, как радуга на водопаде, с ее собственным качеством, не изменяемым событиями, которые протекают через нее. Каждое из них, ускользая, сохраняет способность быть воспроизведенным; и когда оно воспроизводится, то воспроизводится с той длительностью и соседством, которые были у него изначально. Обратите внимание, однако, что воспроизведение события *после того, как* оно однажды полностью выпало из задней части умозрительного настоящего, является совершенно иным психическим фактом, нежели его непосредственное восприятие в умозрительном настоящем как вещи, непосредственно прошедшей. Существо может быть полностью лишено *репродуктивной* памяти и при этом обладать чувством времени; но в его случае последнее будет ограничено несколькими секундами, прошедшими мгновенно. Время старше этого он никогда не вспомнит. В тексте я предполагаю репродуктивную память, поскольку речь идет о человеческих существах, которые, как известно, ею обладают. Таким образом, память пестрит *датированными* вещами - датированными в смысле "до" или "после" друг друга. [555] Дата вещи - это простое отношение *до* или *после* настоящей вещи или какой-то прошлой или будущей вещи. Некоторые вещи мы датировем, просто мысленно перебрасывая их в прошлое или будущее. Так, в пространстве мы считаем, что Англия находится на востоке, а Чарльстон - на юге. Но, опять же, мы можем точно датировать событие, вписав его между двумя терминами явно задуманного прошлого или будущего ряда, точно так же, как мы можем точно представить, что Англия или Чарльстон находятся на расстоянии стольких-то миль. [556]

Вещи и события, датированные таким образом смутно или точно, становятся в дальнейшем теми знаками и символами более протяженных временных пространств, о которых мы говорили ранее. В зависимости от того, много их или мало, мы представляем себе время, которое они обозначают, как длинное или короткое. Но *изначальным образом и прототипом всех задуманных времен является умозрительное настоящее, краткость которого мы ощущаем сразу и непрерывно.*

КАКИМ МОЗГОВЫМ ПРОЦЕССОМ ОБУСЛОВЛЕНО ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ?

Итак, каким элементом в мозговом процессе может быть обусловлена эта чувствительность? Она не может, как мы видели, быть обусловлена только длительностью самого процесса; она должна быть обусловлена элементом, присутствующим в каждый

момент процесса, и этот элемент должен иметь такое же непостижимое отношение к своему коррелятивному чувству, какое все другие элементы нейронной активности имеют к своим психическим продуктам, какими бы они ни были. Было высказано несколько предположений о том, что представляет собой этот элемент в случае времени. Рассматривая их в примечании, [557], я попытаюсь кратко выразить единственный вывод, который, кажется, вытекает из их изучения и фактов - пусть и несвоевременных.

Феномен "суммирования стимулов" в нервной системе доказывает, что каждый стимул оставляет после себя некую скрытую активность, которая постепенно проходит. (См. выше, [стр. 82-85.](#)) Психологическим доказательством того же факта служат те "послеобразы", которые мы воспринимаем, когда сенсорный стимул исчезает. В послеобразе, оставленном объектом на глазу, мы можем прочесть особенности, которые не смогли отметить в оригинале. Мы можем "прислушаться" и понять смысл звука через несколько секунд после его прекращения. Однако стоит задержаться на минуту, и само эхо часов или вопроса становится немым; нынешние ощущения изгнали его за пределы памяти. С ощущением настоящего момента должно постоянно смешиваться затухающее эхо всех тех других вещей, которые были предоставлены предыдущими несколькими секундами. Или, если выразить это в нейронных терминах, *в каждый момент происходит кумуляция мозговых процессов, накладывающихся друг на друга, из которых более слабые - это угасающие фазы процессов, которые незадолго до этого были активны в максимальной степени.* Величина перекрытия определяет ощущение занимаемой длительности. Какие события будут казаться занимающими эту длительность, зависит от того, какими именно процессами являются наложенные друг на друга процессы. Мы так мало знаем об интимной природе деятельности мозга, что даже там, где ощущение монотонно длится, мы не можем сказать, что более ранние его моменты не оставляют после себя затухающие процессы, которые сосуществуют с процессами настоящего момента. *Длительность и события вместе формируют нашу интуицию конкретного настоящего с его содержанием.* [558] Почему такая интуиция должна быть результатом такого сочетания мозговых процессов, я не берусь сказать. Все, к чему я стремлюсь, - это изложить самую элементарную форму психофизической связи.

Я предположил, что мозговые процессы являются сенсорными. Процессы активного внимания (см. рассказ мистера Уорда в [сноске 556](#)) оставят позади аналогичные угасающие мозговые процессы. Если ментальные процессы концептуальные, то возникает осложнение, о котором я расскажу в ближайшее время. Пока же, продолжая говорить о сенсорных процессах, замечание Вундта прольет дополнительный свет на приводимый мною рассказ. Как известно, Вундт и другие доказали, что каждый акт восприятия сенсорного стимула занимает ощутимое время. Когда два разных стимула - например, вид и звук - даются одновременно или почти одновременно, нам трудно уделить внимание обоим, и мы можем ошибочно оценить их интервал или даже изменить их порядок. В результате экспериментов с такими стимулами Вундт вывел следующий закон. Вундт устанавливает такой закон: [559] что из трех возможных определений, которые мы можем сделать в отношении их порядка -

"а именно: одновременность, непрерывный переход и прерывистый переход - реализуются только первое и последнее, а второе - никогда. Неизменно, когда мы не воспринимаем впечатления как одновременные, мы замечаем более короткий или более длинный промежуток времени между ними, который, кажется, соответствует погружению одной из идей и подъему другой..... Ибо наше внимание может поровну распределяться между двумя впечатлениями, которые

тогда составят одно общее восприятие [и будут ощущаться одновременно]; или же оно может быть так приспособлено к одному событию, что оно воспринимается сразу, и тогда второе событие может быть воспринято только через некоторое время задержки, в течение которого внимание достигает своего эффективного максимума для него и ослабевает для первого события. В этом случае события воспринимаются как *два*, причем в последовательном порядке - то есть как разделенные временным интервалом, в течение которого внимание недостаточно приспособлено ни к одному из них, чтобы вызвать отчетливое восприятие. Пока мы спешим от одного к другому, все, что между ними, исчезает в сумерках общего сознания".[560]

Можно назвать это *законом прерывистой последовательности во времени, восприятий, которые мы не можем легко охватить сразу*. Каждое восприятие требует отдельного мозгового процесса; и когда один мозговой процесс достигает своего максимума, другой поневоле оказывается либо на спаде, либо на подъеме. Если наша теория ощущения времени верна, то пустое время *должно* субъективно казаться разделяющим два восприятия, независимо от того, насколько близко друг к другу они могут быть объективно; ибо, согласно этой теории, ощущение длительности времени - это непосредственный эффект такого наложения мозговых процессов разных фаз, где бы и по какой бы причине это ни происходило.

Перейдем теперь к концептуальным процессам: Предположим, я думаю о сотворении мира, затем о христианской эре, затем о битве при Ватерлоо, и все это в течение нескольких секунд. Даты этих событий лежат далеко за пределами умозрительного настоящего. Однако процессы, в ходе которых я думаю о них, совпадают. Какие же события, в таком случае, содержит в себе умозрительное настоящее? Просто мои последовательные *акты мышления* об этих давно прошедших вещах, а не сами давно прошедшие вещи. Как мгновенно возникшая мысль может быть о давно прошедшей вещи, так и только что возникшая мысль может быть о другой давно прошедшей вещи. Когда давно прошедшее событие воспроизводится в памяти и представляется с его датой, воспроизведение и представление пересекают умозрительное настоящее. Таким образом, непосредственным содержанием последнего являются все мои *непосредственные переживания*, будь то субъективные или объективные. Некоторые из них между тем могут быть *репрезентативными* для других, неопределенно отдаленных переживаний.

Количество этих непосредственных переживаний, которые могут охватывать умозрительное настоящее и непосредственно интуитивное прошлое, измеряет объем нашей "первичной", как называет ее Экснер, или, как называет ее Рише, "элементарной" памяти.[561] Ощущение, возникающее в результате наложения, - это ощущение длительности, которую, как кажется, заполняют переживания. Как число любого более крупного набора событий равно числу этих переживаний, так, как мы полагаем, и продолжительность этой продолжительности равна этой продолжительности. Но у нас нет прямого "осознающего чувства" большей длительности. Вариации в нашем восприятии одного и того же отрезка реального времени, возможно, объясняются изменениями в скорости затухания образов, вызывающими изменения в усложнении наложенных процессов, которым могут соответствовать изменения состояний сознания. Но каким бы *длинным* мы ни представляли себе пространство времени, объективный объем его, *непосредственно воспринимаемый* нами в любой момент, никогда не может превысить объем нашей "первичной памяти" в данный момент.[562]

У нас есть все основания полагать, что существа могут сильно различаться в объемах длительности, которую они интуитивно ощущают, и в тонкости событий, которые могут ее заполнять. Фон Бэр посвятил[563] несколько интересных расчетов влияния таких различий на изменение аспектов природы. Предположим, что в течение секунды мы можем отчетливо отметить 10 000 событий, а не 10, как сейчас; если бы наша жизнь была предназначена для того, чтобы вместить такое же количество впечатлений, она могла бы быть в 1000 раз короче. Мы должны были бы прожить меньше месяца и лично ничего не знать о смене времен года. Родившись зимой, мы должны были бы верить в лето, как сейчас верим в жару каменноугольной эпохи. Движения органических существ были бы настолько медленными для наших органов чувств, что их можно было бы только предполагать, а не видеть. Солнце стояло бы на небе неподвижно, луна почти не менялась бы, и так далее. Но теперь перевернем гипотезу и предположим, что существо получает лишь одну 1000-ю часть тех ощущений, которые мы получаем за определенное время, и, следовательно, живет в 1000 раз дольше. Зима и лето будут для него как четверти часа. Грибы и быстрорастущие растения будут появляться на свет так быстро, что покажутся мгновенными творениями; однолетние кустарники будут подниматься и опускаться из земли, как беспокойно кипящие источники; движения животных будут так же незаметны, как для нас движения пуль и пушечных ядер; солнце будет проноситься по небу, как метеор, оставляя за собой огненный след, и т. д. То, что подобные воображаемые случаи (за исключением сверхчеловеческого долголетия) могут быть реализованы где-нибудь в животном царстве, было бы опрометчиво отрицать.

"Крылья мошки, - пишет мистер Спенсер,[564] , - совершают десять или пятнадцать тысяч взмахов в секунду. Каждый взмах подразумевает отдельное нервное действие. Каждое такое нервное действие или изменение в нервном центре, вероятно, так же ощутимо для мошки, как быстрое движение руки для человека. И если это, или что-то похожее на это, является фактом, то время, занимаемое данным внешним изменением, измеряемое многими движениями в одном случае, должно казаться намного больше, чем в другом случае, когда измеряется одним движением."

При гашишной интоксикации наблюдается любопытное увеличение кажущейся временной перспективы. Мы произносим предложение, и пока доходим до конца, начало уже кажется относящимся к неопределенно давнему времени. Мы выходим на короткую улицу, и нам кажется, что мы никогда не дойдем до ее конца. Такое изменение может произойти в результате приближения к состоянию короткоживущих существ фон Бера и Спенсера. Если бы наше различие последовательностей стало более тонким, так что мы отмечали десять стадий процесса, когда раньше отмечали только одну; и если бы в то же время процессы исчезали в десять раз быстрее, чем раньше; мы могли бы иметь мнимое настоящее той же субъективной длины, что и сейчас, дающее нам то же ощущение времени и содержащее столько же различных последовательных событий, но из более раннего конца его выпало бы девять десятых реальных событий, которые оно содержит сейчас. Они попали бы в общий резервуар всего лишь датированных воспоминаний, воспроизводимых по желанию. Начало предложений пришлось бы специально вспоминать; каждое слово, казалось бы, проходило бы через сознание с десятой долей своей обычной скорости. Короче говоря, это состояние было бы в точности аналогично расширению пространства с помощью микроскопа; в поле зрения сразу попадает меньше реальных вещей, но каждая из них занимает больше места, чем обычно, и заставляет исключенные вещи казаться неестественно далекими.

В других условиях процессы, кажется, быстро угасают без компенсирующего увеличения делимости последовательностей. Здесь кажущаяся длительность мнимого настоящего

сокращается. Сознание сокращается до точки и теряет интуитивное ощущение того, откуда и куда ведет его путь. Экспресс-акты памяти сменяются быстрыми взглядами с высоты птичьего полета. В моем случае нечто подобное происходит при сильной усталости. Длительные болезни приводят к этому. Иногда это сопровождается афазией.^[565] Было бы напрасно пытаться представить себе точные изменения в мозге в любом из этих случаев, но мы должны признать возможность того, что в какой-то степени колебания в оценке времени между молодостью и возрастом, возбуждением и *утомлением* обусловлены подобными причинами, более непосредственными, чем те, которые мы приписали себе некоторое время назад.

Но независимо от того, является ли наше ощущение времени, которое заполнили непосредственно прошедшие^[566] *события, чем-то долгим или чем-то коротким, оно таково не потому, что эти события прошли, а потому, что они оставили после себя процессы, которые происходят в настоящем. На эти процессы, какими бы причинами они ни были вызваны, разум все равно отреагирует ощущением мнимого настоящего, часть которого просто исчезает или растворяется в прошлом. Как Творец, предположительно, создал Адама с пупком - признаком рождения, которое никогда не происходило, - так Он мог бы мгновенно создать человека с мозгом, в котором происходили процессы, подобные "затухающим" в обычном мозге. Первый реальный стимул после сотворения запустил бы процесс, дополнительный к этим. Процессы наложились бы друг на друга, и у новосозданного человека в самый начальный момент его жизни, несомненно, возникло бы ощущение, что он уже существовал какое-то небольшое время.*

Позвольте мне подвести итог, сказав, что мы постоянно осознаем некую длительность - умозрительное настоящее, - изменяющуюся по длительности от нескольких секунд до, вероятно, не более минуты, и что эта длительность (с ее содержанием, воспринимаемым как имеющее одну часть раньше, а другую часть позже) является первоначальной интуицией времени. Более длительное время мыслится путем сложения, более короткое - путем деления частей этой нечетко ограниченной единицы, и привычно мыслится нами символически. Представление Канта об *интуиции* объективного времени как бесконечного необходимого континуума ничем не подкреплено. *Причиной* интуиции, которую мы действительно имеем, не может быть *длительность* наших мозговых процессов или наших психических изменений. Эта длительность скорее является *объектом* интуиции, которая, будучи реализованной в каждый момент такой длительности, должна быть обусловлена постоянно присутствующей причиной. Эта причина - возможно, одновременное присутствие мозговых процессов разной фазы - флуктуирует; отсюда и возникает определенный диапазон вариаций в объеме интуиции и в ее делимости.

^[512] Эта глава почти дословно перепечатана из Journal of Speculative Philosophy, vol. xx, p. 374.

^[513] Джеймс Милль, "Анализ", т. х, с. 319 (издание Дж. С. Милля).

^[514] "Что я нахожу, когда я вообще рассматриваю сознание, так это то, что то, от чего я не могу отрешиться или не иметь в сознании, если я вообще имею сознание, есть последовательность различных ощущений..... Одновременное восприятие обоих суб-

ощущений, будь то как части сосуществования или последовательности, есть полное ощущение - минимум сознания - и этот минимум имеет продолжительность..... Временная длительность, однако, неотделима от минимума, несмотря на то, что в отдельный момент мы не могли бы сказать, какая часть его возникла первой, а какая последней..... Нам не нужно знать, что суб-ощущения приходят последовательно, сначала одно, потом другое; не нужно также знать, что означает последовательность. Но у нас есть, в любом искусственно изолированном минимуме сознания, *зачатки* восприятия первого и второго во времени, в суб-ощущениях, которые становятся слабее, и суб-ощущениях, которые становятся сильнее, и в смене между ними.....

"В следующем месте я отмечаю, что зачатки памяти вовлечены в минимум сознания. Первые зачатки ее появляются в этом минимуме, так же как и первые зачатки восприятия. Как каждый член изменения или различия, из которых слагается этот минимум, есть зачаток одного восприятия, так и приоритет одного члена перед другим, хотя оба они даны сознанию в один эмпирический момент настоящего, есть зачаток памяти. Тот факт, что минимумом сознания является различие или изменение ощущений, является конечным объяснением как памяти, так и единичных восприятий. Первое и второе входят в минимум сознания; и именно это имеется в виду, когда говорят, что все сознание имеет форму *времени*, или что время есть форма чувства, форма чувствительности. Грубо и популярно мы делим течение времени на прошлое, настоящее и будущее; но, строго говоря, настоящего не существует; оно состоит из прошлого и будущего, разделенных неделимой точкой или мгновением. Это мгновение, или точка времени, и есть *настоящее*. То, что мы неопределенно называем настоящим, - это эмпирическая часть хода времени, содержащая, по крайней мере, минимум сознания, в которой мгновением изменения является точка настоящего времени..... Если мы примем это за точку настоящего времени, то станет ясно, что минимум ощущений содержит две части - суб-ощущение, которое уходит, и суб-ощущение, которое приходит. Одно помнится, другое воображается. Пределы обоих неопределенны в начале и конце минимума и готовы переплавиться в другие минимумы, исходящие от других стимулов.

"Время и сознание не приходят к нам готовыми, разделенными на минимумы; мы должны сделать это путем размышления, спрашивая себя: "Каков наименьший эмпирический момент сознания? Этот наименьший эмпирический момент - то, что мы обычно называем настоящим моментом; и даже это слишком мало для обычного использования; настоящий момент часто расширяется практически до нескольких секунд или даже минут, за пределами которых мы уточняем, какой отрезок времени мы имеем в виду, как настоящий час, или день, или год, или век.

"Но этот популярный образ мышления навязывает себя огромному количеству даже философски настроенных людей, и они говорят о *настоящем* так, как если бы оно было *точкой отсчета* - как если бы время приходило к нам, разделенное на настоящие периоды, подобно измерительной ленте". (S. H. Hodgson: *Philosophy of Reflection*, vol. i, pp. 248-254).

"Представление времени сходно с представлением пространства в том, что определенное его количество должно быть представлено вместе - включено между его начальным и конечным пределом. Непрерывное представление, перетекающее из одной точки в другую, действительно *занимало бы* время, но не *представляло бы* его, поскольку оно меняло бы один элемент последовательности на другой, а не схватывало бы всю последовательность сразу. Обе точки - начало и конец - одинаково существенны для концепции времени и должны присутствовать с одинаковой ясностью вместе". (Herbart: *Psychol. als W.*, § 115.)

"Предположим, что... подобные удары маятника следуют друг за другом через регулярные промежутки времени в сознании, которое в остальном пусто. Когда первый из них заканчивается, его образ остается в воображении до тех пор, пока не произойдет второй. Этот, таким образом, воспроизводит первый в силу закона ассоциации по сходству, но в то же время встречается с вышеупомянутым сохраняющимся образом..... Таким образом, простое повторение звука обеспечивает все элементы восприятия времени. Первый звук [как он вспоминается по ассоциации] дает начало, второй - конец, а стойкий образ в воображении представляет длину интервала. В момент второго впечатления все временное восприятие существует сразу, так как тогда все его элементы представлены вместе: второй звук и образ в воображении - сразу, а первое впечатление - путем воспроизведения. Но в том же самом акте мы осознаем состояние, в котором существовал только первый звук, и другое, в котором в воображении существовал только его образ. Такое сознание - это сознание времени..... *В нем не происходит никакой последовательности идей*". (Wundt: *Physiol. Psych.*, 1st ed. pp. 681-2.) Обратите внимание на предположение, что *сохранение и воспроизведение* впечатления - это два процесса, которые могут протекать одновременно. Кроме того, описание Вундта - это всего лишь *попытка проанализировать "избавление" от* восприятия времени, а не *объяснение того, как это происходит*.

[515] Альтернатива, с. 167.

[516] Локк, в своей нечеткой манере, вывел ощущение длительности из размышлений о последовательности наших идей (*Essay*, book ii, chap. xiv, § 3; chap. xv, § 12). Рид справедливо замечает, что если десять последовательных элементов должны составлять длительность, "то один должен составлять длительность, иначе длительность должна состоять из частей, которые не имеют длительности, что невозможно..... Поэтому я заключаю, что длительность должна быть в каждом отдельном интервале или элементе, из которых состоит вся длительность. В самом деле, нет ничего более определенного, чем то, что каждая элементарная часть протяженности должна иметь протяженность. Теперь следует заметить, что в этих элементах длительности, или единичных интервалах последовательных идей, нет последовательности идей, но мы должны считать, что они имеют длительность; отсюда мы можем с уверенностью заключить, что *существует концепция длительности там, где в уме нет последовательности идей*". ("Интеллектуальные способности", сочинение iii, глава v.) "Если не искать, - говорит Руайе-Коллар во "Фрагментах", добавленных к переводу Рида, выполненному Жуффруа, - *la durée dans la succession*, то никогда не найдешь; *la durée* предшествовала *la succession*; *la notion de la durée* предшествовала *la notion de la succession*. Elle en est donc tout-à-fait indépendante, dira-t-on? Oui, elle en est tout-à-fait indépendante".

[517] *Physiol. Psych.*, ii, 54, 55.

[518] *Ibid.* ii, 213.

[519] *Philosophische Studien*, ii, 362.

[520] *Подсчеты*, конечно, не допускались. Это дало бы символическую концепцию, а не интуитивное или непосредственное восприятие всей совокупности серий. С помощью подсчета мы можем, конечно, сопоставить вместе серии любой длины - серии, начало которых исчезло из нашего сознания, и о совокупности которых мы не сохранили никакого чувственного впечатления. Считать серии щелчков - совсем другое дело, чем просто воспринимать их как прерывистые. В последнем случае мы должны осознавать только кусочки пустой длительности между ними; в первом - мы должны совершать быстрые акты ассоциации между ними и столькими же названиями чисел.

[521] Эстель в "Philosophische Studien" Вундта, ii, 50. Mehner, *ibid.* ii, 571. В экспериментах Дитце четное количество ударов улавливалось на слух лучше, чем нечетное. *Быстрота их последовательности* оказывала большое влияние на результат. При интервале более 4 секунд невозможно было воспринять серию ударов как единое целое (ср. Вундт, Физиол. псих., ii, 214). Они просто считались как множество отдельных ударов. Ниже 0,21 - 0,11 секунды, по мнению наблюдателя, восприятие снова становилось спутанным. Было обнаружено, что скорость последовательности наиболее благоприятна для восприятия длинных серий, когда удары звучат с интервалом от 0,3" до 0,18" друг от друга. Серии из 4, 6, 8, 16 ударов были легче идентифицированы, чем серии из 10, 12, 14, 18 ударов. Последние вообще с трудом улавливались. Из нечетных чисел легче всего улавливались серии 3, 5, 7; далее - 9, 15; труднее всего - 11 и 13; а 17 уловить было невозможно.

[522] Точный интервал между искрами составлял 0,00205". Двойной треск обычно сменялся одиночным звуком, когда он уменьшался до 0,00198", звук становился *громче*, когда искры казались одновременными. *Разница* между этими двумя интервалами составляет всего 7/100000 секунды; и, как замечает Экснер, наше ухо и мозг должны быть удивительно эффективными органами, чтобы получать отчетливые ощущения от столь незначительной объективной разницы. См. Pflüger's Archiv, Bd. xi.

[523] *Ibid.* p. 407. Когда искры падали так близко друг к другу, что их круги облучения перекрывались, они выглядели как *одна искра, перемещающаяся* из положения первой в положение второй; и тогда они могли следовать друг за другом на расстоянии до 0,015" без того, чтобы *направление движения* переставало быть ясным. Когда одна искра падала на центр, а другая - на край сетчатки, временной интервал для последовательного восприятия приходилось увеличивать до 0,076".

[524] Холл и Джастроу: Исследования ритма. Mind, xi, 58.

[525] Тем не менее, множество впечатлений могут ощущаться как прерывистые, хотя и разделенные чрезмерно малыми промежутками времени. Грюнхаген утверждает (Pflüger's Archiv, vi, 175), что 10 000 электрических разрядов в секунду ощущаются языком как прерывистые (!). Фон Виттих (там же, ii, 329) утверждает, что от 1000 до 2000 ударов в секунду ощущаются пальцем как дискретные. В. Прейер, с другой стороны (Die Grenzen des Empfindungsvermögens, etc., 1868, p. 15), считает, что контакты кажутся пальцу непрерывными, когда за секунду их следует 36,8. Аналогично, Мах (Wiener Sitzgsb., li, 2, 142) дает около 26. Лаланн (Comptes Rendus, i/xxxii, p. 1314) обнаружил суммирование контактов пальцев после 22 повторений в секунду. Такие расходящиеся цифры сомнительны. На сетчатке глаза 20-30 отпечатков в секунду, в крайнем случае, могут ощущаться как дискретные, когда они проваливаются в одно и то же место. Ухо, которое начинает объединять стимулы в музыкальный тон, когда они следуют со скоростью чуть более 30 в секунду, все еще может ощущать 132 из них в секунду как прерывистые, когда они принимают форму "ударов" (Helmholtz, Tonempfindungen, 3d ed. p. 270).

[526] Pflüger's Archiv, xi, 428. Также в Herrmann's Hdbh. d. Physiol., 2 Bd. i, Thl. pp. 260-2.

[527] Pflüger's Archiv, vii, 639. Тигерштедт (Bihang till Kongl. Svenska Vetenskaps Akad, Handl., Bd. 8, Häfte 2, Stockholm, 1884) пересматривает цифры Экснера и показывает, что его выводы преувеличены. Согласно Тигерштедту, два наблюдателя почти всегда правильно оценивали 0,05 или 0,06" разницы во времени реакции. В половине случаев они делали это правильно, когда разница опускалась до 0,03", хотя от 0,03" и 0,06" разница часто вообще не замечалась. Буккола обнаружил (La Legge del Tempo nei Fenomeni dei Pensiero, Milano, 1883, p. 371), что после длительной практики в быстрых реакциях на сигнал он прямо оценил в

цифрах время собственной реакции в 10 экспериментах с ошибкой от 0,016" до 0,018"; в 6 - с одной от 0,005" до 0,069"; в одном - с одной 0,002"; в 3 - с одной 0,003".

[528] Mind, xi, 61 (1886).

[529] Mach, Wiener Sitzungsab., li, 2. 133 (1865); Estel, *loc. cit.* p. 65; Mehner, *loc. cit.* p. 586; Bucciola, *op. cit.* p. 378. Фехнер пытается доказать, что его закон лишь накладывается на другие мешающие законы в цифрах, записанных этими экспериментаторами; но его случай кажется мне одним из отчаянных увлечений хобби. (См. "Philosophische Studien" Вундта, iii, 1.)

[530] Любопытные расхождения существуют между немецкими и американскими наблюдателями в отношении *направления* ошибки ниже и выше точки безразличия - расхождения, возможно, вызванные *усталостью*, связанной с американским методом. Немцы удлиняли интервалы ниже этой точки и сокращали те, что выше. У семи американцев, с которыми экспериментировал Стивенс, все было в точности наоборот. Немецкий метод заключался в пассивном прослушивании интервалов, а затем в оценке; американский - в их активном воспроизведении движениями руки. В экспериментах Мехнера была обнаружена вторая точка безразличия - около 5 секунд, после которой время снова считалось слишком длинным. Гласс, чья работа по этому вопросу является самой последней (Philos. Studien, iv, 423), обнаружил (с учетом поправок), что все времена, кроме 0,8 секунды, оценивались как слишком короткие. Он обнаружил ряд точек наибольшей относительной точности, а именно: 1,5, 2,5, 3,75, 5, 6,25 и т. д. секунд соответственно, и считал, что его наблюдения примерно подтверждают закон Вебера. Поскольку в статье Гласса "максимум" и "минимум" напечатаны вперемежку, за этим трудно уследить.

[531] У Виерордта и его учеников точка безразличия находилась на расстоянии от 1,5 до 4,9 секунды, в зависимости от наблюдателя (см. Der Zeitsinn, 1868, p. 112). В большинстве этих экспериментов услышанное время активно воспроизводилось, после короткой паузы, движениями руки, которые регистрировались. Вундт приводит веские причины (Physiol. Psych., ii, 289, 290), чтобы отвергнуть цифры Виерордта как ошибочные. Тем не менее, книга Виерордта, надо сказать, полна важных сведений.

[532] Physiol. Psych., ii, 286, 290.

[533] Philosophische Studien, i, 86.

[534] Mind, xi, 400.

[535] *Loc cit.* p. 144.

[536] *Op. cit.* p. 376. Цифры Маха и Букколы, как можно заметить, составляют примерно *половину* остальных суб-множеств, следовательно. Следует, однако, заметить, что цифра Букколы имеет небольшую ценность, поскольку его наблюдения не очень хорошо подходят для того, чтобы показать этот конкретный момент.

[537] Цифры Эстеля заставили его думать, что все кратные числа пользуются этой привилегией; у Мехнера, с другой стороны, только *нечетные* кратные числа показали уменьшение средней ошибки; таким образом, 0,71, 2,15, 3,55, 5, 6,4, 7,8, 9,3 и 10,65 секунды были соответственно зарегистрированы с наименьшей ошибкой. Ср. Phil. Studien, ii, pp. 57, 562-5.

[538] Ср. особенно стр. 558-561.

[539] Вундт: Physiol. Psych., ii, 287. Hall and Jastrow: Mind, xi, 62.

[540] Mehner: *loc. cit.* p. 553.

[541] Число различных *различий* скорости между этими пределами, как он заботится о том, чтобы заметить, намного больше, чем 7. (Der Zeitsinn, p. 137).

[542] П. 19, § 18, с. 112.

[543] Я оставляю текст в том виде, в каком он был напечатан в "Журнале спекулятивной философии" (за "октябрь 1886 г.") в 1887 году. С тех пор Мюнстерберг в своих великолепных "Beiträge zur experimentellen Psychologie" (Heft 2, 1889), кажется, прояснил, что такое чувственные изменения, которыми мы измеряем время. Когда время, разделяющее два ощущаемых впечатления, меньше одной трети секунды, он считает, что это почти полностью зависит от того, насколько потускнел образ памяти первого впечатления, когда его догоняет второе, которое заставляет нас чувствовать, насколько они далеки друг от друга (стр. 29). Когда времени остается больше, мы полагаемся, по его мнению, исключительно на ощущения мышечного напряжения и расслабления, которые мы постоянно получаем, хотя уделяем им так мало нашего непосредственного внимания. Эти ощущения возникают главным образом в мышцах, с помощью которых мы приводим в действие наши органы чувств, слушая используемые сигналы; некоторые из этих мышц находятся в самих глазах и ушах, некоторые - в голове, шее и т. д. Мы считаем два временных интервала равными, если между началом и концом каждого из них мы чувствуем одинаковые расслабления и последующие ожидаемые напряжения этих мышц. При воспроизведении интервалов мы стараемся сделать наши ощущения такого рода такими же, какими они были, когда мы пассивно слышали интервал. Однако сами по себе эти ощущения можно использовать только при очень коротких интервалах, поскольку напряжение, предвосхищающее конечный стимул, естественно, очень скоро достигает своего максимума. При более длительных интервалах мы *принимаем во внимание ощущения от инспираций и экспирации*. При выдохе все остальные мышечные напряжения в нашем теле ритмично уменьшаются, а при вдохе происходит обратное. Поэтому, когда мы отмечаем временной интервал в несколько секунд с намерением воспроизвести его, мы стремимся к тому, чтобы более ранний и более поздний интервал совпадали по количеству и величине этих дыхательных изменений в сочетании с перестройками органов чувств, которыми они наполнены. Мюнстерберг в своей работе тщательно изучил вариации дыхательного фактора. Их много; но он суммирует свой опыт, говоря, что независимо от того, измерял ли он инспирации, разделенные кратковременными паузами на шесть частей, или инспирации, которые были непрерывными; с сенсорным напряжением во время инспирации и расслаблением во время выдоха, или с напряжением во время инспирации и выдоха, разделенных внезапным интерполированным расслаблением; Обращал ли он особое внимание на напряжение в грудной клетке или в туловище и плечах, во всех случаях одинаково и без исключения он невольно стремился, когда сравнивал два раза или пытался сделать один таким же, как другой, получить точно такие же дыхательные условия и условия напряжения, *все субъективные условия, короче говоря, точно такие же* во время второго интервала, как и во время первого. Мюнстерберг подтвердил свои субъективные наблюдения экспериментами. Наблюдатель того времени должен был как можно точнее воспроизвести интервал между двумя резкими звуками, поданными ему ассистентом. Единственным условием было то, что он не должен был изменять свое дыхание для целей измерения. Затем было обнаружено, что, когда ассистент произвольно подавал сигналы, суждения наблюдателя были гораздо менее точными, чем когда ассистент внимательно следил за дыханием наблюдателя и добивался, чтобы начало времени, которое ему давали, и время, которое он должен был дать, совпадали с идентичными фазами этого времени. Кто-то дышит чуть быстрее, кто-то чуть медленнее.

Кто-то разбивает вдохновение на две части, кто-то нет и т.д. Совпадение объективного времени измерения с определенными естественными фазами дыхания очень легко даст периодические максимумы возможности точного измерения.

[544] "Любой, кто захочет найти еще примеры такой ментальной подмены, найдет их, наблюдая, как привычно он думает о пробелах на циферблате часов вместо периодов, которые они обозначают; как, обнаружив, что часы показывают на полчаса позже, чем предполагалось, он не представляет полчаса в его продолжительности, а едва ли переходит за его знак, отмеченный пальцем". (Г. Спенсер: Психология, § 336.)

[545] Единственные возражения против этого, которые мне приходят в голову, следующие: (1) точность, с которой некоторые люди определяют время дня или ночи, не глядя на часы; (2) способность некоторых людей просыпаться в заранее назначенный час; (3) точность восприятия времени, которая, как сообщается, существует у некоторых субъектов, находящихся в трансе. Может показаться, что у этих людей существует некая подсознательная запись хода времени *как такового*. Но это нельзя признать до тех пор, пока не будет доказано, что не существует физиологических процессов, ощущение хода которых может служить *признаком* того, сколько времени прошло, и таким образом позволяет нам определить час. В том, что такие процессы существуют, вряд ли можно сомневаться. Один мой изобретательный друг долго ломал голову над , почему каждый день недели имеет для него столь характерную физиономию. Вскоре было замечено, что в воскресенье это связано с прекращением грохота города и шарканья ног по тротуару; в понедельник - с тем, что во дворе сушится белье, отбрасывая белое отражение на потолок; во вторник - с причиной, которую я забыл; и, думаю, мой друг не дошел до среды. Вероятно, для большинства из нас каждый час в сутках имеет какой-то внешний или внутренний знак, связанный с ним так же тесно, как эти знаки с днями недели. В конце концов, следует признать, что значительное улучшение восприятия времени во время сна и транса - это загадка, которая пока не разгадана. Всю жизнь меня поражала точность, с которой я просыпаюсь в одну и ту же минуту ночь за ночью и утро за утром, если только по счастливой случайности заведется такая привычка. Органическая регистрация во мне не зависит от сна. Пролежав в постели долгое время без сна, я внезапно встаю, не зная времени, и в течение нескольких дней и недель вместе буду делать это в одну и ту же минуту по часам, как будто какой-то внутренний физиологический процесс вызвал этот акт пунктуальным бегом вниз. - Говорят, что иногда идиоты обладают способностью измерять время в заметной степени. У меня есть интересный рукописный рассказ об одной девочке-идиоте, в котором говорится: "Она была пунктуальна почти до минуты в своих требованиях еды и других регулярных услугах. Обычно ужин ей приносили в 12.30 дня, и в этот час она начинала кричать, если его не приносили. Если в день поста или Дня благодарения ужин задерживался, то, согласно обычаю Новой Англии, она кричала с обычного обеденного часа до тех пор, пока ей не приносили еду. На следующий день, однако, она снова заявляла о своих желаниях незамедлительно в 12.30. Любое незначительное внимание, проявленное к ней в один день, она требовала на следующий в соответствующий час. Если в среду в 16.00 ей давали апельсин, то в четверг в тот же час она заявляла о своих ожиданиях, а если фрукт не давали, то она продолжала требовать его с интервалами в течение двух-трех часов. В пятницу в четыре часа дня процесс повторялся, но длился уже не так долго; и так продолжалось в течение двух-трех дней. Если одна из сестер случайно посещала ее в определенный час, то резкий пронзительный крик обязательно вызывал ее в тот же час на следующий день" и т.д. и т.п. - Об этих неясных вопросах читайте в C. Du Prel: The Philosophy of Mysticism, chap. iii, § 1.

[546] Ideale Fragen (1878). p. 219 (эссе "Zeit und Weile").

[547] Revue Philosophique, vol. iii, p. 496.

[548] "Пустое время наиболее сильно воспринимается, когда оно наступает в виде *паузы* в музыке или в речи. Предположим, проповедник на кафедре или профессор за своим столом замирает посреди своей речи; или пусть композитор (как это иногда намеренно делается) заставит все свои инструменты разом остановиться; мы каждый миг ожидаем возобновления исполнения и в этом ожидании воспринимаем пустое время сильнее, чем в любом другом возможном случае. Чтобы изменить пример, пусть в полифонической музыке - например, в фигуре, в которой исполняется целый клубок мелодий, - вдруг раздастся один голос, который протянет длинную ноту, в то время как все остальные затихнут..... Эта одна нота будет казаться очень длинной - почему? Потому что мы *ожидаем* услышать сопровождающие ее ноты других инструментов, но они не приходят". (Herbart: Psychol. als W., § 115.) - Сравните также Münsterberg, Beiträge, Heft 2, p. 41.

[549] Ночь боли кажется ужасно долгой: мы все время ждем момента, который никогда не наступит, - момента, когда она прекратится. Но одиозность этого опыта не называется *ennui* или *Langweile*, как одиозность времени, которое кажется длинным из-за своей пустоты. Более позитивная одиозность боли, скорее, это то, что окрашивает нашу память о ночи. Мы чувствуем, как говорит профессор Лазарус (*op. cit.* p. 202), долгое время страдания, а не страдание от этого долгого времени *как такового*.

[550] Об этих вариациях оценки времени см. Romanes, Consciousness of Time, in Mind, vol. iii, p. 297; J. Sully, Illusions, pp. 245-261, 302-305; W. Wundt. Physiol. Psych., ii, 287, 288; кроме того, цитируются эссе Лазаруса и Джанета. На немецком языке этот предмет рассматривали преемники Гербарта: сравните Lehrbuch d. Psych. Фолькмана, § 89, а для ссылок на других авторов - его примечание 3 к этому разделу. Линднер (Lbh. d. empir. Psych.), в качестве параллельного эффекта, приводит в пример жизнь Александра Македонского (тридцать три года), которая кажется нам длинной, поскольку была столь насыщенной событиями. Аналогично английское содружество и т. д.

[551] Physiol. Optik, p. 445.

[552] Преемственность, время *как таковое*, не является силой. Наши разговоры о его пожирающем зубе и т. д. - все это эллиптические рассуждения. Его содержимое - это то, что он пожирает. Закон инерции несовместим с тем, чтобы время предполагалось в качестве действенной причины чего бы то ни было.

[553] Lehrbuch d. Psych., § 87. Сравните также H. Lotze, Metaphysik, § 154.

[554] Причина воспринимающего, а не воспринимаемого объекта!

[555] "Нет больше" и "еще нет" - это соответствующие ощущения времени, и мы осознаем время не иначе, как через эти ощущения", - говорит Фолькманн (Psychol., § 87). Это, что не совсем верно в отношении нашего ощущения *времени как такового*, как элементарного отрезка длительности, верно в отношении нашего ощущения *даты* в ее событиях.

[556] Мы строим мили так же, как строим годы. Путешествуя на машинах, мы проносим перед глазами череду различных полей зрения. Когда те, что ушли из поля зрения, оживают в памяти, они сохраняют свой взаимный порядок, потому что их содержание пересекается. Мы думаем, что они были до или после друг друга; и, исходя из множества видов, которые мы можем вспомнить за тем, что представлено сейчас, мы вычисляем общее пространство, через которое мы прошли.

Часто говорят, что восприятие времени развивается позже, чем восприятие пространства, потому что дети имеют такое смутное представление обо всех датах до вчерашнего и после завтрашнего дня. Но не более смутное, чем у них, представление о протяженности, которая настолько же превышает единицу их пространственного восприятия. Недавно я услышала, как мой ребенок четырех лет сказал гостю, что он был в стране "целую неделю". Поскольку он был там три месяца, посетитель выразил удивление; тогда ребенок исправился и сказал, что был там "двенадцать лет". Но ребенок допустил точно такую же ошибку, когда спросил, не находится ли Бостон в ста милях от Кембриджа, хотя расстояние было три мили.

[557] В большинстве этих объяснений просто приводятся *признаки*, которые, присоединяясь к впечатлениям, заставляют нас датировать их в пределах длительности, или, другими словами, приписывать им свой порядок. Почему это должен быть *порядок времени*, однако, не объясняется. Возможное объяснение Гербарта - это простое описание восприятия времени. Он говорит, что оно возникает, когда, представив в сознании последний член ряда, мы думаем и о первом; и тогда весь ряд сразу же оживает в нашей мысли, но с силой, уменьшающейся в обратном направлении (Psychol. als Wiss., § 115; Lehrb. zur Psychol., §§ 171, 172, 175). Аналогично Дробиш, который добавляет, что серия должна выглядеть как уже *прошедшая (durchlaufene)*, слово, которое еще более ясно показывает сомнительный характер такого рода счета (Empirische Psychol., § 59). Th. Вайц виновен в подобной постановке вопроса, когда объясняет наше сознание времени как порожденное набором безуспешных попыток заставить наши восприятия соответствовать нашим *ожиданиям* (Lehrb. d. Psychol., § 52). Мифологический рассказ Фолькманна о том, как прошлые представления стремятся вытеснить настоящие из области сознания, *возвращаются обратно* и т. д., страдает той же ошибочностью (Psychol., § 87). Но все подобные объяснения сходятся в том, что подразумевают один факт: мозговые процессы, связанные с различными событиями, должны быть активны одновременно и в разной степени, чтобы восприятие времени было возможным. Более поздние авторы уточнили эту идею. Так, Липпс отмечает: "Ощущения возникают, занимают сознание, перетекают в образы и исчезают. В зависимости от того, как два из них, *a* и *b*, проходят через этот процесс одновременно или как одно предшествует или следует за другим, *фазы их угасания* будут совпадать или различаться; и разница будет пропорциональна разнице во времени между несколькими моментами их начала. Таким образом, существуют *качественные* различия в образах, которые разум может *перевести* в соответствующие различия их временного порядка. Между объективными временными отношениями и отношениями в сознании нет другого возможного среднего термина, кроме этих различий фаз". (Grundtatsachen des Seelenlebens, p. 588.) Липпс, соответственно, называет их "временными знаками" и спешит добавить, что перевод душой их порядка силы во временной порядок совершенно необъясним (p. 591). Изложение М. Гийо (Revue Philosophique, xix, 353) почти не отличается от изложения его предшественников, разве что живописностью стиля. Каждое изменение оставляет в сознании серию *светящихся поездов*, подобно падающим звездам. Каждый образ находится в более угасающей фазе, в зависимости от того, насколько более отдаленным был его оригинал. Эта группа образов дает длительность, простую временную форму, "ложе" времени. Различение прошлого, настоящего и будущего в этом ложе происходит от нашей активной природы. Будущее (как у Вайца) - это то, что я хочу, но еще не получил и должен ждать. Все это, несомненно, верно, но не является *объяснением*.

Мистер Уорд в своей статье в Encyclopædia Britannica (Psychology, p. 65, col. 1) делает еще более тонкую попытку определить "временной знак". Он говорит: "После каждого отдельного

представления, $a b c d$, может следовать представление того *движения внимания*, о котором мы знаем, переходя от одного объекта к другому. В нашей нынешней реминисценции у нас, надо признать, мало прямых доказательств этого вмешательства; хотя, как мне кажется, есть косвенные свидетельства этого в тенденции потока идей следовать тому порядку, в котором представления были сначала рассмотрены. С самим движением, когда меняется направление внимания, мы достаточно хорошо знакомы, хотя остатки таких движений обычно не бросаются в глаза. Эти остатки, таким образом, являются нашими временными знаками..... Но сами по себе временные знаки не обеспечивают всей живописной точности временной перспективы. Они дают нам только фиксированный ряд; но закон забывчивости, обеспечивая постепенное изменение интенсивности при переходе от одного члена ряда к другому, дает эффект, который мы называем временной дистанцией. Сами по себе такие вариации интенсивности могут привести к тому, что мы будем путать более яркие представления вдали с более слабыми в настоящем, но от этой ошибки нас спасают временные признаки; там, где память несовершенна, такие ошибки происходят постоянно. С другой стороны, там, где эти изменения незначительны и незаметны, хотя память-континуум сохраняет порядок событий в целости, мы все же не можем так отчетливо оценить сравнительное расстояние во времени, как вблизи настоящего, где эти перцептивные эффекты значительны..... Локк говорит о том, что наши идеи сменяют друг друга "на определенных расстояниях, не очень похожих на изображения во внутренней части фонаря, поворачивающегося под действием тепла свечи", и "догадывается", что "это их появление в поезде не очень сильно варьируется у бодрствующего человека". *Что же это за "расстояние", которое отделяет a от b , b от c и так далее*; и какие у нас есть способы узнать, что оно достаточно постоянно в бодрствующей жизни? *Вероятно, это тот остаток, который я назвал временным знаком; или, другими словами, это движение внимания от a к b* ". Тем не менее, мистер Уорд не называет наше ощущение этого движения внимания *первоначалом* нашего ощущения времени или его мозгового процесса мозговым процессом, который непосредственно вызывает у нас восприятие времени. Минуту позже он говорит, что "хотя фиксация внимания, конечно, действительно занимает время, она, вероятно, в первую очередь воспринимается не как время - то есть как непрерывная "протенция", если воспользоваться термином Гамильтона, - а как интенсивность". Таким образом, если это предположение верно, в нашем конкретном восприятии времени есть элемент, которому нет места в нашем абстрактном представлении о времени. В физически воспринимаемом времени нет и следа интенсивности; в психически переживаемом времени длительность - это прежде всего интенсивная величина, и пока что это буквальное восприятие". Его "оригинал", если я правильно понимаю мистера Уорда, представляет собой нечто вроде *чувства*, которое сопровождает движения внимания, как удовольствие и боль. Его мозговой процесс, казалось бы, должен быть ассимилирован в общем типе с мозговыми процессами удовольствия и боли. Похоже, что мистер Уорд более или менее осознанно придерживается такой точки зрения, поскольку он говорит: "Всем известно, что такое отвлекаться на быструю череду разнообразных впечатлений, и в равной степени, что такое уставать от медленного и монотонного повторения тех же самых впечатлений. Так вот, эти "чувства" отвлечения и утомления обязаны своими характерными качествами движениям внимания. В первом случае внимание постоянно находится в движении; прежде чем оно приспособится к a , его беспокоит внезапность, интенсивность и новизна b ; во втором - оно остается неподвижным из-за повторного представления одного и того же впечатления. Такой избыток и недостаток неожиданностей заставляет осознать факт, который в обычной жизни настолько непонятен, что его невозможно не заметить. Но недавние эксперименты представили этот факт в более ярком свете и прояснили то, что смутно представлял себе Локк, говоря об определенном расстоянии между представлениями бодрствующего

человека. При оценке очень коротких периодов времени в 1600 секунд или меньше, обозначаемых, скажем, ударами метронома, обнаружилось, что существует определенный период, для которого среднее значение ряда оценок верно, в то время как более короткие периоды в целом завышены, а более длинные - занижены. Я считаю, что это свидетельствует о времени, затраченном на размещение или фиксацию внимания". Ссылаясь на то, что серия переживаний, $a b c d e$, может показаться короткой в ретроспективе, а в прошлом она казалась вечной, он говорит: "Что говорит в ретроспективе - это серия $a b c d e$ и т. д.; что говорит в настоящем - это промежуточные $t_{(1)} t_{(2)} t_{(3)}$ и т. д., или, скорее, первоначальное приспособление, остатком которого являются эти временные знаки". И он заключает таким образом: "Кажется, у нас есть доказательство того, что наше восприятие длительности в конечном счете опирается на квазимоторные объекты различной интенсивности, длительность которых мы непосредственно не переживаем как длительность вообще".

Вундт также считает, что интервал в три четверти секунды, который оценивается с минимальной погрешностью, указывает на связь между ощущением времени и последовательностью отчетливо "воспринимаемых" объектов перед сознанием. Время "ассоциации" также равно примерно трем четвертям секунды. Это ассоциативное время он рассматривает как своего рода внутренний стандарт длительности, к которому мы произвольно приравниваем все интервалы, которые пытаемся воспроизвести, доводя до него более короткие и опуская более длинные. [В результате Стивенс должен был бы сказать "контрастировать", а не "ассимилировать", поскольку более длинные интервалы кажутся более длинными, а более короткие - еще короче]. "Как ни странно, - добавляет он (Physiol. Psych., ii, 286), - это время примерно соответствует тому, за которое при быстрой ходьбе, согласно Веберу, наши ноги совершают свой мах". Таким образом, не представляется маловероятным, что обе психические константы - средняя скорость воспроизведения и точная оценка времени - сформировались под влиянием тех самых привычных движений тела, которые мы также используем, когда пытаемся ритмично разделить более длинные отрезки времени".

Наконец, профессор Мах делает предложение, которое еще более конкретизирует. Совершенно справедливо отметив, что у нас есть реальное *ощущение* времени - как иначе мы могли бы идентифицировать два совершенно разных воздуха как сыгранные в одно и то же "время"? Как отличить в памяти первый удар часов от второго, если бы каждому не сопутствовало свое особое ощущение времени, которое ожило вместе с ним? - он говорит: "Вероятно, это ощущение связано с тем органическим *расходом*, который обязательно связан с производством сознания, и что время, которое мы чувствуем, вероятно, обусловлено [механической?] *работой* [процесса?] *внимания*. Когда внимание напряжено, время кажется долгим; при легком занятии - коротким, и т. д. Усталость органа сознания, пока мы бодрствуем, непрерывно возрастает, и так же непрерывно возрастает работа внимания. Те впечатления, которые связаны с *большим* объемом работы внимания, представляются нам *более поздними*". Кажущееся относительное смещение некоторых одновременных событий и некоторые анахронизмы сновидений Мах считает легко объяснимыми эффектами разделения внимания между двумя объектами, один из которых поглощает большую его часть ("Beiträge zur Analyse der Empfindungen", p. 103 foll.). Теория Маха кажется достойной более глубокой проработки. Сейчас трудно сказать, имеет ли он, Уорд и Вундт в виду, по сути, одно и то же или нет. Теория, выдвинутая в моем тексте, как можно заметить, не претендует на *объяснение*, а лишь на элементарное изложение "закона", благодаря которому мы осознаем время. Гербартская мифология претендует на *объяснение*.

[558] Было бы опрометчиво говорить о том, сколько секунд должно длиться это умозрительное настоящее, ведь процессы затухают "асимптотически", и отчетливо ощущаемое настоящее сливается с полутенью тусклого *воспоминания*, прежде чем превратиться в прошлое, которое просто воспроизводится и задумывается. Многие вещи, которые мы не датируем отчетливо, вставляя их в промежуток между двумя другими вещами, тем не менее, приходят к нам с этим чувством принадлежности к *недалекому* прошлому. Это чувство давности является чувством *sui generis* и может влиять на вещи, которые произошли несколько часов назад. Казалось бы, это свидетельствует о том, что их мозговые процессы все еще находятся в состоянии, измененном предшествующим волнением, все еще на стадии "угасания", несмотря на большой промежуток времени.

[559] *Physiol. Psych.*, ii, 263.

[560] Я оставляю свой текст в том виде, в каком он был напечатан до появления эссе Мюнстерберга (см. [сноску 542](#), выше). Он отрицает, что мы измеряем любую, кроме минимальной, продолжительность по количеству затухающих идейных процессов, и в своем изложении говорит почти исключительно о наших ощущениях мышечного напряжения, тогда как я в своем не упоминаю о таких вещах. Однако я не вижу никакого противоречия между его и моими предположениями. Меня в основном интересует сознание длительности, рассматриваемой как специфический вид объекта, его - исключительно измерение этого объекта. Ощущение напряжения может быть средством измерения, в то время как накладывающиеся друг на друга процессы любого рода дают объект для измерения. Аккомодационные и дыхательные движения, из которых возникает чувство напряжения, образуют регулярно повторяющиеся ощущения, разделенные своими "фазами" на интервалы, столь же определенные, как и те, на которые делится мерило по его длине.

Пусть a^1, a^2, a^3, a^4 - гомотогичные фазы в четырех последовательных движениях такого рода. Если четыре внешних стимула 1, 2, 3, 4 совпадают каждый с одной из этих последовательных фаз, то их "расстояния друг от друга" ощущаются как *равные*, в противном случае - нет. Но нет никаких оснований предполагать, что простое наложение мозгового процесса 2 на угасающий процесс 1, или процесса 3 на процесс 2 и т. д. не дает того *характерного качества содержания*, которое мы называем в этом опыте "расстоянием друг от друга" и которое с помощью мышечных чувств оценивается как равное. Несомненно, мышечные чувства могут дать нам объект "время", а также его меру, потому что их предыдущие фазы оставляют угасающие ощущения, которые постоянно перекрывают яркие ощущения настоящей фазы. Но было бы противоречием аналогии полагать, что они должны быть единственным опытом, который дает этот объект. Я не понимаю герра Мюнстерберга, чтобы утверждать это для них. Он считает наше ощущение времени само собой разумеющимся и обсуждает только его измерение.

[561] Экснер в *Hermann's Hdbch. d. Physiol.*, Bd. ii, Thl. ii, p. 281. Рише в *Revue Philosophique*, xxi, 568 (июнь, 1886). См. следующую главу, [с. 642-646](#).

[562] Я говорил только об *угасающих* мозговых процессах, но только ради простоты. Процессы *зарождения*, вероятно, играют не менее важную роль в придании ощущения длительности умозрительному настоящему.

[563] Реден (СПб., 1864), т. i, с. 255-268.

[564] Психология, § 91.

[565] "Пациент не может удерживать образ предмета дольше мгновения. Его память столь же коротка на звуки, буквы, фигуры и печатные слова. Если накрыть написанное или напечатанное слово листом бумаги, в котором прорезано маленькое окошко, так что через него видна только первая буква, он произносит эту букву. Если же лист сдвинуть так, чтобы закрыть первую букву и сделать видимой вторую, он произносит вторую, но забывает первую и не может произнести первую и вторую вместе". И так далее до конца. "Если закрыть глаза и провести пальцем по хорошо знакомому предмету, например ножу или ключу, он не сможет объединить отдельные впечатления и узнать предмет. Но если его вложить в руку так, чтобы он мог одновременно прикоснуться к нему несколькими пальцами, он без труда назовет его. Таким образом, этот пациент утратил способность группировать последовательные ... впечатления ... в единое целое и воспринимать их как единое целое". (Grashey, in Archiv für Psychiatrie, Bd. xvi, pp. 672-673.) Трудно поверить, что у такого пациента интуиция времени не была обречена, как и впечатления, которые она хранила, хотя, возможно, и не так сильно.

Я сам часто отмечал любопытное преувеличение временной перспективы в момент засыпания. Человек двигается или делает что-то в комнате, и определенная стадия его действия (какой бы она ни была) будет моим последним восприятием в состоянии бодрствования. Затем последующая стадия пробудит меня к новому восприятию. Эти две стадии действия будут разделены не более чем несколькими секундами; и все же мне всегда кажется, что между предыдущей и последующей стадией прошел большой промежуток времени. Я предположительно объясняю это явление таким образом, называя две стадии акта соответственно *a* и *b*: Если бы я бодрствовал, *a* оставило бы в моем сенсориуме затухающий процесс, который перекрыл бы процесс *b*, когда тот наступил бы, и оба они затем появились бы в одном и том же умозрительном настоящем, причем *a* принадлежало бы к его более раннему концу. Но внезапно наступившее изменение мозга, называемое сном, резко гасит процесс угасания *a*. Когда затем приходит *B* и будит меня, *a* возвращается, это правда, но не как принадлежащее к умозрительному настоящему. Оно должно быть специально *отозвано* в памяти. Такой способ отзыва обычно характерен для давно прошедших вещей - отсюда и иллюзия.

[566] И снова я опускаю будущее, просто для простоты.

ГЛАВА XVI.

ПАМЯТЬ.

В предыдущей главе нас интересовала непосредственная *интуиция* времени. Мы обнаружили, что оно ограничено интервалами значительно меньшими, чем минута. За его пределами простирается огромная область *задуманного* времени, прошлого и будущего, в ту или иную сторону которого мы мысленно проецируем все события, которые считаем реальными, и формируем их систематический порядок, присваивая каждому дату. Отношение задуманного и интуитивного времени подобно отношению фиктивного пространства, изображенного на плоском заднике театра, к реальному пространству сцены. Объекты, нарисованные на первом (деревья, колонны, дома на удаляющейся улице и т. д.), переносят на второй ряд аналогичных объектов, прочно расположенных на заднике, и нам кажется, что мы видим вещи в непрерывной перспективе, хотя на самом деле мы видим лишь некоторые из них и воображаем, что видим все остальное. В главе, которая находится перед

нами, речь идет о том, как мы рисуем далекое прошлое, как бы на холсте в нашей памяти, и при этом часто воображаем, что непосредственно видим его глубины.

Поток мыслей течет дальше, но большинство его сегментов падает в бездонную пропасть забвения. О некоторых из них не сохранилось никаких воспоминаний в момент их прохождения. У других она ограничивается несколькими мгновениями, часами или днями. Другие же оставляют после себя неразрушимые остатки, с помощью которых их можно вспоминать до тех пор, пока длится жизнь. Можно ли объяснить эти различия?

ПЕРВИЧНАЯ ПАМЯТЬ.

Первое, на что следует обратить внимание, - это то, что *для того, чтобы душевное состояние сохранилось в памяти, оно должно существовать в течение определенного времени*. Другими словами, оно должно быть тем, что я называю субстанциональным состоянием. Препозитивные и конъюнктивные состояния ума не запоминаются как независимые факты - мы не можем вспомнить только то, что мы чувствовали, когда говорили "как" или "несмотря на". Наше сознание этих переходных состояний замкнуто на их собственный момент - отсюда одна из трудностей интроспективного психологизма.

Любое душевное состояние, замкнутое в своем собственном моменте и не способное стать объектом для последующих душевных состояний, как будто принадлежит другому потоку мысли. Вернее, оно лишь физически, а не интеллектуально, принадлежит к своему собственному потоку, образуя мост от одного его сегмента к другому, но не будучи внутренне присвоенным прежними сегментами и не являясь частью эмпирического "я", как это объясняется в [главе X](#). Вся интеллектуальная ценность для нас того или иного душевного состояния зависит от нашего последующего воспоминания о нем. Только тогда оно объединяется в систему и сознательно вносится в результат. Только тогда оно имеет для нас значение. Таким образом, *эффективное сознание, которое мы имеем о наших состояниях, - это постсознание*; и чем больше его, тем большее влияние имеет первоначальное состояние и тем более постоянным фактором оно является в нашем мире. Неизгладимая боль может окрасить всю жизнь; но, как говорит профессор Рише:

"Страдать всего лишь сотую долю секунды - не значит страдать вообще; и я, со своей стороны, охотно согласился бы пережить боль, какой бы острой и интенсивной она ни была, если бы она длилась всего лишь сотую долю секунды и не оставляла после себя ни отголосков, ни воспоминаний".[\[567\]](#)

Не то чтобы кратковременное состояние сознания было практически безрезультатным. Отнюдь нет: такое состояние, пусть даже абсолютно не запоминающееся, могло бы в свой момент определить переход нашего мышления в жизненно важное русло и бесповоротно решить наши действия.[\[568\]](#) Но *представление* о нем не могло бы впоследствии определять переход и действие, его содержание не могло бы быть представлено как одно из постоянных значений разума: это все, что я имею в виду, говоря, что его интеллектуальная ценность заключается в послевоспоминании.

Как правило, ощущения на некоторое время переживают объективный стимул, который их вызвал. Этот феномен лежит в основе тех "послеобразов", которые знакомы нам по физиологии органов чувств. Если мы мгновенно откроем глаза на какую-нибудь сцену, а затем окутаем их полной темнотой, то мы как будто увидим эту сцену в призрачном свете через темный экран. Мы можем различить в ней детали, которые были незаметны, пока глаза были открыты.[\[569\]](#)

В любой сфере чувств прерывистый стимул, достаточно часто повторяющийся, вызывает непрерывное ощущение. Это происходит потому, что послевкусие только что прошедшего впечатления смешивается с новым впечатлением. Таким образом, эффекты стимулов могут накладываться друг на друга на много ступеней вглубь, а итогом в сознании становится увеличение интенсивности ощущения и, по всей вероятности, как мы видели в прошлой главе, элементарное ощущение времени (см. [с. 635](#)).

Экснер пишет:

"Впечатления, к которым мы невнимательны, оставляют в памяти столь краткий образ, что его обычно не замечают. Глубоко погружившись в себя, мы не слышим удара часов. Но наше внимание может пробудиться после того, как удар прекратился, и тогда мы можем отсчитывать удары". Такие примеры часто встречаются в повседневной жизни. Мы также можем доказать существование этой *первичной памяти-образа*, как ее можно назвать, у другого человека, даже когда его внимание полностью поглощено чем-то другим. Попросите кого-нибудь, например, считать строки на печатной странице так быстро, как он может, и в то время как это происходит, пройдите несколько шагов по комнате. Затем, когда человек закончит считать, спросите его, где вы стояли. Он всегда совершенно точно ответит, что вы ходили. Аналогичные эксперименты можно провести и со зрением. Это первичное воспоминание-образ, независимо от того, было ли внимание обращено на впечатление или нет, является чрезвычайно живым, но субъективно совершенно отлично от любого вида послеобразов или галлюцинаций..... Он исчезает, если не привлечь внимание, в течение нескольких секунд. Даже когда на первоначальное впечатление обращают внимание, живость его образа в памяти быстро исчезает".[\[570\]](#)

Физическое состояние нервной ткани этой первичной памяти Рише называет "элементарной памятью".[\[571\]](#) Я предпочитаю использовать слово "память" для феномена сознания. То, что происходит в нервной ткани, - лишь пример той пластичности или полуинертности, уступчивости к изменениям, но не мгновенной и не полной, и никогда не восстанавливающей первоначальную форму, которая, как мы видели [в главе V](#), лежит в основе привычки. Элементарная *привычка* была бы более подходящим названием для того, что имеет в виду профессор Рише. Что ж, первое проявление элементарной привычки - это медленное угасание отпечатков на нервной материи, а первый ее эффект в сознании - это так называемая элементарная память. Но то, что элементарная память дает нам знать, - это *только что* прошедшее время. Объекты, которые мы ощущаем в этом непосредственно интуитивном прошлом, отличаются от правильно вспоминаемых объектов. Вспоминаемый объект, в собственном смысле этого слова, - это объект, который полностью отсутствовал в сознании, а теперь возрождается заново. Его возвращают, вспоминают, вылавливают, так сказать, из резервуара, в котором вместе с бесчисленными другими объектами он лежал погребенный и потерянный из виду. Но объект первичной памяти не возвращается таким образом; он никогда не был потерян; его дата никогда не была отрезана в сознании от даты непосредственного настоящего момента. Фактически он приходит к нам как принадлежащий к задней части настоящего пространства времени, а не к подлинному прошлому. В прошлой главе мы видели, что часть времени, которую мы непосредственно интуитивно ощущаем, имеет длину в несколько секунд, задний и передний конец и может быть названа видимым настоящим. Все стимулы, первые нервные колебания которых еще не прекратились, по-видимому, являются условиями возникновения у нас этого ощущения

конкретного настоящего. Они порождают объекты, которые представляются сознанию как события, только что произошедшие.[572]

Когда мы подвергаемся воздействию необычного стимула в течение многих минут или часов, в нервной системе запускается процесс, в результате которого впечатление еще долго преследует сознание. Тактильные и мышечные ощущения после дня катания на коньках или верховой езды, после долгого отказа от этих занятий, будут возвращаться к нам всю ночь. Изображения в поле зрения микроскопа будут раздражать наблюдателя в течение нескольких часов после необычно долгого сидения у прибора. Нитка, завязанная вокруг пальца, необычная теснота в одежде будут ощущаться как будто все еще там, долгое время после того, как их убрали. Эти оживления (немцы называют их феноменами *Sinnesgedächtniss*) имеют в своей природе нечто периодическое.[573] Они показывают, что в нервной субстанции происходят глубокие перестройки и медленное установление нового равновесия, и служат переходом к такому более своеобразному и правильному явлению, как память, о котором пойдет речь в оставшейся части этой главы. Первое условие, которое делает вещь восприимчивой к воспоминаниям после того, как она была забыта, заключается в том, что первоначальное впечатление о ней должно быть достаточно продолжительным, чтобы породить *повторяющийся* образ ее, в отличие от одного из тех первичных послеобразов, которые могут оставить очень мимолетные впечатления и которые сами по себе не содержат никакой гарантии, что они когда-нибудь вернутся после того, как однажды угасли.[574] Определенная длительность стимуляции, по-видимому, обусловлена инертностью нервной субстанции. Подвергаясь более короткому воздействию, его модификация не успевает "установиться", и оно не сохраняет никакой эффективной тенденции снова впасть в ту же форму вибрации, на которой было вызвано первоначальное ощущение. Это, как я уже говорил, может быть причиной того, что вспоминаются, как правило, только "субстанциональные", а не "переходные" состояния ума, по крайней мере, как самостоятельные вещи. Переходные состояния проходят слишком быстро.

АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ПАМЯТИ.

Собственно память, или вторичная память, как ее можно назвать, - это знание о прежнем состоянии ума после того, как оно уже однажды исчезло из сознания; точнее, *это знание о событии или факте*, о котором мы тем временем не думали, с *дополнительным сознанием того, что мы думали или переживали его раньше*.

Первый элемент, который включает в себя такое знание, - это возрождение в сознании образа или копии исходного события.[575] И многие авторы[576] полагают, что оживление образа - это все, что нужно для формирования памяти об исходном событии. Но такое оживление, очевидно, не является *воспоминанием*, чем бы еще оно ни было; это просто дубликат, второе событие, не имеющее абсолютно никакой связи с первым событием, кроме того, что оно на него похоже. Часы бьют сегодня; они били вчера; и могут бить миллион раз, пока не износятся. Дождь льет по водостоку на этой неделе; он лил на прошлой неделе; и будет лить в *sæcula sæculorum*. Но разве нынешний удар часов осознает прошлые, или нынешний поток вспоминает прошлый, потому что они повторяются и похожи друг на друга? Конечно же, нет. И пусть не говорят, что это происходит потому, что удары часов и желобов - физические, а не психические объекты; ведь психические объекты (например, ощущения), просто повторяющиеся в последовательных изданиях, помнят друг друга не больше, чем удары часов. В самом факте повторения нет памяти. Сменяющие друг друга эпизоды ощущения - это множество независимых событий, каждое из которых влезает в свою шкуру.

Вчерашнее чувство мертво и похоронено, и присутствие сегодняшнего не является причиной для его реанимации. Требуется еще одно условие, прежде чем можно будет считать, что нынешний образ соответствует *прошлому оригиналу*.

Это условие заключается в том, что изображаемый факт должен быть *явно отнесен к прошлому*, мыслиться как *прошлое*. Но как мы можем мыслить вещь как прошлое, кроме как думая о прошлом вместе с вещью и об их связи? А как мы можем думать о прошлом? В главе о восприятии времени мы видели, что наше интуитивное или непосредственное сознание прошлого вряд ли переносит нас более чем на несколько секунд назад от настоящего момента времени. Более отдаленные даты мы представляем себе, а не воспринимаем; знаем их символически по названиям, таким как "прошлая неделя", "1850 год"; или думаем о событиях, которые в них произошли, например, о годе, когда мы посещали такую-то школу или столкнулись с такой-то потерей - таким образом, если мы хотим думать о конкретной прошлой эпохе, мы должны думать об имени или другом символе, или об определенных конкретных событиях, связанных с ней. Чтобы адекватно представить себе прошлую эпоху, необходимо думать и о том, и о другом. А "отнести" какой-либо особый факт к прошлой эпохе - это значит мыслить этот факт с именами и событиями, которые характеризуют его дату, короче говоря, мыслить его с множеством сопряженных ассоциаций.

Но даже это не было бы памятью. Память требует большего, чем простая датировка факта в прошлом. Он должен быть датирован в *моем* прошлом. Другими словами, я должен думать, что непосредственно пережил его появление. Оно должно обладать той "теплотой и близостью", о которых так часто говорилось в главе о Я, как о характеристике всех переживаний, "присвоенных" мыслителем как свои собственные.

Общее ощущение прошлого направления во времени, конкретная дата, представляемая как лежащая вдоль этого направления, и я, определяемый ее названием или феноменальным содержанием, событие, представляемое как находящееся в нем и принадлежащее мне как часть моего опыта, - таковы элементы каждого акта памяти.

Из этого следует, что то, что мы начали называть "образом" или "копией" факта в сознании, на самом деле вовсе не существует в такой простой форме, как отдельная "идея". Или, по крайней мере, если оно и существует как отдельная идея, то никакая память с ним не идет. То, с чем идет память, - это, напротив, очень сложное представление, состоящее из вспоминаемого факта и его ассоциаций, причем все это составляет один "объект" (как объясняется на [стр. 275](#), глава IX), известный в одном целостном импульсе сознания (как изложено на [стр. 276](#) и далее) и требующий, вероятно, гораздо более сложного мозгового процесса, чем тот, от которого зависит любой простой сенсорный образ.

Большинство психологов дали совершенно четкий анализ описываемого нами явления. Кристиан Вольф, например, пишет:

"Предположим, что вы видели Мевия в храме, а теперь вновь в доме Тита. Я говорю, что вы *узнаете* Мевия, то есть сознаете, что видели его раньше, потому что, хотя теперь вы воспринимаете его чувствами вместе с домом Тита, ваше воображение создает его образ вместе с образом храма и актами вашего собственного ума, размышляющего о Мевии в храме. Следовательно, идея Мевия, воспроизведенная в чувстве, содержится в другой серии восприятий, чем та, которая содержала ее раньше, и это различие является причиной того, что мы сознаем, что имели ее раньше..... Ибо в то время как сейчас ты видишь Мевия в доме Тита, твое воображение помещает его в храм и заставляет тебя сознавать то состояние души, которое ты обнаружил в себе, когда увидел его там. Таким образом, вы знаете, что

видели его раньше, то есть узнаете его. Но вы узнаете его потому, что его идея теперь содержится в другой серии восприятий, чем та, в которой вы увидели его впервые".[577]

Аналогичным образом пишет Джеймс Милль:

"В моем воспоминании о Георге III, выступающем перед двумя палатами парламента, есть, прежде всего, простая идея, или простое восприятие, концепция, как ее иногда называют, объектов. К этому присоединяется, чтобы сделать его памятью, мое представление о том, что я видел и слышал эти объекты. И это сочетание настолько тесное, что я не в силах их разделить. Я не могу иметь представление о Георге III: его лице и поведении, бумаге, которую он держал в руке, звуке его голоса, когда он читал с нее; не имея вместе с этим другого представления - о том, что я был свидетелем этой сцены..... Если это объяснение случая, когда мы помним ощущения, понятно, то объяснение случая, когда мы помним идеи, не может вызвать особых затруднений. Я живо помню пещеру Полифема и действия Улисса и циклопа, описанные Гомером. В этом воспоминании есть, прежде всего, идеи, или простые представления об объектах и действиях; а вместе с этими идеями, причем настолько тесно объединенными, что их невозможно отделить друг от друга, - идея о том, что у меня раньше были такие же идеи. И эта идея о том, что у меня раньше были эти идеи, - очень сложная идея; она включает в себя идею о том, что я помню себя в настоящий момент, и идею о том, что я представляю себя в прошлый момент; и весь ряд состояний сознания, которые были между тем, как я помню, и тем, как я представляю".[578]

Память - это чувство веры в особый сложный объект; но все элементы этого объекта могут быть известны другим состояниям веры; и в конкретной комбинации их, как они появляются в памяти, нет ничего настолько особенного, чтобы заставить нас противопоставить последнюю другим видам мысли как нечто совершенно *sui generis*, нуждающееся в особой способности объяснять это. Когда позже мы перейдем к главе о вере, то увидим, что любой представленный объект, который связан либо опосредованно, либо непосредственно с нашими нынешними ощущениями или эмоциональной деятельностью, склонен восприниматься как реальность. Ощущение особого активного отношения в нем к себе - вот что придает объекту характерное качество реальности, и просто воображаемое прошлое событие отличается от вспоминаемого только отсутствием этой особой ощущаемой связи. Электрический ток, так сказать, между ним и нашим настоящим "я" не замыкается. Но в других своих определениях вновь вспоминаемое прошлое и воображаемое прошлое могут быть совершенно одинаковыми. Иными словами, в объекте памяти нет ничего уникального, и для его формирования не требуется особых способностей. Это синтез частей, которые мыслятся как связанные друг с другом: восприятие, воображение, сравнение и рассуждение - аналогичные синтезы частей в сложные объекты. Объекты любой из этих способностей могут пробудить веру или не пробудить ее; *объект памяти - это только объект, воображаемый в прошлом* (обычно очень полно воображаемый там), к которому привязана эмоция веры.

ПРИЧИНЫ ПАМЯТИ.

Таков феномен памяти или анализ ее объекта, можем ли мы увидеть, как он возникает? Можем ли мы обнажить его причины?

Ее полное осуществление предполагает две вещи:

- 1) *Сохранение* запомненного факта;
- 2) его *реминисценция, воспоминание, воспроизведение* или *припоминание*.

Причиной как удержания, так и припоминания является закон привычки в нервной системе, работающий, как и он, в "ассоциации идей".

Ассоцианисты уже давно объясняют *воспоминания* ассоциацией. Джеймс Милль дает объяснение, которое я не в состоянии улучшить, разве что перевести его слово "идея" в "вещь, о которой думают" или "объект", как это часто объяснялось ранее.

"Существует, - говорит он, - состояние ума, знакомое всем людям, в котором мы, как говорят, помним. В этом состоянии мы точно не имеем в уме той идеи, которую пытаемся в нем иметь.^[579] Как же тогда мы пытаемся добиться ее внедрения в сознание? Если у нас нет самой идеи, у нас есть некоторые идеи, связанные с ней. Мы перебираем эти идеи одну за другой в надежде, что какая-то из них подскажет нам нужную идею; а если какая-то из них и подсказывает, то она всегда настолько связана с ней, что вызывает ассоциации. Я встречаю старого знакомого, чье имя я не помню, но хотел бы вспомнить. Я перебираю множество имен в надежде, что некоторые из них могут ассоциироваться с представлением об этом человеке. Я вспоминаю все обстоятельства, в которых я его видел; время, когда я его знал, людей, с которыми я его знал, вещи, которые он делал, или вещи, от которых он страдал; и если я случайно натыкаюсь на какую-нибудь идею, с которой ассоциируется это имя, то у меня сразу же возникает воспоминание; если нет, то мои поиски напрасны.^[580] На сайте есть еще один случай, очень знакомый, но дающий очень важное доказательство по этому вопросу. Часто случается, что есть вещи, которые мы не хотим забывать. К каким средствам мы прибегаем, чтобы сохранить память, то есть убедиться, что она будет вызвана к жизни, когда мы этого захотим? Все люди неизменно прибегают к одному и тому же средству. Они стараются сформировать ассоциацию между идеей вещи, которую нужно вспомнить, и каким-то ощущением или идеей, которая, как они заранее знают, возникнет в то время или вблизи того времени, когда они хотят, чтобы воспоминание возникло в их сознании. Если эта ассоциация сформирована, и ассоциация или идея, с которой она была сформирована, возникает; ощущение или идея вызывают воспоминание, и цель того, кто сформировал ассоциацию, достигнута. Приведем вульгарный пример: человек получает поручение от своего друга и, чтобы не забыть его, завязывает узел на своем носовом платке. Как объяснить этот факт? Во-первых, идея поручения связана с завязыванием узла. Далее, платок - это вещь, которую, как заранее известно, будут часто видеть, и, конечно же, не на большом расстоянии от того случая, по которому хотят вспомнить. Увидев платок, человек видит узел, и это ощущение напоминает о комиссии, между которой и им самим была создана целенаправленная ассоциация".^[581]

Короче говоря, мы ищем в памяти забытую идею, так же как рыщем в доме в поисках потерянной вещи. В обоих случаях мы посещаем то, что кажется нам вероятным *соседством* того, чего нам не хватает. Мы перебираем вещи, под которыми, внутри которых или рядом с которыми она может находиться; и если она лежит рядом с ними, то вскоре обнаруживается. Но эти вещи в случае с искомым ментальным объектом - не что иное, как его *спутники*. Таким образом, механизм припоминания - это то же самое, что и механизм ассоциации, а

механизм ассоциации, как мы знаем, есть не что иное, как элементарный закон привычки в нервных центрах.

И этот же закон привычки является механизмом удержания. Удержание означает *способность* вспомнить, и это означает не что иное, как такую способность. Единственным доказательством существования удержания является то, что воспоминание действительно имеет место. Сохранение опыта - это, короче говоря, просто другое название для *возможности* думать о нем снова, или *тенденции* думать о нем снова, с его прошлым окружением. Какой бы случайный сигнал ни превратил эту тенденцию в актуальность, постоянная *основа* самой тенденции лежит в организованных нейронных путях, по которым сигнал вызывает опыт по соответствующему случаю, вместе с его прошлыми ассоциациями, чувством, что "я" был там, верой в то, что это действительно произошло, и т. д. и т. п., как уже было описано ранее. Когда воспоминание "готово", реанимация происходит в тот же миг, когда появляется повод; когда оно медленное, реанимация происходит с задержкой. Но каким бы ни было воспоминание - быстрым или медленным, - условие, которое делает его вообще возможным (или, другими словами, "удержание" опыта), не больше и не меньше, чем мозговые пути, которые *связывают* опыт с поводом и сигналом к воспоминанию. *В дремотном состоянии эти пути являются условием удержания; в активном состоянии они являются условием припоминания.*

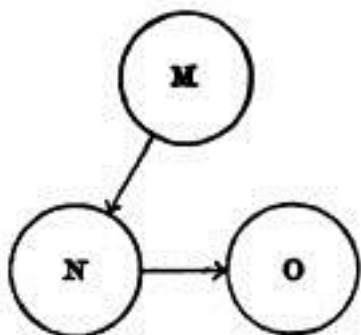


Рис. 45.

Теперь простая схема сделает понятной всю причину памяти. Пусть *n* - это прошлое событие; *o* - его "обстановка" (сопутствующие факторы, дата, присутствие самого себя, теплота и близость и т. д. и т. п., как уже говорилось); *m* - какая-то настоящая мысль или факт, который может стать подходящим поводом для его припоминания. Пусть нервные центры, активные при мысли о *m*, *n* и *o*, будут представлены соответственно M, N и O; тогда *существование* путей M-N и N-O будет фактом, обозначенным фразой "сохранение события *n* в памяти", а *возбуждение* мозга по этим путям будет условием действительного припоминания события *n*. Сохранение *n*, как можно заметить, не является таинственным хранением "идеи" в бессознательном состоянии. Это вообще не факт психического порядка. Это чисто физическое явление, морфологическая особенность, присутствие этих "путей", а именно в тончайших углублениях тканей мозга. Воспоминание, с другой стороны, - это *психофизическое* явление, имеющее как телесную, так и психическую сторону. Телесная сторона - это функциональное возбуждение соответствующих трактов и путей; психическая сторона - это сознательное видение прошлого события и вера в то, что мы его уже пережили.

Эти избитые привычками пути ассоциаций - четкое представление того, что авторы подразумевают под "предрасположенностью", "пережитками", "следами" и т. д., оставленными в мозгу прошлым опытом. Большинство авторов оставляют природу этих

пережитков неясной; лишь немногим приходит в голову явно ассимилировать их с каналами ассоциаций. Доктор Модсли, например, пишет

"Когда идея, которая была у нас однажды, возбуждается снова, происходит воспроизведение того же нервного тока, с сознательным добавлением того, что это воспроизведение - та же самая идея *плюс* сознание того, что она та же самая. Тогда возникает вопрос: каково физическое состояние этого сознания? Какова модификация анатомического субстрата волокон и клеток или их физиологической активности, которая является поводом для этого *плюсового* элемента в воспроизведенной идее? Можно предположить, что первая активность оставила после себя, когда она утихла, некое последствие, некую модификацию нервного элемента, благодаря которой нервная цепь была настроена снова легко впасть в то же самое действие; такая настроенность проявляется в сознании как узнавание или память. Память - это, по сути, сознательная фаза этой физиологической предрасположенности, когда она становится активной или выполняет свои функции при повторении конкретного психического опыта. Чтобы помочь нам понять, что может произойти, давайте предположим, что отдельные нервные элементы наделены собственным сознанием, и предположим, что они, как я уже предполагал, определенным образом изменены первым опытом; трудно представить, что когда они попадают в то же действие в другой раз, они не должны узнавать или помнить его; ведь второе действие - это воспроизведение первого, с добавлением того, что оно содержит в себе из последствий первого. Поскольку мы предположили, что процесс сознательный, это воспроизведение с добавлением будет памятью или воспоминанием".[582]

В этом отрывке доктор Модсли, похоже, подразумевает под "нервным элементом" или "анатомическим субстратом из волокон и клеток" нечто, соответствующее N нашей диаграммы. А "модификация", о которой он говорит, по-видимому, должна пониматься как внутренняя модификация этой же конкретной группы элементов. Теперь малейшее размышление убедит любого, что нет никаких мыслимых оснований предполагать, что при простом повторном возбуждении N должно возникнуть "сознательное дополнение", что это повторное возбуждение. Два возбуждения - это просто два возбуждения, их сознания - это два сознания, они не имеют ничего общего друг с другом. И смутная "модификация", якобы оставленная первым возбуждением, ничуть нам не помогает. Ибо, согласно всей аналогии, такая модификация может привести лишь к тому, что следующее возбуждение станет более плавным и быстрым. Это может сделать его менее *сознательным*, возможно, но не может наделить его какой-либо ссылкой на прошлое. Желоб становится глубже с каждым последующим ливнем, но не по этой причине вступает в контакт с предыдущими ливнями. Психология (которая, как говорит доктор Модсли в следующем предложении, "не оказывает нам ни малейшей помощи в этом вопросе") ставит нас на путь, по крайней мере, возможного мозгового объяснения. Поскольку именно *закрепление* идеи, когда она повторяется, заставляет нас осознавать ее как прошедшую, это не может быть *внутренним* изменением "нервного элемента" N, который является органическим условием памяти, а нечто внешнее по отношению к нему, а именно его связи с другими нервными элементами, которые мы называли O - эта буква обозначает в схеме мозговой субстрат большого сплетения других вещей, кроме основного события, которое помнится, даты, имена, конкретное окружение, осознанные интервалы и т. д. Модификация" - это формирование в пластичной нервной субстанции системы ассоциативных путей между N и O.

Короче говоря, единственная гипотеза, которую подтверждают факты внутреннего опыта, заключается в том, что *мозговые тракты, возбуждаемые самим событием, и те, которые возбуждаются при его воспоминании, частично отличаются друг от друга*. Если бы мы могли оживить прошлое событие без каких-либо ассоциаций, мы должны были бы исключить возможность памяти и просто мечтать о том, что мы переживаем это событие как бы в первый раз.^[583] Там, где, самом деле, вспоминаемое событие появляется без определенной обстановки, его трудно отличить от простого порождения фантазии. Но по мере того, как его образ задерживается и вызывает ассоциации, которые постепенно становятся все более определенными, он все отчетливее превращается в воспоминание. Например, я захожу в комнату друга и вижу на стене картину. Сначала у меня возникает странное, удивленное сознание: "Конечно, я уже видел это раньше", но когда и как - не ясно. За картиной лишь цепляется некая полутень знакомости, как вдруг я восклицаю: "Она у меня есть, это копия части одного из Фра Анджелико во Флорентийской академии - я помню ее там!" Но побуждение к этому воспоминанию заключается *не* в том, что мозговой тракт, возбужденный сейчас картиной, был когда-то возбужден подобным образом; оно заключается только и исключительно в том, что вместе с этим мозговым трактом возбуждаются и другие тракты: те, которые поддерживают комнату моего друга со всеми ее особенностями, с одной стороны; те, которые поддерживают мысленный образ Флорентийской академии, с другой стороны, с обстоятельствами моего визита туда; и наконец те, которые заставляют меня (более смутно) думать о годах, прожитых между этими двумя временами. Результатом такого полного расстройства мозга является мысль, имеющая особый объект, а именно, что я, который сейчас стоит здесь с этой картиной перед глазами, стоял столько лет назад во Флорентийской академии, глядя на ее оригинал.

М. Тэн в своей обычной яркой манере описал постепенный путь, по которому мысленный образ превращается в объект памяти. Он сказал:

"Я случайно встречаю на улице человека, чья внешность мне знакома, и сразу же говорю себе, что видел его раньше. Мгновенно фигура отступает в прошлое и смутно колеблется там, не фиксируясь ни на одном месте. Она сохраняется во мне некоторое время и окружает себя новыми деталями. Когда я его видел, он был с голой головой, в рабочей куртке, рисовал в студии; он такой-то и такой-то, с такой-то и такой-то улицы. Но когда это было? Не вчера, не на этой неделе и не недавно. Я знаю: он сказал мне, что ждал, когда появятся первые листья, чтобы уехать в деревню. Это было еще до весны. Но в какой именно день? В тот же день я видел людей с ветками на улицах и в omnibusах: это было Вербное воскресенье! Обратите внимание на путешествия внутренней фигуры, на ее различные перемещения вперед и назад по линии прошлого; каждое из этих мысленных предложений было колебанием равновесия. Столкнувшись с настоящим ощущением и скрытым роem неотчетливых образов, повторяющих нашу недавнюю жизнь, фигура сначала внезапно отпрянула на неопределенное расстояние. Затем, дополненная точными деталями и столкнувшись со всеми сокращенными образами, которыми мы подводим итоги дня или недели, она снова отступила за пределы сегодняшнего дня, за пределы вчерашнего, позавчерашнего, недельного, еще дальше, за пределы неопределенной массы, которую составляют наши недавние воспоминания. Затем вспомнилось что-то, сказанное художником, и оно сразу же снова отодвинулось за почти точный предел, обозначенный изображением зеленых листьев и словом "весна". Мгновение спустя, благодаря новой детали, воспоминанию о ветвях, оно снова сдвинулось, но на этот раз вперед, а не назад, и, если обратиться к календарю, находится в точной точке, на неделю дальше Пасхи и на пять недель

ближе карнавала, благодаря двойному действию противоположных импульсов, толкающих его, один вперед, а другой назад, и которые в определенный момент аннулируются друг другом".[584]

УСЛОВИЯ ДОБРОТЫ В ПАМЯТИ.

Если вспоминаемый факт - это *n*, то путь N-O - это то, что вызывает у *n* его установку при воспоминании и делает его не просто воображением. Путь M-N, с другой стороны, дает подсказку или повод для того, чтобы его вообще вспомнить. *Память, будучи полностью обусловленной мозговыми путями, у конкретного индивида будет зависеть от количества и устойчивости этих путей.*

Устойчивость или постоянство путей является физиологическим свойством мозговой ткани индивида, в то время как их количество полностью обусловлено фактами его ментального опыта. Пусть качество постоянства путей будет названо врожденной цепкостью, или физиологической ретентивностью. Эта цепкость очень сильно различается от младенчества до старости и от одного человека к другому. Некоторые умы подобны воску под печатью - ни одно впечатление, как бы оно ни было связано с другими, не стирается. Другие, подобно желе, вибрируют от каждого прикосновения, но в обычных условиях не сохраняют постоянного следа. Эти последние умы, прежде чем вспомнить какой-либо факт, должны вплести его в свои постоянные запасы знаний. У них нет *десульторной* памяти. Напротив, те люди, которые без труда запоминают имена, даты и адреса, анекдоты, сплетни, поэзию, цитаты и всевозможные разнородные факты, обладают десульторной памятью в высокой степени и, несомненно, обязаны этим необычной цепкости своего мозгового вещества к любому пути, однажды сформированному в нем. Никто, вероятно, никогда не работал в больших масштабах, не обладая высокой степенью этой физиологической ретентивности. В практической, как и в теоретической жизни, человек, чьи приобретения *незыблемы*, - это человек, который постоянно добивается и продвигается вперед, в то время как его соседи, проводящие большую часть своего времени в повторном изучении того, что они когда-то знали, но забыли, просто держат себя в руках. Карл Великий, Лютер, Лейбниц, Вальтер Скотт, короче говоря, любой пример человечества из ваших изданий кварто или фолио, должен обладать удивительной ретентивностью чисто физиологического характера. Люди без этой способности могут превосходить *по качеству* своей работы в том или ином месте, но никогда не сделают таких огромных сумм и не будут влиятельны в таком масштабе.[585]

Но в жизни каждого из нас наступает момент, когда мы можем не более чем удерживать свои позиции на пути приобретений, когда старые пути исчезают так же быстро, как новые формируются в нашем мозгу, и когда мы забываем за неделю столько же, сколько можем выучить за тот же промежуток времени. Это равновесие может длиться много-много лет. В глубокой старости оно нарушается в обратном направлении, и забывание преобладает над приобретением, или, скорее, приобретение отсутствует. Мозговые пути настолько быстротечны, что в течение нескольких минут разговора один и тот же вопрос задается, а ответ на него забывается полдюжины раз. Тогда проявляется превосходная стойкость путей, сформированных в детстве: тупица проследит факты своих ранних лет после того, как потеряет все более поздние.

Вот вам и постоянство путей. Теперь об их количестве.

Очевидно, что чем больше в мозгу таких путей, как M-N, и чем больше в сознании таких возможных подсказок или поводов для воспоминания *n*, тем быстрее и надежнее в целом

будет память о *n*, тем чаще о нем будут напоминать, тем больше путей для подхода к нему будет у человека. В ментальном плане, *чем больше других фактов ассоциируется в сознании с фактом, тем лучше он сохраняется в нашей памяти*. Каждый из связанных с ним фактов становится крючком, на который он цепляется, средством, с помощью которого его можно выловить, когда он погружается под воду. Вместе они образуют сеть привязанностей, с помощью которых оно вплетается во всю ткань нашего мышления. Таким образом, "секрет хорошей памяти" - это секрет формирования разнообразных и многочисленных ассоциаций с каждым фактом, который мы хотим сохранить. Но это формирование ассоциаций с фактом - что это, как не *размышление* о нем как можно чаще? Короче говоря, из двух людей с одинаковым внешним опытом и одинаковым количеством простого врожденного упорства *тот, кто больше всего размышляет над своим опытом и вплетает его в систематические отношения друг с другом, будет иметь лучшую память*. Примеры этого мы видим повсюду. Большинство мужчин хорошо запоминают факты, связанные с их собственными занятиями. Спортсмен из колледжа, который остается тупицей в своих книгах, поразит вас своим знанием мужских "рекордов" в различных подвигах и играх и станет ходячим словарем спортивной статистики. Причина в том, что он постоянно перебирает в уме эти вещи, сравнивает и составляет из них ряды. Они формируют для него не столько отдельные факты, сколько концепцию-систему, поэтому они запоминаются. Так, торговец запоминает цены, политик - речи и голоса других политиков с такой полнотой, которая удивляет посторонних, но которую легко объясняет количество мыслей, которые они посвящают этим предметам. Огромная память на факты, которую Дарвин и Спенсер демонстрируют в своих книгах, не противоречит наличию у них мозга, обладающего лишь средней степенью физиологической ретентивности. Пусть человек в самом начале жизни поставит перед собой задачу проверить такую теорию, как теория эволюции, и факты вскоре будут громоздиться и цепляться за него, как виноград за плодоножку. Их связь с теорией будет удерживать их; и чем больше таких фактов ум сможет разглядеть, тем выше будет эрудиция. Между тем у теоретика может быть мало, если вообще есть, десульторной памяти. Непригодные для использования факты могут быть им не замечены и забыты, как только услышаны. Невежество, почти такое же энциклопедическое, как и эрудиция, может сосуществовать с последней и прятаться, так сказать, в прорехах ее паутины. Те, кто много общался с учеными и *эрудитами*, без труда вспомнят примеры того класса ума, который я имею в виду.

В системе каждый факт связан со всеми остальными какими-то мысленными отношениями. Следствием этого является то, что каждый факт сохраняется благодаря совокупной внушающей силе всех других фактов в системе, и забыть его практически невозможно.

Причина, по которой зубрежка является таким плохим способом обучения, теперь становится понятной. Я подразумеваю под зубрежкой тот способ подготовки к экзаменам, который заключается в запоминании "пунктов" в течение нескольких часов или дней интенсивной работы, непосредственно предшествующих финальному испытанию, при этом в течение предыдущего семестра работа практически не велась. Вещи, выученные таким образом за несколько часов, по одному случаю, с одной целью, не могут, вероятно, сформировать в сознании множество ассоциаций с другими вещами. Их мозговые процессы проходят по немногим тропинкам, и их сравнительно мало можно пробудить снова. Быстрое забвение - почти неизбежная судьба всего, что запечатлевается в памяти таким простым способом. Напротив, те же самые материалы, которые постепенно, изо дня в день, повторяясь в различных контекстах, рассматриваясь в различных отношениях, ассоциируясь с другими внешними событиями и неоднократно обдумываясь, вырастают в такую систему, образуют такие связи с остальной тканью ума, открыты для столь многих путей подхода, что

остаются постоянным достоянием. Это *интеллектуальная* причина, по которой в учебных заведениях должны прививаться привычки постоянного применения. Конечно, в зубрежке нет никакого морального порока. Если бы оно приводило к желаемому результату - надежному обучению, то это был бы бесконечно лучший метод обучения. Но этого не происходит, и студенты сами должны понимать, почему.

ВРОЖДЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ К ЗАПОМИНАНИЮ НЕИЗМЕННА.

Теперь становится ясно, что *все улучшение памяти лежит в русле* разработки ассоциаций каждой из нескольких вещей, которые необходимо запомнить. *Никакая культура не способна изменить* общую способность человека к запоминанию. Это физиологическое качество, которое дается раз и навсегда с его организацией, и которое он никогда не может надеяться изменить. Оно, несомненно, отличается в болезни и здоровье; и это факт наблюдения, что оно лучше в свежие и бодрые часы, чем когда мы устали или больны. Таким образом, можно сказать, что врожденная цепкость человека будет несколько колебаться в зависимости от его гигиены, и что все, что полезно для его здоровья, будет полезно и для его памяти. Можно даже сказать, что любое количество интеллектуальных упражнений, способствующее общему тону и питанию мозга, будет полезно и для общей цепкости. Но больше этого мы сказать не можем; и это, очевидно, гораздо меньше, чем считает большинство людей.

На самом деле принято считать, что определенные упражнения, систематически повторяемые, укрепляют не только память человека о конкретных фактах, используемых в упражнениях, но и его способность запоминать факты в целом. И всегда приводится убедительный довод в пользу того, что практика заучивания слов наизусть облегчает заучивание новых слов тем же способом.^[586] Если это правда, тогда то, что я только что сказал, ложно, и вся доктрина памяти как обусловленной "путями" должна быть пересмотрена. Но я склонен считать, что этот предполагаемый факт не соответствует действительности. Я тщательно расспросил нескольких зрелых актеров по этому вопросу, и все они отрицали, что практика изучения частей произвела какую-либо такую разницу, как утверждается. Все, что она сделала для них, - это улучшила их способность к систематическому *изучению* роли. Их ум теперь полон прецедентов в виде интонации, акцента, жестикуляции; новые слова пробуждают отчетливые предложения и решения; они попадают, по сути, в уже существующую сеть, как цены торговца или запас "рекордов" спортсмена, и вспоминаются легче, хотя простое родное упорство ничуть не улучшается, и обычно, по сути, ухудшается с возрастом. Это тот случай, когда лучше запоминается благодаря лучшему *мышлению*. Точно так же, когда школьники с помощью практики улучшают легкость заучивания наизусть, улучшение, я уверен, всегда будет заключаться в *способе изучения конкретного произведения* (благодаря большему интересу, большей внушаемости, общему сходству с другими произведениями, более устойчивому вниманию и т. д. и т. п.), а вовсе не в каком-либо улучшении грубой ретенционной силы.

Ошибка, о которой я говорю, распространена в полезной и разумной в других отношениях книге "Как укрепить память" доктора Холбрука из Нью-Йорка.^[587] Автор не делает различия между общей физиологической способностью к запоминанию и запоминанием конкретных вещей и говорит так, как будто и то, и другое должно быть улучшено одним и тем же средством.

"Сейчас я лечу случай потери памяти у человека преклонных лет, который не знал, что его память сильно ухудшилась, пока я не сказал ему об этом. Он прилагает энергичные усилия, чтобы вернуть ее снова, и с частичным успехом. Применяемый

метод заключается в том, чтобы ежедневно уделять два часа, один утром и один вечером, тренировке этой способности. Пациенту предписывается уделять самое пристальное внимание всему, что он изучает, чтобы это четко запечатлелось в его сознании. Его просят каждый вечер вспоминать все факты и переживания дня, а на следующее утро - снова. Каждое услышанное имя записывается, чтобы оно четко запечатлелось в его сознании, и через определенные промежутки времени делается попытка вспомнить его. Десять имен из числа публичных людей должны запоминаться каждую неделю. Ежедневно нужно заучивать стихотворные строфы, а также стих из Библии. Его просят запомнить номер страницы в любой книге, где записан какой-либо интересный факт. Эти и другие методы постепенно реанимируют слабеющую память".[588]

Мне очень трудно поверить, что память бедного старого джентльмена стала хоть немного лучше после всех этих попыток, за исключением конкретных фактов, которые в нее закладываются, событий, которые происходят и повторяются в эти дни, имен этих политиков, библейских стихов и т. д. и т. п. В другом месте доктор Холбрук цитирует рассказ покойного Турлоу Уида, журналиста и политика, о его методе укрепления памяти.

"Моя память была как решето. Я ничего не мог запомнить. Даты, имена, встречи, лица - все ускользало от меня. Я сказал жене: "Кэтрин, из меня никогда не получится успешный политик, потому что я не могу запомнить, а это главная потребность политиков". Моя жена сказала мне, что я должен тренировать свою память. Поэтому, вернувшись вечером домой, я сел один и в течение пятнадцати минут молча пытался точно вспомнить основные события дня. Поначалу мне удавалось вспомнить совсем немного; сейчас я вспоминаю, что тогда не мог вспомнить, что ел на завтрак. Через несколько дней практики я обнаружил, что могу вспомнить больше. События возвращались ко мне более детально, более точно и более ярко, чем вначале. Через две недели или около того Кэтрин сказала: "Почему бы вам не рассказать мне о событиях дня, вместо того чтобы вспоминать их самому? Это было бы интересно, а мой интерес к этому послужил бы для тебя стимулом". С большим уважением относясь к мнению жены, я завел привычку устной исповеди, которая продолжалась почти пятьдесят лет. Каждый вечер, в последнюю очередь перед отходом ко сну, я рассказывал ей все, что мог вспомнить, что произошло со мной или обо мне в течение дня. Обычно я вспоминал блюда, которые ел на завтрак, ужин и чай; людей, которых видел, и то, что они говорили; редакционные статьи, которые писал для своей газеты, давая ей их краткое изложение. Я упоминал все письма, которые отправлял и получал, и сам язык, который использовал, насколько это было возможно; когда я гулял или ездил верхом, я рассказывал ей обо всем, что попадалось мне на глаза. С каждым годом я обнаружил, что могу рассказывать о своих уроках все лучше и лучше, и вместо того, чтобы заниматься этим занятием, оно превратилось в удовольствие, когда я вновь вспоминаю события прошедшего дня. Этой дисциплине я обязан необычайной цепкостью памяти, и я рекомендую эту практику всем, кто хочет накапливать факты или рассчитывает иметь много общего с влиянием на людей".[589]

Я не сомневаюсь, что практическое владение мистером Уидом своим прошлым опытом после пятидесяти лет этой героической тренировки было гораздо более глубоким, чем без нее. Ожидая, что вечером ему предстоит дать отчет, он внимательнее относился к каждому происшествию дня, по-разному называл и осмысливал его, настраивался на него, а вечером снова принимался за дело. Он *больше размышлял* над этим, и в результате оно осталось с

ним. Но я смею с уверенностью утверждать (хотя и знаю, как глупо часто отрицать факт на основании теории), что тот же самый вопрос, если бы *на него обратили случайное внимание и не задумывались о нем*, в конце концов засел бы в его памяти не лучше, чем в начале его многолетней героической самодисциплины. Он приобрел лучший способ отмечать и записывать свои переживания, но его физиологическая способность к запоминанию, вероятно, ничуть не улучшилась.[590]

Итак, все улучшение памяти заключается в совершенствовании привычных методов фиксации фактов. В традиционной терминологии методы делятся на механические, изобретательные и разумные.

Механические методы заключаются в усилении, продлении и повторении впечатления, которое необходимо запомнить. Современный метод обучения детей чтению по доске, при котором каждое слово воспринимается по четырем каналам - глазом, ухом, голосом и рукой, - является примером усовершенствованного механического метода запоминания.

Разумные методы запоминания вещей - это не что иное, как логические способы их осмысления и превращения в рациональные системы, их классификации, анализа на части и т. д. и т. п. Все науки являются такими методами.

Из *гениальных методов* было изобретено множество под названием технической памяти. С помощью этих систем часто удается сохранить в памяти совершенно несвязанные факты, списки имен, чисел и т. д., настолько многочисленные, что их совершенно невозможно запомнить естественным путем. Метод обычно заключается в механическом заучивании основ, которые, как предполагается, должны оставаться в надежном и постоянном распоряжении разума. Затем все, что нужно запомнить, намеренно ассоциируется по причудливой аналогии или связи с какой-то частью этой основы, и эта связь в дальнейшем помогает вспомнить. Самым известным и наиболее часто используемым из этих устройств является фигурный алфавит. Для запоминания чисел, например, сначала составляется фигурный алфавит, в котором каждая цифра представлена одной или несколькими буквами. Затем число переводится в такие буквы, которые наилучшим образом составят слово, по возможности слово, наводящее на мысль об объекте, к которому относится число. Слово можно будет вспомнить, если забыть только цифры.

"Самый распространенный алфавит цифр выглядит следующим образом:

1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	0.
t,	n,	m,	r,	l,	ш,	g,	f,	b,	s,
d,					j,	k,	v,	p,	c,
					ch,	c,			z,
					g,	qu.			

"Чтобы кратко показать его использование, предположим, что необходимо зафиксировать 1142 фута в секунду как скорость звука: t, t, r, n - необходимые буквы и порядок. Заполните их гласными, образующими фразу, например "плотный бег", и свяжите ее каким-нибудь полетом воображения, например тем, что если человек попытается угнаться за скоростью звука, то у него будет плотный бег. Когда вы вспоминаете об этом несколько дней спустя, нужно быть очень осторожным, чтобы не перепутать со скоростью света и не подумать, что он бежал с *трудом*, что было бы слишком быстро - 3000 футов".[591]

Доктор Пик и другие используют систему, которая заключается в том, чтобы связать вместе две идеи, которые необходимо запомнить, с помощью промежуточной идеи, которая будет подсказана первой и послужит основой для второй, и так далее по списку. Таким образом,

"Предположим, что мы должны запомнить следующий ряд идей: сад, волосы, сторож, философия, медь и т. д.". Мы можем объединить эти идеи следующим образом: *сад*, растение, волосы растения; *волосы*, чепец, *сторож*; *сторож*, поминки, учеба, *философия*; *философия*, химия, *медь*; и т. д. и т. п.". (Pick.)^[592]

Известно, что впечатление запоминается тем лучше, чем оно

- 1) более свежим;
- 2) больше внимания; и
- 3) чаще повторяется.

Влияние давности является практически постоянным. Из двух одинаково значимых событий более отдаленное будет с большей вероятностью забыто. Воспоминания детства, сохраняющиеся в старости, вряд ли можно сравнить с событиями дня или часа, которые забываются, поскольку последние - это тривиальные однократные повторения, в то время как детские воспоминания вбивались в нас в течение ретроспективных часов всей нашей последующей жизни. *При прочих равных* условиях во все времена жизни рекурсия способствует развитию памяти. Единственное исключение, о котором я могу думать, - это безотчетная память о некоторых моментах нашего детства, которые, очевидно, не приспособлены по своей сути к тому, чтобы их пережить, но которые, возможно, являются единственными происшествиями, которые мы можем вспомнить за год, в который они произошли. У каждого, вероятно, есть отдельные отрывочные воспоминания о некоторых часах своей детской жизни, о том, в какой позе он стоял или сидел, о свете в комнате, о том, что говорили отец или мать, и т. д. Эти моменты, так странно выбранные для защиты от зуба времени, вероятно, обязаны своей удачей историческим особенностям, которые сейчас невозможно отследить. Вполне вероятно, что вскоре после того, как они произошли, нам снова напомнили о них; это стало причиной, по которой мы снова должны были их вспомнить, и т. д., так что в конце концов они укоренились.

Внимание, которое мы уделяем переживанию, пропорционально его яркости или интересности; и общеизвестный факт: то, что интересует нас наиболее ярко в данный момент, при прочих равных условиях запоминается лучше всего. Впечатление может быть настолько волнующим эмоционально, что почти оставляет *шрам* на мозговых тканях; так возникает патологический бред. "Женщина, на которую напали грабители, принимает всех мужчин, которых она видит, даже собственного сына, за разбойников, желающих ее убить. Другая женщина видит, как ее ребенка переезжает лошадь; никакие рассуждения, даже вид живого ребенка не убедят ее в том, что он не убит. Женщина, которую в споре называли "воровкой", остается убежденной, что все обвиняют ее в воровстве (Эскироль). Другая, подвергшаяся мании при виде пожаров на своей улице во время Коммуны, спустя шесть месяцев все еще видит в бреду пламя со всех сторон вокруг себя (Luys) и т. д. и т. п.". ^[593]

Что касается общей эффективности внимания и повторения, то я не могу сделать ничего лучше, чем скопировать то, что написал М. Тейн:

"Если мы сравним различные ощущения, образы или идеи, то обнаружим, что их склонность к оживлению не одинакова. Большое количество из них стирается и никогда не появляется вновь в течение жизни; например, я проезжал по Парижу день или два назад, и хотя я ясно видел около шестидесяти или восьмидесяти новых лиц, я не могу сейчас вспомнить ни одного из них; необходимо какое-то чрезвычайное обстоятельство, приступ бреда или волнение хашиша, чтобы дать им шанс на возрождение. С другой стороны, есть ощущения, обладающие силой возрождения, которую ничто не разрушает и не уменьшает. Хотя, как правило, время ослабляет и ухудшает наши самые сильные ощущения, они появляются вновь, полные и интенсивные, не потеряв ни частицы своих деталей, ни какой-либо степени своей силы. Месье Бриер де Буамон, страдавший в детстве от болезни кожи головы, утверждает, что "по прошествии пятидесяти пяти лет он все еще чувствует, как ему выдергивают волосы при обработке *черепной коробки*". Со своей стороны, по прошествии тридцати лет я помню черты внешнего вида театра, в который меня привели впервые. Из третьего ряда лож тело театра показалось мне огромным колодцем, красным и пылающим, кишашим головами; внизу, справа, на узком этаже, двое мужчин и женщина входили, выходили и снова входили, делали жесты и казались мне оживленными карликами: к моему великому удивлению, один из этих карликов упал на колени, поцеловал руку даме, потом скрылся за ширмой; другой, входивший, казался сердитым и поднял руку. Мне было тогда семь лет, я ничего не понимал в происходящем; но в колодце пунцового бархата было так много народу, позолоты и света, что через четверть часа я был как бы опьянен и заснул.

"Каждый из нас может найти в своей памяти похожие воспоминания и различить в них общий характер. Первобытное впечатление сопровождалось *чрезвычайной степенью внимания*, либо как ужасное или восхитительное, либо как новое, удивительное и несоразмерное с обычным течением нашей жизни; это мы выражаем, говоря, что мы были сильно впечатлены; что мы были поглощены, что мы не могли думать ни о чем другом; что наши другие ощущения были стерты; что весь следующий день нас преследовал возникший образ; что он преследовал нас, что мы не могли его прогнать; что все отвлекающие факторы были слабыми по сравнению с ним. Именно в силу этой диспропорции впечатления детства так стойки; ум, будучи совсем свежим, удивляется обычным предметам и событиям. В настоящее время, повидав столько больших залов и полных театров, я не могу, войдя в один из них, не почувствовать себя поглощенным, охваченным и, как бы, потерянным в огромном ослепительном колодце. Медицинский работник шестидесяти лет, переживший много страданий, как личных, так и воображаемых, сейчас был бы менее расстроен хирургической операцией, чем в детстве.

"Каким бы ни было внимание, вольным или невольным, оно всегда действует одинаково; образ объекта или события способен возродиться, причем возродиться полностью, пропорционально степени внимания, с которым мы рассматривали объект или событие. Мы применяем это правило на практике в каждый момент обычной жизни. Если мы увлечены книгой или оживленно беседуем, а в это время в соседней комнате поют, мы не удерживаем внимания; мы смутно знаем, что поют, и это все. Тогда мы прекращаем чтение или разговор, отбрасываем все внутренние заботы и внешние ощущения, которые наш ум или внешний мир могут бросить нам на пути; мы закрываем глаза, вызываем тишину внутри и вокруг себя и, если воздух повторяется, слушаем. Тогда мы говорим, что слушали всеми ушами, что приложили весь свой ум. Если воздух прекрасен и глубоко тронул нас, мы добавляем, что были

перенесены, вознесены, восхищены, что забыли о мире и о себе; что на несколько минут наша душа была мертва для всего, кроме звуков.....

"Это исключительное сиюминутное восхождение одного из наших душевных состояний объясняет большую долговечность его склонности к возрождению и к более полному возрождению. Когда ощущение возрождается в образе, образ появляется вновь с силой, пропорциональной силе ощущения. То, с чем мы встречаемся в первом состоянии, мы встретим и во втором, поскольку второе есть лишь возрождение первого. Так и в борьбе за жизнь, в которую постоянно вовлечены все наши образы, тот, который с самого начала наделен наибольшей силой, сохраняет в каждом конфликте, по тому самому закону повторения, который дает ему бытие, способность побеждать своих противников; вот почему он возрождается, сначала непрерывно, потом чаще, пока, наконец, законы прогрессивного упадка и непрерывного притока новых впечатлений не лишают его перевеса, и его конкуренты, найдя чистое поле, могут развиваться в свою очередь.

"Второй причиной длительных возрождений является само повторение. Каждый знает, что для того, чтобы выучить какую-то вещь, мы должны не только внимательно ее изучить, но и многократно повторить. На обычном языке мы говорим, что впечатление, повторенное много раз, отпечатывается в памяти более глубоко и точно. Именно так нам удается сохранить в памяти язык, музыкальные произведения, отрывки стихов или прозы, технические термины и положения науки, а тем более обычные факты, которыми регулируется наше поведение. Когда, глядя на форму и цвет смородинового желе, мы думаем о его вкусе или, пробуя его с закрытыми глазами, представляем себе его красный оттенок и блеск трепещущего ломтика, образы в нашем сознании становятся ярче благодаря повторению. Всякий раз, когда мы едим, пьем, ходим, пользуемся любым из наших чувств, начинаем или продолжаем любое действие, происходит то же самое. Таким образом, каждый человек и каждое животное в каждый момент жизни обладают определенным запасом ясных и легко оживающих образов, которые возникли в прошлом в результате слияния многочисленных впечатлений и теперь подпитываются потоком новых впечатлений. Когда я хочу пройти из Тюильри в Пантеон или из кабинета в столовую, я на каждом шагу предвижу цветные формы, которые предстанут моему взору; иначе обстоит дело с домом, где я провел два часа, или с городом, где я пробыл три дня; по прошествии десяти лет образы будут расплывчатыми, полными пустот, иногда их не будет, и мне придется искать дорогу или потерять себя. - Это новое свойство образов также вытекает из первого. Поскольку каждое ощущение имеет тенденцию возрождаться в своем образе, ощущение, повторенное дважды, оставит после себя двойную тенденцию, то есть при условии, что внимание во второй раз будет столь же велико, как и в первый; обычно этого не происходит, поскольку, если новизна уменьшается, интерес ослабевает; но если другие обстоятельства возобновляют интерес или если воля обновляет внимание, непрерывно растущая тенденция будет непрерывно увеличивать шансы на воскрешение и целостность образа." [594]

Если же явление встречается слишком часто и в слишком разнообразных контекстах, то, хотя его образ сохраняется и воспроизводится с соответствующим успехом, оно не может возникнуть в каком-то одном конкретном месте, и проекция его назад, к определенной прошлой дате, соответственно, не происходит. Мы *узнаем*, но не *помним* его - его спутники образуют слишком запутанное облако. Никто не помнит, говорит мистер Спенсер,

"что объект, на который он смотрит, имеет противоположную сторону; или что определенная модификация зрительного впечатления подразумевает определенное расстояние; или что вещь, которую он видит движущейся, - это живое животное. Спросить человека, помнит ли он, что солнце светит, что огонь горит, что железо твердое, было бы неправильным использованием языка. Даже почти случайные связи между нашими впечатлениями перестают считаться воспоминаниями, когда они становятся досконально знакомыми. Хотя, услышав голос какого-нибудь малоизвестного нам человека, мы говорим, что вспоминаем, кому принадлежит этот голос, мы не используем то же выражение в отношении голосов тех, с кем живем. Значения слов, которые в детстве приходится сознательно вспоминать, во взрослой жизни кажутся сразу же настоящими".[595]

Это те случаи, когда слишком много путей, ведущих к слишком разнообразным ассоциациям, преграждают друг другу дорогу, и все, что разум получает вместе с объектом, - это бахрома ощущаемой знакомости или чувство, что ассоциации есть. Аналогичный результат возникает, когда определенная обстановка только зарождается. Тогда мы чувствуем, что уже видели объект, но когда и где - сказать не можем, хотя нам может показаться, что мы уже на грани того, чтобы сказать это. То, что зарождающиеся мозговые возбуждения могут влиять на сознание, вызывая своего рода ощущение неизбежности того, что более сильные возбуждения заставили бы нас определенно почувствовать, очевидно из того, что происходит, когда мы пытаемся вспомнить имя. Оно покалывает, дрожит на грани, но не приходит. Именно такое покалывание и трепет ненайденных ассоциаций и есть та полутень узнавания, которая может окружать любой опыт и заставлять его казаться знакомым, хотя мы не знаем, почему.[596]

Есть любопытное переживание, которое, кажется, испытывал каждый, - ощущение, что настоящий момент в его полноте уже переживался раньше: мы говорили именно это, именно в этом месте, именно с этими людьми и т. д. Это "чувство предсуществования" рассматривалось как большая загадка и вызывало множество спекуляций. Доктор Уиган считал, что это связано с диссоциацией действий двух полушарий, одно из которых осознает один и тот же факт несколько позже, чем другое, но оба - один и тот же.[597] Должен признаться, что качество загадки кажется мне несколько натянутым. В своем собственном случае мне неоднократно удавалось разрешить это явление как случай памяти, настолько нечеткой, что в то время как одни обстоятельства прошлого представляются вновь, другие - нет. Непохожие фрагменты прошлого поначалу не возникают достаточно полно, чтобы можно было определить дату. Все, что мы получаем, - это настоящая сцена с общим ощущением прошлого. Верный наблюдатель, профессор Лазарус, интерпретирует это явление таким же образом;[598] , и примечательно, что как только контекст прошлого становится полным и отчетливым, эмоция странности исчезает из опыта.

ТОЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПАМЯТИ

Недавно в Германии были проведены исследования. Профессор Эббингауз в поистине героической серии ежедневных наблюдений, продолжавшихся более двух лет, исследовал способность к запоминанию и воспроизведению. Он выучил наизусть списки бессмысленных слогов и изо дня в день проверял свою память на них. После одного прочтения он смог запомнить не более 7. Однако потребовалось 16 прочтений, чтобы запомнить 12, 44 прочтения, чтобы запомнить 24 и 55 прочтений, чтобы запомнить 26 слогов,

причем моментом "запоминания" здесь считается первый момент, когда список можно было прочесть без ошибок.[599] Когда список из 16 слогов читался определенное количество раз в один день, а затем изучался на следующий день до запоминания, было обнаружено, что количество секунд, сэкономленных на изучении во второй день, было пропорционально количеству прочтений в первый - пропорционально, то есть в определенных довольно узких пределах, о которых см. в тексте.[600] Никакое количество повторений, потраченное на бессмыслицу определенной длины, не позволило доктору Эббингаузу безошибочно удерживать ее в течение 24 часов. При забывании таких вещей, как эти списки слогов, потеря происходит гораздо быстрее вначале, чем потом. Он измерял потерю количеством секунд, которые требовались, чтобы заново выучить список после того, как он был однажды выучен. Грубо говоря, если на заучивание списка ушла тысяча секунд, а на повторное заучивание - пятьсот, то потеря между двумя заучиваниями составила бы половину. При таком измерении полная половина забывания происходит в течение первого получаса, в то время как к концу месяца забывается только четыре пятых. Характер этого результата можно было предвидеть, но вряд ли его численные пропорции. Доктор Эббингауз отмечает:

"Начальная быстрота, а также конечная медлительность, как они были установлены в определенных экспериментальных условиях и для конкретного человека, ... могут нас удивить. Через час после прекращения работы по обучению забывание было настолько глубоким, что пришлось снова проделать более половины первоначальной работы, прежде чем удалось вновь воспроизвести серию слогов. Восемь часов спустя пришлось приложить две трети первоначального труда. Постепенно, однако, процесс забывания становился все медленнее, так что даже на значительных отрезках времени потери были едва заметны. Через 24 часа - треть, через 6 дней - четверть, а через целый месяц - добрая пятая часть первоначального труда оставалась в виде последствия и делала повторное обучение тем более быстрым".[601]

Но самый интересный результат из всех тех, к которым пришел этот автор, касается вопроса о том, вспоминаются ли идеи только те, что были непосредственно перед ними, или же идея может вспомнить другую идею, с которой она никогда не была в непосредственном контакте, не проходя через промежуточные ментальные связи. Этот вопрос имеет теоретическое значение с точки зрения того, как должен быть понят процесс "ассоциации идей"; и попытка доктора Эббингауза столь же успешна, сколь и оригинальна, в приведении двух взглядов, на первый взгляд недоступных для доказательства, к прямой практической проверке и отдаче победы одному из них. Его эксперименты убедительно показывают, что идея не только "связана" непосредственно с той, которая следует за ней, и с остальными через нее, но что она непосредственно связана со всеми, которые находятся рядом с ней, хотя и в неодинаковой степени. Сначала он измерил время, необходимое для запечатления в памяти определенных списков слогов, а затем время, необходимое для запечатления списков тех же слогов с пробелами между ними. Таким образом, представляя слоги в виде цифр, если первый список был 1, 2, 3, 4,... 13, 14, 15, 16, то второй был бы 1, 3, 5,... 15, 2, 4, 6,... 16, и так далее, со многими вариациями.

Итак, если 1 и 3 в первом списке были выучены в таком порядке просто путем того, что 1 вызывала 2, а 2 - 3, то, если опустить 2, 1 и 3 не будут иметь никакой связи в сознании; и второй список должен занять столько же времени в обучении, как если бы о первом списке никогда не слышали. Если, с другой стороны, 1 оказывает прямое влияние на 3 так же, как и 2, это влияние должно сохраняться даже тогда, когда 2 отбрасывается; и человек, знакомый с первым списком, должен выучить второй быстрее, чем в противном случае. В последнем

случае так и происходит; а доктор Эббингауз обнаружил, что слоги, первоначально разделенные целыми семью промежуточными звеньями, все еще обнаруживают, благодаря повышенной скорости, с которой они усваиваются по порядку, силу связи, которую первоначальное обучение установило между ними, так сказать, над головами всех остальных. Эти последние результаты должны заставить нас быть осторожными, когда мы говорим о нервных "путях", и использовать это слово не в ограниченном смысле. Они добавляют еще один факт к ряду фактов, доказывающих, что ассоциация тоньше сознания, и что нервный процесс может, не производя сознания, быть эффективным в той же мере, в какой сознание казалось бы эффективным, если бы оно было там.[602] Очевидно, что путь от 1 к 3 (исключая 2 из сознания) облегчен, расширен, возможно, старым путем от 1 к 3 через 2, только компонент, который проносится по этому последнему пути, слишком слаб, чтобы позволить 2 мыслить как отдельный объект.

В своих экспериментах по распознаванию мистер Вульф использовал вибрирующие металлические язычки.

"Эти язычки давали тона, отличающиеся на 2 колебания только в двух нижних октавах и на 4 колебания в трех высших октавах. В первой серии экспериментов выбирался тон, и после его звучания в течение одной секунды звучал второй тон, который был либо таким же, как первый, либо отличался от него на 4, 8 или 12 колебаний в разных сериях. Испытуемый должен был ответить, был ли второй тон таким же, как первый, тем самым показывая, что он его узнал, или же он отличался, и если да, то был ли он выше или ниже. Разумеется, интервал времени между двумя тонами был важным фактором. Соразмерное количество правильных суждений и незначительность разницы в частоте вибрации двух тонов определяли точность тональной памяти. Оказалось, что можно было легче определить, когда два тона были одинаковыми, чем когда они были разными, хотя в обоих случаях точность памяти была на удивление хорошей..... Главное - это влияние временного интервала между тоном и его воспроизведением. В некоторых экспериментах он варьировался от 1 секунды до 30 секунд, а в некоторых - до 60 или 120 секунд. Общий результат таков: чем больше интервал, тем меньше шансов, что тон будет узнан; и этот процесс забывания происходит сначала очень быстро, а затем все медленнее..... Этот закон подвержен значительным колебаниям, одно из которых кажется постоянным и своеобразным; а именно, в самой памяти, по-видимому, существует ритм, который после спада немного восстанавливается, а затем снова угасает".[603]

Это периодическое обновление акустической памяти, по-видимому, является важным элементом в создании приятности определенных частот повторения в звуке.

ЗАБЫВАНИЕ.

В практическом использовании нашего интеллекта забывание является такой же важной функцией, как и воспоминание.

Локк говорит на одной из памятных страниц своей дорогой старой книги:

"Память некоторых людей, правда, очень цепкая, вплоть до чуда; но все же, похоже, происходит постоянный упадок всех наших идей, даже тех, которые поражены наиболее глубоко, а в умах - наиболее ретенционно: так что если их иногда не

обновлять повторным упражнением чувств или размышлением над теми видами объектов, которые сначала их вызвали, отпечаток изнашивается, и в конце концов не остается ничего, что можно было бы увидеть. Таким образом, идеи, как и дети нашей юности, часто умирают раньше нас; и наш разум представляет нам те гробницы, к которым мы быстро приближаемся; где, хотя медь и мрамор остаются, но надписи стираются временем, а изображения плесневеют. Картины, нарисованные в нашем сознании, окрашены в блеклые цвета; и если их иногда не освежать, они исчезают и пропадают. Насколько сильно в этом замешана конституция нашего тела и животный дух; и делает ли темперамент мозга такую разницу, что у одних он сохраняет нарисованные на нем символы, как мрамор, у других - как камень, а у третьих - чуть лучше песка, я не буду здесь выяснять, хотя может показаться вероятным, что конституция тела иногда влияет на память; Так как мы часто видим, что болезнь полностью лишает разум всех его идей, а пламя лихорадки за несколько дней превращает в пыль и путаницу все те образы, которые казались такими же прочными, как если бы были начертаны на мраморе."[\[604\]](#)

Эта своеобразная смесь забывания с воспоминаниями - лишь один из примеров избирательной активности нашего разума. Селекция - это тот самый киль, на котором строится наш умственный корабль. И в случае с памятью его польза очевидна. Если бы мы помнили все, то в большинстве случаев нам было бы так же плохо, как если бы мы ничего не помнили. На то, чтобы вспомнить какой-то отрезок времени, у нас уйдет столько же времени, сколько прошло с момента его возникновения, и мы никогда не сможем продвинуться в своих размышлениях. Соответственно, все воспоминаемые времена подвергаются тому, что М. Рибо называет ракурсом, и этот ракурс обусловлен пропуском огромного количества фактов, которые их наполняли.

"Как только настоящее переходит в прошлое, наши состояния сознания исчезают и стираются. Если просмотреть их с расстояния в несколько дней, от них не останется ничего или почти ничего: большинство из них потерпели кораблекрушение в том великом небытии, из которого они никогда больше не выйдут, и они унесли с собой то количество длительности, которое было присуще их бытию. Таким образом, дефицит выживших сознательных состояний - это дефицит количества представленного времени. Процесс сокращения, укорочения, о котором мы говорили, предполагает этот дефицит. Если бы для того, чтобы добраться до далекого воспоминания, нам пришлось пройти через весь ряд терминов, отделяющих его от нашего настоящего, воспоминание стало бы невозможным из-за длительности операции. Таким образом, мы приходим к парадоксальному результату: одним из условий запоминания является забывание. Не забыв полностью огромное количество состояний сознания и не забыв на мгновение еще большее количество, мы не сможем вспомнить вообще. Забвение, за исключением некоторых случаев, таким образом, не является болезнью памяти, а условием ее здоровья и жизни".[\[605\]](#)

В процессе забывания существует множество нарушений, которые пока не поддаются учету. Вещь, забытая в один день, вспоминается на следующий. То, что мы прилагали самые напряженные усилия, чтобы вспомнить, но все было тщетно, вскоре после того, как мы оставили эту попытку, появится в памяти, как говорит Эмерсон, так невинно, как будто его и не посылали. Переживания прошлых лет возрождаются после многих лет абсолютного забвения, часто в результате какого-то мозгового заболевания или несчастного случая, который, кажется, развивает скрытые пути ассоциаций, как жидкость фотографа развивает

картину, спящую на коллодионной пленке. Самый часто цитируемый из этих случаев - случай Кольриджа:

"В одном римско-католическом городе в Германии молодая женщина, не умевшая ни читать, ни писать, была охвачена лихорадкой, и священники говорили, что она одержима дьяволом, потому что было слышно, как она говорит на латыни, греческом и иврите. Целые листы ее бреда были выписаны, и оказалось, что они состоят из предложений, понятных сами по себе, но слабо связанных друг с другом. Из ее изречений на иврите лишь некоторые можно было соотнести с Библией, а большинство, похоже, относилось к раввинскому диалекту. О всякой хитрости не могло быть и речи; женщина была простым существом, и не было никаких сомнений в том, что у нее лихорадка. Долго не удавалось найти никакого объяснения, кроме демонической одержимости. Наконец тайна была раскрыта врачом, который решил проследить историю девочки и после долгих поисков выяснил, что в возрасте девяти лет ее милосердно взял к себе старый протестантский пастор, большой знаток иврита, в доме которого она жила до его смерти. При дальнейшем расследовании оказалось, что у старика уже много лет был обычай ходить вверх и вниз по коридору дома, в который выходила кухня, и громким голосом читать себе из книг. Книги были перерыты, и среди них нашли несколько греческих и латинских отцов, а также собрание раввинских писаний. В этих работах было найдено так много отрывков, записанных у постели молодой женщины, что не оставалось никаких разумных сомнений в их источнике".[\[606\]](#)

Гипнотические субъекты, как правило, забывают все, что происходило в их трансе. Но в последующем трансе они часто вспоминают события прошлого. Это похоже на то, что происходит в тех случаях "раздвоения личности", когда воспоминания об одной из жизней отсутствуют в другой. Мы уже видели в предыдущей главе, что чувствительность часто отличается от одной из альтернативных личностей к другой, и слышали теорию М. Пьера Жане о том, что анестезии несут с собой амнезию (см. выше, [с. 385](#) и далее). В некоторых случаях это, очевидно, так и есть; выброс одних функциональных мозговых трактов из зацепления с другими, так что их сознание диссоциируется с сознанием остального мозга, выбрасывает их как на сенсорную, так и на идеологическую службу. М. Жане различными способами доказал, что то, что его пациенты забывали под наркозом, они помнили, когда к ним возвращалась чувствительность. Например, он временно восстанавливал их тактильные ощущения с помощью электрических токов, пассивов и т. д., а затем заставлял их брать в руки различные предметы, например ключи и карандаши, или делать определенные движения, например крестное знамение. Как только анестезия возвращалась, они оказывались не в состоянии вспомнить ни предметы, ни действия. У них ничего не было в руках, они ничего не делали" и т. д. Однако на следующий день, когда чувствительность вновь восстанавливалась с помощью аналогичных процессов, они прекрасно помнили все обстоятельства и рассказывали, что они держали в руках или делали.

Все эти патологические факты показывают нам, что сфера возможного воспоминания может быть шире, чем мы думаем, и что в некоторых случаях кажущееся забвение не является доказательством против возможного воспоминания при других условиях. Однако они не дают оснований для экстравагантного мнения о том, что ничто из пережитого не может быть абсолютно забыто. В реальной жизни, несмотря на случайные сюрпризы, большая часть того, что происходит, забывается. Единственные основания полагать, что при наличии

соответствующих условий все оживет, - трансцендентальные. Сэр В. Гамильтон цитирует и перенимает их у немецкого писателя Шмида. Знание - это "спонтанная самоэнергия" разума,

"Эта энергия, будучи однажды определенной, естественно, что она должна сохраняться, пока снова не будет аннигилирована другими причинами. Так [аннигиляция] и происходило бы, если бы ум был просто пассивным..... Но умственная деятельность, акт познания, о котором я сейчас говорю, - это нечто большее; это энергия самоактивной силы субъекта, единого и неделимого: следовательно, часть "я" должна быть отделена или уничтожена, если познание, однажды существовавшее, снова погаснет. Отсюда следует, что самая трудная для решения проблема заключается не в том, как психическая деятельность сохраняется, а в том, как она вообще исчезает".[607]

Те, кого такой аргумент убеждает, могут остаться довольны своей верой. Других позитивных аргументов нет, и уж тем более физиологических.[608]

Когда память начинает ослабевать, первыми уходят имена собственные, и во все времена имена собственные вспоминать труднее, чем имена общих свойств и классов вещей.

По-видимому, это объясняется тем, что общие свойства и имена вызывают в нашем сознании бесконечно больше ассоциаций, чем имена большинства знакомых нам людей. Их память лучше организована. Собственные имена, так же хорошо организованные, как имена наших родных и друзей, вспоминаются так же хорошо, как имена любых других объектов.[609] Организованность" означает множество ассоциаций, а чем больше ассоциаций, тем больше путей для запоминания. По этой же причине прилагательные, союзы, предлоги и кардинальные глаголы - словом, те слова, которые образуют грамматический каркас всей нашей речи, - распадаются в самую последнюю очередь. Куссмауль[610] делает по этому поводу следующее острое замечание:

"Чем конкретнее понятие, тем быстрее забывается его название. Это происходит потому, что наши представления о людях и вещах менее прочно связаны с их именами, чем с такими абстракциями, как их дела, их обстоятельства, их качества. Мы легко можем представить себе людей и вещи без их имен: чувственный образ их важнее, чем другой символический образ, их имя. Абстрактные же представления приобретаются только с помощью слов, которые одни только и придают им устойчивость. Вот почему глаголы, прилагательные, местоимения, а также наречия, предлоги и союзы более тесно связаны с нашим мышлением, чем существительные".

Болезнь, называемая афазией, о которой немного говорилось в [главе II](#), пролила свет на феномен памяти, показав, как много способов использования данного объекта, например слова, может быть утрачено сознанием. Мы можем потерять акустическое или артикуляционное представление о нем; ни то, ни другое не даст нам должного владения словом. А если у нас есть и то, и другое, но мы потеряли пути ассоциаций между мозговыми центрами, которые поддерживают эти два понятия, мы находимся в не менее тяжелом положении. Атаксическая" и "амнестическая" афазии, "словесная глухота" и "ассоциативная афазия" - все это практическая потеря памяти на слова. Таким образом, мы имеем, как говорит М. Рибо, не столько память, сколько воспоминания.[611] Зрительная, осязательная, мышечная, слуховая память могут варьироваться независимо друг от друга у одного и того же человека; и у разных людей они могут быть развиты в разной степени. Как правило, память

человека хороша в тех отделах, в которых он проявляет интерес; но эти отделы склонны к тому, чтобы быть теми, в которых его дискриминационная чувствительность высока. Человек с плохим слухом вряд ли будет обладать практически хорошей музыкальной памятью, а слепой - хорошо запоминать зрительные образы. В одной из следующих глав мы увидим иллюстрации различий в способности людей к воображению.[\[612\]](#) Очевидно, что механизм памяти должен быть в значительной степени обусловлен этим.

Мистер Гальтон в своей работе "Английские ученые"[\[613\]](#) привел очень интересную подборку случаев, показывающих индивидуальные различия в типе памяти, где она сильна. У одних она словесная. У других она хороша на факты и цифры, у третьих - на форму. Большинство утверждает, что то, что нужно запомнить, должно быть сначала рационально осмыслено и усвоено.[\[614\]](#)

С запоминанием связан один интересный факт, на который, насколько мне известно, первым обратил внимание мистер Р. Вердон. Мы можем *настроить* свою память так, чтобы она сохраняла вещи в течение определенного времени, а затем позволяла им исчезнуть.

"Люди часто хорошо и четко помнят до того момента, когда им приходится использовать свои знания, а затем, когда они больше не требуются, происходит быстрое и обширное разрушение следов. Многие школьники забывают свои уроки после того, как их прослушали, многие барристеры забывают детали, подготовленные для конкретного дела. Так, мальчик выучивает тридцать строк Гомера, произносит их в совершенстве, а затем забывает их так, что на следующее утро не может произнести и пяти строк подряд, а барристер может быть на одной неделе сведущ в тайнах изготовления зубчатых колес, а на следующей вместо этого хорошо знать анатомию ребер".[\[615\]](#)

Обоснование этого факта неясно, но его существование должно заставить нас почувствовать, насколько тонкими являются нервные процессы, в которые вовлечена память. Мистер Вердон добавляет, что

"Когда использование записи прекращается, внимание отвлекается от нее, и мы больше не думаем о ней, мы знаем, что испытываем чувство облегчения, и можем заключить, что энергия в некотором роде освобождается. Если... внимание не отведено, так что мы продолжаем помнить о записи, мы знаем, что этого чувства облегчения не происходит..... Также мы хорошо понимаем, что не только после того, как это чувство облегчения проходит, запись не кажется такой хорошо сохраняемой, как раньше, но и что мы испытываем реальные трудности при попытке вспомнить ее".

Это показывает, что мы не настолько полностью лишены сознания, как нам кажется, в течение того времени, когда мы, казалось бы, просто сохраняем тему в памяти.

"Практически, - говорит мистер Вердон, - мы иногда удерживаем в памяти какой-то вопрос, не столько занимаясь им, сколько время от времени обращая свое внимание на что-то, связанное с ним". Переводя это на язык физиологии, мы имеем в виду, что, обращая внимание на часть внутри или тесно связанную с системой

следов [путей], которые необходимо запомнить, мы поддерживаем ее в хорошем состоянии, так что следы сохраняются с максимальной деликатностью".

Это, пожалуй, самое близкое к объяснению. Установка ума на запоминание вещи предполагает постоянную минимальную иррадиацию возбуждения в пути, ведущие к ней, предполагает постоянное присутствие вещи на "задворках" нашего сознания. Если отпустить вещь, то облучение прекращается, вещь не осознается и через некоторое время пути стираются.

Любопытная особенность нашей памяти состоит в том, что вещи лучше запоминаются при активном, чем при пассивном повторении. Я имею в виду, что при заучивании наизусть (например), когда мы почти знаем произведение, лучше подождать и вспомнить его усилием воли, чем снова смотреть в книгу. Если мы восстановим слова первым способом, то, вероятно, узнаем их в следующий раз; если вторым, то, скорее всего, нам снова понадобится книга.

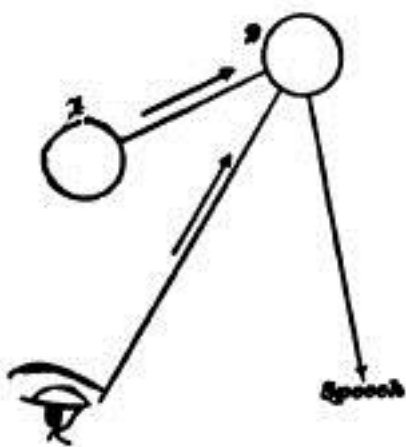


Рис. 46.

Заучивание наизусть означает образование путей от прежнего набора к последующему набору мозговых словообразовательных процессов: назовите на схеме 1 и 2 процессами, о которых идет речь; тогда, когда мы запоминаем путем внутреннего усилия, путь образуется путем разряда из 1 в 2, точно так же, как он будет использоваться впоследствии. Но когда мы возбуждаем 2 с помощью глаз, хотя путь 1-2, несомненно, также простреливается, феномен, который мы обсуждаем, показывает, что прямой разряд от 1 к 2, без помощи глаз, прокладывает более глубокую и постоянную борозду. Более того, в мозгу накапливается большее напряжение перед выстрелом из 1 в 2, когда он происходит без помощи глаз. Это подтверждается общим ощущением напряжения при попытке вспомнить 2; и это также должно сделать разряд более сильным, а дорожку более глубокой. Аналогичная причина, несомненно, объясняет тот знакомый факт, что мы помним наши собственные теории, наши собственные открытия, комбинации, изобретения, короче говоря, любые "идеи", зародившиеся в нашем собственном мозгу, в тысячу раз лучше, чем точно такие же вещи, сообщенные нам извне.

В заключение несколько слов о метафизике, связанной с запоминанием. Согласно предположениям этой книги, мысли сопровождают работу мозга, и эти мысли познают реальность. Всю эту взаимосвязь мы можем описать только эмпирически, признавая, что пока не видно ни единого проблеска ее объяснения. То, что мозг вообще должен порождать познающее сознание, - это единственная загадка, которая не исчезает, какого бы рода ни было сознание и какого бы рода ни было знание. Ощущения, осознающие простые качества,

включают в себя эту тайну в той же мере, что и мысли, осознающие сложные системы. Для платонизирующей традиции в философии, однако, это не так. Сенсационное сознание - это нечто *квазиматериальное*, едва ли познаваемое, чему не нужно особо удивляться. *Реляционное* сознание - совсем наоборот, и тайна его невыразима. Профессор Лэдд, например, в своей обычно превосходной книге [616], хорошо показав фактическую зависимость запоминания и воспроизведения от мозговых паттернов, заявляет:

"В изучении восприятия психофизика *может* многое сделать для научного объяснения. Она может сказать, какие качества стимулов производят определенные качества ощущений, она может предложить принцип, относящий количество стимулов к интенсивности ощущений; она может исследовать законы, по которым, путем комбинированного действия различных возбуждений, *ощущения объединяются* [?] в представления смысла; она может показать, как временные отношения ощущений и восприятий в сознании соответствуют объективным отношениям во времени стимулов. Но для той духовной деятельности, которая фактически *объединяет* в сознании ощущения, она не может предложить даже начала физического объяснения. Более того, невозможно представить себе ни одного мозгового процесса, который, если бы было известно о его существовании, мог бы рассматриваться как подходящая основа для этого объединяющего *акта* разума. Таким образом, мы также, и даже более категорично, должны настаивать на полной неспособности физиологии предложить объяснение для сознательной памяти, в той мере, в какой она является *памятью*, то есть в той мере, в какой она наиболее настоятельно требует объяснения Сама суть акта памяти состоит в способности сказать: Этот послеобраз - образ восприятия, которое я имел мгновение назад; или этот образ памяти - образ восприятия, которое я имел в определенное время - не помню точно, как давно. Таким образом, было бы совершенно противоречащим фактам утверждение, что, когда образ памяти появляется в сознании, он признается принадлежащим к определенному первоначальному восприятию в силу его ощутимого сходства с этим восприятием. Первоначальное восприятие не существует и никогда не будет *воспроизведено*. Еще более вопиюще ложным и абсурдным было бы утверждение, что любое сходство впечатлений или процессов в конечных и центральных органах объясняет акт сознательной памяти. Сознание ничего не знает о таком сходстве; оно не знает даже о существовании нервных впечатлений и процессов. Более того, мы никогда не могли бы *знать*, что два впечатления или процесса, разделенные во времени, похожи друг на друга, если бы они не были связаны с одним и тем же необъяснимым актом памяти. Факт сознания, от которого зависит вся возможность связанного опыта и записанного и совокупного человеческого знания, заключается в том, что определенные фазы или продукты сознания появляются с претензией на то, чтобы обозначать (представлять) [617] прошлый опыт, с которым они считаются в некотором отношении сходными. Именно эта особая претензия сознания составляет суть акта памяти; именно она делает память совершенно необъяснимой как простое сохранение или повторение сходных впечатлений. Именно это делает сознательную память духовным феноменом, объяснение которого, как возникающего из нервных процессов и состояний, не просто не раскрыто в действительности, но совершенно не поддается воображению. Когда, таким образом, мы говорим о физической основе памяти, следует признать полную неспособность науки предложить какой-либо физический процесс, который можно представить как соотносимый с тем особым и таинственным *актом* разума, *соединяющим* его настоящее и прошлое, который составляет сущность памяти".

Этот отрывок кажется мне характерным для господствующего половинчатого способа мышления. Он ставит трудности не на свои места. В один момент он, кажется, признает вместе с грубыми сенсуалистами, что материал наших мыслей - это воспроизведенные независимые ощущения и что "соединение" этих ощущений было бы знанием, если бы его только можно было вызвать, единственная загадка - какой "*актус*" может его вызвать. В другой момент он, кажется, утверждает, что даже такое "соединение" не будет знанием, потому что некоторые из элементов, соединенных, должны "претендовать на то, чтобы представлять или стоять за" прошлые оригиналы, что несовместимо с тем, что они являются просто ожившими образами. В результате мы получаем различные запутанные и разрозненные тайны и неудовлетворенные интеллектуальные желания. Но почему бы не "объединить" наши тайны в одну великую тайну - тайну того, что мозговые процессы вообще приводят к знаниям? Ведь несомненно, нет другой тайны в том, чтобы *ощущать* себя посредством одного мозгового процесса пишущим за этим столом сейчас, и посредством другого мозгового процесса через год *вспоминать* себя пишущим. Все, что может сделать психология, - это попытаться определить, *что* представляют собой несколько мозговых процессов; и это, в удручающе несовершенном виде, то, что начали делать такие работы, как данная глава. Но о "воспроизведенных образах", "претендующих на представление" и "собранных вместе объединяющим *актом*" я умолчал, потому что такие выражения либо ничего не значат, либо являются лишь окольными путями, чтобы просто сказать, что *прошлое известно*, когда выполняются определенные условия мозга, а мне кажется, что самый прямой и короткий способ сказать это - самый лучший.

За историей мнений о памяти и другими библиографическими ссылками я должен обратиться к восхитительной монографии мистера У. Х. Бернхэма по этому вопросу в "Американском журнале психологии", тома i и ii. Полезными книгами являются: Д. Кей "Память, что это такое и как ее улучшить" (1888); и Ф. Фаут "Дас Гедехтнисс, исследования по педагогике" и т. д., 1888.

КОНЕЦ ТОМА. I.

[567] L'Homme et l'Intelligence, p. 32.

[568] Поэтому профессор Рише не имеет права говорить, как он это делает в другом месте (Revue Philosophique, xxi, 570): "*Без памяти нет сознательных ощущений, без памяти нет сознания*". Все, что он вправе сказать, это: "*Без памяти нет сознания, известного вне себя*". О том, какого рода сознание является объектом для последующих состояний и становится как бы постоянным, он приводит хороший пример: "Кто из нас, увы! не испытывал горького и глубокого горя, огромной рваной раны, вызванной смертью какого-нибудь близкого человека? Так вот, в этих великих скорбях настоящее длится не минуту, не час, не день, а недели и месяцы. Память о жестоком мгновении не стирается из сознания. Оно не исчезает, а остается живым, настоящим, сосуществующим с множеством других ощущений, которые сопоставляются в сознании наряду с этой одной стойкой эмоцией, которая ощущается всегда в настоящем времени. Должно пройти немало времени, чтобы мы смогли забыть ее, чтобы она ушла в прошлое. *Hæret lateri letalis arundo*". (Ibid. 583.)

[569] Это первичный позитивный послеобраз. По мнению Гельмгольца, одна треть секунды - наиболее благоприятная продолжительность воздействия света для его получения. Более длительная экспозиция, осложненная последующим попаданием света в глаз, приводит к появлению обычных негативных и дополнительных послеобразов с их изменениями, которые могут (если первоначальное впечатление было ярким, а фиксация длительной) продолжаться

в течение многих минут. Фехнер дает название "воспоминания-послеобразы" (Psychophysik, ii, 492) мгновенным положительным эффектам и отличает их от обычных послеобразов по следующим признакам: 1) Их оригиналы должны были быть *замечены*, причем проявляются только те части составного оригинала, которые были замечены. Этого не происходит в обычных зрительных послеобразах. 2) Внимание к ним направлено внутрь, как при обычном запоминании, а не наружу, как при наблюдении обычного послеобраза. 3) Для воспоминания-послеобраза лучше короткая фиксация оригинала, для обычного послеобраза - длительная. 4) Цвета послеобраза памяти никогда не дополняют цвета оригинала.

[570] Hermann's Hdbch. ii, 2. 282.

[571] Rev. Philos., 562.

[572] Рише говорит: "Настоящее имеет определенную продолжительность, переменную длительность, иногда довольно большую, которая охватывает все время, занятое послереверберацией [*retentissement*, after-image] ощущения. Например, если реверберация электрического удара в наших нервах длится десять минут, то для этого электрического удара существует настоящее время - десять минут. С другой стороны, более слабое ощущение будет иметь более короткое настоящее. Но в каждом случае, чтобы возникло осознанное ощущение [я бы сказал, *запомненное* ощущение], должно быть присутствие определенной длительности, по крайней мере, несколько секунд". В предыдущей главе мы видели, что трудно проследить обратные границы этой мгновенно интуитивной длительности, или умозрительного настоящего. Цифры, которые предлагает М. Рише, кажутся слишком большими.

[573] Ср. Fechner, Psychophysik, ii, 499.

[574] Первичный послеобраз сам по себе не может быть использован, если стимул слишком краток. Г-н Кэттелл установил (Psychologische Studien, iii, p. 93 и далее), что цвет света должен падать на глаз в течение периода, варьирующегося от 0,00275 до 0,006 секунды, чтобы быть распознанным как то, чем он является. Для букв алфавита и знакомых слов требуется от 0,00075 до 0,00175 секунды - поистине чрезвычайно короткий интервал. Некоторые буквы, например Е, труднее других. В 1871 году Гельмгольц и Бакст установили, что, когда за одним впечатлением сразу же следует другое, последнее гасит первое и не позволяет ему стать известным последующему сознанию. Первым стимулом были буквы алфавита, вторым - яркий белый диск. "При интервале в 0,0048 секунды между двумя возбуждениями [я копирую здесь аннотацию из книги Ladd's Physiological Psychology, p. 480] диск появлялся в виде едва заметного слабого мерцания; при интервале в 0,0096 секунды в мерцании появлялись буквы - одна или две, которые можно было частично распознать, когда интервал увеличивался до 0,0144 секунды. Когда интервал стал 0,0192 сек., объекты стали немного более отчетливыми; при 0,00336 сек. можно было хорошо различить четыре буквы; при 0,0432 сек. - пять букв; а при 0,0528 сек. все буквы можно было прочитать". (Pflüger's Archiv, iv, 325 ff.)

[575] Когда прошлое вспоминается символически или только концептуально, то, правда, нет необходимости в такой копии. Ни в одном виде концептуального знания не требуется, чтобы там были определенно напоминающие образы (ср. с. 471 и далее). Но поскольку всякое концептуальное познание предполагает интуитивное познание и на нем заканчивается, я абстрагируюсь от этого усложнения и ограничиваюсь теми воспоминаниями, в которых прошлое непосредственно представлено в сознании, или, как мы говорим, интуитивно известно.

[576] Например, Спенсер, Психология, i, p. 448. Как верующие в достаточность "образа" формулируют случаи, когда мы помним, что чего-то *не* произошло - что мы не завели часы, не заперли дверь и т. д.? Очень трудно объяснить эти воспоминания о бездействии. Образ завода часов так же присутствует в моем сознании, когда я вспоминаю, что не заводил их, как и если бы я вспомнил, что заводил. Должно быть, разница в способе восприятия образа приводит меня к таким разным выводам в этих двух случаях. Когда я вспоминаю, что наматывал его, я чувствую, как он растет вместе со своими ассоциациями, связанными с прошлой датой и местом. Когда я вспоминаю, что я этого не делал, он держится в стороне; ассоциаты сливаются друг с другом, но не с ним. Ощущение слияния, сопричастности вещей - тончайшее отношение; ощущение неслияния - не менее тонкое. Оба отношения требуют сложнейших умственных процессов для их познания, процессов, совершенно отличных от того простого присутствия или отсутствия образа, который оказывает такую услугу в более грубых книгах.

[577] Psychologia Empirica, § 174.

[578] Анализ, i, 330-1. Милль считал, что различные воспоминания, в том числе и о себе, поступают в сознание в виде отдельных идей, но так быстро, что "все они собираются в одну". "Идеи, вызываемые в тесной связи... принимают, даже при самой большой сложности, вид не многих идей, а одной" (vol. i, p. 123). Эта мифология не нарушает точности его описания *объекта* памяти.

[579] Сравните, однако, [с п. 251](#), глава IX.

[580] Профессор Бэйн в примечании к этому отрывку Милля добавляет: "Этот процесс, по-видимому, лучше всего выразить, установив закон составной или композитной ассоциации, согласно которому множество слабых звеньев связи может заменить одно мощное и самодостаточное звено".

[581] Анализ, глава x.

[582] H. Maudsley, The Physiology of Mind (London, 1876), p. 513.

[583] Единственный факт, который можно с полным основанием утверждать против этой точки зрения, заключается в том, что мы можем ощущать течение времени в опыте, который настолько однообразен, что его ранние части не могут иметь никаких "ассоциаций", отличных от поздних. Сядьте, например, с закрытыми глазами и непрерывно произносите какой-нибудь гласный звук, например, *а-а-а-а-а...* думая только о звуке. За время, проведенное в эксперименте, ничего не меняется, и все же по его окончании вы знаете, что его начало было далеко. Я думаю, однако, что пристальное внимание к тому, что происходит во время этого эксперимента, показывает, что он ничуть не нарушает условий воспоминания, изложенных в тексте; и что если момент, к которому мы мысленно возвращаемся, лежит на много секунд позже настоящего мгновения, у него всегда есть разные ассоциаты, по которым мы определяем его дату. Так, это было, когда я только что выдохнул или вдохнул; или это был "первый момент" представления, тот, которому "предшествовала тишина"; или это был "очень близкий к этому момент"; или это был "момент, когда мы смотрели вперед, а не назад, как сейчас"; или это просто представлено числом и задумано символически, без определенного образа даты. Мне кажется, что я не могу интуитивно различать различные моменты прошлого после того, как переживание прошло некоторое время, но в "умозрительном настоящем" все они сливаются в единую концепцию того, что происходило, с более или менее четким ощущением общего времени, которое длилось, причем это последнее основано на автоматическом подсчете последовательных импульсов мысли, с

помощью которых процесс из момента в момент признается как всегда один и тот же. В течение нескольких секунд, составляющих умозрительное настоящее, происходит интуитивное восприятие сменяющих друг друга моментов. Но эти моменты, о которых у нас есть первичная память-образ, не *вспоминаются* должным образом из прошлого, наше знание о них никоим образом не аналогично памяти, называемой должным образом. Ср. *выше*, с. 646.

[584] Об интеллекте, i, 258-9.

[585] Не то чтобы *простое* врожденное упорство сделало человека великим. Она должна сочетаться с великими страстями и большим интеллектом. Имбецилы иногда обладают необычайной десульторной памятью. Дробиш описывает (Empirische Psychol., p. 95) случай с молодым человеком, которого он обследовал. Его с трудом научили читать и говорить. "Но если ему давали две-три минуты, чтобы просмотреть страницу формата октаво, он затем мог произносить отдельные слова по памяти так же хорошо, как если бы книга лежала перед ним открытой. То, что это не обман, я мог проверить с помощью новой латинской юридической диссертации, которая только что попала мне в руки, которую он никогда не мог видеть и предмет и язык которой были ему неизвестны. Он прочитал [мысленно] много строк, пропуская их, со страницы, которую ему дали посмотреть, не хуже, чем если бы эксперимент проводился с детской сказкой". Дробиш описывает этот случай как необычное сохранение зрительного образа ["первичная память", *vide supra*, p. 643]. Но он добавляет, что юноша "долго помнил свои страницы". В Journal of Speculative Philosophy за январь 1871 года (vi, 6) приводится рассказ мистера У. Д. Хенкла (вместе с классическими примерами сверхъестественной памяти) о почти слепом фермере из Пенсильвании, который мог помнить день недели, на который выпадала любая дата в течение сорока двух лет, а также то, какая была погода и что он делал в каждый из более чем пятнадцати тысяч дней. Жаль, что такая великолепная способность не нашла более достойного применения!

Эти случаи показывают, что просто органическая способность человека к запоминанию не обязательно должна быть связана с другими его умственными способностями. Люди с самыми высокими общими способностями часто не забывают ничего, даже самого незначительного. У одного из самых совершенных людей, которых я знаю, память именно такого рода. Он никогда ничего не записывает, но при этом никогда не теряется при воспоминании о факте, который однажды услышал. Он помнит старые адреса всех своих нью-йоркских друзей, живущих на пронумерованных улицах, адреса, которые они сами уже давно переехали и забыли. Он говорит, что, наверное, узнал бы отдельную муху, если бы увидел ее тридцать лет назад - он, между прочим, энтомолог. В качестве примера его отчаянной памяти можно привести случай, когда в одном из клубов его познакомили с неким полковником. Разговор зашел о признаках возраста у человека. Полковник попросил его определить свой возраст. Он посмотрел на него и, к всеобщему удивлению, назвал точный день своего рождения. Но секрет такой точности заключался в том, что, взяв за несколько дней до этого армейский реестр, он бездумно перелистал список имен с датами рождения, выпуска, продвижения по службе и т. д., и когда в клубе ему назвали имя полковника, эти цифры, над которыми он не задумывался ни минуты, произвольно всплыли в его памяти. Такая память, конечно, бесценное богатство.

[586] Ср. Ebbinghaus: Ueber das Gedächtniss (1885), pp. 67, 45. Можно услышать, как человек говорит: "У меня очень плохая память, потому что меня никогда не заставляли систематически учить стихи в школе".

[587] Как укрепить память; или Естественные и научные методы никогда не забывать. М. Х. Холбрук, доктор медицины. Нью-Йорк (без даты).

[588] Страница 39.

[589] Op. cit. p. 100.

[590] Чтобы проверить мнение, столь уверенно высказанное в тексте, я попытался выяснить, сократит ли определенное количество ежедневных тренировок в заучивании стихов наизусть время, которое требуется для изучения совершенно другой поэзии. В течение восьми дней подряд я выучил 158 строк из "Сатиры" Виктора Гюго. В общей сложности на это потребовалось 131 5/6 минут - надо сказать, что я ничего не учил наизусть в течение многих лет. Затем, занимаясь по двадцать с лишним минут ежедневно, я выучил всю первую книгу "Потерянного рая", потратив на это 38 дней. После этого я вернулся к поэме Виктора Гюго и обнаружил, что 158 дополнительных строк (разделенных точно так же, как и в первом случае) заняли у меня 151 1/2 минуты. Другими словами, до тренировки я запоминал Виктора Гюго со скоростью строка за 50 секунд, после тренировки - со скоростью строка за 57 секунд, то есть результат прямо противоположный тому, который можно было бы ожидать, исходя из общепринятого мнения. Но поскольку во время работы над второй партией Виктора Гюго я был сильно загружен другой работой, я подумал, что это может объяснить замедление; поэтому я уговорил нескольких других людей повторить тест.

Доктор В. Х. Бернхэм за 8 дней выучил 16 строк "In Memoriam"; время - 14-17 минут, в среднем 14 3/4 в день. Затем он тренировался на переводе второй книги "Энеиды" Шиллера на немецкий язык, по 16 строк ежедневно в течение 26 дней подряд. Вернувшись к тому же количеству "In Memoriam", он обнаружил, что его максимальное время составляет 20 минут, минимальное - 10, среднее - 14 27/48. Поскольку он опасался, что внешние условия в этот раз могли быть не столь благоприятными, как в первый, он подождал несколько дней и добился максимально идентичных условий. В результате минимальное время составило 8 минут, максимальное - 19 1/2, среднее - 14 3/48.

Мистер Э. С. Дроун тестировал себя на Вергилии в течение 16 дней, затем снова в течение 16 дней, после тренировки на Скотте. Среднее время до тренировки - 13 минут 26 секунд; после тренировки - 12 минут 16 секунд. [Шестнадцать дней - слишком большой срок для теста, он дает время для тренировки на тест-версии].

Мистер К. Х. Болдуин взял 10 строк на 15 дней в качестве теста, потренировался на 450 строках "совершенно другого стиха", а затем еще 15 дней писал прежний стих по 10 строк в день. Средний результат: 3 минуты 41 секунда до, 3 минуты 2 секунды после, тренировка. [Та же критика, что и раньше].

Мистер Э. А. Пиз тестировал себя по "Идиллии короля" и тренировался по "Потерянному раю". Средний результат за 6 дней: 14 минут 34 секунды до тренировки, 14 минут 55 секунд после тренировки. Мистер Бернхэм предположил, что для полного устранения облегчающего эффекта из тренировочных стихов следует проверить себя *а-ля* Эббингауз на сериях бессмысленных слогов, не имеющих никакой аналогии ни с одной системой выразительных стихов, и я побудил двух своих студентов провести и этот эксперимент. Запись, к сожалению, утеряна; но результатом было очень значительное сокращение среднего времени произнесения второй серии бессмысленных слогов, выученных после тренировки. Это, однако, как мне кажется, больше свидетельствует о влиянии быстрого привыкания к самим бессмыслицам, чем к стихам, которые использовались между ними. Но я намерен продолжить эксперименты, о чем сообщу в другом месте.

Один из моих студентов процитировал слова своего знакомого священника, который с помощью практики чудесным образом усовершенствовал свою способность заучивать проповеди наизусть, я написал этому джентльмену за подтверждением. Прилагаю его ответ, из которого следует, что возросшая способность объясняется скорее изменением методов обучения, чем тем, что его врожденная замкнутость выросла в результате упражнений: "Что касается памяти, то моя улучшалась год от года, за исключением случаев нездоровья, подобно мышцам гимнаста. До двадцати лет мне требовалось три-четыре дня, чтобы запомнить часовую проповедь; после двадцати - два дня, один день, полдня, а теперь это делает одна медленная аналитическая работа, очень внимательное или клейкое чтение. Но память кажется мне самой физической из интеллектуальных способностей. Телесная легкость и свежесть имеют к ней большое отношение. Затем существует большая разница в методах. Раньше я запоминал предложение за предложением. Теперь я беру идею целого, затем его ведущие разделы, затем его подразделы, затем его предложения".

[591] Э. Пик: "Память и ее врачи" (1888), с. 7.

[592] Эта система подробно описана в книге "Тренировка памяти", написанной В. Л. Эвансом (1889).

[593] Paulhan, L'Activité mental, et les Éléments de l'Esprit (1889). p. 70.

[594] Об интеллекте, i, 77-82.

[595] Психология, § 201.

[596] Профессор Хёфдинг считает, что отсутствие смежных ассоциаций, о которых отчетливо думают, является доказательством того, что ассоциативные процессы не задействованы в этих случаях мгновенного узнавания, когда мы испытываем сильное чувство знакомства с объектом, но не вспоминаем о предыдущем времени или месте. Его теория происходящего заключается в том, что объект перед нами, А, вызывает чувство знакомости всякий раз, когда пробуждает дремавший образ, а, своего собственного прошлого, в то время как без этого образа он кажется незнакомым. *Качество знакомости* обусловлено слиянием двух сходных процессов $A + a$ в мозге (Psychologie, p. 188; Vierteljsch. f. wiss. Phil., xiii, 432 [1889]). Это объяснение является очень заманчивым, когда феномен распознавания сводится к его простейшим терминам. В лаборатории Вундта были проведены эксперименты господами Вольфом, см. ниже, с. 679, и Леманом (Philosophische Studien, v, 96), в которых человек должен был из нескольких близко напоминающих друг друга чувственных впечатлений (звуков, оттенков цвета) сказать, какое из них совпадает с тем, которое было предъявлено за мгновение до этого. И здесь кажется, что процесс угасания в только что возбужденном тракте должен сочетаться с процессом возникновения нового впечатления, чтобы придать последнему особый субъективный оттенок, который должен отделить его от впечатлений, производимых другими объектами. Но распознавание такого непосредственного рода не под силу нам после очень короткого промежутка времени. Интервал в пару минут, как правило, фатален для него; так что невозможно представить, что наше частое мгновенное узнавание лица, например, как уже встречавшегося ранее, происходит посредством какого-то такого простого процесса. Если мы ассоциируем классификацию с объектом, временной интервал имеет гораздо меньший эффект. Доктор Леманн мог идентифицировать оттенки серого гораздо успешнее и надолго после того, как мысленно прикреплял к ним имена или номера. В этом случае узнавание происходит благодаря воспоминаниям о смежном ассоциате - номере или имени. Если опыт сложный, то каждый элемент общего объекта имеет в прошлом смежные ассоциаты с другими элементами. Таким образом, каждый элемент стремится оживить другие элементы изнутри, в

то время как внешний объект заставляет их оживать извне. Таким образом, всякий раз, когда мы встречаем знакомый объект, мы испытываем чувство *ожидания*, которое является столь значительным фактором в наших эстетических эмоциях; и даже если бы не было "границы тенденции" к возбуждению *внешних* ассоциаций (которая, безусловно, всегда есть), все же эта *внутренняя* игра взаимной ассоциации между частями придавала бы знакомым восприятиям характер легкости, который сделал бы из них отдельный субъективный класс. Процесс заправляет свою старую постель не так, как он застилает новую. За доказательством можно обратиться к интроспекции. Когда, например, я захожу на скотобойню, куда когда-то ходил много лет назад, и ужасный грохот кричащих свиней вызывает у меня непреодолимое чувство идентификации, когда окровавленное лицо "клеящика", о котором я уже давно перестал думать, сразу узнается как лицо, которое так поразило меня раньше; когда выцветшая и покрасневшая деревянная отделка, багровый пол, запах, эмоция отвращения, все детали, одним словом, сразу же вновь становятся привычными обитателями моего сознания; *посторонние* ассоциации прошлого времени не занимают никакого места. Опять же, пытаюсь вспомнить гравюру, скажем, портрет раджи Брука, приложенный к его биографии, я могу сделать это лишь частично; но когда я беру книгу и, глядя на реальное лицо, поражаюсь интимному чувству его сходства с тем, которое я пытался воскресить, - где в этом опыте элемент *посторонней* ассоциации? В обоих случаях возникает *ощущение*, что момент, когда чувство воспоминания наиболее ярко, был также моментом, когда все *посторонние* ассоциации были наиболее подавлены. Лицо мясника вызывает в памяти бывшие стены развалюхи; их мысль - стонущих зверей, а они - снова лица, точно такие же, какими я их воспринимаю сейчас, без каких-либо иных прошлых ингредиентов. Точно так же особенное углубление моего сознания физиономии раджи в тот момент, когда я открываю книгу и говорю: "Ах! Это то самое лицо!", настолько интенсивно, что вытесняет из моего сознания все сопутствующие обстоятельства, будь то нынешние или прежние. Но вот нос готовит тракты для глаза, глаз готовит их для рта, рот снова готовит их для носа, и все эти процессы связаны с путями смежных ассоциаций, как утверждает в тексте. Поэтому я не могу согласиться с профессором Хёффдингом, несмотря на мое уважение к нему как к психологу, в том, что феномен мгновенного узнавания объясним только через припоминание и сравнение вещи с ее собственным прошлым образом. Я также не вижу в рассматриваемых фактах никаких дополнительных оснований для восстановления общего представления, которое мы уже отвергли (*supra*, п. 592), о том, что "ощущение" когда-либо поступает в сознание через "образ" его собственного прошлого. Оно принимается смежными ассоциациями; или, если они образуют слишком слабую бахрому, его нейронные токи устремляются в ложе, которое еще "теплое" от только что прошедших токов, и, следовательно, ощущения отличаются от токов, чье ложе холодное. Однако я согласен с Хёффдингом, что эксперименты д-ра Леманна (многие из них), похоже, не доказывают того, что он пытается установить. Леманн, действительно, кажется, сам считает, что мы узнаем ощущение А, сравнивая его с его же прошлым образом а (*loc. cit.* п. 114), с чем я совершенно не согласен.

[597] Duality of the Mind, p. 84. Тот же тезис отстаивает покойный мистер Р. Х. Проктор, который приводит несколько случаев, довольно трудно согласующихся с моим собственным предложенным объяснением, в "Knowledge" за 8 ноября 1884 года. См. также Ribot, *Maladies de la Mémoire*, p. 149 ff.

[598] Zeitschr. f. Völkerpsychologie u. s. w., Bd. v, p. 146.

[599] Ueber das Gedächtniss, experimentelle Untersuchungen (1885), p. 64.

[600] *Ibid.* § 23.

[601] *Op. cit.* p. 103.

[602] Все умозаключения, для которых мы не можем назвать внятных причин, служат примером этого закона. В главе о восприятии мы найдем бесчисленные примеры этого закона. Хорошей патологической иллюстрацией этого закона служат любопытные наблюдения М. Бине над некоторыми истеричными субъектами с анестезированными руками, которые видели, что делается их руками, как независимое видение, но не чувствовали этого. Рука была скрыта экраном, пациенту было приказано смотреть на другой экран и говорить о любом визуальном образе, который мог проецироваться на него. Затем появлялись цифры, соответствующие количеству раз, когда нечувствительный член поднимался, к нему прикасались и т. д. Появлялись цветные линии и фигуры, соответствующие аналогичным, прорисованным на ладони; сама рука или ее пальцы появлялись при манипуляциях; и, наконец, появлялись предметы, помещенные в нее; но на самой руке ничего нельзя было почувствовать. Весь этот феномен показывает, как идея, которая остается за порогом определенного сознательного "я", может вызывать в нем ассоциативные эффекты. Кожные ощущения, не ощущаемые первичным сознанием пациента, тем не менее, пробуждают в нем свои обычные зрительные ассоциаты.

[603] Я копирую из реферата статьи Вульфа в "Science" за 19 ноября 1886 года. Оригинал находится в *Psychologische Studien*, iii, 534 ff.

[604] *Essay conc. Human Understanding*, ii, x, 5.

[605] Th. Ribot, *Les Maladies de la Mémoire*, p. 46.

[606] *Biographia Literaria*, ed. 1847, i, 117 (цитируется в "Психической физиологии" Карпентера, глава x, где приводится ряд других случаев, к сожалению, не имеющих, как и этот, точной проверки, которой требуют "психические исследования"). Сравните также Th. Ribot, *Diseases of Memory*, chap. iv. Знание иностранных слов и т. д., о котором сообщают медиумы в трансе и т. д., возможно, часто объясняется возвышением памяти. Истерио-эпилептическая девушка, случай которой я цитировал в *Proc. of Am. Soc. for Psychical Research*, автоматически написала "Легенду Инголдсби" в нескольких кантах, которую, по словам ее родителей, она "никогда не читала". Конечно, она должна была читать или слышать ее, но, возможно, никогда не *учила*. Некоторые макаронические латинско-английские стихи о морском змее, которые ее рука также написала бессознательно, я тщетно искал в оригинале (см. *Proc.*, etc., p. 553).

[607] *Lectures on Metaph.*, ii, 212.

[608] Ср. по этому поводу J. Delbœuf, *Le Sommeil et les Rêves* (1885), p. 119 ff.; R. Verdon, *Forgetfulness*, in *Mind*, ii, 437.

[609] Ср. A. Maury, *Le Sommeil et les Rêves*, p. 442.

[610] *Störungen der Sprache*, цитируется Ribot, *Les Maladies de la M.*, p. 133.

[611] *Op. cit.* chap. iii.

[612] "Те, у кого хорошая память на фигуры, - это, как правило, те, кто лучше всего знает, как с ними обращаться, то есть те, кто лучше всего знаком с их отношениями друг к другу и к вещам". (A. Maury, *Le Sommeil et les Rêves*, p. 443.)

[613] Pp. 107-121.

[614] Другие примеры см. в Hamilton's Lectures, ii, 219, и A. Huber: Das Gedächtniss, p. 36 ff.

[615] Mind, ii, 449.

[616] Физиологическая психология, т. ii, гл. x, § 23.

[617] Почему бы не сказать "знать"? J.
